

**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1976**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ● АРГЕНТИНА

Редакционная коллегия:

**Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Марков Д. Ф.,
Мицкевич Б. П., Мулярчик А. С., Палиевский П. В.,
Челышев Е. П.**

ХУЛИО КОРТАСАР

ВЫИГРЫШИ

РОМАН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО

Повести и рассказы отобрала В. Кутейщикова
Автор предисловия Л. Осповат
Редактор Л. Борисевич

Произведения, включенные в настоящий сборник,
были опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, перевод на русский язык, кроме произведений,
обозначенных в содержании знаком *, и предисловие «Про-
гресс», 1976

К $\frac{70304-123}{006(01)-76}$ 101-76

ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ ХУЛИО КОРТАСАРА

«Второе открытие Америки»,— говорили еще недавно, желая кратко охарактеризовать творческий подвиг латиноамериканских писателей XX века, запечатлевших облик своего континента. Сегодня эта образная формула кажется недостаточной. За последние десятилетия выдвинулись и такие мастера, которые, углубив художественное исследование национальной действительности, подошли к воплощению общечеловеческих проблем. В книгах гватемальца Мигеля Анхеля Астуриаса и кубинца Алехо Карпентьера, мексиканца Карлоса Фуэнтеса и колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса поднимавшаяся во весь рост Латинская Америка открывает уже не только себя, но и весь западный мир.

Особое место в этом ряду занимает аргентинский писатель Хулио Кортасар, художник подчеркнуто интеллектуального склада, исходный материал которого — индивидуальное сознание, основная тема — духовный кризис буржуазного общества, а заветная мечта — освобождение человека. Если творчество большинства создателей новой латиноамериканской прозы при всех различиях между ними восходит к истокам народного бытия, то Кортасар движется, так сказать, встречным курсом, от противоположных берегов. О «противоположных берегах» можно говорить и в буквальном смысле: вот уже много лет писатель живет главным образом в Европе. Но где бы ни происходило действие его произведений — в Париже или в Буэнос-Айресе, кто бы ни были их герои — соотечественники автора, французы, итальянцы, североамериканцы, сам автор с каждой новой книгой все уверенней выступает от имени Латинской Америки, переживающей эпоху великих исторических перемен.

Сын сотрудника аргентинского торгового представительства, Хулио Кортасар родился в оккупированном немцами Брюсселе в августе 1914 г.

Ему было около четырех лет, когда семья возвратилась на родину. «Годы детства,— рассказывает писатель,— прошли в Банфиельде, пригороде Буэнос-Айреса, в доме, где было полно кошек, собак, черепах и сорок,— словом, в настоящем раю. Но я уже был Адамом в этом раю, потому что не сохранил ни одного светлого воспоминания о своем детстве. Своеволие взрослых, обостренная чувствительность, частые приступы тоски, астма, переломы руки, первая несчастная любовь»¹. Мальчик рос замкнутым и одиноким, читал запоем и, естественно, вскоре начал сам сочинять. В средней школе — «одной из наихудших школ, какие только можно себе представить»,— ему посчастливилось встретить друзей, увлекавшихся музыкой, поэзией, живописью. Вместе они как могли оборонялись от пошлости и казенщины.

Поступив на литературно-философский факультет, Кортасар вынужден был через год его оставить: семья бедствовала и двадцатилетнему юноше пришлось стать сельским учителем. Много лет он прожил в провинции. В начале 40-х годов ему предложили место преподавателя в университете города Мендосы. Здесь он принял участие в политической деятельности, а после провала антиперонистского движения, с которым был связан, демонстративно отказался от должности и возвратился в столицу, где с превеликим трудом устроился служащим Книжной палаты.

Все эти годы Кортасар продолжал писать, однако не торопился печататься. «...Предъявляя весьма высокие требования к литературе,— вспоминает он,— я находил идиотским обыкновение публиковать что попало, распространенное в тогдашней Аргентине, где двадцатилетний юнец, накропав щепотку сонетов, уже спешил напечатать их, а если не находил издателя, то издавал за собственный счет. Я же предпочитал держать мои рукописи под спудом»².

Затянувшееся творческое становление Кортасара во многом определялось характером той среды, в которую он вошел со школьных лет и духовную связь с которой сохранил надолго. «Аргентинец из аргентинцев», как справедливо назвал его один литературовед, истый «портеньо», он в то же время смолоду разделял воззрения интеллектуальной элиты, далекой от жизни родной страны, искавшей в искусстве убежища от окружающей их мерзости. Презирая буржуазных политиканов, спекулирующих на национальных традициях, Кортасар и его друзья без сопротивления уступили им это наследство и обратили взоры к Европе. «Мое поколение,— мужественно признал писатель впоследствии,— в значительной мере повинно в том, что поначалу оно повернулось спиной к Аргентине. Мы были отъявленными снобами, хотя многие из нас отдали себе в этом отчет гораздо позже... Мы находились в полнейшей зависи-

¹ Gracio de Cola. Cortázar y el hombre nuevo. Buenos Aires, 1968, p. 9

² Luis Harro. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 262.

мости от французских и английских писателей до тех пор, пока на каком-то определенном этапе — в возрасте от 25 до 30 лет — многие из моих друзей и я сам внезапно не открыли нашу собственную традицию»¹.

Так Кортасар, увлекавшийся с детства Эдгаром По, открыл для себя отечественную традицию фантастического рассказа. В аргентинской литературе XX века этот жанр представляли такие выдающиеся мастера, как Орасио Кирога и Хорхе Луис Борхес. Второй из них, старший современник Кортасара, повлиял на него особенно сильно и непосредственно. Поэт, эссеист, новеллист, человек универсальной культуры, наделенный могучим и сумрачным воображением, Борхес к началу 40-х годов создал по-своему цельную художественную концепцию бытия, в основе которой — убеждение в хаотичности, абсурдности, непознаваемости мира.

Однако примерно в эти же годы Кортасар испытал мощное воздействие совершенно иного характера. Недавно в «Открытом письме Пабло Неруде» он рассказал о том потрясении, которое пережил, читая впервые «Испанию в сердце», читая стихи гениального перуанца Сесара Вальехо, исполненные мечты о всечеловеческом братстве. «...С помощью Пабло Неруды и Вальехо я внезапно ощутил себя тем суверенным южноамериканцем, который перестал испытывать нужду в чужой опеке, чтобы исполнить свой долг... Сама революция была заключена в семенах неслыханного вызова, и сотворение нашего собственного слова было знаменем тех великих дел, которые укрепили его во имя латиноамериканской целостности»².

Кортасару предстояло пройти долгий путь, прежде чем ощущение личной ответственности за судьбу народов своей земли смогло воплотиться в его собственном слове. Но важно понять, что ощущение это возникло в самом начале пути. Противодействуя горькому фатализму Борхеса, оно исподволь направляло движение писателя.

В 1946 г. он решает наконец опубликовать в журнале фантастический рассказ «Захваченный дом»³ — первый из цикла, вышедшего пять лет спустя отдельной книгой под названием «Бестиарий». «Я знал, — скажет автор впоследствии, — что таких рассказов на испанском языке еще не было, по крайней мере в моей стране. Были другие. Существовали превосходные рассказы Борхеса. Но я делал нечто иное»⁴. И действительно, уже «Захваченный дом» содержит в зародыше то новое, что свойственно лишь кортасаровской фантастике. Психологическая и бытовая достоверность служит здесь трамплином дерзкому воображению, которое не убегает от жизни и не капитулирует перед ее тайнами, а, напротив, стремится проникнуть в сокровенные ее глубины. Экспериментальная

¹ Luis Harris. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 256—257.

² Х. Кортасар. Открытое письмо Пабло Неруде. — В сб. «Венок Неруде». М., «Художественная литература», 1974. стр. 316.

³ Х. Кортасар. Другое небо. М., «Художественная литература», 1974.

⁴ Luis Harris. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 264.

ситуация демаскирует примелькавшуюся обыденщину, гротескные сдвиги обнажают искомую суть.

В старинном особняке коротают век последние его хозяева — брат и сестра, люди вполне обеспеченные. Все их занятия — вязание да чтение французских романов. Эту растительную жизнь нарушает вторжение в дом каких-то невидимых сил, дающих знать о себе только шумом в занятых ими помещениях. Однако брат и сестра, даже не помышляя о сопротивлении, уступают пришельцам одну комнату за другой, пока не оказываются на улице.

Некоторые исследователи Кортасара рассматривают этот рассказ как философскую, в духе Борхеса, притчу о беспомощности людей перед лицом жизни; другие, напротив, видят в нем аллегорическое изображение тоталитарного режима, господствовавшего в Аргентине. На наш взгляд, автор равно далек и от глобальной символики, и от политической аллегории; его фантастика самодостаточна, она вырастает из предельно конкретных обстоятельств паразитического существования хозяев особняка. Нарочито безликие «силы», в сущности, вывернутое наизнанку *бессилие* персонажей рассказа, — условный знак их исторической обреченности.

Фантастический вымысел как средство во что бы то ни стало заставить самодовольную повседневность «выйти из себя», заставить ее выдать свои секреты, — этот творческий принцип получает дальнейшее развитие в сборнике рассказов «Конец игры» (1956), увидевшем свет через несколько лет после того, как Кортасар переселился в Париж. В рассказе «Заколоченная дверь»¹ заурядный делец Петроне просыпается ночью в одном из отелей Монтевидео, разбуженный плачем ребенка в соседнем номере. Наутро управляющий заверяет его, что никакого ребенка в соседнем номере нет, там — одинокая женщина. Но после того как соседка покидает отель, долгожданная тишина уже не радует Петроне. Ему — странное дело! — не хватает детского плача, и, когда вопреки всем законам логики плач за дверью все-таки раздастся снова, мы начинаем понимать, что и ребенок, и убаюкивающий его материнский голос — все это как бы вынесенное вовне другое, ночное «я» Петроне, его собственное одиночество, его неосознанная тоска по бескорыстному человеческому общению и еще много такого, в чем он сам себе не признается при трезвом свете дня.

Атакуя буржуазную цивилизацию, Кортасар выволакивает наружу хаос, таящийся под ее благопристойным обличем. Разрушительные силы, дремлющие в душе обывателя, ждут только подходящего случая, чтобы вырваться на свободу. И тогда, как это происходит в рассказе «Менады», респектабельная концертная публика превращается в одича-

¹ Х. Кортасар. Другое небо, М., «Художественная литература», 1971.

лос стадо, набрасывающееся на музыкантов. Жестокий парадокс: музыка, которая развязывает садистическую оргию,— это Пятая симфония Бетховена, призванная возвышать человеческие души. Орфей, укрощавший своим искусством диких зверей, пробуждает зверя в «омассовленном» человеке и сам становится его жертвой. В «Менадах» берет начало одна из ведущих тем Кортасара — судьба искусства в «обществе потребления».

Аналитичность многих рассказов Кортасара не противоречит тому, что строятся они по законам скорее поэзии, нежели прозы. Разрушая привычные, устоявшиеся представления, воображение художника открывает новые соотношения между элементами реальности. Его фантастика не абсурдна, она метафорична. У Кортасара человек, одержимый стремлением постигнуть внутренний мир существа иной породы, может даже физически перевоплотиться в него (рассказ «Аксолотль»¹). Или — в позднейшем рассказе «Другое небо» — житель Буэнос-Айреса 20—40-х годов нашего века, ускользнув, хотя бы на время, из паутины обывательского существования, оказывается в среде парижской богемы накануне франко-прусской войны. Но самые причудливые метаморфозы, самые головокружительные переброжки во времени и пространстве (а впоследствии и самые смелые языковые эксперименты) аргентинского писателя преследуют, в сущности, ту же цель, которую превосходно определил русский поэт Леонид Мартынов:

И своевольничает речь,
Ломается порядок в гамме,
И ходят ноты вверх ногами,
Чтоб голос яви подстеречь.

Кортасар и сам настойчиво подчеркивает принципиальную, так сказать, неповествовательность структуры своих коротких новелл, указывает на огромную роль, которую играет в них чисто поэтическое и даже музыкальное начало. «Всякий раз, когда мне доводилось выверять перевод какого-либо из моих рассказов... я чувствовал, до какой степени действительность и смысл рассказа зависят от тех ценностей, которые определяют жизнь и суть стихотворения или джазовой музыки: напряжение, ритм, внутренняя пульсация, то непредвиденное в заданных рамках, та *роковая свобода*, которой нельзя изменить, не понеся безвозвратной потери»².

После этих слов может озадачить другое заявление Кортасара: говоря о различии между романом и современным рассказом, он сравнивает первый с кинофильмом, а второй с... фотографией. Однако никакого противоречия здесь нет; под фотографией писатель понимает не ремесленный натуралистический снимок, а подлинное произведение фотоискусства, из тех, что по плечу лишь большому мастеру масштаба Картье-

¹ Х. Кортасар. Другое небо. М., «Художественная литература», 1971.

² J. Cortázar. El último round. Mexico, 1970, p. 42.

Брессона. Искусство подобного мастера состоит в умении «выхватить из реальности фрагмент, заключив его в строго определенные рамки, но таким образом, чтобы этот выхваченный кусок действовал, словно взрыв, распахивающий настежь несравненно более обширную реальность». Развивая свое сравнение, Кортасар пишет: «...И фотограф и автор рассказа обязаны выбрать и ограничить такой образ или такое событие, которые были бы *значимы*, ценность которых заключалась бы не только в них самих, но и в их способности воздействовать на зрителя или читателя как некое *открытие*, некий фермент, обращающий разум и чувства к чему-то выходящему далеко за пределы изобразительного или литературного сюжета, в них содержащегося»¹.

Именно об этом — рассказ «Слюни дьявола»², вошедший в сборник «Секретное оружие» (1959). Герой рассказа — фотограф и литератор одновременно, — как и Кортасар, живет в Париже, работает переводчиком. Став во время прогулки свидетелем загадочной сцены, он фотографирует ее, а позднее, рассматривая увеличенный снимок, усилием воображения постигает истинный смысл выхваченного из жизни эпизода, а заодно и собственную роль в нем. Вместе с тем автор выводит читателя и за пределы литературного сюжета, посвящая его в историю написания самого рассказа.

В заглавных титрах напумевшего фильма Антониони «Крупным планом» значит, что он поставлен по мотивам рассказа «Слюни дьявола». В действительности же итальянский кинорежиссер позаимствовал у Кортасара лишь исходный сюжетный мотив, решительно переиначив его на собственный лад. В фильме герой, так и не доискавшись правды, в конце концов принимает условия игры, согласно которым и не следует пытаться понять, что истинно, а что мнимо в этом мире. Кортасару случалось отдавать дань подобному релятивизму, однако как раз в «Слюни дьявола» он вложил прямо противоположный смысл. Человек оказывается здесь способным помешать злодеянию, а поэтическое воображение позволяет ему восстановить исчерпывающую картину события, невольным участником которого он стал.

Но всего более поэтом (пожалуй, более, чем в стихах, которые он продолжает писать и поныне) Кортасар предстает в «Жизни хронопов и фамов» (1962). Это современные сказки — лукавые, озорные, предельно условные, свободные от заданности притчи и в то же время весьма недвусмысленно выражающие симпатии и антипатии автора. Действуют в них вымышленные существа: хронопы, фамы, надейки, внешний облик которых невозможно себе представить (так, о хронопах писатель сообщает лишь, что они «зеленые, взъерошенные и влажные», а надеек

¹ J. Cortázar. Algunos aspectos del cuento. САН, II, 1962, p. 6.

² X. Кортасар. Другое небо. М., «Художественная литература», 1971.

сравнивает со светящимися микробами, что, впрочем, не мешает им служить в библиотеках и забираться на пальмы). Однако живут они не в вымышленном мире, а в реальном Буэнос-Айресе и вступают в разнообразные отношения не только между собой, но и с обыкновенными людьми. Мало того, в их собственном поведении и характерах отчетливо проступают гротескно обобщенные черты различных человеческих типов.

Наиболее элементарны и легко узнаваемы фамы — это название означает не только «слава», но и «молва», «репутация», — вспомним грибоедовского Фамусова! Благоразумные и самодовольные, они заводят свои часы с *превеликой осторожностью* (курсив Кортасара) и, естественно, занимают высокие посты.

Надейки как будто вызывают к сочувствию: они наивны, беспомощны, неудачливы, однако в конечном счете равнодушны ко всему, кроме самих себя.

У хронопов есть предшественник в творчестве Кортасара — это герой драматической поэмы «Короли» (1949). Положив в основу поэмы античный миф о Тесее, убившем Минотавра — чудовище с телом человека и головой быка, — Кортасар кардинально переосмыслил его. «Тесея, — говорил он впоследствии, — я представил стандартным индивидуумом, лишенным воображения и поработанным условностями». Своим героем автор избрал Минотавра, изобразив его «поэтом, существом, непохожим на остальных, совершенно свободным. Его за то и подвергли заключению, что он представляет собой угрозу установленному порядку»¹.

Таковы и хронопы — мечтатели, фантазеры, поэты, внутренне свободные и презирающие условности. Наделенные обостренной чувствительностью и ощущением своего родства с животным и растительным миром, они постоянно вступают в конфликт с окружающим обществом, но побеждают его лишь в собственном воображении, а подчас попадают впросак, из-за чего, впрочем, не унывают. В отличие от Минотавра они не особенно угрожают господствующей системе — вернее, система не видит в них потенциальной угрозы. Характерно, что фамы, потомки кортасаровского Тесея, предпочитают покровительствовать хронопам, нежели воевать с ними. И когда сам Кортасар причисляет себя к хронопам — в этом не только вызов, но и автоирония.

А все же недаром хронопы с таким почтением относятся к своим сыновьям: ведь за ними — будущее, которого нет у фамов, надеек и их отпрысков. В сказочной «Жизни...» теплится мечта о новом, свободном человеке, поддерживавшая Кортасара в его борьбе против стандартов, мифов и фетишей бесчеловечной капиталистической цивилизации.

Но пришло время, когда эта мечта получила опору в реальной действительности. Со второй половины 50-х годов Кортасар напряженно

¹ Luis HARRS, Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 234, 264.

следит из Парижа за событиями, развертывающимися на Кубе. «Победа кубинской революции, первые годы существования нового государства,— рассказывает он,— были торжеством справедливости уже не только в чисто историческом или политическом отношении; вскоре я ощутил и другое — решение проблемы Человека как наконец-то осознанную и поставленную цель. Я понял, что социалистическое движение, которое и до тех пор представлялось мне исторически оправданным и даже необходимым, является единственным движением современности, исходящим из интересов, человеческих по самой своей сути, из нравственных основ, настолько же элементарных, насколько и преданных забвению обществами, где мне выпало жить; из простого, непостижимо сложного и вместе простого принципа: человечество станет по-настоящему достойным своего имени в день, когда будет уничтожена эксплуатация человека человеком»¹.

Перелом в художественном сознании Кортасара начался с того, что он, по его словам, испытал властную потребность впрямую, а не иносказательно поставить проблему человека, обратиться к конкретной, индивидуальной судьбе. «...Я решил отказаться от всякого изобретательства и окунуться в мой собственный личный опыт, иначе говоря, взглядеться немного в самого себя. Но взглядеться в самого себя означало также взглядеться в человека, в моего ближнего»².

Этим ближним стал негр-саксофонист Джонни Картер, герой повести «Преследователь», имеющий реального прототипа в лице американского музыканта Чарли Паркера, памяти которого автор посвятил свое произведение.

«Преследователь», увидевший свет в 1959 г., во многом продолжает тему «Менад». С другой стороны, он вплотную смыкается с «Жизнью хронопов и фамов» («Луи, величайший хроноп» — так называлась опубликованная еще в 1952 г. статья Кортасара о концерте Луи Армстронга). Но все, чего доискался писатель с помощью фантастических допущений и сказочного вымысла, в повести остается «подводной частью айсберга». Перед нами образ творческой личности, созданный исключительно реалистическими средствами, тем более достоверный, что он как бы пропущен через рассудочное восприятие рассказчика, способного критически отнестись и к своей рассудочности.

В музыке — смысл и оправдание всей подвижнической и грешной жизни Джонни, и в ней же — источник его терзаний. Гениальный самородок, перевернувший искусство джаза, «как рука переворачивает страницу», он не может удовлетвориться достигнутым, презирает успех и рвется в область неизведанного. Предъявляя себе поистине максимали-

¹ J. Cortázar. El último round. Mexico, 1970, p. 207—208.

² Luis Harris. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 288.

стские требования, он неистово жаждет узнать, что скрывается «по ту сторону двери», постичь сокровенную суть бытия и сделать ее внятной для всех людей. Его бунт против времени, отмеряемого часами и календарями, вовсе не прихоть болезненного воображения: взыскующий правды и справедливости, Джонни Картер стихийно стремится своей музыкой приблизить завтрашний день человечества.

Однако и сам Джонни смутно догадывается, что цель, которую он так неутомимо преследует, не может быть достигнута лишь средствами искусства. Вынужденный творить на потребу довольных и сытых, он то и дело взрывается, пытаясь отчаянными, а порой и дикими выходками пошатнуть их слепую веру в устойчивость окружающего мира. Но этих людей ничем не проймешь: с непоколебимым благодушием, присущим фамам, выдерживают они любые скандалы. Когда же алкоголь и наркотики сводят музыканта в могилу, общество, погубившее Джонни Картера, окончательно присваивает себе его творчество и погребает под лживой маской его трагическое лицо.

Маска — дело рук того человека, от имени которого ведется рассказ,— музыкального критика Бруно. Биограф Джонни и щедрый его покровитель, терпеливый слушатель его бессвязных излияний, небескорыстный свидетель его вдохновенных свершений и патологических срывов, Бруно предельно честен наедине с собою — иначе мы не узнали бы всей правды не только о Джонни Картере, но и о духовной драме самого рассказчика. Единственный из окружающих, кто способен по-настоящему понять и оценить музыканта, он не в силах *принять* его, и постоянно колеблется между преклонением перед Джонни и глухой враждой к нему, между признанием высшей правоты художника и паническим страхом перед этой правотой. И когда Бруно исповедуется в своей зависти к гению — зависти отнюдь не мелкой! — в тайном своем желании, «чтобы Джонни взорвался разом, как яркая звезда, которая вдруг рассыпается прахом», невольно приходят на память слова, которые пушкинский Сальери обращает к Моцарту: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше».

Но Джонни уходит из жизни непобежденным, а Бруно капитулирует. Со смертью друга отмирает и лучшая часть его «я»; он безвозвратно «падает в самого себя». И в книге, которую переиздает музыкальный критик после гибели гения, реальный облик, самоотверженные искания и мученическая судьба Джонни Картера сознательно и расчетливо искажены в угоду вкусам публики, превращены в дешевую легенду, в расхожий миф массовой культуры.

Работая над «Преследователем», Кортасар сознательно отказался от замкнутой структуры, характерной для прежних его рассказов, отступил от выработанной манеры, достигшей «угрожающего совершенства» и чреватой самоповторением. «В этой повести я перестал чувствовать себя уверенно,— признается он.— Я взялся за проблематику экзистенциального,

общечеловеческого плана, углубив ее затем и расширив в романе «Выигрыш»¹.

Этот роман (он вышел в 1960 г.) писатель задумал на борту пассажирского судна, совершавшего рейс Марсель — Буэнос-Айрес. Ему пришло в голову, что сами обстоятельства подобного путешествия, соединившего на время различных людей, которые никогда бы не встретились в обычной жизни, таят в себе некую «романную ситуацию». Вопреки обыкновению он принялся сочинять без какого-либо предварительного плана, набрасывая портреты действующих лиц и «не имея ни малейшего понятия о том, что произойдет дальше... Со временем,— продолжает Кортасар,— меня захватила идея самому оказаться в числе персонажей, иными словами, не иметь никаких преимуществ перед ними, не быть демиургом, который решает судьбы по своему усмотрению»².

Для эпиграфа Кортасар взял слова из романа Достоевского «Идиот» — авторское рассуждение о людях ординарных, совершенно «обыкновенных», которые составляют необходимое звено в цепи житейских событий и без которых, стало быть, никак нельзя обойтись в рассказе. У Достоевского эти слова играют ключевую роль — напомним, что одним из ведущих конфликтов романа «Идиот» является, как писал известный советский литературовед, «противопоставление людей неординарных ординарному миру и людям ординарным — неординарных людей»³. Подобный конфликт был развернут в повести «Преследователь», однако теперь Кортасар неспроста обращается к тому именно месту в «Идиоте», где обосновывается необходимость рассказать о людях совершенно обыкновенных (которые, впрочем, как демонстрирует Достоевский на примере Гани Иволгина, способны, хотя бы однажды, вырваться из плена своей ординарности). Ибо все действующие лица «Выигрышей» — люди вполне ординарные, и сталкиваются они не с оригинальными, выдающимися личностями, а с критическими обстоятельствами, раскалывающими их на два враждебных лагеря.

Но связь с Достоевским здесь еще глубже, чем можно судить по эпиграфу, и обнаруживается она уже в самом замысле, в «романной ситуации», разбудившей воображение писателя. Ситуация эта рождает особую «карнавально-фантастическую атмосферу», сходную с той, которую, по наблюдению М. М. Бахтина, проникнут весь роман «Идиот». Кортасар, несомненно, уловил сюжетно-композиционные особенности поэтики Достоевского и не без помощи русского классика отыскал собственный путь к карнавальным традициям европейского романа, уходящей корнями в жанр античной мениппеи. Знаменательно, что глубокий исследователь этого

¹ Luis Harrs. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 273.

² Там же, стр. 275.

³ Я. О. Зунделович. Романы Достоевского. Статьи. Ташкент, 1963, стр. 104.

жанра и проистекшей из него литературной традиции М. М. Бахтин называет в числе наиболее характерных мест действия мениппей — мест «встречи и контакта разнородных людей» — *палубу корабля*. А комментируя ключевые сцены в произведениях Достоевского, М. М. Бахтин определяет их значение так: «Люди на миг оказываются вне обычных условий жизни, как на карнавальной площади или в преисподней, и раскрывается иной—более подлинный—смысл их самих и их отношений друг к другу»¹.

Нечто подобное происходит в романе «Выигрыши», персонажи которого оказываются — причем не на миг, а на несколько дней — вне обычных условий жизни. В первой же его главе встречаются люди из самых разных слоев аргентинского общества 50-х годов — обладатели счастливых билетов Турнистской лотереи, дающих право бесплатно совершить морское путешествие. Среди них немало интеллигентов — критически настроенный Карлос Лопес и законопослушный доктор Рестелли, зубной врач Медрано, тяготящийся своей прозаичной профессией, архитектор Рауль Коста и его подруга Паула, аристократка, ушедшая в богему, «социалист» Лусио с невестой, воспитанной в строгих католических правилах, одинокая Клаудиа, а с нею сын, маленький Хорхе, и ее старый приятель, чудаковатый корректор Персио, знаток оккультных наук и поэт в душе. Есть мещанское семейство — супружеская чета Трехо, их дочь и сын, подросток Фелипе. Есть рабочий парень, простодушный и бесцеремонный Атилио Пресутти, по прозвищу Пушок, которого сопровождают мать, невеста и будущая теща. Есть, наконец, миллионер дон Гало Порриньо, по скупости не пренебрегший даровым вояжем.

Заурядность этих людей раскрывается прежде всего на уровне языка, обличающего трафаретность их мышления. Конечно, жаргонный лексикон Атилио не похож на банальные словосочетания, с помощью которых изъясняются супруги Трехо, а высокопарно-благонамеренная фразеология доктора Рестелли — на хозяйский слог дона Гало, привыкшего приказывать и распоряжаться, но общим знаменателем в каждом случае выступает мертвящая власть штампа. В разговорах и внутренних монологах наиболее образованных пассажиров — Лопеса, Медрано, Клаудии и даже таких интеллектуальных снобов, как Рауль и Паула, — тоже угадывается своего рода духовный шаблон. Их речь, пересыпанная явными и замаскированными цитатами (характерно, что первые же слова романа — цитата из Поля Валери), избоблюющая экскурсами в различные области искусства и намеками, понятными только посвященным, отражает зависимость их сознания от моды, господствующей в литературно-художественных кругах Буэнос-Айреса. Высмеивать и пародировать эту моду — так забавляются Рауль и Паула — еще недостаточно, чтобы избавиться

¹ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Издание третье. М., 1972, стр. 248.

от нее: тут нужен неприкосновенный запас индивидуальности, а его-то и не хватает почти всем действующим лицам «Выгрышей». Да и сам автор, следуя обязательству «не иметь никаких преимуществ над остальными», то и дело намеренно прибегает к беллетристическим клише, пародийно их оттеняя, например: «новость... с-быстротой-молнии облетела дам». Исключения составляют лишь двое — Хорхе, не утративший детской непосредственности и фантазии, и Персио.

Каждому предоставлена здесь возможность встретиться с самим собой. Эта возможность заключается не только в том, что действующие лица изъяты из повседневности и перенесены в условия свободного, «фамильярного» общения. Исходная ситуация дополняется новыми обстоятельствами, которые ставят всех перед решительным испытанием. Путешествие начинается в обстановке таинственности, час от часу нарастающей. Доступ в кормовую часть почему-то закрыт. С трудом удастся получить объяснение: в команде двое заболевших тифом, один из них — капитан. Администрация настоятельно требует от пассажиров подчиниться вынужденным ограничениям.

Большинство персонажей остается на периферии повествования; изображая их, автор ограничивается чисто внешними и довольно элементарными характеристиками. Предметом детального психологического анализа становится внутренний мир лишь нескольких человек. Это Фелипе, терзаемый всеми комплексами своего возраста, Клаудиа и Медрано, между которыми возникает духовная близость, Рауль и Паула с их мучительной, не без патологии, дружбой, Лопес, увлекшийся Паулой, Лусио и его невеста Нора, жестоко разочарованная началом медового месяца.

Всем им, кроме самоуверенного и туповатого Лусио, в той или иной степени изначально присуще нечто общее — недовольство собой. В условиях путешествия это чувство усиливается; некоторых оно приводит к глубокому внутреннему кризису, чему способствует исповедальная откровенность бесед, ведущихся между ними. Неудовлетворенность собственной жизнью, бесцельной и бесплодной, стыд за свою капитуляцию перед античеловечной социальной системой, за свою покорность государственному произволу, олицетворением которого становится для них самоуправство парходной администрации, рождают волю к борьбе. Медрано, Лопес, Рауль решают во что бы то ни стало проложить путь на корму, если потребуется — силой.

Это намерение вызывает тревогу у пассивного большинства. Дон Гало и доктор Рестелли пытаются урезонить смутьянов. Позиция конформистов обладает своего рода законченностью: пассажиров прекрасно кормят, обслуживают, развлекают, куда-то везут — так стоит ли портить отношения с начальством, которому виднее, как поступать?

Внезапное заболевание Хорхе, успевшего стать всеобщим любимцем, предельно обостряет ситуацию. Возможно, у мальчика тиф, но судовой

врач неспособен помочь ему, а связаться по радио с Буэнос-Айресом запрещено. Трое мужчин берутся за оружие. К ним неожиданно присоединяется четвертый, Атилио,— неожиданно прежде всего для самого автора, который, как он признается, сперва не питал симпатии к этому персонажу и вместе с интеллигентами свысока посмеивался над его примитивностью. Однако логика жизни неопровержима: именно рабочий парень оказался единственным, кто без всяких рефлексий и колебаний бросается в бой, движимый стихийной, нерассуждающей силой добра. Его решимость любой ценой спасти ребенка так же художественно оправдана, как и трусливое поведение Луисио, уклоняющегося от борьбы.

Изолировав путающихся под ногами, «мятежники» прорываются в кормовую часть судна. В перестрелке смертельно ранен Медрано, успевший до того заставить радиста передать радиogramму в Буэнос-Айрес.

Хорхе меж тем поправляется; его болезнь была просто временным недомоганием. Прибывший из Буэнос-Айреса в сопровождении полицейских инспектор Организационного ведомства берет под защиту действия судовой администрации. Однако дальнейшее путешествие отменяется. Вина за это возложена на «мятежников», которые-де нарушили карантин и поставили под угрозу здоровье путников. Пассажиров на самолете возвращают назад.

Что же все-таки было подлинной причиной ограничительных мер и загадочного поведения команды — какой-то злодейский умысел, контрабандные махинации или в самом деле тиф? Вопрос остается открытым. «Я находился в том же положении, что и Лопес, Медрано или Рауль,— настаивает автор.— Я тоже не знал, что происходило на корме. И по сей день не знаю»¹. Да Кортасар и не желает этого знать: ему безразлична конкретная мотивировка исключительной ситуации — важна сама ситуация, подвергающая людей суровой проверке.

Результаты проверки неутешительны. Пассажиры в подавляющем большинстве так выдрессированы обществом, которому принадлежат, что готовы платить за комфорт, материальный и душевный, не только своей свободой, но и жизнью любого из них (притом что следующей жертвой может стать каждый!). С тем большей, отнюдь не пассивной злобой обрушиваются они на посмеявшихся нарушителей лояльности. «Надо было бы их всех убить!» — чистосердечно восклицает сеньора Трехо, выражая тайные чувства остальных.

А те, кто выдержал испытание?.. Погиб Медрано — единственный, кто внутренне рассчитался с прошлым и мог бы начать новую жизнь. С ним умерли и надежды Клаудии. Возвращаются на «круги своя» Рауль, Паула, Лопес. Остается один Атилио; в нем клокочет проснувшаяся энергия — вот если б кто-то из этих образованных людей подсказал, куда на-

¹ Luis Harris. Los nuestros. Buenos Aires, 1968, p. 275.

править ее! Но нет, они сами не знают, в душе они уже отреклись от своего мятежа. Язвительной горечью окрашена сцена прощания, когда Пущок начинает понимать, что вчерашние друзья тяготятся его обществом.

Но остается еще маленький Хорхе. В художественной системе романа этот образ, любовно, хотя и бледно очерченный, играет существенную роль. Как всякий нормальный ребенок, Хорхе неординарен, в нем таятся неисчерпаемые возможности, он способен стать человеком грядущего — тем свободным и гармоничным человеком, о котором мечтает Кортасар. И потому мятеж четырех исполнен высокого, ими самими не осознанного смысла: спасая жизнь мальчика, они приобщаются, хотя бы на миг, к борьбе за будущее.

В повествование вплетены символические мотивы, проходящие через все творчество писателя, — «неведомые силы», «запертая дверь», «лабиринт» (путь на корму отыскивают, блуждая по лабиринту трюмных переходов, и не случайно Рауль вспоминает о Минотавре). Но теперь к ним присоединяется новый — детская ручонка, протянутая людям, хрупкий росток будущего, который нужно защитить и уберечь.

Добровольное обязательство ограничиться кругозором персонажей все же стесняло автора. Уже написав две начальные главы, он ощутил необходимость какого-то иного, более широкого и обобщенного взгляда на происходящее. Мечтатель и визионер из породы хронопов, Персио стал своего рода лирическим героем Кортасара, доверившего ему собственные мысли и чувства.

Так появились в романе особо выделенные главы, написанные в совершенно ином стилистическом ключе, нежели все остальные, насыщенные (пожалуй, даже перенасыщенные) художественными, литературными, историческими, философскими реминисценциями. Здесь господствует чисто поэтическая, своевольная логика, и читать это следует, как поэзию, — отдаваясь свободному течению образной мысли, которая дерзко вдвигает конкретные факты повествования в контекст мировой культуры, угадывает в них значительные и грозные предвестия.

Можно спорить о том, выражают ли монологи Персио «целостное и синтетическое воззрение», — так утверждает Кортасар, на наш взгляд, без достаточных оснований. Но несомненно, что эти монологи, несколько затрудняя чтение романа, сообщают ему зато дополнительную глубину и масштабность. Сборище пассажиров предстает в них гротескной моделью аргентинского общества, а судно, плывущее без капитана неведомо куда, олицетворяет горестную и неверную участь страны, подвластной чуждым, враждебным силам. В потоке ассоциаций возникает видение *третьей руки*, «несущей алмазный топор и хлеб», — поэтический символ новых, еще небывалых качеств, которые должен взрастить в себе человек, чтобы завоевать свободу и счастье.

Знаменательно, что в предпоследнем монологе Кортасар — и тут вы-

ражается уже давно обретенное им самосознание «суверенного латиноамериканца» — заставляет Персио обратиться к духовным богатствам коренных народов континента. Уподобление персонажей романа деревянным фигурам — парафраз соответствующего места из древнего эпоса народа майя «Пополь-Вух», где рассказывается о том, как люди вначале были сотворены из дерева. Но они не имели ни души, ни разума; за это восстали на них животные и вещи. Деревянные люди исчезли с лица земли — вот так же, по мысли автора, канут в небытие исчадия бездушного и неразумного общества, и тогда народится настоящий человек. «Возможно, он уже родился, — догадывается лирический герой, казня и себя самого за пассивность, — но ты его не видишь».

Открытым вызовом ненавистному обществу — его порядкам, морали, искусству и даже его языку — явился следующий роман Кортасара — «Игра в классики» (1963). Здесь уже не сюжетная ситуация рождает карнавально-фантастическую атмосферу — напротив, карнавальное, смеховое отношение к действительности всецело определяет сюжетные коллизии, композицию, стиль этой книги. Игровое начало, заявленное в названии, торжествует не только «внутри» романа — оно подчиняет себе и читательское восприятие. История причудливых походов и духовных исканий современного интеллектуала, отщепенца, бродяги Орасио Оливейры, развертывающаяся в Париже и Буэнос-Айресе, раздроблена на эпизоды, перемешанные между собой. Чтобы восстановить их внутреннюю связь, постигнуть их смысл (а заодно приобщиться к творческому процессу), читатель должен двигаться зигзагами, как дети, играющие в «классики».

Безудержное экспериментаторство Кортасара, задавшегося целью взорвать традиционные формы романа и увенчавшего свои яростные атаки на ходульную, стандартную, лживую литературную речь попыткой изобрести собственный язык, почти целиком поглотило внимание множества критиков, которые писали об «Игре в классики». Провозгласив автора лидером латиноамериканского неоавангардизма, они в большинстве своем начисто игнорировали социально-этическую проблематику его книги. Эту проблематику по-настоящему раскрыла советская исследовательница И. Тертерян, указавшая, в частности, на духовное родство Оливейры и героя «Записок из подполья» Достоевского¹.

Впрочем, у сверхчувствительного, чудаковатого, неприкаянного Оливейры есть близкие родичи и в творчестве самого Кортасара. В сущности, это еще один хроноп, взбунтовавшийся против мира, в котором живет. Истукпенно «выламываясь» из буржуазной системы, он мечтает о гармоническом братстве людей, однако мысль о малейшем стеснении собственного «я» во имя желанной цели для него нестерпима.

¹ См.: И. Тертерян. Новейший парадоксалист. Современная литература за рубежом. Сборник литературно-критических статей, вып. 4. М., 1975.

Идом индивидуализма отравлены и другие, сопутствующие ему персонажи, которые «для себя лишь ищут воли». За бесконечными спорами о будущем они забывают о прямом человеческом долге. Маленький Рокамандур, сын возлюбленной Оливейры, умирает в грязной гостинице под звуки джаза и болтовню, доносящуюся из коридора; там идет оживленная дискуссия. Никто как будто не виноват в смерти больного ребенка — и все виноваты. Напрашивается сопоставление со сходной по обстоятельствам и диаметрально противоположной по смыслу коллизией в «Выигрывах». Кортасар верен своей символике: ребенок — это и есть живое, реальное будущее, за которое ринулись в бой герои первого романа и которое предали действующие лица «Игры в классики». И когда Оливейре чудится, что он нащупал у себя в кармане ручонку Рокамандура, мы убеждаемся, как бесповоротно осуждены и сам он, и весь его жалкий бунт.

Опыт этой книги получил разностороннее продолжение в последующем творчестве Кортасара. К центральной ее проблеме писатель возвращается в романах «62. Модель для сборки» (1968) и «Книга Мануэля» (1973). Композиционные принципы «Игры в классики» он использовал и развил в так называемых литературных коллажах «Вокруг дня на 80 мирах» (1968) и «Последний раунд» (1969). Но в высшей степени закономерно, написав трагикомедию об индивидуалисте, Кортасар сразу же обратился к герою противоположной судьбы. Впервые в его прозе возник образ человека, обретающего свое истинное «я» в революционной борьбе.

С этим человеком свела его сама жизнь. Аргентинский интеллигент Эрнесто Че Гевара, сражавшийся за свободу Кубы, завладел воображением Кортасара с начала кубинской революции. В основу рассказа «Воссоединение» (1964) писатель положил опубликованные незадолго до того воспоминания Гевары об одном из первых эпизодов повстанческой эпопеи: разрозненная группа храбрецов, оставшихся в живых после высадки со шхуны «Гранма», выйдя из боя, соединяется в предгорьях Сьерра-Маэстры.

Безымянный герой, от лица которого ведется рассказ, — это, конечно же, сам Че, что подчеркивается эпитафией, взятой из его «Эпизодов революционной войны». Вместе с тем Кортасар смело наделяет рассказчика чертами собственной личности, собственными переживаниями и раздумьями. Интерес Гевары к литературе, отразившийся в «Эпизодах», он заменяет музыкальностью. Музыка Моцарта, непрестанно звучащая в сознании героя параллельно развертывающимся событиям, помогает преодолеть сумятицу разгрома, но и сама она здесь, едва ли не впервые у Кортасара (вспомним еще раз рассказ «Менады!»), находит себя, свое место в жизни. Музыка оказывается сродни революционному действию, побеждающему хаос бытия во имя грядущей гармонии.

Заглавие рассказа неоднозначно: воссоединение уцелевших бойцов — это и героическое деяние, дающее человеку возможность рассчитывать

с проклятым отчуждением, воссоединиться со своей подлинной сущностью. Сюжетная ситуация «Воссоединения» документально правдива, и все же она принадлежит к числу исключительных. Но отныне Кортасар и в повседневной житейской практике начинает подстерегать такие моменты, когда разрывается обманчивый внешний покров и выступают наружу подспудные резервы людской солидарности. Сюжет рассказа «Южное шоссе» (1966)¹ не содержит в себе ничего исключительного — обычная, только затянувшаяся сверх обыкновения пробка на автостраде. Поначалу чуждые друг другу люди в машинах, выбитые обстоятельствами из того хода жизни, который казался им нормальным, убеждаются, что продержаться они могут лишь совместно. Возникают естественные связи, рождается крохотный человеческий коллектив.

Последний роман Кортасара, казалось бы, возвращает читателя в карнавальную атмосферу начальных глав «Игры в классики». Снова — Париж, компания интеллигентов, эпатирующих буржуа и предающихся жарким спорам. Снова действие перемежается вставками — вырезками из газет. Однако десять лет прошли не напрасно и для автора, и для его героев. Персонажи «Книги Мануэля» — члены молодежной организации; они готовят похищение крупного латиноамериканского дипломата с целью добиться освобождения политических заключенных. А Мануэлем зовут годовалого сына участвующих в заговоре супругов. Это ему, любимцу и баловню всей организации, предназначена книга, составляемая взрослыми из газетных вырезок, чтобы малыш, когда подрастет, нашел в ней, так сказать, моментальный портрет мира, который они стремились изменить.

И эти люди способны испытывать сомнения, и они напряженно, подчас мучительно размышляют о реальных противоречиях, путях и конечных результатах революционного действия. Но они действуют, борются, рискуют жизнью во имя преобразования общества. Героев романа согревает вера в будущее, живым и веселым воплощением которого является для них маленький Мануэль.

Кортасар — писатель ищущий, и, стало быть, его путь далеко не гладок. Случалось ему увлекаться экспериментированием, случалось, блуждая по лабиринтам, попадать в тупики. Но его поиски уже давно подчинены осознанной цели. Эту цель сам он определил как преодоление «разрыва, существующего между нынешним, ошибочным и чудовищным, состоянием индивидуумов (и целых народов) и требованиями будущего, которое когда-нибудь станет кульминацией истории человеческого общества. Практическое представление об этом будущем нам дает социализм, а духовный образ — поэзия»².

Л. Основар

¹ Х. Кортасар. Другое небо, М., «Художественная литература», 1971.

² J. Cortázar. El último round. Mexico, 1970, p. 213.

ВЫИГРЫШИ



LOS PREMIOS

Перевод Р. Похлебкина

«...что делать романисту с людьми ординарными, совершенно «обыкновенными», и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие».

Ф. Достоевский, «Идиот», ч. IV, гл. I

ПРОЛОГ

I

«Маркиза вышла в пять,— подумал Карлос Лопес.— Где, черт побери, я читал это?»

Они сидели в «Лондоне», на углу Перу и Авениды, было десять минут шестого. Маркиза вышла в пять? Лопес тряхнул головой, отгоняя непроизвольные воспоминания и отпил «кильмес кристалл». Пиво было тепловатое.

— Когда человека лишают его обычной обстановки, он словно рыба без воды,— заметил доктор Рестелли, рассматривая свой стакан.— Я, знаете ли, очень привык к сладкому мате¹ в четыре часа. Да, посмотрите, пожалуйста, вон на ту даму, что выходит из подземки. Правда, я не уверен, разглядите ли вы ее, здесь столько пешеходов. Вон, вон та блондинка. Окажутся ли такие симпатичные белокурые спутницы в нашем приятном круизе?

— Сомневаюсь,— сказал Лопес.— Обычно самые красивые женщины путешествуют на другом пароходе. Роковое правило.

— Ох и скептики эта молодежь,— сказал доктор Рестелли.— Хотя мои бурные годы давно минули, я еще могу при случае тряхнуть стариной. Я по-прежнему полон оптимизма. И уверен, что на пароходе нам составят компанию красивые девушки. Это так же верно, как то, что я припрятал в своем чемодане три бутылочки катамаркской виноградной.

¹ Напиток из травы мате, так называемый парагвайский чай.— *Здесь и далее примечания переводчика.*

— Ну это посмотрим, если, конечно, путешествие состоится,— ответил Лопес.— Да, кстати, о женщинах. Вон входит особа, из-за которой стоит повернуть голову градусов на семьдесят от Флориды. Так... стоп. Вон та, что разговаривает с длинноволосым типом. Судя по их виду, они наши попутчики, хотя, черт побери, я не представляю, какой должен быть вид у тех, кто будет путешествовать вместе с нами. А не выпить ли нам еще пива?

Доктор Рестелли охотно согласился. Лопес подумал, что в своем жестком воротничке с голубым галстуком в бурую крапинку он удивительно похож на черепаху. Рестелли носил роговые очки, которые отнюдь не способствовали дисциплине в государственном колледже, где он преподавал историю Аргентины (а Лопес — испанский язык), всем своим ученым видом провоцируя учеников на прозвища вроде Черного Кота и Шляпенции. «Интересно, каких прозвищ устаиваюсь я?» — лицемерно подумал Лопес. Ему хотелось верить, что дальше какого-нибудь Лопеса-путеводителя ученики не пошли.

— Прелестное создание,— отметил доктор Рестелли.— Будет неплохо, если она станет нашей попутницей. Не знаю, то ли соленый воздух, то ли перспектива ночей в тропиках, но должен признаться, я чувствую себя необычайно приподнято. За ваше здоровье, коллега и друг.

— За ваше, доктор и соудачник,— молвил Лопес, изрядно отпивая из своей пол-литровой кружки.

Доктор Рестелли уважал (правда, умеренно) своего коллегу и друга. На собраниях учителей он обычно отмежевывался от фантазерских суждений Лопеса, который упорно защищал отъявленных лоботрясов и лодырей — любителей списывать на контрольных работах или почитать газету в самый разгар боя при Вилькапухио (а ведь и без того чертовски трудно, не роняя достоинства, объяснить про взбучку, которую задали испанцы нашему Бельграно). Но если не считать богемных замашек, Лопес вел себя как превосходный коллега и был всегда готов признать, что речь 9 июля¹ непременно должен произносить доктор Рестелли, который скромно сдавался на уговоры доктора Гульельметти и столь же горячие, сколь и незаслуженные, просьбы всего преподавательского состава. В конце концов, это было настоящей удачей, что именно Лопесу, а не негру Гомесу или преподавательнице английского с третьего курса достался

¹ 9 июля — провозглашение независимости и самостоятельности всех провинций Аргентины (9 июля 1816 г.).

выигрыш Турнистской лотереи. С Лопесом всегда можно было договориться, хотя порой он впадал в излишний либерализм или даже в совсем непотребную левизну, а этого Рестелли никому не мог позволить. Но зато Лопесу нравились девушки и бега.

— *Когда тебе исполнилось четырнадцать апрелей, ты предалась разгулу и веселью,*— промурлыкал Лопес.— Да, а почему вы купили билет, доктор?

— Я не мог устоять перед напором сеньоры Рэборы, друг мой. Вы же знаете, что представляет собой эта женщина, когда войдет в раж. На вас она тоже насела? По правде говоря, теперь мы должны быть ей весьма благодарны.

— Восемь переменок подряд она выматывала мне душу, пристала, как овод, никуда не ускачешь,— отвечал Лопес.— И совершенно непонятно, какая ей от этого выгода? Самая обычная лотерея.

— Ну уж, извините, ничего подобного. Это особая, специальная лотерея.

— Да, но почему билеты продавала мадам Ребора?

— Предполагается,— таинственно сказал доктор Рестелли,— что билеты этой лотереи предназначались для особой категории лиц, ну, что ли, для избранных. По всей вероятности, государство апеллировало, как это уже бывало в истории, к благосклонности наших дам и одновременно позаботилось, чтобы выигравшие, как бы это выразиться, не общались с людьми невысокого уровня.

— Выразимся так,— согласился Лопес.— Но вы забываете, что обладатели выигрышей имеют право взять с собой до трех родственников.

— Дорогой коллега, если бы моя покойная супруга и моя дочь, супруга нашего молодого Робирасы, имели возможность сопровождать меня...

— Конечно, конечно,— ответил Лопес.— Вы совсем другое дело. Но не будем ходить вокруг да около. Если бы, например, я спятил с ума и решил пригласить мою сестрицу, вот тогда вы бы увидели, что такое, выражаясь вашими словами, невысокий уровень.

— Не могу поверить, что ваша незамужняя сестра...

— Она тоже не верит этому,— возразил Лопес.— Но уверяю вас, она из тех, кто говорит неправильно, но считает, что «вырвало» очень грубое слово.

— В самом деле, слово действительно грубоватое. Я бы предпочел «стошнило».

— Она же, напротив, скорее склонна к выражениям: «вернула обратно» и «выплеснула». А что вы скажете о нашем общем ученике?

Покопив с пивом, доктор Рестелли предался скучным размышлениям. Он никак не мог взять в толк, как это сеньора Ребора, назойливая, но совсем не глупая женщина, к тому же обладающая почти знатным именем, могла снизойти, опуститься до того, что стала распространять билеты среди учащихся старших курсов. В результате печальной случайности и невиданной удачи, о которой гласят лишь отдельные, да и то апокрифические хроники Монтекарло, кроме Лопеса и Рестелли, крупный выигрыш достался также ученику колледжа Фелипе Трехо — отъявленному лентяю и наглецу, гордившемуся тем, что позволял себе издавать непотребные звуки на уроках аргентинской истории.

— Поверьте, Лопес, этому гаденышу не должны были разрешить сесть на пароход. Ведь ко всему прочему он несовершеннолетний.

— Он не только сядет на пароход, но и прихватит с собой родственников, — возразил Лопес, — Я узнал об этом от приятеля репортера, который ухитрился взять интервью у некоторых обладателей выигрышей.

Бедняга Рестелли, бедный важный Черный Кот. Тень колледжа теперь будет неотступно преследовать его в течение всего путешествия, если, конечно, оно состоится, и звонкий смех учащегося Фелипе Трехо отравит ему невинный флирт, празднество Нептуна, шоколадное мороженое и обычно столь забавную процедуру морского крещения. «Если б он только знал, что я распивал пиво с Трехо и его приятелями на Пласа Онсе и что это от них я узнал о Шляпенции и Черном Коте... У бедняги такое косное представление о том, каким должен быть преподаватель».

— Это как раз хороший признак, — с надеждой промямлил доктор Рестелли. — Присутствие родителей всегда сдерживает. Вы не согласны? Впрочем, как можно с этим не согласиться.

— Обратите внимание, — прервал его Лопес, — на этих двойняшек, а может, очень похожих друг на друга сестер, они идут со стороны улицы Перу, сейчас пересекают Авениду. Видите?

— Не совсем уверен, — сказал доктор Рестелли. — Одна в белом, а другая в зеленом?

— Совершенно верно. Но та, что в белом, красивее.

— Да, хороша. Именно эта, в белом. Гм, отличные ножки.

Может, только слишком семенит. Не направляются ли они к нам на собрание?

— Нет, доктор, они явно пройдут мимо.

— Какая жалость. Должен вам признаться, была у меня однажды девушка. Очень похожа на одну из этих.

— На ту, что в белом?

— Нет. На ту, что в зеленом. Вечно буду помнить, как... Впрочем, вам это, наверно, не интересно. Да? Ну что, закажем еще пива, ведь до собрания целых полчаса. Девушка эта была из порядочной семьи и знала, что я женат. И все же, как говорится, сама бросилась мне в объятия. О, какие это были ночи, друг мой!..

— Я никогда не сомневался в вашей Кама Сутра, — заверил Лопес. — Роберто, еще пива!

— Ну и жажда у сеньоров, — сказал Роберто. — Сильно парит. Наверняка пойдет дождь. Да и в газетах об этом было.

— Ну уж если в газетах, значит, святая правда, — сказал Лопес. — Я, кажется, начинаю догадываться, кто будет нашими товарищами по путешествию. У них лица выражают то же, что и у нас, не то радость, не то недоверие. Присмотритесь, доктор, и вы сами убедитесь в этом.

— Почему недоверие? — спросил Рестелли. — Ваши подозрения необоснованны. Вот увидите, мы отчалим точно во время, указанное на обороте билета. Это вам не какая-нибудь лотерея, а государственная. Билеты распространялись в лучших кругах, и трудно ожидать подвоха.

— Я восхищаюсь вашим доверчивым отношением к бюрократическим порядкам, — заметил Лопес. — По-видимому, таков ваш внутренний склад. А я вот неуравновешенный человек, я всегда во всем сомневаюсь. Не то что я не доверяю этой лотерее, но просто не раз спрашивал себя, а не получится ли так, как с «Хельрией».

— «Хельрия» была организована, по всей видимости, еврейскими агентствами, — сказал доктор Рестелли. — Даже ее название, если вдуматься, говорит об этом... Я не антисемит, уверяю вас, но уже на протяжении нескольких лет я замечаю, как всюду проникает эта нация, если хотите, в некоторых отношениях весьма достойная. За ваше здоровье.

— За ваше, — сказал Лопес, едва сдерживая смех. «А в пять ли часов вышла маркиза?» В дверь с Авенида-де-Майо то и дело входили завсегдатаи. Лопес воспользовался этнографическими, по всей видимости, размышлениями своего собеседника, чтобы как следует осмотреться. Почти все столики были заняты, но

лишь за непогими царил дух предстоящих странствий. Стайка девушек покидала кафе, как обычно смущенно толкаясь и смеясь, поглядывая на своих доброжелателей и недоброжелателей. Почтенная сеньора, окруженная детьми, направлялась в небольшой зал с чинно застеленными столами, где другие сеньоры и тихие парочки поглощали прохладительные напитки, пирожные и даже аперитивы. Вошел юноша (парень что надо) с очень хорошенькой девушкой (пальчики оближешь) и уселись поодаль. Они были возбуждены, настороженно переглядывались, стараясь скрыть волнение, которое выдавали их руки, теребившие портфель и сумочку, разминавшие сигареты. За окном в привычном беспорядке бурлила Авенида-де-Майо. Вопили газетчики, громкоговоритель расхваливал какой-то товар. Яростно светило летнее солнце в половине шестого пополудни (в этот обманчивый час, подобный стольким убежавшим вперед или запоздавшим часам), тянуло смесь бензина, раскаленного асфальта, одеколона и мокрых опилок. Лопес даже удивился, но Туристская лотерея на какой-то миг показала ему бессмысленной. Только длительная привычка портеньо¹ — чтобы не сказать больше и не впасть в метафизику — помогала отыскать смысл в спектакле, который разыгрывался вокруг и увлекал его. Самое хаотичное представление о хаосе бледнело перед таким столпотворением при тридцати трех градусах в тени, движении в разных направлениях, бесчисленными шляпами, портфелями, регулировщиками, номерами «Расон»², автобусами и пивом — всем — всем, что было втиснуто в каждый отрезок времени и с головокружительной быстротой сменяло друг друга. Вот женщина в красной юбке и мужчина в клетчатом пиджаке идут навстречу друг другу, приближаются, пока доктор Рестелли опрокидывает в рот кружку пива, а прекрасная девушка (наверняка прекрасная) достает губную помаду. Теперь женщина и мужчина уже разминулись, показав один другому спину, кружка медленно опускается, а губная помада чертит извечную кривую. Но кому, кому могла показаться странной эта лотерея.

II

- Два кофе, — заказал Лусио.
— И стакан холодной воды, пожалуйста, — добавила Нора.
— С кофе воду всегда подают, — сказал Лусио.

¹ Коренной житель Буэнос-Айреса.

² Название аргентинской газеты.

— Верно.
— Ты все равно никогда ее не пьешь.
— А сегодня у меня жажда,— ответила Нора.
— Да, здесь жарко,— меняя тон, сказал Лусио. И, наклонившись к ней, добавил: — У тебя усталый вид.
— Еще бы, с этим багажом столько забот...
— По-моему, слова «заботы» и «багаж» не очень сочетаются,— заметил Лусио.

— Да.
— Ты действительно устала.
— Да.
— Этой ночью выспишься.
— Надеюсь,— ответила Нора.

Как всегда, Лусио говорил самые певинные вещи, но Нора уже научилась понимать тон, каким они были сказаны. Наверно, она опять не выспится, ведь это будет ее первая ночь с Лусио. Их вторая первая ночь.

— Красоточка моя,— глядя ей руку, сказал Лусио.— Маленькая красоточка.

Норе припомнился отель «Бельграно», первая ночь, проведенная с Лусио, но, пожалуй, это следовало скорее забыть, а не вспоминать.

— Вот глупая,— сказала Нора.— Положила ли я в несесер лишний тюбик губной помады?

— Хороший кофе,— сказал Лусио.— Как думаешь, у тебя дома не догадались? Это меня не очень беспокоит, но хотелось бы избежать неприятностей.

— Мама уверена, что я ушла в кино с сестрой.

— Завтра наверняка ужасный скандал поднимут.

— Теперь они уже ничего не поделают,— ответила Нора.— Подумать только, совсем недавно мы праздновали мой день рождения... Буду надеяться в первую очередь на папу. Он не плохой человек, но мама вертит им как хочет, да и всеми остальными.

— А здесь становится все жарче.

— Ты нервничаешь,— сказала Нора.

— Да нет, просто хочется скорей сесть на пароход. Тебе не кажется странным, что нас попросили сперва прийти сюда? Наверное, повезут в порт на автобусах.

— Интересно, а кто еще поедет с нами? — спросила Нора.— Вот эта дама в черном, как ты думаешь?

— Нет. С какой стати станет путешествовать такая дама. Может, те двое, что беседуют за соседним столиком.

— Да, поедет много, человек двадцать, не меньше.
— Ты что-то бледна,— сказал Лусио.
— Это из-за жары.
— Ну, теперь отдохнем на славу,— сказал Лусио.— Хорошо, если б нам досталась удобная кабина.
— С горячей водой,— добавила Нора.
— Да, и с вентилятором и с иллюминатором. И чтобы на верхней палубе.
— Почему ты говоришь «кабина» вместо «каюта»?
— Да так. Кабина, по-моему, как-то красивей... А то каюта, вроде койки без уюта... Я тебе говорил, что ребята из конторы хотели прийти проводить нас?
— Проводить нас? — удивилась Нора.— Как так? Значит, они все знают?
— Ну, не нас, а меня,— сказал Лусио.— Они ничего не знают. Я говорил только с Медрано, в клубе. Он свой парень. Не забудь, он ведь тоже едет, так что лучше было заранее ему сказать.
— Надо же, такое совпадение,— сказала Нора.— Даже не верится!
— Сеньора Апельбаум предложила нам билеты одного разряда. А остальные, кажется, разошлись в Бока. Почему ты такая красивая?
— Скажешь тоже,— ответила Нора, позволяя Лусио пожать себе руку. Всякий раз, как он испытующе наклонялся к ней с подобным вопросом, она слегка отстраивалась, но так, чтобы не обидеть его. Лусио посмотрел на ее улыбающиеся губы, открывшие ряд ослепительно белых мелких зубов (сбоку виднелась золотая коронка). Если бы им досталась хорошая каюта и Нора смогла бы как следует отдохнуть этой ночью. И еще ей надо было кое-что выкинуть из головы (а ведь ничего особенного не произошло, просто надо было выкинуть из головы эту нелепицу, за которую она держится). Он заметил Медрано, входившего со стороны Флориды вместе с какими-то разодетыми типами и дамой в кружевной блузке. Почти успокоенный, он поднял руку. Медрано узнал его и направился к их столику.

III

«Лондон» — неплохое место в такое пекло. От Лорпи до Перу всего десять минут ходу, а потом можно освежиться и полистать «Критику»... Куда труднее было улизнуть от Беттин, чтобы не вызывать у нее подозрений. Медрано придумал

собрание выпускников тридцать пятого года с аперитивом в каком-нибудь баре и ужином в «Лопрете». После выигрыша в лотерею он уже наплел столько небылиц, что последняя почти ненужная ложь ничего не меняла.

Беттина осталась лежать в постели голая, с романом Пруста, на ночном столике жужжал вентилятор. Все утро они занимались любовью, отрываясь лишь для того, чтобы немного поспать либо выпить виски или кока-колы. Закусив холодным дышленком, они обсудили достоинства пьесы Марселя Эме, поэмы Эмилио Бальягаса¹ и курс, по которому котируется мексиканский орел. В четыре часа Медрано принял душ, а Беттина открыла роман Пруста (до этого они еще раз предались любви). В метро, сочувственно разглядывая студента колледжа, который изо всех сил старался казаться подвыпившим, Медрано мысленно подвел итог первой половине дня и остался доволен. Можно было начинать субботу.

Проглядывая «Критику», он продолжал думать о Беттине, сам немного удивляясь этому. Прощальное письмо (ему нравилось называть его посмертным) было написано предыдущей ночью, когда Беттина спала с распущенными волосами, выпростав из-под простыни ногу. Все было объяснено, за исключением, разумеется, новых возражений, какие могли прийти ей в голову, а личные дела решены. С Сусаной Данери он порвал таким же образом, даже не покидая страны, как сейчас; каждый раз при встрече (особенно на вернисажах, куда обязательно стекался весь Буэнос-Айрес) Сусана улыбалась ему, как старому другу, не высказывая ни упрека, ни сожаления. И он представил себе, как, столкнувшись с ним на Писарро, Беттина дружески ему улыбнется. Ну хотя бы просто улыбнется. Но скорее всего, Беттина возвратится к себе на Раух, где ее ждут ничего не подозревающие безгрешные родичи и две кафедры родного языка.

— Доктор Ливингстон, I suppose², — сказал Медрано.

— Позволь представить тебе Габриэля Медрано, — сказал Лусио. — Садись, че³, и выпей чего-нибудь. — Он пожал робкую Норину руку и заказал сухого мартини. Нора не ожидала, что у Лусио такой старый друг. Ему было не меньше сорока, но вы-

¹ Кубинский поэт.

² Если не ошибаюсь (англ.).

³ Че — широко распространенное в Аргентине обращение к другу или близкому знакомому.

глядел он очень элегантно в костюме из итальянского шелка и белой рубашке. Лусио никогда не сумеет так одеться, даже если у него заведутся деньги.

— Как вы находите этих людей? — спросил Лусио. — Мы пытались угадать, кто из них отправится путешествовать. Кажется, в газете опубликован список пассажиров, но у меня его нет.

— Список, к счастью, далеко не полный, — сказал Медрано. — Кроме моей персоны, там нет еще двоих или троих, очевидно пожелавших избежать огласки или семейных скандалов.

— Здесь также и провожающие.

— Да, конечно, — согласился Медрано и подумал о спящей Беттине. — А вот, кстати, и Карлос Лопес с каким-то важным сеньором. Вы не знакомы с ними?

— Нет.

— Лопес года три тому назад посещал клуб, с тех пор я его и знаю. Вероятно, это было незадолго до вашего вступления. Пойду спрошу, не едет ли он тоже.

Лопес ехал, и они поздоровались, весьма довольные тем, что повстречались при таких приятных обстоятельствах. Лопес представил доктора Рестелли, который заметил, что лицо Медрано ему знакомо. Медрано, увидев, что соседний столик освободился, поспешил пригласить Нору и Лусио. На это ушло некоторое время, ибо в «Лондоне» не так-то просто пересесть на другое место, не вызвав явного недовольства у официантов. Лопес подозревал Роберто, и тот с неохотой помог им переселиться, опустив в карман целый песо, за который даже не поблагодарил. Расфуфыренные юнцы расшумелись и требовали по второй порции пива. Нелегко было вести беседу в этот час всеобщей жажды, когда все старались втиснуться в «Лондон», жертвуя последним глотком кислорода ради жалкой кружки пива или «индиан тоник». Уже не было никакой разницы между баром и улицей, по Авениде вверх и вниз двигалась плотная толпа с пакетами, газетами и портфелями, особенно много было портфелей всевозможных цветов и размеров.

— Итак, — сказал доктор Рестелли, — если я правильно понял, все мы, здесь присутствующие, будем иметь удовольствие совершить совместно это увлекательное путешествие...

— Да, будем иметь, — сказал Медрано. — Однако боюсь, как бы к нашему обществу не присоединилась и часть вон той шумной компании, что слева от нас.

— Вы так думаете, че? — с беспокойством спросил Лопес.

— У них совершенно бандитский вид, — сказал Лусио. — Си-

деть рядом с такими на футболе куда ни шло, но ехать на пароходе...

— Кто знает,— возразила Нора, считая своим долгом вступить за современную молодежь.— Может, они очень симпатичные.

— Вот, пожалуйста,— сказал Лопес,— какая-то скромненькая девушка, кажется, намерена к ним присоединиться. Да, так оно и есть. А ее сопровождает дама в черном, по виду весьма добродетельная.

— Это мать с дочерью,— безошибочно определила Нора.— Бог мой, как они вырядились.

— Несомненно,— сказал Лопес,— они тоже поедут и тоже приедут с нами, если мы вообще отправимся и возвратимся...

— Вот она демократия...— начал доктор Рестелли, но голос его потонул в шуме и криках, донесшихся от метро. Расфуфыренные юнцы, казалось, поняли поданный им сигнал, и тут же один из них ответил диким воплем, а другой, сунув два пальца в рот, пронзительным свистом,—...низведенная до панибратства,— закончил наконец доктор Рестелли.

— Совершенно верно,— вежливо подтвердил Медрано.— Между прочим, никак не пойму, зачем это люди пускаются в плавание.

— Простите, не понял.

— Я говорю, с какой целью они отправляются в морское путешествие.

— Ну, по-моему,— сказал Лопес,— это всегда увлекательней, чем оставаться на суше. Я лично очень доволен, что могу совершить такое путешествие за десять песо. К тому же не забываете, жалование за это время нам выплачивается, а это уже значительный выигрыш. Такую возможность упускать нельзя.

— Согласен, пренебрегать этим не стоит,— сказал Медрано.— Что же касается меня, то благодаря выигрышу я смог пока закрыть свой кабинет и таким образом хоть ненадолго избавиться от созерцания кариозных зубов. Но признайтесь, вся эта история... У меня не раз возникало предчувствие, что кончится она как-то... Ладно... определение можете подобрать сами — это легко заменимый член предложения.

Нора посмотрела на Лусио.

— По-моему, вы преувеличиваете,— сказал Лусио.— Если каждый начнет отказываться от выигрыша из опасения, что его надуют...

— Не думаю, чтобы Медрано имел в виду обычное надувательство,— сказал Лопес,— скорее, он чувствует здесь какой-то,

если можно так сказать, возвышенный обман. Заметьте, только что вошла дама в платье, которое... Словом, она тоже едет. А вот там, доктор, в окружении любящей семьи обосновался наш ученик Трехо. Кафе все больше начинает походить на трансатлантический лайнер.

— Никак не возьму в толк, как это сеньора Ребора могла продать билеты учащимся, и тем более этому, — сказал доктор Рестелли.

— Невыносимая жара, — сказала Нора, — пожалуйста, закажи мне что-нибудь прохладительное.

— На пароходе нам будет хорошо, вот увидишь, — сказал Лусио, махая рукой, чтобы привлечь внимание Роберто, обслуживавшего компанию молодых весельчаков, которых становилось все больше и которые заказывали кофе с молоком, молоко с шоколадной трубочкой, сэндвичи с колбасой и черное пиво, меню необычное для этого заведения или, во всяком случае, для столь раннего часа.

— Да, я тоже думаю, там будет прохладней, — сказала Нора, с опаской поглядывая на Медрано. Она продолжала испытывать беспокойство от разговора с Лусио и теперь старалась скрыть свое волнение, поддерживая пустой разговор. У нее побаливал живот, и, может, надо было сходить в туалет. Но не хотелось подниматься из-за стола на глазах у всех этих господ. Может, потерпеть? Да, конечно. Наверное, просто болят мышцы. Какая им достанется каюта? Если с двумя узкими койками одна над другой, она бы предпочла верхнюю. Но Лусио, облачившись в пижаму, наверняка заберется и наверх.

— Нора, а вы когда-нибудь путешествовали по морю? — спросил Медрано. Судя по всему, он привык, едва познакомившись с девушкой, называть ее по имени. И вообще перед женщинами не робел. Нет, она никогда не путешествовала, каталась по дельте, но это, конечно... А он путешествовал? Да, немного поездил в молодости (как будто он старый) — в Европу, Соединенные Штаты, на конгрессы одонтологов и как турист. Франк за десять сентаво — представляете себе.

— Здесь, к счастью, все оплачено, — сказала Нора и прикусила язык. Медрано смотрел на нее с симпатией и немного покровительственно. Лопес тоже смотрел на Нору с симпатией, но и с восхищением истинного портеньо, который не пропустит ни одной красотки. Если бы все мужчины на пароходе оказались такими приятными, путешествие удалось бы на славу. Нора отпила гранатового напитка и чихнула. Медрано и Лопес

продолжали покровительственно улыбаться, а Лусио словно приготовился защитить ее от столь дружеского проявления симпатии. Белая голубка опустилась на перила у входа в метро. В толпе, снующей вверх и вниз по Авенюде, она казалась чужой и безразличной. И так же безразлично она взмыла в воздух. В угловую дверь вошла женщина, ведя ребенка за руку. «Еще один ребенок,— подумал Лопес.— Этот уж наверняка поедет, если мы вообще поедем. Скоро пробьет шесть, роковое время. В этот час всегда что-нибудь случается».

IV

— Здесь должны подавать вкусное мороженое,— сказал Хорхе.

— Ты так думаешь? — спросила Клаудиа, с заговорщицким видом поглядывая на сына.

— Конечно. Лимонное, да еще с шоколадом.

— Ужасная смесь, но если тебе нравится...

Стулья в «Лондоне» были на редкость неудобные, словно созданные для одной цели — поддерживать тело в строго вертикальном положении. Клаудиа устала от сборов в дорогу, в последнюю минуту она обнаружила, что недостает кое-каких необходимых вещей, и Персио пришлось сбежать в магазин (к счастью, у него уже все было готово, он собрался, как на небольшой пикник), пока она запирала квартиру и писала письмо, одно из тех писем, которые пишутся в последнюю минуту, бездумных и лишенных всяких чувств... Зато теперь она отдохнет до изнеможения. Ей давно следовало бы отдохнуть. «Давно надо было устать, чтобы потом отдохнуть», — поправилась она, лениво играя словами. Персио скоро явится, в последний момент он вспомнил, что не запер какие-то бумаги в своей таинственной комнатке в Чакарите, где хранил книги по оккультным наукам и рукописи, которые никогда не будут напечатаны. Бедный Персио, вот кому действительно следовало отдохнуть. Просто счастье, что Клаудии разрешили (после телефонного звонка доктора Леона Левбаума некоему инженеру) взять Персио как дальнего родственника и почти контрабандой протащить его на пароход. Персио, как никто другой, заслужил этот лотерейный выигрыш, Персио — бессменный корректор у Крафта, вечный постоялец дешевых пансионатов в западной части города, любитель ночных прогулок в порту и по улочкам Флореса. «Ему больше, чем мне, пойдет на пользу это несуразное пу-

тешестве, — думала Клаудиа, рассматривая свои погги. — Бедный Персио».

От кофе ей стало лучше. Значит, она отправляется в путешествие с сыном, прихватив в придачу старого друга под видом дальнего родственника. Она ехала, потому что выиграла в лотерею, потому что Хорхе, а еще больше Персио полезен морской воздух. Снова и снова повторяла она про себя: «Значит, отправляемся...» Клаудиа рассеянно отхлебнула кофе, снова отдаваясь своим мыслям. Нелегко ей было пуститься в этот путь, решиться на такой шаг. Уехать на три месяца или на всю жизнь не слишком большая разница. Не все ли равно? У нее не было ни большого счастья, ни большого горя, а ведь только эти крайности помогают преодолеть резкие перемены. Муж оплатит содержание Хорхе в любом уголке земли, куда бы она ни уехала. В ее распоряжении рента, деньги на черный день, аккредитивы.

— Все, кто здесь, поедут вместе с нами? — спросил Хорхе, отрываясь от мороженого.

— Нет, конечно. Но если хочешь, давай отгадывать. Вот эта сеньора в розовом наверняка поедет.

— Ты так думаешь? Она очень некрасивая.

— Хорошо. Не стапем ее брать. А теперь давай ты.

— Вон те сеньоры за дальним столиком, вместе с сеньоритой.

— Очень может быть. Кажется, они симпатичные. У тебя есть носовой платок?

— Да. Мам, а пароход большой?

— Думаю, да. Это, кажется, какой-то особый пароход.

— А его кто-нибудь видел?

— Возможно, и видел, но никто о нем ничего не знает.

— Значит, он некрасивый, — меланхолично заметил Хорхе. — Красивые корабли все знают. Персио! Персио! Мам, вон Персио.

— Персио, и вдруг пунктуалец, — сказала Клаудиа. — Можно подумать, лотерея изменила все привычки.

— Персио пришел! А что ты мне принес, Персио?

— Новости с планеты, — ответил Персио; Хорхе с восхищением посмотрел на него.

V

Учащегося Фелипе Трехо очень интересовало то, что происходило за соседним столиком.

— Представляешь, — говорил Фелипе отцу, вытиравшему

пот со всем изяществом, на какое только он был способен.— Часть этих кикимор поедет вместе с нами.

— Ты бы мог выражаться поприличней, Фелипе,— запримчала сеньора Трехо.— И когда только этот мальчишка научится хорошим манерам.

Беба Трехо внимательно изучала косметику у себя на лице с помощью зеркала от Эйбара, которое при случае использовала как перископ.

— Ладно, а вот эти каракатицы,— снисходительно процедил Фелипе.— Представляешь? Эти наверняка с рынка.

— Не думаю, что все они поедут,— сказала сеньора Трехо.— Возможно, вот эта пара и вот эта сеньора, по всей видимости мать девушки.

— Фу, как они вульгарны,— сказала Беба.

— Фу, как они вульгарны,— передразнил сестру Фелипе.

— Не дури.

— Тоже мне, герцогиня Виндзорская. И такая же красавица, вылитая.

— Дети, прекратите,— сказала сеньора Трехо.

Фелипе наслаждался сознанием своего неожиданного превосходства, но пользовался им пока осторожно. В первую очередь стоило поставить на место сестрицу и отомстить ей за все, что он вытерпел от нее до сих пор.

— За другими столиками вполне приличные люди,— заметила сеньора Трехо.

— Очень прилично одетые люди,— ответил сеньор Трехо.

«Они мои приглашенные,— ликующе подумал Фелипе и чуть не закричал от радости.— Предок, старуха и эта дура. Теперь буду делать все, что захочу». Он обернулся к сидевшим за соседним столиком и подождал, чтобы кто-нибудь из них обратил на него внимание.

— Вы случайно не отправляетесь в путешествие? — спросил он у брюнета в полосатой рубашке.

— Я нет, молодой человек,— ответил брюнет.— А вот этот юноша с мамой и эта сеньорита со своей мамой едут.

— А-а. Вы пришли провожать.

— Да. С семейством. Вам повезло, молодой человек.

— Ничего,— сказал Фелипе.— Может, вам повезет в следующей лотерее.

— Конечно. Надеюсь.

— Точно.

VI

— Кроме того, у меня есть новости от восьминожки, — сказал Персио.

Хорхе положил локти на стол.

— А где ты ее нашел, под кроватью или в ванной? — спросил он.

— Она карабкалась по пишущей машинке, — ответил Персио. — Как ты думаешь, что она делала?

— Печатала на машинке.

— Какой умный мальчик, — сказал Персио Клаудии. — Разумеется, она печатала на машинке. Я принес ее письмо и сейчас прочту из него отрывок. Вот слушай: «Он уехал гулять по синему морю, бросив меня в горе на косогоре. И теперь множка и еще немножка стапет ждать его бедная восьминожка». И подпись: «Твоя восьминожка, с любовью и укором».

— Бедная восьминожка, — сказал Хорхе. — Чем же она будет питаться без тебя?

— Спичками, графитными стержнями, телеграммами и баночкой сардин.

— Она же не сможет ее открыть, — сказала Клаудиа.

— Что ты, восьминожка все умеет, — ответил Хорхе. — А как наша планета, Персио?

— На планете, видимо, прошел дождь, — сказал Персио.

— Да, там шел сильный дождь, — подхватил Хорхе, — и муравьечеловекам придется взбираться на плоты. Там был потоп или чуть поменьше?

Персио не был твердо уверен, но предполагал, что муравьечеловеки сумеют выкарабкаться из беды.

— Ты не принес подзорную трубу? — спросил Хорхе. — Как же мы будем на пароходе наблюдать за планетой?

— С помощью астральной телепатии, — ответил, подмигивая, Персио. — Клаудиа, вы, видимо, устали.

— Эта сеньора в белом ответила бы, что во всем виновата повышенная влажность. Да, Персио, вот мы и здесь. Что-то нас ждет?

— Ах, вы об этом. У меня не было времени изучить этот вопрос, но я разрабатываю план.

— Какой план?

— Фронтальный. Каждую вещь, каждый факт необходимо изучать с разных сторон. Люди обычно избирают один и тот же метод и достигают половинчатых результатов. Я же всегда разрабатываю фронтальный план и синкретизирую результаты.

— Понимаю,— сказала Клаудиа, но по тону ее было понятно, что ничего она не поняла.

— Надо действовать push-pull¹,— сказал Персио.— Не знаю, сумел ли я выразить свою мысль. Иные вещи, что называется, преграждают нам путь, и необходимо сдвинуть их с места, чтобы увидеть, что происходит впереди. Например, женщин, не при ребенке будь сказано. А иные надо хватать за ручку и тянуть. Этот парень Дали знает, что делает (правда, может, и не знает, но это неважно), когда изображает человеческое тело со множеством ящичков. Мне представляется, что у многих явлений есть ручки. Вдумайтесь, например, в поэтические образы. Если не вникать, то улавливаешь лишь поверхностный смысл, хотя порой он скрыт глубоко внутри. Вы довольствуетесь поверхностным смыслом? Конечно, нет. Необходимо потянуть за ручку, чтобы проникнуть в глубь ящичка. Потянуть — это значит овладеть, усвоить и выйти за обычные рамки.

— А-а,— сказала Клаудиа, делая незаметный знак Хорхе, чтобы он высморкался.

— Здесь, например, каждый элемент полон значения. Каждый столик, каждый галстук. Я вижу элемент порядка в этом ужасном беспорядке. И я спрашиваю себя, чем все это кончится.

— Я тоже. Это забавно.

— Все забавное всегда зрелищно; но не будем вдаваться в анализ, не то обнаружится его отвратительная суть. Учтите, я не против развлечений, но всякий раз, перед тем как развлечься, я сначала закрываю лабораторию и выливаю кислоты и щелочи. Следовательно, я уступаю, подчиняюсь условностям. Вы прекрасно знаете, сколь драматичен юмор.

— Прочти для Персио стихотворение про Гаррика,— сказала Клаудиа сыну.— Очень хороший пример к его теории.

— Увидев Гаррика, английского актера...— громко начал декламировать Хорхе. Персио внимательно выслушал мальчика, наградил его аплодисментами. За другими столиками тоже захлопали, и Хорхе покраснел.

— Quod erat demonstrandum²,— сказал Персио.— Конечно, моя мысль носила более общий характер: любое развлечение подобно маске на нашей совести, которая, словно ожив, заменяет собой подлинное лицо. Почему смеется человек? Смеяться не над чем, разве что над самим смехом. Заметьте, что дети, которые много смеются, потом всегда плачут.

¹ Двухтактно (англ.).

² Что и требовалось доказать (лат.).

— Ну и глупые, — сказал Хорхе. — Хотите я вам прочту стихотворение про ловца жемчуга.

— На палубе парохода, вернее, на спардеке, под мерцающими звездами ты сможешь продекламировать все, что захочешь, — сказал Персио. — А теперь мне бы хотелось понаблюдать немного за этой полугастрономической средой, которая нас окружает. Что значат эти бандонеоны¹?

— Мадонна, — сказал Хорхе зевая.

VII

Черный «линкольн», черный костюм, черный галстук. Остальное расплывчато. Самым примечательным у донна Гало Порриньо были шофер с могучей спиной и кресло-каталка, где резиновые детали соперничали с хромированными. Чтобы посмотреть, как шофер и сестра милосердия вытаскивают донна Гало из автомобиля, собралась целая толпа. Жалость к немощному кабальеро, выразившаяся на лицах людей, умялялась от сознания, что он достаточно богат. В довершение всего дон Гало, походивший на обципанного цыпленка, смотрел столь высокомерно, что так и хотелось пропеть ему в лицо «Интернационал», правда, никто этого никогда не сделал бы, как заметил Медрано, хотя Аргентина свободная страна и музыкальное искусство широко распространено в лучших кругах ее общества.

— Я совсем забыл, ведь дон Гало тоже выиграл. Да и могло ли быть иначе? Но я никак не предполагал, что он может отправиться в это путешествие. Это просто невероятно.

— Вы знакомы с этим сеньором? — спросила Нора.

— Кто в Хунине не знает донна Гало Порриньо, достоин того, чтобы его закидали камнями на самой красивой площади с широкими тротуарами, — сказал Медрано. — Превратности профессии дантиста занесли меня в сей просвещенный город, где я долго страдал, пока пять лет тому назад, о счастливое время, не перебрался в Буэнос-Айрес. Дон Гало был едва ли не первым нотаблем, которого я узнал в Хунине.

— На вид он человек почтенный, — сказал доктор Рестелли. — Но откровенно говоря, если ты едешь в таком автомобиле, как-то странно...

— С таким автомобилем, — сказал Лопес, — он может выбросить капитана за борт и из парохода сделать пепельницу.

— На таком автомобиле, — сказал Медрано, — можно заехать

¹ Бандонеон — музыкальный инструмент, вид баяна.

очень далеко. Как видите, до Хунина и даже до «Лондона». Один из моих недостатков — это сплетнеграфия, хотя должен сказать в свое оправдание, что меня интересует лишь высшая форма сплетен, а именно история. Ну что я могу рассказать вам о доне Гало? (Так обычно начинают некоторые романисты, которые прекрасно знают, о чем будут повествовать дальше.) Итак, ему, скорее, подошло бы имя Гай. Причину этого вы сами сейчас узнаете. В Хунине имеется большой магазин «Золото и Лазурь» — сакраментальное название; но если вы путешествовали по Буэнос-Айресу, в чем я весьма сомневаюсь, то знаете, что на улице Двадцать Пятого Мая¹ расположен другой магазин «Золото и Лазурь» и что вообще во всех центрах обширной провинции имеются свои филиалы «Золота и Лазури», расположенные на стратегически важных перекрестках. Одним словом, миллионы песо текут в карман дона Гало, трудолюбивого испанца, который, полагаю, приехал в нашу страну, как все его соотечественники, дабы с присущим им упорством трудиться в этой сонной и ленцовой пампе. Дон Гало, одинокий паралитик, живет в своем палермском дворце... Хорошо вышколенная администрация заботится обо всех филиалах «Золота и Лазури»; управляющие — глаза и уши короля — следят, слушают, информируют и санкционируют. Я вас не утомил?

— О нет,— сказала Нора, ловившая каждое его слово.

— Итак,— продолжал иронически Медрано, упиваясь своим красноречием, которое, как он был уверен, мог оценить до конца лишь Лопес,— пять лет тому назад праздновалась бриллиантовая годовщина бракосочетания дона Гало с магазинами тканей, пошивочными мастерскими и прочая и прочая. Местные управляющие прослышали, что патрон ожидает от служащих чествований и намеревается произвести смотр всем своим магазинам. Я в то время дружил с Пеньей, управляющим хунинского филиала, он был сильно озабочен предстоящим приездом дона Гало. Пенья узнал, что визит будет носить чисто деловой характер и что дон Гало собирается проверить все вплоть до последней дюжины пуговиц. Вероятно, сыграла свою роль тайная информация. Все управляющие были одинаково обеспокоены, и в филиалах началась настоящая гонка. В клубе со смеху покатывались, когда Пенья рассказывал, как ему удалось подкупить двух коммивояжеров, которые сообщили о приготовлениях в филиалах на улице 9 Июля и в Пеуахо. Сам он

¹ 25 мая 1810 г. было создано временное правительство провинции Рио-де-ла-Плата.

старался изо всех сил: в магазине работали допоздна, и служащие ходили злые и напуганные.

Триумфальную поездку в собственную честь дон Гало начал, кажется, с Лобоса, посетил три-четыре магазина и в одну прекрасную солнечную субботу появился в Хунине. В те времена у него был синий «бьюик», но Пенья приказал подать открытый автомобиль, на котором не отказался бы въехать в Персеполь и Александр Македонский. Дон Гало был приятно поражен, когда Пенья со свитой встретил его у городских ворот и пригласил перейти в открытую машину. Кортёж величественно въехал на главный проспект. Я, никогда не пропускавший подобных зрелищ, устроился на краю тротуара, совсем рядом с магазином. Когда машина приблизилась, служащие магазина, расставленные в стратегических пунктах, принялись аплодировать. Девушки бросали белые цветы, а мужчины (в большинстве своем нанятые) приветствовали юбиляра золотисто-голубыми флажками. Во всю ширину улицы наподобие триумфальной арки висел транспарант, на котором красовалась надпись: «Добро пожаловать, Дон Гало!» Пенье этот порыв радушия стоил бессонной ночи, но старику правилось рвенне его подданных. Машина остановилась у магазина, аплодисменты усилились (извините, но эти надоевшие штампы здесь необходимы), и дон Гало, примостившись, как обезьяна, на краешке сиденья, изредка приветственно помахивал правой рукой. Конечно, он мог бы махать и двумя руками, но я вспомнил, что это был за фрукт, Пенья ничуть не преувеличивал. Феодал посещал своих вассалов, снисходительно и в то же время недоверчиво принимая почести, которые ему воздавали. Я ломал голову, стараясь вспомнить, где я видел подобную сцену. Но интересовало меня не внешнее сходство — то же самое можно встретить на любой официальной церемонии с флажками, плакатами и букетами цветов, — а то, что скрывалось за ним (но мне-то было ясно), что объединяло между собой перепуганных продавцов, беднягу Пенью и дона Гало с его полускучающим, полухищным лицом. Когда Пенья взгромоздился на скамейку, чтобы зачитать приветственную речь (должен признаться, что большая часть ее принадлежала мне, ибо чем еще развлечься человеку в маленьком городишке), дон Гало взъерошился на своем сиденье и время от времени утвердительно кивал головой, с холодной вежливостью отвечая на оглушительные хлопки служащих, раздававшиеся точно в тех местах, которые накануне указал Пенья. И в ту самую минуту, когда Пенья подошел к самому волнующему месту (мы в подробностях описали подвиги дона Гало, self-

made man¹, самоучки и т. д. и т. п.), я заметил, что чествуемый герой сделал знак своему гориллоподобному шоферу, которого вы теперь видите перед собой. Горилла вылез из машины и что-то сказал человеку, стоявшему у тротуара, тот покраснел и шепнул на ухо соседу, который в свою очередь очень смутился и стал лихорадочно оглядываться по сторонам, словно искал спасения... Я понял, что дело близится к разгадке, еще немного, и я узнаю, почему происходящее кажется мне столь знакомым. «Наверно, он попросил серебряный урыльник, — мелькнуло у меня в голове. — Да это же Гай Тримальхион! Боже мой, все в мире повторяется!..» Но нет, он, конечно, просил не урыльник, а всего-навсего стакан воды: это был прекрасно задуманный ход, направленный на то, чтобы сразить Пенью, свести на нет пафос его речи и восстановить свое превосходство, утраченное после трюка с открытой машиной.

Конца истории Нора не поняла, но ей передался смех Лопеса. Официант только что с трудом примостил дона Гало за столиком у окна и принес ему апельсиновый напиток. Шофер отошел и встал в дверях кафе, болтая с сестрой милосердия. Кавалка дона Гало мешала всем, и это, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие. Лопес был поражен до глубины души.

— Не может быть, — повторял он. — С его увечьем и с его богатством отпраляться в путешествие только потому, что оно бесплатное?

— Не совсем бесплатное, че, — ответил Медрано. — Лотерейный билет обошелся ему в десять песо.

— В старости некоторые деловые люди позволяют себе детские капризы, — заметил доктор Рестелли. — Я сам, хоть мне и повезло, спрашиваю себя, а следовало ли...

— Вон идут какие-то типы с бандонеонами, — сказал Луцио. — Не для нас ли?

VIII

Сразу было видно, что это кафе для пижонов, с его министерскими креслами и официантами, которые строили кислые физиономии, стоило только попросить полную, без лишней пены кружку пива. Обстановка здесь не располагала, в этом-то и была вся беда.

¹ Человека, всем обязанного самому себе (англ.).

Атилио Пресутти, более известный как Пушок, запустил правую пятерню в свои густые кудри морковного цвета и с трудом протащил ее до затылка. Затем подкрутил каштановые усы и взглянул на свое веснушчатое лицо в настенном зеркале. Очевидно, не удовлетворенный, он вынул из кармашка пиджака синюю расческу и, помогая себе обеими руками, привел в порядок шевелюру. Заразившись его аккуратностью, двое друзей Пушка тоже принялись поправлять прически.

— Это кафе для пиджонов,— повторил Пушок.— Кому еще придет в голову устраивать проводы в таком месте.

— А мороженое здесь хорошее,— сказала Нелли, стряхивая с лацкана Пушка перхоть.— Почему ты надел синий костюм, Атилио? От одного его вида меня в жар бросает, честное слово.

— Если бы я положил его в чемодан, он весь смялся бы,— ответил Пушок.— Я бы скинул пиджак, но тут как-то неудобно. А ведь могли бы собраться в баре на Ньято, там уютнее.

— Помолчите, Атилио,— сказала Неллина мать.— После того, что случилось в воскресенье, я не хочу слышать ни о каких проводах... Боже мой, как только вспомню...

— Да ничего и не случилось, донья Пепа,— сказал Пушок. Сеньора Пресутти сурово посмотрела на сына.

— Как это ничего не случилось,— сказала опа.— Ах, донья Пепа, уж эти дети... По-твоему, ничего не было? А твой отец в постели с вывернутой лопаткой и вывихнутой ногой.

— Подумаешь,— сказал Пушок.— Да старик посильнее паровоза.

— А что все-таки случилось? — спросил один из друзей.

— Разве вы не были с нами в воскресенье?

— А ты и не помнишь, что нас не было? Я тренировался перед боем. Когда тренируешься, никаких праздников. Да я тебе говорил, ты вспомни.

— Вот сейчас вспомнил,— сказал Пушок.— Ты много потерял, Русито.

— А что, был несчастный случай?

— Еще какой. Старик свалился с крыши во двор и чуть не убили насмерть... Ну и суматоха поднялась.

— Настоящий несчастный случай,— сказала сеньора Пресутти,— расскажи, Атилио. А то у меня, только вспомню, мурашки по всему телу.

— Бедная донья Пепа,— сказала Нелли.

— Бедняжка,— повторила Неллина мать.

— Да ничего там не было,— сказал Пушок.— Просто собралась наша компания, чтобы проводить Нелли и меня. Старуха

пспекла отменный пирог, а ребята принесли пива и бисквитов. Мы здорово устроились на плоской крыше; я с одним пареньком натянул тент, приволокли проигрыватель. Всего было вдосталь. А собралось нас не меньше тридцати человек.

— Больше,— возразила Нелли,— я считала, почти сорок. Помню, жаркого едва хватило.

— В общем, мы там отлично обосновались, не то что здесь, в этом мебельном складе. Старик уселся во главе стола, рядом с доном Рапа, из судовой койки. Ты знаешь, как мой старикан любит заложить за воротник. Погляди, какую рожу корчит старуха! Что, не правда, скажи? Да что в этом плохого? Одно помню, когда подали бананы, все мы здорово навеселе были, а старик пуще всех. Как он заливался, мама миа. И вот тут-то взбрело ему в голову провозгласить тост за наше путешествие; поднялся он с кружкой в руке и только собрался было разинуть рот, как на него напал кашель, да такой, что он попятился назад и полетел кубарем во двор. Ну и грохот учинил. Бедный старик. Точно мешок с кукурузой, ей-богу.

— Бедный дон Пино,— сказал Русито, пока сеньора Пресутти доставала из сумочки платок.

— Ну, что ж вы, Атилио! Свою маму довели до слез,— сказала Неллина мать.— Не плачьте, донья Росита. В конце концов, ничего страшного не случилось.

— Копечло,— сказал Пушок.— Ты бы, че, только видел, какая кутерьма поднялась. Мы все бросились вниз, я был уверен, что старик свернул себе шею. Женщины голосили, словом, кутерьма. Я велел Нелли выключить проигрыватель, а донья Пепе пришлось оказывать помощь старухе, которой стало плохо. Бедняга, как она извивалась.

— А что с доном Пино? — спросил Русито, жаждавший крови.

— Старик просто чудо,— сказал Пушок.— Я как увидел его бездыханным на каменных плитах, подумал: «Все, теперь остался я без отца». Пареньек побежал вызывать «скорую помощь», а мы стали стаскивать со старика рубашу — посмотреть, дышит ли он еще. А он, как только открыл глаза, сразу же полез в карман проверить, не сперли ли у него бумажник. Уж такой он, наш старик. Потом пожаловался, что у него болит спина, но ничего страшного не было. По-моему, он был не прочь продолжить попойку. Помнишь, старуха, как мы тебя притащили, чтобы ты посмотрела, что с ним ничего не приключилось? Куда там, вместо того чтобы успокоиться, она еще сильнее ударилась в слезы.

— Значит, впечатлительная, — сказала Неллина мать. — Однажды в моем доме...

— Словом, когда прикатила «скорая», старик уже сидел на земле и все мы хохотали, точно сумасшедшие. Жаль только, что два фельдшера со «скорой» ни за что не захотели оставить его дома. Словом, беднягу увезли, но зато я воспользовался тем, что какой-то тип попросил меня подписать не знаю какую там бумажку, за это мне посмотрели ухо, которое иногда закладывает.

— Потрясающе, — повторил Русито. — Надо же, какая жалость. Как раз в этот день у меня была тренировка.

Другой приятель, в огромном твердом воротничке, вдруг вскочил:

— Смотрите, кто идет! Ребята! Потрясающе!

Торжественные, с напомаженными волосами, в безупречных клетчатых костюмах бандонеонисты из джаза Асдрубала Кресиди прокладывали себе дорогу между шумными столиками. Следом за джазистами вошел молодой человек в жемчужно-сером костюме и черной рубашке, в его кремовом галстуке красовалась булавка с эмблемой футбольного клуба.

— Мой брат, — сказал Пушок, хотя ни для кого не была секретом эта важная подробность. — Видите, пришел сделать мне сюрприз.

Известный исполнитель Умберто Роланд подошел к столику и с жаром пожал руки всем, кроме своей матери.

— Ну, брат, феноменально! — сказал Пушок. — А на радио тебя кто-то подменил?

— Придумал, будто у меня болят зубы, — ответил Умберто Роланд. — Иначе эти типы вычли бы у меня денежки. Вот ребята из оркестра тоже захотели проводить вас.

Роберто угрюмо придвинул еще один столик и поставил четыре стула. Артист заказал черный кофе с сахаром, а оркестранты предпочли пиво.

IX

Паула и Рауль вошли в кафе со стороны Флориды и уселись за столиком у окна. Паула едва взглянула на посетителей, Рауль же стал отгадывать, кто из этой толпы потных портеньо отправится с ним в морское путешествие.

— Не лежи у меня в кармане приглашение, я бы подумал, что это шутка одного из моих приятелей, — сказал Рауль. — Правда, невероятно? Как по-твоему?

— По-моему, сейчас просто невероятно жарко,— ответила Паула.— Но думаю, игра стоит свеч.

Рауль развернул кремовый листок бумаги и торжественно провозгласил:

— В восемнадцать часов в этом кафе. За багажом приедут па дом утром. Просьба являться без провожатых. Все прочее обеспечивает Организационное ведомство... Странная лотерея! Почему именно в этом кафе, скажи на милость?

— Я уже пыталась разобраться во всей этой истории,— сказала Паула,— но поняла только, что ты выиграл в лотерею и взял меня с собой, навсегда лишив возможности попасть в «Кто есть кто в Аргентине».

— Напротив, это загадочное путешествие придаст тебе еще больше веса. Скажешь, что ты нуждалась в творческом уединении, что работала над монографией о Дилане Томасе, который моден сейчас в литературных кафе. А вот я считаю, что прелесть любого безумия как раз в том, что оно плохо кончается.

— Да, порой это действительно прелестно,— сказала Паула.— Как говорится: *Le besoin de la fatalité*¹.

— В худшем случае нас ждет обычное морское путешествие, только без определенного маршрута, которое продлится от трех до четырех месяцев. Должен признаться, именно последнее обстоятельство заставило меня решиться. Куда нас могут увезти за такое время? В Китай, что ли?

— В какой из двух?

— В оба, дабы не поступиться традиционным аргентинским нейтралитетом.

— Дай бог, но вот увидишь, нас завезут в Геную, а оттуда в автобусе прокатят по всей Европе, пока от нас одни ошметки останутся.

— Сомневаюсь,— сказал Рауль.— Будь это так, они бы расстрезвонили об этом всюду. А потом поди узнай, что у них там приключилось во время посадки.

— Так или иначе,— сказала Паула,— но о каком-то маршруте все же говорилось.

— Только вскользь. И очень невнятно, так что я ничего даже не запомнил, какие-то намеки, чтобы пробудить в нас жажду рискованных приключений. Словом, приятное путешествие, сообразующееся с международной обстановкой. Значит, нас не повезут ни в Алжир, ни во Владивосток, ни в Лас-Вегас. Самой большой приманкой оказались оплаченные отпуска. Какой чи-

¹ Неотвратимость рока (*франц.*).

новник устоит перед этим? Плюс чековая книжка с аккредитивами, это тоже не сбрасывай со счета. Доллары, ты только вдумайся, доллары!

— И возможность пригласить меня.

— Разумеется. Чтобы посмотреть, удастся ли соленому ветру и экзотическим городам излечить твой любовный недуг.

— Все лучше, чем люминал,— сказала Паула, быстро взглянув на Рауля. Он тоже посмотрел на нее. И еще некоторое время они смотрели друг на друга пристально, почти вызывающе.

— Ладно,— сказал Рауль,— оставь эти шутки. Ты же мне обещала.

— Ясно,— сказала Паула.

— Ты всегда говоришь «ясно», когда кругом темным-темно.

— А что я такого сказала: все лучше, чем люминал.

— Ладно, согласен, *on laisse tomber*¹.

— Ясно,— повторила Паула.— Не сердись, красавчик. Я благодарна тебе за приглашение, поверь. Ты вытащил меня из болота, хотя и страдает моя жалкая репутация. Право, Рауль, я думаю, это путешествие пойдет мне на пользу. Особенно, если мы попадем в пелепую историю. Вот когда повеселимся.

— Как-никак, разнообразие,— сказал Рауль.— Мне надоело проектировать виллы для семейств вроде наших с тобой. Понятно, это дурацкий выход, и вообще не выход, а всего-навсего отсрочка. В конце концов мы возвратимся домой, и все пойдет по-старому. Возможно, лишь чуть лучше или чуть хуже прежнего.

— Никак не пойму, почему ты не взял с собой друга или просто более близкого тебе, чем я, человека.

— Возможно, именно потому, миледи, дабы никакая близость не связывала меня с великой южной столицей. Тем более близость, как ты знаешь...

— По-моему,— сказала Паула, смотря ему в глаза,— ты настоящий парень.

— Спасибо. Это не совсем верно, но ты поможешь мне сойти за него.

— Кроме того, я думаю, путешествие будет весьма забавным.

— Весьма.

Паула глубоко вздохнула, внезапно ощутив что-то похожее на счастье.

— Ты захватил таблетки от морской болезни? — спросила она.

¹ Довольно об этом (*франц.*).

Но Рауль не ответил — он разглядывал сборище шумных юнцов.

— Боже мой,— сказал он.— Похоже, один из них собирает-ся петь.

А

Воспользовавшись диалогом между матерью и сыном, Персио размышляет и наблюдает за тем, что происходит вокруг, воспринимая каждый объект через логос или извлекая из логоса нить, а из сущности — тонкий хрупкий след, который должен привести его к зрелищу — так бы ему хотелось — и открыть лазерку к синтезу. Без всяких усилий Персио отбрасывает фигуры, примыкающие к центральной общности, подбивает и накапливает значимый итог, постигает и осуждает окружающие обстоятельства, расчленяет и исследует, отделяет и кладет на весы. То, что он видит перед собой, принимает выпуклые очертания, способные вызвать холодный пот, галлюцинации, где нет ни тигров, ни жесткокрылых жуков, михорадку, которая терзает свою жертву без обезьяньих прыжков и эхололии лебедей. Вне кафе остались статисты, которые участвуют в проводах (но теперь это уже называют игрой), они не знают, чем все это кончится. Персио все больше и больше нравится откладывать на талере мимолетные конфигурации тех, кто остается, и тех, кто наверняка отправится в путешествие. Он знает о правилах игры не более других, но чувствует, что они рождаются тут же в каждом игроке, словно на безграничной шахматной доске, лежащей между немymi противниками, одни, чтобы стать слонами и конями, другие — дельфинами и шаловливыми сатирами. Каждая партия — это целая навмахия, каждый ход — поток слов или слез, каждая клеточка — крупинка песка, море крови, беличье колесо или фиаско жонглеров, что катятся по лугу, сотканному из бубенцов и рукоплесканий.

Итак, городские средоточие добрых намерений, направленных на благотворительность и, возможно (точно неизвестно), на темную науку, по которой режет резцом судьба, фортуна счастливицков — все, что породило это собрание в «Лондоне», это маленькое войско, в котором Персио угадывает правофланговых, фуражиров, перебежчиков и, быть может, даже героев, прикидывает дистанцию от аквариума до витрины, определяет льдинки времени, которые разделяют взгляд мужчины от улыбки, облаченной в гоше¹, неисчислимую даль судеб, которые

¹ Здесь: губная помада (франц.).

вдруг собираются вместе, образуя жуткое смешение одиноких существ, внезапно встретившихся после того, как они покинули такси, станции, любовниц и конторы, и вот они уже единое тело, но еще не осознавшее себя, не знающее, что оно странный предлог для туманной саги, которая, возможно, рассказывается напрасно или не будет рассказана вовсе.

Х

— Таким образом,— сказал Персио со вздохом,— вдруг получится, что все мы единое целое, которое никто не видит или одни видят, а другие нет.

— Вы словно всплываете из-под воды,— сказала Клаудиа,— и хотите, чтобы я вас поняла. Скажите хотя бы, о чем речь. Или ваш фронтальный план абсолютно непостижим?

— Нет, что вы,— возразил Персио.— Просто всегда легче увидеть, чем рассказать об увиденном. Я безумно благодарен вам, Клаудиа, за то, что вы предоставили мне возможность попутешествовать. С вами и Хорхе мне будет так хорошо. Весь день на палубе я стану заниматься гимнастикой и распевать песенки, если это разрешено.

— Ты никогда не плавал на пароходе? — спросил Хорхе.

— Нет. Но я читал романы Конрада и Пио Барохи¹, писателей, которыми ты будешь восхищаться через несколько лет. Вам не кажется, Клаудиа, что, пускаясь в какое-либо предприятие, мы отказываемся от частицы самого себя, чтобы приобщиться к почти всегда неизвестному механизму, некоей сороконожке, где мы становимся всего лишь колечками и тучкой выхлопных газов, выражаясь технически?

— Он сказал «газы»! — радостно закричал Хорхе.

— Сказал, но не в том смысле, в каком ты думаешь. Я считаю, Персио, что даже без того, что вы называете отказом, мы не ахти как велики. Мы слишком пассивны, слишком послушны судьбе. В лучшем случае мы своего рода столпники или святоши с птичьим гнездом на голове.

— Мое наблюдение не было аксиологическим, ни тем более нормативным,— сказал Персио с ученым видом.— В действительности я лишь впадаю в унаимизм, вышедший из моды, но стараюсь придать ему иное толкование. Ибо давно известно, что коллектив — это больше, а порой и меньше, чем обычная сумма

¹ Пио Бароха (1872—1956) — испанский писатель, представитель так называемого «поколения 1898 года».

слагаемых. Мне хотелось бы выяснить, если, конечно, мне удастся войти в этот коллектив, в то же время оставаясь вне его (а я полагаю, что это возможно), служит ли чему-нибудь эта произвольно складывающаяся и распадающаяся человеческая сороконожка, представляет ли она собой фигуру в магическом смысле слова и способна ли эта фигура в определенных условиях к движению более значительному, нежели движение ее отдельных членов. Уф!

— Более значительному? — переспросила Клаудиа. — Давайте сначала рассмотрим этот сомнительный термин.

— Когда мы наблюдаем какое-нибудь созвездие, — сказал Персио, — мы как бы заранее уверены в том, что гармония, ритм объединяют звезды, входящие в него; разумеется, мы сами превносим их, но превносим потому, что и в созвездии есть нечто, определяющее эту гармонию, — нечто более глубокое и значительное, чем отдельные звезды. Вы не замечали, что звезды, которые не входят в созвездия, кажутся незначительными рядом с созвездиями, этими нерасшифрованными письменами. Священная таинственность созвездий определяется не только астрологическими и мнемоническими причинами. Человек с самого начала должен был предчувствовать, что каждое созвездие — это своего рода клан, общество, раса; нечто резко противоположное ему, пожалуй даже антагонистическое. Иными ночами я испытывал на себе борьбу звезд, их неимоверно напряженную игру. И это несмотря на то, что с крыши нашего пансиона не слишком хорошая видимость: ведь в воздухе всегда полно дыма.

— Ты смотрел на звезду в телескоп, да, Персио?

— О нет, — ответил Персио. — На некоторые вещи необходимо смотреть невооруженным глазом. Я не против науки, но думаю, что только поэтическое видение способно проникнуть в смысл фигур, начертанных ангелами. Сегодня вечером в этом жалком кафе, возможно, появится одна из таких фигур.

— Где эта фигура, Персио? — спросил Хорхе, оглядываясь вокруг.

— Она начинается с лотерей, — очень серьезно ответил Персио. — С помощью шаров из сотен тысяч людей были выбраны несколько мужчин и женщин. Они в свою очередь выбрали себе попутчиков (чему я весьма рад). Обратите внимание, Клаудиа, в этой фигуре нет ничего прагматичного либо функционального. Мы не розетка готического собора, а эфемерная розочка, на миг застывшая в игрушечном калейдоскопе. Но прежде чем эта розочка распадется и уступит место новому прихотливому узору, в какие игры мы станем играть друг с другом, как будут

сочетаться цвета, холодные и теплые, тусклые и яркие настроения и темпераменты, безрассудные и практические?

— О каком калейдоскопе ты говоришь, Персио? — спросил Хорхе.

Послышались звуки танго.

XI

И мать, и отец, и сестра учащегося Трехо пришли к выводу, что неплохо было бы заказать чай с пирожными. Поди узнай, когда удастся поужинать на пароходе, и, кроме того, нельзя же начинать путешествие с пустым желудком (мороженое не в счет, это не еда, раз оно тает). На пароходе первое время надо будет есть всухомятку и лежать на спине. При морской болезни хуже всего самовнушение. Тетю Фелису начинает мутить, стоит ей только оказаться в порту или просто увидеть в кино подводную лодку. Фелипе, зеленея от тоски, слушал эти набившие оскомину фразы. Теперь его мать расскажет, как ее укачало в молодости во время прогулки по дельте. Потом папаша напомним ей, как он советовал в тот день не есть так много дыни. Потом сеньора Трехо ответит, что виновата была вовсе не дыня, потому что она ела ее с солью, а от посоленной дыни ничего плохого не бывает. Потом ей захочется узнать, о чем разговаривают за своим столиком Черный Кот с Лопесом. О колледже, конечно, о чем же еще могут разговаривать между собой учителя. Вообще-то ему следовало бы пойти поздороваться с ними, но к чему — он еще увидит их на пароходе. Лопес ему совсем не мешал, напротив, он свой парень, но какого черта выигрыш выпал этому сухарю Черному Коту.

Он снова невольно подумал о Негрите, которая осталась дома одна, с не очень печальным видом, хотя и немного опечаленная. Не из-за него, конечно. Лентяйку огорчило то, что она не смогла поехать вместе с хозяевами. Вообще-то он идиот; если бы как следует настоял, чтобы ее взяли, матери в конце концов пришлось бы уступить. Или Негриту, или никто. «Но, Фелипе...» А что? Разве плохо иметь при себе прислугу? Они, конечно, сразу бы догадались о его намерениях. Они способны сделать ему пакость, благо он еще несовершеннолетний, наябедничают судье, и прощай пароход. Интересно, отказались бы старики из-за Негриты от путешествия? Конечно, нет. А вообще, какое ему дело до Негриты. До самого последнего времени она не пускала его к себе в комнату, хотя он изрядно тискал ее в коридоре и обещал купить наручные часики, как только вы-

клянчит деньги у старика. Бедная девочка, на что ей рассчитывать с такими ногами... Однако вопреки этим мыслям Фелипе почувствовал, как по всему его телу разлилась приятная истома, он выпрямился на стуле и на какую-то долю секунды опередил Бебу, схватив пирожное, где было побольше шоколада.

— Снахальничал, как всегда. Обжора.

— Помалкивай, ты, дама с камелиями.

— Дети...— сказала сеньора Трехо.

Кто знает, найдутся ли на пароходе стоящие девки. Невольно припомнился Ордоньес, заводила с пятого курса, советы, какие давал он на скамейке у конгресса в летнюю ночь. «Выше нос, парень, ты уже не маленький, не теряйся». Фелипе возражал презрительно и немного смущенно, Ордоньес отвечал папибратским похлопыванием по колену. «Ладно, ладно, не корчи из себя жеребчика. Я старше тебя на два года и знаю, что в твоём возрасте это только игра в куклы. Плохого тут ничего нет. Но теперь, когда ты стал ходить на танцы, этого мало. Первую, которая позволит, хватай и волоки в Тигре¹, там полапаешь ее вдосталь. Если ты на мели, скажи, я попрошу моего брата, счетовода, он уступит тебе свою берлогу. На постели всегда лучше, усек...» И масса воспоминаний, подробностей, дружеских советов. Несмотря на стыд и досаду, Фелипе был благодарен Ордоньесу. Как он отличался, например, от Альфиери... Правда, Альфиери...

— Кажется, будет музыка,— сказала сеньора Трехо.

— Какая пошлятина,— сказала Беба.— Такое не должны позволять.

Уступив настойчивым просьбам родственников и друзей, популярный певец Умберто Роланд поднялся из-за столика, а Пушок и Русито с помощью локтей и уговоров принялись расчищать место для трех музыкантов и их инструментов. Слышался смех и шуточки; у окон кафе, выходящих на Авениду, теснились прохожие. С улицы в окно с явным недоумением заглядывал полисмен.

— Потрясающе! Потрясающе! — кричал Русито.— Че Пушок, у тебя великий брат!

Пушок снова очутился рядом с Нелли и, размахивая руками, призывал всех к тишине.

— Чутьочку внимания, че! Мама миа, да это заведение — настоящий содом!

Умберто Роланд откашлялся и пригладил волосы.

¹ Пригород Буэнос-Айреса.

— Просим извинить нас, что мы не смогли прийти с оркестром,— сказал он.— Выступим, как сумеем.

— Давай, парень, давай.

— В знак прощания с моим дорогим братом и его славной невестой я исполню вам танго Виски и Кадикамо «Отчаянная крошка»!

— Потрясающе! — крикнул Русито.

Бандонеонисты проиграли вступление, и Умберто Роланд, сунув левую руку в карман брюк, а правой взмахнув в воздухе, запел:

О че мадам, ты знаешь по-французски,
на ужин у тебя шампанское с закуской,
соришь деньгами, не жалеешь красоты
и танго поверяешь все свои мечты...

Как ни странно, в «Лондоне» оказалась хорошая акустика: едва за столиком, где сидел Пушок, воцарилась мертвая тишина, разговоры за другими столиками зазвучали громче и отчетливей. Пушок и Русито кидали вокруг яростные взгляды, а Умберто Роланд пел грудным голосом:

Твой ухажер — индеец камба,
а ведь тебе лишь двадцать лет...

Карлос Лопес почувствовал себя совершенно счастливым, о чем незамедлительно сообщил Медрано. Доктор Рестелли — как он сам выразился — был явно удручен тем, какой оборот приняли события.

— Завидная непринужденность у этих людей,— сказал Лопес.— Это уже почти совершенство, если вспомнить, что они из себя представляют. Ведь им и в голову не приходит, что в мире существует что-то, кроме танго и клуба Расинг.

— Взгляните на дона Гало,— сказал Медрано.— Старик, по моему, вконец перепугался.

Дон Гало, выйдя из оцепенения, грозными знаками подзвал шофера. Тот подбежал к хозяину, выслушал его и снова поспешно вышел. Все видели, как он разговаривал с полицейским, который наблюдал с улицы Флорида за сценой в кафе. Видели и жест полицейского, когда он поднял руку и словно поманил кого-то.

— Да, конечно,— добавил Медрано.— Но в конце концов, что в этом плохого.

Тебя зовут отчаянною крошкой,
ты водишь за нос простаков без счета...

Паула и Рауль по-настоящему наслаждались этой сценой, Лусио и Нора, напротив, были заметно шокированы. Семейство Фелипе застыло в холодном отчуждении, а сам Фелипе зачарованно смотрел на неистово мелькавшие пальцы бандонеонистов. Чуть в стороне Хорхе уплетал вторую порцию мороженого, а Клаудиа с Персио все дальше забредали в дебри метафизического диалога. И, словно не замечая ничего вокруг, не обращая внимания на равнодушие и веселье завсегдатаев «Лондона», Умберто Роланд приближался к печальной развязке в судьбе гордой креолки:

Неверной ты всегда была мне,
любовь мою ты не хранила...

Среди криков, рукоплесканий, стука чайных ложечек о столы поднялся потрясенный Пушок и крепко обнял брата. Пожав руки трем музыкантам, он ударил себя в грудь и, вытащив огромный носовой платок, высморкался. Умберто Роланд снисходительно поблагодарил за аплодисменты, с привычной улыбкой выслушал похвалы Нелли и остальных сеньор, поперхнувшись куском пирожного, издал дикий рев. За столиком засуетились, все кричали и требовали, чтобы Роберто скорее принес стакан воды.

— Ты был бесподобен,— растроганно говорил Пушок.

— Как обычно, не более,— скромно отвечал Умберто Роланд.

— А какое чувство! — заметила Неллина мать.

— Он у нас всегда такой,— сказала сеньора Пресутти.— А вот об учебе и слышать не хочет. Одно искусство.

— Точно, как я,— сказал Русито.— Да пошла она, эта учеба, подальше. Гроби деньгу, и вся недолга.

Нелли извлекла кусок пирожного из горла малыша. Зеваки, столпившиеся у окон, начали расходиться, доктор Рестелли с видимым облегчением провел пальцем под накрахмаленным воротничком.

— Итак,— сказал Лопес.— Кажется, уже пора.

Двое мужчин в темно-синих костюмах расположились в середине зала. Один из них коротко ударил в ладоши, а другой жестом призвал к тишине и голосом, способным перекрыть любой шум, объявил:

— Всех сеньоров, не имеющих письменного приглашения, а также всех провожающих просим покинуть помещение.

— Что, что? — спросила Нелли.

— То, что нам пора сматывать удочки, — сказал один из друзей Пушка. — Надо же, только начали как следует веселиться.

Когда прошло первое удивление, послышались возмущенные возгласы и протесты посетителей кафе. Мужчина, только что державший речь, поднял руку и сказал:

— Я инспектор Организационного ведомства и исполняю приказ свыше. Приглашенных прошу оставаться на своих местах, а всех остальных — немедленно покинуть помещение.

— Посмотри, — сказал Лусио, обращаясь к Норе. — Авенида оцеплена полицейскими. Это, скорее, похоже на облаву.

Официанты «Лондона», пораженные не менее посетителей, не успевали получать по счету, возникли затруднения со сдачей, делались попытки вернуть несъеденные пирожные, были и другие осложнения. За столиком, где сидел Пушок, раздавались громкие рыдания. Сеньора Пресутти и Неллина мать совершали тягостный обряд прощания с родственниками, остающимися на суше. Нелли утешала мать и свою будущую свекровь, Пушок обнимал Умберто Роланда и обменивался дружескими похлопываниями по спине со всеми приятелями.

— Счастливого пути! Счастливо! — кричала молодежь. — Пиши нам, Пушок!

— Я пришлю тебе открытку, че!

— Не забывай приятелей, че!

— Да как можно! Счастливо!

— Да здравствует Бока !! — кричал Русито, вызываясь глядя на соседние столики.

Два важных господина приблизились к инспектору Организационного ведомства и уставились на него, словно он свалился с другой планеты.

— Вы можете подчиняться любым приказам, — сказал один из них, — но я еще никогда в жизни не видел подобного произвола.

— Проходите, проходите, — не глядя на них, сказал инспектор.

— Я доктор Ластра, — сказал доктор Ластра, — и так же, как вы, прекрасно знаю свои права и обязанности. Это кафе общественное, и никто не имеет права заставить меня покинуть его без письменного приказа.

Инспектор молча достал бумагу и показал ее господину.

— Ну и что же, — сказал другой господин. — Это всего лишь

¹ Район в Буэнос-Айресе.

узаконенный произвол. Разве мы находимся на осадном положении?

— Направьте, пожалуйста, свой протест по соответствующим каналам,— сказал инспектор.— Че Виньяс, проводи этих дам из зала. Не то они тут будут пудриться до утра.

Толпа людей, пытавшаяся через полицейский кордон рассмотреть, что происходит в кафе, в конце концов задержала движение на Авенюде. Посетители покидали кафе с удивленными и расстроенными лицами, выходя на Флориду, где не было такого скопления народа. Господин по имени Виньяс и инспектор Оргведомства обходили столики, требуя предъявить пригласительные билеты и точно указать сопровождающих лиц. Полицейский, навалиясь на стойку, болтал с официантами и кассиром, получившими строгий приказ не покидать своих мест. «Лондон» опустел, и можно было подумать, что еще раннее утро, если бы не наступившие сумерки и не доносившийся с улицы шум.

— Ладно,— сказал инспектор.— Можно опускать жалюзи.

В

По какой причине паутина или картина Пикассо должны быть такими, какие они есть, то есть почему картина не должна объяснить паутину, а паук не должен определять сущность картины? Что значит быть таким, как есть? Увиденное в самой маленькой частице мела будет зависеть от облака, проплывающего за окном, или от надежды наблюдателя. Предметы приобретают больший вес, если их рассматривать; восемь плюс восемь — шестнадцать, плюс тот, кто считает. Значит, быть таким, как есть, возможно, именно не быть таким, а лишь столько стоять, столько обещать, настолько обманывать. В таком случае совокупность людей, которые должны сесть на пароход, сама по себе не гарантирует посадку, если предположить, что обстоятельства изменятся и посадки не будет или ничто не изменится и посадка произойдет; в таком случае паутина, или картина Пикассо, или совокупность людей примет определенную форму и уже нельзя будет считать последнюю совокупностью людей, которые должны совершить посадку. Извечное красноречивое и печальное побуждение возникает от желания, чтобы скорее что-то произошло и наконец все успокоилось, и тогда по столикам «Лондона» неудержимо побегут капельки ртути — чудо из детства.

Что приближает нас к предмету, что толкает и направляет к нему? Обратная сторона предмета — таинство, которое его заставило (именно заставило, и невозможно сказать «привело...») стать тем, чем он есть. Историк искусства, проходя по галерее коллажей Ганса Арпа, не в состоянии их перевернуть, он вынужден созерцать их только с лицевой стороны по обеим сторонам галереи, видеть коллажи Ганса Арпа, словно это всего лишь полотнища, свисающие со стен. Историк прекрасно знает причины битвы при Заме, без сомнения знает, но эти известные ему причины всего лишь другие формы Ганса Арпа в других галереях, и причины этих причин или следствия причин этих причин блестяще освещены с лицевой стороны, как формы Ганса Арпа в любой другой галерее. Тогда то, что приближает к предмету, его обратная сторона, будь она зеленой или мягкой, обратная сторона следствия и обратная сторона причин, другое зрение и другое осязание, вероятно, могли бы осторожно развязать розовые или лазурные тесемки маски, открыть лицо, дату, условия в галерее (прекрасно освещенной) и указкой терпения водить по великой поэзии.

Таким образом, пока спасительная аналогия не внесла свои блестящие альтернативы в наше настоящее и будущее, «Лондон» можно представить полом, где на высоте десяти метров расположена грубая шахматная доска с плохо расставленными фигурами, нарушающими черно-белое содружество клеток, из неподвижное согласие, в двадцати сантиметрах от нас румяное лицо Агостино Пресутти, в трех миллиметрах — блестящая поверхность никеля (пуговица, зеркало?), а в пятидесяти метрах — гитарист, написанный Пикассо в 1918 году, моделью для которого послужил Аполлинер. Если расстояние, которое делает предмет тем, чем он есть, измеряется нашей уверенностью в знании предмета таким, какой он есть, то не стоило бы продолжать это описание, с радостью и рвением плести его нить. Еще меньше стоило бы надеяться на объяснение причин, по которым их созвали, достаточно конкретизированных в письмах с официальным штампом и подписью. Развитие во времени (неизбежная точка зрения, извращенная причинность) воспринимается лишь как следствие жалкого эллинистического распределения по клеточкам прошлого, настоящего и будущего, порой завуалированного галльской непрерывностью или вневременным и неясным, гипнотическим оправданием. Подлинность происходящего в данный момент (полиция опустила жалюзи) отражает и расчленяет время на неисчислимые грани, из части этих граней, возможно, удастся извлечь прозрачный луч, вернуться назад —

и тогда в жизни Паулы Лавалье вновь появится сад Акауссо, а Габриэль Медрано прикроет дверь своего детства с разноцветными стеклами. Только и всего, но это все же меньше, чем ничто в сельве из листьев причинности, приведших к этому собранию. История мира сверкает в любой латунной пуговице униформы любого полицейского, рассеивающего скопление людей. В тот самый миг, когда внимание концентрируется на этой пуговице (второй, считая от шеи), связи, которыми она полнится и которые заставляют ее быть тем, чем она есть, становятся как бы стремлением к ужасу пространства, перед которым бессмысленно даже упасть ниц. Вихрь, вырывающийся из пуговицы и грозящий поглотить того, кто на нее смотрит, если он осмеливается не только смотреть, есть разрушительное видение смертельной игры зеркал, ведущейся от следствия к причине. Когда плохие читатели романов намекают на необходимость достоверности, они безнадежно уподобляются идиоту, который после двадцати дней путешествия на борту морского лайнера «Клод Бернар» спрашивает, указывая на нос корабля: «*C'est-par-là-qu'on-va-en-avant?*»¹

XII

Когда они вышли на улицу, было почти темно: рыжие тучи словно прилепились к небосклону. Инспектор тщательно отобрал двух полицейских, чтобы они помогли шоферу перенести дону Гало к автобусу, который ожидал поодаль, у здания муниципалитета. Расстояние и необходимость пересечь улицу очень затруднили доставку дону Гало; одному из полицейских пришлось даже задержать движение на углу улицы Боливара. Вопреки предположению Медрано и Лопеса на улице собралось немного зевак, прохожие приостанавливались, чтобы посмотреть на странный спектакль, разыгравшийся у «Лондона» с опущенными жалюзи, обменивались замечаниями и продолжали свой путь.

— А почему не подогнать автобус к самому кафе? — спросил Рауль у полицейского.

— Не приказано, сеньор, — ответил полицейский.

Благодаря знакомству, которое начал любезный инспектор и вдруг продолжили смущенные и развеселившиеся путешественники, образовалась плотная группа, словно свита, сопровождавшая каталку дону Гало. Автобус, по-видимому, был военный,

¹ Это отсюда мы движемся вперед? (франц.).

хотя на его блестящих черных боках с узкими окнами не было никаких надписей. Водворение дон Гало в автобус осложнилось из-за всеобщего замешательства и дружного желания помочь, особенно старался Пушок: вскочив на подножку, он давал мрачному шоферу самые противоречивые советы. Как только дон Гало был усажен на переднем сиденье, а каталку, точно огромный аккордеон, сложил шофер, путешественники забрались в автобус и расселись, двигаясь почти на ощупь по темному салону. Лусио и Нора, пересекая Авениду под руку, отыскивали место поукромнее и затихли, с опаской поглядывая на остальных пассажиров и полицейских, стоявших вдоль улицы. Медрано и Лопес завели разговор с Паулой и Раулем, а доктор Рестелли обменивался короткими замечаниями с Персио. Клаудиа и Хорхе, каждый на свой лад, развлекались, остальные были слишком заняты разговором, чтобы обращать внимание на окружающих.

Шум металлических жалюзи на окнах «Лондона», которые снова поднимали Роберто и другие служащие, прозвучал в ушах Лопеса заключительным аккордом, словно между ним и прошлым навсегда вставала некая преграда. Медрано снова закуривал, всматриваясь в едва различимые номера «Ла Пренса» на стендах. Автобус просигналил и медленно тронулся. Скорбящие родичи Пушка рассуждали о том, что все расставания печальны, ибо одни уезжают, а другие остаются, и, пока есть здоровье, путешествия всегда будут радостью для одних и горем для других, однако нельзя думать только об уезжающих, кто-то ведь и остается. Мир слишком скверно устроен, вечно одно и то же: одним все, другим ничего.

— Как вам понравилась речь инспектора? — спросил Медрано.

— Со мной всегда так, — сказал Лопес. — Пока этот господин говорил, мне его объяснения казались убедительными и вполне меня устраивали. А сейчас они уже не кажутся мне такими неоспоримыми.

— Меня же забавляет обилие ненужных сложностей, — сказал Медрано. — Разве не проще было пригласить нас в таможню или на приставь? Как по-вашему? Можно подумать, что кто-то боялся лишиться себя тайного удовольствия подглядывать за нами из окон муниципалитета! Как в некоторых шахматных партиях, когда игра усложняется ради чистого интереса.

— Иногда, — сказал Лопес, — это делается, чтобы скрыть истинный замысел. Похоже, что-то у них не получилось с нашим путешествием и они плугуют или на самом деле не знают, что с нами делать.

— Это было бы неприятно,— сказал Медрано, вспоминая о Геттине.— Мне совсем не улыбается остаться на бобах в последний момент.

Низом — там уже было совсем темно — они добрались до северной гавани. Инспектор взял в руки микрофон и обратился к пассажирам с видом куковского гида. Рауль и Паула, сидевшие впереди, заметили, что шофер старался вести машину очень медленно, чтобы дать инспектору время высказаться.

— Ты разглядела наших попутчиков,— сказал Рауль на ухо Пауле.— Довольно полно представлены все слои населения. Процветание и прозябание выражено достаточно ярко. И какого черта мы тут делаем.

— Я, например, намерена развлекаться,— ответила Паула.— Слышишь объяснения, какие дает наш Virgilius. Слово «трудности» не сходит у него с языка.

— За десять песо, что стоит билет,— сказал Рауль,— глупо рассчитывать на удобства. Как тебе нравится вон та женщина с ребенком? У нее привлекательное лицо, приятные и тонкие черты.

— Более примечателен вот тот калека. Он похож на каракатицу.

— А молодой человек, путешествующий со своими родителями? Как он тебе?

— Вернее, родители, путешествующие со своим сыном.

— Он, пожалуй, выделяется среди этого серого семейства,— сказал Рауль.

— Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть,— отчеканила Паула.

Инспектор делал особый упор на необходимость во что бы то ни стало сохранять спокойствие, присущее воспитанным людям, и не возмущаться мелкими неполадками и трудностями, «организационными трудностями».

— Но все прекрасно,— говорил доктор Рестелли, обращаясь к Персио.— Все идет как надо, не правда ли?

— Я бы сказал, несколько сумбурно.

— Что вы, ничего подобного. Я полагаю, у властей были причины организовать наше путешествие именно таким образом. Не скрою, я бы кое-что изменил, и в первую очередь состав пассажиров, имея в виду, что не все из них соответствуют определенному уровню. Например, молодой человек, что сидит через проход...

— Мы еще не знакомы,— сказал Персио.— И думаю, никогда и не познакомимся...

— Возможно, вы не сталкивались с такими субъектами, но мне в силу моих обязанностей преподавателя...

— Ну, знаете ли,— сказал Персио, делая величественный жест рукой.— Во время кораблекрушений самые отъявленные мерзавцы порой совершают героические поступки. Вспомните хотя бы случай на «Андреа Дориа».

— Не помню,— сказал немного задетый доктор Рестелли.

— Там один монах спас моряка. Как видите, заранее никогда ничего не известно. Вас не встревожили слова инспектора?

— Он все еще говорит. Может быть, нам следует его послушать.

— Он все время повторяется. А мы уже почти подъехали к причалу,— сказал Персио.

Хорхе вдруг вспомнил о своем резиновом мячике и о бильбоке с золоченым украшением. В каком они лежат чемодане? А книжки Дэви Кроккета?

— Вещи нам доставят в каюту,— сказала Клаудиа.

— Вот здорово! Двухместная каюта. Мам, а тебя укачивает?

— Нет. Кроме Персио, боюсь, никого и не укачает. Разве только кого-нибудь из этих сеньор и сеньорит, которые сидели за столиком, где пели танго. Тут ничего не поделаешь.

Фелипе Трехо мысленно перебирал названия портов, где будут стоянки (если только непредвиденные обстоятельства не внесут изменений в последнюю минуту, сказал инспектор). Сеньор и сеньора Трехо смотрели на улицу, провожая глазами фонарные столбы, словно прощаясь с ними навсегда, словно разлука с ними была невыносимой.

— Как грустно покидать родину,— сказал сеньор Трехо.

— Подумаешь! — фыркнула Беба.— Мы же вернемся.

— Вот именно, дорогая,— сказала сеньора Трехо.— Всегда возвращаешься в тот уголок, где ты появился на свет, как говорится в стихах.

Фелипе смаковал названия, словно это были изысканные фрукты; он вертел их во рту, чуть надкусывал: Рио, Дакар, Кейптаун, Йогоама. «Никому из нашей ватаги не увидеть столько чудес сразу,— думал он.— Буду посылать им открытки с видами...» Закрыв глаза, он вытянулся на сиденье. Инспектор говорил о какой-то предосторожности...

— Должен указать вам на необходимость соблюдать известную предосторожность. Ведомство учло все детали, однако в последний момент может возникнуть непредвиденное, и это повлечет некоторые изменения в маршруте.

Инспектор сделал паузу, автобус остановился, и в наступившей тишине совершенно неожиданно прозвучал клекот дона Гало:

— А на какой пароход нам садиться? Почему до сих пор мы не знаем, на каком пароходе поплывем?..

XIII

«Вот он, этот вопрос,— подумала Паула.— Злосчастный вопрос, который может все испортить. Сейчас ответят: «Садитесь на...»

— Сеньор Порриньо,— сказал инспектор,— название парохода как раз и представляет собой одну из трудностей, о которых я говорил ранее. Час тому назад, когда я имел честь присоединиться к вам в кафе, Ведомство пришло к соглашению по данному вопросу, однако за это время могли произойти неожиданные изменения, которые повлекут за собой определенные последствия. Считаю целесообразным подождать несколько минут, и тогда, надеюсь, наши сомнения рассеются.

— Отдельную каюту,— сухо сказал дон Гало,— с отдельным туалетом. Такова договоренность.

— Договоренность,— любезно поправил его инспектор,— это не совсем то слово, однако полагаю, сеньор Порриньо, в данном вопросе трудностей не ожидается.

«Это не сон, иначе все было бы слишком просто,— подумала Паула.— Рауль назвал бы это, скорее, рисунком, рисунком...»

— Каким рисунком? — спросила она.

— Какой еще рисунок? — удивился Рауль.

— На какой рисунок, по-твоему, все это похоже?..

— Анаморфный, ослица. Да, почти анаморфный. Выходит, мы даже не знаем, на каком пароходе поедим?

Они рассмеялись: это их несколько не волновало. Зато доктор Рестелли был впервые поколеблен в своих убеждениях относительно государственных порядков. Лопеса и Медрано выступление дона Гало побудило выкурить еще по одной сигарете. Они тоже забавлялись происходящим.

— Похоже на волшебный поезд,— сказал Хорхе, единственный, кто понимал все, что происходит.— Влезешь в него, а там разные чудеса: по лицу ползает косматый паук, пляшут скелеты...

— Мы всю жизнь жалуемся, что не происходит ничего интересного,— сказала Клаудиа,— а стоит чему-нибудь случиться (только случай и может быть интересным), как многие из нас

начинают волноваться. Не знаю, как вас, а меня волшебные поезда развлекают куда больше, чем станция «Феррокарриль хенераль Рока».

— Разумеется,— сказал Медрано,— но дело в том, что дона Гало и кое-кого еще беспокоит состояние неизвестности. Вот почему они так озабочены и интересуются названием парохода. А что может дать название? Разве оно спасет нас от того, что мы называем «завтра», от этого чудовища, которое не открывает своего лица и подчинить которое невозможно.

— Между прочим,— сказал Лопес,— впереди начинают вырисовываться контуры небольшого военного корабля и грузового судна. Вероятней всего, шведского, они всегда такие светлые, чистенькие...

— Хорошо говорить о неопределенности будущего,— сказала Клаудиа.— Это тоже своего рода приключение, пусть обыденное, но приключение; в этом случае будущее приобретает особый смысл. Если настоящее имеет для нас неповторимый вкус, то лишь потому, что будущее служит для него некой приправой, да простят мне столь кулинарную метафору.

— Однако не всем нравятся острые приправы,— заметил Медрано.— Возможно, существует два совершенно противоположных способа усилить чувство настоящего. Ведомство, например, предпочитает устранить всякое конкретное упоминание о будущем и создать налет нездоровой таинственности. И прорицатели, конечно, пугаются. А я, напротив, острее чувствую несуразность настоящего и поминутно смакую его.

— Я тоже,— сказала Клаудиа.— Но отчасти еще и потому, что не верю в будущее. Ведь от нас скрывают именно настоящее... Вероятно, они и сами не понимают, какую нагнали таинственность своими бюрократическими тайнами.

— Разумеется, не понимают,— сказал Лопес.— Но какая там таинственность. Просто неразбериха, путаница в документах, столкновение интересов должностных лиц — словом, как всегда.

— Ну и пускай,— сказала Клаудиа.— Лишь бы мы развлекались, как сегодня.

Автобус остановился у складов таможни. Порт стоял погруженный в темноту, нельзя же было считать освещением одинокие фонари да изредка вспыхивавшие огоньки сигарет полицейских офицеров, ожидавших у приоткрытых ворот. В нескольких шагах лишь с трудом удавалось различить очертания предметов, тяжелый запах летнего порта пахнул в лицо пассажирам, которые, скрывая смущение и радость, стали выходить из авто-

буса. Дон Гало взгромоздился на свое кресло, и шофер покатил его к воротам, куда инспектор повел всю группу. «Не случайно, — подумал Рауль, — все стараются держаться поближе друг к другу. Отстать — значит почти наверняка не поехать».

Подошел полицейский офицер и вежливо сказал:

— Добрый вечер, сеньоры.

Инспектор достал из кармана бумаги и передал их офицеру. Сверкнул луч электрического фонарика, вдалеке просигналил автомобиль, кто-то из пассажиров закашлялся.

— Сюда, пожалуйста, — сказал офицер.

Желтый глаз фонарика заскользил по цементному полу, заваленному соломенной трухой, обломками дерева и клочками бумаги. Голоса вдруг гулко разнеслись под сводами огромного и пустого пакгауза. Желтый глаз выхватил из темноты длинную таможенную стойку и замер, чтобы указать проход, к которому все осторожно продвигались. Раздался голос Пушкина: «Ну и представление! Правда, похоже, как у Бориса Карлова». Когда Фелипе Трехо закурил сигарету (мать, окаменев, взирала на него, это было впервые в ее присутствии), трепетный свет спички на секунду озарил процессию, неуверенно шагавшую к воротам в глубине порта, окутанного ночным полумраком. Повиснув на руке Лусио, Нора шла с закрытыми глазами, пока они не очутились по другую сторону ворот, под темным, беззвездным небом, но где все же дышалось легче. Они первыми увидели пароход, и, когда Нора взволнованно обернулась, чтобы оповестить остальных, полицейские с инспектором окружили группу, фонарик погас, и теперь лишь смутный свет фонаря на столбе освещал начало деревянного настила. Инспектор хлопнул в ладоши, и из глубины пакгауза в ответ раздалось еще более отрывистые и резкие хлопки, словно кто-то неуклюже подшучивал над ними.

— Благодарю вас за проявленный дух сотрудничества, — сказал инспектор, — мне остается только пожелать вам счастливого плавания. Корабельные офицеры встретят вас и проводят в ваши каюты. Пароход отчалит через час.

Медрано вдруг почувствовал, что слишком долго оставался сторонним и скептическим наблюдателем, и вышел вперед. Как всегда в подобных случаях, ему стало смешно, но он сдержался. И так же, как всегда, он испытал тайное удовольствие, любуясь собой в тот момент, когда решался на какой-то шаг.

— Скажите, инспектор, все же известно, как называется наш пароход?

Инспектор учтиво наклонил голову. Даже в сумеречном свете блеснула его лысина.

— Да, сеньор,— сказал он.— Офицер только что сообщил мне, а ему телефонировали из центра. Пароход называется «Малькольм» и принадлежит компании «Маджента стар».

— Грузовое судно малого каботажа,— сказал Лопес.

— Нет, грузопассажирское, сеньор, и поверьте, одно из лучших. Прекрасные условия для небольшого избранного общества, как в данном случае. Я достаточно компетентен в этой сфере, хотя значительную часть своей деятельности посвятил налоговым учреждениям.

— Вы будете чувствовать себя превосходно,— сказал полицейский офицер.— Я поднимался на борт и могу вас заверить в этом. Команда бастовала, но теперь все улажено. Вы же знаете, что такое коммунизм, матросы все чаще выходят из повиновения, но, к счастью, мы живем в стране, где существует порядок и власть. И будь они хоть трижды иностранцами, в конце концов понимают что к чему и бросают свои пакости.

— Пожалуйста, на посадку, сеньоры,— сказал инспектор, отходя в сторону.— Мне было очень приятно познакомиться с вами, и я весьма сожалею, что не смогу сопровождать вас в путешествии.

Раздался смешок, показавшийся Медрано деланным. Пассажиры столпились у трапа, некоторые прощались с инспектором и полицейскими, Пушок снова стал помогать перетаскивать дона Гало, который, казалось, задремал. Дамы печально взяли за перила, и вся группа быстро и молча поднялась по трапу. Оглянувшись, Рауль (он уже добрался до нижней палубы) различил в полутьме, что инспектор и полицейские офицеры о чем-то тихо переговариваются. Все было словно приглушено: свет, голоса, даже плеск воды о борт парохода и набережную. Да и на мостике «Малькольма» не слишком было светло.

С

И снова Персио будет думать, будет фехтовать мыслью, точно коротким клинком, направляя его против глухой дрожи, которая достигает каюты, словно кто-то продирается сквозь бесчисленные фетровые лоскутки или скачет по роце пробковых дубов. Невозможно установить, в какой момент огромный лангуст задвигал главным шатунном, маховиком, в котором спавшая многие дни скорость гневно распрямляется, протирая глаза, и снова устремляет свои плавники, свой хвост, свои атакующие щупальца, свою хриплую сирену, свой привычно подвижный нактоуз против воздуха и моря. Не выходя из каюты, Персио уже знает все о судне и определяет свое место на нем в этот

азимутный миг, когда два грязных и упрямых буксира метр за метром увлекают огромную матрицу из меди и железа, оторвав ее от каменного тангенса берега, и толкают к молу, будто повинаясь его магнетизму. Лениво открывая черный чемодан, любуясь шкафом, где все так хорошо помещается, вазами граненого стекла, удачно украшающими стены, письменным столом с папкой из светлой кожи, он чувствует, как все ускоряющиеся удары сердца корабля завершаются последним затухающим колебанием. И Персио пытается увидеть весь корабль, словно стоит на капитанском мостике, и, как у капитана, у него перед глазами нос корабля, передние мачты, круглая режущая линия, которая порождает эфемерную пену. Но видит он нос корабля словно на снятой со стены картине, которая лежит у него на ладонях: фигуры и линии верхней части сразу удалились и уменьшились, вертикальные пропорции, задуманные художником, нарушились, возникла совершенно иная, но столь же возможная и приемлемая композиция. Но лучше всего различает Персио с капитанского мостика (находясь в своей каюте, он словно грезит или просто видит капитанский мостик на экране радара) зеленоватую темноту с желтыми огнями по левому и правому борту, белый фонарь на призрачном бушприте (ведь невозможно, чтобы на «Малькольме» — этом современном грузовом судне, гордости «Маджента стар» — был бушприт). Из иллюминатора с толстым, фиолетового оттенка стеклом, который защищает его от речного ветра (все вокруг грязь, все вокруг Рио-де-ла-Плата — ну и название! — с сомами, может быть позолоченными, посеребреными в серебре Серебряной реки, о нелепость переплетений, громоздкая ювелирность!), Персио начинает различать нос корабля и палубу, с каждым мгновением видит ее все отчетливей, и она напоминает ему что-то знакомое, скажем, картину кубиста, только лежащую на ладонях, так, что нижний край картины выдвигается вперед, а верхний отступает назад. Итак, Персио видит искаженные контуры по правому и левому борту, а за ними неясные тени, быть может, такие же голубоватые, как у гитариста Пикассо, а в центре мостика две мачты, поддерживающие канаты, словно какую-то грязную и жалкую неизбежность, — две мачты, которые напоминают ему два круга на картине — один черный, другой светло-зеленый с черными полосами, а это не что иное, как голосник гитары, словно на полотне можно разместить две мачты, положив это полотно на ладони и превратив его в нос корабля — «Малькольма», — который выходит из Буэнос-Айреса, покачиваясь и скрипя на маслянистой сковороде реки.

Теперь Персио снова будет думать, только в противовес привычке всякого беспорядочного человека не будет стараться упорядочить то, что его окружает: желтые и белые фонари, маты, буи, спасательные круги,— он будет думать о еще более грандиозном беспорядке, он раскинет крестом крылья мысли и отринет до глубин реки все, что задыхается в существующих формах — каюту коридор люк палубу поражение завтра круиз. Персио не верит в то, что происходящее вокруг него рационально, он не хочет, чтобы это было так. Он чувствует, как безупречно подогнаны кусочки плавучей головоломки, лица Клаудии или штроблет Атилио Пресутти, стюарда, который (возможно) мародерствует в коридоре у его каюты. И снова Персио чувствует, что этот изначальный час, который каждый путешественник называет «завтра», может основаться на фундаменте, сооруженном этой ночью. Единственное, чего он страстно желает,— это великой возможности выбора: ориентироваться по звездам, по компасу, с помощью кибернетики, случайностей, логических принципов, темных доводов, досок пола, по состоянию желчного пузыря, детородному члену, по настроению, предчувствиям, христианской теологии, по Зенд Авеста, «молочку» пчелиных маток, по справочнику железных дорог Португалии, по сонету, по «Семана Финансьера», по форме подбородка дона Гало Порриньо, по буле, каббале, некромантии, Bonjour, Tristesse¹ или просто приспособлявая поведение на море к воодушевляющим инструкциям, содержащимся в любом пакетике с таблетками Вальда?

Персио с ужасом отступает перед риском нарушить любую реальность, и его постоянная нерешительность сродни нерешительности хромофильного насекомого, которое пересекает поверхность картины, не ведая хамелеоновых намерений. Насекомое, привлеченное голубым цветом, продвинется вперед, обходя центральные части гитары, где царят желто-грязный и зелено-оливковый цвета, задержится на краю, словно плавая рядом с кораблем, и, достигнув по мостику на правом борту высоты центрального отверстия, войдет в голубую зону, пересеченную обширными зелеными пространствами. Его колебания, его поиски мостика к другому голубому пятну можно сравнить с колебаниями, нерешительностью Персио, всегда боящегося тайных нарушений. Персио завидует всем, кто рассматривает свободу как проблему эгоцентрическую, ибо для него процесс открывания двери каюты складывается из его действия и двери, неразрывно

¹ «Здравствуй, грусть» — роман Франсуазы Саган.

связанных между собой в той степени, в какой его действие, направленное на открывание двери, содержит конечную цель, которая может оказаться ошибочной и нарушить звено в порядке, который он еще недостаточно уяснил себе. Говоря яснее, Персио — это одновременно и хромофильное и слепое насекомое, и необходимость или приказ обойти только голубые зоны картины обусловлены его постоянной и отвратительной нерешительностью. Персио наслаждается этими сомнениями, которые он называет искусством или поэзией, и считает, что его долг — изучать любую ситуацию с наибольшей широтой, не просто как ситуацию, но разлагая ее на воображаемые составные элементы, начиная с вербальной формы, к которой он питает весьма простодушное доверие, вплоть до ее отражений, которые он называет магическими или диалектическими в зависимости от настроения или от состояния его печени.

Возможно, мягкое покачивание «Малькольма» и усталость за день наконец сломят Персио, который зачарованно опустится на отличную кровать из кедра и позабавится, пробуя различные механические и электрические приспособления, предназначенные для удобства господ пассажиров. Но сейчас ему придет в голову мысль преждевременная и еще не окончательная, которая родилась несколько секунд назад, когда он поставил перед собой эту проблему. Без сомнения, Персио достанет из своей папки карандаши и бумагу, железнодорожный справочник и добрый час потрудится над всем этим, забыв о путешествии и о самом пароходе, потому что вознамерится сделать шаг к видимости и вступить в преддверие ее возможной и достижимой реальности, в то время когда другие пассажиры уже приняли эту видимость, квалифицировав и обозначив ее как необыкновенную и почти нереальную; чего еще ждать от существа, которое, расквашив себе нос, будет считать, что у него всего лишь аллергический насморк.

XIV

— Eksta vorbeden? You two married? ¹ Etes-vous ensemble? ²

— Ensemble plutôt que mariès,— сказал Пауль.— Tenez voici nos passeports ³.

¹ Вы муж и жена? (англ.)

² Вы вместе? (франц.)

³ Да, скорее вместе, чем муж и жена. Вот наши паспорта (франц.).

Офицер был маленького роста, какой-то скользкий. Он отметил в списке Паулу и Рауля и сделал знак матросу с обветренным красным лицом.

— Он проводит вас в каюту, — сказал офицер и, поклонившись, отошел к другому пассажиру.

Следуя за матросом, они вдруг услышали дружный хор голосов семейства Трехо. Пауле сразу понравился корабельный запах и дорожки в коридорах, скрадывающие шум шагов. Трудно было представить, что всего в нескольких метрах от них находится грязный причал и что инспектор с полицейским еще не ушли.

— А там начинается Буэнос-Айрес, — сказал Рауль. — Правда, невероятно?

— Невероятно, что ты говоришь «начинается». Как быстро ты приспособился к новой ситуации. Для меня порт всегда был местом, где город кончается. А сейчас больше, чем когда-либо. Со мной всегда так, когда я сажусь на пароход. «Начинается», — повторила Паула. — Ничто не кончается так просто. Я обожаю запах дезодорантов, лаванды, ядовитых средств против мух, моли. Девочкой я любила залезать в шкаф тети Кармелы; там было так темно и таинственно и пахло почти как здесь.

— This way, please¹, — сказал матрос.

Он открыл каюту, зажег свет и только тогда отдал им ключи. Матрос ушел прежде, чем они успели дать ему чаевые или даже просто поблагодарить.

— Какая красота! Какая красота! — воскликнула Паула. — И как уютно!

— Вот теперь действительно кажется невероятным, что совсем рядом портовые пакгаузы, — сказал Рауль, пересчитывая чемоданы, сложенные на ковре. Все было на месте, и они решили развесить одежду и разложить вещи, некоторые из них могли показаться не совсем обычными. Паула завладела местом в глубине каюты, под иллюминатором. С удовольствием вытянувшись, она смотрела на Рауля, который, закулив трубку, продолжал раскладывать зубные щетки, пасту, книги и коробки с табаком. Любопытно будет увидеть Рауля рядом, на соседней постели. Впервые они будут спать в одной комнате после стольких свиданий и встреч в залах, салонах, кафе, поездах, автомобилях, на улицах и пляжах, в лесу. Впервые она увидит его в пижаме (аккуратно сложенная, она уже лежала на диванчике). Паула

¹ Сюда, пожалуйста (англ.).

попросила у него сигарету, и он, дав ей закурить, сел рядом и посмотрел на нее весело и насмешливо.

— Pas mal, hein? ¹ — сказал Рауль.

— Pas mal du tout, mon chouх ², — сказала Паула.

— Ты очень красивая в этой позе.

— Она тебя возбуждает? — сказала Паула, и оба расхохотались.

— А не отправиться ли нам на разведку? — предложил Рауль.

— Хм. Я предпочитаю остаться здесь. С мостика видны огни Буэнос-Айреса, как в фильмах с Гарделем ³.

— А чем тебе не нравятся огни Буэнос-Айреса? — спросил Рауль. — Я поднимаюсь.

— Хорошо. А я приберу в этом роскошном бордельчике, потому что твое представление о порядке... Какая красивая каюта, никогда не подумала бы, что нам могут дать такую красоту.

— Да, к счастью, она ничуть не похожа на каюты первого класса на итальянских пароходах. Преимущество этого грузовоза в строгом стиле. Дуб и ясень отражают протестантские вкусы.

— Но это еще не доказывает, что судно протестантское, хотя, может, ты и прав. Мне нравится, как пахнет твоя трубка.

— О, опасайся, — сказал Рауль.

— Чего опасаться?

— Как знать, может, запаха трубки.

— Молодой человек изволит изъясняться загадками, не так ли?

— Молодой человек будет приводить в порядок свои вещи, — сказал Рауль. — А то оставь тебя одну, наверняка потом среди моих платков окажется твой soutien-gorge ⁴.

Он подошел к столу, поправил стопку книг и тетрадей. Проверил свет, пощелкав всеми выключателями. Его приятно удивило, что освещение у изголовья кровати можно регулировать. Молодцы шведы, если это шведы. Он как раз мечтал почитать во время путешествия, почитать в постели без всяких забот.

— В эту минуту, — сказала Паула, — мой деликатный братец Родольфо сожалеет в семейном кругу о моем сумасбродном поведении. Девушка из приличной семьи отправляется путешест-

¹ Не плохо, правда? (*франц.*)

² Совсем неплохо, милый (*франц.*).

³ Карлос Гардель — «король танго», знаменитый аргентинский певец, киноактер.

⁴ Бюстгалтер (*франц.*).

воват неизвестно куда и еще отказывается назвать время отправления, чтобы избежать проводов.

— Интересно, что они подумали бы, если бы узнали, что ты делишь каюту с каким-то архитектором.

— Бедным ангелочком, который носит голубые пижамы и лелеет неведомую тоску и несбыточные надежды.

— Не всегда неведомую и не всегда тоску, — сказал Рауль. — Вообще-то соленый морской воздух приносит мне удачу. Правда, непостоянную, как птица, что кружит над кораблем и сопровождает его, порой один миг, порой целый день, но потом непременно исчезает. Меня никогда не трогало, Паулита, что счастье слишком быстротечно. Переход от счастья к привычке — одно из лучших орудий смерти.

— Мой брат тебе не поверил бы, — сказала Паула. — Мой брат решил бы, что мне серьезно угрожают похотливые намерения сатира. Мой брат...

— На всякий случай, — сказал Рауль, — если вдруг возникнет галлюцинация, мираж, ошибка в темноте, сон наяву или повлияет соленый воздух, будь осторожна и не слишком раскрывайся. Женщина, укрытая простыней до подбородка, защищена от пожара.

— Я думаю, — сказала Паула, — если у тебя появятся галлюцинации, я встречу тебя этим увесистым томом Шекспира.

— Странное, однако, предназначение для Шекспира, — сказал Рауль, открывая дверь. В проеме, точно в раме, показался Карлос Лопес, который в этот момент поднимал ногу, чтобы сделать следующий шаг. «Совсем как скачущая лошадь на фотографии», — подумал Рауль.

— Привет, — сказал Лопес, резко останавливаясь. — У вас хорошая каюта?

— Очень хорошая. Взгляните сами.

Лопес взглянул и заморгал, заметив Паулу, лежавшую на диване в глубине каюты.

— Привет, — сказала Паула. — Входите, если найдете, куда поставить ногу.

Лопес заметил, что их каюта очень похожа на его, только, разумеется, побольше. Затем добавил, что встретил сеньору Пресутти, выходящую из своей каюты, и успел различить на ее лице смертельную бледность.

— Уже укачало? — спросил Рауль. — Будь осторожна, Паулита. Что же станется с этими сеньорами, когда мы увидим бегемотов и прочих морских чудищ. Наверное, у них начнется слововая болезнь. Давайте пройдемся? Вас, кажется, зовут Ло-

пес. Меня Рауль Коста, а эта томная одалиска откликается на патрицианское имя Паула Лавалье.

— Далеко не патрицианское, — сказала Паула. — Оно, скорее, похоже на псевдоним киноактрисы, особенно Лавалье. Паула Лавалье. Рауль, прежде чем пойдешь смотреть на реку цвета львиной гривы, скажи, где моя зеленая сумка.

— Возможно, под красным жакетом или в сером чемодане, — сказал Рауль. — Палитра так разнообразна... Пойдемте, Лопес?

— Пойдемте, — ответил Лопес. — До свидания, сеньорита.

Паула, истая портеня, привыкла улавливать различные оттенки этого обращения.

— Зовите меня просто Паула, — сказала она таким тоном, чтобы Лопес догадался, что его намек она поняла и немного над ним посмеивается.

Рауль, стоя в дверях, вздохнул и поглядел на них. Он прекрасно знал все интонации Паулы, ее определенную манеру говорить определенные вещи.

— So soon, — сказал он словно про себя. — So, so soon¹.

Лопес взглянул на него. Они вышли вместе.

Паула села на край диванчика. Каюта вдруг показалась ей маленькой, тесной. Она поискала вентилятор и неожиданно обнаружила кондиционер. Машинально включила его, посидела в одном кресле, потом в другом, рассеянно разложила щетки на полочке. Решила, что ей хорошо, что она довольна. Это следовало решить именно сейчас, чтобы утвердиться в этом. Зеркало вернуло ей улыбку, когда она принялась осматривать ванную, окрашенную в светло-зеленый цвет, и Паула с симпатией взглянула на отражение рыжеволосой девушки с миндалевидными глазами, заразившее ее своим хорошим настроением. Она тщательно осмотрела все, что было в ванной, и подивилась изобретательности «Маджента стар». Запах хвойного мыла, которое она достала из несессера вместе с пакетом ваты и двумя грешками, еще напоминал запах сада, не успев превратиться в воспоминание об этом запахе. А впрочем, почему в ванной на «Малькольме» должно пахнуть как в саду? Хвойное мыло приятно холодило руку, непочатый кусок мыла вообще заключает в себе какое-то волшебство, непорочность и хрупкость, а поэтому приобретает особую цену. И пена у хвойного мыла особая, мылится оно неприметно, запах сохраняется долго, словно со-

¹ Очень скоро (англ.).

сновый бор раскинулся в ванной, сосны в зеркале и на полочках, в волосах и на ногах, Паула вдруг решила раздеться и испробовать чудесный душ, столь любезно предложенный ей «Маджента стар».

Ленясь закрыть дверь в каюту, Паула медленно стягивает с себя лифчик. Ей нравится ее грудь, нравится все тело, словно выросшее вдруг в зеркале. Вода льется такая горячая, что Пауле приходится порядком повозиться с блестящим смесителем, прежде чем снова ступить в неправдоподобно маленький бассейнчик и задернуть пластиковую занавеску, отделившую ее словно игрушечной стеной. Запах хвои мешается с теплыми воздухом, и Паула намыливается обеими руками, а потом красной резиновой губкой медленно размазывает пену по всему телу, по бедрам, под мышками, приклеивает ко рту, с наслаждением поддаваясь легкой качке, которая, словно играя, время от времени заставляет ее хвататься за краны и с тайным удовольствием произносить приятное грубое словечко. О банное междуцарствие, краткий миг после сухой, облаченной в одежды жизни! Обновленная, отрешается она от времени, вновь становясь вечным телом (значит, и вечной душой?), подвластным хвойному мылу и струйкам воды, повторяя все ту же постоянную игру, в которой меняется лишь место, температура, ароматы. Но в тот миг, когда она заворачивается в желтое полотенце, повешенное рядом, за пластиковой стенкой, она вновь вступает в суетный мир одетой женщины, словно каждая часть туалета связывает ее с историей, возвращая ей каждый год жизни, каждое звено воспоминаний, припечатывая к лицу будущее, словно глиняную маску. Лопес (если этот молодой человек, по виду истый портеньо, действительно Лопес), кажется, симпатичный. Жаль, конечно, что у него такое обычное имя — Лопес, но это еще не самое худшее; разумеется, его «до свидания, сеньорита» прозвучало с издевкой, но куда неприятней было бы услышать «до свидания, сеньора». Кто на борту «Малькольма» мог бы поверить, что она не спит с Раулем? Обычно людей не приходится убеждать в подобных вещах. Она снова подумала о своем братце Родольфо, таком чопорном юристе, таком докторе Кронине при галстике в красную крапинку. «Несчастный, несчастный замухрышка, он никогда не узнает, что значит пасть по-настоящему, броситься в гущу жизни, словно с самого высокого трамплина. И эти его вечные судебные заседания, и эта его миа порядочного человека». Она вдруг яростно стала расчесывать волосы перед зеркалом, обнаженная, укутанная веселым паром, который разгонял вентилятор под потолком ванной.

Коридор был узкий. Лопес и Рауль прошли его, не представляя, куда он ведет, пока не наткнулись на наглухо задраенную дверь. Они с удивлением принялись рассматривать стальные пластины, окрашенные в серый цвет, и автоматический запор.

— Любопытно,— сказал Рауль.— Я бы мог поклясться, что совсем недавно мы проходили тут с Паулой.

— Ну и запоры,— сказал Лопес.— Запасной выход на случай пожара или что-то в этом роде. На каком языке говорят на пароходе?

Матрос, стоявший на вахте у двери, рассматривал их с таким видом, словно ничего не понимал или не желал понимать. Они жестами показали ему, что хотят пройти дальше. А он дал им понять, что они должны вернуться. Они повиновались, снова прошли мимо каюты Рауля, и коридор привел их к трапу, спускавшемуся на носовую палубу. В темноте слышались голоса и смех; Буэнос-Айрес виднелся вдалеке, словно в зареве пожара. Шаг за шагом, обходя скамейки, бухты канатов и кабестаны, загромаждавшие палубу, они добрались до борта.

— Интересно смотреть на город с реки,— сказал Рауль.— Видишь его целиком во всей красе. А то живешь внутри и забываешь, как он выглядит на самом деле.

— Да, выглядит-то иначе, а вот жара все та же,— ответил Лопес.— И илом пахнет даже на закрытой палубе.

— Река всегда внушала мне какой-то страх, наверно, из-за илистого дна, в мутной воде всегда словно что-то скрывается. А может, из-за историй об утопленниках, которые так пугали меня в детстве. И все же в реке приятно искупаться, половить рыбу.

— Какой маленький пароход,— сказал Лопес, различая наконец его очертания.— Странно, что эта железная дверь закрыта. Похоже, здесь тоже не пройдешь.

Они увидели высокую переборку, перегораживавшую мостик из конца в конец. За трапами, ведущими к коридорам, где помещались каюты, были две двери, однако Лопес, почему-то начавший беспокоиться, обнаружил, что обе они заперты на ключ. Наверху, на капитанском мостике, сквозь широкие иллюминаторы просачивался фиолетовый свет. Едва можно было различить силуэт офицера, стоявшего неподвижно. Еще выше лениво поворачивался полукруг радара.

Раулю вдруг захотелось спуститься в каюту и поболтать с Паулой. Лопес курил, не вынимая рук из карманов. Проплыла тень, сопровождаемая могучим силуэтом: это дон Гало Порриньо обследовал палубу. Послышался нарочитый кашель, словно кто-то хотел вступить в разговор, и Фелипе Трехо присоединился к ним, занятый сигаретой, которую раскуривал.

— Привет,— сказал он.— У вас хорошие каюты?

— Неплохие,— сказал Лопес.— А у вас с родителями?

Фелипе покорило, когда он услышал, что его воспринимают лишь как члена семейства Трехо.

— Я в одной каюте со стариком, а мамаша с сестрой в соседней. Имеется ванная и все прочее. Посмотрите, вон там виднеются огни, должно быть это Беррисо или Кильмес. А может, Ла-Плата.

— Вам нравится путешествовать? — спросил Рауль, выбивая трубку.— Или это ваше первое великое приключение?

Фелипе снова покорило это неизменно шаблонное отношение к нему со стороны взрослых. Он готов был промолчать или ответить, что путешествовал множество раз, но Лопес, разумеется, прекрасно осведомлен о биографии своего ученика. Поэтому он небрежно ответил, что каждому приятно прокатиться на пароходе.

— Да, это, конечно, лучше, чем торчать в колледже,— дружески заметил Лопес.— Существует даже представление, что путешествия развивают молодежь. Посмотрим, так ли это на самом деле.

Фелипе, все более смущаясь, рассмеялся. Он был уверен, что с Раулем или любым другим пассажиром ему удалось бы поболтать в свое удовольствие. Однако его сковывало присутствие на пароходе отца, сестры и двух учителей, особенно этого Черного Кота, который наверняка постарается испортить ему жизнь. И он размышлял о том, как тайно сходит на берег и один, совершенно один идет, куда захочет. «Вот именно,— думал он,— главное, чтоб я был совсем один, это дело». И все же он не пожалел, что подошел к этим двум пассажирам. Вид озаренного огнями Буэнос-Айреса там, вдалеке, и тяготил, и возбуждал его. Фелипе хотелось пить, карабкаться на мачту, бегать по палубе, хотелось, чтобы уже наступило завтра, чтобы уже была остановка, чтобы повстречались необыкновенные люди, красивые женщины, хотелось поплескаться в плавательном бассейне. Ему было и страшно, и радостно, и как всегда к девяти вечера начинало клонить ко сну, что он обычно с трудом скрывал, сидя в кафе или гуляя по площади.

Раздался Норин смех, она спускалась по трапу вместе с Луисо. Огольки сигарет поплыли прямо к стоявшим. У Норы и Луисо тоже была изумительная каюта, и Норе тоже хотелось спать (только бы это не от качки), но она предпочитала, чтобы Луисо не распространялся столько об их общей каюте. Она даже подумала, что им могли бы дать две отдельные каюты, ведь они пока всего лишь жених и невеста. «Но мы скоро поженимся», — поспешно подумала она. Никто не знал, что произошло между ними в отеле «Бельграно» (за исключением Хуаниты Эйзен, ее закадычной подруги), и вдобавок еще эта ночь... Вероятно, они могли бы выдать себя за молодоженов, но существуют списки пассажиров, начнутся сплетни... Как восхитителен Буэнос-Айрес при вечернем освещении, огни Каванага и Комеги¹... Ей припомнились фотографии из календаря «Пан Америкэн», который висел у нее в спальне, правда, там была панорама Рио, а не Буэнос-Айреса.

Рауль различал лицо Фелипе всякий раз, когда кто-нибудь затягивался сигаретой. Они стояли в стороне от остальных, Фелипе предпочитал беседовать с незнакомцем, особенно с таким молодым, как Рауль, которому на вид не дашь и двадцати пяти. Филипе вдруг понравилась и трубка Рауля, и его спортивного покроя пиджак, и весь его немного щеголеватый вид. «Вообще-то он не стилига, — подумал Фелипе. — А вот монеты у него есть. Когда у меня будет столько, сколько у него...»

— По запаху мы уже на середине реки, — сказал Рауль. — Пахнет довольно противно, зато весьма многообещающе. Теперь понемногу начнем чувствовать разницу между городской жизнью и жизнью в открытом море. Это как общая дезинфекция.

— Правда? — удивился Филипе, не понявший, при чем тут дезинфекция.

— Пока снова не приестся. Но для вас все будет иначе, это ваше первое путешествие, и все покажется вам столь... Впрочем, вы сами подберете нужное определение.

— О да, — сказал Фелипе. — Конечно, все будет необыкновенно. Целыми днями можно лодырничать...

— Ну, это зависит от вас, — сказал Рауль. — Вы любите читать?

— Конечно, — сказал Фелипе, изредка заглядывавший в выпуски серии «Растрос». — А как вы думаете, здесь есть бассейн?

— Не знаю. На грузовом судне вряд ли. Придумают что-ни-

¹ Высотные здания в Буэнос-Айресе с яркими световыми рекламами.

будь вроде большого деревянного корыта с тентами, как в третьем классе на больших пароходах.

— Да что вы,— сказал Фелипе.— С тентами? Вот здорово.

Рауль снова раскурил трубку. «Опять,— подумал он.— Опять неспосная пытка, опять красивая статуя, из которой раздается глупое бормотание. И все это приходится выслушивать, прощая, точно дурак, пока не убедишься, что не так уж он ужасен, что все юноши таковы, что нельзя требовать чудес... Иначе надо стать анти-Пигмалионом, окаменителем. А что же потом, потом? Иллюзии, как всегда. Вера, что вдохновенные слова, книги, которые вручаются с таким жаром, с отчеркнутыми абзацами и разъяснениями...»

Он подумал о Бето Ласьерве, о заносчивой усмешке, появившейся у него в последнее время, нелепых встречах в парке Лесама, разговорах на скамейке, неожиданном финале, о Бето, беспокоящемся о чужих деньгах, как своих собственных, о словах, наивно порочных и вульгарных.

— Вы видели старикана в каталке? — спросил Фелипе.— Вот картина. Какая у вас красивая трубка.

— Да неплохая,— сказал Рауль.— Курится хорошо.

— Наверно, я тоже куплю себе трубку,— сказал Фелипе и покраснел. Этого, конечно, не следовало говорить, опять собеседник примет его за мальчишку.

— В портовых городах вы сможете найти все, что пожелаете,— сказал Рауль.— А впрочем, если хотите, я могу дать вам одну из моих трубок. У меня всегда есть две-три трубки про запас.

— Правда?

— Конечно, курильщики любят порой менять трубки. Здесь, на пароходе, вероятно, должны продавать хороший табак, но, если хотите, я могу предложить вам свой.

— Спасибо,— сказал Фелипе порывисто. Его переполняло счастье, хотелось сказать Раулю, как ему приятно беседовать с ним. Они могли бы поболтать и о женщинах — ведь он выглядит совсем взрослым, многие давали ему девятнадцать и даже двадцать лет. Без особого удовольствия он вспомнил о Негрите, — должно быть, она уже в постели и, наверное, хнычет, как дурочка, оставшись под командой тетушки Сусаны, властной и злой как черт. Было странно думать о Негрите, когда он разговаривал с таким пижоном. Вот кто посмеялся бы над ним. «Ох, и баб у него, наверное!» — подумал Фелипе.

Рауль попрощался с Лопесом, который отправился спать, пожелал спокойной ночи Фелипе и медленно поднялся по трапу.

Нора и Лусио шли следом за ним; кресла дона Гало нигде не было видно. Как только ухитрился шофер притащить дона Гало на мостик? В коридоре он встретил Медрано, который спустился по внутреннему трапу, покрытому красной дорожкой.

— Вы уже разыскали бар? — спросил Медрано. — Он здесь, наверху, рядом со столовой. К сожалению, в одном зальчике я обнаружил фортепьяно. Правда, всегда есть надежда обогреть ему струны.

— Или так расстроить, что любая музыка будет звучать, как произведения Кренека.

— Ого-го! — сказал Медрано. — Вы бы вызвали гнев моего друга Хуана Карлоса Паса.

— Мы быстро бы помирились, — сказал Рауль. — С помощью моей скромной коллекции пластинок додекафонической музыки.

Медрано с любопытством посмотрел на него.

— Ладно, — сказал он, — видимо, все будет лучше, чем я предполагал. Нельзя начинать пароходное знакомство с таких разговоров.

— Я тоже так считаю. До сих пор я беседовал в основном на метеорологические темы с небольшими отступлениями об искусстве курить. Ну что ж, пойду познакомясь с этими залами наверху, — возможно, найду там чашечку кофе.

— Найдете, и превосходного. До свидания, до завтра.

— До завтра, — сказал Рауль.

Медрано разыскал свою каюту в коридоре левого борта. Чемоданы лежали неразобранные, но, скинув пиджак и закури́в, он стал бесцельно слоняться по каюте. Может быть, это как раз и называется счастьем. На маленьком письменном столе лежал конверт на его имя. В конверте он нашел открытку с приятными пожеланиями от «Маджента стар», расписание завтраков, обедов и ужинов, распорядок дня на борту и список пассажиров с указанием занимаемых ими кают. Так, он узнал, что рядом с ним поселились Лопес, семейство Трехо, дон Гало и Клаудиа Фрейре с сынишкой Хорхе; у всех были нечетные номера кают. В конверте также лежал листок, в котором на французском и английском языках доводилось до сведения господ пассажиров, что по техническим причинам будут закрыты двери, ведущие в помещения на корме, и высказывалась просьба не нарушать правил, установленных судовой администрацией.

— Черт возьми, — пробормотал Медрано. — Даже не верится.

А почему бы и нет? Был же «Лондон», инспектор, дон Гало, черный автобус и почти тайная посадка. Так почему не поверить в то, что среди дюжины выигравших в лотерею оказалось два преподавателя и учащийся из одного колледжа. Но еще более удивительным казалось то, что в коридоре парохода можно было запросто говорить о музыке Кренека.

— Тут не соскучишься,— сказал Медрано.

«Малькольм» несколько раз мягко качнуло. Медрано без всякой охоты принялся разбирать свой багаж. С симпатией подумал о Рауле Косте, вспомнил остальных. Если как следует приглядеться, компания подобралась неплохая, а весьма явные различия позволяли с самого начала определить две дружеские группировки: в одной, несомненно, будет блистать рыжеволосый поклонник танго, вторую же возглавят поклонники Кренека. А в стороне, ни к кому не примыкая, но вникая во все, будет раскатывать на четырех колесах дон Гало, своего рода саркастический, ехидный наблюдатель. Нетрудно предугадать, что на время путешествия между доном Гало и доктором Рестелли могут возникнуть вполне приемлемые отношения. Юноша с черной челкой будет метаться между молодежью, столь удачно представленной Атилио Пресутти и Лусио, и более солидными мужчинами. Робкая юная пара будет непрерывно принимать солнечные ванны, фотографироваться и допоздна задерживаться на палубе, чтобы считать звезды. В баре будут вестись разговоры об искусстве и литературе, и, возможно, путешествие не обойдется без любовных интрижек, охлаждений и мимолетных знакомств, которые обычно кончаются в таможне обменом визитными карточками и дружеским похлопыванием по плечу.

В этот час Беттина, должно быть, уже узнала, что он покинул Буэнос-Айрес. Прощальная записка, которую он оставил у телефона, без околичностей сообщала о разрыве их любовного союза, начавшегося еще в Хунине и затем продолжавшегося в столице с вылазками в горы и на побережье Мар-дель-Плата. В эту минуту Беттина, вероятно, говорила: «Я рада», и действительно она обрадуется, прежде чем расплакаться. Завтра утром — уже будет второе, совсем другое утро — она позвонит Марии-Элене, чтобы рассказать об отъезде Габриэля; а вечером будет пить чай в «Агила» с Чолой или Денизой, и ее рассказ, освободившись от упреков, гневных вспышек и фантастических предположений, приобретет наконец свой окончательный, строгий вид, Габриэль уже не будет выглядеть закоренелым негодяем, ибо в душе Беттина желала, чтобы он уехал надолго или даже навсегда. Однажды она получит его письмо из-за моря

и, возможно, ответит по указанному адресу. «Да, а куда мы едем?» — подумал он, развешивая пиджаки и брюки. Пока им даже не позволяют пройти на корму. Не слишком приятно торчать на пятачке, пусть даже непродолжительное время. Он припомнил свое первое путешествие, когда ехал в третьем классе и матросы пусуычно дежурили в коридорах, охраняя священный покой пассажиров первого и второго классов, тогда эта имущественная иерархия развлекала и раздражала его. Затем ему самому довелось путешествовать в первом классе и познать еще более неприятные вещи... «Но с этими запертыми дверями, пожалуй, ничто не сравнится», — подумал он, складывая горкой пустые чемоданы. Ему пришло в голову, что для Беттины его отъезд поначалу покажется тоже своего рода запертой дверью, и она бросится царапать ногтями эту бесплотную преграду («местонахождение неизвестно», «нет, писем нет», «уже неделю, полмесяца, месяц...»). Он снова закурил, раздосадованный. «Дался мне этот пароходик», — подумал он. — Не для того же я на нем поехал». И для начала решил принять душ.

XVI

— Посмотри, — сказала Нора. — С этим крючком можно оставлять дверь приоткрытой.

Лусио испробовал действие замка и оценил его по достоинству. В другом конце каюты Нора доставала из своего синтетического красного чемодана несессер. Прислонясь к двери, он паблюдал, как она разбирает вещи, сосредоточенно и аккуратно.

— Ты себя хорошо чувствуешь?

— О да, — ответила Нора, словно застигнутая врасплох. — А почему ты не открываешь свои чемоданы и не разбираешь вещи? Я выбрала себе вот этот шкаф.

Лусио неохотно открыл чемодан. «Я выбрала себе вот этот шкаф», — повторил он мысленно. Отдельно, всегда отдельно, все только для себя, словно она одна на свете. Он смотрел на Нору, на ее ловкие руки, укладывавшие блузки и чулки на полочках шкафа. Нора вошла в ванную, разложила по местам флаконы и щетки, попробовала, как работают выключатели.

— Тебе нравится каюта? — спросил Лусио.

— Просто прелесть, — сказала Нора. — Намного красивей, чем я думала, но я представляла ее себе, как бы тебе сказать, более роскошной, что ли.

— Может, как те, какие показывают в кино.

— Да, но эта оказалась...

— Уютней, — сказал Лусио, приближаясь.

— Да, — подтвердила Нора, не двигаясь с места и глядя на него широко открытыми глазами. Она уже знала эту манеру Лусио смотреть на нее; губы у него начинали чуть вздрагивать, словно он что-то бормотал. Нора почувствовала его горячую руку у себя на спине, но прежде, чем он обнял ее, она выскользнула из его объятий.

— Ну что ты, — сказала она. — Не видишь, сколько еще работы? И потом эта дверь...

Лусио опустил глаза.

Он положил на место зубную щетку, погасил свет в ванной. Пароход чуть покачивался, шумы на борту становились привычными. Каюта сдержанно поскрипывала; дотронувшись рукой до мебели, можно было ощутить легкое подрагивание, словно от слабого электрического тока. В приоткрытую дверь проник влажный ветерок с реки.

Лусио отправился в ванную, чтобы Нора могла улечься раньше его. Они разбирали вещи более получаса; потом Нора заперлась в ванной и появилась в халатике, под которым виднелась розовая ночная рубашка. Но вместо того чтобы лечь, она открыла несесер с яным намерением привести в порядок ногти. Тогда Лусио сбросил рубашку, башмаки и носки и, прихватив пиджаму, в свою очередь забрался в ванную. Вода была отличной, к тому же Нора оставила после себя благоухание одеколона и мыла «Пальмолив».

Когда он вернулся, в каюте стоял полумрак, горели лишь ночники в изголовье постелей. Нора читала «Эль Огар». Лусио выключил свет над изголовьем и сел рядом с Норой, которая закрыла журнал и с притворной рассеянностью опустила рукава ночной рубашки до запястий.

— Тебе тут нравится? — спросил Лусио.

— Да, — сказала Нора. — Здесь так необычно.

Он ласково отнял у нее журнал и, обхватив ее лицо ладонями, поцеловал в нос, волосы, губы. Нора закрывала глаза, натянуто и как-то отчужденно улыбаясь, напоминая Лусио ночь, проведенную в отеле Бельграно, и его бесполезные, изнуряющие домогательства. Он жадно и настойчиво поцеловал ее в губы, причинив боль и не выпуская из рук ее голову, которую она все больше запрокидывала назад. Выпрямившись, он сдернул с нее простыню; руки его теперь скользили по розовому нейлону ноч-

ной рубашки, отыскивая оголенное тело. «Нет, нет,— слышал он ее задыхающийся голос; ноги ее уже были обнажены до бедер,— нет, нет, не так»,— умолял ее голос. Рухнув на нее, он сжал ее в своих объятиях и жарко поцеловал в полуоткрытый рот. Нора смотрела вверх, туда, где горела над изголовьем лампочка, но нет, теперь он ее не погасит, в прошлый раз все началось точно так же, зато потом, в темноте, она сопротивлялась успешней и вдруг разразилась плачем, несносным хныканьем, словно он сделал ей больно. Он резко повернулся на бок, дернул за рубашку и наклонился над ее крепко сжатыми бедрами и животом, который Нора старалась защитить от его ненасытных губ. «Ну, пожалуйста,— бормотал Луисо,— пожалуйста, пожалуйста». А сам, заставив ее приподняться, продолжал стаскивать рубашку, комкая холодный розовый нейлон у горла, и наконец, сорвав, отбросил рубашку в темноту подальше от кровати. Нора свернулась калачиком, согнув колени, повернувшись к нему почти боком. Луисо порывисто привстал и снова крепко обнял ее за талию и впился долгим поцелуем в шею, руки его гладили и ласкали ее тело, словно он только теперь впервые раздевал ее. Нора выпростала руку и, изловчившись, погасила свет. «Подожди, подожди, пожалуйста, ну хоть минутку. Нет, нет, только не так, подожди хотя бы капельку». Но он и не думал ждать, она чувствовала это всем своим телом, которое все сильнее и жарче обнимали его руки, и к этим ласкам прибавлялось что-то еще, обжигающее и твердое, на что той ночью в отеле Бельграно она старалась не смотреть, но о чем уже знала из описаний Хуаниты Эйзен (но разве такое опишешь), которые повергли ее в ужас,— что могло причинить ей боль и заставить закричать, беззащитную в руках мужчины, словно на кресте распятую под его губами, руками и ногами, что несет с собой кровь и боль, о чем со страхом и трепетом шепчут в исповедальнях, читают в житиях святых, страшное, как облущенный початок маиса, бедный Темпл Дрейк (да, да, Хуанита Эйзен так и сказала), страшное, как початок маиса, грубо проникающий туда, где возможно разве лишь нежное прикосновение. И вот этот жар в спине, этот жадный порыв, когда Луисо прерывисто дышит над самым ее ухом и сдавливает ее все крепче и крепче, стараясь насильно раздвинуть ноги, и вдруг, словно расплавленное пламя между бедрами, конвульсивный стон и внезапное облегчение, ибо и на сей раз у него ничего не получилось; она чувствует, как он, поверженный, привалился к ее спине, часто и жарко дышит ей в затылок, бормоча слова — смесь упрека и нежности, печальную и грязную словесную чепуху.

Лусио зажжет свет. Наступило долгое молчание.

— Повернись, — сказал он. — Повернись, пожалуйста.

— Хорошо, — сказала Нора. — Давай закроемся.

Лусио привстал, поискал простыню и накинул ее на себя и Нору. Нора рывком повернулась и прижалась к нему.

— Скажи, почему ты, — настаивал Лусио, — почему ты снова...

— Мне опять стало страшно, — сказала Нора, закрывая глаза.

— Чего? Неужели ты думаешь, я могу причинить тебе боль? Ты считаешь меня грубым?

— Нет, не в этом дело.

Лусио, глядя в лицо Норы, потихоньку стягивал простыню. Он подождал, пока она откроет глаза, чтобы сказать: «Посмотри, посмотри на меня сейчас». Она посмотрела на его грудь, на плечи, но Лусио понимал, что она видит и ниже; он вдруг привстал и поцеловал ее, впившись в губы, так, чтобы она не смогла увернуться. Он чувствовал, как сжались ее губы, как она слабо попыталась избежать поцелуя; на миг Лусио дал ей передохнуть и снова принялся целовать; провел языком по ее деснам и, почувствовав, как она постепенно уступает, впился в нее долгим поцелуем и привлек ее к себе. Руки его гладили, ласкали ее тело. Он услышал, как она застонала, а потом уже ничего не слышал или, вернее, услышал свой собственный вскрик; ее жалобные стелания затихли в этом крике, руки перестали отталкивать и отстранять его, страсть постепенно утихла, покой и сон медленно нисходили на них, кто-то из них погасил свет, уста их снова слились, и Лусио ощутил соленую влагу на Нориных щеках; он губами осушал эти слезы, а руки его ласкали ее волосы, и он чувствовал, как дыхание ее постепенно становится все спокойней, все тише всхлипывания, пока сон не овладел ею. Желая лечь поудобнее, он чуть отстранился от нее и посмотрел в темноту, туда, где едва выделялся иллюминатор. На этот раз наконец-то... Ему не хотелось думать, такой неизбывный покой не нуждался в мыслях. Да, на этот раз она расплатилась за все предыдущее. На пересохших губах еще оставался вкус Нориных слез. Да, расплатилась звонкой монетой. Слова рождались одно за другим, отвергая нежность рук и соленый привкус слез. «Плачь, плачь, красотка», — одно, другое, самые нужные слова; и мысль снова работает: «Плачь, плачь, красотка, пора и тебе узнать это. Я не из тех, кто ждет всю ночь напролет». Нора встрепенулась, шевельнула рукой, Лусио погладил ее волосы и поцеловал в нос. Слова лились сами со-

бой, свободно и безудержно, беря реванш, и вот уже звучало почти презрительное: «Плачь, плачь, глупышка», а руки тоже сами собой, не сообразуясь со словами, как бы в забытьи, ласкали и ласкали Норины волосы.

XVII

Клаудиа знала, что Хорхе не заснет, если она не сочинит для него какую-нибудь удивительную сказку или не расскажет какую-либо новость. Больше всего ему нравилось слушать про то, как сороконожка забралась в ванну или что Робинзон Крузо существовал на самом деле. Не в силах ничего придумать, она дала сыну медицинскую брошюру, которую нашла в одном из своих чемоданов.

— Она написана на чудодейском языке, — сказала Клаудиа. — Может, это известия с далекой планеты?

Хорхе устроился на постели и с особым прилежанием стал читать брошюру, которая крайне поразила его.

— Ты только послушай, мама, что тут написано: «Препарат «Роча» — это пирофосфорный эфир анойрина, фермент, участвующий в фосфорилировании глицидов и подавляющий в организме декарбонирование пировиноградной кислоты, обычный метаболический распад глицидов, липидов и протеидов».

— Невероятно, — сказала Клаудиа. — Тебе достаточно одной подушки или дать вторую?

— Достаточно. Мама, что такое метаболический? Надо спросить у Персио. Наверняка это связано с планетой. По-моему, липиды и протеиды — враги муравьелюдей.

— Весьма возможно, — сказала Клаудиа, гася свет.

— Чао, мама. Мам, а какой красивый пароход!

— Конечно, красивый. Спи, сынок.

Их каюта была последняя в коридоре по левому борту. Клаудии понравилось, что номер каюты — тринадцать и что напротив находится трап, ведущий в бар и столовую. В баре она встретила Медрано, который налегал на коньяк после неудачной попытки привести в порядок свои вещи, вынутые из чемоданов. Бармен приветствовал Клаудию на чересчур правильном испанском языке и предложил ей меню с тисненой эмблемой «Маджента стар».

— Сандвичи хорошие, — сказал Медрано. — За наименованием ужина...

— Метрдотель приглашает вас выбрать все, что пожелаете, по своему вкусу, — объявил бармен, повторив дословно то, что

сказал раньше Медрано.— К сожалению, вы сели на пароход слишком поздно, и мы не смогли приготовить вам ужин.

— Любопытно,— сказала Клаудиа.— Зато успели приготовить каюты и очень удобно разместить всех.

Бармен слегка поклонился и стал ждать приказаний. Они заказали пиво, коньяк и сэндвичи.

— Да, все любопытно,— сказал Медрано.— Например, шумная компания, которую, по-видимому, возглавляет рыжий парень, похоже, тут не появлялась. Вообще такого сорта люди обладают куда большим аппетитом, чем мы, флегматики, простите, что я причисляю вас к этой категории.

— Их, наверное, укачало, бедняг,— сказала Клаудиа.

— Ваш сын уже спит?

— Да, после того, как съел полкило печения «Террабуси». Я решила, что лучше уложить его сразу же.

— Мне нравится ваш сын,— сказал Медрано.— Красивый малец и очень чувствительный.

— Порой слишком чувствительный, но его выручает юмор и заметная склонность к футболу и механике. А скажите, вы всерьез думаете, что все это?..

Медрано посмотрел на нее.

— Расскажите лучше о вашем сыне,— сказал он.— Что я вам могу ответить? Вот узнал, что нельзя проходить на корму. Нас не накормили ужином, зато каюты просто чудесные.

— Да, лучше и требовать нельзя,— сказала Клаудиа.

Медрано предложил ей сигарету, и она почувствовала, что ей нравится этот человек с худым лицом и серыми глазами, одетый с нарочитой небрежностью, которая так ему шла. Кресла были удобные, под бормотание машин не хотелось ни о чем думать, а лишь предаваться безмятежному отдыху. Медрано был прав: к чему спрашивать? Если бы сейчас все вдруг внезапно кончилось, она бы очень сожалела о том, что не использовала эти бездумные счастливые часы. Опять улица Хуана Баутисты Альберди¹, занятия сына, зачитанные романы в рычащих автобусах, жизнь без будущего в этом Буэнос-Айресе, сырая надоедливая погода, новости на радио.

Медрано с улыбкой вспоминал забавные эпизоды в «Лондоне». Клаудиа хотела бы узнать о нем побольше, но ей сразу показалось, что он не очень откровенный человек. Бармен принес еще коньяку; вдалеке послышался вой сирены.

¹ Хуан Баутиста Альберди — аргентинский писатель, политический деятель, юрист.

— Страх порождает весьма странные вещи,— сказал Медрано.— В эту минуту кое-кто из пассажиров должен почувствовать беспокойство. Мы еще позабавимся, вот увидите.

— Можете надо мной смеяться,— сказала Клаудиа,— но всего минуту назад я не чувствовала себя такой довольной и спокойной, как сейчас. Мне больше нравится путешествовать на «Малькольме» или как он там называется, чем на «Аугустусе».

— Немного романтичная новизна,— сказал Медрано, украдкой глядя на нее.

— Просто новизна, а этого вполне достаточно для мира, где люди, точно дети, почти всегда предпочитают повторение. Вы читали последний проспект аргентинских аэролиний?

— Возможно, не помню.

— Зазывают на свои самолеты, обещая, что мы будем чувствовать себя как дома или что-то в этом роде. Но я не представляю ничего ужасней, чем сесть в самолет и почувствовать, что ты снова у себя дома.

— Ну, наверное, заварят сладкий мате. Подадут жаркое из вырезки и спагетти под воркующие звуки аккордеонов.

— Все это хорошо в Буэнос-Айресе, и когда ты уверен, что в любую минуту можешь заменить это чем-то другим. Тут, по моему, как нельзя кстати слово «предрасположение». Возможно, это путешествие своего рода тест.

— Тогда, подозреваю, для некоторых он окажется весьма трудным. А что касается проспектов авиакомпаний, то с особенной неприязнью я вспоминаю один, кажется американский. В нем подчеркивалось, что пассажиров будут обслуживать как-то по-особому. «Вы почувствуете себя важной персоной» или что-то в этом роде. И мне сразу приходят на ум некоторые мои коллеги, которые бледнеют от одной мысли, что их назовут «сеньором», а не «доктором»... Да, на той авиалинии, должно быть, летают богатые пассажиры.

— Теория важной персоны. Она уже где-нибудь изложена? — спросила Клаудиа.

— Боюсь, тут замешаны чьи-то корыстные интересы. Но вы собирались объяснить, почему вам нравится это путешествие.

— Ну что ж, в конце концов мы все, или почти все, станем добрыми друзьями, и нет смысла скрывать свое *cuticulum vitae*¹,— сказала Клаудиа.— Говоря по правде, я настоящая неудачница, но не желаю мириться со своей участью.

— Ну, насчет неудачницы я очень сомневаюсь.

¹ Жизнеописание, биография (лат.).

— О, возможно, поэтому я и совершаю такие вещи: покупаю лотерейные билеты и выигрываю на них. Только ради Хорхе и стоит жить. Ради него и, пожалуй, еще ради любимой музыки, некоторых книг... Все остальное похоронено и былшем поросло.

Медрано внимательно разглядывал свою сигарету.

— Я не слишком разбираюсь в супружеской жизни,— заметил он,— но, по-моему, вы не были счастливы.

— Я развелась два года назад,— сказала Клаудиа.— По многим, но не очень существенным причинам. Не было ни адюльтера, ни патологической жестокости, ни алкоголизма. Моего бывшего мужа зовут Леон Левбаум, имя это вам кое-что скажет.

— Кажется, онколог или невропатолог.

— Невропатолог. Я развелась с ним прежде, чем стать одной из его пациенток. Он необыкновенный человек, теперь я могу утверждать это с уверенностью, ведь мои воспоминания о нем стали как бы посмертными. Я имею в виду себя, вернее, то немногое, что от меня осталось.

— И все же вы развелись с ним.

— Да, развелась, вероятно, чтобы сохранить то, что еще осталось от моей индивидуальности. Знаете, однажды я обнаружила, что мне хочется уйти из дому, когда он приходит, читать Элиота, когда он собирается на концерт, или играть с Хорхе, вместо того...

— А-а,— сказал Медрано, глядя на нее.— И вы остались с Хорхе.

— Да, все уладилось превосходно. Леон навещает нас по определенным дням, и Хорхе его любит по-своему. Я живу, как мне хочется, и вот я здесь.

— Но вы говорили о неудаче.

— Неудача? Неудачей было мое замужество, и разводом тут ничего не исправишь, даже имея такого сына, как Хорхе. Все началось гораздо раньше, с моего абсурдного появления на свет.

— А почему? Если вам не надоели мои вопросы.

— О, вопрос этот не нов, я сама не раз его себе задавала, с тех пор как стала сознавать себя. Я располагаю целым набором ответов, пригодных для солнечных дней, для грозовых ночей... Обширная коллекция масок, за которыми, по-моему, зияет черный провал.

— А не выпить ли нам еще коньяка,— сказал Медрано, подзывая бармена.— Любопытно, у меня такое ощущение, будто среди нас никто не связан матримониальными узами. Лопес и я — холостяки, думаю, что Коста тоже, доктор Рестелли — вдовец, есть еще две-три девушки на выданье... А дон Гало? Поди

узнай, какое семейное положение у дона Гало. Вас зовут Клаудиа, верно? Меня Габриэль Медрано, и моя биография не представляет никакого интереса. За здоровье ваше и вашего сына!

— За ваше здоровье, Медрано, и поговорим о вас.

— Из интереса или из вежливости? Простите, но иногда люди руководствуются лишь чистейшими условностями. Я вас разочарую, сказав, почему я стал дантистом и почему прожигаю жизнь, не принося пользы, имею немногих друзей, восхищаюсь немногими женщинами и строю карточные домики, которые рушатся каждую минуту. Бух, и все летит на пол. Но я начинаю все сначала, представьте себе, все сначала.

Он взглянул на нее и рассмеялся.

— Мне нравится разговаривать с вами,— сказал он.— Мать Хорхе, маленького львенка.

— Мы оба болтаем несусветную чушь,— сказала Клаудиа и в свою очередь рассмеялась.— Конечно, всюду одни маски.

— О, маски. Человек вечно должен думать о лице, которое прячут, но в действительности берет в расчет лишь маску, данную маску, а не какую-либо иную. Скажи мне, какую маску ты носишь, и я скажу, какое у тебя лицо.

— Последняя называется «Малькольм»,— сказала Клаудиа,— и, по-моему, мы носим ее вместе. Послушайте, я хочу, чтобы вы познакомились с Персио. Мы можем послать за ним в его каюту. Персио необыкновенное существо, настоящий маг, порой я даже побаиваюсь его, но он словно агнец, правда, кто знает, сколько символов может скрываться за одним ягнёнком.

— Это такой низенький и лысый человек, который был с вами в «Лондоне»? Он напомнил мне фотографию Макса Жакоба у меня дома. И как говорится, легок на помине...

— Достаточно будет лимонада, чтобы поднять настроение,— сказал Персио.— И возможно, еще сэндвича с сыром.

— Что за чудовищная смесь,— сказала Клаудиа.

Ладонь Персио рыбой скользнула в руке Медрано. Персио был весь в белом, даже штиблеты на нем были белые. «Все куплено в последнюю минуту и где попало»,— подумал Медрано, разглядывая его с симпатией.

— Путешествие начинается с туманных знамений,— сказал Персио, нюхая воздух.— Река, скорее, похожа на молочный кисель. Что касается моей каюты, то это настоящее великолепие. К чему описывать его? Все сверкает и полно загадочных приспособлений со всякими кнопками и надписями.

— Вам нравится путешествовать? — спросил Медрано.

— Видите ли, я занимаюсь этим ежедневно.

— Он имеет в виду метро, — сказала Клаудиа.

— Нет-нет, я путешествую в инфракосмосе и в гиперкосмосе, — сказал Персио. — Эти два идиотских слова почти ничего не обозначают, но тем не менее я путешествую. По крайней мере мое астральное тело совершает головокружительные траектории. А тем временем я тружусь у Крафта, моя цель — править гранки. Надеюсь, этот круиз будет мне полезен для наблюдений за звездами, для астральных сентенций. Вы знаете, что думал Парацельс? Что небосвод — это фармакопейя. Великолепно, да? Теперь созвездия будут у меня под рукой. Хорхе утверждает, что звезды лучше видны на море, чем на суше, особенно в Чакарите, где я живу.

— Вы переходите от Парацельса к Хорхе, не делая различий, — рассмеялась Клаудиа.

— Хорхе много знает, он рупор знаний, которые потом забудет. Когда мы играем в чудеса, в великие Загадки, он всегда опережает меня. Только в отличие от меня он часто отвлекается, как обезьянка или тюльпан. Если бы можно было подольше задержать его внимание на том, что он рассматривает... Но подвижность — закон для ребенка, так, кажется, говорил, Фехнер. И проблема, конечно, в Аргусе. Вечный вопрос.

— В Аргусе? — удивилась Клаудиа.

— Да, в многоликом, тысячеглазом, вездесущем. Вот именно, вездесущем! — воодушевленно воскликнул Персио. — Когда я пытаюсь присвоить себе видение Хорхе, разве я тем самым не выдаю самую ужасную ностальгию человечества? Видеть чужими глазами, быть одновременно моими и вашими глазами, Клаудиа, такими прекрасными, и глазами этого сеньора, столь выразительными. Быть глазами всех — вот что убивает время, полностью его уничтожает. Чао. Прочь, изыди!

Он махнул рукой, словно отгоняя муху.

— Вы представляете? Если бы я мог одновременно увидеть то, что видят глаза всего человечества, четырех миллиардов людей, действительность перестала бы быть последовательной, она превратилась бы в застывшее абсолютное видение, в котором мое «я» исчезло бы полностью. Но это исчезновение, какой триумфальный фейерверк! Какой Ответ! Невозможно представить себе с этой минуты пространство и тем более время, которое не что иное, как то же пространство, только в последовательной форме.

— Но если бы вы выжили после такого взгляда, — сказал

Медрано, — вы снова почувствовали бы время. Головокружительно приумноженное числом раздробленных видений, но всегда остающееся временем.

— О нет, они не были бы раздробленными, — сказал Персио, поднимая брови. — Идея объять космос полным синтезом возможна лишь, если отталкиваться от столь же полного анализа. Поймите же, человеческая история — это печальное следствие того, что каждый индивид смотрит в одиночку. Время зарождается в глазах, в познаваемом.

Он извлек из кармана какую-то брошюрку и жадно стал изучать ее.

Медрано, закуривая, увидел, как в дверь бара просунулся шофер дона Гало и, оглядевшись, приблизился к бармену.

— Немного фантазии, и можно составить себе некоторое представление об Аргусе, — говорил Персио, листая страницы брошюрки. — Я, например, упражняюсь с помощью таких вот вещей. Они ни на что не годятся, ибо являются плодом моей фантазии, зато пробуждают во мне космическое чувство, влекут к подлунной неуклюжести.

На обложке книжечки значилось: *Guía oficial dos caminhos de ferro de Portugal*¹. Персио помахал справочником, словно флажком.

— Если желаете, я могу проделать одно упражнение, — предложил он. — В другой раз вы можете использовать, например, альбом фотографий, атлас, телефонный справочник, все равно что, лишь бы обрести вездесущность, убежать с того места, где находишься, и на миг... Лучше я объясню на словах. Например, сейчас в Аргентине двадцать два тридцать. Вы знаете, что это не астрономическое время и что у нас с Португалией разница в четыре часа. Но мы не собираемся составлять гороскоп и поэтому просто представим себе, что там, в Португалии, сейчас приблизительно восемнадцать тридцать. Надеюсь, это прекрасное время, час, когда на солнце сверкают все изразцы.

Он решительно раскрыл справочник и стал изучать тридцатую страничку.

— Итак, главная линия на севере страны. Понятно? Вдумайтесь: в эту самую минуту поезд № 125 находится между станциями Меальда и Аджим. Поезд № 324 сейчас тронется со станции Торриш Новас, до отправления как раз остается одна минута, на самом деле много меньше. № 326 подходит к

¹ Официальный справочник железных дорог Португалии (*португ.*).

Сонзелас, а на линии Вепдас Новас № 2721 только что вышел из Кинта Грапде. Вы видите, да? Вот здесь ветка Лоусао, где поезд № 629 как раз стоит на одноименной станции, готовый тронуться в направлении Прильяо — Касайс... Но прошло уже тридцать секунд, а нам едва удалось представить себе пять-шесть поездов, между тем их намного больше; на восточной линии № 4111 следует из Монте-Редондо в Гиа, № 4373 задержался в Лейриа, № 4121 вот-вот прибудет в Паул. А западная линия? № 4026 выбыл из Мартингансы и проходит без остановки Патайас, № 4028 стоит в Коимбре, но секунды летят, и вот уже на линии Фигейры № 4735 только что прибыл в Верриде, № 1429 отходит от перрона Пампильосы, он уже дал гудок, трогается... а № 1432 подходит к станции Касал... Мне продолжать? Продолжать?

— Не надо, Персио, — растроганно сказала Клаудиа. — Выпейте свой лимонад.

— Но вы, надеюсь, схватили суть? Мое упражнение...

— О да, — сказал Медрано. — Я словно на миг почувствовал, как с неизмеримой высоты можно увидеть почти одновременно все поезда Португалии! Разве не в этом состоит ваше упражнение?

— Необходимо вообразить, что вы видите, — сказал Персио, закрывая глаза. — Стереть все слова, только видеть, как на этом малюсеньком, незначительнейшем клочке земного шара нескончаемые вереницы поездов движутся точно по расписанию. А затем мало-помалу вообразить себе поезда Испании, Италии, все поезда, которые в этот момент, в восемнадцать часов тридцать две минуты, находятся в каком-то определенном месте, прибывают на место или отправляются из определенного места.

— У меня голова начинает кружиться, — сказала Клаудиа. — О нет, Персио, только не сейчас, когда такая прекрасная ночь и такой превосходный коньяк.

— Хорошо, оставим это упражнение, оно служит иным целям, — согласился Персио. — И в первую очередь магическим. Вы когда-нибудь размышляли над рисунками? Если на этой карте Португалии мы отметим и соединим линией все пункты, где в восемнадцать тридцать находится хотя бы один поезд, будет очень интересно посмотреть, какой получится рисунок. Через каждые четверть часа рисунок надо менять, чтобы оценить путем сравнений и сопоставлений, будет ли он улучшаться или ухудшаться. В свободные минуты у Крафта мне удавалось достичь любопытных результатов, я недалеко от мысли, что в один прекрасный день увижу рождение рисунка, который в точности

совпадет с каким-нибудь прославленным произведением, гитарой Пикассо, например, или зеленщицей Петорутти. Если это случится, я получу некую цифру, модуль. И таким образом, смогу начать постижение вселенной с ее подлинной аналогичной основы, я разрушу время-пространство, это отягченное ошибками измышление.

— Значит, мир волшебен? — спросил Медрано.

— Сами видите, даже волшебство заражено западными пред-рассудками, — огорченно сказал Персио. — Прежде чем приступить к определению космической реальности, необходимо уйти на пенсию, чтобы получить время для изучения звездной фармакопей и возможность пальпировать тончайшую материю. Разве, когда работаешь целый день, успеешь?

— Дай бог, чтобы путешествие помогло его изысканиям, — сказала Клаудиа вставая. — Меня охватывает чудесная усталость туриста. Итак, до завтра.

Через несколько минут Медрано в приподнятом настроении вернулся в свою каюту и пошел в себе силы разобрать чемоданы. «Кюимбра» — думал он, выкуривая последнюю сигарету. «Невропатолог Левбаум». Все так легко мешалось в голове; кто знает, быть может, удастся также извлечь какой-нибудь значимый рисунок из этих встреч и этих воспоминаний, в которых вдруг появилась Беттина, смотревшая на него полуудивленно, полубожиженно, словно то, что он зажигал свет в ванной, было непростительным оскорблением. «Ах, оставь ты меня в покое», — подумал Медрано, открывая душ.

XVIII

Рауль зажег свет в изголовье постели и потушил спичку, с помощью которой отыскал выключатель. Паула спала, повернувшись к нему лицом. В слабом свете почника ее рыжеватые волосы казались пятном крови на подушке.

«Какая она красивая, — подумал он, медленно раздеваясь. — Как разглаживается ее лицо, исчезают эти печальные морщинки у насупленного переносья, которые остаются, даже когда она смеется. А рот ее теперь похож на уста ангела Боттичелли, такие юные, такие непорочные...» Он насмешливо улыбнулся. «*Thou still unravish'd bride of quietness*»¹. *Ravish'd*, и *archiravish'd*? бедняжка». Бедняжка Паула, слишком быстро нака-

¹ «Петронутой невестой тишины» (англ.). — Первая строка из «Оды греческой вазе» Джона Китса.

² Тронутая, и неоднократно (англ.).

занная за свою несуразную строптивость в этом Буэнос-Айресе, где она могла найти лишь таких типов, как Блондинчик, ее первый любовник (если только он был первым; да, конечно, первый — Паула не станет ему лгать), или как Лучо Нейра, ее последний, не считая всех Иксов и Игреков, парней с пляжа, и приключений в конце недели или на задних сиденьях какого-нибудь «меркури» или «де Сото». Надев голубую пижаму, он босиком подошел к ней; вид спящей Паулы немного волновал его, хотя он не впервые видел ее в постели, по теперь Паула и он вступили в некий интимный и почти тайный союз, который, быть может, продлится недели или даже месяцы, и поэтому доверчиво спящая рядом с ним Паула немного его умиляла. В последние месяцы было просто невыносимо терпеть ее постоянные горести, телефонные звонки в три часа ночи, страсть к пилюлям и беспечным блужданиям, навязчивые мысли о самоубийстве, непрестанные угрозы («приходи немедленно, не то я выброшусь из окна»), ее вспышки радости по поводу удачного стихотворения и безутешные рыдания, от которых страдали его галстуки и пиджаки. Ночью она вдруг врывалась к нему, вызывая его на грубость и оскорбления, ибо он уже устал упрашивать, чтобы она предупреждала по телефону о своих визитах, все осматривала и спрашивала: «Ты один?» — словно боялась, что кто-то прячется под софой или под кроватью, а затем следовал внезапный смех или плач, бесконечные излияния, вперемежку с виски и сигаретами. И еще успевала делать замечания, раздражавшие его своей справедливостью: «И кому пришло в голову повесить здесь эту гадость?», «Разве ты не замечаешь, что эта ваза на полочке лишняя?» — или вдруг начинала проповедовать мораль, свой абсурдный катехизис, говорить о ненависти к друзьям, о своем вмешательстве в историю с Бето Ласьервой, которое, возможно, объясняет грубый разрыв и его бегство. И все же Паула была восхитительна, верная и любимая подруга по бурным ночам, политическим стычкам в университете, разделяющая его литературные пристрастия. Бедная маленькая Паула, дочь политического касика, отпрыск заносчивой и деспотичной семьи, верная как собачонка первому причастию, школе монахинь, приходскому священнику и своему дядюшке, «Ла Насьон» и театру «Колумб» (ее сестра Кока непременно сказала бы «имени «Колумба»»), и вдруг прыжок в объятия улицы — абсурдный и непоправимый шаг, навсегда и напроць оторвавший ее от семейства Лавалье, начало жалкого падения. Бедная Паулита, как она могла быть такой глухой в столь решительную минуту. В остальном же (Рауль смотрел на нее,

покачивая головой) ее решения никогда не были радикальными. Паула все еще ела хлеб семейства Лавалье, патрицианского семейства, способного предать забвению скандал и оплачивать приличную квартиру паршивой овечке. Еще одна причина для нервных припадков, мятежных порывов, планов вступить в Красный Крест или уехать за границу; все это обсуждалось в шикарной столовой или в спальне, в квартире со всеми удобствами и мусоропроводом. Бедняжка Паулита. Было так приятно видеть ее безмятежно спящей («а может, это люминал или нембутал?») — подумал Рауль и сознавать, что она пробудет в таком состоянии всю ночь рядом с ним, и вот он уже снова ложится в свою постель, гасит свет и закуривает сигарету, пряча спичку в ладонях.

В каюте № 5 по левому борту сеньор Трехо храпит точно так же, как в супружеской постели у себя дома на улице Акойте. Фелипе все еще не ложится, хотя едва держится на ногах от усталости; он принял душ и теперь рассматривает в зеркале свой подбородок, где пробивается пушок, тщательно причесывается, испытывая удовольствие видеть себя, чувствовать себя вовлеченным в настоящее приключение. Он входит в каюту, надевает хлопчатобумажную пижаму и разваливается в кресле, закуривает сигарету «Кемел» и, направив свет лампы на номер «Эль Графико», лениво его перелистывает. Хорошо бы старик не храпел, но это значит требовать невозможного. Он никак не хочет мириться с мыслью, что ему не досталась отдельная каюта; а вдруг случайно наклонится что-нибудь, как тогда быть? Вот если б старик спал в другом месте. Он лениво вспоминает фильмы и романы, где пассажиры переживают захватывающие любовные драмы в своих каютах. «Зачем только я их пригласил с собой», — твердит про себя Фелипе и думает о Негрите, которая, наверное, сейчас раздевается в своей спаленке на верхотуре, окруженная радиотележурналистками и открытками с изображением Джеймса Дина и Анхела Маганьи. Листая «Эль Графико», он рассматривает фотографии боксерского матча, воображает себя победителем международной встречи, раздающим автографы, нокаутировавшим чемпиона. «Завтра будем уже далеко», — резко обрывает он свои мысли и зевает. Кресло прелестное, но сигарета уже обжигает пальцы, и ему все сильнее хочется спать. Он гасит свет, зажигает ночничок над изголовьем и скользит в постель, наслаждаясь каждым сантиметром простыней, упругим и мягким матрацем. Ему приходит на ум,

что Рауль тоже, наверное, сейчас укладывается спать, выкурив напоследок трубку, но вместо противно храпящего старика в его каюте эта классная рыжуха. Он обнял ее, и оба они, конечно, голые, наслаждаются. Для Фелипе слово «наслаждаться» заключает в себе все, что только можно придумать в часы одиночества, почерпнуть из романов и откровенных разговоров со школьными приятелями. Погасив ночник, он медленно поворачивается на бок и простирает руки, чтобы обнять в темноте Негриту, рыжую красавицу — некий образ, в котором также угадываются черты младшей сестры одного его друга и его собственной кухни Лолиты, целый калейдоскоп женских тел, которые он нежно ласкает, пока его руки не натываются на подушку, обхватывают ее, выдергивают из-под головы, прижимают к телу, разгоряченному, содрогающемуся, а рот впивается в бесчувственную тепловатую материю. Наслаждаться, наслаждаться, и, не помня себя, он сдергивает пижаму и, обнаженный, снова обхватывает подушку, вытягивается и ничком падает на постель, извиваясь, причиняя себе боль и не получая никакого наслаждения.

— Итак, — сказал Карлос Лопес, гася свет, — несмотря на все мои страхи, эта водяная феерия все-таки началась.

Его сигарета прочертила замысловатую кривую, и в белесом свете обрисовался круглый иллюминатор. Как хорошо в постели; нежное покачивание навевает безмятежный сон. Однако, прежде чем заснуть, Лопес думает о том, как приятно было встретить среди пассажиров Медрано, об истории дона Гало, о рыжей подруге Косты, о возмутительном поведении инспектора. Потом снова вспоминает о своем коротком визите в каюту Рауля, о колкостях, которыми он обменялся с зеленоглазой девушкой. Ну и подружку подцепил себе этот Коста. Если бы он сам не увидел... Но он видел, и тут нет ничего удивительного: мужчина и женщина занимают вместе каюту № 10. Любопытно, если бы он встретил ее у Медрано, например, это показалось бы ему совершенно естественным. Но Коста?! А собственно, почему? Глупо, конечно, но он и сам не знал. Ему припомнилось, что Костальс де Монтерлант вначале звался просто Коста; вспомнил он и некоего Косту, своего давнего однокашника по колледжу. Почему его мысли все время вертятся вокруг этого? Тут что-то неладно. Голос Паулы, когда она разговаривала с ним, тоже как-то не вязался с обстановкой. Конечно, есть женщины, которые ничего не могут поделать со своим характером. И этот Коста, улыбающийся в дверях каюты. Такие оба симпа-

тичные. И такие разные. Вот где зарыта собака! Они совсем не подходят друг к другу. Между ними не чувствовалось никакой связи, ни малейшей мимикрии, любовной или дружеской игры, когда даже явные противоположности связаны чем-то общим.

— Я строю иллюзии,— произнес вслух Лопес.— Но так или иначе, они будут отличными попутчиками. И кто знает, кто знает...

Окучок порхнул, точно птичка, и затерялся в волнах реки.

Д

*Тайком, немного, напуганный, но возбужденный и не-
удержимый, ровно в полночь в темноте носовой палубы появ-
ляется Персио, готовый бодрствовать. Прекрасное южное небо
привлекает его на время, он поднимает лысую голову и рассмат-
ривает сверкающие гроздья, однако Персио жаждет установить
и упрочить контакт с кораблем, на котором он плавает, вот по-
чему, дождавшись, когда сон успокоит всех пассажиров, он
устанавливает ревностное наблюдение, призванное соединить
его с флюидами ночи. Стоя рядом с вызывающе гордой грудой
каната (обычно на пароходах не бывает змей), чувствуя на лбу
сырой воздух лугов, Персио тихо сличает все мнения и сужде-
ния, услышанные, им, начиная с «Лондона», составляет под-
робную номенклатуру, где гетерогенность трех бандонеонов и
прохладительного напитка с «чинзано», носовая переборка ко-
рабля и маслянисто покачивающийся в темноте радар посте-
пенно превращаются для него в некую геометрическую законо-
мерность, медленно проясняющую ситуацию, в которой он ока-
зался вместе с остальными пассажирами. Персио не склонен к
ограничительным определениям, и тем не менее им владеет по-
стоянная страсть к окружающим его обыденным проблемам. Он
уверен, что закон едва уловимой аналогии правит и карман-
ным хаосом, где певец провожает своего брата, а кресло-катал-
ка кончается хромированной рукоятью; это подобно слепой
уверенности в том, что существует центральная точка, откуда
диссонанты можно увидеть, как спицы в колесе. Но Персио не
настолько наивен, чтобы не знать, что разрушение феномена
должно предшествовать всякой архитектурной попытке, и
все же он любит бесконечный калейдоскоп жизни, с удовольст-
вием и наслаждением носит новенькие домашние туфли фирмы
«Пирелли», растроганно слушает скрип шпангоутов и легкий
плеск волн о борт судна. Не в силах отвергнуть конкретное,
дабы наконец утвердиться в измерении, где вещи становятся*

явлениями и чувственное восприятие уступает место упительному совпадению вибрации и напряжения, он выбирает жалкий труд астролога, традиционное движение в сфере герметического образа, таро¹ и благоприятного слепого случая. Персио верит в некий дух, подобный джинну, выпущенному из бутылки, который помогает ему ориентироваться в клубке событий и фактов, и, уподобившись носу «Малькольма», разрезающему реку, ночь и время, он спокойно продвигается вперед в своих размышлениях, которые отвергают все тривиальное — например, инспектора или странные запреты, существующие на судне,— чтобы сосредоточиться на том, что подчинено высшей связи. Вот уже некоторое время его глаза изучают капитанский мостик, оставаясь на большом иллюминаторе, пропускающем фиолетовый свет. Кто бы ни вел корабль, он должен находиться в глубине освещенной рубки, вдали от стекол, которые поблескивают в легком речном тумане. Персио чувствует, как в нем постепенно растет ужас, ему мерещатся злоеющие барки без рулевых, недавно прочитанные страницы навезают видения, в которых мрачные северо-восточные районы (и грозный Тукулька с зеленым жезлом-кадуцеем в руках) мешаются с Артуром Гордоном Пимом, ладьей Эйрика, подземным озером Оперы,— ну и мешанина! И в то же время Персио страшится, сам не зная почему, того момента, когда в иллюминаторе появится силуэт капитана. До сих пор события разворачивались, напоминая приятный бред, отчетливый и понятный, накрепко соединяющий разрозненные элементы; но что-то говорит ему (и это что-то вполне могло быть подсознательным объяснением случившегося), что в течение ночи будет установлен некий порядок, некая тревожная причинность, которая возникает и исчезает вместе с краеугольным камнем, а он с минуты на минуту будет заложен на вершине свода. И Персио дрожит и отступает как раз в тот момент, когда на капитанском мостике вырисовывается силуэт — темный торс, неподвижный и прямой, у самого стекла. В вышине медленно вращаются планеты; стоило появиться капитану, и корабль меняет курс, и вот уже грот-мачта перестает ласкать Сириус, склоняется к Малой Медведице, колет и подтегивает ее, пока не отгоняет в сторону. «У нас есть капитан,— думает Персио, вздрагивая,— есть капитан». И словно в хаосе быстрых и бурлящих, как кровь, мыслей, медленно зарождается закон, мать будущего, закон, начало немолчаливого пути.

¹ Особый вид игральных карт (франц.).

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

...Le ciel et la mer s'ajustent
ensemble pour former une
espèce de guitare...¹

Audiberti, Quaat-Quaat.

XIX

Ночная деятельность Атилио Пресутти завершилась переселением: с помощью хмурого, неразговорчивого стюарда он вынес из своей каюты вторую постель и перенес ее в соседнюю, которую занимали Неллина мать и сама Нелли. Из-за размеров и формы каюты разместиться в ней оказалось не так-то просто, и донья Росита несколько раз предлагала оставить все по-прежнему и вернуться в каюту сына, но Пушок, схватившись за голову, твердил, что в конце концов три женщины вместе — это совсем не то, что мать с сыном, и что в его каюте нет ни ширм, ни перегородок. Наконец удалось запихнуть кровать между дверью в ванную и входом в каюту, и Пушок появился вновь, неся ящик с персиками, который подарил ему Русито. Хотя все сильно проголодались, никто не решился позвонить и заказать ужин; поели персиков, и Неллина мать достала бутылку с вишневым напитком и шоколад. Умиротворенный Пушок возвратился в свою каюту и завалился спать.

Когда он проснулся, было семь часов; подернутое дымкой солнце светило в иллюминатор. Сев в кровати и почесываясь через майку, Пушок при дневном свете оценил роскошное убранство и размеры своей каюты. «Как здорово, что моя старуха женщина и должна спать вместе с себе подобными», — с удовольствием подумал он, радуясь независимости и весу, которые придавали ему личные апартаменты. Каюта номер четыре сеньора Атилио Пресутти. А теперь поднимемся наверх, посмотрим, что там делается! Пароход вроде стоит на месте, может, мы уже в Монтевидео? Уф! Ну и ванная, ну и сифоны, мама миа! А розовая туалетная бумага, просто грандиозно! Сегодня вечером или завтра обязательно приму душ, потрясающе! А ты только взгляди на этот умывальник, да он как бассейн в «Спортивно барракас», в нем можно помыть загривок, ни чуточки не забрызгавшись, а какая приятная водичка течет... Пушок энер-

¹ ...небо и море соединяются воедино, образуя некое подобие гитары... (*Одиберти, «Кваат-Кваат».*)

гично намылил лицо и уши, стараясь не замочить майку. Потом надел пижаму, новую, в полоску, баскетбольные кеды и, прежде чем выйти, причесался; в спешке он забыл почистить зубы, а ведь донья Росита специально купила ему новую зубную щетку.

Он прошел мимо кают правого борта. Наверняка все еще дрыхнут, он первым вышел на палубу. Но там уже прогуливался мальчуган, который путешествовал вместе с мамой, и очень дружелюбно посмотрел на него.

— Добрый день, — сказал Хорхе. — Я вас всех опередил, видите.

— Как поживаешь, малец? — снизошел до разговора Пушок. Он приблизился к борту и оперся о перила обеими руками.

— Черт-те что! — сказал он. — Да мы все еще торчим перед Кильмесом!¹

— Значит, все эти цистерны и большие железяки — это и есть Кильмес? — спросил Хорхе. — Здесь варят пиво?

— Это надо ж! — повторял Пушок. — А я-то вообразил, что мы уже в Монтевидео и что, чего доброго, можно сойти на берег и все такое прочее...

— А Кильмес, наверное, недалеко от Буэнос-Айреса, да?

— Конечно! Сел на авто и в два счета тут! Похоже, банда Японца насмехается надо мной с берега, они все отсюда... И это называется путешествие?!

Хорхе окинул его пронизательным взглядом.

— Мы уже целый час как стоим на якоре, — сказал он. — Я поднялся в шесть утра, не хотелось больше спать. А знаете, здесь никогда никого не увидишь! Прошли два матроса, спешили по своим делам, но, кажется, они меня совсем не поняли, когда я с ними заговорил. Наверняка они липиды.

— Кто-кто?

— Липиды. Они такие странные, ничего не говорят. Если только они не протейды; их так легко спутать.

Пушок посмотрел на Хорхе исподлобья и уже собирался что-то спросить, но тут на трапе показалась Нелли с матерью, обе в брюках, легких босоножках, дымчатых очках и в платочках.

— Ах, Атилио, какой дивный пароход! — сказала Нелли. — Все так блестит, прямо прелесть, а воздух, какой воздух!

— Какой воздух! — сказала донья Пепа. — А вы, Атилио, оказывается, рано встаете.

¹ Один из районов Большого Буэнос-Айреса.

Атилио подошел; Нелли подставила ему щеку для поцелуя. Вытянув руку, он показал на берег.

— Да, это место мне знакомо, — сказала Неллина мать.

— Бериссо! — сказала Нелли.

— Кильмес, — мрачно сказал Пушок. — Скажите на милость, что это за путешествие.

— А я-то думала, что мы уже в открытом море и поэтому нас совсем не качает, — сказала Неллина мать. — А может, чего доброго, у них там что-то поломалось, и надо чинить.

— А может, они собираются брать нефть, — сказала Нелли.

— Эти суда ходят на мазуте, — сказал Хорхе.

— Вот-вот, — сказала Нелли. — А этот карапуз тут совсем один? Твоя мамочка внизу, да, дорогой?

— Да, — ответил Хорхе, искоса смотря на нее. — Она считает пауков.

— Кого, кого, детка?

— Коллекцию пауков. Каждый раз, когда мы отправляемся в такие путешествия, мы берем ее с собой. Вчера вечером у нас убежало пять пауков, но, кажется, мама уже нашла троих.

Неллина мать и сама Нелли разинули рот. Хорхе пригнулся, увертываясь от полудружеского, полусердитого шлепка, которым собирался наградить его Пушок.

— Вы что, не соображаете, что он насмехается над вами? — сказал Пушок. — Давайте поднимемся наверх, посмотрим, может, нам дадут молока, у меня все кишки свело от голода.

— Кажется, завтрак на таких пароходах бывает очень обильный, — сказала Неллина мать с недовольным видом. — Я читала, что подают даже апельсиновый сок. Помнишь, доченька, тот кинофильм? Ну тот, где играла девушка... отец ее еще работал в какой-то газете, и он не позволял ей встречаться с Гарри Купером.

— Да нет, мама, это совсем не тот фильм.

— Ну разве ты не помнишь, он был цветной, и эта девушка почью пела болеро на английском языке... Хотя, правда, в этой картине не участвовал Гарри Купер. Он был в той, где про катастрофу на железной дороге, помнишь?

— Да нет же, мама, — возражала Нелли. — И всегда ты все только путаешь.

— Там подавали фруктовые соки, — пастаивала донья Пепа.

Поднимаясь в бар, Нелли повисла на руке жениха; по дороге она тихим голосом спросила у него, как она нравится ему в брюках, на что Атилио отвечал сдавленным рыком, до боли сжав ей плечо.

— Подумать только,— шептал Пушок ей на ухо,— ты могла уже быть моей женой, если бы не твой папаша.

— Ах, Атилио,— сказала Нелли.

— У нас была бы каюта на двоих и все прочее.

— Ты думаешь, я сама не мучаюсь по ночам? Ну, то есть мы давно уже могли бы пожениться.

— А теперь надо ждать, пока твой старикан не наймет нам домик.

— Конечно. Ты же знаешь, какой он, мой папа.

— Как мул,— сказал Пушок уважительно.— Еще хорошо, что мы можем пробыть вместе все путешествие, поиграть в карты, а ночью выйти на палубу, видишь, вон туда, где эти связки канатов.. Отличное укрытие. Ох и жрать хочется, сил нету..

— От речного воздуха очень разыгрывается аппетит,— сказала Нелли.— А как тебе нравится мама в брюках?

— Ей они здорово идут,— сказал Пушок, в жизни не видевший ничего более похожего на почтовый ящик, чем теший зад.— Моя старуха ни за что такое не наденет, она на старый манер, да и посмей она только, старик забил бы ее до смерти. Ты же знаешь, какой он.

— У вас в семье все вспыльчивые,— сказала Нелли.— Ступай, позови свою маму и давай поднимемся в бар. Погляди, какие тут двери, какая чистота!

— Слышишь, как шебуршат в баре,— сказал Пушок.— Вроде к часу, когда подадут хлеб с маслом, все сбегаются. Пошли вдвоем искать старуху, не люблю, когда ты ходишь одна.

— Но, Атилио, я же не девочка.

— Тут, на пароходе, такие крокодилы водятся,— сказал Пушок.— Пойдешь со мной, и дело с концом.

XX

В баре все было готово к завтраку. Стояло шесть накрытых столиков, и, когда бармен положил на место последнюю цветную салфетку из бумаги, в зал почти одновременно вошли Лопес и доктор Рестелли. Они выбрали столик, и тут же к ним на правах старого знакомого, хотя он еще ни с кем не обмолвился и словом, присоединился дон Гало; щелкнув пальцами, он отослал своего шофера. Лопес, пораженный тем, что шофер таскал по лестницам хозяина в кресле-каталке (превращенной для этого случая в некое подобие корзины), поинтересовался, этого ли себя чувствует дон Гало.

— Сносно,— ответил дон Гало с сильным галисийским ак-

центом, который он не утратил за пятьдесят лет своей коммерческой деятельности в Аргентине.— Вот только погода слишком сырая и вчера вечером нас оставили без ужина.

Доктор Рестелли, облаченный во все белое и при головном уборе, считал, что порядок на пароходе оставляет желать лучшего, хотя некоторые обстоятельства в какой-то степени и смягчали вину устроителей.

— Полно вам, полно,— сказал дон Гало.— Порядка никакого, как всегда, когда государственная бюрократия пытается подменить частную инициативу. Будь это путешествие организовано «Экспринтером», уверяю вас, мы бы избежали немало огорчений.

Лопес забавлялся. Мастер вовлекать людей в споры, он наемкнул на то, что частные агентства тоже нередко подсовывают коту в мешке и что так или иначе Туристская лотерея проводится официально.

— Разумеется, разумеется,— поддержал его доктор Рестелли.— Сеньор Порриньо, так, кажется, ваша фамилия, не должен забывать, что почетная инициатива в данном деле принадлежит нашим властям, чья прозорливость...

— Противоречие,— сухо прервал его дон Гало.— Я никогда не видел власти, которая обладала бы прозорливостью. Судите сами, в сфере торговли нет ни одного правительственного декрета, который можно было бы назвать удачным. За примерами ходить недалеко, взять хотя бы импорт тканей. Что вы можете возразить мне на это? Самая настоящая глупость. В Торговой палате, где я состою почетным председателем уже три срока подряд, я высказывал свое мнение в двух открытых письмах и докладной записке в министерство торговли. А каковы результаты, сеньоры? Никаких. Вот вам и правительство.

— Позвольте, позвольте.— Доктор Рестелли начинал петушиться, что особенно забавляло Лопеса.— Я далек от мысли защищать всякое деяние правительства, однако, будучи профессором истории, я умею сравнивать и могу заверить вас, что нынешнее правительство и вообще большинство правительств проявляют умеренность и сохраняют равновесие в отношении, не спорю, весьма достойной уважения частной инициативы, которая нередко стремится завладеть тем, что не может быть ей предоставлено без ущемления национальных интересов. И это, милостивый государь, касается не только противодействующих сил, но и политических партий, общественной морали и городского управления. Во что бы то ни стало надо избежать анархии, пусть даже в самых зародышевых формах.

Бармен начал разливать кофе с молоком. Он с большим интересом прислушивался к разговору, шевеля губами, словно повторял наиболее выдающиеся мысли.

— А мне чай и побольше лимона, — приказал дон Гало, не глядя на бармена. — Да, да, все сразу начинают толковать об анархии, а ведь совершенно ясно, что настоящая анархия — это официально существующая, прикрытая законами и уставами. Вот увидите, и это путешествие окажется отвратительным, по-настоящему отвратительным.

— Почему же тогда вы согласились поехать? — спросил словно невзначай Лопес.

Дона Гало заметно передернуло.

— Позвольте, это совершенно разные вещи. Почему я должен отказываться, если я выиграл в лотерее? К тому же недостатки выявляются всегда постепенно, на месте.

— С вашими воззрениями вы должны были заранее предвидеть все здешние недостатки, вам не кажется?

— Конечно. Ну, а вдруг случайно все получится хорошо?

— Иными словами, вы признаете, что государственная инициатива в некоторых случаях может быть удачной, — сказал доктор Рестелли. — Я лично стараюсь проявить понимание и стать на место официального лица. («Ты просто мечтаешь об этом, неудавшийся депутатик», — подумал Лопес, скорее с симпатией, чем со злорадством.) Бразды правления — это слишком серьезная вещь, мой уважаемый оппонент, и, к счастью, они находятся в надежных руках. Быть может, не совсем энергичных, но весьма благонамеренных.

— Наконец-то, — сказал дон Гало, решительно макая гренок в чай. — Вот уж и сильное правительство. Нет, сеньор, надо развивать более интенсивную торговлю, более широкое обращение капитала, благоприятные возможности для всех, разумеется в определенных рамках.

— Одно другого не исключает, — сказал доктор Рестелли. — И все же необходима власть, бдительная, с широкими полномочиями. Я сторонник и палладию демократии в Аргентине, но тот, кто путает свободу с распущенностью, находит в моем лице яростного противника.

— А кто говорит о распущенности, — сказал дон Гало. — В вопросах морали я такой же ригорист, как любой другой, черт возьми.

— Я употребил это слово в ином смысле, однако, раз вы восприняли его в обиходном значении, я рад отметить, что в данном вопросе наши взгляды совпадают.

— А также в оценке мармелада, он, кстати, очень вкусный,— сказал Лопес, которому страшно наскучил этот разговор.— Не знаю, заметили ли вы, но вот уже некоторое время мы стоим на якоре.

— Какая-нибудь полонка,— с удовлетворением сказал дон Гало.— Человек! Стакан воды!

Они вежливо приветствовали приход доньи Пепы и остальных членов семьи Пресутти, которые с красноречивыми комментариями расположились за столиком, где было больше масла в масленке. Пушок шел не торопясь, словно давая всем возможность как следует полюбоваться своей пижамой.

— Добрый день, как дела? — сказал он.— Видали, что творится. Мы торчим напротив Кильмеса, стоим на месте.

— У Кильмеса! — воскликнул доктор Рестелли.— Не может быть, юноша, наверное, это Уругвай!

— Да я узнал газгольдеры,— уверял Пушок.— Вон моя невеста не даст мне соврать. Видны дома и заводы, говорю вам, это Кильмес.

— А почему бы и нет? — сказал Лопес.— Мы предполагали, что наша первая остановка будет в Монтевидео, ну а если мы идем в другом направлении, например на юг...

— На юг? — сказал дон Гало.— А что нам там делать, на юге?

— Что делать?.. Думаю, сейчас мы это узнаем. Вам известен маршрут? — спросил Лопес у бармена.

Бармен признался, что маршрута не знает. Вернее, знал до вчерашнего дня; судно должно было следовать до Ливерпуля с восемью или девятью остановками. Но затем вдруг начались какие-то переговоры с берегом, и теперь он решительно ничего не знал. Бармен прервал свои объяснения, чтобы выполнить срочный заказ: Пушок просил подлить молока в кофе, и Лопес с растерянным видом обернулся к своим сотрапезникам.

— Придется поискать какого-нибудь офицера,— сказал он.— Вероятно, у них уже есть новый маршрут.

Хорхе, который успел подружиться с Лопесом, пулей подлетел к ним.

— Сюда идут все остальные,— объявил он.— А вот матросов совсем не видно. Можно мне сесть с вами? Кофе с молоком и хлеб с мармеладом, пожалуйста. Вон идут, про которых я вам говорил.

Появились Медрано и Фелипе, не то сонные, не то чем-то удивленные. Следом за ними поднялись Рауль и Паула. Пока все обменивались приветствиями, вошли Клаудиа и семейство

Трехо. Отсутствовали лишь Лусио и Нора, не считая Персио, однако его отсутствия никто никогда не замечал. В баре шумно задвигали стульями, громко заговорили, поплыл сигаретный дым. Большинство пассажиров только теперь по-настоящему познакомились между собой. Медрано, пригласивший Клаудию за свой столик, нашел ее много моложе, чем она показалась ему прошлой ночью. Паула, несомненно, была еще моложе, но нервный тик словно налитого свинцом века настолько искажал и старил ее лицо, что сейчас она казалась ровесницей Клаудии. Новость о том, что они стоят напротив Кильмеса, облетевшая все столики, вызвала смех и иронические замечания. Медрано с каким-то неприязненным чувством заметил, что Рауль Коста, подойдя к иллюминатору, заговорил с Фелипе, потом они уселись за столиком, где уже завтракала Паула. Лопес злорадствовал, видя явное недовольство, с каким семейство Трехо восприняло это вероломство Фелипе. Появился шофер, чтобы унести дона Гало, и Пушок бросился ему помогать. «Какой добрый малый, — подумал Лопес. — Как ему объяснить, что пижаму следует оставлять в каюте?» И он тут же тихо поделился этой мыслью с Медрано, сидевшим за соседним столиком.

— Это обычная история, че, — сказал Медрано. — Нельзя обижаться на невежество и вульгарность этих людей — ведь, по правде говоря, ни вы, ни я палец о палец не ударили, чтобы помочь им избавиться от их пороков. Мы всячески стараемся как можно меньше соприкасаться с ними, но, если обстоятельства вдруг вынуждают нас находиться вместе, мы...

— Сразу же теряемся, — добавил Лопес. — Я, во всяком случае, чувствую себя совершенно беспомощным перед такой вот пижамой, таким одеколоном и такой наивностью.

— И они это бессознательно используют, чтобы отдалить нас от себя, ибо мы тоже им мешаем. Всякий раз, когда они плюют на палубу, вместо того чтобы плюнуть в море, они словно стреляют нам в переносицу.

— Или когда включают радио на полную громкость и затем начинают кричать, чтобы услышать друг друга, но тогда они не слышат, что передает радио, и снова усиливают громкость, и так до бесконечности.

— Или когда они извлекают на свет традиционную копилку, набитую общими фразами и чужими мыслями, — сказал Медрано. — В своем роде они необыкновенны, как боксеры на ринге или гимнасты, но невозможно же постоянно путешествовать с атлетами и акробатами.

— Не впадайте в меланхолию, — сказала Клаудия, предла-

гая сигареты, — и не выставляйте так поспешно свои буржуазные предрассудки. Лучше скажите, какого вы мнения о среднем звене, иными словами, о семействе учащегося? Там вы столкнетесь с более несчастными созданиями, ибо они не могут найти общего языка ни с группой рыжего, ни с нашим столиком. Они, разумеется, мечтают о контакте с нами, но мы в ужасе бросимся наутек.

Супруги Трехо и дочь вполголоса, с придыханиями и восклицаниями осуждали неуважительное поведение сына и брата. Сеньора Трехо не была расположена позволить этому сопляку воспользоваться случаем, чтобы выйти из-под родительской власти в шестнадцать с половиной лет, и если отец не поговорит с ним как следует... Но она могла быть спокойна, сеньор Трехо обещал непременно поговорить с сыном. Беба со своей стороны была истинным воплощением презрения и осуждения.

— Надо ж, — сказал Фелипе. — Плыть всю ночь и... Утром только взглянул в окошко, а там трубы торчат. Чуть опять не завалился спать.

— Это отучит вас вставать спозаранку, — сказала Паула зевая. — А ты, дорогой, не смей будить меня так рано. Чтобы это было в последний раз. Я принадлежу к славному племени сурков, как по линии Лавалье, так и по линии Охеда, и должна держать высоко наше знамя.

— Прекрасно, — сказал Рауль. — Я сделал это только ради твоего здоровья, но давно известно, что такая забота всегда встречается в штюки.

Фелипе слушал пораженный. Поздновато они начали договариваться насчет спанья. Он усердно занялся сваренным вкрутую яйцом, исподтишка поглядывая на столик, где сидели его родные. Паула разглядывала его сквозь клубы табачного дыма. Ни хуже, ни лучше других; возраст словно их уравнивал, делал одинаково упрямыми, жестокими и прелестными. «Он будет страдать», — сказала она себе, думая вовсе не о нем.

— Да, так будет лучше, — сказал Лопес. — Вот что, Хорхито, если ты уже позавтракал, сбегай посмотри, не найдешь ли кого-нибудь из команды, и попроси подняться сюда на минутку.

— Офицера или можно любого липида?

— Лучше офицера. А кто такие липиды?

— Сам не знаю, — сказал Хорхе. — Но наверняка наши враги. Чао.

Медрано сделал знак бармену, который стоял, привалясь к стойке. Бармен нехотя подошел.

— Кто у вас капитан?

К вящему удивлению Лопеса, доктора Рестелли и Медрано, бармен этого не знал.

— Уж так получилось,— объяснил он огорченно.— До вчерашнего дня капитаном был Ловатт, а вот вчера вечером я слышал... Произошли перемены, и прежде всего потому, что вы стали нашими пассажирами... и...

— Какие перемены?

— Да разные. Теперь, похоже, мы не пойдем в Ливерпуль. Вчера вечером слышал...— Он осекся и огляделся вокруг.— Лучше, если вы поговорите с метрдотелем, навверное, ему больше известно. Он должен прийти с минуты на минуту.

Медрано и Лопес многозначительно переглянулись и отпустили бармена. Видимо, не оставалось ничего другого, как любоваться берегами Кильмеса и вести беседу. Хорхе вернулся с сообщением, что нигде не видно ни одного офицера, а два матроса, которые красили кабестаны, по-испански не понимали.

XXI

— Повесим ее здесь,— сказал Лусио.— Под вентилятором она вмиг высохнет, а потом опять постелим.

Нора отжала кусок простыни, который только что застирала.

— Знаешь, который час? Половина десятого, и мы стоим где-то на якоре.

— Я всегда встаю в это время,— сказала Нора.— Мне хочется есть.

— Мне тоже. Завтрак навверняка уже готов. На пароходе распорядок дня совсем другой.

Они переглянулись. Лусио подошел и нежно обнял Нору. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил он.

— Да, Лусио.

— Правда, ты меня немножко любишь?

— Немножко.

— А ты довольна?

— Гм.

— Не довольна?

— Гм.

— Гм,— сказал Лусио и поцеловал ее в волосы.

Бармен посмотрел на них осуждающе, но все же поспешил накрыть столик, за которым только что завтракало семейство Трехо. Лусио подождал, пока Нора усядется, и затем подошел

к Медрано, который ввел его в курс событий. Когда Лусио сообщил обо всем Норе, она отказалась верить. Вообще женщины были возмущены больше мужчин, словно каждая из них заранее составила свой собственный маршрут, который теперь, с самого начала, был безжалостно нарушен. Паула и Клаудиа, стоя на палубе, растерянно разглядывали индустриальный пейзаж на берегу.

— Подумать только, отсюда можно вернуться домой на автобусе,— сказала Паула.

— Я начинаю думать, что это совсем неплохая мысль,— рассмеялась Клаудиа.— Но есть тут и комическая сторона. Забавно. Теперь нам только не хватает сесть на мель поблизости острова Масьель.

— А Рауль воображал, что не пройдет и месяца, как мы будем на Маркизских островах.

— А Хорхе готовился ступить на земли, открытые его любимым капитаном Гаттерасом.

— Какой у вас прелестный мальчик,— сказала Паула.— Мы с ним уже большие друзья.

— Я рада, потому что Хорхе трудный ребенок. Уж если кто не придется ему по вкусу... Весь в меня, я этого боюсь. А вы довольны, что пустились в это путешествие?

— Довольна — не совсем то слово,— сказала Паула моргая, точно ей в глаз попала песчинка.— Скорее, я надеялась. Я думала, мне необходимо немного изменить образ жизни, так же как Раулю, и поэтому мы решили отправиться в это путешествие. По-видимому, почти у всех были подобные намерения.

— Но это не первое ваше путешествие?

— Да, я была в Европе шесть лет назад, и, по правде говоря, не слишком удачно.

— Что ж, бывает,— сказала Клаудиа.— Европа — это не только Уффици и Плас-де-ла-Конкорд. Для меня, правда, она такая и есть — ведь я живу в фантастическом мире, созданном литературой. И вероятно, мое разочарование будет куда сильнее, чем можно себе представить.

— Со мной случилось совсем другое,— сказала Паула.— Откровенно говоря, я совершенно неспособна играть роль, которую уготовила мне судьба. Я выросла в атмосфере постоянных иллюзий, веры в успех, но для меня все кончалось крахом. Стоя против Кильмеса, посреди этой реки цвета детского поноса, можно придумать целую кучу оправданий. Но наступает день, когда начинаешь сравнивать себя с древними, например с греческими, монументами... и видишь, что ты еще более ничто-

жен. Меня удивляет,— добавила она, доставая сигареты,— как это некоторые путешествия не кончаются пулей в лоб.

Клаудиа взяла сигарету и увидела, что к ним приближаются семейство Трехо и Персио, который приветствовал ее энергичными жестами. Начинало припекать солнце.

— Теперь я понимаю, почему Хорхе тянется к вам,— сказала Клаудиа,— не говоря уже о том, что он любит зеленые глаза. Хотя цитаты вышли из моды, вспомните фразу одного из персонажей Мальро: жизнь ничего не стоит, но ничто стоит жизни.

— А интересно, чем кончил этот герой,— сказала Паула, и Клаудиа почувствовала, как у нее дрогнул голос. Она положила Пауле руку на плечо.

— Я не помню,— сказала она.— Возможно, пулей в лоб. Но кажется, стрелял кто-то другой.

Медрано взглянул на часы.

— По правде говоря, это начинает надоедать,— сказал он.— Раз мы остались вроде одни, не послать ли нам кого-нибудь позондировать почву и попытаться разрушить эту стену молчания?

Лопес и Фелипе согласились с ним, однако Рауль предложил отправиться разыскивать офицера всем вместе. На палубе они встретили двух светловолосых матросов, которые только покивали им головой да выдавили из себя две-три фразы на каком-то непонятном языке — не то норвежском, не то финском. Лопес и Фелипе прошли весь правый коридор, не встретив больше ни души. Дверь в каюту Медрано была приоткрыта, и стюард приветствовал их на ломаном испанском языке. Лучше, если они обратятся к метрдотелю, который распоряжается в столовой насчет обеда. Нет, на корму пройти нельзя, а почему, он сказать не может... Да, капитан у них Ловатт. Как, уже не Ловатт? До вчерашнего дня был он. И еще одно предупреждение: господ пассажиров просят записать каюты на ключ. Особенно если у них есть что-нибудь ценное...

— Пойдем поищем этого знаменитого метрдотеля,— сказал Лопес тоскливо.

Они неохотно вернулись в бар, где встретили Лусио и Атилио Пресутти, которые обсуждали причины остановки «Малькольма». Из бара можно было пройти в читальный зал, где зловеще поблескивал скандинавский рояль, а также в столовую, при виде которой Рауль восхищенно свистнул. Метрдотель (это,

песомненно, был он, ибо улыбался, как метрдотель, и, как метрдотель, отдавал распоряжения угрюмому официанту) расставлял цветы и раскладывал салфетки. Когда Лусио с Лопесом подошли к нему, он приподнял седые брови и поздоровался учтиво, но с явным холодком.

— Послушайте, — сказал Лопес, — мы, эти сеньоры и я, несколько удивлены. Уже десять часов утра, а мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о маршруте путешествия.

— А-а, сведения о путешествии, — сказал метрдотель. — Кажется, вам вручат справочники и проспекты. Я сам не очень-то в курсе дела.

— Все здесь не в курсе дела, — заметил Лусио, повысив тон. — По-вашему, это вежливо держать нас в... неведении?! — заключил он и покраснел, не находя слов, чтобы продолжать разговор.

— Сеньоры, приношу вам свои извинения. Я не думал, что за утро... У нас было очень много работы, — добавил он. — Но обед будет подан ровно в одиннадцать, а ужин в восемь вечера. Чай, как всегда, в пять часов в баре. Господа, желающие отобедать у себя в каютах...

— Уж если говорить о наших желаниях, — сказал Рауль, — мне хотелось бы знать, почему нельзя проходить на корму парохода?

— Technical reasons¹, — поспешно проговорил метрдотель и тут же перевел фразу на испанский.

— На «Малькольме» авария?

— О нет.

— Почему же тогда мы все утро стоим?

— Сейчас снимаемся с якоря, сеньор.

— Куда, в каком направлении?

— Не знаю, сеньор. Предполагаю, что все это будет указано в проспекте.

— А можно поговорить с кем-нибудь из начальства?

— Мне сообщили, что штурман придет к обеду, чтобы приветствовать вас.

— А нельзя ли дать телеграмму? — спросил Лусио, чтобы извлечь хоть какую-то практическую пользу из разговора.

— Куда, сеньор, — спросил метрдотель.

— Как куда? Домой, — сказал Пушок, — узнать, как себя чувствуют родные. У меня, например, двоюродная сестра лежит с аппендицитом.

¹ По техническим причинам (англ.).

— Бедняжка, — посочувствовал Рауль. — Ну что ж, подождем, когда вместе с *hors-d'oeuvre*¹ явится оракул. А я пока пойду полюбуюсь берегом Кильмеса, отчизной Виктории Камполо и прочих великих людей.

— Любопытно, — сказал Медрано Раулю, когда они немного растерянные выходили из столовой. — Меня ни на миг не покидает чувство, что мы влипли в пренеприятную историю. Все это забавно, разумеется, но пока не известно, до какой степени. А вам как все это представляется?

— Not with a bang but a whimper², — сказал Рауль.

— Вы знаете английский? — спросил Филипе, пока они спускались на палубу.

— Да, конечно. — И Рауль с улыбкой посмотрел на него. — Я сказал «конечно», потому что все, кто меня окружает, владеют английским. Кажется, вы изучаете его в колледже.

— Немножко, — ответил Филипе, который учился только для экзаменов. Ему очень хотелось напомнить Раулю насчет обещания подарить трубку, но было немного совестно. Не очень, правда, просто сейчас был не совсем подходящий момент. Рауль разглагольствовал о преимуществах английского языка, хотя и не особенно убедительно, слушая самого себя с какой-то насмешливой жалостью. «Неизбежная фаза гистриона, — думал он, — хитроумные поиски, первый учебный раунд».

— Становится жарко, — сказал он машинально. — Обычная влажность Ла-Платы.

— О да. А у вас шикарная рубашка, — восторженно заметил Фелипе, щупая материю пальцами. — Нейлон, конечно.

— Нет, шелковый поплин.

— А похоже на нейлон. У нас есть один учитель, он носит только нейлоновые рубашки, привозит из Нью-Йорка. Его прозвали Пижоном.

— А почему вам нравится нейлон?

— Потому что... ну, он в моде, и потом такая реклама во всех журналах. Жаль, что в Буэнос-Айресе он такой дорогой.

— Ну а вам почему он нравится?

— Потому что его не надо гладить, — сказал Фелипе. — По-стираешь рубашку, повесишь на плечики, и готово. Пижон так объяснял.

Рауль, доставая сигареты, в упор посмотрел на Фелипе.

¹ Закусочной (*франц.*).

² Не взрывом, но всхлипом (*англ.*) — строка из стихотворения Томаса Элиота «Полюе люди».

— Я вижу, вы очень практичный человек, Фелипе. Но можно подумать, что вам самому приходится стирать и гладить белье.

Фелипе покраснел и поспешно взял предложенную сигарету.

— Не подтрунивайте надо мной,— сказал он, отводя глаза.— Но нейлон для путешествий...

Рауль кивнул, помогая Фелипе выйти из затруднительного положения. Да, конечно, нейлон для путешествий...

XXII

Лодка, в которой сидели мужчина с мальчиком, приближалась к правому борту «Малькольма». Паула и Клаудиа помахали рукой, и лодка подошла ближе.

— Почему вы здесь стоите? — спросил мужчина.— Что-нибудь сломалось?

— Загадка какая-то,— сказала Паула.— Или забастовка.

— Какая там забастовка, сеньорита, не иначе как что-то сломалось.

Клаудиа открыла сумочку и показала две банкноты по десять песо.

— Сделайте, пожалуйста, одолжение,— сказала она.— Сплавайте к корме и посмотрите, что там такое происходит. Да, на корме. Посмотрите, нет ли там начальства и не чинят ли там что-нибудь.

Лодка стала удаляться, а мужчина, явно смущенный, не произнес в ответ ни слова. Мальчик, следивший за якорным линем, быстро стал его выбирать.

— Мысль хорошая,— сказала Паула.— Но как все это нелепо! Посылать кого-то шпионить, просто абсурдно.

— Не менее абсурдно, чем угадать среди возможных комбинаций из пяти цифр одну определенную. В этой абсурдности есть своя закономерность, хотя, возможно, я становлюсь похожей на Персио.

Пока она объясняла Пауле, кто такой Персио, лодка удалилась от «Малькольма», и лодочник ни разу не обернулся; Клаудиа почти не удивилась этому.

— Поражение *astuzia femminile*¹,— сказала Клаудиа.— Дай бог, чтобы наши рыцари принесли новости. А вы оба довольны своей каютой?

¹ Женской хитрости (*итал.*).

— Да, очень,— ответила Паула.— Для такого маленького судна каюты просто прелестны. Но бедняжка Рауль скоро пожалеет, что решил путешествовать вместе со мной, ведь он олицетворение порядка, в то время как я.. Вы не находите, что разбрасывать вещи где попало — одно удовольствие?

— Нет, но ведь мне приходится вести дом и заботиться о ребенке. Порой... нет, думаю, я все же предпочитаю находить комбинации в ящике для белья.

— Рауль расцеловал бы вам ручки, если б услышал,— рассмеялась Паула.— Сегодня утром я, кажется, почистила зубы его щеткой. А бедняжка ведь так нуждается в отдыхе.

— К его услугам пароход, здесь даже слишком спокойно.

— Не знаю, я вижу, как он беспокоится, его раздражает эта история с кормой. И, говоря откровенно, Клаудиа, Раулю не очень сладко придется со мной.

Клаудиа почувствовала, что за этой настойчивостью кроется желание сказать что-то еще. Паула не слишком интересовала ее, но все в ней вызывало симпатию: и манера моргать, и резкие движения, когда она меняла позу.

— Вероятно, он уже давно привык к тому, что вы пользуетесь его зубной щеткой.

— Нет, именно щеткой-то и не пользуюсь. Я теряю его книги, проливаю кофе на его ковер... но вот зубной щеткой не пользовалась до сегодняшнего утра.

Клаудиа молча улыбнулась. Паула замерла в нерешительности, затем махнула рукой, словно отгоняя от себя муху.

— Может, лучше, если я скажу об этом сразу. Мы с Раулем просто большие друзья.

— Он очень славный молодой человек,— сказала Клаудиа.

— Так как на пароходе никто или почти никто этому не поверит, мне бы хотелось, чтобы хоть вы знали об этом.

— Спасибо, Паула.

— Это я должна быть благодарна за то, что вас встретила.

— Да, иногда бывает... Я тоже порой испытывала благодарность лишь за чье-то присутствие, чей-то жест, даже за молчание. Или за то, что можешь сказать, поведать самое сокровенное, чего не доверила бы никому на свете, и сделать это так же просто...

— Как подарить цветок,— сказала Паула, слегка коснувшись руки Клаудии.— Но мне нельзя доверяться,— прибавила она, отдергивая руку.— Я способна на всякого рода гадости, неизлечимо подла сама с собой и с окружающими. Бедняга Рауль терпит меня до поры до времени... Вы не можете себе предста-

вить, какой он добрый, понятливый, должно быть потому, что я не принадлежу ему; я хочу сказать, что существую для него лишь в плане интеллектуальном, если можно так выразиться. И если в один прекрасный день мы случайно окажемся в одной постели, думаю, на следующее же утро он почувствует ко мне отвращение. И не будет первым.

Клаудиа повернулась спиной к борту, стараясь спрятаться от уже сильно припекавшего солнца.

— Вы мне ничего не скажете? — угрюмо спросила Паула.

— Нет, ничего.

— Может, так даже и лучше. Зачем я буду вас обременять своими заботами?

Клаудиа почувствовала в ее тоне раздражение, досаду.

— Мне кажется, — сказала она, — задай я вам какой-нибудь вопрос или сделай какое-то замечание, у вас родилось бы недоверие ко мне. Полное и жестокое недоверие одной женщины к другой. Вы не боитесь делать признания?

— О, признания... Но это вовсе не было признанием. — Паула погасила едва закурившую сигарету. — Я всего лишь показала вам свой паспорт, я страшно боюсь, что меня примут не за ту, кто я есть, что такой человек, как вы, лишь по нелепому недоразумению симпатизирует мне.

— И поэтому Рауль, и ваша развращенность, и неудачная любовь... — Клаудиа рассмеялась и вдруг, наклонившись, поцеловала Паулу в щеку. — Ну и глупышка же вы, ну и несусветная дуручка.

Паула опустила голову.

— Я намного хуже, чем вы думаете, — сказала она. — Так что не очень-то мне доверяйте, не очень.

Нелли оранжевая блузка показалась вызывающе открытой, но донья Росита была совершенно иного мнения, она списходительно относилась к нынешней молодежи. Неллина мать придерживалась промежуточного мнения: сама блузка хороша, только вот цвет слишком кричащий. Когда поинтересовались мнением Атилио, он весьма удачно ответил, что такая блузка не на рыжей женщине вряд ли привлекла бы внимание, но что он никогда в жизни не позволил бы своей невесте столь откровенно обнажаться.

Солнце уже так сильно припекало, что все поспешили укрыться под тентом, который натянули два матроса, и с удовольствием расселись в разноцветных шезлонгах. Не хватало

только мате, и в этом была вина доньи Роситы, которая не захотела взять с собой термос и сосуд для мате, отделанный серебром и подаренный Неллиным отцом дону Курцио Пресутти.

Сожалая в душе о допущенной оплошности, донья Росита тем не менее уверяла, что пить мате на палубе первого класса не совсем прилично, на что донья Пепа возразила, что в таком случае можно было бы всем спуститься в каюту. Пушок предложил пойти в бар выпить пива или морса, но дамам стало жаль расставаться с удобными креслами и красивым видом на реку. Дон Гало, чей спуск по лестнице всегда вызывал испуг в глазах дам, появился, чтобы вступить в общий разговор и поблагодарить Пушка, который неизменно помогал шоферу в его деликатном деле. Дамы и Пушок хором отвечали, что не стоит благодарности, а донья Пепа поинтересовалась, много ли дону Гало пришлось в жизни путешествовать. Да, уж он попутешествовал, повидал кое-что на свете, особенно район Луго и провинцию Буэнос-Айрес. Ездил и в Парагвай на корабле Михановича в двадцать восьмом году, ужасное путешествие, ох, и жарница стояла, ну и жарница...

— И вы всегда?.. — осторожно сказала Нелли, легонько кивая на кресло и шофера.

— Что вы, деточка, что вы. В те времена я был посильнее самого Паулино Ускудуна. Однажды в Пеуахо в магазине вспыхнул пожар...

Пушок сделал Нелли знак, чтобы она наклонилась, и проговорил ей на ухо:

— Ну и взбелелится моя старуха. Я под шумок сунул в чемодан мате и два кило травы салус. Сегодня вечером приволоку сюда, все только рты разинут.

— Ой, Атилио! — воскликнула Нелли, продолжая издали любоваться блузкой Паулы. — Да ты же, ты...

— Представляешь, что с ней будет, — сказал Пушок, вполне довольный жизнью.

Оранжевая блузка привлекла внимание и Лопеса, который спускался на палубу, приведя в порядок свои вещи в каюте. Паула читала, сидя на солнышке, и Лопес, облокотившись о поручни, подождал, когда она поднимет глаза.

— Привет, — сказала Паула. — Как поживаете, профессор?

— *Horresco referens*¹, — пробормотал Лопес. — И пожалуйста, не называйте меня профессором, не то я выброшу вас за борт вместе с книжкой и всем прочим.

¹ Мне становится страшно (когда я рассказываю об этом) (лат.).

— Это книга Франсуазы Саган, и по крайней мере она не заслуживает быть выброшенной за борт. Я вижу, речной воздух навеивает на вас пиратские реминисценции. Топать по трапу или что-то в этом роде, да?

— Вы читали романы про пиратов? Добрый знак, очень хороший знак. По опыту знаю, что наиболее интересные жепщины те, которые в детстве увлекались книгами для мальчишек. Стивенсоном, например?

— Да, но мои морские познания весьма ограничены. Мой отец собирал из любопытства серию «Тит-Битс», в которой выпел великий роман под заглавием «Сокровища острова Черной Луны».

— А, да я его тоже читал! У пиратов там были просто сногсшибательные имена, например Сенакериб Эдемский и Мараканбо Смит.

— А помните, как звали драчуна, который погибает за правое дело?

— Конечно, помню: Кристофер Даун.

— Да, мы родственные души,— сказала Паула, протягивая руку.— Да здравствует черное знамя! Слово «профессор» вычеркнуто навеки!

Лопес отправился разыскивать себе стул, предварительно убедившись, что Паула предпочитала вести беседу, вместо того чтобы читать «Un certain sourire»¹. Ловкий и проворный (он не был маленьким, хотя порой им казался, так как носил пиджаки без подложенных плечей и узкие брюки, а также потому, что двигался с необыкновенной легкостью), Лопес вернулся с шезлонгом в ярчайшую зеленую и белую полоску. С видимым наслаждением пристроился рядом с Паулой и некоторое время рассматривал ее, не произнося ни слова.

— *Soleil, soleil, faite éclatante*²,— сказала она, выдерживая его взгляд.— Какое доброе божество, Макс Фактор или Елена Рубинштейн смогли бы избавить меня от столь пристального обследования?

— Обследование,— заметил Лопес,— обнаружило необыкновенную красоту, слегка поблекшую от излишней склонности к *dry Martinis*³ и ледяному воздуху *boîtes*⁴ северного квартала.

— *Right you are*⁵.

¹ «Смутная улыбка» — роман Франсуазы Саган.

² Солнце, солнце, сверкающая ошибка (*франц.*).

³ Сухому мартини (*англ.*).

⁴ Погребков, кабачков (*франц.*).

⁵ Вы правы (*англ.*).

— Лечение: солнце в умеренных дозах и пиратство *ad libitum*¹. Сие последнее подсказывает мне мой чародейский опыт, ибо я прекрасно сознаю, что не смогу сразу избавить вас от пороков. Особенно после того, как вы вкусили прелесть абордажей и прирезали сотню пассажиров...

— Правда, остаются шрамы, как поется в танго.

— В вашем случае все сводится к излишней светобоязни, а она несомненное следствие жизни летучей мыши, которую вы ведете, а также чрезмерного чтения. До меня дошел ужасный слух, будто вы сочиняете стихи и рассказы.

— Рауль,— пробормотала Паула.— Проклятый предатель. Я вымажу его в смоле и заставлю протопать по палубе голым.

— Бедный Рауль,— сказал Лопес.— Бедный счастливчик Рауль.

— Счастье его всегда ненадежно,— ответила Паула.— Он весьма рискованно спекулирует, продает ртуть, покупает нефть, потом и ее продает за бесценок, панически боится в полдень и ест икру в полночь. Но вообще ему не так уж плохо.

— Да, конечно, это лучше, чем получать жалованье в министерстве образования. Что до меня, то я не только не веду никаких коммерческих дел, но вообще почти ничего не делаю. Словом, живу в бездействии и...

— Представители буэнос-айресской фауны все очень похожи друг на друга, дорогой Ямайка Джон. Возможно, поэтому мы с таким энтузиазмом и взяли на абордаж этот «Малькольм» и заразили его нашей неподвижностью и нашим «не суйся, куда не следует».

— Вся разница в том, что я говорил в шутку, а вы ударились в самокритику.

— Нет, что вы. Я уже достаточно наговорила о себе Клаудии. На сегодня довольно.

— Клаудия симпатичная.

— Очень симпатичная. По правде говоря, здесь подобрался целый кружок интересных людей.

— И еще один, весьма живописный. Посмотрим, какие союзы, расколы и измены ожидают нас в будущем. Вон я вижу, как дон Гало беседует с семейством Пресутти. В роли нейтрального наблюдателя он станет объезжать столицы на своем странном экипаже. Разве не любопытно увидеть кресло-каталку на палубе парохода, одно средство передвижения на другом?

¹ По желанию (*лат.*).

— Бывают и более странные вещи, — сказала Паула. — Однажды, когда я возвращалась из Европы на «Шарле Телье», капитан, суровый моряк, доверительно признался мне, что обожает мотороллеры и возит один у себя на борту. В Буэнос-Айресе он с удовольствием катается на своей «веспе». Но меня интересует, как вы стратегически и тактически оцениваете всех нас. Так что продолжайте.

— Проблему представляет семейство Трехо, — сказал Лопес. — Юноша, безусловно, переметнется на нашу сторону. — («Tu parles¹», — подумала Паула.) С остальными членами семьи все будет очень вежливо, не более. По крайней мере так поступим мы — вы и я. Я уже имел удовольствие побеседовать с ними, и с меня достаточно. Они из тех, кто, угощая, говорит: «Отведайте это пирожное. Дома пекли сами». Меня очень интересует, не проявит ли себя доктор Рестелли с самой консервативной своей стороны. Он может стать их партнером по игре в семь с половиной. Девушка, бедняжка, будет вынуждена пойти на страшное унижение — играть с Хорхе. Она, несомненно, ожидала встретить здесь своих сверстниц, но это возможно только в том случае, если нам преподнесет какой-нибудь сюрприз корма. Что касается нас с вами, предлагаю вам оборонительный и наступательный союз, полнейшее взаимопонимание в бассейне, если таковой здесь имеется, и сверхпонимание во время обеда, чая и ужина. Если только Рауль не...

— Не беспокойтесь о Рауле, он истинный фон Клаузевиц.

— На месте Рауля мне не слишком лестно было бы услышать такое, — сказал Лопес. — Что же касается меня, то я все больше верю в нерушимость нашего союза.

— А я начинаю думать, — сказала Паула нехотя, — что Раулю лучше было бы попросить две отдельные каюты.

Лопес взглянул на нее. И невольно смутился.

— Я знаю, что так не поступают ни в Аргентине, ни в любой другой стране... — сказала Паула. — Именно поэтому мы с Раулем так и поступаем. Я не жду, чтобы мне верили.

— Но я вам верю, — сказал Лопес, совершенно ей не веря. — Что тут такого?

В коридоре глухо прозвучал гонг и эхом отозвался у трапа.

— Если это так, — сказал Лопес непринужденно, — надеюсь, вы пустите меня за свой столик?

— Как пират пирата, с великим удовольствием.

¹ Еще бы (франц.).

Они задержались у трапа левого борта. Атилио энергично и деловито помогал шоферу тащить дону Гало, который доброжелательно кивал всем головой. Остальные молча последовали за ними.

Когда они поднялись, Лопес вдруг вспомнил:

— Да, скажите, вы кого-нибудь видели на капитанском мостике?

Паула задумчиво посмотрела на него.

— Теперь я вспомнила, что, пожалуй, никого. Правда, для того, чтобы стоять на якоре против Кильмеса, думаю, не надо быть аргонавтом с орлиным взором.

— Согласен,— сказал Лопес,— но все же это странно. Что бы подумал в этом случае Сенакерпб Эдемский?

XXIII

Hors-d'oeuvres variés

Potage Impératrice

Poulet à l'estragon

Salade tricolore

Fromages

Coupe Melba

Gâteaux, petits fours

Fruits

Café, infusions

*Liqueurs*¹

За столиком № 1 Беба Трехо устраивается таким образом, чтобы сидеть лицом к остальным пассажирам, и тогда все смогут оценить ее новую блузку и браслет из синтетических топазов,

¹ Различные закуски
Суп «Императрица»
Цыпленок под эстрагоном
Салат трехцветный
Сыры
Мороженое Мельба
Пирожное, печенье
Фрукты
Кофе, настойки
Ликеры (франц.).

сеньора Трехо высказывает мнение, что граненые стаканы сделаны со вкусом,

сеньор Трехо обследует карманы жилета, чтобы удостовериться в том, что не забыл промеколь и таблетки «алка зельцер»,

Фелипе угрюмо оглядывает соседние столики, где ему было бы куда приятней сидеть.

За столиком № 2 Рауль говорит Пауле, что рыбные приборы напоминают ему новые эскизы ножей и вилок, которые он видел в одном итальянском журнале,

Паула слушает его рассеянно и выбирает себе тунец в масле и оливки,

Карлос Лопес чувствует необыкновенный подъем, и его обычно умеренный аппетит растет при виде креветок в винном соусе и сельдерея под майонезом.

За столиком № 3 Хорхе водит пальцем над закусками, и его вселенский выбор вызывает улыбку одобрения у Клаудии,

Персио внимательно изучает этикетку на бутылке с вином, рассматривает вино на свет и долго нюхает, прежде чем налить себе полную рюмку,

Медрано следит за метрдотелем, который следит за официантом, а официант следит за своим подносом.

Клаудиа намазывает хлеб маслом для сына и думает, как она после завтрака поспит, почитав прежде роман Бийо Касареса.

За столиком № 4 мать Нелли сообщает всем, что от овощного супа у нее отрывка, поэтому она предпочитает бульон с вермишелью,

Донья Пепа чувствует, что ее немного укачало, и это когда пароход, что называется, стоит как вкопанный,

Нелли смотрит на Бебу Трехо, на Клаудию и на Паулу и думает, что люди с положением всегда одеваются как-то по-особенному,

Пушок поражен, что булочки такие маленькие и такие оригинальные, но, надрезав одну из них, разочарованно обнаруживает, что она сплошь состоит из корочки, а мякиша нет и в помине.

За столиком № 5 доктор Рестелли наполняет рюмки своим сотрапезникам и галантно рассуждает о достоинствах бургундского и «кот дю рон»,

Дон Гало щелкает языком и напоминает официанту, что его шофер обедает в каюте и что у него незаурядный аппетит,

Нора огорчена тем, что ей приходится сидеть за одним столом с двумя пожилыми сеньорами, и думает, что хорошо бы

Луисо поговорил с метрдотелем и их бы пересадили за другой столик,

Луисо ждет, пока ему в тарелку положат сардин и тунца, и первым замечает, что стол слегка дрожит и вслед за этим медленно проплывает красная кирпичная труба, разделявшая на два полушария круглый иллюминатор.

Радость была всеобщей. Хорхе вскочил со стула, чтобы побегать посмотреть, как маневрирует пароход; на улыбающуюся физиономию доктора Рестелли лег мимолетный отблеск оптимизма, однако это ничуть не поколебало сдержанного скептицизма дона Гало. Только Медрано и Лопес, обменявшись понимающими взглядами, продолжали ждать прихода штурмана. На вопрос Лопеса, заданный вполголоса, метрдотель обескураженно развел руками и сказал, что постарается послать официанта, чтобы он поторопил. Как это так постарается послать? Что это значит? Да, пока не будет нового распоряжения, связь с кормой весьма затруднительна. А почему? По-видимому, по техническим причинам. Это впервые случается на «Малькольме»? В некотором роде да. Что значит «в некотором роде»? Ну, просто он так выразился.

Лопес с трудом удержался, чтобы по-простецки не сказать: «А знаешь, приятель, пошел-ка ты...», но вместо этого любезно принял поданный ему кусок восхитительно ароматного сыра.

— Ничего не поделаешь, че,— сказал он Медрано.— Это нам придется уладить самим.

— Но прежде выпьем кофе с коньяком,— сказал Медрано.— Соберемся у меня в каюте, и позовите Косту.— Он обернулся к Персио, который живо разговаривал с Клаудией.— Как вы смотрите на наше положение, дружище?

— Да как мне на него смотреть, когда я ничего не вижу,— ответил Персио.— Я так перегрелся на солнце, что чувствую, будто свечусь изнутри. А поэтому предпочитаю, чтобы рассматривали меня. Все утро я думал об издательстве, о своей конторе и, как ни старался, все не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Как получилось, что шестнадцать лет ежедневной работы превратились в мираж, стоило мне лишь оказаться на реке под лучами солнца, припекающего мою макушку? Следовало бы тщательно проанализировать метафизическую сторону этого явления.

— Это просто называется оплаченным отпуском,— сказала Клаудиа.

Атилио Пресутти, перекрывая шум голосов, восторженно приветствовал появление вазочек с мороженым. В ту же минуту Беба Трехо (она одна знала, чего ей это стоило) с гримасой изящного презрения отказалась от предложенной ей порции. Глядя на Паулу, Нелли и Клаудию, которые лакомились мороженым, Беба, несмотря на муки, чувствовала себя победительницей, однако высшим триумфом для нее было бы расправиться с Хорхе, этим червяком в коротких штанишках, который с самого начала стал ей «тыкать» и который теперь уплетал мороженое, одним глазком поглядывая на поднос, где еще стояли две полные вазочки.

— Как, детка! Ты не любишь мороженое? — встрепенулась сеньора Трехо.

— Нет, благодарю, — сказала Беба, выдерживая всепонимающий ехидный взгляд брата.

— Вот глупая девочка, — сказала сеньора Трехо. — Ну, если ты не хочешь...

Но стоило ей поставить перед своим обширным бюстом порцию мороженого, как ловкая рука метрдотеля выхватила у нее лакомство.

— Это уже немного растаяло, сеньора. Возьмите другую порцию.

Сеньора Трехо густо покраснела, к радости своих детей и супруга.

Сидя на краю постели, Медрано качал ногой в такт едва приметной качке. Запах трубки Рауля напоминал ему вечера в Иностранном клубе и беседы с мистером Скоттом, его учителем английского языка. Теперь он вспомнил, что уехал из Буэнос-Айреса, не предупредив клубных друзей. Может, Скотт скажет им, а может, и нет, смотря по тому, какое у него будет настроение. Беттина, наверное, уже позвонила в клуб и спросила о нем притворно небрежным тоном. «Завтра позвонит снова и позовет Вилли или Маркеса Сея, — подумал он. — Бедняги не сообразят, что ей ответить, действительно я сплеховал». К чему в самом деле было уезжать тайком, умолчав о выигрыше? Предыдущей ночью, перед сном, он подумал о том, что играет с Беттиной, как кошка с мышью. Да, он был жесток. «Это скорее похоже на месть, чем на разрыв, — сказал он себе. — Но за что, если она такая хорошая? Неужели именно за это?» И еще он думал, что последнее время видел одни лишь недостатки Беттины — обычный вульгарный симптом. Так, например, клуб

Беттина вообще не принимала. «Никакой ты не иностранец,— заявляла она почти патетически.— В Буэнос-Айресе полно разных клубов, зачем тебе лезть в клуб гринго...» Грустно было думать, что из-за таких вот фраз он никогда больше не увидит ее. Конец. Конец.

— Не будем разыгрывать оскорбленное достоинство,— резко сказал Лопес.— Было бы весьма прискорбно испортить с самого начала такое развлечение. С другой стороны, мы не можем сидеть сложа руки. Для меня такая поза неудобна, и один господь знает, как я недоумеваю.

— Согласен,— сказал Рауль.— Железный кулак в лайковой перчатке. Предлагаю сообща проложить путь к *sancta sanctorum*¹, по возможности пользуясь фальшиво-слащавыми манерами, которые янки приписывают японцам.

— Итак, вперед,— сказал Лопес.— Спасибо за коньяк, че, он у вас отменный.

Медрано налил всем еще по глотку, и они вышли из каюты.

Каюта Медрано была расположена почти рядом с задренной дверью Стоуна, преграждавшей левый коридор. Рауль с видом профессионала принялся изучать ее, подвигал какой-то ручкой, выкрашенной зеленой краской.

— Ничего не поделаешь. Она открывается только под большим давлением и из определенного места. Та же система, что у стоп-крана.

Дверь коридора правого борта тоже не поддавалась никаким усилиям. Резкий свист заставил их с испугом обернуться. Пушок приветствовал всех, возбужденный, взволнованный.

— Вы тоже не можете? Я сам только что пробовал, но двери непробиваемы. Чего только не накрутили эти дурашлепы! Ничего, видно, не поделаешь. Как вы думаете?

— Конечно,— сказал Лопес.— А вы не нашли другой двери?

— Тут все заколдовано,— торжественно объявил Хорхе, появляясь, точно привидение.

— Какая к шуту дверь,— говорил Пушок.— На палубе их целых две, но обе заперты на ключ. Нет ли тут какого-нибудь подвала или чего-то в этом роде...

— Вы готовите поход против липидов? — спросил Хорхе.

— Да, вроде,— сказал Лопес.— А ты видел хоть одного из них?

— Только двух финнов, но те, что на этой стороне, не липиды. Они, наверное, глициды или протеиды.

¹ Святая святых (*лат.*).

— Что за чужь несет этот пузырь? — изумился Пушок. — Сегодня уже болтал об этих липедах.

— Липидах, — поправил Хорхе.

Медрано почему-то беспокоило присутствие Хорхе, он не хотел, чтобы малыш принимал участие в их поисках.

— Знаешь, — сказал он, — мы поручим тебе особое задание. Ступай на палубу и хорошенько последи за дверями. Может, там появятся липиды. При малейшей тревоге свистни три раза. Ты умеешь громко свистеть?

— Немного, — смущенно ответил Хорхе. — У меня очень редкие зубы.

— Не умеешь свистеть? — сказал Пушок, которому не терпелось показать свое умение. — Во, гляди! Делай так.

Он соединил большой и указательный пальцы, сунул в рот и свистнул так, что у всех заложило уши. Хорхе тоже сложил пальцы, но, поразмыслив, не стал свистеть, а махнув Медрано, отправился на задание.

— Итак, продолжим розыски, — сказал Лопес. — Может, лучше, если мы разделимся, и, кто первый найдет проход, пусть сразу же оповестит остальных.

— Потрясающе, — сказал Пушок. — Похоже, будто мы играем в полицейские и воры.

Медрано вернулся в каюту за сигаретами. Рауль увидел Фелипе в конце коридора. В своих blue-jeans¹ и клетчатой рубашке он выглядел весьма эффектно на фоне запертой двери. Рауль рассказал ему, чем они занимаются, и вместе с ним направился к центральному переходу, соединявшему оба коридора.

— Да, но что мы ищем? — спросил Фелипе растерянно.

— Сам не знаю, — ответил Рауль. — Проход на корму, например.

— Там, наверное, почти так же, как здесь.

— Возможно. Но раз туда нельзя пройти, это меняет дело.

— Вы так думаете? — спросил Фелипе. — Я уверен, что это из-за какой-то поломки. Сегодня вечером двери откроют.

— Вот тогда действительно все будет, как здесь, на носу.

— А, ясно, — сказал Фелипе, понимая его все меньше. — Ну, если это для развлечения, то, конечно, хорошо, вдруг нам удастся отыскать проход раньше, чем другим.

Рауль подумал, почему только Лопес и Медрано, единственные из всех, испытывали то же, что он. Остальные смотрели на

¹ Синие джинсы (англ.).

их поиски, как на развлечение. «Но и для меня, в конце концов, это тоже игра,— решил он.— В чем же тогда разница? А разница наверняка есть».

Они прошли почти весь коридор левого борта, когда Рауль обнаружил еще одну дверь. Очень узкую, выкрашенную, как и стены, в белый цвет, с глубоко утопленным, едва различимым в полумраке коридора замком. Без особой надежды Рауль нажал на ручку и почувствовал, как дверь поддалась. В глубине виднелся узкий трап, уходящий вниз, в темноту. Фелипе судорожно глотнул воздух. Было слышно, как в правом коридоре болтали Лопес и Атилино.

— Предупредим их? — спросил Рауль, исподтишка взглянув на Фелипе.

— Лучше не надо. Пойдем одни.

Рауль начал спускаться, и Фелипе притворил за собой дверь. Трап вел в проход, едва освещенный тусклой фиолетовой лампочкой. За стенами, без единой двери, сильнее слышался гул машин. Они осторожно продвигались вперед, пока опять не наткнулись на задренную дверь Стоуна. По обеим ее сторонам виднелись двери, похожие на только что обнаруженную ими в конце коридора.

— Левая или правая? — спросил Рауль. — Выбирай сам.

Фелипе показалось странным, что Рауль вдруг обратился к нему на «ты». Он указал на левую, не решаясь ответить ему тем же. Фелипе слегка дотронулся до ручки, и дверь отворилась в какое-то полутемное помещение с затхлым воздухом. На железных шкафах и полках, выкрашенных белой краской, лежали инструменты, ящики, старинный компас, жестянки с гвоздями и шурупами, куски столярного клея и обрезки металла. Пока Фелипе, подойдя к иллюминатору, протирал его тряпкой, Рауль поднял крышку жестяного ящика и тут же поспешно закрыл ее. Стало чуть светлей, да и они немного привыкли к этому рассеянному, как в аквариуме, свету.

— Кладовая в трюме,— насмешливо сказал Рауль. — Пока мы не очень-то отличились.

— Осталась еще одна дверь.— Фелипе достал сигареты и протянул их Раулю.— А вам не кажется, что этот пароход какой-то странный? Мы даже не знаем, куда нас везут. Это напоминает мне одну старую картину. Там участвовал Джон Гарфилд. Они сели на корабль, на котором не было ни одного моряка, и в конце концов это оказался корабль смерти. Таковую ахинею развели, но тогда я сидел в кино.

— Да, это по пьесе Сеттона Вейна,— сказал Рауль. Он усел-

ся на верстаке и выпустил дым из носа.— Ты, наверно, большой любитель кино.

— Да, конечно.

— Часто ходишь?

— Порядком. У меня есть друг, он живет рядом со мной, мы всегда ходим с ним в «Року» или в кино в центре. По субботам на вечерних сеансах здорово бывает.

— Ты так думаешь? Хотя, конечно, в центре можно выбрать что-нибудь поинтерсней.

— Конечно,— сказал Фелипе.— А вы, наверное, здорово проводите ночи.

— Да, ничего. Теперь не так.

— А, понятно, когда человек женится...

Рауль смотрел на него улыбаясь, покуривая.

— Ты ошибаешься, я не женат.

Он с удовольствием наблюдал, как Фелипе старается скрыть замешательство притворным кашлем.

— Ну, я хотел сказать, что...

— Я знаю, что ты хотел сказать. Верно, тебе немного не по себе из-за того, что пришлось путешествовать вместе с родителями и сестрой? Не так ли?

Фелипе, задетый, отвел глаза.

— Что поделаешь,— сказал он.— Они все думают, что я маленький, а раз я имел право взять их с собой, они...

— Я тоже думаю, что ты еще маленький,— сказал Рауль.— Но мне было бы намного приятней, если бы ты поехал один. Или хотя бы, как я,— добавил он.— Это было бы самое лучшее, потому что на этом пароходе... Ну, словом, не знаю, что ты там думаешь.

Фелипе и сам этого не знал, он посмотрел на свои руки, потом на ботинки. «Чувствует себя словно голый,— подумал Рауль,— между двух огней, точь-в-точь как его сестра». Он протянул руку и погладил Фелипе по голове. Фелипе отстранился, удивленный и сконфуженный.

— Ну, по крайней мере теперь у тебя есть друг,— сказал Рауль.— А это уже что-то, правда?

Он цокнул языком, и его надменно сжатые губы медленно растянулись в слабой, вымученной улыбке. Вздохнув, он слез с верстака и попытался открыть шкафы.

— Ладно, думаю, нам следует идти дальше. Слышишь голоса?

Они приотворили дверь. Голоса доносились из помещения справа, говорили на каком-то непонятном языке.

— Липиды,— сказал Рауль, и Фелипе с удивлением посмотрел на него.— Так называет Хорхе моряков с этой части судна. Понятно?

— Пойдемте, если хотите.

Рауль с силой толкнул дверь.

Ветер, дувший в корму, переменился и теперь встречал «Малькольм», выходящий в открытое море. Дамы решили покинуть палубу, однако Лусио, Персио и Хорхе, забравшись на самый нос парохода (в воображении Хорхе они стояли, уцепившись за бушприт), наблюдали за тем, как ленивая речная вода сменялась крутыми зелеными волнами. Для Лусио это не было в новинку, он достаточно хорошо знал дельту, а вода, как известно, везде одинаковая. Конечно, все это нравилось ему, но он рассеянно слушал объяснения и комментарии Персио, мысленно возвращаясь к Норе, которая предпочла (непонятно почему) остаться с Бебой Трехо в читальном зале, листая журналы и туристские проспекты. Он вспоминал смущенные невнятные Норины слова утром, при пробуждении, душ, который они принимали вдвоем, несмотря на все ее протесты; Нору, обнаженную, под струями воды и как он хотел во что бы то ни стало потерять ей спинку и поцеловать ее, кроткую и ускользающую. Нора по-прежнему избегала смотреть на его наготу: отыскивая мыло или гребешок, она прятала лицо и отворачивалась, и в конце концов ему пришлось опоясаться полотенцем и подставить лицо под кран с холодной водой.

— Водотоки, по-моему, весьма сходны с водосточными желобами,— говорил Персио.

Хорхе впитывал объяснения, спрашивал и снова впитывал, восхищался (по-своему и доверчиво) Персио-чародеем, Персио-всезнайкой. Не меньше нравился ему и Лусио, потому что в отличие от Медрано и Лопеса не называл его мальцом или карапузом, не говорил ему «детка», как эта толстуха, мамаша Бебы, эта старая идиотка, воображавшая себя гранд-дамой. Но сейчас единственно важным был океан, настоящий океан, с соленой водой, в которой водились окунеобразные и другие морские рыбы, плавали медузы и водоросли, как в романах Жюль Верна, и, если им повезет, может, они увидят огни святого Эльма.

— Ты жил раньше в Сан-Тельмо, правда, Персио?

— Да, но я переехал, потому что на кухне завелись крысы.

— А сколько узлов, по-твоему, мы делаем, а?

Персио считал, что примерно пятнадцать. Он медленно про-

износил чудеснейшие, вычитанные из книг слова, которые теперь так восхищали Хорхе: широта, румб, курс, руль управления, лочия, навигация. Он сожалел о том, что исчез парусный флот, иначе он мог бы часами говорить о рангоуте, марселях и контрафоках. Он помнил целые фразы, не зная точно, кому они принадлежат: «Это был огромный нактоуз, закрытый сверху стеклянным колпаком с двумя медными лампами по бокам, освещающими ночью розу ветров».

Им повстречалось несколько пароходов: «Хэггис Николаус», «Пан», «Фалькон». Над ними, словно наблюдая, полетал гидрорлан. Затем горизонт, уже подернутый золотисто-лазурной дымкой сумерек, очистился, и они остались одни, впервые почувствовав себя в полном одиночестве. Вокруг ни берега, ни бакенов, ни лодок, ни единой чайки, ни даже морской зыби. Центр огромного зеленого колеса, «Малькольм», шел курсом на юг.

— Привет,— сказал Рауль.— Здесь можно подняться на корму?

Один из двух матросов сохранял полнейшее безразличие, словно ничего не понимал. Другой, с широченной спиной и выпяченным животом, отступив на шаг, открыл рот:

— Hasdala,— сказал он.— Нет корма.

— Почему нет корма?

— Здесь нет корма.

— А где же тогда?

— Нет корма.

— Этот тип не очень-то кумекает,— пробормотал Фелипе.— Ну и медведь, мамочка моя. Поглядите, какая змея наколота у него на руке.

— Что ты от них хочешь,— сказал Рауль.— Они всего лишь липиды.

Второй матрос, поменьше, отступил внутрь помещения, где виднелась другая дверь. Прислонившись к стене, он добродушно улыбался.

— Где офицер,— сказал Рауль.— Я хочу говорить с офицером.

Матрос, обладавший даром речи, поднял руки ладонями вперед. Он смотрел на Фелипе, который, засунув кулаки в карманы, стоял в воинственной позе.

— Позвать офицер,— сказал липид.— Орф, позвать.

Орф отозвался из глубины помещения, но Рауль этим не удовлетворился. Он тщательно осмотрел каюту, более обшир-

ную, чем на левом борту. Здесь было два стола, стулья и скамейки, неприбранная койка, две морские карты, приколотые золочеными кнопками. В углу стояла скамья со старинным граммофоном. На потертом коврикe спал черный кот. Это была какая-то помесь кладовой и каюты, где едва помещались два матроса (в тельняшках и замусоленных парусиновых брюках). Тут не мог находиться офицер, разве только машинисты... «А впрочем, откуда мне знать, как живут машинисты,— подумал Рауль.— Романы Конрада и Стивенсона в нашу эпоху устарели...»

— Ладно, позовите офицера.

— Hasdala,— сказал красноречивый матрос.— Возвращаться на бак.

— Нет. Офицера.

— Орф, звать офицера.

— Сейчас.

Стараясь, чтобы матросы его не услышали, Фелипе спросил у Рауля, не лучше ли им сходить за остальными. Его немного беспокоил этот затянувшийся разговор, который никто из участников как будто не хотел ни продолжать, ни оборвать. Верзила с татуировкой смотрел с прежним безразличием, но Фелипе вдруг почувствовал неловкость от этого пристального взгляда, хотя и направленного поверх него, от этих глаз, добродушных и любопытных, но таких пронизательных, что ему стало не по себе. Рауль упорно приставал к Орфу, который молча слушал его, приляжась к двери и время от времени недоуменно разводя руками.

— Ладно,— сказал Рауль, пожимая плечами,— наверно, ты прав, лучше вернуться назад.

Фелипе пошел первым. Обернувшись в дверях, Рауль процил взглядом татуированного матроса.

— Офицера! — крикнул он, захлопывая дверь. Фелипе сделал несколько шагов вперед, а Рауль на миг замер у двери. В каюте раздался голос Орфа, визгливый и, как казалось, издевательский. Верзила захохотал так, что задрожало все кругом. Сжав губы, Рауль быстро отворил левую дверь и тут же показался вновь, держа под мышкой жестяную коробку, которую недавно осматривал. Быстро пробежав коридорчик, он догнал Фелипе уже у самого трапа.

— Скорей,— сказал он, прыгая через две ступеньки.

Фелипе с изумлением обернулся, думая, что за ними гонятся. Увидев коробку, он удивленно вскинул брови. Но Рауль, положив ему руку на плечо, подтолкнул его вперед. Фелипе рассеянно вспомнил, что именно на этом трапе Рауль впервые сказал ему «ты».

Через час бармен обошел все каюты и палубу, объявляя пассажирам, что штурман ожидает их в читальном зале. Некоторые дамы уже отдавали дань морской болезни; дон Гало, Персно и доктор Рестелли отдыхали у себя в каютах, и только Клаудиа и Паула сопровождали мужчин, уже знавших о вылазке Рауля и Фелипе. Офицер, сухопарый и сдержанный, с трудом, но почти без ошибок изъяснялся по-испански, то и дело проводя рукой по своим седым волосам, подстриженным *à la brosse*¹. Медрано без особых, правда, оснований решил, что он либо датчанин, либо голландец.

Штурман пожелал всем приятного путешествия от имени «Маджента стар» и капитана «Малькольма», не имевшего в данный момент возможности лично приветствовать пассажиров. Он выразил сожаление, что служебные дела помешали ему встретиться с пассажирами раньше, однако понимает то легкое беспокойство, которое они вправе испытывать. Уже приняты все меры, чтобы сделать путешествие как можно приятней; к их услугам бассейн, солярий, гимнастический зал и зал с двумя столами, где можно играть в пинг-понг, «жабу» и слушать магнитофонные записи. Метрдотель возьмет на себя труд собрать пожелания и предложения, которые сформулируют пассажиры, а офицеры, разумеется, всегда будут в их распоряжении.

— Некоторые дамы сильно страдают от морской болезни,— сказала Клаудиа, нарушая неловкое молчание, наступившее после слов штурмана.— На пароходе есть врач?

Офицер заверил, что врач не заставит себя ждать и вскоре явится к больным и здоровым. Медрано, дождавшись удобного момента, вышел вперед.

— Очень хорошо, большое спасибо,— сказал он.— У нас осталось всего два-три вопроса, которые хотелось бы выяснить. Во-первых, вы пришли сюда по собственной инициативе или потому, что на этом настоял один из присутствующих здесь сеньоров? Второй вопрос крайне прост: почему нельзя ходить на корму?

— Во-во! — крикнул Пушок, уже слегка позеленевший от качки, но державшийся, как подобает настоящему мужчине.

— Господа,— сказал офицер,— наша встреча должна была состояться раньше, но не состоялась в силу тех же причин, ко-

¹ «Ежиком», щеткой (франц.).

торы вынуждают нас временно... прекратить сообщение с кормой. Кстати,— добавил он поспешно,— там почти не на что смотреть. Команда, груз... Здесь гораздо комфортабельнее.

— А каковы эти причины? — спросил Медрано.

— Сожалею, но у меня приказ...

— Приказ? Но ведь мы не в состоянии войны,— сказал Лопес.— Нас не преследуют подводные лодки, и вы, надеюсь, не везете атомное оружие или что-нибудь в этом роде. А может, везете?

— О нет. Что за мысль,— сказал офицер.

— А известно ли аргентинскому правительству, что мы плывем в таких условиях? — продолжал допытываться Лопес, смеясь в душе над своим вопросом.

— Видите ли, переговоры о фрахте осуществлялись в последний момент, и технические вопросы остались исключительно в нашем ведении. У «Маджепта стар»,— добавил он со сдержанной гордостью,— традиция первоклассно обслуживать пассажиров.

Медрано понял, что теперь разговор будет топтаться на месте.

— Как зовут капитана? — спросил он.

— Смит,— ответил штурман.— Капитан Смит.

— Так же, как меня,— сказал Лопес, и Рауль с Медрано рассмеялись. Штурман решил, что ему не верят, и пахмурил брови.

— А раньше его звали Ловатт,— сказал Рауль.— Ах да, вот еще. Могу я послать телеграмму в Буэнос-Айрес?

Прежде чем ответить, штурман подумал. К сожалению, беспроволочный телеграф «Малькольма» не принимал частных поручений. Вот когда они сделают остановку в Пунта-Аренас, можно будет воспользоваться почтой... Однако тон, каким он закончил фразу, заставлял думать, что к тому времени Раулю уже не понадобится никому телеграфировать.

— Это временные обстоятельства,— добавил офицер, жестом приглашая всех примириться с этими обстоятельствами.

— Позвольте,— сказал Лопес, все более раздражаясь.— Мы, собравшиеся здесь, не имеем ни малейшего желания испортить себе приятное путешествие. Однако лично мне представляются совершенно неприемлемыми методы, которыми пользуется ваш капитан или кто он там есть. Почему от нас скрывают причину, по которой нас держат взаперти в носовой части парохода? Да, да, не делайте, пожалуйста, такого скорбного лица.

— И еще одно,— сказал Лусио.— Куда мы отправимся после Пунта-Аренас? И почему мы там останавливаемся?

— О, в Японию. Очень приятное путешествие по Тихому океану.

— Мама миа, в Японию! — воскликнул Пушок, потрясенный.— Значит, мы не пойдем в Копакабану?

— Оставим маршрут на потом,— сказал Рауль.— Я хочу знать, почему нас не пускают на корму, почему я должен шнырять, точно крыса, в поисках прохода и наткаться на матросов, которые преграждают мне путь.

— Сеньоры, сеньоры... — Офицер озирался, словно надеясь найти хоть одного человека, не примкнувшего к мятежу.— Поймите, пожалуйста, что наша точка зрения...

— Одним словом, какова причина? — сухо спросил Медрано.

После паузы, во время которой было слышно, как кто-то в баре уронил ложечку, штурман разочарованно пожал худыми плечами.

— Ну что ж, сеньоры, я предпочитал молчать, имея в виду, что вы только начинаете прекрасное путешествие по удачному выигрышу. Что ж, еще не поздно... Да, я понимаю. Так вот, все очень просто: среди команды имеются два случая заболевания тифом.

Первым отозвался Медрано, и с таким холодным бешенством, что удивил всех остальных. Но едва он успел заявить штурману, что давно прошла эпоха кровопусканий и окуриваний, как тот остановил его усталым жестом.

— Простите, пожалуйста, я не совсем верно выразился. Я должен был сказать, что речь идет о тифе 224. Безусловно, вам не знакомо это заболевание; и именно это поставило нас в затруднительное положение. О тифе 224 известно очень мало. Наш врач в курсе самых современных методов лечения и применяет их, но считает, что в данный момент необходим... санитарный кордон.

— Но позвольте,— взорвалась Паула.— Почему тогда мы вышли из Буэнос-Айреса? Вы что же, ничего не знали об этих ваших двухстах с хвостиком?

— Еще как знали,— сказал Лопес.— Они же сразу запретили проходить на корму.

— Но как же тогда санитарный надзор позволил вам выйти из порта? И как позволил вам войти, раз у вас были больные?

Штурман уставился в потолок. Он выглядел еще более усталым.

— Не заставляйте меня, сеньоры, говорить больше того, что разрешает мне приказ. Такое положение временно, и я не сомневаюсь, что через несколько дней больные минуют... опасный для окружающих период. А пока...

— А пока,— сказал Лопес,— у нас есть полное право предположить, что мы находимся в руках шайки авантюристов... Да, че, то, что слышите. Вы согласились на выгодное дельце в последнюю минуту, умолчав о том, что случилось на борту. Ваш капитан Смит, должно быть, настоящий работороговец, и можете это ему передать от моего имени.

Штурман отступил на шаг.

— Капитан Смит,— сказал он, судорожно сглотнув,— как раз один из больных. И наиболее тяжелый.

Он вышел прежде, чем кто-либо нашелся, что сказать ему в ответ.

Цепляясь за поручни обеими руками, Атилио вернулся на палубу и плюхнулся в шезлонг, стоявший рядом с шезлонгами Нелли, его матери и доньи Роситы, которые то стонали, то хрипели. Морская болезнь обрушилась на них с различной силой, ибо, как объясняла донья Росита сеньоре Трехо, тоже страдающей от качки, ее только сильно мутило, в то время как Нелли и ее мать без конца рвало.

— Я предупредила их, чтобы они не пили столько соды, вот теперь и расслабили себе желудки. Вам плохо, да? Сразу видно, бедняжка. Меня, к счастью, только мутит и почти не тошнит, просто небольшое недомогание. А бедняжка Нелли, посмотрите, как она страдает. Я сегодня ем только всухомятку, вот у меня и остается внутри. Припоминаю, как однажды мы отправились прогуляться на лодке, так я была единственной, кого не тошнило, когда мы возвращались назад. А остальные, бедняжечки... Ай, поглядите-ка на донью Пепу, как ей плохо.

Вооруженный ведрами и опилками, один из финских матросов заботился о том, чтобы оскверненная палуба тотчас становилась чистой. С яростным и жалобным стоном Пушок обеими руками хватался за лицо.

— Это вовсе не потому, что меня укачало,— объяснял он Нелли, с состраданием смотревшей на него.— Наверняка это от мороженого, ведь я ушлеп сразу две порции... А ты как себя чувствуешь?

— Плохо, Атилио, очень плохо... Погляди на маму, вот бедняжка.— Нельзя ли позвать врача?

— Какого, к шуту, врача, мама миа,— вздохнул Пушок.— Если б ты только знала новости... Лучше не буду говорить, не то заболеешь еще пуще.

— Но что случилось, Атилио? Мне-то ты должен сказать. Почему так качается этот пароход?

— Морская качка,— сказал Пушок.— Лысый все объяснил нам насчет моря. Ух, ну и кувыркается, глянть, глянть, похоже, эта водная стенка лезет прямо на нас... Принести тебе одекон-лон смочить платочек?

— Нет, не надо, лучше скажи, что случилось.

— Да что случилось,— сказал Пушок, борясь с каким-то странным комком, подступавшим к горлу.— У нас тут бубонная чума, вот что.

XXV

После молчания, прерванного смехом Паулы, и неразборчивых гневных фраз, ни к кому не обращенных, Рауль решил пригласить Медрано, Лопеса и Лусино к себе в каюту. Фелипе, уже предвкушавший коньяк и мужскую беседу, с удивлением заметил, что Рауль даже не подумал позвать его. Он подождал еще немного, не веря самому себе, но Рауль вышел из салона первым. Не в силах вымолвить ни слова, чувствуя себя так, словно у него свалились брюки, Фелипе остался с Паулой, Клаудией и Хорхе, которые собирались на палубу. Прежде чем кто-либо смог что-то сказать, он опрометью выскочил из салона и бросился в свою каюту, где, к счастью, никого не было. Его презрение и отчаяние были настолько сильны, что, прижавшись к двери, он стал вытирать глаза кулаками. «Да что он мнит о себе? — думал Фелипе.— Что он о себе воображает?» Он не сомневался, что мужчины собрались для того, чтобы выработать план действий, а его даже не пустили. Он закурил сигарету и тут же бросил ее. Зажег другую, ему стало противно, и он раздавил ее каблуком. Столько вместе болтали, такая была дружба, и вот... А ведь когда они начали спускаться вниз по трапу и он спросил Рауля, не предупредить ли остальных, Рауль сразу согласился никого не звать, словно ему было приятно отправиться с ним на розыски. А потом беседа в пустой матросской каюте, и какого черта тогда он начал говорить ему «ты», если потом швырнул его, как ненужную тряпку, и заперся у себя с другими. Зачем тогда уверял, что теперь у него, мол, есть друг, зачем предложил ему свою трубку... Фелипе чувствовал, что задыхается, и вместо полоски кровати, на которую он смот-

рел, перед его глазами вдруг закружились какие-то пеясные полосы, и липкие струйки побежали из глаз и смочили лицо. В бешенстве провел он руками по щекам, вбежал в ванную и сунул голову в раковину, полную холодной воды. Затем сел в изножии постели, там, где сеньора Трехо положила несколько платков и чистую пижаму. Взял в руки платок и пристально стал рассматривать его, бормоча ругательства и глухие угрозы. Мешаясь со злобой, в его голове рождалась история о самопожертвовании, когда он спасет всех, сам не зная от чего, но спасет, и, с гордым сердцем, пронзенным ножом, упадет к ногам Паулы и Рауля, слушая слова боли и раскаяния, Рауль возьмет его за руку и в отчаянии сожмет ее, а Паула запечатлеет у него на лбу поцелуй... Эти жалкие людишки станут целовать его, прося прощения, но он будет молчать, как молчат боги, и умрет, как умирают настоящие мужчины (Фелипе где-то вычитал эту фразу, и она произвела на него в свое время сильное впечатление). Но прежде чем умереть, как умирают настоящие мужчины, он разрешит этим дуракам высказаться. А пока он оболъет их презрением и ледяным равнодушием. «Добрый день, добрый вечер», и больше ни слова. Они сами прибегут звать его, поверять ему свои тревоги и волнения, и вот тогда наступит час возмездия. Вы так думаете? Нет, я не согласен. У меня свое мнение, но оно останется при мне. Почему я должен высказывать его всем? Вы же не доверяли мне до сих пор, хотя я первым обнаружил ход внизу. Делаешь все, чтобы помочь, а каков результат? А если бы с нами там, внизу, что-нибудь случилось? Смейтесь сколько вам влезет, но я теперь палец о палец не ударю ради кого-то. Правда, тогда они продолжают розыски без него, а ведь это едва ли не единственное интересное дело на этом паршивом пароходике. Но он тоже, черт побери, может начать розыски сам, на свой страх и риск. Фелипе вспомнил двух матросов из нижней каюты, один татуированный... А тот, кого звали Орф, был, кажется, покладистой, и, кто знает, повстречай он его один... Фелипе представил, как он проникает на корму первым, обнаруживает новые палубы и люки. Ах да, там страшно заразная чума, и никому из пассажиров не делали прививки. Нож в сердце, или эта чума номер двести с чем-то, в конце концов... Он закатил глаза, чтобы почувствовать прикосновение руки Паулы к своему лбу. «Бедняжечка, бедняжечка», — бормотала Паула, лаская его. Фелипе соскочил на постель и растянулся, уставившись в стену. Бедняжка, такой храбрый. Фелипе, это я — Рауль. Зачем ты сделал это? Зачем вся эта кровь, бедняжечка. Нет, я совсем не страдаю. Не эти

раны болят у меня, Рауль. А Паула сказала бы: «Не разговаривай, бедненький, подожди, пока мы снимем с тебя рубаху», а у него бы закрылись глаза, прямо как сейчас, и все равно он видел бы Паулу и Рауля, плачущих над ним, чувствовал бы их руки, как чувствует сейчас свою собственную руку, скользящую в складках белья...

— Будь паннькой,— сказал Рауль,— и пойди сыграй роль Флоренс Найтингейл¹ для несчастных дам, страдающих от качки, тем более что и у тебя самой личико довольно-таки зелененькое.

— Ложь,— сказала Паула.— И почему это ты гонишь меня из моей же собственной каюты.

— Потому что мы должны собраться на военный совет,— объяснил Рауль.— Ступай, как примерный муравейчик, и раздай драматин страдающим. Входите, друзья, и садитесь, где сумеете, можно на кровати.

Лопес вошел последним, он смотрел, как Паула удалялась со скучающим видом, неся в руках флакон с таблетками, которые Рауль всучил ей в качестве всемогущего средства. В каюте витал запах Паулы, он почувствовал это, едва переступив порог и закрыв за собой дверь; сквозь табачный дым и нежный аромат дерева до него доносился запах одеколона, мокрых волос, возможно, грима. Он вспомнил, как видел Паулу, лежавшую на постели в глубине каюты, и вместо того, чтобы сесть теперь там, рядом с Луисо, остался стоять у двери, скрестив на груди руки.

Медрано и Рауль расхваливали новейшее электрооборудование, установленное в каютах «Маджента стар». Но как только закрылась дверь и все с любопытством посмотрели на Рауля, он оставил свой беспечный тон, открыл шкаф и достал оттуда жестяную коробку. Поставив ее на стол, Рауль сел в кресло и забарабанил пальцами по крышке коробки.

— По-моему,— сказал он,— в течение дня мы больше чем достаточно обсуждали наше положение на пароходе. Однако мне до сих пор не известна ваша окончательная точка зрения, и я считаю, что мы должны воспользоваться нашим собранием, чтобы ее выработать. Раз я взял слово, как говорят в парламенте, начну со своего личного мнения. Вам известно, что юный

¹ Англичанка, сестра милосердия, принимавшая участие в Крымской войне (1853—1856).

Трехо и я вели весьма поучительную беседу с двумя обитателями пароходных глубин. В результате этого диалога, а вернее, той атмосферы, в которой он протекал, а также на основании инструктивного собеседования с офицером, на котором мы все имели несчастье присутствовать, я делаю заключение, что при всей кажущейся нелепости дело обстоит более чем серьезно. Одним словом, я считаю, что мы стали жертвами обмана. Разумеется, не имеющего ничего общего с обычным мошенничеством; скорее... метафизического, да простится мне столь неподходящее слово.

— Почему неподходящее? — спросил Медрано. — Вот вам столичный интеллигент, чурающийся высоких слов.

— Давайте уточним, — сказал Лопес. — Почему именно метафизического?

— Потому что, если я правильно уловил ход мысли нашего друга Косты, за этим подлинным или мнимым карапипом кроется нечто иное, что ускользает от нашего понимания, именно в силу того, что оно определяется... этим самым словом.

Лусио смотрел на них с изумлением, на миг ему даже показалось, что они нарочно хотят посмеяться над ним. Его бесило то, что он не понимал ни единого слова в их разговоре, и, притворно закашлявшись, он напустил на себя умный вид. Лопес, заметивший его усилия, благодушно поднял руку.

— Давайте составим небольшой учебный план, как выразились бы мы с доктором Рестелли в нашей достославной учительской. Я предлагаю запереть на ключ буйную фантазию и приступить к делу на более практической основе. Согласен, нас разыгрывают или обманывают, ибо сомневаюсь, чтобы речь штурмана могла кого-либо убедить. Полагаю также, что тайна, назовем это так, продолжает оставаться неразгаданной, как и в самом начале.

— Одним словом, все дело в тифе, — изрек Лусио.

— Вы верите в это?

— А почему бы и нет?

— Мне это представляется вымыслом от начала до конца, — сказал Лопес, — по я вряд ли могу объяснить почему. Впрочем, хотя бы потому, что при нашей странной посадке в Буэнос-Айресе «Малькольм» был пришвартован у северного причала и трудно поверить, чтобы команда судна, на котором имеются два случая такой страшной болезни, могла бы так легко обмануть власти порта.

— Ну, это еще спорный вопрос, — сказал Медрано. — Я считаю, что наше здравомыслие одержит победу, если мы до поры

до времени оставим его в покое. Сожалею, что мне приходится выступать в роли скептика, но думаю, что вышепоименованные власти находились в весьма затруднительном положении вчера в шесть вечера и избавились от опасности лучшим образом, иными словами, без всяких угрызений и терзаний. Хотя понимаю, что это не объясняет, как мог «Малькольм» войти в порт с чумой на борту. Но и в этом случае можно предположить какой-то тайный сговор.

— Про болезнь могли узнать уже после того, как пароход стал к причалу, — сказал Лусио. — О таких вещах сразу не говорят.

— Да, возможно. И «Маджента стар» не захотела упустить выгодное дело, подвернувшееся в последнюю минуту. Вполне возможно. Значит, нас пикуда не повезут. Давайте исходить из того, что мы находимся на борту парохода, вдали от берега. Что мы предпримем?

— Сначала необходимо ответить на другой вопрос, — сказал Лопес. — Должны ли мы вообще что-то предпринимать? И уж тогда согласовывать свои действия.

— Офицер говорил насчет тифа, — сказал Лусио смущенно. — Может, нам лучше посидеть спокойно, хотя бы несколько дней. Путешествие, кажется, будет долгим... Разве не здорово, что нас повезут в Японию?

— Штурман мог солгать, — сказал Рауль.

— Как, солгать?! Так, значит, тифа нет?

— Дорогой мой, мне этот тиф представляется чистейшим обманом. Но, как и Лопес, я не могу объяснить почему. I feel it in my bones¹, как говорят англичане.

— Я согласен с обоими, — сказал Медрано. — Возможно, на пароходе действительно есть больной, но это ни в коей мере не объясняет поведения капитана (если, конечно, он сам не болен) и его помощников. Стоило нам сесть на пароход, как они стали ломать себе голову, что с нами делать, и все время ушло на эти обсуждения. Веди они себя более корректно, мы, возможно, ничего бы и не заподозрили.

— Да, здесь затронута самолюбие, — сказал Лопес. — Мы досадуем на невежливость команды и, возможно, поэтому начинаем преувеличивать. И все же признаюсь, закрытые двери не просто раздражают меня. Посудите сами, ну какое же это путешествие!

Лусио, все более удивляясь и лишь отчасти разделяя на-

¹ Нутром чувствую (англ.).

строения остальных, опустил голову в знак согласия. Ну, если все принимать всерьез, тогда их путешествие пойдет насмарку. А такая приятная поездка, черт возьми... Но почему они так щепетильны? Какая-то дверь... Им соорудили бассейн на палубе, устроили игры и развлечения, так какое им дело до кормы? Есть пароходы, где нельзя проходить на корму или на нос, и никто из-за этого не нервничает.

— Если бы мы были уверены, что это действительно тайна,— сказал Лопес, садясь на край постели Рауля,— но это может оказаться просто упрямством, неуважением к нам, а возможно, капитан вообще считает нас грузом, которому положено занимать определенное место. Вот тут-то, как вы понимаете, и начинается разыгрываться воображение.

— А если мы убедимся, что так оно и есть,— сказал Рауль,— что нам тогда делать?

— Проложить себе путь,— сухо сказал Медрано.

— Так. Хорошо. Одно мнение у нас уже есть, и я его разделяю. Я вижу, Лопес тоже «за», а вы...

— И я, конечно,— торопливо сказал Лусио.— Но прежде надо убедиться, что это не прихоть.

— Самым лучшим выходом было бы заставить их протелеграфировать в Буэнос-Айрес. Объяснения штурмана показались мне совершенно несуразными, зачем же тогда телеграф на пароходе? Итак, проявим настойчивость и узнаем, каковы намерения этих... липидов.

Лопес и Медрано расхохотались.

— Уточним наш лексикон,— сказал Медрано.— Хорхе считает, что липиды — это матросы с кормы. Офицеры, как я слышал за столом, называются глициды. Итак, сеньоры, именно с глицидами нам и предстоит скрестить шпаги.

— Смерть глицидам! — вскричал Лопес.— Недаром я все утро провел в разговорах о пиратских приключениях... Но предположим, что они откажутся передать нашу телеграмму в Буэнос-Айрес, а так наверняка и случится, раз они затеяли нечистую игру и боятся, чтобы мы не испортили им все дело. В этом случае я не представляю, каким может быть следующий шаг.

— А я представляю,— сказал Медрано.— И весьма отчетливо. Надо будет взломать одну из дверей и прогуляться по корме.

— Ну, а если дело примет дурной оборот...— сказал Лусио.— Вы же знаете, на море совсем иные законы, другая дисциплина. Я в этом ничего не смыслю, но мне кажется, не обдумав все заранее, нельзя выходить за рамки.

— А что значит «выходить за рамки», когда поведение глицидов красноречиво говорит само за себя,— сказал Рауль.— Если завтра капитану Смитту придет в голову,— и тут ему самому пришла в голову сложнейшая игра слов, в которой участвовала принцесса Покаонтас, придавшая ему дерзости,— чтобы мы продолжали путешествие, не выходя из кают, он считает себя вправе держать нас там.

— Вы рассуждаете, как Спартак,— сказал Лопес.— Если им дать палец, они отхватят всю руку — так сказал бы наш друг Пресутти, об отсутствии которого в данный момент я крайне сожалелю.

— Я собирался пригласить и его,— сказал Рауль,— но, откровенно говоря, он такой мужлан... Позже мы можем познакомиться с итогом наших заключений и посвятить в существо нашего освободительного дела. Он прекрасный парень, и глициды и липиды тоже, наверно, сидят у него в печенках.

— Итак,— сказал Медрано,— если я правильно понял: *primo* — мы считаем, что утверждение о тифе звучит неубедительно, и *secundo* — мы должны настаивать на том, чтобы тюремные стены пали и нам позволили осматривать пароход, где нам за благо рассудится.

— Совершенно верно. Наш метод: телеграмма в столицу. Возможный результат: отрицательный. Наши последующие действия: взломать дверь...

— Все достаточно просто,— сказал Лопес,— за исключением двери. Взлом двери им не очень-то понравится.

— Ясное дело, не понравится,— сказал Лусио.— Они могут отправить нас обратно в Буэнос-Айрес, а это, по-моему, ужасно.

— Признаю,— сказал Медрано, который смотрел на Лусио с какой-то вызывающей симпатией,— вновь встретиться на углу Перу и Авениды послезавтра утром было бы нелепо. Но, дорогой друг, по счастливой случайности на углу Перу и Авениды нет задранных дверей Стоуна.

Рауль поднял руку, провел ладонью по лбу, словно отгоняя навязчивую мысль, и, так как все присутствующие промолчали, сказал:

— Как видите, и это подтверждает мое недавнее предчувствие. За исключением Лусио, чье желание увидеть гейш и послушать, как звучит кото, вполне справедливо, мы с радостью жертвуем Империей восходящего солнца ради городского кафе, где двери широко распахнуты на улицу. Соразмерна ли такая жертва? Разумеется, нет. Ни в малейшей степени. Лусио совершенно прав, призывая нас к спокойствию, ибо плата за эту пас-

сивность весьма высокая: кимоно, Фудзияма. And yet, and yet¹...

— Вот оно сакраментальное словечко,— сказал Медрано.

— Да, сакраментальное. Дело не в дверях, дорогой Лусио, не в глицидах. Возможно, на корме неприглядно: пахнет мазутом и грязной шерстью. И видно оттуда то же, что и отсюда: море, море и море. And yet...

— Итак,— сказал Медрано,— по-видимому, существует мнение большинства. Ах, вы тоже? Отлично, тогда это мнение единодушно. Теперь остается решить, сообщим ли мы об этом остальным. В настоящее время, по-моему, не стоит посвящать в наше дело никого, кроме Рестелли и Пресутти. Как говорится в подобных случаях, нет нужды тревожить женщин и детей.

— Возможно, не будет никаких оснований для тревоги,— сказал Лопес.— Но мне хотелось бы узнать, как мы проложим себе путь, если возникнет такая необходимость.

— Очень просто,— сказал Рауль.— Раз вы так любите играть в пиратов, вот возьмите.

Он поднял крышку коробки. Внутри лежали два револьвера тридцать восьмого и один автоматический тридцать второго калибра и, кроме того, пять коробок с патронами, изготовленными в Роттердаме.

XXVI

— Hasdala,— сказал один из матросов, поднимая без видимых усилий огромный деревянный брус. Другой матрос с коротким отрывистым «Sa!» вогнал в край бруса гвоздь. Бассейн был почти готов; сооружение столь же простое, сколь и прочное, возникло посреди палубы. Пока один из матросов приколачивал последнюю распорку, другой развернул рулон брезента и стал прикреплять его с помощью ремней и пряжек.

— И это они называют бассейном,— посетовал Пушок.— Кое-как скотили эту пакость; да в ней разве только поросят там купаться. Как вы считаете, дон Персио?

— Я испытываю отвращение к купанию на открытом воздухе,— сказал тот,— в особенности когда можно наглотаться чужой перхоти.

— Нет, вообще-то это здорово, вы не думайте. Вы никогда не были в бассейне «Спортиво барракас»? Там все дезинфицируют. И размеры у него олимпийские.

— Олимпийские? А что это такое?

¹ И все же (англ.).

— Ну... размеры, годные для проведения олимпийских соревнований. Олимпийские размеры публикуют во всех газетах. А вы поглядите на эту штуковину — доски да брезент. Вот Эмилио два года назад ездил в Европу, так он рассказывал, что на палубе парохода, на котором он плыл, был бассейн из зеленого мрамора. Знай я, что тут такое, ни за что не поехал бы, князь вам.

Персио смотрел на волны. Берег исчез вдаль, и «Малькольм» скользил по безмятежно спокойному океану, по его синим с металлическим отливом волнам с почти черными крутыми боками. Только две чайки провожали пароход, упрямо примостившись на мачте.

— Какие прожорливые эти птицы, — сказал Пушок. — Готовы гвозди глотать. Люблю смотреть, как они пикируют, когда завидят какую-нибудь рыбешку. Бедные рыбки, они их пронзают клювом. А как вы думаете, мы увидим во время нашего путешествия дельфинов?

— Дельфинов? Возможно.

— Вот Эмилио рассказывал, что они с парохода все время видели стаи дельфинов и этих самых летающих рыб... А мы...

— Да вы не огорчайтесь, — любезно сказал Персио. — Путешествие только началось, правда с морской болезни и этой новости... Но в дальнейшем вам все очень понравится.

— Мне-то и так нравится. Тут обязательно чему-нибудь научиться, правильно? Как в армии. Вот где была собачья жизнь: жратва ни к черту, а на учения гоняют... Я вот помню, однажды дали нам варено, так в нем самым вкусным оказалась муха... Зато со временем научаешься пришивать себе пуговицы и умирать любую пакость. Так, должно быть, и здесь, правильно?

— Думаю, что да, — согласился Персио, с интересом наблюдая за работой финских матросов, подводивших к бассейну шланг.

Изумительно зеленая вода наполняла брезентовый резервуар, или по крайней мере так утверждал Хорхе, забравшийся на деревянный брус в надежде первым броситься в воду. Немного пришедшие в себя после морской болезни, дамы приблизились к бассейну, чтобы оценить проделанную работу и занять стратегические позиции, перед тем как соберутся все купальщицы. Наулу им пришлось ждать недолго, она медленно спустилась по трапу, чтобы все присутствующие могли внимательно и досконально рассмотреть ее красное бикини. Следом шествовал Фелипе, в зеленых плавках, с баннным полотенцем на плече. Возглавляемые Хорхе, который радостным воплем возвестил о том,

что вода отличная, они спустились в бассейн и немного поплескались в его весьма скромных пределах. Паула научила Хорхе окунаться с головой, зажав нос, а Фелипе, все еще хмурый, но уже не в состоянии противиться блаженству купания и радостным крикам, забрался на брус и приготовился нырять, вызвав у дам возгласы страха и предостережения. Вскоре к ним присоединились Нелли и Пушок, продолжавший отпускать по поводу бассейна презрительно-критические замечания. Обтянутая как кольчугой купальником, со странными голубыми и бордовыми ромбами, Нелли поинтересовалась у Фелипе, почему не купается Беба, на что Фелипе отвечал, что у сестрицы, наверное очередной припадок, который и мешает ей прийти на палубу.

— У нее бывают припадки? — в замешательстве спросила Нелли.

— Припадки романтизма, — отвечал Фелипе, морща нос. — Она у нас тронутая, бедняга.

— О, вы меня пугаете! Ваша сестра такая славная, бедняжка.

— Вы ее еще не знаете. Как вам нравится наше путешествие? — спросил Фелипе у Пушка. — И какая только голова его придумала? Если повстречаю, обязательно все начистоту выложу, уж поверьте.

— Да что там говорить, — сказал Пушок, стараясь незаметно высморкаться двумя пальцами. — Ну и корыто, мама миа. И всего-то три-четыре человека, а уже как сардины в банке. Нелли, иди сюда, научу тебя плавать под водой. Да не трусь, глупышка, давай научу, а то ты смахиваешь на Эстер Уильямс.

Финны укрепили широкую горизонтальную доску на одном из краев бассейна, и Паула уселась на ней позагорать. Фелипе нырнул еще раз, отфыркнулся, как это делают спортсмены на состязаниях, и вскарабкался рядом с Паулой.

— Ваш... Рауль не придет купаться?

— Мой... Откуда я знаю, — насмешливо сказала Паула. — Наверное, все еще плетет заговор со своими вновь испеченными друзьями, отчего вся каюта провоняет табаком. Вас, кажется, там не было.

Фелипе посмотрел на нее искоса. Нет, он там не был, после обеда он любит поваляться в постели с книжкой. А, и что же он читал? Ну, теперь он читает номер «Селексьона». Превосходное чтение для юноши. Да, неплохое, в сокращенном виде там печатают самые знаменитые произведения.

— В сокращенном виде, — проговорила Паула, смотря на волны. — Конечно, так намного удобней.

— Конечно,— ответил Фелипе, все более уверяясь, что говорит не то. — При современной жизни совсем нет времени читать длинные романы.

— Но вас не очень-то интересуют книги,— сказала Паула, оставляя шуточный тон и смотря на него с симпатией. Было что-то трогательное в Фелипе: он был слишком юн, и все остальное тоже слишком — красив, глуп, несуразен. Когда он молчал, в нем ощущалась некая гармония: выражение лица соответствовало возрасту, руки с обкусанными ногтями висели по бокам с восхитительным безразличием. Но когда он заговаривал, когда начинал привирать (а говорить в шестнадцать лет — это значит привирать), все его очарование рушилось, оставалась лишь глупая претензия на значительность, тоже трогательная, но и раздражающая,— некое мутное зеркало, в котором Паула вновь видела свои школьные годы, первые шаги к свободе, ничтожный финал того, что обещало быть прекрасным. Ей стало жалко Фелипе, захотелось погладить его по голове и сказать что-нибудь такое, что придало бы ему уверенности. Он объяснял ей, что читать он действительно любит, а вот учиться... Как? А разве мало приходится читать во время учебы? Конечно, немало, но ведь это учебники да конспекты. Разве их можно сравнить с романами Сомерсета Моэма или Эрико Вериссимо. Само собой, он не похож на некоторых своих товарищей, которые только и корпят над книжками. В первую очередь надо жить. Жить? Как жить? Ну, в общем, жить, ходить всюду, видеть разные вещи, путешествовать, как, например, сейчас, узнавать людей... Учитель Перальта вечно твердит им, что самое важное — это опыт.

— Ах, опыт,— сказала Паула.— Конечно, это великое дело. А ваш учитель Лопес тоже говорит вам об опыте?

— Нет, что вы. Но если бы он захотел... Он свой в доску, но не из тех, что кичатся этим. С Лопесом мы здорово развлекаемся. Он строгий, это точно, но, когда доволен ребятами, может пол-урока болтать с ними о воскресных матчах.

— Да что вы,— сказала Паула.

— Ясно, Лопес свой парень. Его на кривой не объедешь, как Перальту.

— Кто бы мог подумать,— сказала Паула.

— Чистая правда. А вы думали он как Черный Кот?

— Черный Кот?

— Ну да, Стоячий Воротничок.

— А-а, другой ваш учитель.

— Да, Сумелли.

— Нет, я этого не думала,— сказала Паула.

— Да, конечно,— сказал Фелипе.— Кто станет сравнивать Лопес свой парень, все ребята так считают. Даже я иногда учу его уроки, честное слово. Я с удовольствием стал бы его другом, но, конечно...

— Здесь у вас будет такая возможность,— сказала Паула.— Есть несколько человек, с которыми стоит завести знакомство. Медрано, например.

— Точно, но он отличается от Лопеса. А также от вашего... Пауля.— Фелипе опустил голову, и капелька воды скатилась по его носу.— Все они очень симпатичные,— сказал он смущенно,— хотя, правда, намного старше меня. Даже Рауль, а ведь он очень молодой.

— Нет, не такой уж он молодой,— сказала Паула.— Порой он становится отвратительно старым, ибо слишком много познал и страшно устает от того, что ваш учитель Перальта называет опытом. Иногда, напротив, он выглядит слишком молодым и делает самые несусветные глупости.— Она заметила смещение в глазах Фелипе и замолчала. «Кажется, я становлюсь на путь сводничества,— подумала она весело.— Пускай сами спеваются. Бедняжка Нелли походит на актрису из немого кино, а на ее женихе купальный халат висит, как на вешалке... И почему эти двое не бреют волосы под мышками?»

Словно это было самым естественным делом на свете, Медрано наклонился над коробкой, выбрал револьвер и положил его в задний карман брюк, предварительно проверив, заряжен ли он и исправно ли работает барабан. Лопес собирался поступить точно так же, однако, вспомнив о Лусио, остановился. Лусио протянул руку и тут же отдернул, покачав головой.

— Чем дальше, тем я все меньше понимаю,— сказал он,— для чего это нам?

— Ну и не берите,— сказал Лопес, отбросив всякую вежливость. Он взял второй револьвер и протянул его Раулю, который смотрел на него с задорной улыбкой.

— Я скроен по-старинке,— сказал Лопес.— Мне никогда не нравились автоматы, в них что-то злодейское. Возможно, ковбойские фильмы и привили мне любовь к револьверу. Я, че, воспитывался еще до гангстерских картин. Помните Уильяма Харта?.. Как странно, сегодня будто день воспоминаний. Сначала пираты, теперь вот ковбои. С вашего разрешения возьму эту коробку с патронами себе.

Паула постучала два раза и вошла, вежливо намекнув, чтобы они освободили каюту, так как ей надо надеть купальный костюм.

Она с любопытством посмотрела на жестяную коробку, которую только что закрыл Рауль, но ничего не сказала. Все вышли в коридор; Медрано с Лопесом отправились по своим каютам прятать оружие; оба чувствовали себя крайне неловко с оттопыренными карманами, где, кроме оружия, лежали еще коробки с патронами. Рауль предложил встретиться через четверть часа в баре и снова ушел к себе. Паула, напевавшая в ванной, слышала, как он открыл ящик шкафа.

— Что означает этот арсенал?

— Ах, так ты заметила, что это не *magons glacés*¹, — сказал Рауль.

— Я что-то не помню, чтобы ты брал с собой эту коробку.

— Нет, это военный трофей. Пока еще трофей холодной войны.

— И вы намерены вступить в бой с дурными людьми?

— Не раньше, дорогая, чем истощим дипломатические ресурсы. Излишне, конечно, говорить это, но я был бы тебе весьма признателен, если ты не станешь упоминать про наши военные приготовления в присутствии дам и детей. Вероятней всего, мы потом над этим посмеемся и сохраним это оружие как воспоминание о путешествии на «Малькольме». Но в настоящее время мы очень хотим попасть на корму, любым способом.

— *Mon triste coeur bave à la poupe, mon coeur couvert de caroral*², — проворковала Паула, появляясь в бикини. Рауль восхищенно свистнул.

— Можно подумать, что ты впервые видишь меня в пляжном наряде, — сказала Паула, смотрясь в зеркало шкафа. — А ты не переоденешься?

— Позже, сейчас нам предстоит пачать выступление против глицидов. Какже восхитительные попки прихватила ты в это путешествие.

— Да, мне об этом уже говорили. Если я гожусь тебе в натурщицы, можешь рисовать меня сколько хочешь. Но я думаю, ты уже выбрал себе другую модель.

— Спрячь, пожалуйста, свои ядовитые стрелы, — сказал Ра-

¹ Засахаренные каштаны (франц.).

² Грустное сердце мое плюется пеной в корму, солдатское, жесткое сердце мое (франц.).

уль.— На тебя еще не подействовал йодистый морской воздух? Во всяком случае, меня, Паула, оставь в покое.

— Хорошо, *sweet prince*¹. До скорой встречи.— Она отворила дверь и, обернувшись, добавила: — Только не делай глупостей. Меня не касается, что вы задумали, но вы трое единственные, с кем можно общаться на борту. Если вам повредят... Ты позволишь мне быть твоей патронессой?

— Безусловно, особенно если ты будешь посылать мне шоколад и журналы. Я тебе уже говорил, что ты бесподобна в этом купальном костюме? Да, говорил. Ты наверняка подымеешь настроение у двух финнов и одного из моих приятелей.

— Кто-то упоминал об ядовитых стрелах...— сказала Паула. Она снова вошла в каюту.— Скажи откровенно, ты поверил в сказку о тифе? Нет, конечно. Но если не верить в это, тогда еще хуже, тогда вообще ничего не понятно.

— Я уже пережил в детстве нечто подобное, когда вздумал стать атеистом,— сказал Рауль.— Тут-то и начались трудности. Предположим, что выдумка с тифом прикрывает какую-то темную сделку, может, они везут свиней в Пунта-Аренас или бандонеоны в Токно, вещи, как известно, весьма неприглядные на вид. У меня масса таких предположений, одно страшнее другого.

— А если на корме ничего нет? Если это только самоуправство капитана Смита?

— Мы все так и думаем, дорогая. Например, я, когда стащил эту коробку. И повторяю, будет куда хуже, если на корме ничего нет. Я просто жажду увидеть там компанию лилипутов, ящички с лимбургским сыром или, на худой конец, палубу, кишашую крысами.

Безжалостно поправ надежды сенъора Трехо и доктора Реселли, ожидавших, что Медрано оживит их затухающий разговор, он подошел к Клаудии, которая предпочитала кофе в баре играм на палубе. Спросив пива, он вкратце рассказал о принятом ими решении, ни словом не упомянув о жестяной коробке. Медрано с трудом удавалось сохранить серьезность; у него было такое чувство, будто он сочиняет какую-то историю, однако достаточно правдоподобную, чтобы рассказчик и слушатели не чувствовали себя неловко. Пока он излагал доводы, побуждавшие их пробиться на корму, он чувствовал себя едва ли

¹ Милый принц (*англ.*).

не солидарным с противоположным лагерем, словно, забравшись на самую верхушку мачты, мог правильно оценить игру.

— Если хоть немного подумать, все это выглядит нелепо. Наверное, следовало бы попросить Хорхе возглавить нас; тогда осуществились бы его замыслы, очевидно куда более реальные, чем наши.

— Кто знает, — сказала Клаудиа. — Хорхе тоже чувствует, будто происходит что-то странное. Недавно он сказал мне: «Мы как в зоологическом саду, только зрители не мы». Я прекрасно поняла его, потому что меня самое не оставляет подобное чувство. И все же правильно ли мы поступаем, решившись на бунт? И говорю это не из пустого страха, а из боязни разрушить некую стену, вместе с которой рухнет и декорация этой комедии.

— Комедии... Да, возможно. Но я скорее воспринимаю это как своеобразную игру с противоположным лагерем. В полдень они сделали ход и теперь, пустив часы, ожидают, когда мы ответим. Они играют белыми и...

— Вернемся к понятию игры. Я полагаю, что она составляет часть современной концепции жизни, лишенной иллюзий и трансцендентности. Ты соглашаешься быть добрым слоном или доброй ладьей, ходить по диагонали или рокироваться, лишь бы спасти короля. Впрочем, «Малькольм», по-моему, не слишком отличается от Буэнос-Айреса, по крайней мере от моей жизни в Буэнос-Айресе. С каждым днем она становится все более функциональной и безликой. С каждым днем все больше электроприборов в кухне и книг в личной библиотеке.

— Для того чтобы ваша домашняя жизнь походила на здешнюю, в ней должно быть чутье таинственности.

— Она и есть, и зовут ее Хорхе. Что еще может быть таинственней, чем настоящее, лишнее и тени настоящего, абсолютное будущее. Нечто утраченное с самого начала, чем я руковожу, чему помогаю и что одухотворяю, словно оно вечно будет моим. Подумать только, какая-то девчонка уведет его от меня через несколько лет, какая-то девчонка, которая сейчас читает детские приключения или учится вышивать крестом...

— Кажется, вы говорите это без грусти.

— Нет, грусть слишком ощутима, слишком явственна и реальна. Я смотрю на Хорхе как бы с двух точек зрения: с сегодняшней, когда он делает меня безгранично счастливой, и с другой, удаленной во времени, когда на софе будет сидеть старуха, одна в пустом доме.

Медрано молча кивнул. При дневном свете яснее обозначились мелкие морщинки вокруг глаз Клаудии, однако выраже-

ние усталости на ее лице не выглядело столь нарочитым, как у подруги Рауля Косты. Это был итог, дорогая цена жизни, палет легкого пепла. Ему правился спокойный голос Клаудии, ее манера произносить «я» не напыщенно, но звучно, так что ему хотелось опять услышать это слово, которого он ждал с затаенным наслаждением.

— Вы чересчур здраво рассуждаете, — сказал он. — А это стоит очень дорого. Сколько женщин живет настоящим, не думая, что в один прекрасный день они потеряют сыновей. Сыновей и еще очень многое в придачу, как я, как все. У краев шахматной доски растет гора съеденных пешек и коней, а жить — это значит пристально следить за фигурами, находящимися в игре.

— Да, верно, и создавать ненадежное спокойствие с помощью уже готовых суррогатов. Искусства, например, или путешествий... Однако и с помощью этих средств можно обрести необычное счастье, подобие фальшивой устойчивости, которая радует и удовлетворяет многих, даже незаурядных людей. Но я... Не знаю, особенно в последние годы... Я не чувствую себя довольной, когда довольна, радость причиняет мне боль, и одному богу известно, способна ли я вообще радоваться.

— По правде говоря, со мной такого еще не случалось, — сказал Медрано задумчиво, — но мне кажется, я могу это понять. Это вроде ложки алоэ в бочке меда. Кстати, если я когда-либо и замечал вкус алоэ, то он лишь усиливал для меня сладость меда.

— Персио способен доказать, что мед в иных случаях может быть одной из самых горьких разновидностей алоэ. Но, не забираясь в гиперкосмос, как он любит выражаться, я полагаю, что мое беспокойство в последнее время... О, в нем нет ничего интересного либо метафизического, это как бы слабый знак... Без всяких видимых причин я становлюсь раздражительной и удивляюсь сама себе. Но отсутствие причин не успокаивает меня, а, скорее, тревожит, я, знаете ли, очень верю в свою интуицию.

— И это путешествие своего рода защита против беспокойства?

— Ну, слово «защита» звучит слишком торжественно. Угроза нападения не настолько сильна; к счастью, меня минула обычная судьба аргентинок, которые имеют детей. Я не поддавалась соблазну создать то, что называют домашним очагом, и, возможно, большая часть вины за разрушение этого очага лежит на мне. Мой муж никогда не хотел понять, почему я не

радуюсь новой модели холодильника или возможности провести отпуск в Мар-дель-Плата. Я не должна была выходить замуж, вот и все, однако были причины, чтобы поступить так, и среди них желание моих родителей, их трогательная вера в меня... Они скончались, и теперь я свободна, могу быть самой собой.

— Вы не производите впечатления так называемой эмансипированной женщины, — сказал Медрано. — Ни даже бунтарки, в том значении, какое вкладывают в это слово буржуа. И слава богу, вы не из высокородной семьи, не состоите в Клубе матерей. Любопытно, я никак не найду вам определения и, кажется, не сожалею об этом. Образцовая супруга и мать...

— Я знаю, мужчины в панике отступают от слишком образцовых женщин, — сказала Клаудиа. — Но это только до женитьбы.

— Если образцовая женщина — это та, у которой обед готов в четверть первого, пепел стряхивают только в пепельницу, а по субботним вечерам обязательный поход в «Гран Рекс»¹, мое отступление было бы столь же поспешным, как до, так и после супружества, вернее, до супружества дело бы и не дошло. Однако не подумайте, что я приверженец богемы. У меня есть особый гвоздик, на который я вешаю галстуки. Здесь скрыт более глубокий смысл, я подозреваю, что... образцовая женщина ничего не представляет собой как женщина. Мать Гракхов знаменита только благодаря своим детям, всемирная история была бы еще печальней, если бы все знаменитые женщины походили на мать Гракхов. Вы приводите меня в замешательство своим спокойствием и уравновешенностью, которая совсем не вяжется с тем, что вы мне сказали. И поверьте, к счастью, ибо чрезмерная уравновешенность обычно превращается в самую обычную скуку, особенно во время путешествия в Японию.

— О, Япония. С каким скепсисом вы это говорите.

— Я думаю, вы тоже не очень верите, что попадете туда. Скажите правду, если сейчас уместен такой вопрос: почему вы сели на «Малькольм»?

Клаудиа взглянула на свои руки и задумалась.

— Не так давно я говорила с одним человеком, — сказала она. — С одним человеком, отчаявшимся в жизни и считающим ее лишь жалкой отсрочкой, которую можно прервать в любой момент. Этому человеку я кажусь воплощением силы и здравого смысла, он всецело доверяет мне и поверяет все свои тайны.

¹ Кинотеатр в Буэнос-Айресе.

Мне бы не хотелось, чтобы он узнал о том, что я вам скажу, ибо две слабости могут дать при сложении страшную силу и привести к катастрофе. Знайте, я очень похожу на этого человека; мне кажется, что я достигла такого предела, когда самые реальные вещи начинают терять смысл, расплываться, отступать. Мне кажется... кажется, что я все еще влюблена в Леона.

— А-а.

— И в то же время я не могу выносить его, меня выводит из себя даже звук его голоса, когда он приходит навещать Хорхе и играет с ним. Можно понять такое? Можно любить человека, в присутствии которого минута кажется часом?

— Откуда мне знать,— резко сказал Медрано.— Мои заботы много проще. Откуда мне знать, можно так любить или нет.

Клаудиа взглянула на него и отвела глаза. Она хорошо знала этот угрюмый тон, каким обычно говорят мужчины, раздраженные женскими капризами и не желающие их понимать и тем более вникать в них. «Он сочтет меня истеричкой, как все,—без сожаления подумала она.— Возможно, он и прав, не стоило говорить ему обо всем этом». Она попросила у него сигарету и подождала, когда он поднесет зажигалку.

— Вся эта болтовня бесполезна,— сказала она.— Когда я начала читать романы, а случилось это в раннем детстве, я сразу же почувствовала, что диалоги персонажей почти всегда до смешного нелепы. И по очень простой причине. Из-за самого незначительного обстоятельства они вообще могли бы не состояться. Например, я могла бы сидеть в своей каюте, а вы решили бы прогуляться по палубе, вместо того чтобы зайти выпить пива. К чему придавать столько значения разговору, который происходит в результате самой нелепой случайности?

— Хуже всего то,— сказал Медрано,— что такой взгляд можно распространить на любое явление жизни, даже на любовь, которая до сих пор представлялась мне наиболее серьезным и роковым явлением. Принять вашу точку зрения — значит опозлить само существование, низвергнуть его в пропасть абсурда.

— А почему бы и нет,— сказала Клаудиа.— Персио сказал бы, что то, что мы называем абсурдом, есть наше невежество.

Медрано поднялся при виде Лопеса и Рауля, входивших в бар, они только что повстречались у трапа. Клаудиа привялась

листать какой-то журнал, а молодые люди, не без труда уняв разговорный зуд сеньора Трехо и доктора Рестелли, отозвали бармена к краю стойки. Лопес взял на себя руководство операцией, и бармен оказался более сговорчивым, чем они предполагали. Корма? Дело в том, что телефон в данный момент не работает, и метрдотель лично поддерживает связь с офицерами. Да, метрдотелю сделана прививка, и, возможно, его подвергают санитарной обработке после возвращения оттуда, если, конечно, он попадает в опасную зону, а не общается с больными на расстоянии. Но это, разумеется, только его предположения.

— Кроме того, — неожиданно добавил бармен, — с завтрашнего дня будет работать парикмахерская с девяти до двенадцати.

— Хорошо, но сейчас нам хотелось бы послать телеграмму в Буэнос-Айрес.

— Но ведь штурман сказал... Штурман сказал, сеньоры. Как же вы хотите, чтобы я? Я совсем недавно работаю на этом судне, — плаксиво добавил он. — Я сел в Сантосе две недели назад.

— Оставим вашу биографию, — сказал Рауль. — Вы просто покажете нам путь, по которому можно попасть на корму, или по крайней мере отведете нас к какому-нибудь начальству.

— Я очень сожалею, сеньоры, но мне дан приказ... Я тут новенький. — Увидев выражение лиц Медрано и Лопеса, он судорожно проглотил слюну. — Все, что я могу сделать для вас, — это показать туда дорогу, но двери заперты, и...

— Я знаю дорогу, которая не ведет никуда, — сказал Рауль. — Давайте поглядим, она ли это.

Вытерев руки (кстати сказать, совершенно сухие) кухонным полотенцем с эмблемой «Маджента стар», бармен неохотно покинул стойку и пошел впереди всех к трапу. Он остановился у двери напротив каюты доктора Рестелли и открыл ее ключом. Они увидели очень простую и опрятную каюту, в которой красовалась огромная фотография Виктора-Эммануила III и карнавальный колпак, висевший на вешалке. Бармен пригласил всех войти, изобразив на лице услужливую мину, и тут же запер за собой дверь. Рядом с койкой в кедровой панели была едва заметная дверца.

— Моя каюта, — сказал бармен, обводя вокруг пухлой рукой. — У метрдотеля другая, по левому борту. Вы на самом деле?.. Да, ключ подходит, но я предупреждаю, что нельзя... Штурман сказал...

— Открывайте сейчас же, приятель,— приказал Лопес,— и возвращайтесь подавать пиво жаждущим старичкам. И совсем не обязательно, чтобы вы рассказывали им об этом.

— О нет, я ничего не скажу.

Ключ повернулся два раза, и дверца медленно отворилась. «Разными путями сходят здесь в геенну огненную,— подумал Рауль.— Как бы все это не кончилось встречей с татуированным великаном Хароном со змеями на руках...» Он последовал за остальными по сумрачному коридору. «Бедняга Фелипе, должно быть, грызет кулаки со злости. Но он слишком юн для таких дел...» Рауль почувствовал, что кривит душой, что только извращенное удовольствие заставило его лишиться Фелипе радости участвовать в таком приключении. «Мы поручим ему что-нибудь другое в порядке компенсации»,— подумал он, испытывая легкие угрызения совести.

Они остановились, дойдя до поворота. Перед ними было три двери, одна приоткрытая. Медрано распахнул ее настежь, и они увидели склад с пустыми ящиками, досками и мотками проволоки. Кладовая не сообщалась ни с каким другим помещением. И только тут Рауль вдруг сообразил, что Лусио не присоединился к ним в баре.

Из двух других дверей одна была заперта, а вторая вела в коридор, освещенный лучше, чем тот, по которому они пришли. Три топора с выкрашенными красной краской топоричами висели на стенах, и коридор упирался в дверь, на которой значилось: GED OTTAMA и более мелкими буквами П. Пиккфорд. Они вошли в довольно просторное помещение, заставленное железными шкапами и трехногими табуретами. При виде их какой-то человек изумленно поднялся и отступил на шаг. Лопес безуспешно попытался заговорить с ним по-испански. Затем по-французски. Рауль, вздохнув, задал ему вопрос по-английски.

— А-а, пассажиры,— сказал человек в синих брюках и красной рубашке с короткими рукавами.— Здесь нельзя ходить.

— Простите за вторжение,— сказал Рауль.— Мы ищем радиорубку. У нас очень срочное дело.

— Здесь нельзя пройти. Вам надо...— он быстро взглянул на дверь слева. Медрано оказался там на секунду раньше.

— Sorry¹,— сказал он, сунув руки в карманы брюк и дружески улыбаясь.— Понимаете, нам надо пройти. Сделайте вид, что вы нас не заметили.

¹ Извините (англ.).

Тяжело дыша, матрос отступил, чуть не столкнувшись с Лопесом. Они прошли и закрыли за собой дверь. Дело начинало принимать интересный оборот.

«Малькольм», казалось, состоял из одних коридоров, и от этого у Лопеса даже возникло что-то вроде боязни замкнутого пространства. Они дошли до первого поворота, не увидев ни одной двери, как вдруг услышали звонок, похожий на сигнал тревоги. Он звенел секунд пять подряд, чуть не оглушив их.

— Ну, теперь заварится каша,— сказал Лопес, все более возбуждаясь.— Чего доброго, сейчас сбегутся эти сучьи финны.

Пройдя поворот, они увидели приотворенную дверь, и Рауль невольно подумал, что на пароходе явно хромает дисциплина. Когда Лопес толкнул дверь, раздалось злобное мяуканье. Белый кот оскорбленно выпрямился и стал лизать лапу. В помещении опять было пусто, зато имелось сразу три двери: две запертые и одна, открывшаяся с большим трудом. Рауль, задержавшийся, чтобы погладить кота, который оказался кошкой, почувствовал запах затхлости, отхожего места. «Но мы ведь не очень низко спустились,— подумал он.— Должно быть, на уровне кормовой палубы или чуть пониже». Годубые глаза белой кошки следили за ним с бессмысленным упорством, и Рауль наклонился, чтобы погладить ее еще раз, прежде чем присоединиться к остальным. Вдали прозвенел звонок. Медрано и Лопес поджидали Рауля в кладовой, где были свалены коробки из-под бисквитов с английскими и немецкими названиями.

— Мне бы не хотелось ошибиться,— сказал Рауль,— но, кажется, мы снова вернулись почти на то же самое место, откуда начали свой поход. За этой дверью...— он увидел щеколду и отодвинул ее.— К несчастью, так оно и есть.

Это была одна из двух запертых дверей, которые они видели в конце коридора, когда отправлялись на поиски. Запах гнили и темнота неприятно подействовали на них. Никому не хотелось снова разыскивать типа в красной рубашке.

— Теперь единственное, чего нам не хватает,— это встретиться с минотавром,— сказал Рауль.

Он потрогал другую запертую дверь, заглянул в третью, которая вела в кладовую с пустыми ящиками. Вдали послышалось мяуканье белой кошки. Пожав плечами, они снова отправились на поиски двери с надписью GED OTTAMA.

Человек по-прежнему сидел на том же месте, однако чувствовалось, что он успел подготовиться к новой встрече.

— Sorry, здесь нельзя пройти на капитанский мостик. Радиорубка находится наверху.

— Цепная информация,— сказал Рауль: познания в английском языке определили его руководящую роль на данном этапе.— А как же пройти в радиорубку?

— По верху, по коридору до... Ах да, двери везде задраены.

— А вы не смогли бы провести нас с другой стороны? Нам необходимо переговорить с каким-нибудь офицером, раз уж капитан болен.

Человек с удивлением посмотрел на Рауля. «Теперь он скажет, что ничего не знал о болезни капитана»,— подумал Медрано, вдруг почувствовав непреодолимое желание вернуться в бар и выпить коньяку. Но человек лишь обескураженно поджал губы.

— Мне приказано присматривать за этим местом,— сказал он.— Если я понадоблюсь наверху, меня позовут. Очень жаль, но сопроводить вас я не могу.

— Ну раз вы не хотите пойти с нами, может, откроете двери?

— Но, сеньор, ведь у меня нет ключей. Я же сказал вам, мое место здесь.

Рауль посоветался с друзьями. Всем троим потолок показался еще ниже, а запах гнили еще более гнетущим. Кивнув головой человеку в красной рубашке, они молча повернули назад и до самого бара не произнесли ни слова. Там они заказали себе коньяку. Чудесное солнце светило в иллюминаторы, отражаясь в сверкающей синеве океана. Смакуя первый глоток, Медрано с сожалением подумал о времени, потерянном в недрах парохода. «Разыгрываю из себя Иону, чтобы в конце концов надо мной все стали смеяться»,— подумал он. Ему хотелось поболтать с Клаудией, пройтись по палубе, завалиться в постель, чтобы почитать, покурить. «В самом деле, зачем мы все это принимаем всерьез?» Лопес и Рауль смотрели на океан, и у обоих было такое выражение на лицах, словно они только что выбрались на поверхность после долгого пребывания в душном колодце или в кинотеатре или оторвались от книги, которую нельзя бросить, не дочитав до конца.

XXVII

К вечеру солнечный диск стал медно-красным, подул свежий ветер, который напугал купальщиков и обратил в бегство дам, уже вполне оправившихся после морской болезни.

Сеньор Трехо и доктор Рестелли подробно обсудили положение на пароходе и пришли к заключению, что все складывается удовлетворительно, лишь бы с кормы не проник тиф. Дон Гало придерживался аналогичного мнения, и, возможно, его оптимизм объяснялся тем, что три новоиспеченных друга — они уже успели достаточно сблизиться — расположились на стульях в самом конце носовой палубы, там, где воздух никак не мог быть зараженным. Когда сеньор Трехо спустился к себе в каюту, чтобы взять темные очки, он застал там Фелипе, который принимал душ, перед тем как снова натянуть свои blue-jeans. Подозревая, что он может кое-что выведать у сына о странном поведении молодых людей (от него не укрылся их заговорщический вид и внезапное исчезновение из бара), сеньор Трехо ласково расспросил его и почти сразу же узнал о вылазке в глубь парохода. Хитрый сеньор Трехо не стал допытывать сына отцовскими наставлениями и запретами и, оставив его красоваться перед зеркалом, вернулся на палубу и поведal об услышанном своим новым друзьям. Вот почему, когда полчаса спустя к ним со скучающим видом приблизился Лопес, его встретили весьма сдержанно и дали понять, что на пароходе, как и в любом другом месте, следует придерживаться демократических принципов и что только чрезмерная горячность молодых людей в какой-то мере может служить им некоторым оправданием и прочее, и прочее. Всмотревшись в четкую линию горизонта, Лопес не моргнув глазом выслушал кисло-сладкое нравоучение доктора Рестелли, которого он слишком уважал, чтобы не послать его *ipso facto*¹ к черту. Лопес объяснил, что они ограничились лишь небольшой разведывательной прогулкой, ибо ситуация на пароходе ничуть не прояснилась после разговора со штурманом, и что, хотя их попытка провалилась, именно это еще больше убедило их в том, что страшная эпидемия тифа — совершенный вымысел.

Дон Гало, нахохлившись, точно бойцовый петух, на которого он часто походил, заявил, что только в самых разнузданных умах могут зародиться сомнения в столь ясных и четких разъяснениях штурмана. Затем он поспешил заметить, что, если Лопес со своими друзьями будет и впредь чинить помехи командованию судна и насаждать неповиновение на борту, последствия для всех пассажиров могут оказаться самыми плачевными, что и заставляет его высказать свое неудовольствие. Почти

¹ Тем самым (лат.).

так же думал и сеньор Трехо, однако, не будучи коротко знаком с Лопесом (и чувствуя себя здесь в некотором роде чужаком), он ограничился лишь замечанием, что все пассажиры должны выступать едино, как добрые друзья, советуясь с остальными, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, способные повлиять на их общее положение.

— Послушайте,— сказал Лопес,— мы не узнали ничего нового, устали как черти и в довершение всего упустили возможность поплескаться в бассейне. Может, хоть это вас немного утешит,— добавил он со смехом.

Было глупо затевать спор со стариками, когда предзакатные сумерки приглашали к тишине и покою. Он сделал несколько шагов и замер у форштевня, смотря на игру пенистых красновато-фиолетовых волн. Вечер был безмятежно спокойным и ясным, легкий бриз словно ласкал палубы «Малькольма». Вдалеке, по левому борту, виднелся плюмаж дыма. Лопес с безразличием вспомнил свой дом — дом этот принадлежал сестре и ее мужу, а он имел там лишь несколько комнат; в этот час Рут обычно вносила плетеные кресла в крытый патио, днем их выставляли в сад; Гомара беседовал о политике со своим коллегой Карпио, который исповедовал расплывчатый коммунизм, почерпнутый у китайских поэтов, переведенных сначала на английский, а уж потом на испанский язык издательством «Лаутаро», дети Рут печально дожидались, когда им позволят пойти искупаться. Все это было вчера, все это происходит сегодня там, вдалеке, за этим пурпурно-серебристым горизонтом. «Словно совсем в другом мире», — подумал он, хотя, возможно, через неделю, когда настоящее утратит новизну, воспоминания обретут силу. Вот уже пятнадцать лет, как он живет у Рут, и десять — как преподает. Пятнадцать и десять лет и всего один день в море, рыжеволосая девушка (впрочем, рыжие волосы тут ни при чем), и в миг перечеркнут важный период его жизни, целая треть его жизни стала забытым сновидением. Может, Паула сейчас в баре, а может, в своей каюте вместе с Раулем; в этот час, когда за бортом спускается ночь, так чудесно предаваться любви. Предаваться любви в каюте, которая слегка покачивается, где каждая вещь, каждый запах и каждый луч означают твою удаленность, твою полнейшую свободу. Конечно, они занимаются любовью, не станет же он верить ее сомнительным намекам на какую-то особую независимость. Мужчина не отправится в путешествие с такой красивой женщиной, чтобы толковать с ней о бессмертии крабов. Пусть она пока весело подшучивает над ним, он позволит ей немного поиграть, но

потом... «Ямайка Джон, — с раздражением подумал он. — Нет, не стану я выступать в роли Кристофера Доуна ради тебя, красотка». Хорошо бы запустить руки в эти рыжие волосы, почувствовать, как они текут, словно кровь. «Я что-то много думаю о крови, — сказал он про себя, смотря на алый закат. — Сенакериб Эдемский, вот я кто. А вдруг она еще в баре?» А он здесь зря теряет время... Повернувшись, он быстро зашагал к трапу. Беба Трехо, сидевшая на ступеньках, подвинулась, пропуская его.

— Прекрасный вечер, — сказал Лопес, еще не составивший мнения о ней. — А вас не укачивает?

— Меня? Да что вы! — возразила Беба. — Я даже не принимала таблеток. Меня никогда не укачивает.

— Вот это мне нравится, — сказал Лопес, исчерпав тему разговора.

Беба ожидала совсем другого, ей хотелось, чтобы Лопес остановился немножко поболтать с ней. Помахав на прощание рукой, он удалился, и когда Беба убедилась, что он ее не видит, показала ему язык. Конечно, он дурак, но не такой противный, как Медрано. Больше всех ей нравился Рауль, но до сих пор — какое безобразие — Фелипе и остальные не отпускали его от себя ни на минуту. Он немного походил на Уильяма Холдена, нет, скорее, на Жерара Филипа. Нет, и не на Жерара Филипа. Такой изящный в своих рубашках «фантази» и с трубкой. Эта женщина недостойна такого парня, как он.

Эта женщина сидела за стойкой бара, попивая коктейль с джином.

— Как ваши походы? Уже приготовили черный флаг и абордажные топоры?

— К чему? — сказал Лопес. — Нам, скорее, нужна ацетиленовая горелка, чтобы разрезать задранные двери Стоуна, и словарь на шести языках в придачу, чтобы объясняться с глицидами. А разве Рауль вам не рассказывал?

— Я его не видела. Расскажите вы.

Лопес рассказал все по порядку, слегка подтрунивая над собой и не щадя двух своих спутников. Рассказал он и о благоразумном поведении старичков, и оба одобрительно улыбнулись. Бармен готовил коктейль с джином. В баре сидел один лишь Атилио Пресутти, потягивая пиво и читая «Ла Канчу». Чем занималась Паула весь вечер? Купалась в невероятном бассейне, смотрела на горизонт и читала Франсуазу Саган. Лопес обратил внимание, что она держит в руках тетрадь в зеленой

обложке. Да, иногда она делает заметки или пишет что-нибудь. А что именно? Ну, разные там стихи.

— Вы не хотите говорить об этом, словно это какой-то грех,— сказал Лопес взволнованно.— Что творится с аргентинскими поэтами, чего они стыдятся? У меня есть два друга поэта, один из них очень хороший, и оба поступают, как вы: тетрадка в кармане и таинственный вид персонажа Грэма Грина, за которым гонится Скотланд-ярд.

— О, это не должно никого интересовать,— сказала Паула.— Мы пишем для себя и еще для столь узкого круга, что статистика им вправе пренебречь. Вы же знаете, что сейчас значение той или иной вещи определяется с помощью статистики, таблиц и всего прочего.

— Это неправильно,— сказал Лопес.— Если поэт занимает такую позицию, в первую очередь страдает его поэзия.

— Но если никто ее не читает, Ямайка Джон. Друзья, конечно, исполняют свой долг, но лишь порой поэзия находит читателя, для которого она призыв или призвание. Это уже немало, этого уже достаточно, чтобы творить дальше. Что касается вас, то не утруждайте себя просьбами показать мои писания. Возможно, в один прекрасный день я сама это сделаю. Не кажется ли вам, что так будет лучше?

— Да,— сказал Лопес,— если, конечно, этот день наступит.

— В какой-то степени это будет зависеть от нас обоих. Сейчас я настроена оптимистично, но разве мы можем знать, что нам принесет завтрашний день, как сказала бы сеньора Трехо. Вы видели физиономию сеньоры Трехо?

— Потрясающая дама,— сказал Лопес, не имевший ни малейшего желания говорить о сеньоре Трехо.— Она очень похожа на рисунки Медрано, не нашего друга, а художника. Я только что перекинулся несколькими фразами с ее юной дочерью, которая дожидается прихода ночи на ступеньках трапа. Этой девице здесь будет скучно.

— Здесь и в любом другом месте. Не заставляйте меня вспоминать, какой я была в пятнадцать лет, как часами гляделась в зеркало... сгорала от любопытства, верила в вымыслы и в вымышленные ужасы и наслаждения. Вам нравятся романы Росамонд Леман?

— Да, иногда,— ответил Лопес.— Но куда больше нравиться вы, ваш голос, ваши глаза. Не смейтесь, ваши глаза предо мною, в том нет сомнения. Весь день я думал о цвете ваших волос, даже тогда, когда мы бродили по этим проклятым коридорам. А на что они похожи, когда мокрые?

— На мыльное дерево и на томатный суп. Словом, на какую-то гадость. А я правда вам правлюсь, Ямайка Джон? Не доверяйте первому впечатлению. Расспросите Рауля, он меня хорошо знает. Я пользуюсь дурной славой среди своих знакомых, кажется, я немножко *la belle dame sans merci*¹. Это явное преувеличение, но мне действительно вредит чрезмерная жалость к себе и к прочим смертным. Я оставляю милостыню в каждой протянутой руке, и, кажется, это начинает приносить плохие результаты. О, не беспокойтесь, я не стану поверять вам свою жизнь. Сегодня я уже была слишком откровенна с прекрасной, прекрасной и добрейшей Клаудией. Мне очень нравится Клаудиа, Ямайка Джон. Признайтесь, вам она тоже нравится.

— Да, мне нравится Клаудиа,— сказал Ямайка Джон.— Она душилась такими чудесными духами, и у нее такой очаровательный мальчуган, и все так прекрасно, и этот коктейль... Давайте выпьем еще,— добавил он, кладя свою руку на ее руку, и Паула ее не отдернула.

— Мог бы попросить меня подвинуться,— сказала Беба.— Испачкал своими грязными кедами мою юбку.

Фелипе просвистал мамбо и выскочил на палубу. Он слишком долго грелся на солнце, сидя на краю бассейна, и теперь у него горели плечи и спина, пылало все лицо. Но таковы радости путешествия — вечерний ветерок освежил его. Кроме двух старичков, на палубе никого больше не было. Спрятавшись за вентилятор, Фелипе закурил и с издевкой взглянул на Бебу, неподвижно застывшую на ступеньке трапа. Он сделал несколько шагов, облокотился о поручни борта; океан походил... «*Океан словно огромное зеркало ртути*», этот педик Фрейлих читал стихи под одобрительную улыбочку училки по литературе. Весь обросший волосами, первый ученик в классе, дерьмовый педик Фрейлих. «Я схожу, сеньора, да, сеньора, я это сделаю. Принести вам цветные мелки, сеньора?» И училки, ясное дело, млеют от этого подлизы и ставят ему одни десятки по всем предметам. Слава богу, учителей ему не удавалось так легко провести, многие из них держали его на отдалении, но он все равно ухитрялся получать у них десятки, зубрил все ночи напролет, приходил на утро с синяками под глазами... Но эти синяки были у него не от зубрежки. Дурутти рассказывал, что Фрейлих

¹ «Прекрасная дама, не знающая милосердия» (*франц.*) — название поэмы французского поэта Алена Шартье (1385—1429).

шлялся по центру с каким-то верзилкой, у которого, наверно, было полно монет. Дурутти повстречался с ним однажды в кондитерской на Санта-Фе, и Фрейлих страшно покраснел и сделал вид, что его не узнал... Наверняка этот верзила был любовником Фрейлиха, наверняка... Фелипе прекрасно знал, как делаются такие дела, с того самого праздничного вечера на третьем курсе, когда ставили пьесу и он играл роль мужа. Альфиери в антракте подошел к нему и сказал: «Глянь на Виану, настоящая красотка». Виана учился в третьем «С» и был педиком похлеще Фрейлиха, из тех, которые на переменах дают себя тискать, щупать, с наслаждением возятся и строят довольные рожи, но все же они хорошие ребята, этого у них не отнимешь, добрые, у них всегда в карманах найдутся американские сигареты, булавки для галстуков. В тот раз Виана играл роль девушки в зеленом; ох и здорово же его загримировали. Вот, наверно, наслаждался, когда его мазали. Раза два он даже осмелился прийти в колледж с подкрашенными ресницами, чем вызвал всеобщее веселье, ему кричали фальцетом, обнимали, щипали, давали коленками под зад. Но в тот вечер Виана был счастлив, и Альфиери, смотря на него, повторял: «Глядите, какая красотка, прямо настоящая Софи Лорен». И это говорил бравый Альфиери, строгий надзиратель с пятого курса. Но стоило кому-нибудь зазеваться, и Альфиери уже обнимал его за плечи и с кривой улыбочкой манерно спрашивал: «Тебе нравятся девочки, малец?» — и, закатив глаза, ждал ответа. А когда Виана жадно высматривал кого-то из-за софитов, Альфиери сказал ему, Фелипе: «Обрати внимание, сейчас увидишь, почему он так волнуется», и тут действительно появился какой-то расфуфыренный коротышка в сером костюме, с шелковым шейным платком и золотыми перстнями. Виана поджидал его с улыбочкой и подбоченясь, точно Софи Лорен, а Альфиери продолжал нашептывать: «Это фабрикант, владелец фабрики роялей. Представляешь, какая у него житуха? А тебе бы не хотелось заполучить побольше бумажек и чтоб тебя катали на машине в Тигре и в Мардель-Плата?» Фелипе ничего не ответил, захваченный происходящей сценой: Виана оживленно беседовал с фабрикантом, который, казалось, в чем-то упрекал его. Тогда Виана приподнял юбку и с восхищением посмотрел на свои белые туфли. «Если хочешь, давай пойдем как-нибудь вместе,— сказал Альфиери Фелипе.— Поразвлечемся, я тебя познакомлю с женщинами; они, наверно, тебе уже нужны... а может, тебе больше нравятся мужчины, кто знает», и голос его потонул в шуме молотков, которыми стучали рабочие сцены,

и голосов из зала, где собралась публика. Фелипе как бы певзачай освободился от рук Альфиери, легко обнимавших его за плечи, сказав, что ему надо готовиться к следующей сцене. Он до сих пор помнил, как пахло табаком от Альфиери, его прищуренные глаза, безразличное выражение лица, которое не менялось даже в присутствии ректора и преподавателей. Фелипе не знал, что и думать об Альфиери, иногда он казался ему настоящим мужчиной, особенно когда разговаривал во дворе с пятикурсниками, и Фелипе, крадучись, подбирался к ним и подслушивал. Альфиери рассказывал, как он соблазнил замужнюю женщину, описал в подробностях меблированные комнаты, куда они ходили, как она сначала боялась, что узнает муж, который был адвокатом, а потом три часа вертела задом, и он все повторял и повторял это слово, Альфиери хвастался своим молодечеством, тем, что ни на минуту не давал ей уснуть, но не хотел сделать ей ребенка и поэтому принимал меры предосторожности, а от этого одни неудобства. Фелипе не все понял из его рассказа, но про такое не спрашивают, в один прекрасный день сам все узнаешь, и дело с концом. К счастью, Альфиери не был молчаливником, он часто показывал им соответствующие картинки в книжках, которые он, Фелипе, не осмеливался купить и тем более держать у себя дома,— эта гнида Беба совала всюду нос и рылась во всех ящиках. Его немного сердило и задевало, что Альфиери не первый приставал к нему. Неужели он похож на педика? Ох, и темное это дело. Об Альфиери, например, тоже по виду ничего не скажешь... И сравнить нельзя с Фрейлихом или Вианой, вот уж кто вылитые педики. Два-три раза он наблюдал за Альфиери во время переменок, когда тот приближался к какому-нибудь мальчишке со второго или третьего курса и приставал к нему с теми же ужимками, и всегда это были ребята крепкие, здоровые, бравые, как он сам. Казалось, Альфиери нравились именно такие, а не потаскушки вроде Вианы или Фрейлиха. С удивлением вспоминал он и тот день, когда они очутились вместе в одном автобусе. Альфиери заплатил за обоих, хотя сделал вид, будто не заметил его в очереди. Когда они уселись на задних сиденьях, Альфиери так непринужденно стал рассказывать ему о своей невесте, о том, что они должны были встретиться вечером того же дня, что она учительница и что они поженятся, как только найдут квартиру. Все это говорилось тихим голосом, почти на ухо, и Фелипе слушал с интересом и вниманием, ведь Альфиери был надзирателем, как ни говори, начальством; и вот после паузы, когда разговор про невесту, казалось, был

уже исчерпан, Альфиери вдруг со вздохом добавил: «Да, че, скоро женюсь, но ты не представляешь, как мне нравятся мальчишки»... и снова Фелипе почувствовал желание отодвинуться, отделаться от Альфиери, хотя тот беседовал с ним доверительно, как равный с равным, и, упоминая мальчишек, конечно, не имел в виду таких зрелых мужчин, как Фелипе. Он едва осмеливался украдкой поглядывать на Альфиери и натужно улыбался, словно все, что сообщал Альфиери, было в порядке вещей и он привык к подобным разговорам. С Бианой или Фрейлихом было намного легче: ткнешь под ребра или еще куда, и вся недолга, а Альфиери ведь надзиратель, мужчина за тридцать, и вдобавок еще таскает по мебелированным комнатам жен адвокатов.

«Наверное, у них что-то не в порядке с железками, вот они и такие», — подумал он, бросая окурок. Когда он заглянул в бар и увидел, как Паула болтает с Лопесом, ему стало завидно. Ну что ж, старик Лопес не теряется и обрабатывает рыжуху, интересно, как на это посмотрит Рауль. Вот будет здорово, если Лопес утащит ее в свою каюту и вернет потом потрепанную, как адвокатскую женушку. Все решалось совершенно просто: расставить сети, поймать, схватить и повалить в постель, а Рауль пусть делает что хочет: или поступает, как настоящий мужчина, или ходит рогатый. Фелипе с удовлетворением обдумывал свою схему, где все было ясно и расставлено по своим местам. Не так, как с Альфиери и его вечной двусмыслицей, когда не знаешь, говорит он всерьез или подразумевает что-то совсем другое... Он заметил Рауля и доктора Рестелли, поднимавшихся на палубу, и повернулся к ним спиной. Не хватает еще, чтобы этот тип с английской трубкой испытывал его терпение. Достаточно того, что он заставил его промаяться весь день. Но все равно у них ничего не выгорело, он уже знал от отца о провале их затей. Три здоровых лба не смогли проникнуть на корму и узнать, что там творится.

Его вдруг осенило. Не задумываясь, в два прыжка он спрятался за бухтой каната, чтобы Рауль и Рестелли его не заметили. Таким образом он уклонялся от встречи с Раулем и избегал беседы с Черным Котом, которого, наверное, раздражает отсутствие у Фелипе... как это он говорил в классе?.. культуры (или, может, воспитания?). А, одинаковая дребедень! Когда Фелипе увидел, что они склонились над бортом, он бросился к трапу. Беба посмотрела на него с безграничной жалостью.

— Как маленький ребенок, носится точно угорелый, — проворчала она. — Нас перед людьми позоришь. — Фелипе обер-

пулся на верху трапа и грубо обругал ее. Он забежал в свою каюту, которая располагалась почти рядом с проходом, соединяющим оба коридора, и приник к дверной щелке. Когда он удостоверился, что кругом никого нет, он вышел и подергал дверь в проходе. Она была по-прежнему открыта, трап словно ожидал его. Именно здесь Рауль впервые заговорил с ним на «ты», и теперь это казалось совершенно невероятным. Когда он закрыл за собой дверь, его окутала темнота, и ему показалось, что тут стало еще темней, чем днем, это было удивительно — ведь лампа светила так же. Он потоптался немного посреди трапа, прислушиваясь к шуму внизу: тяжело стучали машины, до него доносился запах масла, битума. Здесь они ходили, вели разговор о фильме про корабль смерти, и Рауль сказал, что этот фильм... А потом выразил сожаление, что Фелипе вынужден терпеть присутствие родителей. Он прекрасно помнил его слова: «Мне было бы очень приятно, если бы ты ехал один». Как будто ему есть дело до того, еду я один или с родными. Дверь слева была открыта, другая, как и раньше, заперта, однако из-за нее доносился какой-то стук. Замерев у двери, Фелипе почувствовал, как что-то потекло по его лицу, и вытер пот рукавом рубахи. Схватив сигарету, он поспешно закурил. Он еще покажет этим трем пройдохам.

XXVIII

— В прошлом месяце окончила пятый курс консерватории, — сказала сеньора Трехо. — С отличием. Теперь будет концерттировать.

Донья Росита и донья Пепа нашли это бесподобным. Донья Пепа тоже когда-то хотела, чтобы Нелли выступала в концертах, но разве эту девчонку уломаешь. И способности у нее есть, с детства пела по памяти все танго и прочие песни и целыми часами могла слушать по радио передачи классической музыки. Но как начались занятия, она, что называется, ни в зуб ногой.

— Верите ли, сеньора, никак не уломаешь. Если только вам рассказать... Но что поделаешь, не хочет учиться, и все.

— Понимаю, сеньора. А вот Беба каждый день сидит по четыре часа за фортепьяно, и, уверяю вас, для нас с мужем это настоящая жертва, ведь от гамм так устаешь, квартира у нас маленькая. Но какая радость, когда наступают экзамены и девочка оканчивает с отличием. Вы ее еще услышите... Возможно, ее попросят что-нибудь исполнить, кажется, в подобных путешествиях артистов приглашают играть. Правда, Беба не

взяла с собой ноты, но зато она знает на память «Полонез» и «Лунный свет», она всегда их исполняет... Не подумайте, что я говорю это как мать, но играет она с таким чувством...

— Классическую музыку надо уметь исполнять,— сказала донья Росита.— Она не то что нынешняя, один грохот, как эти футуристические выкрутасы, что передают по радио. Я тут же говорю супругу: «А ну-ка, Энсо, выключи скорей эту пакость, у меня от нее голова болит». Я считаю, такую музыку надо запретить.

— Нелли говорит, что современная музыка совсем не похожа на прежнюю — на Бетховена и на прочих.

— То же самое говорит и Беба, а она знает в этом толк,— сказала сеньора Трехо.— Теперь развелось слишком много футуристов. Мой супруг дважды писал на радио, чтобы они улучшили свои программы, но давно известно, когда столько любимчиков... Как вы себя чувствуете, деточка? Я вижу, вам нехорошо.

Нора чувствовала себя вполне прилично, однако замечание сеньоры Трехо смутило ее. Войдя в читальный зал, она столкнулась с дамами и не знала, как ей повернуться и уйти в бар. Пришлось подсесть к ним с улыбкой, точно эта встреча чрезвычайно ее обрадовала. Она подумала, а не появилось ли в ее лице что-нибудь такое, что выдает... Да нет, ничего не могло появиться.

— Днем меня немного укачало,— сказала она.— Пустяки, тут же прошло, как только я приняла таблетку драмина. А вы как себя чувствуете?

Дамы, вздыхая, сообщили, что штиль на море позволил им выпить чая с молоком, но если снова поднимется буря, как в полдень... Ах, счастлив тот, кто молод, как она, тогда только и думаешь о развлечениях и не представляешь себе, что такое жизнь. Конечно, когда путешествуешь с таким симпатичным молодым человеком, как Лусио, жизнь представляется в розовом цвете. Она осчастливила его, бедняжка. Ну и отлично. Ни когда не знаешь, что станется потом, а пока есть здоровье...

— Вы, наверное, совсем недавно вышли замуж, да? — сказала сеньора Трехо, внимательно ее рассматривая.

— Да, сеньора,— ответила Нора. Она чувствовала, что вот-вот покраснеет, и не знала, как избежать этого; три дамы продолжали смотреть на нее с приторными улыбочками, сложив пухлые ручки на округлых животах. «Да, сеньора». Она решила притвориться: сильно закашлялась, закрыла лицо руками, и дамы тут же полюбопытствовали, не простудилась ли она, а донья Пепа посоветовала ей сделать растирание. Нора почувствовала всю фальшь этих вопросов и свое бессилие перед ними.

«Плевать на то, что о нас будут думать, мы все равно скоро поженимся,— не раз повторял Лусио.— Это лучшее доказательство твоего доверия ко мне, и потом надо бороться с буржуазными предрассудками»... Но она никак не могла с ними бороться, особенно в такие минуты. «Да, сеньора, совсем недавно».

Донья Росита объясняла, что сырость ей очень вредна и что, если бы не служба мужа, она давно бы попросила его уехать с Исла Масьель.

— У меня ломит все тело, как от ревматизма,— сообщила она сеньоре Трехо, не спускавшей глаз с Норы,— и никто не может меня вылечить. У каких только врачей я ни бывала, ко мне приходил сам Панталеон, знаменитый исцелитель, и все напрасно. А все это от сырости, представьте, она очень вредна для костей, внутри образуется какой-то налет, и, сколько бы вы ни пили пургена и настоя из печеночного гриба, ничего не помогает...

Нора, воспользовавшись паузой, поднялась и посмотрела на ручные часики, словно у нее было неотложное свидание. Донья Пепи и сеньора Трехо переглянулись с понимающей улыбкой. Они понимали, они все понимали... Идите, деточка, вас ждут. Сеньора Трехо немного сожалела, что Нора ушла; она, сразу видно, женщина ее круга, не чета этим бедным сеньорам, добреньким, но таким простушкам, намного ниже ее по положению... Сеньора Трехо начинала подозревать, что у нее в этом путешествии не будет достойного общества, и это беспокоило и огорчало ее. Мать этого карапуза болтала только с мужчинами, сразу видно, какая-то артистка или писательница, ее не интересовали женские темы, она все время курила и разговаривала о непонятных вещах с Медрано и Лопесом. Другая — рыжая девица — была совсем ей несимпатична и, кроме того, слишком молода, чтобы разбираться в жизни и обсуждать серьезные вопросы; вдобавок, она только и думала, как бы покрасоваться в своем неприличном бикини и пофлиртовать с кем угодно, даже с ее Фелипе. Надо будет поговорить об этом с мужем. Не то, чего доброго, Фелипе попадет в лапы этой вамп. Но она тут же вспомнила выражение глаз сеньора Трехо, когда Паула разлеглась загорать на палубе. Нет, не о таком путешествии она мечтала.

Нора отворила дверь в каюту. Она не ожидала увидеть там Лусио, полагая, что он вышел на палубу. Он сидел на краю постели, уставившись в одну точку.

— О чем ты задумался?

Луисио ни о чем не думал, но нахмурил брови, словно его оторвали от глубоких размышлений. Улыбнувшись, он знаком пригласил ее сесть рядом. Нора печально вздохнула. Нет, у нее все в порядке. Да, она была в баре, болтала с дамами. Ну, обо всем понемногу. Она не разомкнула губ, когда Луисио взял ее лицо обеими руками и поцеловал.

— Тебе что, нездоровится, крошка? Наверное, устала...— Он замолчал, боясь, что она поймет это как намек. А почему бы, черт возьми, и не устать. Безусловно, это так же утомляет, как любое другое физическое упражнение. Он тоже немного утомился, но, конечно, не от этого... Перед тем как предаться бездумью, он вспомнил сцену в каюте Рауля: она оставила у него неприятный осадок, теперь ему хотелось, чтобы случилось что-нибудь и он смог бы проявить себя, принять участие в деле, от которого только что отстранился. Нет, все же он поступил правильно. Глупо выдумывать таинственные истории и раздавать огнестрельное оружие. К чему с самого начала портить путешествие? Весь день он горел желанием поговорить с кем-нибудь из них, особенно с Медрано, которого он немного знал до этого и который казался ему самым уравновешенным. Сказать ему, что они полностью могут рассчитывать на него, если дело примет дурной оборот (что мало вероятно), но что ему совсем не нравится самому искать осложнений и лезть на рожон. Ну что за безумцы, разве не лучше сыграть в покер или хотя бы в труко¹.

Снова вздохнув, Нора встала и взяла щетку из своего несесера.

— Нет, я не устала, я чувствую себя прекрасно, — сказала она. — Не знаю, может, просто первый день путешествия... Как-никак, перемена...

— Да, тебе нужно как следует выспаться.

— Конечно.

Она принялась медленно расчесывать волосы. Луисио смотрел на нее и думал: «Теперь я всегда буду видеть, как она причесывается».

— Откуда можно отправить письмо в Буэнос-Айрес?

— Не знаю, думаю, из Пунта-Аренаса. Кажется, там мы сделаем остановку. Ты что, будешь писать домой?

— Да, конечно. Представляешь, как они там беспокоятся... Как я ни уверяла, что отправляюсь в путешествие... Знаешь,

¹ Карточная игра.

матери всегда такое напридумают. Лучше я напишу сестре, а она уж все объяснит маме.

— Надеюсь, ты напишешь, что поехала со мной.

— Да,— ответила Нора.— Все равно они это знают. Одну меня ни за что б не отпустили.

— Вот обрадуется твоя мамаша.

— В конце концов, она должна когда-нибудь это узнать. Меня больше беспокоит отец... Он такой чувствительный, мне не хотелось бы огорчать его.

— Ну вот, опять огорчения,— сказал Лусио.— А какого черта он должен огорчаться? Ты поехала со мной, мы с тобой поженимся, и порядок. К чему столько разговоров об огорчениях? Подумаешь, какая трагедия!

— Я просто так сказала. Папа такой добрый...

— Меня мутит от всех этих сантиментов,— сказал Лусио кисло.— Все шишки на мою голову. Я нарушил покой вашего очага, я лишил сна твоих разлюбезных родителей.

— Ну пожалуйста, Лусио, не надо,— сказала Нора.— Ты тут ни при чем. Я сама на это решилась.

— Да, но они как раз этого и не учитывают. В их глазах я всегда буду Дон-Жуаном, который испортил ужин и игру в лото, черт побери!

Нора ничего не ответила. Свет на секунду померк. Лусио открыл иллюминатор, потом медленно прошелся по каюте, заложив руки за спину. Наконец приблизился к Норе и поцеловал ее в шею.

— Вечно из-за тебя я говорю какие-то глупости. Я знаю, все уладится, но не пойму, что сегодня со мной творится, все вижу как-то... В самом деле, у нас не было другого выхода, раз мы собрались пожениться. Или ехать вместе, или твоя мамаша устроила бы нам грандиозный скандал. Первое лучше.

— И все же мы могли бы пожениться раньше,— сказала Нора прерывающимся голосом.

— Раньше? Когда? Вчера? Зачем?

— Это я так сказала.

Лусио вздохнул и снова уселся на край постели.

— Ах да, я совсем забыл, что сеньорита — добрая католичка,— сказал он.— Конечно, мы могли бы пожениться и вчера, но это было бы глупо. Только для того, чтобы у меня в кармане пиджака лежало удостоверение, и все. Ты же знаешь, что я не собираюсь венчаться в церкви ни теперь, ни потом. Гражданским браком — когда хочешь, но избавь меня от этих черных

ворон. Я тоже помню о своем старике, дорогая, хотя он давно умер. И если ты социалист, это тоже к чему-то обязывает.

— Ладно, Лусио. Я никогда не просила тебя венчаться в церкви. Я только говорила...

— Ты говорила то же, что и все. Девушки страшно боятся, что их сразу же бросят, как только с ними переспят. Да не смотри на меня так. Мы ведь с тобой спали, верно? Не стоя же этим занимались,— он закрыл глаза, чувствуя себя несчастным, оплеванным.— Не заставляй меня говорить грубости, крошка. Подумай, я тебе верю и не хочу, чтобы все пошло прахом, чтобы ты оказалась, как все... Помнишь, я как-то рассказывал тебе о Марии Эстер. Я не хочу, чтобы ты была, как она, потому что тогда...

Нора должна была понять, что тогда он бросит ее, как Марию Эстер. Она все прекрасно поняла, но ничего не ответила. Перед ней, как застывшая улыбающаяся маска, стояло лицо сеньоры Трехо. А Лусио говорил и говорил, все больше возбуждаясь, и она начинала понимать, что горячится он не из-за их разговора, а из-за чего-то другого, что произошло раньше. Она убрала щетку в несессер и, сев рядом с Лусио, положила голову ему на плечо и нежно потерлась. Лусио что-то пробурчал, но уже удовлетворенно. Постепенно лица их сблизились, губы соединились. Лусио ласково гладил ее по спине, Нора держала руки на коленях и улыбалась. Он резко привлек ее к себе, обхватив за талию, и стал осторожно опрокидывать на постель. Смеясь, она упиралась. Лицо Лусио наклонилось так близко, что Нора едва различила его глаз, переносье.

— Глупышка, маленькая глупышка. Хитруля моя.

Она чувствовала, как его рука скользит по ее телу. И с каким-то радостным удивлением подумала, что уже почти не испытывает страха перед Лусио. Решиться на это ей было еще нелегко, но страха она уже не испытывала. Венчаться в церкви... Она сопротивлялась, прятала пылающее от стыда лицо, но его ласки несли с собой избавление, пробуждали страсть, перед которой рушились все запреты. Нет, так нехорошо, нехорошо. Нет, Лусио, нет, так не надо. Всклипнув, она закрыла глаза.

А в это время Хорхе сыграл е4, и Персио после долгого раздумья ответил Ке7. Безжалостный Хорхе обрушил Фа1, и Персио мог ответить только Крг4. Когда белые внезапно пошли Фг5, черные дрогнули и растерялись («Нептун, я погибаю»,—

подумал Персио), но удачно отступили g6. После короткой паузы Хорхе, торжественно хмыкнув, сделал выпад Фg4 и с издевкой посмотрел на Персио. Когда последовал ответ Ке4, Хорхе ничего не оставалось, как двинуть Фс5 и объявить мат на двадцать пятом ходу.

— Бедный Персио,— великодушно сказал Хорхе.— Ты в самом начале зевнул, и потом ничто не могло спасти тебя от поражения.

— Знаменательно,— сказал доктор Рестелли, который присутствовал с начала шахматной партии.— Защита Нимцовича весьма знаменательна.

Хорхе посмотрел на него исподлобья, а Персио стал поспешно собирать фигуры. Вдали раздались приглушенные удары гонга.

— Этот ребенок выдающийся игрок,— сказал доктор Рестелли.— И я в меру моих скромных возможностей с величайшим удовольствием сыграл бы с вами, сеньор Персио, когда вам будет угодно.

— Будьте осторожны с Персио,— предупредил его Хорхе.— Он почти всегда проигрывает, но это еще ничего не значит.

Зажав в зубах сигарету, он рывком открыл дверь. В первое мгновение ему показалось, что там было два матроса, но неясный предмет в глубине помещения оказался парусиновым плащом, висевшим на вешалке. Толстобрюхий матрос колотил по ремню деревянным молотком. Голубая змея, вытатуированная на его руке, ритмично двигалась вверх и вниз.

Не прекращая стучать (и какого черта этот медведь колотил по ремню?), он смотрел на Фелипе, который затворил за собой дверь и в свою очередь уставился на матроса, не вынимая изо рта сигареты и рук из карманов своих джинсов. Так они испытующе смотрели друг на друга некоторое время. Змея подскочила в последний раз, раздался глухой удар молотка о ремень (не иначе матрос размягчает его, чтобы перетянуть свой огромный живот), и затем опустилась, замерев у края столешницы.

— Привет,— сказал Фелипе. Дым от сигареты ел глаза, и, поспешно вынув ее изо рта, он чихнул. На миг все вокруг стало мутно-расплывчатым из-за выступивших слез. Дерьмовые сигареты, и когда только он научится курить их, не вынимая изо рта.

Матрос продолжал смотреть на Фелипе с ухмылкой на толстых губах. Казалось, его забавляло, что Фелипе плачет от си-

гаретного дыма. Медленно, с почти женской аккуратностью он стал свертывать ремень; его огромные лапищи двигались, точно мохнатые пауки.

— Hasdala,— сказал матрос.

— Привет,— несмело повторил Фелипе, с которого уже слетела вся решимость. Он сделал шаг вперед и посмотрел на инструменты, лежавшие на рабочем столе.— Вы всегда здесь... занимаетесь этим?

— Sa,— ответил матрос, связывая свой ремень с другим, более тонким.— Присаживайся, если хочешь.

— Спасибо,— поблагодарил Фелипе, отмечая про себя, что матрос говорит с ним по-испански гораздо вразумительнее, чем днем.— Вы финны? — спросил он, пытаясь завязать разговор.

— Финны? С какой стати финны? У нас тут всякой твари по паре, но финнов нет.

Свет двух ламп, прикрепленных к плоскому потолку, резко бил в глаза. Сидя на краю скамьи, Фелипе чувствовал себя очень неловко, не зная, что сказать, а матрос еще старательней продолжал связывать ремни. Затем принялся убирать шила, плоскогубцы, кусачки. То и дело поднимая глаза, он смотрел на Фелипе, который чувствовал, как сигарета между его пальцами все уменьшается.

— Ты же знаешь, что нельзя приходить сюда, в это место,— сказал матрос.— Ты плохо делаешь, что приходишь.

— Ха, подумаешь,— ответил Фелипе.— А может, мне захотелось спуститься сюда, чтобы немного поболтать с вами... Там у нас, знаете, какая скучища.

— Может быть, но ты не должен приходить сюда. Теперь-то, раз пришел, оставайся. Орфа не будет долго, и никто ничего не узнает.

— Еще лучше,— сказал Фелипе, не слишком понимая, какая опасность в том, что кто-то про него узнает. Осмелев, он прислонил скамейку к стене, чтобы можно было опереться спиной, и, закинув ногу за ногу, глубоко затаился. Ему начало нравиться это приключение и хотелось его продолжить.

— Откровенно говоря, я пришел потолковать с вами,— сказал он. («Какого черта этот матрос мне тыкает, а я никак?..») — К чему вы развели такую таинственность?

— Никакой таинственности нет,— сказал матрос.

— А почему тогда нас не пускают на корму?

— Мне так приказали, и я исполняю. А зачем тебе туда ходить? Там ничего нет.

— Хочется посмотреть,— сказал Фелипе.

— Там ты ничего не увидишь, парень. Посиди здесь, раз уж пришел. Отсюда не пройдешь.

— Не пройду? А вот эта дверь?

— Если сунешься в эту дверь,— с улыбкой сказал матрос,— я проломлю тебе башку, как кокосовый орех. А у тебя красивая башка, не хотелось бы ломать ее, как кокосовый орех.

Он говорил медленно, выбирая слова. Фелипе сразу почувствовал, что матрос не шутит и что ему лучше оставаться на месте. В то же время ему нравилось, как держится матрос, как он улыбался, когда говорил, что проломит ему череп. Он достал пачку сигарет и предложил закурить. Матрос покачал головой.

— Это табак для женщин,— сказал он.— Вот покуришь моего, морского табачку, тогда узнаешь.

Татуированная змея исчезла в одном из карманов и возвратилась с кисетом из черной материи и книжечкой папиросной бумаги. Фелипе отрицательно мотнул головой, но матрос оторвал листок бумаги и протянул ему, а затем оторвал другой для себя.

— Я тебе покажу, и ты поймешь. Будешь делать, как я, присмотришься и делай так же. Вот так насыпается...— мохнатые пауки ловко скрутили кусочек папиросной бумаги, потом матрос провел рукой у рта, словно играя на губной гармошке, и в его пальцах оказалась настоящая сигарета.

— Гляди, это просто. Нет, не так, так уронишь. Ладно, кури эту, а я сделаю себе другую.

Сунув сигарету в рот, Фелипе почувствовал влагу чужой слюны и чуть было не сплюнул. Матрос смотрел на него, смотрел упорно и улыбался. Затем принялся свертывать себе сигарету; достал огромную почерневшую зажигалку. Клубы густого едкого дыма обволокли Фелипе, и он кивнул, благодаря за огонек.

— Ты не очень затягивайся,— сказал матрос.— Для тебя он немного крепковат. Сейчас узнаешь, как он хорош с ромом.

Из жестяной коробки, стоявшей под столом, он достал бутылку и три оловянных стаканчика. Голубая змея наполнила два стаканчика и один из них передала Фелипе. Матрос подсел к нему на скамью и поднял стаканчик.

— Here's to you¹, парень. Смотри, не пей все сразу.

— Хм, очень хороший,— сказал Фелипе.— Наверняка с Антильских островов.

¹ За твоё здоровье (англ.).

— Конечно. Значит, тебе нравится и мой ром и мой табак? А как тебя зовут, парень?

— Трехо.

— Трехо, да. Но это же не имя, это фамилия.

— Конечно, фамилия. Меня зовут Фелипе.

— Фелипе. Хорошо. А сколько тебе лет, парень?

— Восемнадцать, — соврал Фелипе, пряча рот в стаканчике. — А вас как зовут?

— Боб, — ответил матрос. — Можешь называть меня Бобом, хотя на самом деле у меня другое имя, но оно мне не нравится.

— Все равно, скажите. Я же сказал вам свое настоящее.

— О, тебе оно тоже покажется очень некрасивым. Представь себе, что меня зовут Рэдклифф или как-нибудь в этом роде, и тебе сразу не понравится. Лучше Боб, парень. Неге's to you.

— Prosit, — сказал Фелипе, и они снова выпили. — А здесь, правда, здорово.

— Конечно.

— А у вас много работы?

— Да, хватает. Тебе больше не стоит пить, парень.

— Почему? — спросил Фелипе, хорохорясь. — Вот еще, не пить, когда я только во вкус вхожу. Вы вот лучше скажите, Боб... Отменный табачок и ром тоже... С какой стати я не должен его пить?

Матрос отобрал у Фелипе стаканчик и поставил его на стол.

— Ты славный парень, но тебе ведь надо возвращаться наверх, а если ты выпьешь лишнее, все сразу заметят.

— Я могу сколько угодно пить в баре.

— Хм, у тамошнего бармена таким не разживешься, — пошутил Боб. — Да и твоя мамаша, наверное, где-то неподалеку прогуливается... — Казалось, ему доставляло удовольствие видеть глаза Фелипе, краску стыда, вдруг залившую его лицо. — Ладно, парень, будем друзьями. Боб и Фелипе — друзья.

— Ладно, — сумрачно согласился Фелипе. — Сменим пластинку, и дело с концом. А эта дверь?

— Забудь об этой двери, Фелипе, и не сердись, — ласково сказал матрос. — Когда придешь опять?

— А зачем мне опять приходиться?

— Ну, чтоб покурить, выпить со мной рома и поболтать в моей каюте, — сказал Боб. — Там нам никто не помешает. А сюда в любую минуту может прийти Орф.

— А где ваша каюта? — спросил Фелипе, прищуривая глаза.

— Вон там,— указал Боб на запертую дверь.— Коридорчик ведет прямо ко мне в каюту, а она как раз у самого люка на корму.

XXIX

Звук гонга оторвал его от романа Мигеля Анхеля Астуриаса, и Медрано, захлопнув книгу и потянувшись в постели, спросил себя, стоит ли ему идти ужинать. Свет в изголовье приглашал продолжать чтение, тем более что ему нравились «Маисовые люди». В какой-то степени книга позволяла на время уйти от окружающей действительности, как бы вновь возвратиться в привычную атмосферу кабинета в Буэнос-Айресе, где он начал ее читать. Словно он перенес сюда свой дом, но его не вдохновляла мысль укрыться *ex professo*¹ за романом и забыть о том, что, как это ни абсурдно, в ящичке комода на расстоянии вытянутой руки лежит «смит-вессон» тридцать восьмого калибра. Этот револьвер как бы олицетворял для него иной мир: «Малькольм», его пассажиров, дневную неразбериху. Приятное покачивание, скупое мужественное убранство каюты были дополнительными союзниками книги. Лишь что-нибудь из ряда вон выходящее — галопом скачущий по коридору конь или запах ладана — могло бы заставить его подняться с кровати. «Мне слишком хорошо и приятно, чтобы беспокоиться»,— подумал он, вспоминая выражение лиц Лопеса и Рауля, когда они возвратились после неудачной дневной вылазки. Возможно, Лусио и прав, глупо играть в детективов. Но доводы Лусио не убеждали; для него сейчас самым важным была жена. Всех, в том числе и самого Медрано, страшно раздражала эта дешевая таинственность, эти нагромождения лжи. Однако еще более возмущала мысль, когда он с трудом отрывался от книги, что, не будь у них всех этих удобств, они бы действовали энергичней и решительней и давно покончили бы со своими сомнениями. Капуанская нега и прочее. Только более строгая, на скандинавский лад, в отделке из кедра и ясеня всех тонов и оттенков. Вероятно, Лопес и Рауль предложат новый план действий, а может, он сделает это сам, когда ему наскучит сидеть в баре, но любой их шаг так и останется игрой, нелепым притязанием. Наверное, куда благоразумней последовать примеру Персио и Хорхе, попросить шахматные доски и приятно провести время. А что корма? В конце концов, корма и есть корма. И слово-то

¹ *Здесь: умышленно (лат.).*

какое дурацкое, напоминает о пище для скота. Корма. Идиотизм.

Он достал темный костюм и галстук, который подарила ему Беттина. Читая «Маисовых людей», он несколько раз вспоминал о ней, Беттине не нравился поэтический стиль Астуриаса, аллитерации и нарочито таинственный слог. До сих пор его несколько не тревожили воспоминания о Беттине: слишком он был занят посадкой на пароход и мелкими неурядицами, чтобы думать о недавнем прошлом. Нет ничего лучше «Малькольма» и его пассажиров. Да здравствует корма-кормушка, Астуриас-болтушка (он рассмеялся, подыскивая еще рифмы: игрушка, мушка). Буэнос-Айрес мог подождать. У него еще будет достаточно времени, чтобы вспоминать о Беттине — о ней самой, о связанной с ней проблеме. Да, это была проблема, и ему придется проанализировать ее, как он любит: в темноте, в постели, заложив руки за голову. Так или иначе эти колебания (читать Астуриаса или идти ужинать; а если ужинать, то надевать ли галстук, подаренный Беттиной, ergo¹, сама Беттина, ergo, докука) воспринимались как предварительное завершение анализа. А может, это все от качки, от прокуренного воздуха в каюте. Не впервые он уходил от женщины, а одна ушла от него (чтобы выйти замуж в Бразилии). Нелепо, но корма парохода и Беттина представлялись ему сейчас чем-то похожими друг на друга. Надо будет спросить у Клаудии, что она думает по этому поводу. Ну нет, с какой стати он станет обращаться к третьей-скому суду, да еще по вопросам долга. Разумеется, он не обязан рассказывать Клаудии о Беттине. Обычная болтовня во время путешествия: поговорили, и все. Корма и Беттина, как глупо, но у него почему-то сосало под ложечкой. Подумаешь, Беттина, да она, наверное, уже развила бурную деятельность, чтобы не потерять вечер в «Эмбасси»². И все же она поплакала.

Медрано раздраженно дернул галстук. У него никак не выходил узел, этот галстук всегда сопротивлялся. Уж такова психология галстуков. Ему припомнился роман, в котором обезумевший лакей кромсает ножницами все галстуки хозяина. Комната, заваленная обрезками галстуков, настоящее галстучное побоище. Он выбрал другой галстук, скромного серого цвета, из которого легко получался прекрасный узел. Наверняка она плакала, все женщины плачут и по менее значительному по-

¹ Следовательно (*лат.*).

² Театр в Буэнос-Айресе.

воду. Он представил, как она открывает ящики комода, достает фотографии, жалуется по телефону своим подружкам. Все было предусмотрено заранее, все так и должно было случиться. Точно так же, наверное, поступала и Клаудиа, когда разошлась с Левбаумом, да и все женщины. «Все, все», — повторял он, словно желая обобщить этот жалкий случай в Буэнос-Айресе, добавить еще одну каплю в море. «Но, в конце концов, это трусость», — услышал он внутренний голос и не понял, что было трусостью — эта капля в море или сам по себе разрыв с Беттиной. Ну что ж, чуть больше или чуть меньше поплачут в этом жестоком мире... Да, но быть причиной слез. Все это не имеет никакого значения, Беттина наверняка уже разгуливает по Санта-Фе и делает прическу у Марсели. Какое ему дело до Беттины; и при чем здесь Беттина, сама Беттина, и запрет проходить на корму, тиф 224. А тут еще эта сосущая боль под ложечкой, и все же он улыбался, когда открыл дверь и вышел в коридор, проведя рукой по волосам, улыбался, как человек, совершающий приятное открытие, стоящий на пороге этого открытия, явственно различающий свою цель и довольный своими достижениями. Он обещал себе снова вернуться к этому вопросу, посвятить начало ночи более подробным размышлениям. Возможно, Беттина тут совсем ни при чем, просто Клаудиа слишком много рассказывала ему о себе, рассказывала без улыбки о том, что все еще влюблена в Леона Левбаума. Но какое дело ему до всего этого, хотя Клаудиа наверняка тоже плачет по ночам, вспоминая о Леоне.

Он оставил Пушка объяснять доктору Рестелли, почему «Бока юниорс» не могла не проиграть на чемпионате, и решил пойти к себе переодеться. Предвкушая удовольствие, он представил, какие туалеты увидит этим вечером в столовой; вероятно, бедняга Атилио явится без пиджака, и метрдотель скорчит рожу, какая бывает у прислуги, когда она со смешанным чувством радости и возмущения наблюдает за падением хозяйских нравов. Но вдруг, словно что-то толкнуло его, вернулся и вступил в общий разговор. Укротив спортивные страсти Пушка, нашедшего в докторе Рестелли умеренного, но стойкого защитника «Феррокариль Оэсте», Рауль, словно невзначай, заметил, что пора готовиться к ужину.

— Вообще-то слишком жарко, чтобы одеваться, — сказал он, — однако будем уважать морские традиции.

— Как так одеваться? — недоуменно спросил Пушок.

— Я хочу сказать, что следует повязать галстук и надеть пиджак,— сказал Рауль.— И сделать все это, конечно, только ради дам.

Он оставил Пупка погруженным в размышления и поднялся по трапу. Рауль не был уверен, что поступил правильно: но последнее время он вообще ставил под сомнение почти все свои поступки. Если Атилио появится в столовой в полосатой майке, его дело, метрдотель или кто-нибудь из пассажиров все равно дадут ему понять, что это неприлично, и бедному малому придется худо, если только он не пошлет всех к черту. «Я действую из чисто эстетических соображений,— снова подумал Рауль насмешливо,— но стараюсь оправдать их с социальной точки зрения. Меня раздражает все, что выбивается из ритма, все, что вносит беспорядок. Майка этого несчастного малого испортила бы мне *potage Hublet aux asperges*¹. А освещение в столовой весьма неважное...» Уже взявшись за ручку двери, он посмотрел в сторону прохода, соединяющего два коридора. Фелипе внезапно остановился, чуть не потеряв равновесие. Он был явно смущен и, казалось, не узнал Рауля.

— Привет,— сказал Рауль.— Что-то я не видел тебя весь день.

— Дело в том... Вот идиот, перепутал коридоры. Моя каюта в другой стороне,— сказал Фелипе, медленно поворачиваясь. Свет упал ему в лицо.

— Похоже, ты перегрелся на солнце,— сказал Рауль.

— Ха, ничего подобного,— ответил Фелипе, стараясь говорить сердитым тоном, но это плохо ему удавалось.— В клубе я всегда торчу в бассейне.

— Но в твоём клубе воздух не такой, как в открытом море. Ты хорошо себя чувствуешь?

Рауль подошел к Фелипе и дружески заглянул ему в лицо. «И чего он ко мне прицепился»,— подумал Фелипе, но ему было приятно, что Рауль снова ласково заговорил с ним после того, как поступил с ним так некрасиво. Он утвердительно кивнул и снова повернулся к переходу, но Рауль не хотел его отпустить.

— Я уверен, у тебя нет никакого средства от ожогов, разве у твоей мамы... Зайди на минутку, я тебе кое-что дам, помажешься перед сном.

— Не беспокойтесь,— сказал Фелипе, прислонясь плечом к

¹ Суп со спаржей (*франц.*).

переборке,— кажется, у Бебы есть саполан или какая-то другая гадость.

— Все равно возьми,— настаивал Рауль, отступая, чтобы отворить дверь своей каюты. Он увидел, что Паулы не было, но она оставила свет зажженным.— У меня для тебя есть еще кое-что. Зайди на минутку.

Фелипе, казалось, решил остаться в дверях. Рауль, роясь в несессере, знаком пригласил его войти. Внезапно он понял, что не знает, как побороть эту враждебность обиженного щенка. «Я сам виноват,— подумал он, копаясь в ящичке с носками и носовыми платками.— Как он переживает, боже мой». Выпрямляясь, он снова кивнул Фелипе. Фелипе сделал несколько шагов, и только тут Рауль заметил, что он немного качается.

— Я так и подумал, что тебе нехорошо,— сказал Рауль, подвигая ему кресло. Ударом ноги он захлопнул дверь. Потом, понюхав воздух, вдруг расхохотался.

— Так, значит, это солнце из бутылки. А я-то думал, ты в самом деле перегрелся... Но что это за табак? И что за вино? От тебя ужасно разит.

— Подумаешь! — пробормотал Фелипе, борясь с подступающей тошнотой.— Выпил рюмку и выкурил... что тут такого...

— Ну, разумеется,— сказал Рауль.— У меня нет ни малейшего намерения упрекать тебя. Но, знаешь, смесь солнца с таким вином и таким табаком немного опасна. Я мог бы рассказать тебе...

Однако рассказывать ему совсем не хотелось, он предпочитал рассматривать Фелипе, который, побледнев, напряженно глядел в сторону иллюминатора. На миг воцарилось молчание, которое показалось Раулю долгим и полным, а Фелипе — водоворотом красных и синих точек, танцующих перед его глазами.

— Возьми этот крем,— сказал наконец Рауль, вложив ему в руку тубик.— У тебя, наверно, вся спина обгорела.

Фелипе машинально расстегнул рубашку и оглядел себя. Тошнота проходила, и вместо нее росло злорадное желание промолчать, ничего не сказать о Бобе, о встрече с ним и стакане рома. Ему, только ему принадлежала заслуга в... Фелипе показалось, что губы Рауля чуть дрогнули, и он с удивлением посмотрел на него. Рауль, улыбнувшись, выпрямился.

— Думаю, после этого ты будешь спать спокойно. А теперь бери то, что я обещал. Я всегда выполняю обещанное.

Фелипе взял трубку дрожащими руками. Никогда еще он не видел такой красивой трубки. Рауль, стоя к нему спиной, доставал что-то из кармана пиджака, висевшего в шкафу.

— Английский табак,— сказал он, протягивая ярко раскрашенную коробку.— Не знаю, найдется ли у меня еще одна прочищалка, но можешь взять мою, когда тебе понадобится. Ну, нравится?

— Да, конечно,— сказал Фелипе, восхищенно разглядывая подарок.— Но вы не должны были бы дарить мне такую трубку, слишком она хорошая.

— Именно поэтому я и дарю,— сказал Рауль.— И чтобы ты скорей простил меня.

— Вас...

— Видишь ли, я и сам не знаю, почему так поступил. Мне показалось, что ты еще слишком молод, чтобы участвовать в таком деле. А потом я подумал и пожалел. Ты уж извини меня, Фелипе, и давай будем друзьями.

Тошнота снова медленно подкатывала к горлу, холодный пот выступил на лбу. Фелипе спрятал трубку и табак в карман и, покачнувшись, с усилием выпрямился. Рауль поддержал его.

— Мне... мне надо бы на минутку в туалет...— пробормотал Фелипе.

— Да, конечно,— ответил Рауль, поспешно открывая дверь. Затворив дверь, он сделал несколько шагов по каюте. Послышалось журчание воды в умывальнике. Рауль приблизился к двери в ванную и взялся за ручку. «Бедняжка, чего доброго, ударится головой»,— подумал он, но понял, что жлет самому себе, и прикусил губу. Если он откроет дверь и увидит его... Нет, Фелипе никогда не простит ему такого унижения, разве только... «Нет, еще рано, еще рано», его, наверное, тошнит, пусть лучше остается один, только бы не потерял сознания и не ударился. Ничего он не ударится, глупо лгать самому себе, искать предлога. «А трубка ему очень понравилась,— подумал он, снова принимаясь кружить по каюте.— Но теперь ему станет стыдно, что пришлось идти в мой туалет... И от жгучего стыда он меня всего исцарапает, разве только трубка, только трубка...»

Буэнос-Айрес был обозначен красной точкой, от которой почти параллельно линии побережья тянулась широкая голубая полоса. Входя в столовую, пассажиры могли оценить четкость географической карты, украшенной эмблемой «Маджента стар», где отмечался путь, пройденный «Малькольмом» за день. Улыбаясь со сдержанной гордостью, бармен признался, что нанесение маршрута парохода на карту входит в его обязанности.

— А кто вам сообщает данные? — спросил дон Гало.

— Мне их дает старший офицер,— объяснил бармен.— В молодости я был чертежником и в свободные минуты люблю поработать циркулем и угольником.

Дон Гало сделал знак шоферу, чтобы тот увез кресло-каталку, и исподлобья оглядел бармена.

— А как обстоят дела с тифом? — спросил он в упор.

Бармен заморгал. Но тут появилась безупречная фигура метрдотеля. И сладенькая улыбочка обласкала по очереди всех пассажиров.

— По-видимому, все идет хорошо, сеньор Порриньо,— сказал метрдотель.— По крайней мере я не получал никаких тревожных известий. Ступай в бар,— сказал он своему подчиненному, заметив его желание поторчать в столовой.— Посмотрим, сеньор Порриньо, как вам понравится для начала *potage champenois*¹. Он очень вкусный.

Сеньор Трехо с супругой уселись вместе с Бебой, вырядившейся в платье, недостаточно открытое, на ее взгляд. Вошедший следом за ними Рауль подсел к Пауле и Лопесу, которые при его приближении одновременно подняли головы и улыбнулись с отсутствующим видом. Семейство Трехо, пренебрегая изучением меню, принялось обсуждать новость о внезапном недомогании Фелипе. Сеньора Трехо была очень благодарна сеньору Косте, который любезно помог Фелипе, проводил его до каюты и вдобавок послал Бебу предупредить родителей. Фелипе сразу же заснул, но сеньору Трехо не переставала волновать причина этой неожиданной болезни.

— Просто перегрелся на солнце, дорогая,— уверял сеньор Трехо.— Весь день проторчал на палубе и теперь похож на вареного рака. Ты не видела, но когда я снимал с него рубаху... Счастье еще, что у этого молодого человека оказался крем, по-видимому очень хороший.

— Ты забыл, что от него ужасно разило виски,— заметила Беба, читая меню.— Этот мальчишка делает все, что ему вздумается.

— Виски? Не может быть,— сказал сеньор Трехо.— Наверное, выпил где-нибудь пивка, и все.

— Тебе надо будет обязательно поговорить с буфетчиком,— сказала сеньора Трехо.— Пусть ему не подают ничего, кроме лимонада и воды. Он еще слишком мал, чтобы распорядиться собою.

— Если вы думаете, что вам удастся его приструнить, то

¹ Грибной суп (*франц.*).

глубоко ошибаетесь,— сказала Беба.— Слишком поздно. Со мной одни строгости, а ему...

— Прекрати, пожалуйста.

— Ну? Что я говорила? Прими я дорогой подарок от какого-нибудь пассажира, что бы вы сказали? Учинили бы дикий скандал. А вот он может преспокойно делать все, что ему заблагорассудится! Надоело! И почему я не родилась мужчиной...

— Подарки? — изумился сеньор Трехо.— Какие еще подарки?

— Никакие,— отрезала Беба.

— Нет, говори, дочка, говори. Раз начала, говори. В самом деле, Освальдо, я хотела поговорить с тобой о Фелипе. Эта девица, ну эта... в бикини, ты знаешь.

— В бикини? — сказал сеньор Трехо.— А-а, эта рыженькая девушка.

— Да, эта самая девушка весь день строила глазки нашему малышу, и если ты не заметил, то я мать, у меня на такие вещи чутье, сердце подсказывает. Ты не встревай, Беба, ты еще маленькая и не понимаешь, о чем мы толкуем. Ох эти дети, одно мученье.

— Строила глазки Фелипе? — сказала Беба.— Да не смени меня, мама. Неужели ты думаешь, что такая женщина станет терять время на этого соплика? («Вот если бы он меня слышал,— подумала Беба,— позеленел бы от злости».)

— Да, а какой такой подарок? — внезапно заинтересовавшись, спросил сеньор Трехо.

— Трубка, коробка табака и что-то еще,— сказала Беба с безразличным видом.— Наверняка стоит уйму денег.

Супруги Трехо понимающе переглянулись, и сеньор Трехо посмотрел в сторону второго столика. Беба исподтишка наблюдала за ними.

— Этот сеньор в самом деле очень любезен,— сказала сеньора Трехо.— Ты должен поблагодарить его, Освальдо, и сказать, чтобы он не баловал нашего малыша. Он принял такое живое участие, заметив, что бедняжке неможется.

Сеньор Трехо ничего не сказал, но подумал о материнском чутье. Возмущенная Беба считала, что Фелипе непременно должен вернуть подарок. Но тут подали *langue jardinière*¹.

Когда группа Пресутти полунахально, полуробко появилась в столовой, приветливо кивая сидящим за столиками, украдкой

¹ Язык с гарниром (*франц.*).

поглядывая в зеркало и оживленно переговариваясь громким шепотом (особенно донья Росита и донья Пепа), Пауле вдруг стало нестерпимо смешно, и она посмотрела на Рауля с выражением, которое напомнило ему о ночах, проведенных в фойе столичных театров или в загородных салонах, куда они забирались развлекаться самым непотребным образом за счет поэтов и добропорядочных сеньоров. Он ожидал от Паулы меткого и колкого замечания, которыми ей так блестяще удавалось определить любую ситуацию. Но Паула ничего не сказала, почувствовав вдруг на себе пристальный взгляд Лопеса; у нее сразу пропало всякое желание каламбурить, хотя острота уже вертелась на языке. Во взгляде Лопеса не было ни печали, ни страстного чувства, скорее, спокойное любопытство, и Паула ощутила, как бы смотря на себя со стороны, что снова становится собой. Она подумала, что в конце концов остается Паулой — притчей во языцех, развратным и злым существом, но взгляд Лопеса словно придавал ей иную форму, лишённую сложности, где софизмы и фривольность были неуместны. Перейти от Лопеса к Раулю с его умным чувственным лицом было все равно, что вернуться из сегодня во вчера, от искушения быть откровенной к соблюдению заведомо ложных внешних приличий. Но если не исчезнет это подобие дружеского осуждения, которое она начинала замечать в глазах Лопеса (бедняга, он даже не подозревал, какую роль играет), путешествие может превратиться в жалкий и ничтожный кошмар. Ей нравился Лопес, нравилось, что его зовут Карлос, ей не было противно прикосновение его рук; правда, он не слишком интересовал ее, обычный портеньо, ничем не отличавшийся от ее многочисленных друзей, скорее воспитанный, чем образованный, скорее восторженный, чем влюбленный. В нем чувствовалась чистота, и это наводило на нее тоску. Эта чистота отнимала всякое желание злорадно поострить, разбирая в подробностях туалеты невесты Атилио Пресутти, и посмеяться над аляповатым пиджаком Пушки. Не то чтобы в его присутствии она не решалась делать язвительные замечания насчет остальных пассажиров, он сам с легкой усмешкой рассматривал пластмассовое ожерелье доньи Пепы и наблюдал за стараниями Атилио донести ложку до рта. Но в этом было что-то совсем другое, какая-то чистота помыслов. Шутки были просто шутками, а не ядовитым оружием. Да, будет невыносимо скучно, если только Рауль не бросится в контратаку и не восстановит равновесие. Паула превосходно знала, что Рауль быстро учует, чем запахло в воздухе, и, возможно, придет в ярость. Однажды он уже вызволял ее из-под

весьма дурного влияния теософа, оказавшегося к тому же превосходным любовником. С дерзким бесстыдством Рауль помог ей за несколько месяцев разрушить хрупкое эзотерическое сооружение, по которому Паула, точно шаман, намеревалась забраться на небо. Бедняга Рауль начнет испытывать ревность, не имеющую ничего общего с обычной ревностью, это будет всего лишь обида человека, переставшего быть хозяином своего времени и ума, — человека, лишившегося возможности делить с ней каждый миг путешествия сообразно их общему изысканному вкусу. Даже если Рауль сам пустится в какую-нибудь авантюру, он все равно останется подле нее, требуя взаимности. Его ревность, скорее, будет напоминать разочарование и вскоре пройдет совсем, пока Паула не вернется снова (но будет ли на сей раз «снова») с повинной головой, тоскливо-печальным рассказом и доверит ему свое тягостное и безутешное настоящее, чтобы он опять приласкал это капризное и избалованное существо. Так было после ее возвращения от Рубио, после разрыва с Лучо Нейрой и многими другими.

Идеальная симметрия царила в их отношениях с Раулем, ибо он тоже не раз приходил к ней с исповедью, тоскливыми рассказами о ночных похождениях на столичных окраинах, залечивал раны, находя утешение в неувыдающей студенческой дружбе. Как они были нужны друг другу, на какой горечи была замешана эта дружба, выдержавшая ветер измен, который дул с обеих сторон! Какое дело Карлосу Лопесу до этого столика, до этого парохода, до их безмятежной привычки всюду ходить вместе? Паула внезапно возненавидела его, а он, довольный, счастливый, смотрел и смотрел на нее, словно наивный ребенок, который, улыбаясь, забирается в клетку к тиграм. Но он не такой наивный. Паула знала это наверняка, а если и такой (нет, конечно, не такой), пусть тогда потерпит. Тигр Рауль, тигрица Паула. «Бедняга Ямайка Джон, — подумала она, — хоть бы ты исчез вовремя».

— Что случилось с Хорхе?

— У него небольшой жар, — сказала Клаудиа. — По-моему, он перегрелся днем на солнце, если только это не ангина. Я его уложила в постель и дала аспирин. Посмотрим, как он проведет ночь.

— Аспирин — это ужасно, — сказал Персио. — Я всего два три раза в жизни принимал его, и он подействовал на меня

потрясающе. Полностью нарушается умственная деятельность, выступает пот, словом, очень неприятно.

Медрано, поужинавший без всякой охоты, предложил выпить вторую чашку кофе в баре, а Персио ушел на палубу, чтобы понаблюдать за звездами, обещая сначала зайти в каюту, посмотреть, заснул ли Хорхе. Освещение в баре было более приятным, чем в столовой, и кофе горячий. Несколько раз Медрано подумал, не скрывает ли Клаудиа свою тревогу из-за повышенной температуры Хорхе. Ему хотелось узнать это наверняка, чтобы хоть чем-то помочь ей, но Клаудиа больше не упоминала о сыне, и они заговорили о другом. Возвратился Персио.

— Он не спит и хочет, чтобы вы пришли к нему, — сказал Персио. — Я уверен, что все это от аспирина.

— Не говорите глупости и отправляйтесь изучать свои Плеяды и Малую Медведицу. Вы не хотите пойти со мной, Медрано? Хорхе обрадуется вам.

— Да, конечно, — сказал Медрано, чувствуя себя довольным впервые за многие часы.

Хорхе встретил их, сидя в кровати с альбомом для рисования, который Медрано пришлось весь просмотреть и оценить каждый рисунок. У Хорхе возбужденно горели глаза, небольшой жар, скорее всего, был вызван перегревом на солнце. Хорхе непременно надо было знать, женат ли Медрано, есть ли у него дети, где он живет, преподаватель ли он, как Лопес, или архитектор, как Рауль. Он сказал, что задремал, но проснулся от кошмара, ему привиделись глициды. Да, теперь ему тоже немного хотелось спать и пить. Клаудиа напоила его и заслонила ночник листом бумаги.

— Мы посидим здесь в креслах, пока ты не уснешь. Мы не оставим тебя одного.

— А я не боюсь, — сказал Хорхе. — Правда, когда я сплю, я совсем беззащитен.

— Побей их как следует, этих глицидов, — предложил Медрано, наклоняясь и целуя Хорхе в лоб. — Завтра мы с тобой обо всем поговорим, а сейчас спи.

Через несколько минут Хорхе со вздохом потянулся и лег лицом к стене. Клаудиа выключила свет в изголовье, оставив зажженной только лампочку у двери.

— Проспит всю ночь, как сурок. Но скоро начнет разговаривать и наговорит уйму странных вещей... Персио обожает слушать его лепет во сне и тут же делает самые невероятные заключения.

— Словно пифия, — сказал Медрано. — Вас не поражает, как

меняется голос у тех, кто разговаривает во сне? Легко вообразить, что говорят совсем не они...

— Они и не они.

— Вероятно. Несколько лет тому назад я спал в одной комнате с моим старшим братом; скучнее человека представить себе невозможно. Но как только он клал голову на подушку и засыпал, сразу же начинал разговаривать; иногда я даже записывал то, что он говорил, и утром показывал ему. Он, бедняга, никогда мне не верил, не мог представить такое.

— А зачем было пугать его этим невероятным зеркалом?

— Да, конечно. Лучше было притвориться прорицателем или просто промолчать. Мы так боимся чужого вторжения в себя, так боимся потерять свое драгоценное будничное «я».

Клаудиа прислушивалась к ровному дыханию Хорхе. Голос Медрано навевал на нее покой. Она почувствовала некоторую слабость, облегченно и устало прикрыла веки. Ей не хотелось признать, что недомогание Хорхе пугало ее и что она скрывала это по привычке, а может, из гордости. У Хорхе нет ничего страшного, его недомогание никак не связано с тем, что происходит на корме. Глупо здесь видеть какую-то связь, все так хорошо: и запах табака, который курил Медрано, и его голос, и его спокойная, немного грустная манера говорить — все это словно олицетворяло собой порядок и нормальную жизнь.

— Будем снисходительны, когда говорим о своем «я», — сказала Клаудиа, глубоко вздыхая и будто отгоняя от себя неприятные мысли. — Оно слишком непрочное, если подойти беспристрастно, слишком хрупкое, чтобы его не укутать в вату. Вас разве не поражает, что ваше сердце бьется непрерывно, каждое мгновение? Я думаю об этом ежедневно, и всякий раз меня это удивляет. Я знаю, что сердце не есть мое «я», но если оно остановится... Словом, лучше не касаться трансцендентальных тем; никогда еще мне не удавалось с пользой поговорить об этих вопросах. Лучше оставаться в стороне от обыденной жизни, слишком она удивительна.

— Будем последовательны, — сказал Медрано, улыбаясь. — Мы не сможем рассматривать важные вопросы, не узнав сперва хотя бы немного о нас самих. Говоря откровенно, Клаудиа, в настоящую минуту меня гораздо больше интересует ваша биография — первый шаг к доброй дружбе. Разумеется, я не прошу подробного рассказа, но мне было бы приятно услышать о ваших вкусах, о Хорхе, о Буэнос-Айресе, о чем угодно.

— Нет, только не сейчас, — сказала Клаудиа. — Я и так угомила вас сегодня своими признаниями, возможно сделанными

некстати. И потом я ничего не знаю о вас, кроме того, что вы дантист; я даже хотела просить, чтобы вы посмотрели зубик у Хорхе, который его иногда беспокоит. Мне нравится, что вы смеетесь, другой бы на вашем месте рассердился, по крайней мере в душе, на такое нескромное замечание. Правда, что вас зовут Габриэль?

— Да.

— И вам всегда нравилось ваше имя? Я хочу сказать, в детстве.

— Не помню, наверно, считал его столь же фатальным, как хохолок на макушке. А где прошло ваше детство?

— В Буэнос-Айресе, в одном из домов на Палермо, где ночью квакали лягушки, а на рождество мой дядюшка зажигал чудесный фейерверк.

— А мое в Ломас-де-Саморе, в особняке, затерявшемся среди огромного сада. Должно быть, я глупец, но мне до сих пор кажется, что детство было самой значительной порой в моей жизни. Боюсь, я был слишком счастлив в детские годы; это плохое начало жизни; у такого человека быстро порвутся длинные брюки. Хотите знать мое *curriculum vitae*. Опустим годы отрочества, они у всех нас слишком похожи и не представляют никакого интереса. Сам не знаю, почему я сделался дантистом, в нашей стране это не редкость. Хорхе что-то говорит. Нет, только вздохнул. Может, мой разговор мешает ему, он ведь не привык к моему голосу.

— Нет, ваш голос ему нравится,— сказала Клаудиа.— Хорхе тотчас делится со мной такого рода откровениями. Ему не нравится голос Рауля Косты, и он потешается над голосом Персио, который в самом деле немного похож на сорочий. Однако ему нравится голос Лопеса и ваш, и он сказал мне, что у Паулы очень красивые руки. Он уже замечает такие вещи; когда он описывал руки Пресутти, я чуть не лопнула от смеха. Итак, вы стали дантистом, бедняжка.

— Да, и вдобавок незадолго до этого покинул дом, где прошло мое детство; он существует до сих пор, но я не пожелал больше вернуться туда. Я на свой лад сентиментален и, скорее, сделаю крюк в десять кварталов, только бы не пройти под балконами дома, где я был счастлив. Я не бегу от воспоминаний, но и не лелею их; в общем, мои неудачи, как и удачи, случаются всегда неслучайно.

— Да, порой вы смотрите так странно. Я не провидица, но иногда мои наблюдения оказываются верными.

— И что же вы наблюдаете?

— Ничего особенного, Габриэль. Просто вы словно кружите на месте и никак не находите того, что ищете. Надеюсь, это не оторвавшаяся от рубашки пуговица.

— Но и не даю, дорогая Клаудиа. Во всяком случае, нечто весьма скромное и весьма эгоистичное: счастье, которое как можно меньше вредило бы окружающим, а это дается нелегко, и которое мне не пришлось бы ни покупать, ни приобретать ценой своей свободы. Как видите, не очень-то это просто.

— Да, людям вроде нас счастье почти всегда таким и представляется. Брак без рабства, например, или свободная любовь без унижений, или такая работа, которая не мешала бы читать Шестова, или ребенок, который не превращал бы нас в домашнюю прислугу. Возможно, такое представление о счастье в основе своей скудно и фальшиво. Достаточно почитать Священное писание... Но мы на том стоим и не выйдем из этого замкнутого круга. Fair play¹ — прежде всего.

— Возможно, наша ошибка именно в том, — сказал Медрано, — что мы не желаем выйти из этого круга. Возможно, это самый верный способ потерпеть поражение, даже в повседневной жизни. Словом, что касается меня, то с юношеских лет я решил жить самостоятельно, поехал в провинцию, где прозябал, но зато избежал разбросанности, которая часто губит портеньо, и в один прекрасный день возвратился в Буэнос-Айрес, а оттуда уже никуда не уезжал, если не считать путешествия в Европу и поездок в Винья-дель-Мар, пока был доступен чилийский песо. Отец оставил нам наследство больше, чем мы с братом могли себе представить, я сократил до минимума свои упражнения с бормашиной и пинцетами и превратился в любителя. Я не стал спрашивать себя, в любителя чего, потому что затруднился бы ответить на такой вопрос. Например, в любителя футбола, итальянской литературы, калейдоскопов, женщин легкого нрава.

— Вы поставили их в конце, но, может, стоило соблюсти алфавитный порядок. Объясните, благо Хорхе спит, что вы подразумеваете под легким нравом.

— У меня никогда не было невесты, — начал Медрано. — Я считаю, что мужа из меня не получится, и, честно говоря, не испытываю желания проверить, так ли это. Но я не принадлежу к тем, кого дамы называют обольстителем. Мне нравятся

¹ Игра по правилам (англ.).

женщины, которые не создают иных проблем, кроме своих, сугубо женских, а этого вполне достаточно.

— Вы не любите ответственности?

— Думаю, что нет, возможно, у меня слишком высокое понятие об ответственности. Настолько высокое, что я бегу от нее. Невеста, обольщенная девушка... Все вдруг подчиняется будущему, и ты обязан жить ради него и для него. Как вы думаете, будущее может обогатить настоящее? Может быть, в семье, в браке или когда испытываешь отцовское чувство. Тем более странно, я так люблю детей,— пробормотал Медрано, смотря на спящего Хорхе.

— Не думайте, что вы исключение,— сказала Клаудиа.— Так или иначе вы быстрехонько превращаетесь в некую человеческую разновидность, именуемую холостяком, которая обладает своими положительными качествами. Одна актриса уверяла, что холостяки лучшие театралы, настоящие благодетели искусства. Нет, я не шучу. Но вы считаете себя трусливей, чем вы есть.

— А кто говорит о трусости?

— Ну, ваша боязнь помолвки, ухаживаний или обольщений, всякой ответственности, будущего... Вот вы только что задали мне вопрос. По-моему, лишь то будущее способно обогатить настоящее, которое рождается из честного настоящего. Поймите меня правильно; я не считаю, что надо работать тридцать лет, как вол, чтобы потом выйти на пенсию и жить спокойно; но ваша нынешняя трусость не только не освободит вас от неприятного будущего, напротив, помимо вашей воли послужит для него прочной опорой. Хотя это и может прозвучать цинично в моих устах, но мне кажется, что, если вы не обольщаете девушку из страха перед последствиями, такое решение лишь создаст пустоту в будущем, призрак, тень которого отравит вам другое любовное приключение.

— Вы думаете обо мне и совсем не думаете о девушке.

— Разумеется, но я вовсе не собираюсь убеждать вас превратиться в Казанову. Я полагаю, нужна стойкость, чтобы не поддаваться желанию обольщать; в этом случае нравственная трусость как бы становится источником добродетели... Конечно, смешно...

— Ваш вывод совершенно неверен, дело не в трусости и не в храбрости, а в заранее принятом решении избегать случайностей. У обольстителя одна цель — обольстить, и он обольщает, не утруждая себя поисками... Короче говоря, достаточно не трогать девственниц, а их так мало в тех кругах, где я вращаюсь...

— О, если бы эти бедные девицы знали, какие метафизические конфликты возникают из-за их невинности...— сказала Клаудиа.— Хорошо, расскажите мне тогда о других.

— Ну нет,— сказал Медрано.— Мне не нравится ни манера, ни тон, каким вы просите. Не нравится то, что я говорил, и еще меньше то, что говорили вы. Лучше пойду выпью коньяку в баре.

— Нет, подождите минуточку. Я знаю, что порой говорю глупости. Но мы можем поговорить о чем-нибудь другом.

— Извините,— сказал Медрано.— Это не глупости. У меня поэтому и испортилось настроение, что это никакие не глупости. Вы посчитали меня малодушным, и это совершенно верно. Я начинаю спрашивать себя, не могут ли в какой-то момент, в какой-то особенно важной точке жизненного пути совпасть любовь и ответственность... Не знаю, но с некоторых пор... Да, у меня испортилось настроение, и именно поэтому. Я никогда бы не поверил, что самый обыденный случай вдруг может вызвать у меня такие угрызения совести, такое раздражение... Вроде язвочек на деснах, как проведешь языком, такая неприятная боль... А это вроде язвочки в мозгу, сверлит и сверлит...— Он пожал плечами и достал сигареты.— Я все вам расскажу, Клаудиа, думаю, мне станет легче.

Он рассказал о Беттине.

XXX

Во время ужина досада ее постепенно прошла, уступив место ехидному желанию подшутить над ним. Повода для этого он не подавал, но ей было неприятно, что он разоружил ее так просто — одним пристальным взглядом. Сначала она была готова поверить в неискренность Лопеса и в то, что в этом и заключается его сила. Но потом посмеялась над своей наивностью: не трудно было заметить, что Лопес обладал всеми данными для большой охоты, хотя и не похвалялся ими. Пауле отнюдь не льстило, что она так быстро произвела впечатление на Лопеса (какого дьявола, еще вчера они не знали друг друга, были совсем чужими в этом огромном Буэнос-Айресе), напротив, ее раздражало, что она уже оказалась в положении королевской дичи. «И все потому, что я единственная свободная и привлекательная женщина на пароходе,— подумала она.— Возможно, он даже не обратил бы на меня внимания, если бы нас познакомили на каком-нибудь празднике или в театре». Паулу бесила мысль, что ее считают одним из обязательных развле-

чений на пароходе. Ее словно пришили к стене, как картонную мишень, чтобы сеньор охотник мог поупражняться в стрельбе. Но Ямайка Джон был таким симпатичным, что она не могла испытывать к нему неприязни. Паула спрашивала себя, не думает ли и он в свою очередь нечто подобное; она прекрасно знала, что он мог принять ее за кокетку, во-первых, потому что она ею была, а во-вторых, потому что ее поведение и манеры легко истолковывали превратно. Как истый портеньо, бедняга Лопес мог подумать, что упадет в ее глазах, если не приложит всех сил, чтобы завоевать ее. Глупое, но в то же время довольно безвыходное положение: как у марионеток, которым по ходу пьесы положено получать и раздавать палочные удары. Ей стало немного жаль Лопеса и самое себя, и все же она радовалась, что не обманулась в своих догадках. Оба могли прекрасно играть в эту игру, и дай бог, чтобы Панч оказался таким же ловким, как и Джуди¹.

В баре, куда Рауль пригласил их выпить джина, они ловко ускользнули от семейства Пресутти, примостившегося в уголке, но тут же столкнулись с Норой и Лусио, которые еще не ужинали и, казалось, были чем-то озабочены. Тесно усевшись за маленькими столиками напротив друг друга, они принялись болтать обо всем понемногу, легко жертвуя своей индивидуальностью ради приятного чудовища — общего разговора, который всегда ниже уровня собеседников, а поэтому так доступен и привлекателен. В душе Лусио обрадовался их приходу. Нора после того, как написала сестре письмо, загрустила. Она стала задумчивой, хотя уверяла, что с ней ничего не случилось, и Лусио это раздражало, тем более что ему никак не удавалось ее развлечь. Он вообще не баловал Нору разговорами, обычно первой начинала она; вкусы у них были довольно разные, но между мужчиной и женщиной... Он не терпел, когда Нора хандрит из-за пустяков. Что ж, может, общество развеет ее немного.

До этой минуты Паула почти не разговаривала с Норой, и поэтому теперь обе с улыбкой скрестили оружие, пока мужчины заказывали напитки и угощали друг друга сигаретами. Рауль молча сидел в стороне, рассматривая женщин, и лишь изредка вставлял в разговор любезные замечания либо обменивался с Лусио впечатлениями по поводу географической карты и маршрута «Малькольма». Он видел, как в Норе вновь пробуждались радость и доверие, общественное чудовище ласково лизало ее своими многочисленными языками, выхватывало из диалога, за

¹ Персонажи английской кукольной комедии.

которым всегда скрывается монолог, и вводило в маленький, вежливый и тривиальный мир, где сверкали остроты, раздавался беспричинный смех, пили вкусный шартрез и курили ароматные «Филипп Морис». «Излечение красоты»,— думал Рауль, всматриваясь в оживленное лицо Нора, вновь приобретающее утраченную прелесть. У Лусио дела куда хуже, он по-прежнему сидит насупившись, а вот бедняга Лопес, ох уж этот бедняга Лопес. Вот кто действительно грезит наяву, так это Лопес. Раулю становилось его по-настоящему жаль. «So soon,— думал он,— so soon...» Но возможно, Рауль и не догадывался, что Лопес был счастлив и грезил о розовых слонах, об огромных стеклянных шарах, наполненных подцвеченной водой.

— И случилось так, что три мушкетера, на сей раз без четвертого, отправились на корму и вернулись ни с чем,— сказала Паула.— Как только вы захотите, Нора, мы с вами совершим такую прогулку, ну прихватим еще невесту Пресутти, чтобы составить священное число. Я уверена, что мы не остановимся, пока не дойдем до паровозного винта.

— Мы можем заразиться тифом,— сказала Нора, всерьез принимавшая слова Паулы.

— О, ничего, у меня есть «Вик Вапоруб»,— сказала Паула.— Кто бы мог подумать, что наши отважные гоплиты поглощаются пылью, как последние ленивцы.

— Не преувеличивай,— сказал Рауль.— На пароходе очень чисто, и пока глотать нечего.

Он подумал, не нарушила ли Паула данного слова и не вынула ли на свет божий револьверы и пистолет. Нет, она этого не могла сделать. Good girl¹. Совершенно сумасшедшая, но преданная. Несколько удивленная, Нора попросила подробней рассказать ей о вылазке на корму. Лопес исподлобья взглянул на Лусио.

— Я тебе ничего не рассказал, думал, не стоит,— сказал Лусио.— Слышишь, что говорит сеньорита. Пустая потеря времени.

— Ну нет, я не думаю, что мы напрасно потеряли время,— сказал Лопес.— Всякая разведка имеет цену, как сказал бы какой-нибудь знаменитый стратег. Я по крайней мере убедился, что «Маджента стар» занимается темными делами. Разумеется, ничего ужасного, никто, конечно, не везет на корме горилл, скорее всего, контрабандный груз, слишком заметный, или что-то в этом роде.

¹ Хорошая девушка (англ.).

— Возможно, но нас это не касается,— сказал Лусио.— У нас здесь все в порядке.

— Видимо, да.

— Почему «видимо»? И так все ясно.

— Лопес прав, когда сомневается в чрезмерной ясности,— сказал Рауль.— Как однажды выразился бенгальский поэт из Шантиникетана¹: «Ничто так не ослепляет, как чрезмерная ясность».

— Ну, это слова поэта.

— Поэтому я и цитирую и даже из скромности приписываю поэту, который никогда их не произносил. Но я полностью разделяю сомнения Лопеса, тем более, что его поддерживает и наш друг Медрано. Если на корме что-то не в порядке, рано или поздно это распространится и на нос. Будь это тиф 224 или тонны марихуаны; отсюда до Японии долгий путь морем, а под килем немало хищных рыб.

— Брр... не нагоняй на меня страху! — сказала Паула.— Посмотрите на Нору, она, бедняжка, по-настоящему испугалась.

— Вы, наверное, шутите,— сказала Нора, бросая удивленный взгляд на Лусио.— А ты мне говорил...

— По-твоему, я должен был сказать тебе, что по пароходу разгуливает Дракула? — вспыхнул Лусио.— Здесь все ужасно преувеличивают, это неплохо как развлечение, но нечего людей зря запугивать.

— Что касается меня,— сказал Лопес,— я говорю вполне серьезно и не собираюсь сидеть сложа руки.

Паула насмешливо захлопала в ладоши.

— Ямайка Джон в одиночку! Меньшего от вас я и не ожидала, но такой героизм...

— Не дурите,— напрямик сказал Лопес.— И дайте мне сигарету, мои кончились.

Рауль едва сдержал жест восхищения. Вот это парень. Дело должно принять интересный оборот. Он стал наблюдать, как Лусио старается вновь завоевать утерянные позиции и как Нора, эта ласковая и невинная овечка, лишает его удовольствия доказать свою правоту. Для Лусио все было ясно: там тиф. Капитан болен, корма заражена, значит, надо соблюдать элементарную осторожность. «Это рок,— думал Рауль,— пацифистам,

¹ Имеется в виду индийский писатель и общественный деятель Рабиндранат Тагор.

беднягам, приходится проводить всю жизнь на войне. А Лусио в первом же порту обязательно купит себе пулемет».

Паула как будто бы немного смягчилась, она слушала доводы Лусио с сочувственным выражением, цену которому Рауль знал слишком хорошо.

— Наконец-то я встретила здравомыслящего человека, после того как целый день провела среди заговорщиков, последних могикан, петербургских динамитчиков. Как приятно видеть человека с твердыми убеждениями, не поддавшегося на уловки демагогов.

Лусио, не совсем уверенный в том, что его хвалят, продолжал настаивать на своем. Если что-то и надо предпринять, так это направить коллективное письмо, которое подпишут все (разумеется, кто пожелает) и в котором до сведения капитана будет доведено, что пассажиры «Малькольма» понимают и правильно оценивают необычную обстановку, создавшуюся на пароходе. В крайнем случае можно намекнуть, что беседы между офицерами и пассажирами не всегда были вполне откровенными...

— Ну-ну-ну,— зевая, пробормотал Рауль.— Если у них на борту действительно был тиф, когда мы сажались в Буэнос-Айресе, они вели себя как последние сволочи.

Нора, не привыкшая к сильным выражениям, смущенно заморгала. Паула, едва справившись со смехом, снова поддержала Лусио, высказав предположение, что тиф, вероятно, вспыхнул уже после того, как они отчалили. А полные смущения и нерешительности благородные офицеры встали на якорь напротив Кильмеса, чьи печально известные испарения никоим образом не улучшили атмосферу на корме.

— Да-да,— сказал Рауль.— Все как в цветном кино.

Лопес слушал Паулу с иронической улыбкой, разговор его забавлял, но после него оставался какой-то кисло-сладкий привкус. Нора мучительно старалась понять, о чем идет речь, наконец уткнулась носом в чашку и сидела так, ни на кого не глядя.

— Итак,— сказал Лопес.— Свободный обмен мнениями — одно из благ демократии. И все же я полностью согласен с тем крепким эпитетом, который недавно употребил Рауль. Посмотрим, что будет.

— А ничего не будет, и это самое худшее для вас,— сказала Паула.— Вы лишитесь своей игрушки, и путешествие станет нестерпимо скучным, как только вас пропустят на корму. А теперь я отправлюсь посмотреть на звезды, которые, должно быть, сверкают особенно ярко.

Она встала, ни на кого не глядя. Слишком легкая игра ей наскучила, и было досадно, что Лопес ни полсловом не поддержал ее. Она знала, что он ждет лишь удобной минуты, чтобы последовать за ней, но пока еще останется за столом. Знала она и нечто большее: то, что должно было произойти потом, и это начинало снова забавлять ее, особенно потому, что Рауль скоро догадается, а было всегда так забавно, когда он вступал в игру.

— Ты не пойдешь? — спросила Паула, смотря на него.

— Нет, спасибо. Звездочки, вся эта бижутерия...

Она подумала: «Сейчас он встанет и скажет...»

— Я тоже пойду на палубу, — сказал Лусио, поднимаясь. — Ты идешь, Нора?

— Нет, я лучше немного почитаю в каюте. Всего хорошего.

Рауль остался с Лопесом. Лопес скрестил на груди руки, как палачи на гравюрах к «Тысяча и одной ночи». Бармен принялся собирать чашки, а Рауль стал ждать, когда же наконец просвистит ятаган и по полу покатится чья-то голова.

Неподвижно застыв на носу у самого форштевня, Персио слышал, как они приближались вслед за обрывками фраз, подхваченными теплым бризом. Он поднял руку и показал им на небо.

— Посмотрите, какое великолепие, — произнес он восторженно. — Поверьте, такого неба в Чакарите не увидишь. Там всегда какая-то зловонная дымка, отвратительная салъная пелена, застилающая это великолепие. Вы видите? Видите? Это высшее божество, распростертое над миром, божество с миллиардами глаз...

— Да, очень красиво, — сказала Паула. — Немного, правда, однообразно и растянуто, как все, что величественно и грандиозно. Только в малом существует подлинное разнообразие. Не правда ли?

— Ах, в вас говорят демоны, — вежливо заметил Персио. — Разнообразие — подлинное исчадие ада.

— Ну и безумен этот тип, — пробормотал Лусио, когда они двинулись дальше и затерялись в темноте.

Паула уселась на бухту каната, попросила сигарету и довольно долго раскуривала ее.

— Как жарко, — сказал Лусио. — Любопытно, здесь даже жарче, чем в баре.

Он снял пиджак, и его белая рубашка выделилась светлым пятном в полумраке. В этом укромном уголке палубы никого

не было, ветер слабо гудел в натянутых проводах. Паула молча курила, смотря в сторону неразличимого горизонта. Когда она затягивалась, огонек сигареты выхватывал из темноты густые пряди ее рыжих волос. Лусио вспомнил, какое было лицо у Норы. Все же какая она ненормальная, какая ненормальная. Что ж, пора и ей понять... Мужчина всегда свободен, и нет ничего дурного, если он пройдет по палубе с другой женщиной. Проклятые буржуазные предрассудки, воспитание в монастырской школе. «О пресвятая дева Мария» и прочая дребедень с белыми цветочками и разноцветными образочками. Одно дело любовь и совсем другое — свобода, и, если она возмнила, что всю жизнь будет держать его на привязи, как последнее время, только потому, что не желала ему отдаться, пусть тогда... Ему показалось, что Паула смотрит на него, хотя в темноте он не мог видеть ее глаз. Добряка Рауля, казалось, вовсе не трогало то, что его подруга отправилась с другим, напротив, он посмотрел на нее с веселой улыбкой, словно давно знал все ее капризы. Лусио почти не встречал таких странных людей, как эти пассажиры. А Нора, ну что за манера, разинув рот, слушать все, что ни говорит Паула, особенно ее крешкие словечки, и поражаться ее неожиданным суждениям. Но к счастью, что касается кормы...

— Я рад, что хоть вы признали мою точку зрения, — сказал он. — Конечно, приятно мнить себя незаурядным человеком, но нельзя же испортить путешествие!

— А вы думаете, что наше путешествие будет удачным? — спросила Паула небрежно.

— Конечно. По-моему, в какой-то степени это зависит и от нас самих. Если мы поссоримся с офицерами, они создадут нам несносную жизнь. Я требую уважения к себе, как и любой другой, — добавил он, делая упор на слове «уважение», — но не слишком умно портить круиз из-за глупой прихоти.

— А наше путешествие называется круизом, да?

— Не подтрунивайте надо мной.

— Нет, я спрашиваю серьезно, я всегда теряюсь от этих изысканных слов. Смотрите, смотрите, падает звезда.

— Загадайте скорей что-нибудь.

Паула загадала. Тонкая черточка, должно быть изумившая звездочета Персио, на долю секунды мелькнула на севере небосклона. «Ну, дружок, — подумала Паула, — а теперь пора кончать с этой ерундой».

— Не принимайте меня слишком всерьез, — сказала она. — Возможно, я не была искренна, когда взяла вашу сторону в

педавнем споре. Это было, скорее... из спортивного интереса, что ли. Просто я не люблю, когда кого-то унижают, я из тех, кто всегда вступается за маленьких и глупых.

— А-а,— сказал Лусио.

— Я немного пошутила над Раулем и остальными, потому что забавно наблюдать их в роли Буффало Билла и его друзей, но, вероятно, они были правы.

— Какое там правы,— раздраженно проговорил Лусио.— А я так был благодарен вам за поддержку, но получается, вы поступили так только потому, что считаете меня глупым...

— О, не будьте придирчивы. К тому же вы защищаете принципы порядка и установленной иерархии, а это иногда требует куда большего мужества, чем предполагают вероотступники. Для доктора Рестелли, например, это вполне естественно, а вы такой молодой, и ваше поведение на первый взгляд выглядит весьма непривлекательно. Мне непонятно, почему молодежь всегда надо представлять с камнем в руках. Все это измышления стариков, удобный предлог, чтобы ни под каким видом не выпускать из рук полис.

— Полис?

— Да, именно. А ваша жена очень недурна. Мне нравится ее наивность. Только не говорите ей этого, женщины не прощают подобных оценок.

— Не думайте, она совсем не такая наивная. Просто немного... не найду слова... Не то чтобы богобоязненная, но вроде того.

— Кроткая.

— Вот-вот. Все от воспитания, которое она получила дома, да вдобавок от чертовых монахинь. Мне кажется, вы не набожная.

— О, напротив,— сказала Паула.— Ярая католичка. Крещение, первое причастие, конфирмация. Я еще не стала женой-прелюбодейкой и самаритянкой, но если господь даст мне здоровье и время...

— Я так и думал,— сказал Лусио,— вы не совсем правильно меня поняли. У меня, ясное дело, на этот счет самые либеральные взгляды. Я не атеист, но и нисколько не религиозен, разумеется. Я много читал и считаю, что церковь — зло для человечества. Вы можете себе представить, в век искусственных спутников в Риме сидит папа?

— Ну он-то, во всяком случае, не искусственный,— сказала Паула,— а это что-нибудь да значит.

— Я имел в виду... Я всегда спорю с Норой об этом, и в конце концов я ей докажу. Она уже согласилась со мной во многом...— Он загнулся от неприятной догадки, что Паула читает его мысли. Но все же было выгодней пооткровенничать, никто не знает, как поведет себя такая свободомыслящая девушка.— Если вы обещаете никому ничего не говорить, я открою вам один интимный секрет.

— Я его знаю,— сказала Паула, удивляясь своей уверенности.— У вас нет свидетельства о браке.

— Кто вам сказал? Да никто же...

— Вы сами. Молодые социалисты всегда начинают с того, что убеждают католичек, а кончают тем, что сдаются перед их доводами. Не беспокойтесь, я буду молчать. И знаете, женитесь на этой девушке.

— Да, конечно. Но я уже вырос из того возраста, когда слушают советы.

— Какое там выросли,— вызывающе сказала Паула.— Вы просто симпатичный мальчишка, и больше ничего.

Лусио приблизился, немного уязвленный и в то же время довольный... Раз она сама давала ему повод для панибратства, сама бросала вызов, он покажет ей, как корчить из себя интеллигентку.

— Поскольку здесь очень темно,— заметила Паула,— иногда не знаешь, куда девать руки. Так я вам советую засунуть их в карманы.

— Ну ладно, глупышка,— сказал Лусио, обнимая ее за талию.— Согрей меня, а то я немножко озяб.

— А это уже в стиле американских романов. Так вы завоевали вашу жену?

— Нет, не так,— сказал Лусио, пытаясь поцеловать ее.— Вот так, так. Ну не дури, не понимаешь, что ли...

Паула увернулась от объятий и спрыгнула с канатов.

— Бедная девочка,— сказала она, направляясь к трапу.— Бедняжка, мне становится по-настоящему жалько.

Лусио следовал за ней разъяренный, только тепер он заметил, что рядом в свете звезд кружил дон Гало, странный ипогриф, в котором зловеще слились контуры шофера, кресла и самого дона Гало. Паула вздохнула.

— Я знаю, что мне предстоит,— сказала она.— Буду свидетельницей на вашей свадьбе и даже подарю вам вазу для цветов. Я видела подходящую на распродаже в «Дос мундос»...

— Вы рассердились? — спросил Лусио, поспешно переходя на «вы». — Будемте друзьями, Паула... А?

— Иными словами, я никому ничего не должна говорить? Так?

— Наплевать мне на то, что вы скажете. Говоря начистоту, ведь вас больше заботит, что подумает Рауль.

— Рауль? А ну давайте, попробуйте. Если я ничего не скажу Норе, то только потому, что мне так хочется, а вовсе не из боязни. Идите, глотайте свой тодди¹,— добавила она с внезапным раздражением.— Привет Хуану Б. Хусто.

Е

Чудесно, что содержание чернильницы может превратиться в мир как волю и представление или что трение кожного сосочка о пересоший натянутый цилиндр кишки создает в пространстве первый полигон для молниеносного движения, точно так же чудесно и размышление — эти тайные чернила и тонкий ноготь, ударяющий по тугому пергаменту ночи,— оно в конце концов проникает и выныкает в самую сущность туманной материи, окружающей пустоту жаждущими краями.

В этот поздний час на носовой палубе бессвязные наблюдения скользят по непрочной поверхности сознания, ищут воплощения и ради этого подкупают слово, которое сделает их конкретными в этом сумбурном сознании, возникают, как осколки фраз, окончания и случаи, противоборствующие среди водоворота, который растет, питаемый надеждой, ужасом и радостью. Подержанные или разрушенные радиацией чувства, которая исходит скорее от кожи и внутренностей, чем от тонких антенн, подавленных такой низостью, наблюдения далекого пространства, того, что начинается там, где кончается ноготь, слово-ноготь, предмет-ноготь, безжалостно сражаются с соглашательскими каналами и винилитовыми и пластмассовыми штампами ошеломленного и разъяренного сознания, ищут прямого подступа, который стал бы взрывом, криком тревоги или самоубийством, светильным газом, преследуют того, кто преследует их, самого Персио, который стоит, опираясь руками о поручни борта, окутанный звездами, мигренью и небольским вином. Пресытившись светом, днем, лицами, похожими на его лицо, пережеванными диалогами, подобный шумерскому подростку, застывшему перед страшным таинством ночи планет, упершись лысиной в небосвод, который ежесекундно создается и разрушается в его сознании, Персио борется со встречным ветром, который не реги-

¹ Тодди — пунш (англ.).

стрирует даже блестящий анемометр, установленный на капитанском мостике. Рот его приоткрыт, чтобы поймать и испробовать этот ветер, и кто станет утверждать, что не его прерывистое дыхание породило этот ветер, пробегающий по его телу, точно табун загоняемых в корраль оленей. В абсолютном одиночестве на носовой палубе, превращенной неслышимым храпом спящих в своих каютах пассажиров в киммерийский мир, в необитаемый район северо-востока земли, Персио распрямляет свою тщедушную фигурку с видом жертвы, словно ростр, выточенный из дерева на драконах Эйрика, словно лемур, окрасивший кровью пену океана. Он слышит тихий звон гитары в снастях судна, гигантский космический ноготь рождает первый звук, почти сразу заглушенный пошлым звуком волн и ветра. Море, проклятое за свою монотонность и бедность, эта огромная желатинообразная зеленая корова, охватывает пароход, который насилует ее, вздымаясь в бесконечном противоборстве железного форштевня и скользкой вульвы, которая дрожит под ударами пены. И тут же над этой грубой кабацкой случкой космическая гитара обрушивает на Персио свой душераздирающий вопль. Не веря своим ушам, закрыв глаза, Персио знает, что нечленораздельные звуки, неверная роскошь громких слов, отягченных, как соколы, королевской добычей, в конце концов найдут отзвук в его самых сокровенных тайниках, в тайниках его сердца, в тайниках его сознания, найдут непереносимый отзвук струн. Крошечный и неуклюжий, он движется, точно мушка, по невообразимо огромной поверхности, а мысль и уста его касаются пасти ночи, космического ногтя, укладываются бледными руками мозаиста голубые, золотистые и зеленые фрагменты жука-скарабея в слишком нежные очертания этого музыкального рисунка, который рождается вокруг. Внезапно возникает слово, круглое и тяжелое существо, но не сразу кусок колетса в ступке, еще не утратив своей структуры, он разрушается с треском улитки, попавшей в огонь, и Персио опускает голову и перестает понимать, уже почти не понимает, чего он не понимал; но его рвение подобно музыке, в пространстве памяти оно поддерживается без усилий, и он снова складывает губы, закрывает глаза и осмеливается произнести новое слово, затем другое, третье, подерживая их дыханием, которое не могло бы возникнуть в человеческих легких. Этот фрагментарный подвиг вызывает к жизни мгновенные всплывки, которые ослепляют Персио, и перед этим неожиданным препятствием отступает его желание, словно его голову собираются поместить в сосуд из тыквы, полный сколопендр; крепко схватившись за борт, словно его тело находится

на грани ужасного веселья и веселого ужаса, и понимая, что сейчас умрет все основанное на условных рефлексах, он старается воскресить и собрать эти призраки, которые, разбившись и потеряв форму, падают на него, он неловко двигает плечами под градом легучих мышей, отрывков из опер, маневрирующих галер, кусков трамваев с рекламой мелочных товаров, слов, которых не понять без контекста. Заурядное, гнилое и бесполезное прошлое, иллюзорное и зыбкое будущее смешиваются в жирный и дурно пахнущий пудинг, который связывает ему язык и оседает горьким налетом на деснах. Он хотел бы раскинуть руки жестом смертника, разрушить одним ударом, одним криком эту жалкую мешанину, которая распадается сама собой в запутанном и противоречивом финале греко-романской борьбы. Он знает, что в любой момент из его повседневности вырвется вздох, обрызгивая все вокруг слюнявым признанием невозможного, и что свободный от дел служащий скажет: «Уже поздно, в каютах есть свет, простыни полотняные, бар открыт» — и, возможно, добавит самое отвратительное из отречений: «Утро вечера мудренее», и пальцы Персио так впиваются в железный борт, так прилипают к нему, что спасти дермис и эпидермис теперь может только чудо. На краю эти слова повторяются снова и снова, все есть край и может перестать быть им в любой миг — на краю Персио, на краю парохода, на краю настоящего, на краю края: сопротивляться, оставаться, предлагать себя для того, чтобы брать, раздваиваться как сознание, быть одновременно и дичью и охотником, удар, уничтожающий всякое сопротивление, свет, освещающий себя, гитара, которая сама себя слушает. Он поник головой, утратив силы и чувствуя, как несчастье, словно теплый суп, большим пятном расплзается по лацканам его нового пиджака, яростная битва с самим собой не ослабевает, затихают лишь крики, от которых у него раскалываются виски, стычка продолжается, но теперь она словно ледяной воздух, стекло, и всадники Учелло застыли, подняв смертоносные копыта, снег из русского романа лежит на пресс-папье непроходимыми сугробами. Музыка в вышине становится торжественной, напряженная долгая нота постепенно наполняется смыслом, сливается с другой нотой и, подчиняясь общей мелодии, растворяется в крепнущем с каждой минутой аккорде, и тогда возникает новая музыка, гитара расплзывается, словно волосок на подушке, и звездные ногти вонзаются в голову Персио и царапают его, предавая сладчайшей смертной пытке. Замкнувшись в себе, в корабле, в ночи — его отчаянная готовность на самом деле чистейшее ожидание, чистейшее приятие, — Персио чувствует, как по-

гружается куда-то или это сама ночь растет вокруг него, растекаясь по нему, отверзая его, как спелый гранат, и предлагая ему же его же плод, его последнюю кровь, единую с морской и небесной кровью, с преградами времени и места. Поэтому он тот, кто поет, веря, что слышит песнь огромной гитары, и кто начинает видеть то, что скрыто от его глаз, там, по другую сторону переборки, за анемометром, за фигурой в фиолетовой тени капитанского мостика. Вот почему он одновременно и внимание, полное самой трепетной надежды, и (это его нисколько не удивляет) часы в баре, которые показывают 23 часа 49 минут, а также (и это ему ничуть не больно) товарный поезд № 4121, который идет из Фонтелы в Фигейра-да-Фоз. Но достаточно вспышки памяти, невольной желавшей объяснить дневную загадку, и достигнутая эксцентричность разлетается на куски, как зеркало под ногами слона, резко падает заснеженное пресс-папье, морские волны скрипят, громоздятся друг на друга, и наконец остается одна корма — дневная загадка, видение этой кормы, какой она предстает перед Персио, который смотрит перед собой, стоя на носовой палубе, и вытирает ужасающе горячую слезу, скользящую по его щеке. Он видит корму, и только корму, это уже не поезда и не проспект Рио-Бранко, не тень коня венгерского крестьянина, не... все сконцентрировалось в этой слезинке, которая жжет ему щеку, скатывается на левую руку, не приметно падает в море. И в его памяти, сотрясаемой могучими ударами, остаются три-четыре образа общности мира: два поезда и тень коня. Он видит корму и облакивает все вокруг, словно вступая в немыслимое и добровольное созерцание, и плачет, как плачем мы, без слез, пробуждаясь ото сна, после которого у нас остаются лишь ниточки между пальцами, золотые или серебряные, из крови или тумана, — ниточки, спасающие нас от губительного забвения, которое вовсе не забвение, а возврат к повседневности, к «здесь», к «теперь», и в них мы сцепляемся всеми ногами. Итак, корма. Так это и есть корма? Игра теней с красными фонарями? Да, это корма. Но она не похожа на себя: здесь нет ни кабестанов, ни шанцев, ни марселей, ни экипажа, ни санитарного флажка, ни чаек, парящих над мачтой. Но там корма. То, что видит Персио, это корма — клетки с обезьянами по левому борту, клетки с дикими обезьянами по левому борту, целый зоопарк диких зверей над трюмными люками, львы и львицы, медленно кружащие на огороженной колючей проволокой площадке, на их лоснящихся боках играет полная луна, они сдержанно рычат, они ничуть не больны, не страдают от качки, они безразличны к болтовне истеричных бабуинов, к орангу-

тану, который чешет себе зад и разглядывает свои ногти. Среди них свободно разгуливают по палубе цапли, фламинго, ежи и кро-ты, дикобраз, сурок, королевский хряк и глупые птицы. Мало-помалу начинает проявляться расположение клеток и загонов, кажущийся беспорядок с каждой секундой приобретает эластич-ные и точные формы, подобные тем, что придают прочность и изящество музыканту Пикассо, которого он писал с Аполлинера, сквозь черный, фиолетовый и ночной цвет просачиваются зеле-ные и голубые искорки, желтые круги, совершенно черные пят-на (ствол, возможно, голова музыканта), но настаивать на этой аналогии — значит лишь вспоминать и, следовательно, оши-баться, ибо из-за борта высовывается убегающая фигура, воз-можно, это Вант с огромными крыльями, знак судьбы, или, мо-жет быть, Тукулька с клювом коршуна и ушами осла, такой, каким его создала другая фантазия на Могиле Орка, а может, в кормовой надстройке этой ночью пройдет маскарад боцманов и мичманов, словно вылепленных из папье-маше, или тифозная лихорадка разразится бредом капитана Смита, простертого на койке, облитой карболовой кислотой, бормочащего псалмы на английском языке с ньюкаслским акцентом. Мало-помалу Пер-сио все это начинает напоминать некий цирк, где муравьеды, паяцы и утки пляшут на палубе под звездным шатром, и разве только его несовершенному видению кормы можно приписать это быстрое мелькание омерзительных фигур, теней Вольтерá или Черветери, смешавшихся с зоопарком, который обычно счи-тают Гамбургским. И когда он еще шире открывает глаза, устремленные в море, которое режет и разделяет надвое нос кораб-ля, видение резко меняет цвет, начинает жечь ему веки. С кри-ком закрывает он лицо, то, что он успел увидеть, беспорядочной грудой рушится у его колен, заставляет его со стоном согнуться, почувствовать себя неизъяснимо счастливым, словно чья-то на-мыленная рука повесила ему на шею дохлого альбатроса.

XXXI

Сначала он решил подняться в бар выпить виски, уве-ренный, что без этого ему не обойтись, но уже в коридоре почув-ствовал очарование ночи под звездным небом, и ему захотелось увидеть море и привести в порядок мысли. Было уже за пол-ночь, когда он облокотился о поручни бакборта, довольный тем, что оказался один на палубе (он не мог видеть Персио, стояв-шего за вентилятором). Где-то вдалеке раздался удар рывды, возможно, на корме, а может, и на капитанском мостике. Мед-

рано посмотрел вверх: как всегда, фиолетовый свет, который словно источали сами стекла, неприятно поразил его. Без всякого интереса он спросил себя, а наблюдали ли за капитанским мостиком те, кто провел день на верхней палубе, загорая или купаясь в бассейне. Сейчас его интересовала лишь долгая беседа с Клаудией, которая закончилась удивительно спокойной, тихой нотой, словно Клаудия и он постепенно погрузились в сон подле спящего Хорхе. Нет, они не заснули, но, возможно, им пошло на пользу то, о чем они говорили. А возможно, и не пошло, по крайней мере для него личные излияния не могли ничего разрешить. Прошлое не стало более ясным, зато настоящее вдруг стало более приятным, более наполненным, подобно островку времени, который осаждает ночь, неизбежность рассвета, а также послушные воды, привкус радости позавчерашнего и вчерашнего дня, и этого утра, и этого дня, но на острове вместе с ним находились Клаудия и Хорхе. Не привыкший обуздывать свои мысли, он спросил себя, был ли этот словарь островной нежности порожден чувством и, как это случалось не раз, не озарялись ли его представления светом заинтересованности. Клаудия была еще красивой, разговаривая с ней, он словно бы делал первый робкий шаг к любви. Он подумал, что ему не помешает и то, что Клаудия по-прежнему влюблена в Леона Левбаума. Слово реальность Клаудии существовала совершенно в ином плане. Это было странно, это было почти прекрасно.

Они уже знали друг друга намного лучше, чем несколько часов назад. Медрано не помнил другого случая в своей жизни, когда бы отношения возникали так легко и естественно, почти как необходимость. Он улыбнулся, отчетливо представив себе — он чувствовал это, он был в этом абсолютно уверен, — как они оба, сойдя с обычной ступени и взявшись за руки, спустятся к иному уровню, где слова становятся предметами, отягчаются чувством или запретом, значимостью или упреком. Это случилось именно в тот момент, когда он — так недавно, совсем недавно — сказал ей: «Мать Хорхе, маленького львенка», и она поняла, что это не было дешевым обгрыванием имени ее мужа, а что Медрано словно положил ей на раскрытые ладони хлеб, цветы или ключ. Дружба зарождалась на прочной основе различий и разногласий, ибо Клаудия только что произнесла суровые слова, почти отказывая ему в праве следовать по давно намеченному жизненному пути. И в то же время с каким-то тайным стыдом добавила: «Кто я такая, чтобы порицать тривиальность, когда моя собственная жизнь...» И оба замолчали, смотря на Хорхе, который сладко спал, повернувшись к ним лицом, он

был прекрасен в слабом свете каюты, изредка вздыхал и что-то бормотал во сне. Маленькая фигурка Персио неожиданно возникла перед ним, но ему не было неприятно увидеть его в этот час и в этом месте.

— Я сделал одно весьма любопытное наблюдение, — сказал Персио, облокачиваясь на поручни рядом с Медрано. — Просматривая список пассажиров, я пришел к поразительным выводам.

— Я с удовольствием ознакомился бы с ними, друг Персио.

— Они не слишком ясные, но главный из них зиждется (кстати говоря, прекрасное слово, полное пластического смысла) на том, что почти все мы находимся под влиянием Меркурия. Да, серый цвет — это цвет списка, назидательное единообразие, где насилие белого и уничтожение черного сливаются в жемчужно-сером, чтобы напомнить лишь об одном из чудеснейших оттенков этого цвета.

— Если я правильно вас понял, вы полагаете, что среди нас нет людей необычных, людей незаурядных.

— Более или менее так.

— Но этот пароход, Персио, всего лишь одно из звеньев нашей жизни. Незаурядность отпускается в мизерных процентах, если не считать героев литературных творений, которые потому и называются литературными. Я дважды пересекал океан. И вы думаете, мне посчастливилось хоть раз путешествовать с необыкновенными людьми? Ах да, однажды в поезде, следующем в Хунип, я завтракал за одним столиком с Луисом Анхелем Фирпо, он уже был стар и тучен, правда, по-прежнему обаятелен.

— Луис Анхель Фирпо — это типичный Овн, находящийся под влиянием Марса. Цвет его красный, как и должно быть, и металлы его — железо. Возможно, Атилио Пресутти и сеньорита Лавалье, на редкость демоническая натура, тоже относятся к этому типу. Однако доминирует монохордность... Я вовсе не жалею, но куда хуже было бы, если бы пароход был набит людьми, находящимися под влиянием Сатурна или Плутона.

— Боюсь, что романы оказывают слишком большое воздействие на вашу жизненную концепцию, — сказал Медрано. — Каждый, кто впервые садится на пароход, полагает, что встретит на борту необыкновенных людей и что с ним обязательно произойдет какое-то чудесное преобразование. Я не такой оптимист и, как вы, считаю, что здесь нет ни одного героя, ни одного великомученика, ни даже просто интересного человека.

— Ох уж эти градации. Конечно, они очень важны. До сих пор я смотрел список пассажиров не задумываясь, но теперь

буду вынужден изучить его с разных точек зрения, и, возможно, вы окажетесь правы.

— Возможно. Вот и сегодня произошли незначительные события, которые могут иметь далеко идущие последствия. Не доверяйте трагическим жестам, громким декларациям: все это, повторяю, чистая литература.

Он подумал о том, что значил для него жест Клаудии, когда она положила руку на подлокотник кресла и пошевелила пальцами. Великие проблемы, а не выдуманы ли они для публики? Прыжки в абсолютное в стиле Карамазова или Ставрогина... Мелким, почти ничтожным было окружение Жюльена Сореля, а в конечном счете его прыжок оказался фантастичным, под стать мифическому герою. Быть может, Персио старался сказать ему что-то, что ускользало от него. Он взял его под руку, и они медленно зашагали по палубе.

— Вы тоже думаете о корме, не так ли? — спросил он сдержанно.

— Я ее вижу, — сказал Персио еще более сдержанно. — Это невероятная путаница.

— Ах, вы ее видите.

— Да, временами. Чтобы быть точным, видел совсем недавно. Я вижу ее и теряю из виду, и все так смутно... А вот думать о ней, думаю почти непрерывно.

— Мне кажется, вас поражает то, что мы сидим сложа руки. Можете не отвечать, я уверен, что это так. Меня это тоже удивляет, но, по сути, вполне соответствует той незначительности, о которой мы говорили. Мы предприняли несколько попыток, которые поставили нас в смешное положение, и вот тут-то и вступают в игру мелочи. Да, мелочи: любезно поднесенная спичка, рука, опустившаяся на подлокотник кресла, насмешка, брошенная точно перчатка в лицо... Все это, Персио, происходит, а вы живете лицом к звездам и видите только космическое.

— Человек может смотреть на звезды и в то же время видеть кончики своих ресниц, — сказал Персио с обидой. — Как вы думаете, почему я только что сказал вам, что список пассажиров представляет интерес? Из-за Меркурия, из-за серого цвета, из-за почти всеобщей абулии. Если бы меня интересовали другие вещи, я сидел бы у Крафта и правил бы гранки романа Хемингуэя, где всегда происходят значительные события.

— Так или иначе, — сказал Медрано, — я далек от мысли оправдывать наше бездействие. Не думаю, что мы что-то проясним, если проявим настойчивость, разве что прибегнем к величественным жестам, но это, чего доброго, лишь все испортит, и

дело завершится еще более смешно, чем в сказке о горе, родившей мышшь. Вот в чем суть, Персио,— в смешном. Мы все боимся показаться смешными, и на этом зиждется (я возвращаю вам ваше красивое слово) разница между героем и таким человеком, как я. Смешное всегда мелко. Мысль о том, что над нами могут посмеяться, слишком невыносима, поэтому мы и не на корме.

— Да, я уверен, что только сеньор Порриньо и я не испугались бы оказаться в смешном положении,— сказал Персио.— И не потому, что мы герои. Но остальные... А серый цвет такой стойкий, его так трудно отмыть...

Это был совершенно нелепый разговор, и Медрано подумал, есть ли еще кто-нибудь в баре; ему необходимо было выпить. Персио изъявил желание проводить его, но дверь в бар была уже заперта, и они распрощались немного печально. Доставая ключ от каюты, Медрано думал о сером цвете и о том, что весьма кстати оборвал разговор с Персио, словно ему нужно было опять побить одному. Рука Клаудии на подлокотнике кресла... И снова это неприятное ощущение под ложечкой, это беспокойство, которое всего несколько часов назад называлось Беттиной, но которое уже не было ни Беттиной, ни Клаудией, ни провалившейся вылазкой в трюм, хотя и было всем этим понемногу и чем-то еще, что не удавалось уловить и распознать, хотя оно было тут, но слишком близко, в нем самом.

Пока дамы с веселой болтовней совершали моцион перед сном, Медрано следил за доктором Рестелли, который важно и цветисто излагал Раулю и Лопесу план, составленный им и дон Гало в предвечерние часы. Отношения между пассажирами оставляли желать лучшего, тем более что многие из них даже не перекинулись друг с другом и словом, не говоря уже о тех, кто вообще старался уединиться, вот почему дон Гало и излагавший план доктор Рестелли пришли к заключению, что любительский концерт был бы лучшим средством растопить лед, и прочее, и прочее. Если Лопес и Рауль согласятся принять участие, как, несомненно, и остальные пассажиры, чей возраст и здоровье позволят проявить способности, вечер будет иметь огромный успех и путешествие продолжится в атмосфере более тесного взаимопонимания и дружелюбия, столь присущих аргентинскому характеру, чуть сдержанному, но безмерно экспансивному после первого же шага к сближению.

— Ну что ж, посмотрим,— сказал Лопес, несколько удивленный,— я, например, умею показывать карточные фокусы.

— Превосходно, просто превосходно, дорогой коллега, — воскликнул доктор Рестелли. — Подобные вещи, столь незначительные на первый взгляд, имеют колоссальное значение в социальном аспекте. Мне доводилось в течение нескольких лет председательствовать на различных вечерах в литературных и других клубах, и, смею вас уверить, трюки иллюзиониста всегда встречаются с большим одобрением. Заметьте, такой вечер духовного и художественного сближения позволит также рассеять справедливую тревогу, которая могла возникнуть среди наших дам в связи с неприятной новостью об эпидемии. А вы, сеньор Коста, что вы могли бы нам предложить?

— Представления не имею, — сказал Коста, — но, если вы дадите мне время переговорить с Паулой, нам, вероятно, придет в голову какая-нибудь идея.

— Похвально, похвально, — сказал доктор Рестелли. — Я уверен, что все получится отличным образом.

Лопес не был в этом уверен. Оставшись снова наедине с Раулем (бармен начал гасить свет, намекая, что пора идти спать), он решил поговорить с ним.

— Рискуя навлечь на себя новые насмешки Паулы, я все же хотел бы узнать, как вы относитесь к еще одной вылазке в недра парохода?

— Так поздно? — удивился Рауль.

— Ну, там, внизу, время, кажется, не имеет большого значения. Мы избежим свидетелей, и кто знает, может, нам будет сопутствовать удача. Стоит попробовать еще раз пройти той дорогой, по которой вы и юный Трехо ходили сегодня днем. Я не совсем представляю, где надо спускаться, но, если вы мне покажете, я могу отправиться один.

Рауль посмотрел на него. На этого Лопеса совсем не действуют нападки. Паула обрадовалась бы, услышав его.

— Я с удовольствием пойду с вами, — сказал он. — Спать мне не хочется, и к тому же, возможно, мы развлечемся.

Лопес подумал, что неплохо было бы позвать и Медрано, но оба решили, что он, вероятно, уже в постели. Как ни удивительно, дверь в коридорчик была снова открыта, и они спустились, не встретив никого на своем пути.

— Здесь я нашел оружие, — объяснил Рауль. — А здесь находились два липида, один из них весьма внушительных размеров. Смотрите, свет до сих пор горит; что-то вроде дежурного поста, хотя больше пугает на чулан красильни или что-нибудь столь же непопулярное. Вот он.

Сначала они его не заметили, потому что матрос по имени

Орф сидел на корточках за грудой пустых мешков. Он медленно поднялся, держа в руках черного кота, и посмотрел на них без всякого удивления, но с какой-то неприязнью, словно они помещали ему. Рауль снова ступешался при виде этой кладовки, напоминавшей и каюту и дежурный пост. Лопес обратил внимание на гипсометрические карты, которые напомнили ему школьный географический атлас, где краски и линии говорили о разнообразии мира за пределами Буэнос-Айреса.

— Его зовут Орф,— сказал Рауль, показывая на матроса.— Он неразговорчив. *Hasdala*,— добавил он, приветливо помахав рукой.

— *Hasdala*,— сказал Орф.— Предупреждаю, здесь нельзя оставаться.

— Не такой уж он молчальник,— сказал Лопес, стараясь угадать национальность Орфа по акценту и имени, но пришел к заключению, что легче всего считать его просто липидом.

— Вы это нам уже говорили сегодня днем,— заметил Рауль, садясь на скамью и доставая трубку.— Как здоровье капитана Смита?

— Не знаю,— сказал Орф, опуская кота на пол.— Лучше вам уйти отсюда.

Он произнес это без всякого выражения и медленно сел на табурет. Лопес примостился на краю стола, внимательно изучая карты. Он увидел дверь в глубине и подумал, успеет ли он метнуться к ней и открыть ее, прежде чем Орф преградит ему путь. Рауль угостил Орфа табаком из своей табакерки. Матрос курил старую резную трубку, по форме напоминавшую сирену.

— Вы давно плаваете? — спросил Рауль.— Я имею в виду на «Малькольме».

— Два года. Я тут из самых новеньких.

Он встал, чтобы прикурить от спички, которую протянул ему Рауль. Но едва Лопес, соскочив со стола, ринулся к двери, Орф, подняв скамью за ножку, шагнул к нему. Рауль выпрямился, увидев, что Орф схватил скамью не случайно, однако, прежде чем Лопес успел догадаться об угрозе, матрос опустил скамью перед дверью, а затем уселся на нее, словно танцовщик, завершивший сложное балетное па. Лопес посмотрел на дверь, сунул руки в карманы и повернулся к Раулю.

— *Orders are orders*¹,— сказал Рауль, пожимая плечами.— Я уверен, что наш друг Орф превосходный человек, но дружба его кончается там, где начинаются двери. Правильно, Орф?

¹ Приказ есть приказ (*англ.*).

— Вы все настаиваете и настаиваете,— недовольно проворчал Орф.— Туда нельзя. Лучше, если вы...— Он с удовольствием затыкнулся.— Очень хороший табак, сеньор. Вы его в Аргентине покупали?

— Этот табак я покупаю в Буэнос-Айресе,— сказал Рауль.— На Флориде и Лавалье. Он стоит уйму денег, но я считаю, что табачный дым должен ласкать обоняние Зевса. Что вы нам советуете, Орф?

— Ничего,— сказал Орф, насупившись.

— Ради нашей дружбы,— сказал Рауль.— Видите ли, у нас есть намерение приходить к вам в гости почаще, к вам и к вашему коллеге с голубой змеей.

— Правильно, к Бобу. Почему бы вам не пройти с его стороны? Я не против того, чтобы вы приходили,— добавил он с грустью.— Дело не во мне, но если что случится...

— Ничего не случится, Орф, это-то и плохо. Мы будем навещать вас, а вы будете сидеть перед дверью на своей трехногой скамейке. Но давайте хоть покурим, а вы расскажите нам о морском чудовище и Летучем Голландце.

Раздраженный своей неудачей, Лопес без всякого интереса слушал их разговор. Он снова посмотрел на карты, на портативный патефон (на нем стояла пластинка Ивора Новелло) и взглянул на Рауля, который, видимо, забавлялся, не выказывая никаких признаков беспокойства. Лопес нехотя присел на край стола: может, еще представится случай добраться до двери. Орф, казалось, был не прочь поговорить, хотя продолжал держаться настороженно.

— Вы пассажиры и не понимаете,— сказал Орф.— Что до меня, я не стал бы мешать вам... Но мы с Бобом и так здорово рискуем. Как раз по вине Боба и могло бы случиться...

— Что? — сказал Рауль, стараясь расшевелить его.

«Это какой-то кошмар,— подумал Лопес.— Он не заканчивает ни одной фразы, говорит какими-то дурацкими обрывками».

— Вы взрослые люди, и вам бы надо было присмотреть за ним, потому что...

— За кем?

— За пареньком,— сказал Орф.— За тем, что приходил раньше с вами.

Рауль перестал раскачиваться на табурете.

— Не понимаю,— сказал он.— А что с ним случилось?

Орф снова озабоченно поглядел на дверь в глубине, словно опасаясь, что его подслушают.

— Да вообще-то ничего не случилось,— сказал он.— Я просто хочу, чтобы вы его предупредили... Сюда никто из вас не имеет права приходить,— закончил он почти грубо.— А теперь мне надо идти спать, уже поздно.

— А почему нельзя пройти через эту дверь? — спросил Лопес.— Она ведет на корму?

— Нет, ведет в... А корма дальше будет. Там каюта. Туда нельзя.

— Пойдемте,— сказал Рауль, пряча трубку.— Для меня на сегодня довольно. Прощай, Орф. До скорой встречи.

— Лучше вам сюда не возвращаться,— сказал Орф.— Не из-за меня, конечно, но...

В коридоре Лопес вслух спросил себя, что могли значить эти обрывочные фразы. Рауль, который шел за ним следом, тихонько насвистывая, нетерпеливо фыркнул.

— Я начинаю кое-что понимать,— сказал он.— Например, где он напился. Мне и тогда показалось странным, что бармен дал ему столько; я, правда, подумал, что он опьянел с одной рюмки, но наверняка он выпил намного больше. И вдобавок этот запах табака... Табака липидов, черт побери.

— Мальчишка вознамерился сделать то же, что и мы,— сказал Лопес с огорчением.— В конце концов, все мы стараемся прославиться, раскрыв тайну.

— Да, но он подвергается большей опасности.

— Вы так полагаете? Не такой уж он маленький.

Рауль промолчал. Лопесу, уже поднимаемому по трапу, вдруг показалось странным выражение его лица.

— А скажите, почему бы нам не проделать с ними того, что они заслуживают?

— Действительно,— рассеянно сказал Рауль.

— Сбить с ног, повалить. И мы давно были бы у двери.

— Возможно, но я сомневаюсь в успехе, во всяком случае на этом этапе. Орф, похоже, здоровенный детина, я не представляю себе, как бы я удержал его на полу, пока вы открывали бы дверь. И потом, у нас вообще нет никаких оснований действовать подобным образом.

— Да, это-то и скверно. До завтра, че.

— До завтра,— машинально отозвался Рауль. Лопес видел, как он вошел в каюту, а сам направился в другой конец коридора. Остановившись, он стал рассматривать систему стальных штанг и шестеренок и подумал, что Рауль, наверное, сейчас рассказывает Пауле об их неудачной экспедиции. Он ясно представил себе насмешливое лицо Паулы. «А Лопес тоже, разу-

меется, был с тобой». И какое-нибудь едкое замечание, рассуждение о всеобщей тупости. Он снова вспомнил, какое было лицо у Рауля, когда он обернулся, поднимаясь по трапу: явный страх, какая-то озабоченность, не имевшая ничего общего ни с кормой, ни с липидами. «Откровенно говоря, я ничему бы не удивился,— подумал Лопес.— Тогда...» Нет, не надо строить иллюзий, даже если его подозрения и совпадают с тем, на что намекала Паула. «Дай бог, чтобы это оказалось так»,— подумал он, вдруг испытывая радость, совершенно неоправданную, глупую радость и желание. «Впрочем, я, по своему обыкновению, наверно, опять свалю дурака»,— сказал он себе, придиричиво разглядывая в зеркале свое отражение.

Паула не смеялась над ними; удобно устроившись в постели, она читала роман Массимо Бонтемпелли и встретила Рауля вполне приветливо. Налив в стакан виски, он присел к ней на кровать и заметил, что морской ветерок уже заметно позолотил ее кожу.

— Дня через три я превращусь в настоящую скандинавскую богиню,— сказала Паула.— Я рада, что ты пришел, мне надо поговорить с тобой о литературе. С тех пор как мы сели на пароход, я еще ни разу не говорила с тобой о литературе, а это не дело.

— Выкладывай,— рассеянно согласился Рауль.— Какие-нибудь новые теории?

— Нет, новые тревоги. Со мной происходит довольно кошмарная история, Раулино,— чем лучше книга, которую я читаю, тем больше она мне претит. Я хочу сказать, что мне внушают отвращение литературные изыски, а вернее, сама литература.

— Этого можно избежать, прекратив чтение.

— Нет. Мне то и дело попадают книжки, которые никак нельзя отнести к большой литературе, и тем не менее они мне не противны. И я начинаю понимать почему: потому, что автор не заботился об эффектах и совершенстве формы, избегнув при этом публицистичности и сухого наукообразия. Это трудно объяснить, я сама не очень-то ясно все себе представляю. Я думаю, необходимо стремиться к новому стилю, и, если хочешь, мы можем по-прежнему называть его литературным, но справедливей было бы заменить это название каким-нибудь другим. Однако этот новый стиль может возникнуть только при новом видении мира. И если в один прекрасный день такое направление будет

достигнуто, какими глупыми покажутся нам романы, которыми мы восхищаемся сегодня, с их недостойными трюками, главами и подглавками, с хорошо рассчитанными завязками и развязками...

— Ты настоящий поэт, — сказал Рауль, — а всякий поэт по сути своей враг литературы. Но мы, подлунные существа, продолжайте считать прекрасной какую-нибудь главу из произведения Генри Джеймса или Хуана Карлоса Онетти, которые, к счастью для нас, не имеют ничего общего с поэтами. По существу, ты упрекаешь романы за то, что они водят тебя за нос, или, иными словами, за их воздействие на читателя посредством формы, совсем не как в поэзии. Непонятно только, почему тебе мешает то, как сделано произведение, авторские уловки, ведь нравится же это тебе у Пикассо или у Альбана Берга?

— Вовсе не нравится, просто я не обращаю на это внимания. Будь я художницей или музыканткой, я возмутилась бы не меньше. Но дело не только в этом, меня приводит в отчаяние низкопробность литературных приемов, их непрерывное повторение. Ты скажешь, что в искусстве нет прогресса, но об этом можно только пожалеть. Когда начинаешь сравнивать, как разрабатывают какую-нибудь тему древний автор и современный, то замечаешь, что по крайней мере в описаниях у них почти нет различий. Мы можем сказать одно — мы более испорчены, более информированы, у нас более обширные познания, но шаблоны остаются теми же, женщины по-прежнему краснеют или бледнеют, что в действительности никогда не случается (я иногда немного зеленею, это верно, а ты становишься пунцовым), мужчины действуют, думают и отвечают в соответствии с неким универсальным пособием, которое одинаково применимо и к индейскому роману, и к американскому бестселлеру. Теперь понимаешь? Я говорю о форме, но если я ее осуждаю, то только потому, что она отражает внутреннюю бесплодность, вариации на скучную тему, как, например, эта мешанина Хиндемита на тему Вебера, которую мы, несчастные, слушаем в трудную минуту.

Она с облегчением вытянулась и положила руку на колено Рауля.

— Ты плохо выглядишь, сынок. Расскажи своей мамочке Пауле, что случилось.

— О, я чувствую себя превосходно, — сказал Рауль. — Куда хуже выглядит наш друг Лопес, с которым ты так дурно обошлась.

— Оп, ты и Медрано этого заслужили, — сказала Паула. — Ведете себя, как глупые забияки, единственно здравый чело-

век — это Лусио. Надеюсь, мне не надо объяснять тебе почему...

— Разумеется, но Лопес, должно быть, подумал, что ты и в самом деле сторонница порядка и *laissez faire*¹. Ему это очень не понравилось, ты для него прообраз женщины, ты его Фрейя², Валькирия, и смотри, чем все это кончится. У Лусио, например, на лице написано, что он закончит свои дни в муниципалитете или в какой-нибудь ассоциации доноров. Ну и жалкий тип.

— Так, значит, Ямайка Джон ходит с поникшей головой? Бедный мой потерянный пиратик... Знаешь, мне очень понравился Ямайка Джон. И не удивляйся, что я плохо с ним общаюсь. Мне нужно...

— Ах, не начинай перечислять свои требования, — сказал Рауль, допивая виски. — За свою жизнь ты уже испортила немало майонезов из-за того, что пересаливала их или выжимала слишком много лимона. А потом, плевал я на то, каким тебе кажется этот Лопес и что ты намерена в нем открыть.

— *Monsieur est fâché?*³

— Нет, но ты куда благоразумней, когда рассуждаешь о литературе, а не о чувствах; с женщинами такое часто случается. Знаю, знаю, ты скажешь, что это лишь доказывает, будто я в них не разбираюсь. Но держи свое мнение при себе.

— *Je ne te le fais pas dire, mon petit*⁴. Может, ты и прав. Дай мне глоток этой гадости.

— Завтра у тебя весь язык обложит. Виски тебе вредно в столь поздний час и, кроме того, стоит слишком дорого, а у меня с собой всего четыре бутылки.

— Дай мне немножко, гнусный летучий мышонок.

— Пойди возьми сама.

— Я голая.

— Ну и что?

Паула посмотрела на него с улыбкой.

— Ну и что, — повторила она, подбирая ноги и откидывая простыню. Она пошарила ногами, отыскивая тапочки, Рауль с раздражением смотрел на нее. Поднявшись рывком, она бросила простыню ему в лицо и прошла до консоли, где стояли бутылки. Спина ее четко выделялась в полумраке каюты.

— У тебя восхитительные бедра, — сказал Рауль, освобождаясь от простыни. — Пока совсем гладенькие. А ну-ка, как спереди?

¹ Непротивления (*франц.*).

² Богиня любви в скандинавской мифологии.

³ Мсье сердится? (*франц.*)

⁴ Я не заставляю тебя говорить это, малыш (*франц.*).

— Спереди тебя заинтересует куда меньше,— сказала Паула тоном, от которого он приходил в бешенство. Она плеснула виски в большой стакан и прошла в ванную, чтобы добавить воды. Медленно вернулась назад. Рауль смотрел ей в лицо, потом опустил глаза и скользнул взглядом по груди и животу. Он знал, что произойдет, и приготовился к этому: и все же лицо его дернулось от сильной пощечины, и почти тотчас же он услышал, как Паула громко всхлипнула и глухо стукнул упавший на ковер стакан.

— Теперь всю ночь нельзя будет дышать,— сказал Рауль.— Лучше бы ты его выпила, у меня ведь есть содовые таблетки.

Он наклонился над Паулой, которая плакала, лежа ничком на постели. Погладил ее по плечу, потом по едва различимой в полумраке спине, пальцы его скользнули по ложбинке между лопатками и замерли на бедре. Он закрыл глаза и представил себе то, что хотел представить.

«...любящая тебя Нора». Она еще раз посмотрела на свою подпись, потом быстро сложила листок, надела конверт и запечатала письмо. Сидя на кровати, Луисо пытался читать номер «Риджер'с дайджест».

— Уже очень поздно,— сказал Луисо.— Ты еще не ложишься?

Нора не ответила. Оставив письмо на столе, она взяла ночную рубашку и вошла в ванную. Луисо казалось, что шум душа никогда не прекратится, вот почему он изо всех сил старался занять себя моральными проблемами летчика Милуоки, ставшего анабаптистом в разгаре боя. Луисо решил отказаться от своих намерений и лечь спать, но все равно надо было подождать, чтоб умыться, а может, она... Сжав зубы, он подошел к двери в ванную и подергал ручку, но тщетно.

— Ты не откроешь? — спросил он самым естественным тоном.

— Нет, не открою,— ответил Норин голос.

— Почему?

— Потому. Я сейчас выйду.

— Открой, тебе говорят.

Нора не ответила. Луисо надел пижаму, повесил свою одежду, аккуратно расставил тапочки и ботинки. Нора вышла с повязанной полотенцем головой, с раскрасневшимся лицом.

Луисо заметил, что она надела ночную рубашку. Усевшись перед зеркалом, Нора начала вытирать голову и бесконечно долго расчесывать волосы.

— Откровенно говоря, я хотел бы знать, что с тобой происходит,— сказал Лусио твердым голосом.— Ты рассердилась потому, что я прошелся с этой девушкой? Ты тоже могла пойти с нами, если бы захотела.

Вверх-вниз, вверх-вниз. Норины волосы понемногу обретали блеск.

— Значит, ты так мало мне доверяешь? Или, может, вообразила, что я собрался флиртовать с ней? Ты из-за этого рассердилась? Правда? Ума не приложу, какая у тебя еще может быть причина. Но наконец, скажи, скажи, в чем дело. Тебе не понравилось, что я вышел с этой девушкой?

Нора положила щетку на комод. Лусио она показалась страшно усталой, не способной произнести ни слова.

— Может, ты плохо себя чувствуешь,— сказал он, меняя тон и стараясь найти лазейку.— Ты на меня не сердись, правда? Ты сама видела, я сейчас же вернул. И что тут, в конце концов, плохого?

— Похоже, и в самом деле было что-то плохое,— сказала Нора тихим голосом.— Ты так оправдываешься...

— Я просто хочу, чтобы ты поняла, что с этой девушкой...

— Оставь в покое эту девушку; сразу видно, что она бестыжая.

— Тогда почему ты на меня рассердилась?

— Потому, что ты мне лжешь,— резко сказала Нора.— И потому, что вечером говорил такие вещи, от которых мне противно стало.

Лусио отшвырнул сигарету и приблизился к Норе. В зеркале его лицо выглядело почти комично, ни дать ни взять актер в роли возмущенного и оскорбленного мужа.

— А что я такого сказал? Выходит, ты тоже, как и остальные, вбила себе в голову эту чепуху. Хочешь, чтобы все полетело вверх тормашками?

— Я ничего не хочу. Мне обидно, что ты умолчал о вашем дневном походе.

— Я просто забыл, вот и все. По-моему, идиотство разыгрывать из себя заговорщиков, когда для этого нет никаких причин. Вот увидишь, они испортят все путешествие. Все погубят своими дурацкими выходками.

— Ты мог бы выбрать другие выражения.

— Ах да, я совсем забыл, что сеньора не терпит грубостей.

— Я не выношу вульгарности и лжи.

— Разве я тебе солгал?

— Ты умолчал о случившемся, а это равносильно лжи. Если

только ты не считаешь меня достаточно взрослой, чтобы посвящать в свои похождения.

— Но, дорогая, это же пустячное дело. Дурацкая выдумка Лопеса и остальных; втянули меня в авантюру, которая мне все не интересна, и я прямо сказал им об этом.

— По-моему, не очень-то прямо. Прямо говорят они, и мне стало страшно. Так же как тебе, только я не скрываю этого.

— Мне страшно? Если ты имеешь в виду этот двести какой-то тиф... Да, я считаю, что надо оставаться в этой части парохода и не лезть ни в какую заваруху.

— Они не верят, что там тиф,— сказала Нора,— и все же они беспокоятся и не скрывают этого, как ты. По крайней мере выкладывают все карты на стол, пытаются что-то предпринять.

Луисо облегченно вздохнул. В таком случае все его опасения рассеивались, теряли свою силу и значимость. Он положил руку на Норино плечо и наклонился, чтобы поцеловать ее в голову.

— Какая ты глупышка, какая красивая и какая глупышка,— сказал он.— Я так стараюсь не огорчать тебя...

— Уж не потому ли ты промолчал о сегодняшнем походе.

— Именно потому. А почему же еще?

— Да потому, что тебе было стыдно,— сказала Нора, вставая и направляясь к своей постели.— И сейчас тебе тоже стыдно, и в баре ты не знал, куда деваться. Да, стыдно.

Значит, не так-то легко будет ее сломить. Луисо пожалел о том, что приласкал и поцеловал ее. Нора решительно повернулась к нему спиной; тело ее, прикрытое простыней, стало маленькой враждебной преградой, чьи неровности, впадины и выпуклости завершались копной мокрых волос на подушке. Настоящая стена между ним и ею. Молчаливая и неподвижная стена.

Когда он вернулся из ванной, распространяя запах зубной пасты, Нора уже погасила свет, но продолжала лежать в прежней позе. Луисо подошел, стал коленом на край постели и отдернул простыню. Нора резко села.

— Я не хочу, иди к себе. Дай мне спать.

— Ну что ты,— сказал он, беря ее за плечо.

— Оставь меня, слышишь. Я хочу спать.

— Хорошо, спи себе, но рядом со мною.

— Нет, мне жарко. Я хочу остаться одна, одна!

— Ты так рассердилась? — спросил он тоном, каким обычно говорят с детьми.— Так сильно рассердилась эта глупенькая девочка?

— Да, — ответила Нора, закрывая глаза, словно хотела отделаться от него. — Дай мне спать.

Лусио выпрямился.

— Ты просто ревнуешь, вот и все, — сказал он, отходя. — Тебя бесит, что я вышел с ней на палубу. Это ты мне все время лгала.

Но он не получил ответа, возможно, она уже не слышала его.

Ф

— Нет, не думаю, чтобы мое поле действия было яснее цифры пятьдесят восемь или одного из этих морских атласов, которые обрекали суда на кораблекрушение. Оно осложняется непреодолимым словесным калейдоскопом, словами, как мачты, с заглавными буквами — бешеными парусами. Например, «самсара» — произношу я, и у меня вдруг дрожат пальцы ног, но дело не в том, что у меня дрожат пальцы ног, и не в том, что жалкий корабль, который несет меня, как дешевую, грубо вырезанную маску, на своем носу, раскачивается и трепещет под ударами Трезубца. Самсара — и почва уходит у меня из-под ног, самсара — дым и пар вытесняют все прочие элементы, самсара — творение великой мечты, детище и внук Махамайи.

Постепенно выходят взъерошенные и голодные суки со своими заглавными буквами, точно колонны, раздутые от великолепной тяжести исторических капителей. Как обратиться мне к малышу, к его матери и этим людям — молчаливым аргентинцам — и сказать им, поговорить с ними о моем поле действия, которое дробится и исчезает, как бриллиант, расплавленный в холодной битве снегопада? Они повернулись бы ко мне спиной, ушли бы, и если бы я решился написать им, ибо порой я думаю о преимуществе обширного и тщательного манускрипта — итоге моих долгих бессонных размышлений, то они отбросили бы мои открытия с тем же небрежением, которое склоняет их к прозе, к выгоде, к определенности, к журналистике с ее лицевым мером. Монолог! Вот единственный выход для души, погруженной в сложности. Что за собачья жизнь!

(Резвый пируэт Персио под звездами.)

— В конце концов, человек не в силах остановить переваривание рыбного блюда с помощью диалектик, антропологий, непостижимых повествований Косьмы Индикоплевста¹; сверка-

¹ Косьма Индикоплевст (т. е. плаватель в Индию) — византийский купец и монах, живший в VI в.

ющих книг, отчаянной магии, которая предлагает мне там, в вышине, свои горящие идеографические знаки. Если я — полураздавленный таракан и бегу на половине своих ножек с одной доски на другую, замираю на головокружительной высоте маленькой щепочки, отколовшейся под гвоздем башмака Пресутти, споткнувшегося о сучок... И все же я начинаю понимать: это очень похоже на дрожь; я начинаю видеть: это меньше, чем привкус пыли; я начинаю начинать: бегу назад, возвращаюсь! Да, надо возвратиться туда, где спят еще в стадии личинок ответы, спят свою первую ночь. Сколько раз, сидя в автомобиле Левбаума и убивая без пользы конец недели в долинах под Буэнос-Айресом, я чувствовал, что меня надо было бы зашить в мешок и выбросить напротив Боливара или Пергамино, близ Касбаса или Мерседес — в любом месте, рядом с совами на пиках ограды, подле жалких лошадей, отыскивающих осенью ворованный корм. Вместо того чтобы принять *toffee*¹, которую Хорхе настойчиво совал мне в карман, вместо того чтобы быть счастливым рядом с простым и покровительственным величием Клаудиш, я должен был остаться в ночной палатке, как здесь этой ночью в чужом и злобном море, лечь навзничь так, чтобы пылающая небесная простыня закрыла меня до подбородка, и позволить сокам земли и неба постепенно превратить меня в пищу для червей, в напудренного паяца, над бубенцами которого натянут шатер цирка, в гнилое мясо, от которого смердит на триста метров вокруг, смердит доподлинно, смердит по-настоящему, но только для самих смердящих, которые зажимают с добродетельным видом нос и бегут прятаться в своем «плимуте» или в воспоминаниях о музыкальных записях сэра Томаса Бичема, о неумные умники, о жалкие друзья!

(Ночь на секунду раскалывается, это пролетает падучая звездочка, и тоже на секунду «Малькольм» обрастает парусами и стенами, старинным такелажем и дрожит, словно совсем иной ветер клонит его на бок, и Персио, обратясь лицом к горизонту, забывает о радаре и телеантеннах, и перед ним возникает мираж: бригантины и фрегаты, турецкие фелюги и грекоримские сайки, венецианские полакры и голландские ульки, тунисские синдалы и тосканские галеры, вызванные к жизни скорее воображением Пио Барохи и долгими часами нудного труда у Крафта, нежели подлинным знанием того, что кроется за этими пышными названиями.)

¹ Сорт конфет (англ.).

К чему такое беспорядочное нагромождение, в котором я не могу отличить правду от воспоминаний, имен — от видимости? Ужас эколаллии, пустой игры словами. Но повседневная болтовня приводит лишь к столу, заставленному едой, к встрече с шампунем и бритвой, к жвачке в заумной передовице или к программе действий и размышлений, которые не стоят и выеденного яйца. Прикрытый травой, я должен был бы долгие часы прислушиваться, как пробежит в пампе зверек пелудо или с каким трудом прорастает колючка синасина. Сладкие и глупые слова из фольклора, шаткое предисловие всякого святотатства, как они ласкают мне язык своими резиновыми ножками, растут, подобно густой жимолости, мало-помалу освобождают мне доступ к настоящей Ночи, далекой и сопредельной, устраняя все, что идет от пампы к южному морю, о моя Аргентина, там, в глубине этого фосфоресцирующего занавеса, земные зловецкие улицы Чакариты, череда автобусов, отравленных яркой раскраской и рекламой. Все это близко мне, потому что все причиняет мне страдание, о космический Тупак Амáру¹, жалкий осмеянный, истекающий словами, в которых мой непримиримый слух улавливает отголоски воскресных выпусков «Ла Пренсы» или диссертации доктора Рестелли, преподавателя среднего учебного заведения. Но, распятый в пампе, лежа навзничь, лицом к безмолвию миллионов сверкающих котов, смотрящих на меня из млечного потока, который они лакают, я, возможно, согласился бы с тем, что у меня отняли книги, поняв вдруг второе и третьестепенный смысл телефонных справочников, железнодорожных расписаний, которыми я вчера дидактически фехтовал, как шпагой, для иллюстрации их сметливому Медрано, поняв, почему мой зонтик всегда ломается слева, почему я лихорадочно разыскиваю носки исключительно серо-жемчужного и бордового цвета. От знания к пониманию или от понимания к знанию — неверный путь, который я смутно различаю с помощью анахроничного словаря, опасных размышлений, устаревших призываний, удивления моего начальства и раздражения лифтеров. Неважно, Персио продолжается, Персио — это отчаявшийся атом на краю тропинки, недовольный законами кровообращения, это маленький мятеж, с которого начинается катафалк водородной бомбы, пролог к грибу, который наслаждается *habitués*² с улицы Флорида и серебряным экраном. Я видел американскую землю, когда

¹ Тупак Амáру — руководитель крупнейшего восстания индейцев в Перу в XVIII веке.

² Завсегдатаями (франц.).

она всего ближе была к откровению, я взбирался пешком по Успальятским холмам, я спал с мокрым полотенцем на лице, когда пересекал Чако, я соскакивал с поезда в Адской Пампе, чтобы почувствовать свежесть земли в полночь. Я знаю запахи улицы Парагвай, а также Годой Крус де Мендоса, где винный компас течет меж дохлых котов и осколков бетона. Мне приходилось жевать коку в дороге, берeditь одинокую надежду, которую привычки отодвигают в глубину снов, чувствовать, как растет в моем теле третья рука, та, что ожидает, как бы схватить рука, которая вдруг сверкнет в поэзии, в мазке художника, в самоубийстве, в святости, которую престиж и слава тут же калечат и заменяют блестящими доводами, это труд прокаженного каменщика, который именуют объяснением и созиданием. Ах! Я чувствую, как в каком-то невидимом кармане сжимается и разжимается третья рука, ею я желал бы приласкать тебя, прекрасная ночь, осторожно освежевать имена и даты, что малопомалу закрывают солнце, — солнце, которое однажды так померкло в Египте, что понадобилось божество, которое бы излечило его... Но как объяснить все это моим товарищам по путешествию, себе самому, если я каждую минуту смотрюсь в зеркало сарказма и приглашаю себя вернуться в каюту, где меня ждут стакан холодной воды и подушка, огромное белое поле, по которому скачут галопом сны? Как различить третью руку без помощи поэзии, этой предательницы настороженных слов, этой сводни красоты, благозвучия, счастливых концов и проституирования, заключенного в матерчатые переплеты и объясненного законами стилистики? Нет, я не хочу вразумительной поэзии на пароходе, ни воду, ни изначальных обрядов. Я хочу иного — того, что ближе мне и менее связано со словом, освобождено от традиции, чтобы наконец все то, что традиция маскирует, пронзило бы, как плутоНИЕВЫЙ ягаган, ширму с нарисованными на ней историями. Лежа на клевере, я мог вступить в этот порядок, изучить его формы, ибо то будут не слова, а чистые ритмы, рисунки в самом чувствительном месте ладони третьей руки, сверкающие прообразы, тела, лишенные веса, в котором заключена тяжесть и сладостно трепещет росток милости. Что-то приближается ко мне все ближе и ближе, но я отступаю, я не умею примиряться со своей тенью; возможно, если бы я нашел способ сказать нечто подобное Клаудии, молодым весельчакам, которые бегут навстречу бесчисленным играм, слова послужили бы им факелами в пути, и именно здесь, не на равнине, где я предал свой долг, отказавшись от объятий посреди возделанного поля,

именно здесь третья рука поломала бы в самый суровый миг первые часы вечности, встречу, подобную мерцанию огней святого Эльма на развешанной для просушки простыне. Но я такой же, как они, мы все тривиальны, мы все сначала метафизики, а уж потом физики, мы стараемся забежать вперед, опережая вопросы, чтобы их клыки не разорвали нам брюки, и вот так изобретается футбол, так становятся радикалами, или подпоручиками, или корректорами у Крафта, о безграничное вероломство! Возможно, Медрано — единственный из всех, кто знает это: мы тривиальны и за это расплачиваемся счастьем или несчастьем, если счастьем, то счастьем сурка, обросшего жиром, если несчастьем, то таинственным несчастьем Рауля Косты, который прижимает к своей черной пижаме пепельного лебедя, и даже, когда мы рождаемся, чтобы спрашивать и получать ответы, нечто безгранично беспорядочное, что заключено в самой закваске аргентинского хлеба, в цвете железнодорожных билетов или в количестве кальция в водах Аргентины, все это швыряет нас, как очумелых, во всеобщую драму, и мы вскакиваем на стол, чтобы протанцевать танец Шивы с огромным лингамом в руке, или сломя голову бежим от выстрела в голову или от светильного газа, пресыщенные до отвращения бесцельной метафизикой, несуществующими проблемами, вымышленными невидимостями, которые ловко заволакивают дымом центральную пустоту — статую без головы, без рук, без лингама и без йони, подобие, удобную принадлежность, грязные склонности, ясную, стремящуюся к беспредельности рифму, в которой еще заключены и наука и совесть. Почему прежде всего не вышвырнуть ядовитый груз сотворенной на бумаге истории, не отказаться от чествований, не взвесить свое сердце на весах слез и голода? О Аргентина, к чему этот страх перед страхом, эта пустота, скрывающая пустоту? Вместо страшного суда мертвецов, прославленного в папирусах, почему не наш суд живых, ломающих себе голову о Пирамиду Мая, чтобы наконец родилась третья рука, несущая алмазный топор иaleb, цвет нового времени, его завтрашний день очищения и сплоченности? Кто этот сукин сын, что болтает о лаврах, которых мы добились? Мы, мы добились лавров? Но неужели мы такие подонки?

— Нет, не думаю, чтобы мое поле действия было яснее цифры пятьдесят восемь или одного из этих морских атласов, которые обрекали суда на кораблекрушение. Оно осложняется непреодолимым словесным калейдоскопом, словами, как мячты, с заглавными буквами...

ДЕНЬ ВТОРОЙ

XXXII

Хорошо еще, что она догадалась взять с собой несколько журналов, а то книги в библиотеке оказались на каких-то непонятных языках и две-три, найденные ею, на испанском были о войнах, еврейских проблемах и прочих слишком сложных материях. Дожидаясь, пока донья Пепа закончит прическу, Нелли с удовольствием принялась рассматривать журналы с рекламой коктейлей, которые подавали в крупных ресторанах Буэнос-Айреса. Ее восхищал изящный стиль Хакобиты Эчанис, которая обращалась к своим читательницам с такой непринужденностью, словно была одной из них, нисколько не кичась тем, что вращалась в высшем обществе, и одновременно давая понять (о господи, и почему это мать придумала себе прическу, как у прачки), что принадлежит к иному миру, где все такое розовое, надушенное, затянутое в перчатки. «Я только и делаю, что хожу на просмотры новых мод», — доверительно сообщала Хакобита своим верным поклонникам. Лусия Шлейфер, не только красавица, но и умница, сообщила об эволюции женской моды (в связи с выставкой текстиля в Гате и Шавесе), и все поражаются при виде плиссированных нижних юбок, которых до последнего времени никто, кроме североамериканских чародеев, не изготовлял... Французское посольство приглашает избранное общество в Эль Альвеар, чтобы показать последние парижские модели. (Как говорил один модельер: Кристиан Диор идет впереди, а мы все стараемся лишь догнать его.) Приглашенным подарят французские духи, и все уйдут довольные, с чудесным флакончиком в руках...

— Ну, я уже готова, — сказала донья Пепа. — Вы тоже, донья Росита? Кажется, сегодня прекрасное утро.

— Да, но опять начинает качать, — с досадой сказала донья Росита. — Пойдем, доченька?

Нелли закрыла журнал, предварительно узнав, что Хакобита только что посетила сельскохозяйственную выставку в парке Сентенарио, где она случайно встретила Юлию Бульрих де Септ в окружении корзины и друзей, Стеллу Морро де Каркано и неутомимую сеньору де Удаондо. Нелли спросила себя, почему это сеньору Удаондо называют неутомимой? И неужели все это происходило в парке Сентенарио, в переулке, где жила Кока Чименто, ее подружка по магазину. Они тоже могли бы выбраться туда как-нибудь в субботу, попросили бы Атилио сводить их на

эту самую сельскохозяйственную выставку. А верно, пароход сильно качает, наверняка мамочка и донья Росита опять расклеются, как только выпьют молока, да и она тоже... Это безобразие — вставать так рано: во время таких приятных путешествий завтрак должны подавать не раньше половины десятого, как в хорошем обществе. Когда явился Атилио, свежий и возбужденный, она спросила, можно ли на этом пароходе оставаться в постели до половины десятого и позвонить, чтобы принесли завтрак в каюту.

— Конечно,— сказал Пушок не слишком уверенно.— Здесь можешь делать все, что хочешь. Я встаю рано только потому, что люблю глядеть на море, когда встает солнце. Ой, жрать хочу, не могу. А как тебе погодка? Куда ни глянь, всюду вода!.. Дельфинов, правда, пока не видно, но наверняка сегодня увидим. Доброе утро, сеньора, как дела? Как поживает ваш малец, сеньора?

— Он еще спит,— сказала сеньора Трехо, не уверенная, что слово «малец» подходит к ее Фелипе.— Муж сказал, что бедняжка провел ночь очень беспокойно.

— Здорово перегрелся на солнце,— заявил Пушок с важным видом.— Я его несколько раз предупреждал: смотри, малец, я дока по этой части, знаю, что говорю, не переусердствуй в первый день... Какое там, разве его убедишь. Ничего, так скорей поймет. Знаете, когда я был в армии...

Донья Росита оборвала надоевшие воспоминания Пушка о жизни в казарме, заявив, что необходимо скорей подняться в бар, потому что в коридоре сильнее чувствуется качка. Этого замечания было достаточно, чтобы сеньора Трехо тут же ощутила тошноту. Она выпьет не больше одной чашки черного кофе, доктор Виньяс говорил, что кофе очень помогает от морской болезни. Донья Пена, напротив, считала, что лучше выпить кофе с молоком и съест хлеба с маслом, но кофе, конечно, без сахара, потому что от сахара кровь густеет, а это вредно при морской болезни. Сеньор Трехо, присоединившись к обществу, пытался найти какое-то научное обоснование столь смелой теории, но тут из проема трапа на железных руках шофера вынырнул дон Гало и заявил, что готов расправиться с целой порцией яичницы с ветчиной. В бар входили все новые пассажиры, Лопес остановился, чтобы прочесть объявление, в котором сообщалось о часах работы дамской и мужской парикмахерских. Беба неторопливо поднялась по трапу и, чтобы обратить на себя внимание, задержалась на последней ступеньке, окинув всех долгим взглядом; за ней вошел Персио, в голубой рубашке и

мешковатых брюках кремового цвета. Бар наполнился шумом голосов и аппетитными запахами. Выкурив вторую сигарету, Медрано просунул в дверь голову — посмотреть, не пришла ли Клаудиа. Обеспокоенный, он снова спустился вниз и постучал в ее каюту.

— Боюсь показаться навязчивым, но мне пришло в голову, а вдруг Хорхе нездоровится и вам надо чем-то помочь.

Клаудиа в красном халате выглядела помолодевшей. Она протянула ему руку, но ни он, ни она не поняли, зачем понадобилось такое официальное приветствие.

— Спасибо, что пришли. Хорхе значительно лучше, он прекрасно спал всю ночь. Сегодня утром спросил, долго ли вы оставались у его постели... Но пусть он сам расспрашивает вас.

— Наконец-то пришел,— сказал Хорхе, обращавшийся к нему на «ты» без всякого смущения.— Вчера вечером ты обещал рассказать мне приключения Дэви Крокетта, смотри не забудь.

Медрано обещал, что попозже обязательно расскажет невероятные истории героев прерий.

— А сейчас, че, я пойду завтракать. Маме надо переодеться, да и тебе тоже. Мы встретимся на палубе, сегодня изумительное утро.

— Согласен,— сказал Хорхе.— Ну и болтали вы вчера, че.

— Ты слушал нас?

— Конечно, а еще мечтал о планетах. Знаешь, у нас с Персио есть своя планета.

— Немножко подражает Сент-Экзюпери,— доверительно заметила Клаудиа.— Чародей и полон всяких сенсационных открытий.

Возвращаясь в бар, Медрано думал о том, как всего за одну ночь чудесным образом изменилось лицо Клаудии. Прощаясь с ним вчера вечером, она выглядела усталой и огорченной, словно его исповедь причинила ей боль. И слова, которыми она сопровождала его признания, скудные и ленивые, и в то же время суровые, язвительные, не вязались с выражением ее лица. Она говорила с ним не грубо, но безжалостно, словно платя ему искренностью за искренность. И вот он увидел ее вновь такой, как днем, мать львенка. «Она не из тех, кто долго хандрит,— подумал он благодарно.— И я тоже, а вот добряк Лопес, напротив... Сказал, что прекрасно себя чувствует, а на самом деле почти не спал».

— Вы пойдете стричься? — спросил он.— Тогда пойдете вместе и, пока будем дожидаться очереди, поболтаем. Я считаю,

что парикмахерские — это такой институт, который необходимо культивировать.

— Как жаль, что не существует салона для очищения,— сказал Медрано с иронией.

— Да, очень жаль. Посмотрите на Рестелли, каким франтом он вырядился.

Красный в белую крапинку шейный платок под открытым воротом спортивной рубашки выглядел на докторе Рестелли очень эффектно. Завязавшаяся между ним и доном Гало скорая и решительная дружба скреплялась теперь составлением какого-то списка, в который они то и дело вносили поправки карандашом, взятым у бармена.

Лопес принялся рассказывать о ночной вылазке, предупредив заранее, что рассказывать почти не о чем.

— В результате собачье настроение, желание растоптать всех этих липидов или как они там называются.

— Я все спрашиваю себя, не напрасно ли мы теряем время,— сказал Медрано.— С одной стороны, мне осточертели бесплодные поиски, а с другой — сидеть без действия — значит упускать время. Следует признать, что сторонники статус-кво пока развлекаются лучше нас.

— Однако вы не считаете, что они правы.

— Я лишь анализирую создавшееся положение. Лично мне хотелось бы найти какой-нибудь выход, но, кроме насильственного пути, я ничего не вижу. И все же я не хотел бы портить остальным путешествие, тем более что они, по-видимому, им вполне довольны.

— Пока мы будем лишь выдвигать проблемы...— сказал Лопес с раздражением.— Откровенно говоря, я проснулся сегодня в отвратительном расположении духа и готов взорваться по любому поводу. Но почему я проснулся в скверном настроении? Загадка. Может, из-за печени.

Но печень была здесь ни при чем, если только эта печень не носила рыжих волос. И все же он лег спать довольный и уверенный, что все прояснится и сложится благоприятно для него. «А все равно грустно»,— подумал он, мрачно глядя в свою пустую чашку.

— Как вы считаете, этот Лусио давно женат? — спросил он неожиданно.

Медрано устался на него. Лопесу показалось, что он не решается ответить.

— Видите ли, мне не хотелось бы вас обманывать. Но и не хочется, чтобы об этом узнали все. Кажется, официально они

числятся молодоженами, но на самом деле им еще предстоит совершить маленькую церемонию в заведении, где пахнет чернилами и старой кожей. Луисо признался мне в этом еще в Буэнос-Айресе, мы иногда встречаемся с ним в университетском клубе на занятиях гимнастикой.

— Вообще меня это не интересует,— сказал Лопес.— Будьте уверены, я сохраняю этот секрет, к вящей досаде наших дам, но меня не удивит, если их тонкий нюх... Смотрите, одну уже укачало.

Несколько неуклюже, с грубоватой силой Пушок подхватил под руку свою мамашу и потащил ее к ближайшему трапу.

— Глоток свежего воздуха, мама, и у тебя все пройдет. Нелли, поставь, пожалуйста, кресло туда, где не дует. И зачем ты съела столько хлеба с мармеладом. Ведь я же тебя предупредил.

Дон Гало и доктор Рестелли с заговорщическим видом делали знаки Медрано и Лопесу. Список, который они держали в руках, уже состоял из нескольких листов.

— Давайте немного поговорим о нашем вечере,— предложил дон Гало, закуривая сигару сомнительного качества.— Черт побери, настало время немного поразвлечься.

— Хорошо,— сказал Лопес.— А потом пойдем в парикмахерскую. Отличная программа.

XXXIII

«Все устраивается, когда меньше всего этого ожидаешь»,— подумал Рауль, просыпаясь. Пощечина Паулы пошла ему на пользу: он лег в постель и быстро уснул. Но после прекрасного сна он снова подумал о Фелипе, который спускался в трюмную Нибеландию, освещенную фиолетовым светом, чтобы почувствовать себя независимым и уверенным в своих силах. «Чертов соплик, теперь понятно, почему он так быстро опьянел, ведь он еще перегрелся на солнце». Рауль представил себе (задумчиво разглядывая повернувшуюся в постели Паулу), как Фелипе входит в каюту Орфа и этой гориллы с татуировкой, завоевывает их симпатии, получает несколько рюмочек, разыгрывает из себя важную птицу и, возможно, дурно отзываясь об остальных пассажирах. «Драть его, выдрать как следует»,— думал Рауль с улыбочкой, ведь выдрать Фелипе было все равно, что...

Паула открыла один глаз и посмотрела на него.

— Привет.

— Привет,— ответил Рауль,— Look, love, what envious streaks. Do lace the severing clouds in yonder east ¹...

— В самом деле сверкает солнце?

— Night's candles are burnt out, and jocund day ²...

— Подойди, поцелуй меня,— сказала Паула.

— И не подумаю.

— Подойди, не будь злопамятным.

— Злопамятство не пустое слово, дорогая. Злопамятство еще надо заслужить. Вчера вечером ты вела себя как сумасшедшая, и это уже не в первый раз.

Паула спрыгнула с постели, к удивлению Рауля, она была в пижаме. Она подошла к нему, взъерошила ему волосы, погладила по лицу, поцеловала в ухо, пощекотала. Они смеялись, как дети, и он наконец обнял ее и тоже стал щекотать, пока оба не свалились на ковер и не докатились до середины каюты. Тут Паула рывком вскочила и завертелась на одной ноге.

— Ты уже не сердисься, не сердисься,— сказала она. И снова засмеялась, продолжая приплясывать.— Ну и пес же ты, вытащить меня из постели...

— Вытащить? Ах ты, бродяжка несчастная, да ты выскочила голая потому, что ты эксгибиционистка, и к тому же знаешь, что я не способен рассказать об этом твоему Ямайке Джону.

Паула села на пол и положила руки ему на колени.

— Почему Ямайке Джону, Рауль? Почему ему, а не другому?

— Потому, что он тебе правится,— сказал Рауль хмуро.— И потому, что он влюбился в тебя по уши. Est-ce que je t'appréhends des nouvelles? ³

— Нет-нет. Нам надо поговорить с тобой об этом, Рауль.

— Ни к чему. Найди другую исповедальню. Но так и быть, отпущаю тебе твои грехи.

— Нет, ты должен меня выслушать. Если ты меня не выслушаешь, что мне тогда делать?

— Лопес,— сказал Рауль,— занимает каюту номер один в коридоре по другому борту. Пойди к нему, он тебя с удовольствием выслушает.

¹ ...Смотри, любовь моя,
Завистливым лучом уж на востоке
Заря завесу облак прорезает...

² Ночь тушит свечи: радостное утро...
В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Акт III, сцена 5 (перевод Т. Щепкиной-Куперник).

³ Разве для тебя это новость? (франц.)

Паула вздохнула, задумчиво взглянула на него, и вдруг оба одновременно бросились, чтобы первым занять ванную комнату. Победила Паула, и Рауль снова повалился на постель и закурил. «Хорошенько исхлестать»... И еще кое-кого следовало бы хорошенько исхлестать. Исхлестать цветами и мокрыми полотенцами, медленно, с наслаждением исцарапать. И чтобы это длилось часами, прерываясь лишь для примирений и ласк, словно диалог статуй...

В половине одиннадцатого на палубе стали появляться первые пассажиры. Какой-то совершенно дурацкий горизонт окружал «Малькольм», и Пушки паскучило высккивать подтверждение чудес, предсказанных Персио и Хорхе.

Но кто смотрел, чтобы познать все это? На сей раз не Персио, он усердно брлся в своей каюте. Любой другой мог оценить обстановку, стоило лишь проявить интерес и пачать осторожно продвигаться по направлению к корме, образ которой становился все более отчетливым (люди отдыхали в креслах, люди покойно стояли у борта, люди лежали на палубе или сидели на краю бассейна). И следовательно, начиная с первой доски палубы, расположенной под ногами, любой наблюдатель (любой, потому что Персио брызгался одеколоном в своей каюте) мог медленно или быстро двигаться вперед, останавливаясь на желобках, заполненных черным или бурым варом, подниматься по вентилятору или карабкаться на марс, густо покрашенный белой краской, если, конечно, не появится желания охватить взглядом всю палубу: заметить некоторые позы или мимолетные жесты, прежде чем отвернуться и сунуть руку в карман, где лежала прохладная пачка «Честерфилд» или «Легких любительских», которых оставалось все меньше и которые с каждым разом становились все легче и все более любительски-ми, так как были лишены источников пополнения.

С высоты выгодной, хотя и малодоступной точки для обозрения, мачты словно исчезают, уменьшаясь до размеров двух едва заметных дисков; так, колокольня Джотто, увиденная ласточкой, находящейся прямо над ней, уменьшается до размеров смешного квадрата, теряет вместе с объемом и величие (точно так же прохожий, на которого смотрят с пятого этажа, на миг представляется каким-то подобием волосатого шарика, парящего в воздухе над серо-жемчужной или голубой переключенной, перемещаемого таинственной силой, и вдруг оказывается, что эта сила — две ноги и крутая спина, опровергающая все за-

коны геометрии). Но обозрение с высоты мало что дает: ангелы созерцают мир Сезанна: сферы, конусы, цилиндры. И тогда грубое искушение заставляет наблюдателя приблизиться к тому месту, где Паула Лавалье созерцает волны. Приближение — начало познания, зеркало жаворонков (но разве об этом думает Персио или Карлос Лопес? Кто создает эти подобия и, как опытный фотограф, отыскивает нужный ракурс?), и уже рядом с Паулой, напротив Паулы, почти в самой Пауле происходит открытие постоянно меняющегося и переливающегося красками радужного мира, ее волос, которыми солнце играет, как котенок клубком красных ниток, каждого волоска — этой огненной ветки ежевики, электрического провода, по которому бежит ток, движущий «Малькольм» и все машины в мире, направляющие действия мужчин и приводящие к гибели галактик, совершенно неизъяснимого космического swing¹, заключенного в этом единственном волоске (и наблюдатель не в силах оторваться от него; все остальное словно в тумане, как close-up² левого глаза Симоны Синьоре на фоне какой-то размазни, которая только потом обернется любовником, или матерью, или быстро в захудалом квартальчике). И в то же время все это подобно гитаре (если бы здесь находился Персио, он назвал бы это просто гитарой, отвергнув сравнение — нет никаких «подобно», каждый предмет запечатлен в своей предметности, все остальное — ловушка, козни, — нельзя использовать сравнение для метафорической игры, а отсюда следует, что, возможно, Карлос Лопес или Габриэль Медрано, но скорее всего, Карлос Лопес является агентом и объектом этих видений, возникших и продолжающихся под лазурным небом). Итак, сверху все кажется гитарой, у которой голосник — это окружность грот-мачты, струны — тонкие провода, которые дрожат и трепещут, рука гитариста покоится на ладах, и сеньора Трехо, развалившаяся в зеленой качалке, даже не подозревает, что она не что иное, как кисть руки, согнутая и ухватившаяся за лады, а другая рука — это сверкающее море по левому борту, постукивающее по боку гитары, как цыгане перед тем, как начать петь, или во время паузы, — море такое, каким его чувствовал Пикассо, когда писал человека с гитарой, и этим человеком был Аполлинер. Об этом уже не может думать Карлос Лопес, ибо именно Карлос Лопес стоит рядом с Паулой и созерцает один ее волосок, он чувствует, как вибрирует инструмент в неясном упорстве сил — всей гривы волос, в мощном переплетении тысяч и тысяч волосков, где

¹ Качания (англ.).

² Крупный план (англ.).

каждый волосок — это струна молчаливого инструмента, который мог бы растянуться по морю на километры, и арфа, подобная арфе-женщине Иеронима Босха, иначе говоря, другая гитара, иначе говоря, сама музыка, которая наполняет рот Карлоса Лопеса приятным вкусом клубники, усталости и слов.

— Ну и набрался я, так-растак,— пробормотал Фелипе, приподнимаясь в постели.

Он вздохнул с облегчением, видя, что отец ушел на палубу. Осторожно повертев головой, он определил, что дела его не так уж плохи. После душа (и потом после купания в бассейне) он снова будет в прекрасной форме. Снимая пижаму, он посмотрел на свои обгоревшие плечи, которые уже почти не зудели, только время от времени кожу покалывало, и Фелипе осторожно почесался. Чудесное солнце светило в иллюминатор. «Сегодня весь день проторчу в бассейне»,— подумал Фелипе, потягиваясь. Язык мешал во рту, как кусок тряпки. «Ну и гад этот Боб, что у него за ром»,— подумал он с мужским самодовольством, словно выкинул что-то дерзкое, переходящее всякие границы. Внезапно он вспомнил Рауля, поискал трубку и коробку с табаком. А кто же приволок его в каюту, кто уложил? Ему вспомнилась каюта Рауля, как его тошнило в туалете, как Рауль все слышал, находясь за дверью. Покраснев, он закрыл глаза. Может, это Рауль принес его в каюту, но что тогда сказали старики и Беба, увидев его в таком плачевном состоянии. Тут он припомнил, как кто-то мазал его плечи мазью, как кто-то что-то говорил, как на него шипел старик. Мазь принадлежала Раулю, Рауль говорил о какой-то мази или даже давал ее, но какое это имело теперь значение; внезапно он почувствовал голод, понял, что все, наверное, давно позавтракали, судя по всему, уже поздно. Нет, было всего лишь половина десятого. А куда девалась трубка?

Он сделал несколько шагов для проверки. Чувствовал он себя превосходно. Он нашел трубку в ящике комода, среди носовых платков, и коробку табака среди носков. Прекрасная трубка, настоящая английская. Фелипе сунул ее в рот и подошел к зеркалу посмотреться, но было как-то смешно стоять голым с шикарной трубкой в зубах. Курить ему не хотелось, он еще чувствовал во рту привкус рома и табака, которыми угостил его Боб. Здорово он поболтал с этим Бобом, вот это мужик.

Фелипе встал под душ, пуская то нестерпимо горячую, то холодную воду, «Малькольм» чуть покачивало, и было приятно

сохранять равновесие, не держась за хромированные поручни. Он медленно намылился, смотрясь в большое зеркало, занимавшее почти всю переборку в ванной.

Баба из притона сказала ему: «У тебя красивое тело, малец», и тогда это его разозлило. Конечно, у него было отличное тело: спина треугольником, в плечах широкая, в талии узкая, как у киноартиста или у боксера, ноги тонкие, но если ударит по мячу — полполя перелетит. Он выключил душ и снова оглядел себя, блестящего от воды, с прилипшими ко лбу волосами; он откинул их назад, сделал равнодушное лицо, посмотрелся в пол-оборота, в профиль. Отчетливо выделялись мускулы солнечного сплетения. Ордоньес уверял, что только атлеты могут этим похвастать. Фелипе напряг мускулы, чтобы получилось побольше бугорков и выступов, поднял руки, как Чарлз Атлас, и подумал, что хорошо бы сфотографироваться в такой позе. Но кто сделает эту фотографию, правда, ему приходилось видеть такие, что просто не верится, что кто-то мог их сделать; например, один тип сам все сфотографировал, пока забавлялся с какой-то бабой: там было видно все, абсолютно все. Вообще женщина в такие минуты выглядит отвратительнее мужчины, особенно на фотографии, другое дело, когда он был в притоне и шлюха вертелась по-всякому... но рассматривать на фотографии... Он положил руки на живот, даже вспомнить противно. Филипе вернулся в банное полотенце и, насвистывая, принялся причесываться. Он вымыл голову мылом, и волосы, мокрые и непослушные, никак не удавалось взбить. Ему пришлось повозиться, пока он добился желаемого результата. Снова оставшись нагишом, он начал делать гимнастические упражнения, время от времени поглядывая на себя в зеркало, чтобы удостовериться, не распался ли кок. Он стоял спиной к двери, которую оставил открытой, как вдруг услышал вопль Бебы. И увидел ее лицо в зеркале.

— Бесстыдник! — вопила Беба, удаляясь за пределы видимости. — По-твоему, прилично ходить голым, не закрыв двери?

— Ха, небось не умрешь, если увидишь кусок моей задницы, — сказал Фелипе. — На то мы и брат с сестрой.

— Я все скажу папе. Ты вообразил, что тебе восемь лет?

Фелипе накинул халат и вошел в каюту. Он медленно стал набивать трубку, поглядывая на Бебу, присевшую на край кровати.

— Похоже, тебе уже лучше, — сказала Беба недовольным тоном.

— А ничего и не было. Просто чуть перегрелся на солнце.

— От солнца не пахнет.

— Заткнись, не цепляйся ко мне.

Он закашлялся после первой же затяжки. Беба с любопытством смотрела на него.

— Думает, что умеет курить, как взрослый мужчина, — сказала она. — Кто подарил тебе трубку?

— Сама знаешь, дура.

— Муж этой рыжей, да? Тебе везет. Сначала снюхался с ней самой, а потом ее муж дарит тебе трубку.

— Заткнись, дура.

Беба продолжала разглядывать его, по-видимому находя, что Фелипе делает успехи в умении обращаться с трубкой.

— Это очень любопытно, — сказала она. — Мама вчера вечером метала громы и молнии против Паулы. Да-да, не гляди на меня так. И знаешь, что она сказала. Поклянись, что не рассердишься.

— Не буду я ни в чем клясться.

— Тогда я тебе ничего не скажу. А она сказала... «Эта женщина сама пристаёт к нашему малышу». Я стала защищать тебя, но они, как всегда, со мной не посчитались. Вот увидишь, какая каша заварится.

Фелипе весь покраснел от злости, поперхнулся дымом и отбросил трубку. Сестра со смиренным видом поглаживала край матраца.

— Старуха совсем обалдела, — сказал наконец Фелипе. — Да за кого она меня принимает? Я сыт по горло ее «малышом», вот пошлю вас всех... — Беба зажала уши. — И тебя первую, тихоня несчастная, наверняка это ты наябедничала, что я... Да что же это такое, выходит, теперь и с женщинами поговорить нельзя! А кто вас сюда привел, скажи? Кто заплатил за путешествие? Уж помалкивай, у меня прямо руки чешутся влепить тебе пару горячих.

— Я бы на твоём месте, — сказала Беба, — поосторожней флиртвала с Паулой. Мама сказала...

Уже в дверях она обернулась. Фелипе оставался там, где был, засунув руки в карманы халата, с видом провинившегося школяра, скрывающего свой страх.

— Представь себе, если Паула вдруг узнает, что мы зовем тебя «малышом», — сказала Беба, закрывая за собой дверь.

— Стричь волосы — это метафизическое занятие, — заметил Медрано. — Интересно, психоаналитики и социологи разработа-

ли теорию о парикмахере и клиентах? Это прежде всего ритуал, которому мы охотно подчиняемся на протяжении всей нашей жизни.

— В детстве парикмахерская производила на меня такое же впечатление, как церковь,— сказал Лопес.— Было что-то таинственное в том, что парикмахер приносил специальный стульчик, и потом эта рука, сжимающая твою голову, точно кокосовый орех, и поворачивающая ее во все стороны... Да, это настоящий ритуал, вы правы.

Они стояли, облокотившись о перила борта, разглядывая далекий горизонт.

— Парикмахерская и в самом деле чем-то походит на храм,— сказал Медрано.— Во-первых, разделение полов придает ей особое значение. Парикмахерская подобна бильярдным, или общественным туалетам, или совокупности тычинок, она возвращает нам своеобразную и необъяснимую раскованность. Мы попадаем в обстановку, совершенно отличную от уличной, домашней или обстановки общественного транспорта. Мы уже не остаемся после обеда одни, и нет уже кафе с отдельными залами для мужчин, но кое-какие свои оплоты мы еще сохраняем.

— И вдобавок запах, который узнаешь в любом уголке земли.

— Должно быть, оплоты эти существуют для того, чтобы мужчина, не скрывающий своей мужественности, мог снизить до эротизма, который сам, и, возможно, без оснований, считает свойственным лишь женщинам и который он с негодованием отверг бы в любой иной обстановке. Массаж, компрессы, духи, модельные прически, зеркала, тальк... Перечислите все это, не упомянув о парикмахерской, и вам на ум сразу придет женщина.

— Конечно,— сказал Лопес,— это лишний раз подтверждает, что мы, мужчины, слава богу, ни на миг не расстаемся с женщинами, даже когда остаемся одни. Пойдемте посмотрим на наших тритонов и nereид, атакующих бассейн. А может, че, мы тоже окунемся.

— Ступайте один, дружище, я пока пожарюсь на солнышке.

Атилио с невестой, картинно прыгнув в воду, во всеуслышанье объявили, что вода ужасно холодная. Расстроенный Хорхе отыскал Медрано и пожаловался, что мать запретила ему купаться.

— Ничего, вечером искупаешься. Вчера тебе нездоровилось, а ты сам слышал, что вода ледяная.

— Никакая не ледяная, а просто холодная,— сказал Хорхе,

любивший точность.— Мама всегда велит мне купаться, когда совсем не хочется...

— И наоборот.

— Точно. А ты, Персио-лунатик, тоже не купаешься?

— О нет,— ответил Персио, тепло пожимая руку Медрано.— Я не любитель, да к тому же однажды так наглотался воды, что двое суток говорить не мог.

— Ты все шутишь,— наставительно и недовольно заметил Хорхе.— А ты, Медрано, видел глицидов там, наверху?

— Нет. На капитанском мостике? Там никогда никого не бывает.

— А я видел, че. Недавно, когда выходил на палубу. Он стоял вон там, как раз у стекла; наверняка вертел штурвал.

— Любопытно,— сказала Клаудиа.— Хорхе позвал меня, но я вышла слишком поздно, никого не увидела. Интересно, как управляют этим парходом.

— Совершенно не обязательно, чтобы они стояли, прижавшись носом к стеклу,— сказал Медрано.— Капитанский мостик, думаю, достаточно просторный, и они могут находиться где-нибудь в глубине или у стола с картами...— Тут он заметил, что никто его не слушает.— Значит, тебе здорово повезло, потому что я...

— В первую ночь капитан стоял там допоздна,— сказал Персио.

— А откуда ты, Персио-лунатик, знаешь, что это был капитан?

— Это сразу заметно. У него особый вид. Скажи, а как выглядел глицид, которого ты видел?

— Низенький и одет во все белое, как остальные, с такой же, как у всех, фуражкой и на руках тоже, как у всех, черные волосы.

— Неужели ты будешь уверять, что видел отсюда, какие у него волосы на руках.

— Нет, конечно,— согласился Хорхе,— но он такой низенький, что у него обязательно должны быть волосатые руки.

Персио ухватил подбородок двумя пальцами и оперся локтем о ладонь другой руки.

— Любопытно, очень любопытно,— сказал он, глядя на Клаудию.— Невольно возникает вопрос, то ли он на самом деле видел офицера, то ли это плод его воображения... Так бывает, когда он разговаривает во сне или когда сдает карты. Это катализатор, настоящий громоотвод. Да, и тогда невольно возникает вопрос,— повторил он, погружаясь в раздумье.

— Я его видел, че,— пробормотал Хорхе немного обиженно.— Что тут, в конце, удивительного?

— Так нельзя сказать — в конце.

— Ну, в конце всего.

— И «в конце всего» тоже не говорят,— сказала Клаудиа, рассмеявшись. Но Медрано было не до смеха.

— Это уж слишком,— сказал он Клаудии, когда Персио увел Хорхе, чтобы поведать ему о тайнах волн.— Разве не дико, что нас поместили на небольшом участке, который мы называем крытой палубой, а на самом деле мы совершенно открыты? Не станете же вы утверждать, что эти жалкие парусиновые навесы, которые натянули финны, смогут защищать нас в случае непогоды. Словом, если пойдет дождь или повеет холодом в Магеллановом проливе, мы будем вынуждены целыми днями сидеть в баре или в каютах... Карамба, да это, скорее, какой-то военный транспорт или невольничий корабль. Надо быть Лусио, чтобы этого не видеть.

— Я согласна с вами,— сказала Клаудиа, подходя к борту.— Но, когда светит такое прелестное солнце, хотя Персио и утверждает, что там, в глубине, черным-черно, мы ни о чем не беспокоимся.

— Да, но это слишком похоже на то, что у нас делается повсюду,— сказал Медрано, понизив голос.— Со вчерашнего вечера у меня такое чувство, будто то, что происходит со мной, как бы это сказать, внутри меня, что ли, не отличается существенно от моего внешнего поведения. Я не могу это объяснить и боюсь прибегнуть к аналогиям, которыми так ловко оперирует Персио. Это немного...

— Немного вы и немного я, не так ли?

— Да, и немного все остальное, частица или элемент всего остального. Надо бы высказаться яснее, но я чувствую, что, если начну размышлять над этим, только потеряю нить... Все это так расплывчато и так неопределенно. Вот всего лишь минуту назад я превосходно чувствовал себя (среди этого незатейливого общества, как говорил один комик по радио). Но стоило Хорхе рассказать, будто он видел глицида на капитанском мостике, и все пошло к черту. Какая может быть связь между этим и?.. Но, Клаудиа, я задаю всего лишь риторический вопрос. Я догадываюсь, какая, вернее, никакой связи нет, ибо все это одно и то же.

— Среди незатейливого общества,— сказала Клаудиа, беря его под руку и незаметно привлекая к себе.— Ах, мой бедный

Габриэль, со вчерашнего дня вы только и знаете, что портите себе кровь. Но не для этого же вы сели на «Малькольм».

— Нет, конечно,— сказал Медрано, благодарно отвечая на легкое пожатие ее руки.— Конечно, не для этого.

— Янцен? — спросил Рауль.

— Нет, Колосс,— ответил Лопес, и оба расхохотались.

Рауля позабавило, что он застал Лопеса в коридоре правого борта, совсем не там, где была его каюта. «Кружит здесь, бедняга, караулит, не встретится ли случайно, и т. д. и т. п. О влюбленный страж, *pervigilium veneris*¹. Сей юноша достоин купальных трусов получше...»

— Подождите минуточку,— сказал он, не зная, стоит ли ему хвалить себя за такое сострадание.— Мой атомный вихрь собирался пойти вместе со мной, но, наверное, отыскивает свою губную помаду или тапочки.

— Хорошо,— сказал Лопес с наигранным безразличием.

Прислонясь к стене коридора, они продолжали болтать. Мимо, тоже в купальном костюме, прошел Лусио; поздоровавшись с ними, он скрылся вдали.

— Как у вас настроение, не желаете ли снова пометать копыя и бросить в атаку штурмовые отряды? — спросил Рауль.

— Не слишком боевое, че, особенно после ночного фиаско... Но, думаю, все же необходимо продолжать военные действия. Если только этот юный Трехо не опередит нас...

— Сомневаюсь,— сказал Рауль, посмотрев на него исподтишка.— Если в каждом походе он будет напиваться, как вчера... Незакаленным душам нельзя спускаться в кухню Плутона, так гласит мифология.

— Бедный малый, наверняка он хотел отплатить нам.

— Отплатить?

— Да, мы же не взяли его вчера с собой, и это, видимо, ему не понравилось. Я его немножко знаю, ведь я преподаю в его колледже; характер у него не из легких. В этом возрасте все хотят быть взрослыми, и они правы, только среда и обстоятельства часто играют с ними злую шутку.

«Какого дьявола ты мне толкуешь о нем? — спрашивал себя Рауль, понимая поддакивая Лопесу.— У тебя отличный нюх, приятель, все насквозь видишь, и вдобавок ты мировой парень».

¹ Всенощная Венеры (лат.).

Он торжественно поклонился Пауле, выходявшей из каюты, и снова посмотрел на Лопеса, который неловко чувствовал себя в купальных трусах. Паула была в черном купальнике, довольно строгом, в отличие от бикини, в котором она красовалась накануне.

— Доброе утро, Лопес,— сказала она игриво.— А ты тоже собрался нырять, Рауль? Мы там все не поместимся.

— Погибнем как герои,— сказал Рауль, возглавляя шествие.— Мамочка моя, да там уже вся компания, не хватает только, чтобы в воду залез и дон Гало со своим креслом.

На трапе бакборта показался Фелипе, а за ним Беба, которая грациозно вскарабкалась на перила, чтобы держать под наблюдением бассейн и палубу. Рауль и Лопес приветливо помахали Фелипе, и он робко ответил на их приветствие, думая о тех сплетнях, которые могло вызвать его внезапное заболевание. Но когда Паула и Рауль, весело болтая и смеясь, затащили его в воду, куда следом за ними бултыхнулись Лопес и Лусио, Фелипе снова обрел прежнюю уверенность и принялся весело резвиться. Вода смыла последние следы похмелья.

— Похоже, тебе стало лучше,— сказал ему Рауль.

— Да, все уже прошло.

— Осторожней с солнцем, сегодня снова печет. У тебя сильно обгорели плечи.

— Ничего особенного.

— Тебе помог крем?

— Думаю, что да,— сказал Фелипе.— Ну и устроил я вам вчера вечером. Извините, надо же, развезло у вас в каюте... Перегрелся я, что поделаешь...

— Э, пустяки, не беспокойся,— сказал Рауль.— С любым может случиться. Меня однажды стошнило на ковер у моей тетушки Магды, не упокой ее господи; но многие утверждали, что ковер после этого стал даже лучше; правда, тетушка не пользовалась симпатией у родни.

Фелипе улыбнулся, не сразу сообразив, в чем дело. Он обрадовался, что они снова стали друзьями, ведь на пароходе, кроме Рауля, и поговорить было не с кем. Жалко, что Паула была с ним, а не с Медрано или Лопесом. Ему хотелось поболтать с Раулем, но он видел ноги Паулы, свисавшие с борта бассейна, и просто умирал от желания сесть с ней рядом и выведать, что она думает о его заболевании.

— Я сегодня попробовал вашу трубку,— сказал он потупясь.— Изумительная, а табак...

— Надеюсь, лучше того, который ты курил вчера вечером,— сказал Рауль.

— Вчера вечером? А, вы хотите сказать...

Их никто не мог слышать — семейство Пресутти, громко повизгивая, резвилось в противоположном конце бассейна. Рауль вплотную приблизился к Фелипе, прижав его к брезентовому борту.

— Почему ты отправился один? Я не оспариваю твоего права ходить, куда тебе заблагорассудится. Но по-моему, там внизу не слишком безопасно.

— А что со мной может случиться?

— Возможно, пичего. Кого ты там видел?

Он чуть было не сказал: «Боба», но вовремя спохватился.

— Одного из этих типов.

— Которого, того, что помоложе? — спросил Рауль, заранее уверенный в ответе.

— Да, его.

Подплыл, брызгаясь, Лусио. Рауль сделал какой-то знак, которого Фелипе не понял, и поплыл на спине в другой конец бассейна, туда, где весело плескались Атилио и Нелли. Он поллюбезничал с Нелли, которая робко восхищалась им, и вместе с Пушком стал учить ее держаться на спине. Фелипе некоторое время наблюдал за ними, неохотно отвечая на вопросы Лусио, и наконец вскарабкался и сел рядом с Паулой, загоравшей с закрытыми глазами.

— Угадайте, кто я.

— По голосу очень симпатичный молодой человек, — сказала Паула. — Думаю, ваше имя не Александр, ведь солнце греет всюю.

— Александр? — удивился учащийся Трехо, закоренелый двоечник по древнегреческой истории.

— Да, Александр, Искандер, если вам так больше нравится. Привет, Фелипе. Ну конечно, вы папа Александра Великого. Рауль! Пойди сюда, послушай, это просто чудесно! Теперь только не хватает, чтобы появился юноша и предложил нам македонский салат.

Фелипе сделал вид, что не понял насмешки, и усиленно стал взбивать кок нейлоновой расческой, которую достал из кармашка трусов. Вытянувшись, он подставил спину еще не жарким, ласковым утренним лучам.

— Ну как, оьянение прошло? — спросила Паула, снова закрывая глаза.

— Какое опьянение? Я просто перегрелся на солнце, — сказал Фелипе, встрепенувшись. — Тут все думают, будто я выпил целый литр виски. Знаете, однажды, когда кончился учебный год, мы с ребятами отпраздновали... — Далее следовал рассказ о том, как все валялись под столом в ресторане «Электра» и только непобедимый Фелипе добрался домой в три часа ночи, пропустив две порции «чинзано» и «битгер», потом «небиоло» и неизвестно как называвшийся сладкий ликер.

— Какой вы крепкий! — сказала Паула. — Почему же на этот раз так сплеховали?

— Да это не от выпивки, просто я долго сидел на солнце. Вон вы тоже сильно загорели, — добавил он, пытаясь найти выход из положения. — Вам очень идет, у вас прекрасные плечи.

— Правда?

— Да, прелестные. Наверное, вам об этом много раз говорили.

«Бедняжка, — подумала Паула, не открывая глаз. — Бедняжка». Но она имела в виду не Фелипе. Она прикидывала цену, которую кое-кому придется уплатить за грезу, еще один человек погибнет в Венеции и останется жить после смерти, а *sadder but not a wiser man*¹... Подумать только, даже от такого малыша, как Хорхе, можно услышать уйму веселого и даже остроумного. А у этого лишь кок да заносчивость — больше ничего... «Вот почему они похожи на статуи, впрочем, еще хуже — они и в самом деле статуи и снаружи и внутри». Она догадывалась, о чем думал Лопес, одинокий и рассерженный. Настало время подписать перемирие с Ямайкой Джоном, бедняжка, наверное, убежден, что Фелипе нашептывает ей любезности, и она благосклонно его слушает. «Что было бы, если бы я пустила его к себе в постель? Красный как рак, не знающий, что делать... Нет, что делать он знает, но как бы он вел себя до и после, а это по-настоящему важно... Бедняжка, мне пришлось бы обучить его всему... просто поразительно, мальчика из «*Le Blé en Herbe*» тоже звали Филиппом... Ах нет, это уж слишком. Надо будет рассказать обо всем Ямайке Джону, как только у него пройдет желание свернуть мне шею...»

Ямайка Джон рассматривал свои ноги. В тиши, наступившей после того, как семейство Пресутти вылезло из бассейна, и которую нарушал лишь далекий смех Хорхе, он мог бы пого-

¹ Печальный, но не мудрый человек (*англ.*) — измененная строка из «Баллады о старом моряке» Самюэля Колриджа.

ворить с Паулой не повышая голоса. Но вместо этого он попросил у Медрано сигарету и закурил, пристально глядя на воду, где отражение облака изо всех сил старалось сохранить форму группы «вильямс». Он вспомнил сон, приснившийся ему на расвете и, вероятно, повлиявший на его настроение. Время от времени он видел такие сны: на этот раз ему снилось, будто одного его приятеля назначили министром и он присутствовал на церемонии приведения к присяге. Все шло хорошо, приятель был отличный малый, но Лопес чувствовал себя несчастным, словно любой человек на свете мог быть министром, только не он. В другой раз ему снилась свадьба этого же приятеля, этакое помпезное бракосочетание, которое не обходится без яхт, экспрессов и самолетов. Но пробуждение всегда было тягостным, и только под душем он приходил в себя. «У меня же нет никакого комплекса неполноценности,— убеждал он себя.— А во сне я всегда так несчастен». Он задавал себе вопрос: может, я недоволен жизнью, своей работой, домом (дом, правда, принадлежал не ему, но жить на всем готовом у родной сестры — разве не удачное решение вопроса?), своими случайными и неслучайными подругами? Все это оттого, что нам вбили в голову, будто сны сбываются, а может, как раз и нет, и я напрасно порчу себе кровь по пустякам. Под таким солнышком да в таком путешествии надо быть круглым идиотом, чтобы терзать себя.

Только войдя в воду, Рауль посмотрел на Паулу и Фелипе. Так, значит, трубка оказалась превосходной, а табак... Но Фелипе солгал ему насчет похода в кузнию Плутона. Нет, эта ложка его не задевала, Фелипе почти благоговел перед ним. Другому он не постеснялся бы сказать правду, в конце концов, ему это ничего не стоило. Но ему Фелипе лгал потому, что невольно чувствовал сближающую их силу (которая только возрастает, чем больше натягивают тетиву, как у хорошего лука), он лгал ему и, сам того не ведая, своей ложью как бы вознаграждал его.

Приподнявшись, Фелипе с наслаждением потянулся: голова и торс его четко вырисовывались на фоне темно-голубого неба. Рауль прислонился к брезенту и словно ослеп: он уже не видел ни Паулы, ни Лопеса, а лишь слышал свои собственные мысли, словно произнесенные в полный голос где-то в глубине, как под сводами; эхом отдавался крик его мыслей, рождавшихся вместе со словами Кришнадасы, столь неуместными в бассейне, в совсем иное время, и в совсем ином теле,— и все же они будто по праву принадлежали ему, да ему действительно принадлежали все слова о любви: и его собственные, и Кришнадасы, слова из буклики и слова человека, привязанного к ложу из цветов,

где его медленно и сладостно пытали. «Любимый, у меня только одно желание,— услышал он поющий голос.— Я хочу, как колокольчики, оббивать твои ноги, чтобы всюду следовать за тобой, всегда быть с тобой... Если я не привяжу себя к твоим ногам, к чему тогда петь песнь о любви? Ты всегда перед моим взором, и я всюду вижу тебя. Когда я вижу твою красоту, я готов любить весь мир. Кришнадаса говорит: «Смотри, смотри». А небо, окружавшее статую, казалось черным.

XXXIV

— Бедный парень,— говорила донья Росита.— Посмотрите на него, ходит один как неприкаянный, ни с кем не знает. По-моему, это стыд и позор, я все время говорю мужу, правительство должно принять какие-то меры. Какая же это справедливость: если ты шофер, значит, торчи весь день где-нибудь в углу?

— Он, кажется, симпатичный, бедняжка,— сказала Нелли.— А какой большой, ты заметил, Атилио? Как медведь!

— Ну уж медведь,— сказал Атилио.— Я же помогаю ему поднимать кресло со стариком, так думаешь, он намного сильнее меня? Толстый, это да, одно сало. Настоящий увалень, а вот, к примеру, схватись он с Лоссом, тот уложил бы его в два счета. А как ты думаешь, че, победит Русито в схватке с Эстефано?

— Русито очень хороший,— сказала Нелли.— Дай бог, чтоб он выиграл.

— В последний раз он победил хитростью, по-моему, punch¹ у него уже не тот, но погами он работает здорово... Похож на Эррола Флинна в фильме про боксеров, ты видела...

— Да, мы смотрели его в Боэдо. Ах, Атилио, мне фильмы про боксеров совсем не нравятся: бьются в кровь и вообще, кроме драки, ничего не показывают. Никаких чувств, что за интерес.

— Ха, чувства,— сказал Пушок.— Вам, женщинам, подавай только прилизанного красавчика, который без конца целуется, а больше вы и знать ничего не хотите. А в жизни все по-другому, уж я тебе говорю. Жизнь, ее понимать надо.

— Ты это говоришь только потому, что тебе нравятся фильмы про бандитов, но стоит показаться на экране Эстер Уильямс, как у тебя слюнки текут, думаешь, я не замечаю.

Пушок скромно улыбнулся и сказал, что вообще-то Эстер

¹ Удар (англ.).

Уильямс настоящая конфетка. Однако донья Росита, пробудившись от дремоты, навеянной завтраком и разговором, решительно заявила, что нынешних актрис ни в коей мере нельзя сравнить с теми, что были в ее время.

— Это точно,— сказала донья Пепа.— Вспомните хотя бы Норму Тэлмейдж и Лилиан Гиш, вот это были женщины! А Марлен Дитрих; как говорится, скромницей ее не назовешь, но какое чувство! Помнишь, в том цветном фильме, где священник спрятался у мавров, а она ночью выходила на террасу в прозрачных белых одеждах... По-моему, она плохо кончила, такая уж судьба...

— Ах да, помню,— сказала донья Росита.— Там ее упес ветер, да, какое чувство, как же, как же.

— Да нет, это не тот фильм,— сказала донья Пепа.— Это другой фильм, в нем еще священника звали Пепе, не знаю, как дальше. Там все пески да пески, а какие краски.

— Да нет же, мама,— сказала Нелли.— Та, что с Пепе, совсем другая, это картина с Шарлем Буайе. Атилио тоже ее видел, мы еще ходили с Нелой. Помнишь, Атилио?

Пушок, плохо помнивший фильм, принялся передвигать кресла с дамами, чтобы уберечь их от солнца. Сеньоры смущенно хихикали и повизгивали, но были несказанно довольны, потому что теперь бассейн открывался перед ними как на ладони.

— А эта-то уже затеяла разговор с мальчиком,— сказала донья Росита.— Меня всю так и переворачивает, как подумаю, какая она бесстыжая...

— Но, мама, не такая она...— сказала Нелли, которая разговаривала с Паулой и все еще находилась под впечатлением веселых шуток Рауля.— Ты совсем не желаешь понять современную молодежь, вспомни, как мы ходили в кино смотреть Джеймса Дина. Ты только подумай, Атилио, она порывалась уйти и все твердила, что они бесстыжие.

— Вообще-то эти стилисты не очень порядочные люди,— сказал Пушок, подробно обсуждавший фильм с приятелями в кафе.— Уж такое у них воспитание, что с них возьмешь.

— Будь я матерью этого парнишки, я бы послушала, о чем они говорят,— сказала донья Пепа.— Наверняка нашептывает ему такое, что ему рано знать. Слава богу, если этим дело кончится...

Остальные согласились с ней, многозначительно переглянувшись.

— А вчера вечером она перешла все границы,— продолжала донья Пепа.— Надо ж, отправилась в темноте на палубу с же-

натым человеком, на глазах его супруги... Ох, и лицо у нее было, я-то хорошо видела, бедный ангелочек. Надо прямо сказать, веру совсем потеряли. Вы видели, что творится в трамвае? Можешь хоть падать от усталости, а они преспокойно сидят себе, уткнувшись в журналы с детективами да с этой Софи Лорен.

— Ой, сеньора, если бы я только вам рассказала... — подхватила донья Росита. — Да что ходить далеко, вот в нашем же квартале... Посмотрите, посмотрите на эту бесстыжую, мало ей, что завлекла вчера этого парня, она еще вдобавок вертит с учителем, а он-то, похоже, серьезный человек, такой скромный.

— Ну и что? — сказал Атилио, грудью защищая осажденный лагерь. — Лопес мировой парень, с ним можешь поговорить о чем хочешь, он ни капельки не задастся, уж поверьте. И правильно, что не теряется, раз она сама чуть не вешается ему на шею.

— А куда же муж смотрит? — спросила Нелли, которая была в восторге от Рауля и не понимала его поведения. — Он-то, думаю, должен был обо всем догадаться. Сначала с одним, потом с другим, а потом, глядишь, и с третьим...

— Они такие, они такие, — сказала донья Росита. — Один ушел, и она тут же начинает точить лясы с учителем. А что я вам говорила? Ума не приложу, как это муж такое терпит.

— Такова современная молодежь, — сказала Нелли, не находя других аргументов. — Это во всех романах описано.

Закванная в броню морального превосходства и красно-синего пляжного платья, сеньора Трехо поздоровалась с присутствующими и заняла кресло рядом с доньей Роситой. Хорошо еще, что Фелипе отошел от Лавалье, потому что иначе... Донья Росита только выжидала подходящего момента, а пока оживленно обсуждала качку, завтрак, ужасные последствия тифа, если не принять надлежащих мер и все не продезинфицировать, а также очень скорое выздоровление молодого Трехо, так цдохжего, особенно поворотом головы, на своего отца. Атилио, снедаемый скукой, предложил Нелли сделать пробежку, чтобы согреться после купания, а дамы, сомкнув ряды, стали показывать друг другу клубки шерсти и рассказывать, как кто провел утренние часы. А чуть позже (Хорхе во все горло пел песни, Персио подтягивал ему своим тонким мяукающим голоском) дамы пришли к заключению, что Паула — возмутительница спокойствия на пароходе и что подобные вещи нельзя допускать, особенно когда до Токио еще столько плыть.

Скромное появление Норы было встречено с живым интере-

сом, прикрытым христианским сочувствием. Дамы наперебой старались подбодрить Нору; черные круги у нее под глазами красноречиво свидетельствовали о перенесенных страданиях. Да и как же иначе, ведь бедняжка совсем недавно вышла замуж, а ее мотылек уже не прочь упорхнуть в темноту с другой и заниматься там невесть чем. Жаль только, что Нора не слишком была расположена к откровенности: понадобилось все диалектическое искусство дам, чтобы постепенно втянуть ее в беседу, сначала упомянув о превосходном сливочном масле, поданном к завтраку, а затем об устройстве и убранстве кают и изобретательности матросов, соорудивших плавательный бассейн прямо посреди палубы, затем о фигуре и стати молодого Косты, о том, что утром у учителя Лопеса был немного печальный вид и что муж Норы молодо выглядит, но странно, что она не пошла с ним купаться. Возможно, ее немного укачало, дамы тоже не испытывали желания плавать в бассейне, но, разумеется, у них и возраст другой...

— Мне сегодня совсем не хочется купаться, — сказала Нора. — Чувствую я себя неплохо, но я мало спала и... — Она густо покраснела, потому что донья Росита посмотрела на сеньору Трехо, которая в свою очередь посмотрела на донью Пепу, а та на донью Роситу. Дамы все прекрасно понимали, сами были молодыми, но, так или иначе, Луисо должен был, как джентльмен, сопровождать юную супругу, чтобы вместе принимать солнечные ванны или купаться. Ах, эти молодые люди, все они одинаковые, очень требовательны, особенно сразу после женитьбы, зато потом им вдруг нравится гулять одним или с друзьями, рассказывать неприличные истории, а супруга сидит вяжет где-нибудь в уголке. Донье Пепе тем не менее казалось (это, конечно, было ее сугубо личное мнение), что молодая супруга ни за что не должна позволять мужу оставлять ее одну, так она лишь распускает его, и в конце концов он зачистит в кафе играть с друзьями в карты, а потом, глядишь, забредет один в кино, начнет поздно являться с работы, а уж потом и вовсе не известно, до чего докатится.

— Мы с Луисо очень независимые, — слабо оправдывалась Нора. — Каждый из нас имеет право жить своей собственной жизнью, потому что...

— Вот она нынешняя молодежь, — сказала донья Пепа, оставаясь при своем мнении. — Каждый тянет в свою сторону и в один прекрасный день обнаруживают, что... Конечно, это я не про вас говорю, деточка, вы же сами понимаете, вы такие славные, но уж поверьте моему опыту, я вот воспитала Нелли,

и если только рассказать, чего мне это стоило... Да вот за примерами ходить недалеко, если вы и сеньор Коста не будете глядеть как следует, я не удивлюсь, если... Но я не хочу быть нескромной.

— Это не называется быть нескромной,— поспешила заметить сеньора Трехо.— Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, и полностью с вами согласна. Я тоже, поверьте, должна следить за своими детьми.

Нора начала понимать, что весь этот разговор относится к Пауле.

— Мне тоже не очень нравится поведение этой сеньориты,— сказала она.— Правда, это не мое дело, но у нее такая странная манера кокетничать...

— Мы как раз об этом и толковали, когда вы пришли,— сказала донья Росита.— Буквально то же самое. Настоящая бесстыдница.

— Ну, я этого не говорила... По-моему, она просто рисуется своим легкомыслием... и конечно, вы, сеньора...

— Ну, разумеется, деточка,— сказала сеньора Трехо.— Я не потерплю, чтобы эта девица, или как ее там, продолжала приставать к моему мальчику. Он сама невинность, вы только представьте, ему всего шестнадцать лет. Да разве только это... Она, конечно, не удовольствуется одним флиртом, выражаясь по-английски. Да что далеко ходить...

— Закрути она только с учителем, это бы еще куда ни шло,— заявила донья Пепа.— Хотя тоже не очень хорошо, раз уж обвенчалась перед богом, так не заглядывайся на другого мужчину. Но сеньор Лопес, кажется, такой воспитанный, может, они действительно только разговаривают.

— Настоящая вамп,— сказала донья Росита.— Муж у нее очень симпатичный, но если бы мой Энцо увидал, как я болтаю с другим мужчиной, хоть он у меня и не грубиян, но наверняка так просто это не обошлось. Женитьба — дело серьезное, я всегда это говорю.

— Я знаю, о чем вы думаете,— сказала Нора, опуская глаза.— Она пыталась приставать к моему... к Лусно. Так вот, ни он, ни я всерьез этого не принимаем.

— Понятно, деточка, но все же следует быть осторожной,— сказала донья Пепа, чувствуя с неудовольствием, как рыбка срывается у нее с крючка.— Очень легко сказать, что вы всерьез этого не принимаете, но женщина всегда женщина, а мужчина — мужчина, как говорил, уж не помню, в каком обозрении, Монтгомери.

— О, не надо преувеличивать,— сказала Нора.— Что касается Лусио, то я совершенно спокойна, а вот поведение этой девушки...

— Этой потаскушки,— поправила донья Росита.— Выскочить за полночь на палубу с чужим мужем, когда законная супруга, простите за выражение, как невинный ангелочек, остается смотреть...

— Ну, это вы слишком,— сказала сеньора Трехо.— Не надо преувеличивать, донья Росита. Сами видите, девочка относится к происшедшему философски, а ведь она заинтересованное лицо.

— А как еще я должна относиться? — удивилась Нора, чувствуя, как маленькая цепкая рука начинает сдавливать ей горло.— Такое больше не повторится, вот все, что я могу сказать.

— Да, возможно,— сказала сеньора Трехо.— И все же я ни за что не позволю кружить голову мальчику. Я уже сказала мужу все, что думаю, и, если эта девица снова начнет свои приставания, я и ей все выскажу начистоту. Бедный мальчик считает своим долгом оказывать ей любезность, потому что, когда ему вчера стало нехорошо, сеньор Коста помог и даже сделал подарок. Представьте, какое затруднительное положение. Но вы только посмотрите, кто к нам идет...

— Не солнце, а божья кара,— провозгласил дон Гало, отсылая шофера жестом циркового фокусника.— Ну и жарница, сеньоры! Так вот я перед вами с почти полным списком, который и представляю на ваш списходительный суд.

XXXV

— Tiens, tiens ¹, профессор,— сказала Паула.

Лопес сел с ней рядом на краю бассейна.

— Дайте мне, пожалуйста, сигарету, я оставил свои в каюте,— сказал он, почти не глядя на нее.

— Этого еще не хватало! Кажется, я швырну в океан эту проклятую зажигалку. Ну ладно, а как мы почивали?

— Более или менее сносно,— ответил Лопес, все еще думая о снах, которые оставили у него привкус горечи.— А вы?

— Пинг-понг,— сказала Паула.

— Пинг-понг?

— Да. Я вас спрашиваю, как вы себя чувствуете, вы мне отвечаете, а потом спрашиваете, как я чувствую себя. Теперь я вам отвечаю: прекрасно, Ямайка Джон, прекрасно, несмотря

¹ Ну-ну (*франц.*).

ни на что. Светский пинг-понг так же приятен и глуп, как выкрики «бис» на концертах, открытки с поздравлениями и миллион подобных вещей. Восхитительная мазь, которая идеально смазывает колеса мировых машин, как говаривал Спиноза.

— Из всего сказанного мне больше всего понравилось, что меня назвали моим настоящим именем,— пошутил Лопес.— И я крайне сожалею, что не могу сказать «большое спасибо», выслушав ваши умозаключения.

— Настоящим именем? Ну что ж, Лопес, согласитесь, оно звучит довольно-таки ужасно. Так же, впрочем, как и Лавалье, хотя последнее... Да, герой стоял за дверью и получил целую обойму — как не вспомнить этого яркого эпизода из истории.

— Ну если мы обратились к истории, то Лопес был не менее ярким тираном, дорогая.

— Когда говорят «дорогая» таким тоном, каким вы только что изволили сказать, меня просто тошнит, Ямайка Джон.

— Дорогая,— повторил он, понизив голос.

— Вот так лучше. И все же, кабальеро, позвольте напомнить вам, что дама...

— Ну хватит,— сказал Лопес.— Довольно паясничать. Или поговорим серьезно, или я уйду. С какой стати мы со вчерашнего вечера подпускаем друг другу шпильки? Сегодня утром я встал с намерением никогда больше на вас не смотреть или сказать вам в лицо, что ваше поведение...— Он рассмеялся.— Ваше поведение... Впрочем, кто я такой, чтобы говорить о вашем поведении. Идите переоденьтесь, а я вас подожду в баре, здесь я вам ничего не скажу.

— Вы станете читать мне мораль? — спросила Паула кокетливо.

— Да. Идите переоденьтесь.

— Вы очень, очень, очень рассердились на бедненькую Паулу?

Лопес снова рассмеялся. Они посмотрели друг на друга, словно встретились впервые. Паула глубоко вздохнула. Давно уже она не испытывала желания подчиниться, и оно показалось ей странным, но почти приятным. Лопес ждал.

— Согласна,— сказала Паула.— Пойду переодеваться, профессор. Всякий раз, как вы возьмете менторский тон, я буду звать вас профессором. Но мы могли бы остаться и здесь, юный Луисо только что вышел из бассейна, никто нас не слышит, и если вы желаете сделать мне важное сообщение...

С какой стати она должна ему подчиняться?

— Бар всего лишь предлог,— сказал Лопес по-прежнему

тихо.— Есть вещи, о которых уже нельзя говорить, Паула. Вчера, когда я дотронулся до вашей руки... Вот о чем надо говорить.

— Как вы прекрасно изъясняетесь, Ямайка Джон. Мне приятно слушать такие речи. Приятно, когда вы злитесь, но и приятно видеть, когда вы смеетесь. Не сердитесь на меня, Ямайка Джон.

— Вчера вечером,— сказал он, глядя ей в лицо,— я возненавидел вас. Из-за вас я видел дурные сны, из-за вас у меня во рту горько, и я чуть было не испортил себе утро. Я пошел в парикмахерскую, хотя мне это было совсем не нужно, просто чтобы чем-то занять себя.

— Вчера вечером,— сказала Паула,— вы вели себя очень глупо.

— А разве вам так необходимо было пойти с Лусио на палубу?

— А почему я не могу пойти с ним или с кем-то другим?

— Мне бы хотелось, чтобы вы догадались об этом сами.

— Лусио очень симпатичный молодой человек,— сказала Паула, гася сигарету.— В конце концов, я собиралась лишь посмотреть на звезды, и я их видела. И он тоже их видел, уверяю вас.

Лопес ничего не ответил, но посмотрел на нее так, что Паула опустила глаза. Она подумала (скорее, даже не подумала, а почувствовала), что непременно должна отплатить ему за этот взгляд, но тут раздался крик Хорхе, а за ним и крик Персио. Они обернулись. Хорхе прыгал по палубе, показывая на капитанский мостик.

— Глицид! Глицид! Я же говорил, что видел там глицида.

Медрано и Рауль, беседовавшие у тента, прибежали на крик. Лопес спрыгнул на палубу и посмотрел вверх. Несмотря на ослепительные лучи солнца, он различил на капитанском мостике силуэт худого офицера с седым ежиком волос, который разговаривал с ними накануне. Лопес сложил ладони рупором и крикнул так громко, что офицеру пришлось посмотреть в его сторону. Потом сделал знак рукой, приглашая его спуститься на палубу. Офицер по-прежнему смотрел на него, и Лопес снова повторил свой жест, но так энергично, словно делал отмашку сигнальным флажком. Офицер исчез.

— Что с вами, Ямайка Джон? — спросила Паула, тоже спрыгивая вниз.— Для чего вы его позвали?

— Я позвал его,— сказал Лопес сухо,— потому что мне так захотелось.

Он направился к Медрано и Раулю, которые, по-видимому, одобряли его намерение, и показал им наверх. Лопес был так возбужден, что Рауль посмотрел на него с веселым удивлением.

— Вы думаете, он спустится?

— Не знаю,— ответил Лопес.— Может, и не спустится, но я хочу предупредить вас, что, если он не явится через десять минут, я швырну вот эту гайку в стекло.

— Превосходно,— сказал Медрано.— Это самое малое, что можно сделать.

Но офицер вскоре появился, как всегда немного пахмуренный и сдержанный, словно уже заранее отрепетировал свою роль и приготовил ответы на возможные вопросы. Он спустился по трапу правого борта, извинился, проходя мимо Паулы, которая насмешливо поздоровалась с ним. И только тут Лопес заметил, что стоит почти голый и что ему в таком виде предстоит разговаривать с офицером; и это почему-то разозлило его еще больше.

— Добрый день, сеньоры,— сказал офицер, отвесив полупоклон в сторону Медрано, Рауля и Лопеса.

Стоя чуть поодаль, Клаудиа и Персио наблюдали за этой сценой, не принимая в ней участия. Лусио с Норой куда-то исчезли, а почтенные дамы, смеясь и кудахта, продолжали болтать с Атилио и доном Гало.

— Добрый день,— сказал Лопес.— Вчера, если не ошибаюсь, вы сказали, что нас посетит корабельный врач. Но он не пришел.

— О, весьма сожалею.— Офицер, казалось, был поглощен пушинкой на рукаве своего белого кителя.— Надеюсь, ваше здоровье в полном порядке.

— Не будем говорить о нашем здоровье. Почему не пришел врач?

— Полагаю, он был занят с нашими больными. Вы обнаружили что-нибудь... симптомы, которые вас беспокоили?

— Да,— мягко сказал Рауль.— Вокруг нас чума, как в экзистенциалистском романе. И между прочим, вам не следовало давать обещания, раз вы их не выполняете.

— Врач обязательно придет, можете быть спокойны. Я не хотел бы говорить об этом, но по соображениям безопасности — надеюсь, вы понимаете — необходимо, чтобы вы и... мы, скажем так, как можно меньше вступали в контакт... хотя бы в эти первые дни.

— А, тиф,— сказал Медрано.— Но если кто-нибудь из нас, я например, готов рискнуть, почему бы не пойти вместе с вами на корму к врачу?

— Но затем вам надо будет вернуться назад, и в этом случае...

— Ну вот, опять все сначала,— сказал Лопес, проклиная Медрано и Рауля за их вмешательство.— Послушайте, я уже сыт по горло, понимаете, что это значит? Мне осточертело это путешествие и вы, да-да, вы и все остальные глициды, начиная с вашего капитана Смита. А теперь слушайте: может, у вас там, на корме, в самом деле что-то неладно, не знаю, тиф или какие-то крысы, я только хочу предупредить: если двери по-прежнему будут закрыты, я готов пойти на все, лишь бы их открыть. И когда я говорю, что готов на все, так оно и есть. Учтите.

У Лопеса от гнева дрожали губы (Раулю даже стало жаль его), но Медрано, казалось, разделял его негодование, и офицер понял, что Лопес говорил не только от своего имени. Отступив на шаг, он с холодной любезностью поклонился.

— Я не желаю отвечать на ваши угрозы, сеньор,— сказал он,— но обо всем доложу начальству. Со своей стороны я глубоко сожалею, что...

— Полно, полно, оставьте ваши сожаления,— сказал Медрано, вставая между офицером и Лопесом, который сжал кулаки.— Лучше ступайте и, как вы правильно сказали, доложите обо всем начальству. Да поскорее.

Офицер вперил в Медрано глаза, и Раулю показалось, что он даже побледнел. Правда, на таком ярком солнце и при таком загаре это было довольно трудно определить. Офицер сухо отдал честь и повернулся. Паула пропустила его, освободив на ступеньке место, куда едва можно было поставить ногу, и затем подошла к мужчинам, которые растерянно переглядывались.

— Бунт на корабле,— сказала Паула.— Прекрасно, Лопес. Мы полностью на вашей стороне, безумие куда заразительней тифа 224.

Лопес посмотрел на нее, словно пробуждаясь от кошмарного сна. Клаудиа подошла к Медрано, слегка коснулась его руки.

— Мой сын в вас души не чает. Посмотрите, какое у него восторженное лицо.

— Я иду переодеться,— резко сказал Рауль, для которого происходящее, казалось, вдруг потеряло всякий интерес. Паула продолжала улыбаться.

— Я очень послушна, Ямайка Джон. Мы встретимся в баре.

Почти касаясь друг друга, они взбежали по трапу, оставив позади Бебу Трехо, которая притворилась, будто читает журнал. Полутьма в коридоре показалась Лопесу чернее ночи, не хва-

тало только сновидений, где кто-то незаслуженно завладевал высоким постом. Он чувствовал себя одновременно и возбужденным и усталым. «Лучше бы я набил ему морду», — подумал Лопес, но теперь ему было почти все равно.

Когда он поднялся в бар, Паула уже заказала два пива и докуривала сигарету.

— Непостижимо, — сказал Лопес. — Впервые вижу, чтобы женщина переделалась раньше меня.

— Вы, наверное, нежились под душем, как римлянин, если так запоздали.

— Возможно, не помню. Кажется, я действительно долго простоял под холодным душем, вода была такая приятная. Теперь я чувствую себя гораздо лучше.

Сеньор Трехо прервал чтение Omnibook, чтобы поздороваться с ними вежливо, но прохладно, что, как отметила Паула, было весьма кстати в такую жару. Усевшись в самом дальнем от двери углу, они видели лишь сеньора Трехо и бармена, разливавшего по стаканам джин и вермут. Когда Лопес наклонился к Пауле, чтобы прикурить от ее сигареты, он опустил, кроме табачного дыма и легкой качки, что-то еще, похожее на счастье. Но к этому сладостному чувству вдруг словно примешалась капля горечи, и, обескураженный, он отстранился.

Она продолжала спокойно и кокетливо ждать. И это ожидание длилось долго.

— Вы все еще жаждете прикончить этого несчастного глицида?

— А-а, плевать мне на него.

— Да, конечно. Этот глицид всего лишь предлог. Не его, а меня вы готовы были растерзать. Разумеется, в переносном смысле.

Лопес посмотрел на свое пиво.

— Значит, вы входите в каюту в купальнике, как ни в чем не бывало раздеваетесь, и он тоже входит и выходит, тоже раздевается, когда захочет, и так далее и тому подобное, да?

— Ямайка Джон, — сказала Паула с комическим упреком. — *Manners, my dear*¹.

— Не понимаю, — сказал Лопес. — Абсолютно ничего не понимаю. Ни этот пароход, ни вас, ни себя самого; все это какая-то сплошная нелепость.

— Дорогой мой, кто знает, что происходит за стенами домов Буэнос-Айреса. И не раздеваются ли девушки, которыми вы

¹ Что за манеры, мой дорогой (англ.).

восхищались *ilho tempo*¹, в присутствии сомнительных особ... Вам не кажется, что порой вы рассуждаете, как старая дева?

— Не говорите пошлостей.

— Но это так, Ямайка Джон, вы рассуждаете точно так же, как стали бы рассуждать эти несчастные толстухи, развалившиеся под тентом, если бы узнали, что мы с Раулем не женаты и вообще не связаны никакими узами.

— Мне противна одна мысль об этом, и я вам не верю,— сказал Лопес в бешенстве.— Я не могу поверить, что Коста... Но тогда в чем дело?

— Напрягите свой мозг, как выражаются в переводных детективных романах.

— Паула, можно свободно смотреть на вещи, это я прекрасно понимаю, но чтобы вы и Коста...

— А почему бы и нет? Пока тела не заразят души... Вас же беспокоят души. Души, которые заражают тела, и в результате одно тело начинает спать с другим.

— Вы же не спите с Костой?

— Нет, господин профессор, я не сплю с Костой, и Коста не ласкает мои кости. А теперь я отвечу за вас: «Я вам не верю». Видите, я сэкономила вам четыре слова. Ах, Ямайка Джон, какая тоска, как мне хочется сказать вам крепкое словцо, которое так и вертится у меня на языке. И подумайте, в романе такую ситуацию вы спокойно проглотили бы... Рауль считает, что я подхожу к жизни с литературной меркой. Вам не кажется, что разумней и вам поступить так же? Почему вы, Лопес, такой старомодный испанец? Ах вы, Лопес, архилопес, суперлопес! Почему вы так привержены к отжившим предрассудкам? Я читаю ваши мысли, как цыганка из парка Ретиро. Сейчас вы лихорадочно соображаете, а может, Рауль... ладно, скажем так — роковой недуг мешает ему оценить во мне то, что приводит в восторг других мужчин. Но вы ошибаетесь, это совсем не так.

— Я этого и не думал,— сказал, немного смутившись, Лопес.— Но признайтесь, ведь вам самой должно казаться странным, что...

— Нет, мы дружим с Раулем уже десять лет. И мне это не кажется странным.

Лопес заказал еще две порции пива. Бармен напомнил, что приближается обеденный час и пиво может отбить у них аппе-

¹ Некогда, в свое время (*лат.*).

тит, но они не послушали его. Лопес нежно погладил руку Паулы. Они переглянулись.

— Признаю, что не имею никакого права выступать в роли твоего судьи. Да, позволь мне говорить тебе «ты». Позволь, пожалуйста.

— Разумеется. Я чуть было сама не начала, а это, наверное, тоже тебя покорило бы, потому что ты сегодня надулся как мышь на крупу, как говорит сынишка нашей прислуги.

— Дорогая,— сказал Лопес.— Любимая.

Паула с сомнением посмотрела на него.

— Как легко перейти от сомнений к нежности, всего один роковой шаг. Я это много раз замечала. Но маятник, Ямайка Джон, опять качается, и ты теперь начнешь сомневаться еще больше, чем прежде, потому что считаешь, что я стала тебе ближе. Но ты напрасно строишь иллюзии, я так далека от всего. Так далека, что мне самой становится противно.

— Нет, от меня ты не далека.

— Физическое чувство обманчиво, дорогой мой, одно дело, что ты сидишь рядом со мной, и совсем другое... Метрическая система мер никуда не годится, когда пытаешься применить ее в такой ситуации. Но минуту назад... Да, будет лучше, если я тебе скажу, очень странно, но во мне вдруг зародился проблеск искренности или благородства... Почему у тебя такое удивленное лицо? Ты же не станешь утверждать, что за два дня узнал меня лучше, чем я сама себя за двадцать пять лет. Я только сейчас поняла, что ты очаровательный парень, но намного честней, чем я думала.

— Как так честнее?

— Ну, очень искренний. А теперь признайся, что ломал обычную комедию. Садись на пароход, изучаешь обстановку, выбираешь подходящую кандидатуру... Как в романах, хотя Рауль над этим и потешается. Ты именно так и поступил, и если бы на пароходе оказалось пять или шесть Паул (оставим Клаудию в стороне, ибо она не для тебя, и, пожалуйста, не строй оскорбленную мину), то сейчас я не имела бы чести пить холодное пиво с господином профессором.

— То, о чем ты говоришь, Паула, я называю судьбой. Ты тоже могла бы встретить на пароходе уйму мужчин, и мне оставалось бы только поглядывать на тебя издали.

— Ямайка Джон, всякий раз, как я слышу слово «судьба», у меня возникает желание вытащить зубную пасту и почистить зубы. Ты заметил, что имя Ямайка Джон уже не звучит так

красиво, когда я обращаюсь к тебе на «ты». Для пиратов, по моему, требуется более торжественное обращение. Ну а если я стану звать тебя Карлосом, то каждый раз буду вспоминать собачку моей тети Кармен-Росы. Чарльз... Нет, это уже снобизм. В общем, что-нибудь найдем, а пока ты останешься моим любимым пиратом. Нет, я не пойду.

— А разве я что-нибудь сказал? — пробормотал удивленный Лопес.

— Tes yeux, mon chéri¹. В них ясно отражаются — нижний коридор, дверь и цифра один на ней. Как видишь, я хорошо запомнила номер твоей каюты.

— Паула, как можно.

— Дай мне еще сигарету. И не думай, ты не очень много выиграл от того, что я склонна считать, будто ты честнее, чем я предполагала. Просто я стала тебя уважать, чего раньше со мной не случалось. Ты отличный парень, и пусть-меня-накажет-небо, если я говорила это кому-то до тебя. Вообще я смотрю на мужчин с позиций тератологии. Они необходимы, как гигиенические салфетки или таблетки Вальда, но достойны сожаления.

Она говорила с забавными ужимками, словно желая умалить значение своих слов.

— Я думаю, ты ошибаешься, — сказал Лопес сумрачно. — Никакой я не отличный парень, как ты говоришь, но тем не менее я не привык обращаться с женщиной как с программкой.

— Но я и есть программка, Ямайка Джон.

— Нет.

— Да, представь себе. И твои глаза убедились в этом вопреки твоему отличному христианскому воспитанию. В конце концов, во мне никто не обманывается, и поверь, это большое преимущество.

— К чему такая горечь?

— А к чему такое приглашение?

— Я никуда тебя не приглашал, — взорвался Лопес.

— Нет, приглашал, приглашал, приглашал.

— Ой, как мне хочется оттаскать тебя за волосы, — с нежностью сказал он. — И очень хочется послать тебя к черту.

— Ты очень хороший, — сказала Паула убежденно. — И вообще мы оба мировые.

Не в силах больше сдерживаться, Лопес расхохотался.

— Мне нравится тебя слушать, — сказал он. — Мне нравится, что ты такая храбрая. Да, ты храбрая, ты все время ста-

¹ Твои глаза, мой милый (франц.).

раешься наговорить на себя, чтобы люди тебя неправильно поняли, а это верх храбрости. Ну хотя бы твои отношения с Раулем. Я не стану настаивать: я верю тебе на слово. Я уже говорил это раньше и повторяю теперь. Да, я ничего не понимаю, если только... Вчера вечером мне пришло в голову...

Он рассказал ей о выражении лица Рауля, когда они возвращались из своего похода, и Паула слушала его молча, ссутулясь, разглядывая растущий меж ее пальцев столбик пепла. Альтернатива была проста: довериться ему или промолчать. Рауля бы это не очень задело, но речь шла о ней, а не о Рауле. Открыться Ямайке Джону или промолчать. Она решила открыться. Другого выхода не оставалось, это было утро открытий.

XXXVI

Новость о некрасивой стычке между учителем и офицером с-быстротой-молнии облетела дам. Как это было не похоже на Лопеса, такого вежливого, такого воспитанного. В самом деле, на пароходе создавалась какая-то нехорошая атмосфера, и Нелли, возвращаясь после приятной беседы с женихом у канатов, сочла себя вправе заявить, что мужчины только и умеют все портить. Атилио попытался мужественно встать на защиту Лопеса, но донья Пепи и донья Росита с негодованием обрушились на него, а сеньора Трехо, та даже позеленела от злости. Нора воспользовалась всеобщим замешательством, чтобы бегом вернуться в каюту, где Лусио пытался читать статью о деятельности какого-то миссионера в Индонезии. Он не поднимал глаз, и Нора, подойдя к его креслу, стала ждать. Наконец Лусио с покорным видом закрыл журнал.

— Там произошла очень неприятная сцена, — сказала Нора.

— А мне какое дело?

— Пришел офицер, а сеньор Лопес очень грубо с ним говорил. Он грозился разбить камнями стекла, если нам не сообщат, что происходит на корме.

— Тут ему будет очень трудно найти камни, — сказал Лусио.

— Он сказал, что бросит железку.

— Тогда его схватят, как сумасшедшего. И мне плевать на это.

— Конечно, и мне тоже, — сказала Нора.

Она принялась причесываться, изредка поглядывая на Лусио поверх зеркала. Лусио бросил журнал на кровать.

— Я уже сыт по горло. Будь проклят день, когда я выиграл на этот лотерейный билет. Подумать только, кому-то достаются «шевроле» или вилла в Мар-де-Ахо.

— Да, обстановка тут не из приятных,— сказала Нора.

— По-моему, у тебя достаточно поводов так думать.

— Я имею в виду корму и все, что с ней связано.

— А я имею в виду нечто большее,— ответил Лусио.

— Лучше, если мы не будем касаться этой темы.

— Разумеется. Совершенно с тобой согласен. Все это так глупо, что не стоит об этом и говорить.

— Не знаю, так ли глупо, но оставим это.

— Оставить-то оставим, и все же это страшно глупо.

— Как тебе угодно,— сказала Нора.

— Что меня по-настоящему злит, так это отсутствие доверия между мужем и женой,— ловко ввернул Лусио.

— Ты прекрасно знаешь, что мы еще не муж и жена.

— А ты прекрасно знаешь, что я хочу, чтобы мы ими стали.

Я говорю это для успокоения твоей мещанской совести, потому что для меня мы уже давно муж и жена. И ты не станешь это отрицать.

— Не будь пошляком,— сказала Нора.— Ты вообразил, что у меня нет никаких чувств.

Пассажиры, за незначительным исключением, согласились сотрудничать с доном Гало и доктором Рестелли, дабы, как выразился доктор Рестелли, прогнать тучку беспокойства, которая заслонила изумительное солнце, прославившее в веках побережье Патагонии. Доктор Рестелли, как только узнал от дам и дона Гало об утреннем конфликте, глубоко этим опечалился и отправился разыскивать Лопеса. Лопес беседовал с Паулой в баре, и доктор Рестелли, заказав себе тоник с лимоном, стал дожидаться у стойки подходящего момента, чтобы обратиться к ним, однако беседа была настолько интимной, что ему не раз приходилось отворачиваться с отсутствующим видом. Сенсор Трехо со своим неизменным Omnibook в руках несколько раз многозначительно на него поглядывал, но доктор Рестелли слишком уважал своего коллегу, чтобы понять такие намеки. Только когда Рауль Коста, свежeweымытый, в рубашке с рисунками Стейнберга, непринужденно подсел к Пауле и Лопесу и легко и свободно вступил с ними в разговор, только тогда доктор Рестелли почувствовал себя вправе, кашлянув, присоединиться к ним тоже. Огорченный и обеспокоенный, он присел Лопеса

обещать ему не бросать гаек в стекла капитанской рубки, но Лопес, казавшийся веселым и ничуть не воинственным, вдруг сделался серьезным и заявил, что его ультиматум остается в силе, ибо он никому не позволит издеваться над людьми. Так как Рауль и Паула молчали, дымя «Честерфилдом», доктор Рестелли обратился к доводам эстетического порядка, и тогда Лопес согласился считать любительский вечер священным перемирием, которое продлится до десяти часов следующего утра. Доктор Рестелли, отметив, что, хотя Лопес совершенно напрасно рассердился по столь незначительному поводу, тем не менее вел себя как истый кабалеро, и, выпив еще одну порцию тоника, отправился разыскивать дона Гало, который вербовал на палубе добровольцев для любительского концерта.

От души рассмеявшись, Лопес тряхнул головой, точно вылезший из воды пес.

— Бедный Черный Кот — отличный тип. Посмотрели бы вы на него двадцать пятого мая, когда он влезает на кафедру произнести свою речь. Голос, кажется, из живота идет, глаза закатит, одни белки видно, и пока ребята надрываются от смеха или спят с открытыми глазами, славные деяния освободительной войны и герои в белых галстуках проплывают, точно восковые манекены, на недостижимом расстоянии от бедной Аргентины тысяча девятьсот пятидесятого года. А знаете, что мне сказал однажды один из моих учеников? «Господин учитель, если в прошлом веке все были такие благородные и храбрые, то почему же у нас сегодня такой бордель?» Надо заметить, что некоторым ученикам я позволяю держаться довольно-таки свободно, и этот вопрос был мне задан в католическом колледже в двенадцать часов дня.

— Мне тоже припоминаются архипатриотические речи в школе, — сказал Рауль. — Я очень скоро научился презирать их всей душой. Штандарты, хоругви, немеркнущая родина, неувядающие лавры, гвардия умирает, но не сдается... Я, кажется, запутался, но это неважно. А может, этот лексикон — своеобразная узда, шоры? Ведь человек, достигший определенного умственного развития, видит, насколько не вяжутся эти выспренние слова с теми, кто их произносит, и это убивает в нем все иллюзии.

— Да, но каждому человеку, когда он молод, необходима вера, — сказала Паула. — Я вспоминаю некоторых своих преподавателей, достойных уважения. Когда они произносили эти слова на уроках или в своих речах, я мысленно давала клятву посвятить себя высокой цели, пойти на пытки, беззаветно слу-

жить родине. Родина — это прекрасное понятие, Раулито. Его не существует, но оно прекрасно.

— Нет, существует, но оно далеко не прекрасно, — возразил Лопес.

— Оно не существует, но мы создаем его, — сказал Рауль. — Не оставайтесь на отсталых позициях чистой феноменологии.

Паула понимала, что это не совсем верно, но беседа уже приобретала научный оттенок, и Лопес счел за благо скромно промолчать. Слушая их, он лишний раз убеждался в своем недостатке, для определения которого слишком слабыми оказались бы даже такие понятия, как некоммуникабельность или просто индивидуализм. Разделенные интересами и наклонностями, Паула и Рауль смыкались, словно звенья одной цепи, с полунамека понимая друг друга, объединенные тем, что перечувствовали и пережили вместе, в то время как он, Лопес, находился в стороне и лишь наблюдал, печальный (и все же счастливый, потому что мог видеть лицо Паулы и слышать ее смех), этот союз, который скрепили время и пространство, как скрепляет клятву кровь из порезанного пальца, когда двое соединяются навеки... А теперь он вступал во время и пространство Паулы, тщательно и постепенно постигая тонкости, которые Рауль знал словно самого себя: ее вкусы, точный смысл каждого ее жеста, каждого наряда, каждой вспышки гнева, системе ее суждений, или, вернее, сумбур ее оценок и чувств, ее печали и надежды. «Но она будет моею, и это все меняет, — думал он, сжимая губы. — Она возродится вновь, он знает о ней не больше, чем любой, кто знаком с нею. Я...» А вдруг он пришел слишком поздно, вдруг Рауль и Паула переглянутся, и этот взгляд будет подразумевать какую-то вещь, вечер в Мардель-Плата, главу из романа Уильяма Фолкнера, визит к тетушке Матильде, университетскую забастовку, что-нибудь, что происходило без Карлоса Лопеса, — происходило тогда, когда он, Карлос Лопес, давал урок в четвертом «Б», или прогуливался по Флориде, или занимался любовью с Росалией, будет подразумевать что-то откровенно чужое, как шум гоночных машин, как конверты, в которых хранятся завещания, что-то далекое ему и непостижимое, но и это тоже будет Паулой, той Паулой, что заснет у него в объятиях, сделав его счастливым. Но тогда ревность к прошлому, которая в персонажах Пиранделло и Пруста казалась ему смесью условности и бессилия, мешающего жить в настоящем, стала бы точить его изнутри. Руки его познают каждую частицу ее тела, жизнь обманет его крохами иллюзорного счастья на час, на день или на месяц, кото-

рые он проведет с нею, пока однажды не войдет Рауль или кто-то другой, пока не появится чья-то мать, или чей-то брат, или бывшая соученица, или он не наткнется на записку в книге, адрес в блокноте, или еще хуже — у Паулы печально вырвется неосторожное слово или она намекнет на что-то в своем прошлом, проходя мимо какого-нибудь здания, увидев чье-то лицо или чью-то картину. Если в один прекрасный день он по-настоящему влюбится в Паулу, ибо пока он не был влюблен («сейчас я в нее не влюблен,— подумал он,— сейчас я просто хочу переспать с ней, жить с ней, быть рядом с ней»), время обратит к нему свое слепое лицо, возвестит о недоступном пространстве прошлого, которое не достанешь рукой и не объяснишь словами, прошлого, где бесполезно бросать гайку в стекла капитанского мостика, потому что она не долетит и не причинит вреда, прошлого, где каждый шаг натывается на воздушную стену и каждый поцелуй отражается в зеркале непереносимой издевки. Сидевшие с ним за одним столиком Паула и Рауль находились в то же время и по другую сторону зеркала, и, когда его голос смешивался с их голосами, казалось, будто какой-то диссонанс врывается в слаженный строй звуков, которые витают в воздухе, легко переплетаясь друг с другом, то сливаясь, то разъединяясь. Если б он мог поменяться местами с Раулем, быть им, оставаясь самим собой, мчаться так отчаянно и так слепо, чтобы разлетелась на куски невидимая стена, пропустив его в прошлое Паулы, если б он мог объять это прошлое одним объятием, которое навсегда соединило бы их, владеть ею, юной, невинной, играть с нею в первые игры и таким образом приблизиться к ее молодости, к настоящему, к такой среде, где не будет зеркал, войти с нею в бар, сесть за один столик, поздороваться с Раулем, как с другом, говорить о том, о чем они говорят, видеть то, что видят они, ощущать у себя за спиной другое пространство, непознанное будущее, но чтобы все остальное принадлежало им и чтобы дыхание времени, окутывающее их сейчас, не превратилось в смехотворный пузырь в пустоте, во вчерашнем дне Паулы, где она принадлежала другому миру, и в завтрашнем, где даже совместная жизнь не поможет ему привлечь ее к себе, сделать навсегда и по-настоящему своею.

— Да, это было восхитительно,— сказала Паула и положила руку на плечо Лопесу.— Ах, Ямайка Джон пробуждается, его астральное тело витало где-то в далеких пространствах.

— А кого вы называли вальсунго? — спросил Лопес.

— Гизекинга. Не знаю, почему мы так его прозвали, Рауль очень горюет, что он скончался. Мы часто ходили слушать его, он так прекрасно играл Бетховена.

— Да, я тоже однажды слушал его,— сказал Лопес. (Но это было совсем не то, совсем не то. Каждый по свою сторону, зеркало...) Раздраженный, он тряхнул головой и попросил у Паулы сигарету. Паула чуть прислонилась к нему, но лишь чуть-чуть, потому что сеньор Трехо изредка бросал на них взгляды, и улыбнулась.

— Ты был так далеко, так далеко. Ты грустишь? Тебе скучно?

— Не говори глупостей,— ответил Лопес.— Вы не находите, что она очень глупа?

XXXVII

— Не знаю, жара у него нет, но что-то он мне не правится,— сказала Клаудиа, смотря на Хорхе, игравшего в догонялки с Персио.— Когда мой сын не требует второй порции десерта, значит, у него обложен язык.

Медрано почему-то уловил в ее словах укор и раздраженно дернул плечами.

— Его бы следовало показать врачу, но если будет так продолжаться... Нет, это настоящее варварство. Лопес тысячу раз прав, и надо как-то кончать с этим абсурдом.

«Какого дьявола мы держим тогда оружие в каюте»,— подумал он, прекрасно сознавая, почему Клаудиа молчит, не то насмешливо, не то огорченно.

— Вероятно, вы ничего не добьетесь,— сказала Клаудиа после недолгой паузы.— Железную дверь пинком не откроешь. А о Хорхе вы не беспокойтесь, видимо, это после вчерашнего недомогания. Ступайте, принесите мне кресло, и поищем местечка в тени.

Они устроились на достаточном расстоянии от сеньоры Трехо, чтобы не задевать ее щепетильности и все же иметь возможность побеседовать без посторонних. Было четыре часа пополудни; в тени было прохладно, дул бриз, звеневший изредка в снастях и растрепавший волосы Хорхе, который играл с покорным Персио. Хотя беседа завязалась, Клаудиа чувствовала, что Медрано не расстается со своими навязчивыми мыслями и, даже комментируя гимнастические упражнения Пресутти и Фелипе, продолжает думать об офицере и враче. Она улынулась такому мужскому упорству.

— Любопытно, что мы до сих пор так и не поговорили о нашем путешествии по Тихому океану, — сказала она. — Я заметила, что никто не упоминает про Японию. Даже о скромном Магеллановом проливе и о предстоящих остановках.

— Это дело далекого будущего, — сказал Медрано, пытаясь улыбкой прогнать дурное настроение. — Слишком далекого для воображения некоторых и слишком неправдоподобного для нас с вами.

— Но ничто не предвещает, что мы туда не доедем.

— Ничто. Правда, это вроде как со смертью. Ничто не предвещает нашу смерть, и тем не менее...

— Я ненавижу аллегории, — сказала Клаудиа, — за исключением старинных, да и то не всех.

Фелипе с Пушком репетировали на палубе гимнастические упражнения, готовясь блеснуть на любительском вечере. На капитанском мостике по-прежнему никого не было видно. Сеньора Трехо в сердцах воткнула желтые спицы в клубок шерсти, свернула вязанье и, вежливо попрощавшись, покинула палубу. Медрано, пообеда глазами небо, задержался на клюве какой-то хищной птицы.

— Будем мы в Японии или не будем, я никогда не пожалею, что сел на этот злосчастный «Малькольм». Ему я обязан тем, что встретил вас, что увидел эту птицу, эти пенистые волны, и даже те неприятные минуты, которые я пережил здесь, оказались для меня более полезными, чем то, что я мог пережить за это время в Буэнос-Айресе.

— И еще вы узнали дона Гало, и сеньору Трехо, и остальных столь же выдающихся пассажиров.

— Я говорю серьезно, Клаудиа. Я не обрел счастья на пароходе и нисколько не удивляюсь этому, ведь это вовсе не входило в мои планы. Путешествие должно было стать своего рода передышкой — так, закончив одну книгу, мы начинаем разрезать страницы другой. Некой ничейной землей, где мы стараемся по возможности залечить свои раны и накапливаем углеводы, жиры и моральные ресурсы для нового погружения в поток жизни. Но у меня все получилось наоборот, ничейной землей оказались последние дни в Буэнос-Айресе.

— Любое место пригодно для того, чтобы привести в порядок свои дела, — сказала Клаудиа. — Дай бог мне почувствовать все то, о чем вы говорили вчера вечером, то, что еще может с вами случиться... Меня не слишком беспокоит мой образ жизни ни в Буэнос-Айресе, ни здесь. Я знаю, что живу как под наркозом, что я всего лишь тень Хорхе, которая ходит вокруг

него на цыпочках, рука, которая поддерживает ночью его руку, протянутую в страхе.

— Но это немало.

— Если смотреть со стороны или ценить прежде всего материнскую самоотверженность. Но все дело в том, что я не только мать Хорхе. Я уже говорила вам, мой брак был ошибкой, но не менее ошибочно слишком долго загорать на пляже. Ошибаются от избытка красоты или счастья... но в конечном счете важен результат. Так или иначе, в моем прошлом было много прекрасного, и принести его в жертву ради других таких же пужных и прекрасных вещей не значит найти утешение. Дайте мне выбрать между Браком и Пикассо, и я, конечно, выберу Брака (если это та картина, о которой я сейчас думаю), но не перестану жалеть, что у меня в гостиной не будет и восхитительного Пикассо...

Она невесело рассмеялась, и Медрано положил руку ей на плечо.

— Вам ничто не мешает стать больше чем только матерью Хорхе,— сказал он.— Почему женщины, которые остаются одни, почти всегда теряют интерес к жизни, покоряются судьбе? Они держатся за нас, а мы, мужчины, думаем, что они прокладывают нам путь. Вы, кажется, не из тех женщин, что считают материнство единственной своей обязанностью. Я уверен, вы способны осуществить все свои замыслы, удовлетворить все свои желания.

— О, мои желания,— сказала Клаудиа.— Я предпочла бы вовсе не иметь их или, во всяком случае, покончить со многими. Возможно, тогда...

— Тогда, продолжая любить своего мужа, вы причините себе вред?

— Не знаю, люблю ли я его,— сказала Клаудиа.— Порой я думаю, что никогда и не любила. Слишком легко я рассталась с ним. Как вы, например, с Беттиной, по-моему, вы даже не были влюблены в нее.

— А он? Никогда не делал попытки примириться? Так и позволил вам уйти?

— О, он по три раза в год ездил на нейрологические конгрессы,— сказала Клаудиа без всякой обиды.— Еще до оформления развода у него была подруга в Монтевидео. Он сказал об этом, чтобы успокоить меня: вероятно, подозревал, что меня мучит... скажем, чувство вины.

Они увидели, как Фелипе поднялся по трапу правого борта, встретился с Раулем и оба удалились по коридору. На палубу

спустилась Беба и уселась в кресло, где недавно сидела ее мама. Они улыбнулись ей. Беба улыбнулась им. Бедняжка, она, как всегда, была одна.

— Здесь очень хорошо, — сказал Медрано.

— О да, — отозвалась Беба. — Я уже больше не могу на солнце. Но вообще-то я люблю жариться.

Медрано уже собирался было спросить, почему она не купается, но благоразумно промолчал. «Чего доброго, попаду впросак», — подумал он, раздраженный тем, что прервался его разговор с Клаудией. Клаудия спросила что-то насчет пряжки, найденной Хорхе в столовой. Закурив, Медрано глубже уселся в кресле. Чувство вины, все это слова, слова. Чувство вины. Словно такая женщина, как Клаудия, могла... Он окинул ее взглядом, она улыбнулась. Беба оживилась, доверчиво придвинула свое кресло. Наконец-то ей удастся поговорить со взрослыми людьми. «Нет, — думал Медрано, — у нее не должно быть чувства вины. Виноват мужчина, который теряет такую женщину. Но возможно, он не был в нее влюблен, почему я должен судить о нем со своей точки зрения. Я по-настоящему восхищаюсь ею, и, чем она откровеннее говорит со мной о своих слабостях, тем сильнее и прекрасней я нахожу ее. И не думаю, что это только под влиянием морского воздуха...» Ему достаточно было на секунду вспомнить (это было даже не воспоминание, оно возникало прежде образа и слова, составляя часть его бытия, совокупности его жизни) всех женщин, которых он знал близко, сильных и слабых, тех, кто ведет за собой, и тех, кто идет по чужим стопам. У него было больше чем достаточно причин восхищаться Клаудией, протянуть ей руку, зная, что она поведет его. Но направление пути было неясно, и все в нем и вокруг него трепетало, как море и солнце, как бриз в проводах. Тайное ослепление, крик встречи, смутная уверенность. Словом, потом придет нечто ужасное и прекрасное одновременно, нечто определенное, огромный скачок или непреложное решение. И между этим хаосом звуков, похожим на музыку, и привычным вкусом сигареты он вдруг ощутил какой-то провал. Медрано прикинул его размеры, словно это была страшная пропасть, которую ему предстояло преодолеть.

— Держи крепче мое запястье, — приказал Пушок. — Не понимаешь, что ли, если поскользнемся, поломаем себе хребет.

Примостившись на трапе, Рауль внимательно следил за тренировкой. «Они стали добрыми друзьями», — подумал он, вос-

хищаясь тем, как Пушок легко поднимал Фелипе, который описывал в воздухе полукруг. Он также отдал должное силе и ловкости Атилио, его мускулатуре, несколько скованной нелепыми трусами. Разглядывая спину Атилио, его плечи, покрытые веснушками и рыжими волосами, он не решался посмотреть на Фелипе, который, сжав губы (должно быть, немного трусил), висел вниз головой; Пушок поддерживал его, широко расставив ноги, чтобы сохранить равновесие на зыбкой палубе. «Ап!» — крикнул Пушок, подражая эквилибристам из цирка Боедо, и Фелипе встал на ноги, тяжело переводя дух и восхищаясь силой своего напарника.

— Знаешь что, никогда не напрягайся, — посоветовал Пушок, глубоко дыша. — Чем больше расслабишься, тем лучше получится упражнение. А теперь сделаем пирамиду. Будь внимателен, когда я крикну «ап!». Ап! Да не так, малец, не видишь, так ты можешь вывихнуть руку. Я ведь тебе уже тыщу раз говорил. Был бы тут Русито, увидел бы ты, как надо делать упражнения.

— Чего захотел, невозможно же сразу все выучить, — сказал Фелипе с обидой.

— Ладно, ладно, я так, но ты больно напрягаешься. Это я должен прилагать силу, а тебе только надо расслабиться и сделать сальто. Да осторожней, когда наступаешь мне на загривок; глянь, у меня вся шкура облезает.

Они сделали пирамиду, двойные австралийские ножницы у них не получились, зато они отыгрались на комбинированных сальто, вызвавших бурные рукоплескания уже немного заскучавшего Рауля. Пушок скромно улыбнулся, а Фелипе заметил, что они уже достаточно потренировались.

— Ты прав, малец, — сказал Пушок. — Если перетренируешься, потом будут болеть все мускулы. Давай хлебом пивка? — Сейчас нет, может, попозже. Сейчас я пойду приму душ, я весь вспотел.

— Это хорошо, — сказал Пушок. — Пот убивает микробы. А я пойду пропущу «кильмес кристалл».

«Любопытно, для таких типов всякое пиво называется «кильмес кристалл», — подумал Рауль, питая слабую надежду на то, что Фелипе, возможно, сознательно отказался от приглашения. — Но может, он до сих пор сердится, как знать». Пушок прошел мимо него, громко выдохнув: «Извини, парень» — и оставив после себя резкий, почти видимый запах лука. Рауль продолжал сидеть, пока не поднялся Фелипе, перекинув через плечо полотенце в красную и зеленую полоску.

— Настоящий атлет,— сказал Рауль.— Будете сегодня вечером блистать.

— Ха, ничего особенного. Я все еще неважно себя чувствую, у меня временами кружится голова, но самое сложное будет делать Атилио. Ну и жара!

— После душа как заново родишься.

— Точно... лучше всего помогает. А вы что будете делать сегодня вечером?

— Еще не знаю. Надо поговорить с Паулой и придумать какую-нибудь занимательную штуку. Мы привыкли импровизировать в последний момент. Правда, всегда получается неважно, но никто этого не замечает. С тебя так и льет.

— Конечно, после таких упражнений... Вы вправду не знаете, что будете делать?

Рауль встал, и они вместе зашагали по коридору правого борта. Фелипе следовало бы подняться по другому трапу, чтобы пройти к себе в каюту. Разумеется, это не имело значения, достаточно было потом воспользоваться переходом, и все же ему удобней было подняться по левому трапу. Иными словами, если он направился сюда, можно было предположить, что он ищет повода поговорить с Раулем. Без особой уверенности, но можно. Он уже не сердится, хотя и избегает смотреть ему в глаза. Следуя за ним по полутемному коридору, Рауль различал яркие полосы полотенца, висевшего у него на плече, и подумал о сильном ветре, который поднял бы это полотенце, как полы плаща у древнего воина. Мокрые ноги оставляли влажный след на линолеуме... Дойдя до перехода, Фелипе обернулся, опершись рукой о переборку. И снова, как в прошлый раз, он вел себя неуверенно, не зная, о чем и как говорить с Раулем.

— Ладно, пойду поплещусь под душем. А вы чем займетесь?

— О, я немного прилягу, если только Паула не очень храпит.

— Не может быть, чтобы она храпела, она такая молодая.

Он внезапно покраснел, сообразив, что в присутствии Рауля ему неловко думать о Пауле и что Рауль просто подшучивает над ним. Конечно, женщины, как все люди, могут храпеть, и показать Раулю свое удивление — значит признать, что у него нет ни малейшего представления о спящих женщинах, о женщинах в постели. Но Рауль смотрел на него без тени намешки.

— Конечно, храпит,— сказал он,— не всегда, но бывает, ко-

гда вздремнет после обеда. Невозможно читать, когда рядом кто-то храпит.

— Точно,— сказал Фелипе.— Если хотите поболтать, приходите ко мне, я мигом приму душ. У меня никого, старик целый день торчит в баре с газетой.

— Заметано,— сказал Рауль, подхвативший когда-то это выражение, оно напоминало ему о нескольких счастливых днях, проведенных в горах.— Ты позволишь мне набить трубку твоим табаком, я оставил свою коробку в каюте.

И хотя каюта Рауля находилась всего в нескольких шагах от перхода, Фелипе воспринял эту просьбу как вполне естественную, не вызывающую никакого беспокойства.

— Стюард — настоящий ас,— сказал Фелипе.— Вы когда-нибудь видели, как он входит или выходит из каюты? Я, например, никогда, но стоит на минуту отлучиться, как все прибрано, постель застлана... Подождите, я сейчас дам вам табак.

Он отбросил полотенце в угол и включил вентилятор. Разыскивая табак, Фелипе говорил о том, как ему нравится электрооборудование кают, что ванная комната — просто чудо и освещение тоже, все так хорошо продумано. Стоя спиной к Раулю, он искал табак в нижнем ящике комода. Наконец, найдя, протянул коробку Раулю, но Рауль, казалось, не замечал ее.

— Что с вами? — спросил Фелипе, стоя с протянутой рукой.

— Ничего,— сказал Рауль, по-прежнему не беря табак.— Просто рассматриваю тебя.

— Меня? Ну вот еще...

— С таким телом ты, верно, покоришь немало девушек.

— Ну, вот еще,— повторил Фелипе, не зная, что делать с коробкой, которую держал в руке. Рауль взял коробку и, схватив Фелипе за руку, потянул к себе. Фелипе резко высвободил руку, но не отпрянул. Казалось, он был скорее растерян, чем напуган и, когда Рауль сделал шаг вперед, остался стоять неподвижно, опустив глаза. Рауль положил ему руку на плечо и медленно провел вниз.

— Ты весь мокрый,— сказал он.— Ладно, иди мойся.

— Да, конечно,— сказал Фелипе.— Я сейчас.

— Оставь дверь открытой, так мы сможем поболтать.

— Но... Мне-то все равно, но может войти старик.

— И что, по-твоему, он подумает?

— Даже не знаю.

— Если не знаешь, значит, все равно.

— Не в этом дело, но...

— Тебе стыдно?

— Мне? А почему мне должно быть стыдно?

— Мне так показалось. Если ты боишься того, что подумает твой папа, мы можем запереть дверь каюты.

Фелипе не знал, что сказать. Нерешительно подошел к двери и запер ее на ключ. Рауль ждал, медленно набивая трубку. Он видел, как Фелипе посмотрел на шкаф, на кровать, словно отыскивая какой-то предлог, чтобы выиграть время и на что-то решиться. Фелипе достал из комода пару белых носков, трусики и положил на постель, потом снова взял их, отнес в ванную и положил рядом с душем, на никелированный табурет. Рауль, попыхивая трубкой, по-прежнему смотрел на него. Фелипе открыл душ, попробовал, какая вода. Потом, стоя лицом к Раулю, быстрым движением спустил трусы и встал под душ, словно ища у воды защиты. Энергично намыливаясь, не глядя на дверь, он засвистал. Струйки воды, затекавшие в рот, и учащенное дыхание то и дело прерывали этот свист.

— У тебя в самом деле изумительное тело, — сказал Рауль, пристраиваясь напротив зеркала. — В твоем возрасте многие мальчишки еще ничего собой не представляют, а вот ты... Сколько я повидал таких мальчишек в Буэнос-Айресе.

— В клубе? — спросил Фелипе, которому и в голову не пришло подумать что-то другое. Он по-прежнему стоял лицом к Раулю, стыдясь повернуться к нему спиной. Что-то глухо шумело в голове, струйки воды ударяли по ушам, затекали в глаза, в рот; водяной вихрь лишал его воли, он уже не владел даже голосом. Он продолжал машинально намыливаться, но вода тут же уносила с собой мыльную пену. Что, если Беба узнает про такое... И вдруг где-то далеко-далеко возникло воспоминание об Альфиери, который мог вот так же стоять там и курить, смотря на него, как смотрят на голых новобранцев сержанты, или как тот врач с улицы Чаркас, который заставлял его ходить с закрытыми глазами, вытянув вперед руки. И он пришел к мысли, что Альфиери (да нет, вовсе не Альфиери) посмеялся бы над его бестолковостью, и вдруг, разозлившись на себя, резко выключил душ и стал с яростной силой, бешено намыливаться, покрывая пышной пеной живот, подмышки, шею. Ему уже было почти все равно, что на него смотрит Рауль, — ведь, в конце концов, между мужчинами... Но он лгал себе и, намыливаясь, старался избегать некоторых движений, держать себя как можно прямее; стоя лицом к Раулю, он тщательно растирал руки и грудь, шею и уши. Поставив ногу на выступ из зеленых кафельных плиток, Фелипе немного наклонился, чтобы намылить щиколотку и икру. Ему казалось, что он моется це-

люю вечность. Душ не доставлял никакого удовольствия, но он никак не решался закрыть воду, выйти и начать вытираться. Когда наконец он выпрямился, то увидел сквозь прилипшие к глазам волосы, как Рауль, сняв с крючка полотенце, протягивал его издали, не решаясь ступить на забрызганный мыльной пеной пол.

— Ну, теперь ты чувствуешь себя лучше?

— Конечно. После упражнений хорошо привяты душ.

— Да, особенно после некоторых упражнений. Ты меня не понял, когда я сказал, что ты прекрасно сложен. Я хотел только узнать, тебе понравилось бы, если бы об этом тебе сказала женщина.

— Ну ясно, это любому понравится,— сказал Фелипе, немного поколебавшись, прежде чем произнести «любому».

— Ты уже спал со многими или только с одной?

— А вы? — спросил Фелипе, натягивая трусы.

— Ты отвечай, не стесняйся.

— Я еще молодой,— сказал Фелипе.— К чему мне перед вами хвастать.

— Вот это мне нравится. Значит, ты еще ни с кем не спал.

— Ну «ни с кем» нельзя сказать. В подпольном борделе... Конечно, это не одно и то же.

— Ах, так ты был в подпольном борделе. Я уж думал, их не осталось в пригородах.

— Есть несколько,— сказал Фелипе, причесываясь перед зеркалом.— У меня приятель с пятого курса, он меня туда водил. Некий Ордоньес.

— И тебя пустили?

— Конечно, пустили. Я же был с Ордоньесом, а у него пропуск. Мы ходили туда два раза.

— Тебе понравилось?

— Еще бы.

Он погасил свет в ванной комнате и прошел мимо Рауля, который не тронулся с места. Рауль слышал, как он открыл ящик, разыскивая рубашку и тапочки. Он еще постоял немного в сырой темноте, спрашивая себя, с какой стати он... Но не имело смысла задавать себе этот вопрос. Он вошел в каюту и сел в кресло. Фелипе надел белые брюки — торс его еще был обнажен.

— Если тебе не нравится говорить о женщинах, ты так и скажи, и мы прекратим,— сказал Рауль.— Просто я подумал, что ты в таком возрасте, когда уже интересуются такими вещами.

— А кто вам сказал, что я не интересуюсь? Вы какой-то странный, напоминаете мне одного моего знакомого...

— Тоже говорит с тобой о женщинах?

— Иногда. Но он какой-то странный... Бывают же странные люди, да? Я не хотел сказать, что вы...

— Обо мне ты не беспокойся, я понимаю, что порой должен казаться тебе странным. Значит, этот твой знакомый... Расскажи мне о нем, а пока мы можем выкурить по трубочке. Если хочешь.

— Конечно,— сказал Фелипе, чувствуя себя немного уверенней в одежде. Он надел голубую рубашку поверх брюк и достал трубку. Усевшись в другое кресло, дождался, пока Рауль передаст ему коробку с табаком. У него было такое чувство, словно он избежал какой-то опасности, словно все происшедшее могло обернуться иначе. Только теперь он понял, что все время ходил как-то скованно, напряженно, ожидая, что Рауль поступит совсем не так, как поступал, и скажет совсем не то, что говорил. Ему сделалось смешно, он неумело набил трубку и раскурил ее только от второй спички. И начал рассказывать об Альфиери, какой он ловкач и как даже сумел переспать с женой одного адвоката. Но Фелипе рассказывал не все, ведь Рауль говорил о женщинах, поэтому с какой стати он будет посвящать его в истории с Вианой и Фрейлихом. Хватит с него про Альфиери и Ордоньеса.

— Для этого нужно много монет. Женщины любят, чтобы их таскали по кабакам, возили в такси, а потом еще платили за мебелирашки...

— Будь мы в Буэнос-Айресе, я мог бы тебе это устроить. Вот когда вернемся, сам увидишь. Обещаю тебе.

— У вас, наверное, шикарная квартира.

— Да. Я могу тебе ее предоставить, когда понадобится.

— Правда? — почти с испугом спросил Фелипе. — Вот было бы здорово, так даже без особых затрат можно привести бабу. — Он покраснел и закашлялся. — Ну, как-нибудь мы могли бы повеселиться на пару. Если только вы не...

Рауль встал и подошел к Фелипе. Он принялся гладить его мокрые, почти липкие волосы. Фелипе дернул головой, стараясь отстраниться.

— Ну что вы,— сказал он. — Растреплете. И вдруг еще войдет старик...

— Так ты, кажется, запер дверь.

— Да. Но все равно оставьте меня.

У него пылали щеки. Он попытался подняться с кресла, но Рауль, положив ему руку на плечо, не пустил. И снова принялся легко поглаживать его по голове.

— Что ты думаешь обо мне? Говори правду, не стесняйся. Я не обижусь.

Фелипе вывернулся и вскочил на ноги. Рауль опустил руки, словно приготовился принять удар. «Если он меня ударит, он мой», — успел он подумать. Но Фелипе отступил шага на два, покачав головой, будто обо всем догадался.

— Оставьте меня, — крикнул он срывающимся голосом. — Вы... вы, все вы одинаковые.

— Мы? — спросил Рауль с легкой усмешкой.

— Да, вы. И Альфиери такой же, и все вы одинаковые.

Рауль продолжал улыбаться. Он пожал плечами и сделал шаг к двери.

— Ты слишком разнервничался, малыш. Что плохого, если один приятель приласкает другого? Какая разница — пожать руку или погладить по голове?

— Разница... Вы сами знаете, что разница есть.

— Нет, Фелипе, ты мне не доверяешь, раз тебе кажется странным, что я хочу стать твоим другом. Не доверяешь и лжешь. И ведешь себя, как баба, если хочешь знать правду.

— А теперь вы ко мне цепляетесь, — сказал Фелипе, осторожно приближаясь к Раулю. — Я вам лгу?

— Да. Мне даже жаль тебя, ты не умеешь лгать, это познается со временем, а ты еще не научился. Я тоже ходил вниз и разузнал у одного липида. Почему ты солгал мне, что оставался с молодым матросом?

Фелипе махнул рукой, словно желая показать, что это не имеет никакого значения.

— Я могу простить тебе многие обиды, — сказал Рауль тихим голосом. — Я могу понять, что ты меня не любишь, или что тебе кажется неприемлемой мысль о нашей дружбе, или что ты боишься, как бы другие не истолковали ее неверно... Но только не лги мне, Фелипе, даже из-за такой малости, как эта.

— Но ведь не было ничего плохого, — сказал Фелипе. Голос Рауля невольно привлекал его, как и глаза, устремленные на него и словно ожидавшие чего-то другого. — Просто я разозлился на вас за то, что вы не взяли меня с собой, и хотел... В общем, пошел на свой страх и риск, и, что там было, это мое дело. Поэтому я и не сказал вам правду.

Он резко повернулся к Раулю спиной и подошел к иллюминатору. Рука с трубкой безвольно повисла. Другой рукой он

провел по волосам, ссутулился. На миг ему показалось, что Рауль начнет упрекать его в чем-то, он не знал, в чем именно, например в том, что он хотел пофлиртовать с Паулой, или в чем-нибудь еще в этом же роде. Он не решался смотреть на Рауля, его глаза словно причиняли боль, вызывали желание плакать, кинуться ничком на постель и плакать — чувствуя себя маленьким и совершенно беззащитным перед этим человеком с пронзительным взглядом. Спинай он чувствовал, что Рауль медленно приближается к нему, чувствовал, что вот-вот руки Рауля с силой обхватят его, и тоска сменялась страхом, вслед за которым возникало какое-то смутное желание подождать, испытать это объятие, когда Рауль откажется от своего высокомерия и станет его умолять, смотреть на него жалкими собачьими глазами, поверженный им, поверженный, несмотря на объятие. Внезапно он осознал, что они поменялись ролями, что теперь он может диктовать условия. Он резко повернулся, увидел протянутые к нему руки Рауля и расхохотался ему в лицо, истерично, мешая смех со слезами, хрипло и визгливо рыдая с искаженным издевательской гримасой лицом.

Рауль провел пальцами по щекам Фелипе и снова подождал, не ударит ли тот его. Он увидел занесенный кулак и замер в ожидании. Фелипе закрыл лицо руками, съезжился и отскочил в сторону. В том, как он кинулся к двери, отворил ее и остановился на пороге, было что-то роковое. Рауль, не глядя, прошел мимо. Дверь, как выстрел, хлопнула за его спиной.

G

Быть может, необходим отдых, быть может, в какой-то миг голубой гитарист опустит руку и чувственный рот замолкнет и сожмется, станет пустым, как жутко сжимается пустая перчатка, брошенная на кровать. И в этот час равнодушия и усталости (а усталость — это эвфемизм поражения, и сон — это маска пустоты, прикрывающая каждую пору жизни) образ чуть антропоморфический, презрительно воссозданный Пикассо на картине, где изображен Аполлинер, как никогда представляет комедию в ее критической точке, когда все застывает перед тем, как взорваться в едином аккорде, который снимет невыносимое напряжение. Но мы думаем об определенных названиях расположенных перед нами предметов: гитара, музыкант, корабль, идущий к югу, женщины и мужчины, которые мельтешат, как белые мыши в клетке. Какая неожиданная интрига может родиться из последнего подозрения, кото-

рое превосходит то, что случается в жизни, и то, чего не случается, то, что находится в этой точке, где, возможно, достигнут союз взгляда и химеры, где фабула на кусочки раздирает шкуру агнца, где третья рука, едва различимая Персио в миг звездного даiania, сжимает на свой страх и риск гитару, лишённую корпуса и струн, и выводит в твердом, как мрамор, пространстве музыку для иного слуха. Нелегко понять антигитару, как нелегко понять антиматерию, но антиматерия — это уже предмет, о котором пишут в газетах и делают сообщения на конгрессах, антиуран, антикремний сверкают в ночи, звездная третья рука вызывающе предлагает себя, чтобы оторвать наблюдателя от созерцания. Нелегко представить себе античтение, антисуществование какого-нибудь антимуравья; третья рука дает пощечины очкам и классификациям, срывает книги с полок, раскрывает смысл зеркальных отражений, их симметричное и извращенное откровение. Этот анти-«я» и этот анти-«ты» находятся здесь, и что тогда есть мы и наше удовлетворительное существование, где беспокойство не выходит за пределы жалкой немецкой или французской метафизики, и теперь, когда на кожу, покрытую волосами, ложится тень антизвезды, теперь, когда в любовном объятии мы чувствуем порыв антилюбви, и не потому, что космический палиндром обязательно будет отрицанием (почему должна быть отрицанием антивселенная?), а, напротив, истиной, которую указывает третья рука, истиной, которая ожидает рождения человека, чтобы обрести радость!

Неважно как — валяясь посреди пампы, или засунутый в грязный мешок, или просто упав с коварного коня, Персио поворачивается лицом к звездам и чувствует, что приближается неясное завершение. Ничем не отличается он в этот час от паяца, который поднимает обсыпанное мукой лицо к черной дыре в шатре цирка, к этому окну в небо. Паяц не знает, Персио не знает, что это за желтые камешки скачут в его широко открытых глазах. А раз он не знает, он может с величайшим трепетом ощущать, что ему дано: сверкающая оболочка южной ночи медленно вращается со своими крестами и компасами, и в уши мало-помалу начинает проникать голос равнин, хруст прорастающих трав, неуверенные покачивания змеи, вползающей в росу, легкая дробь кролика, возбужденного желанием луны. Он уже вдыхает сухое таинственное потрескивание пампы, трогает мокрыми зеницами новую землю, которая едва знается с человеком и отвергает его, как отвергают его ее кони, ее циклоны и ее просторы. Чувства мало-помалу оставляют Персио, что-

бы извлечь его и выплеснуть в черную долину: сейчас он уже не видит, не слышит, не обоняет, не осязает, он отсутствует, его нет, он сбросил с себя пути и, выпрямляясь, как дерево, охватывает множественность в единой и огромной боли — и это есть разрешающийся хаос, затвердевшее стекло, первозданная ночь американского времени. Какой вред может причинить ему таинственный парад теней, обновленная и разбитая вселенная, поднимающаяся вокруг него, ужасное потомство недоносков, и броненосцев и обросших шерстью лошадей, пантер с клыками, точные рога, и камнепады и оползни. Неподвижный камень, безразличный свидетель революции тел и зонов, око, опустившееся, как кондор с гороподобными крыльями, на путь мириад и галактик зреть чудовищ и потоны, пасторальные сцены и вековые пожары, метаморфозы магмы, сиалла, неприметное движение континентов-китов, острова тапиров, каменные катастрофы Юга, грозное рождение Анд, вспарывающих трепещущую землю, не имея возможности отдохнуть хотя бы секунду, знать, что ощущает левая рука: ледниковый период земли со всеми его катаклизмами или всего лишь слизняка, ползущего ночью в поисках теплого места.

Если бы отречься было трудно, он, наверное, отрекся бы от осмоса катаклизмов, которые погружают его в невыносимо плотную массу, но он упорно отказывается от легкой возможности открывать и закрывать глаза, вставать и выходить на край дороги, вновь выдумывать свое тело, путь, ночь в тысяча девятьсот пятьдесят с чем-то году, помощь, которая придет с маяком, громкими криками и пыльным следом за кормой. Он сжимает зубы (возможно, это рождается горный хребет, дробятся базальты и глины) и отдается головокружению, ходу слизняка или каскаду, льющемся на его затонувшее тело. Вся вселенная — это поражение, в воздух взлетают скалы, безымянные звери падают и перебирают задранными вверх ногами, разлетаются в щепки коиуэ, восторг беспорядка распластывает, возбуждает и уничтожает среди воя и мутаций. Что должно было остаться от всего этого — развалившийся дом в пампе, хитрый лавочник, гонимый бедняга гаучо и генерал у власти? Дьявольская операция, которая свелась к колоссальным цифрам футбольных чемпионатов, самоубийству поэта, горькой любви по углам и в кустах жимолости. Субботняя ночь, итог славы, это ли есть Южная Америка? Не повторяем ли мы в каждом своем повседневном поступке неразрешившийся хаос? И разве в настоящее время, отложенное на неопределенное будущее, время культа некрофилии, всеобщей склонности к от-

вращению и снам без сновидений, к кошмарам после несварения тыквы и колбасы, поглощенных в огромном количестве, разве мы ищем сосуществования судеб, хотим прожить одновременно жизнь свободного индейца и профессионального гонщика? Лицом к звездам, брошенные в непромокаемой и глухой пампе, разве мы не отказываемся тайно от исторического времени, не рядимся в чужие одежды и не повторяем пустые речи, которые облекают в перчатки приветственно поднятые руки вождя и празднование знаменательных дат, и из этой неизведанной действительности разве мы не выбираем антагонистический призрак, антиматерию антидуха и антиаргентинства, решительно отказываясь достойно встретить судьбу своего времени, гонку, где есть победители и побежденные? Не манихейцы, но и не жизнелюбивые гедонисты, разве мы не представляем на земле спектр грядущего, его сардоническую личинку, спрятавшуюся на краю дороги, антивремя души и тела, дешевую легкость, «не суйся не в свое дело», если речь не идет о твоей жизни? Наша судьба не желать никакой судьбы, и разве мы не плюем на каждое напыщенное слово, на каждое философское эссе, на каждый громкий чемпионат, жизненную антиматерию, вознесенную до накидки из тасгате¹, до флоральных игр², до кокард, светских и спортивных клубов в любом квартале Буэнос-Айреса, Росарио или Тукумана?

XXXVIII

Вообще литературные состязания всегда развлекали Медрано, ироничного стороннего наблюдателя. Мысль об этом пришла ему в голову, пока он спускался на палубу, проводив Клаудиу и Хорхе, который против обыкновения вдруг захотел спать после обеда. Если хорошенько вдуматься, доктору Рестелли следовало бы устроить литературный вечер, по сравнению с любительским концертом это было бы более возвышенно и назидательно и к тому же позволило бы кое-кому блеснуть убийственным остроумием. «Впрочем, не принято устраивать на пароходе литературные состязания», — подумал он, растягиваясь в кресле-качалке и медленно доставая сигарету. Он нарочно отдалял тот момент, когда сможет отрешиться от окружающего, чтобы с наслаждением отдаться во власть образа Клаудии, восстано-

¹ Плетеный шнур (франц.).

² Поэтические состязания в Провансе, учрежденные так называемой «Консистерией Веселой науки» в 1323 г.

ливая в мельчайших подробностях черты ее лица, оттенки ее голоса, форму рук, ее манеру, такую простую и естественную, молчать и говорить. В эту минуту на трапе левого борта появился Карлос Лопес и застыл, устремив взгляд на горизонт. Остальные пассажиры уже некоторое время как покинули палубу; на капитанском мостике по-прежнему было пусто, Медрано закрыл глаза и подумал, что будет дальше. Как только закончится последнее выступление на вечере, прозвучат вежливые аплодисменты и все зрители разойдутся, начнут свой бег часы нового, третьего дня. «Все тот же символ, надоевшая, не очень тонкая аллегория», — подумал он. Третий день — решающий. Можно было ожидать самых невероятных событий: вдруг откроется для всеобщего обозрения корма или Лопес выполнит свою угрозу с помощью Рауля и его, Медрано. Партия пацифистов во главе с доном Гало будет присутствовать при этом и бесноваться; но дальше будущее рисовалось в тумане, пути раздваивались, расходились в стороны... «Ну, будет дело», — подумал он, радуясь, сам не зная чему. Но события представились ему столь нелепыми и столь лишенными всякой драматичности, что собственная радость в конце концов внушила ему тревогу. Он предпочел снова вернуться мыслями к Клаудии, вспомнить выражение ее лица, на котором совсем недавно, когда они прощались на пороге ее каюты, он прочел скрытое беспокойство. Но она ничего не сказала, а он сделал вид, что ничего не заметил, хотя ему очень хотелось быть подле нее, вместе с нею оберегать сон Хорхе, тихонько болтать о чем-нибудь. Он снова неясно ощутил какую-то пустоту, беспорядок, необходимость что-то предпринять — он сам не знал, что именно, — собрать тысячи кусочков головоломки, разбросанной на столе. Еще одно избитое сравнение жизни с головоломкой: каждый день — это кусочек дерева с зеленым пятнышком, красной крапинкой, серой точкой, но все перемешано и аморфно, дни перепутаны, частица прошлого, вонзенная, как шип, в будущее; настоящее, должно быть, оторванное от предшествующего и последующего, но обедненное неким слишком произвольным делением, решительным отказом от призраков и намерений. Нет, настоящее не могло быть таким, но только сейчас, когда многое от этого «сейчас» было невозвратно потеряно, он начинал подозревать, без особой, правда, уверенности, что самая большая его вина, по-видимому, заключалась в некоей свободе, основанной на неверно понятой чистоплотности, на эгоистичном желании полностью распоряжаться собой в любое время дня, которые походили один на другой, не отягощенные вчерашним

и завтрашним грузом. Увиденная сквозь эту призму, жизнь представилась ему полнейшим поражением. «Поражением?» — подумал он с тревогой. Никогда существование не представлялось ему цепью побед, а в таком случае понятие «поражение» теряло всякий смысл. «Да, логично, — подумал он. — Логично». Он повторял это слово, вертел его на все лады. Логично. Тогда и Клаудиа, тогда и «Малькольм». Логично. А желудок, а тревожный сон, а предчувствие надвигающейся беды, которая станет его врасплох, безоружным, и к которой надо приготовить. «Черт побери, — подумал он, — не так просто выкинуть за борт свои привычки, это очень похоже на *surmenage*¹. Как в тот раз, когда я думал, что схожу с ума, а на самом деле началось заражение крови...» Нет, это было нелегко. И Клаудиа, кажется, понимала это, она не попрекнула его Беттиной, но Медрано подумал теперь, что Клаудиа должна была бы упрекнуть его за отношение к Беттине. Разумеется, у нее не было на это никакого права, и еще меньше как у возможной преемницы Беттины. Но даже мысль о подобной замене была оскорбительна, когда речь шла о такой женщине, как Клаудиа. Возможно, именно поэтому она могла бы назвать его негодяем, могла бы спокойно сказать ему это, устремив на него взгляд, в котором ее тревога мелькнет как завоеванное право, право соучастницы, как упрек того, кто сам достоин упрека, куда более горького, справедливого и веского, чем упрек судьи или святого. Но почему именно Клаудиа должна распахнуть перед ним врата времени и вытолкнуть его обнаженным, когда время уже подстегивало его, заставляя курить сигарету за сигаретой, кусать губы и желать, чтобы так или иначе составилась головоломка, чтобы его неверные руки, не привыкшие к этим играм, на ощупь отыскивали бы красные, зеленые, синие и серые кусочки, сложили бы из беспорядочной груды женский профиль, свернувшегося у камелька котенка, фон из старых сказочных деревьев. И чтобы все это было сильнее солнца в половине пятого пополудни, кобальтового горизонта, который он видел сквозь прикрытые веки, покачиваясь вверх и вниз вслед за палубой «Малькольма», торгово-пассажирского судна компании «Маджента стар». Вдруг он очутился на улице Авельянеда, деревья в осенней ржавчине; руки в карманах плаща, он быстрым шагом спасается от какой-то неясной угрозы. Приходящая как в доме у Лолы Ромарино, только уже; он выходит во двор — спешить, спешить, не теряя ни минуты, — поднимается

¹ Переутомление (*франц.*).

по лестнице, как в парижском отеле «Сен-Мишель», где он прожил несколько недель с Леонорой (фамилию он забыл). Комната большая, завешанная портьерами, скрывающими кривые стены и окна, которые выходят в глухие темные дворы. Закрыв за собой дверь, он почувствовал огромное облегчение. Снял плащ, перчатки и очень осторожно положил их на тростниковый столик. Он понимал, что опасность не миновала, что дверь защищала его только наполовину, это была лишь отсрочка, которая позволяла ему отыскать более надежное убежище. Но он не хотел думать, не знал, о чем думать; угроза была слишком неопределенной, она витала в воздухе, уносясь и возвращаясь, словно ключья дыма. Он сделал несколько шагов и очутился на середине комнаты. И только тогда увидел кровать, скрытую розовой ширмой, жалкое ложе, готовое вот-вот рухнуть. Неприбранная железная кровать, таз и кувшин; да, это могло быть в отеле «Сен-Мишель», хотя и было совсем не там, комната напоминала другую, в отеле в Рио. Ему почему-то не хотелось подходить к этой грязной, неприбранной постели, и он неподвижно стоял, засунув руки в карманы пиджака, чего-то ожидая. Появление Беттины, которая вдруг раздвинула потертые занавески и вышла к нему, словно скользя по засаленному ковру, остановилась в метре от него и медленно подняла закрытое белокурыми волосами лицо, показалось ему совершенно естественным, почти неизбежным. Ощущение опасности растворилось, превращаясь в нечто иное, и он не знал, что это было и что его ждет что-то похуже того, что случится сейчас, а Беттина постепенно поднимала свое невидимое лицо, и сквозь белокурые легкие пряди показывался иногда кончик носа, иногда рот, который тут же исчезал, иногда блестящие глаза. Медрано хотел было отступить, хотя бы прижаться спиной к двери, но он словно плавал в густом, вязком воздухе, глоток которого с большим трудом, напрягая грудь, все тело, он время от времени втягивал в себя. Он слышал голос Беттины, потому что она говорила с самого начала, но речь ее сливалась в один резкий, непрерывный, однообразный звук, словно попугай, неустанно присвистывая, повторял какие-то отдельные слоги. Когда она тряхнула головой и откинула назад волосы, упавшие на плечи, лицо ее оказалось так близко от его лица, что стоило ему лишь наклониться, и он мог бы омыть свои губы в ее слезах. Блестевшие от слез щеки и подбородок, приоткрытый рот, из которого продолжали литься непонятные слова, лицо Беттины внезапно словно заслонили собой комнату, портьеры, ее тело, руки, которые, как он заметил, были прижаты к бедрам; осталось толь-

ко лицо, окутанное дымкой и залитое слезами, глаза, вылезшие из орбит, которые о чем-то умоляли Медрано, он различал теперь каждую ресничку, каждый волосок бровей; лицо Беттины было нескончаемым миром, застывшим в судорогах перед его глазами, которых он не мог отвести, и голос ее продолжал литься, как густая, липкая лента, и смысл слов был ясен, хотя ничего нельзя было разобрать, ясен и точен — это был взрыв ясности и завершения, наконец определившаяся конкретная угроза, конец всему, явление ужаса здесь, в эту минуту. Тяжело дыша, Медрано смотрел на лицо Беттины — оно хотя и не приближалось к его лицу, но было уже совсем рядом — и узнавал хорошо знакомые черты: крутую линию подбородка, разлетающиеся брови, ложбинку на верхней губе, покрытую нежным пушком, которого он нежно касался губами; и все же он сознавал, что видит совсем иное лицо, что это не лицо Беттины, а его изнанка, маска, и нечеловеческие страдания, страдания всего мира уничтожили тривиальность лица, которое он целовал когда-то. Он знал также, что и это неверно, верно было то, что он видел сейчас, вот где была настоящая Беттина, Беттина-чудовище, перед которой бледнела Беттина-любовница, как бледнел он, медленно отступая к двери, не в силах оторваться от этого лица, плавающего перед его глазами. Но это был не страх, а нечто большее — ужас, или, скорее, не всем данное ощущение самого страшного мига — попытки без физической боли, квинтэссенции попытки без истязания плоти и нервов. Он видел обратную сторону вещей, впервые видел себя таким, каким он был, лицо Беттины служило ему зеркалом, омытым слезами: перекошенный рот, когда-то кокетливый, бездонные глаза, когда-то легкомысленно смотревшие на мир. Он не знал этого, потому что ужас парализовал его разум, это была обратная сторона самой материи, прежде для него непостижимая, и поэтому, когда он с криком проснулся, и голубой океан плеснул ему в глаза, и он снова увидел трап и Рауля Косту, сидевшего где-то наверху, лишь тогда, закрыв лицо руками, словно боясь, как бы кто-то другой не увидел в нем того, что секунду назад он сам увидел в маске Беттины, он понял, что близок к разгадке, что головоломка скоро будет сложена. Задыхаясь, как во сне, он посмотрел на свои руки, кресло, в котором сидел, дощатый настил палубы, железные поручни у борта, посмотрел с удивлением, далекий от всего, что его окружало, чужой самому себе. Когда он снова обрел способность думать (причинявшую ему боль, потому что все в нем кричало, что думать — значит опять фальшивить), он понял, что видел во сне не Бет-

тину, а самого себя; и ужас заключался именно в этом, но теперь, перед лучами солнца и соленым ветром, ужас отступал, уходил в забвение, в небытие, оставляя лишь ощущение, что каждая частица его жизни, его тела, его прошлого и настоящего была фальшивой и что эта фальшь и сейчас находится где-то рядом, дожидается той минуты, когда можно будет взять его за руку и снова отвести в бар, в завтрашний день, в любовь с Клаудией, к улыбающемуся капризному лицу Беттины, вечной в вечном Буэнос-Айресе. Фальшивым был день, который он видел, потому что этот день видел он; фальшь была повсюду, потому что заключалась в нем самом, потому что была выдумана по частям на протяжении всей жизни. Он только что увидел подлинное лицо легкомыслия, но, к счастью, ах, к счастью, это был всего лишь кошмарный сон. Он снова обретал разум, хорошо смазанная машина начинала думать, качались шатуны и вертелись подшипники, получая и передавая усилия, подготавливая благоприятные заключения. «Какой кошмарный сон», — решил Габриэль Медрано, отыскивая сигареты, эти бумажные цилиндрики, наполненные табаком, по пяти песо за пачку.

Когда стало невозможно сидеть на солнце, Рауль вернулся в каюту, где Паула спала, лежа ничком. Стараясь не шуметь, он налил себе виски и растянулся в кресле. Паула открыла глаза и улыбнулась.

— Я как раз видела тебя во сне, но ты был выше ростом и одет в плохо сшитый синий костюм.

Она привстала, согнула пополам подушку и оперлась на нее.

Раулю вдруг припомнились этрусские саркофаги, возможно потому, что на губах Паулы блуждала какая-то легкая, еще сонная улыбка.

— А вот выглядел ты лучше, — сказала Паула. — Можно было подумать, что ты вот-вот разродишься советом или поэмой в октавах. Я уж знаю, была знакома с поэтами: у них всегда такое лицо перед тем, как прийти вдохновению.

Рауль вздохнул, немного задетый.

— Какое несуразное путешествие, — сказал он. — У меня такое чувство, будто мы все время на что-то натываемся, даже наш пароход. Только не ты. По-моему, у тебя все идет как по маслу с этим твоим загорелым пиратом.

— Как сказать, — Паула потянулась. — Если я немного забудусь, может, и пойдет, но ты всегда рядом, а ты же свидетель.

— О, я не стану мешать. Ты мне только сделай знак, например скрести пальцы или стукни левым каблуком, и я тут же исчезну. Даже из каюты, если тебе понадобится, но, полагаю, до этого не дойдет. Кают здесь полным-полно.

— Вот что значит иметь дурную репутацию,— сказала Паула.— Ты думаешь, мне достаточно знать мужчину двое суток, чтобы лечь с ним в постель?

— Вполне достаточный срок. За это время можно успеть посоветоваться с совестью и почистить зубы...

— Злюка, вот ты кто. О чем бы ни шла речь, ты вечно злишься.

— Ничего подобного. Не путай ревность с завистью, а я испытываю только зависть.

— Расскажи мне,— сказала Паула, откидываясь назад.— Расскажи, почему ты мне завидуешь.

И Рауль рассказал. Это стоило ему немалого труда, хотя он не щадил себя и не скупился на иронию.

— Но он еще мальчик,— сказала Паула.— Понимаешь, совсем еще ребенок.

— А если не ребенок, тогда слишком взрослый. Не старайся найти объяснение. По правде говоря, я вел себя как идиот, расстроился, словно это случилось в первый раз. Со мной всегда так, заранее насочиняю, что может случиться... И последствия налицо.

— Да, это плохая система. А ты не сочиняй, и все будет в порядке...

— Ты стань на мое место,— сказал Рауль, не подумав, что может насмешить Паулу.— Здесь я безоружен, лишен возможностей, которыми располагал бы в Буэнос-Айресе. И в то же время мы здесь ближе, намного ближе, чем были бы там, я встречаю его на каждом шагу и вдобавок знаю, что пароход может оказаться самым прекрасным местом... Я испытываю танталовы муки, видя его в коридорах, в душе, за акробатическими упражнениями.

— Не слишком ты грозный растлитель,— сказала Паула.— Я всегда это подозревала и рада, что так оно и оказалось.

— Пошла ты к черту.

— Нет, я правда радуюсь этому. И считаю, что теперь ты заслуживаешь немного большего, чем прежде, и что тебе, может, даже повезет.

— Я предпочел бы заслуживать меньшего и...

— Что и? Я не собираюсь вдаваться в подробности, но полагаю, это не так-то просто. Будь это просто, в тюрьмах не си-

дело бы столько вашего брата, а в кукурузных полях не находили бы столько мертвых мальчиков.

— Ты скажешь, — возразил Рауль. — Невероятно, чего только женщина не вообразит себе.

— Это не воображение, Раулито. Поскольку ты не садист, представляющий опасность для общества, я считаю, ты способен обойтись с ним дурно, как осторожно выразилась бы «Ла Пренса». Но мне не стоит большого труда представить тебя в роли умеренного обольстителя, если позволишь так выразиться, который идет к дурной цели хорошим путем. На сей раз, бедняжка, морской воздух, кажется, вдохнул в тебя слишком сильный порыв.

— У меня даже нет охоты снова послать тебя к черту.

— В конце концов, — сказала Паула, приставляя палец к губам, — в конце концов, у тебя есть кое-какие шансы, и полагаю, ты не настолько удручен, чтобы их не заметить. Во-первых, путешествие обещает быть долгим, и у тебя нет соперников. Я хочу сказать, нет женщин, которые могли бы вселить в него мужественность. Мальчишка в его возрасте, если ему повезет в самом безобидном флирте, способен возомнить о себе невесть что, и будет совершенно прав. Вероятно, тут я сама немного виновата. Я позволила ему строить иллюзии, говорить со мной, словно он уже мужчина.

— Ба, какие пустяки, — сказал Рауль.

— Может, и пустяки, но, повторяю, у тебя еще есть шансы. Нужны разъяснения?

— Если это тебя не затруднит.

— Неужели ты ничего не заметил, чурбан ты этакий. А ведь это так просто, так просто. Приглядишься к нему и увидишь то, чего он сам не видит, потому что не знает.

— Это слишком прекрасно — видеть его воочию, — сказал Рауль. — Я сам не знаю, что испытываю, когда смотрю на него. Ужас, пустоту, сладость меда и прочее в том же роде.

— Да, в таком состоянии... А следовало бы увидеть, что молодой Трехо полон сомнений, что он дрожит и колеблется и что в душе, глубоко в душе... неужели ты не заметил в нем какой-то порыв? То, что делает его прелестным (ведь я тоже нахожу его прелестным, но только с той разницей, что чувствую себя как бы его бабушкой), и он вот-вот сдастся, он не может оставаться тем, кто он есть сию минуту. Ты вел себя как идиот, но, возможно, еще... Одним словом, не слишком хорошо, что я, правда?..

— Ты на самом деле так думаешь, Паула?

— Это юный Дионис, глупец. В нем нет никакой стойкости, он нападает, потому что до смерти боится, и в то же время полон страстного желания, он чувствует, что любовь словно парит над ним, он как бы мужчина и женщина одновременно и даже нечто большее. В нем нет определенности, он знает, что настал час, но какой час, не знает, и напяливает эти свои ужасные рубашки и приходит ко мне, чтобы сказать, что я очень красивая, и смотрит на мои ноги, а сам панически меня боится... но ты ничего этого не видишь и бродишь как лунатик с подносом пирожных... Дай мне сигарету, я, наверное, сейчас пойду искупаюсь.

Рауль смотрел, как она курит, и время от времени они обменивались улыбками. То, что она сказала, не было для него новостью, но важно было услышать мнение объективного наблюдателя. Круг замыкался, все вставало на прочную основу. «Несчастный интеллеktуал, не можешь без доказательств», — подумал он без всякой горечи. И виски уже теряло свой горьковатый привкус.

— А ты? — спросил Рауль. — Теперь я хочу знать о тебе. Давай уж по-братски вымараемся до конца, душ под боком. Говори, выкладывай, падре Коста весь внимание.

— Мы в восторге от идеи, которую предложили сеньор доктор и сеньор инвалид, — сказал метрдотель. — Возьмите шляпу или хотя бы маску.

Госпожа Трехо решила взять фиолетовую шляпу, и метрдотель одобрил ее выбор. Беба нашла, что вполне сойдет диадема из посеребренного картона с красными блестками. Метрдотель ходил от столика к столику, раздавая маскарадные украшения, объясняя резкое (и столь естественное) понижение температуры и записывая заказы на кофе и другие напитки. За пятым столиком, где с сонными лицами сидели Нора и Лусио, дон Гало и доктор Рестелли делали последние поправки в программе вечера. С согласия метрдотеля вечер было решено провести в баре; хотя бар и был меньше столовой, он обычно отводился для такого рода празднеств (они последовали примеру предыдущих пассажиров, чьи пордические имена и отзывы остались в альбоме). Когда подали кофе, сеньор Трехо покинул свой столик и торжественно присоединился к организаторам вечера, которые составили теперь триумвират. С сигарой в руке дон Гало еще раз проверил список выступающих в концерте и передал его остальным.

— Я вижу, наш друг Лопес будет развлекать нас фокусами, — сказал сеньор Трехо. — Прекрасно, прекрасно.

— Лопес — незаурядный молодой человек, — сказал доктор Рестелли. — Он превосходный преподаватель и столь же блестящий собеседник.

— Я рад, что нынешним вечером он предпочел развлечение в обществе, а не экстравагантные выходки, свидетелями которых мы были последнее время, — сказал сеньор Трехо, понижая голос так, чтобы Лопес не мог его услышать. — Положительно, эти юноши поддаются далеко не похвальному духу насилия, да, сеньоры, далеко не похвальному.

— Он просто рассердился, — сказал дон Гало, — и понятно, что кровь у него взыграла. Но вот увидите, как все успокоится после нашего праздника. Немного повеселиться — вот что нужно. Разумеется, самым невинным образом.

— Именно, именно, — поддержал его доктор Рестелли. — Мы все согласны с тем, что наш друг Лопес явно поспешил с угрозами, которые ни к чему не приведут.

Луисо изредка поглядывал на Нору, которая внимательно рассматривала скатерть и свои руки. Он неловко кашлянул и спросил, не пора ли перейти в бар. Однако доктору Рестелли из достоверных источников было известно, что официант и метрдотель еще наводили там последний блеск, развешивая пестрые гирлянды и создавая обстановку, отвечающую духовным и культурным запросам.

— Вот именно, вот именно, — сказал дон Гало. — Духовные запросы — это как раз то, о чем я говорю. Словом, веселая вечеринка. А что до этих петушков, ведь дело не в одном юном Лопесе, то мы сумеем поставить их на место, дабы наше путешествие прошло без помех. Я прекрасно помню, как однажды в Пергамино, когда заместитель управляющего в моем филиале...

Раздались легкие хлопки в ладоши, и метрдотель объявил, что господа пассажиры могут пройти в праздничный зал.

— Похоже на наш Луна-парк во время карнавала, — сказал Пушок, восхищаясь разноцветными фонариками и шарами.

— Ах, Атилио, в этой маске я тебя боюсь, — прохныкала Нелли. — И зачем ты только выбрал эту гориллу.

— Ты давай занимай хорошее место и прихвати для меня стул, а я пойду разузнаю, когда наша очередь выступать. А где ваш братец, сеньорита?

— Где-нибудь здесь бродит, — ответила Беба.

— Но он не приходил обедать.

— Заявил, что у него болит голова. Он всегда любит корчить из себя важную персону.

— Да какая там голова,— авторитетно заметил Пушок.— Просто немного свело мышцы после тренировки.

— Не знаю,— сказала Беба с презрением.— Мама совсем его избаловала, вот он и капризничает, чтобы его все упростили.

Но это не было ни капризом, ни головной болью. Фелипе дождался прихода ночи, не покидая каюты. Входил отец, довольный выигрышем в жарких карточных боях, и, приняв душ, снова уходил, затем на короткое время забегала Беба и с важным видом рылась в чемодане, разыскивая ноты. Валяясь в постели, куря без всякой охоты, Фелипе видел, как все больше густеет синева за иллюминатором. Он словно куда-то погружался вместе со своими бессвязными мыслями, сигаретой, которая оставляла во рту все более горький и липкий привкус, вместе с судном, которое с каждым покачиванием точно все глубже опускалось под воду. Оскорбления, которыми он осыпал Рауля, утратили смысл от бесконечных повторений и только усилили его дурное расположение духа, сменявшееся вдруг приступом злобного самолюбия, и он вскакивал с постели, смотрелся в зеркало, решал, нарядившись в клетчатую красно-желтую рубаху, выйти на палубу с наигранно безразличным или, наоборот, воинственным видом. Но тут же снова вспоминал свое жалкое поведение, рассматривал руки, безвольно лежавшие на одеяле и не осмелившиеся разбить в кровь его морду. Он даже не спрашивал себя, действительно ли хотел разбить в кровь эту морду; он предпочитал снова и снова ругать его или предаваться фантастическим мечтам, в которых отважные поступки и истерические объяснения завершались каким-то сладострастным чувством, и он потягивался, закуривал новую сигарету или, беспечно покружив по каюте, спрашивал себя, с какой стати он сидит здесь взаперти, вместо того чтобы присоединиться к остальным пассажирам, которые, наверное, давно ужинают. Но среди этих раздумий он не забывал о матери, ожидая, что она вот-вот пагрянет, обеспокоенная и напуганная, и обольет его пулеметной очередью вопросов. И, опять бросаясь на постель, он со злорадством думал, что все же в конечном счете одержал верх. «Наверное, он в отчаянии»,— решил Фелипе, облекая наконец свои мысли в слова. Мысль о том, что Рауль мог отчаиваться, казалась почти невероятной, и все же это, наверное, было так: ведь он выскочил из каюты, точно ему угрожала смертельная опасность, белый как бумага. «Белый как бумага»,— подумал он

с удовольствием. А теперь, наверное, один-одинешенек грызет кулаки от злости. Но нелегко было представить себе Рауля таким; всякий раз, когда он пытался подвергнуть его самым тяжким унижениям, он видел спокойное, немного насмешливое лицо Рауля. Вспоминал, как он протягивал трубку и подходил погладить его по голове. Вероятнее всего, валяется сейчас на кровати, покуривая как ни в чем не бывало.

«Ну, это положим,— подумал он мстительно.— Наверняка впервые так его отпили». А он теперь будет знать, как связываться с этими чертовыми недерастами. И только подумать, как он обманывался, верил, что это его единственный друг, тот, на кого можно рассчитывать на пароходе, где нет женщин, которыми стоило бы заняться, или по крайней мере других мальчишек его возраста, с кем можно было бы порезвиться на палубе, вот скука. Ну, теперь он пропал, лучше вообще не выходить из каюты... Перед ним возник образ Паулы — еще одна неожиданность, если происшествие с Раулем можно было считать неожиданностью. Паула. Какую, черт побери, роль играла она во всем этом? Он сделал несколько предположений, успешных, грубых и не удовлетворивших его, и снова озабоченно подумал — именно в такие минуты и рождались у него мимолетные порывы гордости, распиравшей грудь, и он глубже затягивался сигаретой, потому что трубка валялась около двери, а над ней на стене красовалась отметина яростного удара,— почему выбор пал именно на него, а не на кого-то другого, почему Рауль сразу же разыскал его той ночью, когда они садились на пароход, а не увязался за кем-нибудь другим. Неважно, что никого другого не было, что выбор был роковым образом ограничен; от сознания, что Рауль выбрал именно его, Фелипе хотелось швырнуть его трубку о стену и в то же время глубоко вздохнуть, закатить глаза, словно наслаждаясь какой-то особой привилегией. Но Рауль ему еще заплатит, можете быть уверены, заплатит за все, чтобы впредь не ошибался... «Черт побери, ведь я же не давал ему повода,— подумал он, резко выпрямляясь.— Я же не Виана, не Фрейлих, так-растак!» Он докажет Раулю, что он настоящий мужчина, и пускай не старается больше этот расфуфыренный хмырь со своей рыжей девкой. И так он ему слишком много позволил: давать советы, лезть с помощью. Позволил лишнее, и этот тип возомнил невесть что. Услышав какой-то шум у двери, он вздрогнул. Черт, ну и нервный он стал. Тоже... Он украдкой посмотрел на Бебу, которая, морща нос, нюхала воздух в каюте.

— Ты все куришь, — сказала Беба со своим обычным добродетельным видом. — Вот увидишь, скажу маме, она спрячет от тебя сигареты.

— Пойди в дерьмо и посиди там немного, — ругнулся Фелипе почти добродушно.

— Ты что, не слышал, что звали ужинать? Ишь какой выискался, я должна вылезать из-за стола и бегать за ним, как за маленьким ребенком.

— Конечно, привыкла, что все только и бегают за тобой.

— Папа велел передать, чтобы ты немедленно поднялся в столовую.

Фелипе ответил не сразу.

— Скажи ему, что у меня болит голова. Может, потом, на праздник я пойду.

— Голова? — спросила Беба. — Выдумал бы что-нибудь получше.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Фелипе, выпрямляясь. Он снова почувствовал, как неприятно засосало под ложечкой. Услышав, что дверь захлопнулась, он сел на кровати. В столовой надо обязательно пройти мимо второго столика, поздороваться с Паулой, Лопесом и Раулем. Он начал медленно натягивать голубую рубаху и серые брюки. Включив свет, увидел валявшуюся на полу трубку и поднял ее. Она была совершенно целой. Он подумал, что лучше всего отдать трубку Пауле вместе с коробкой табака, чтобы она... Да, в столовой он должен пройти мимо столика и поздороваться. А если взять и оставить трубку на столе, не говоря ни слова? Он, идиот, так разволновался. Положить ее в карман и потом при удобном случае, когда Рауль выйдет подышать воздухом, подойти и сухо сказать: «Это вот ваше» — или что-нибудь в таком роде. Но тогда Рауль посмотрит на него своим обычным взглядом и медленно улыбнется... Нет, может, даже не улыбнется, а попытается взять его за руку, и тогда... Он медленно причесывался, разглядывая себя в зеркале. Нет, он не пойдет ужинать, он заставит его помучиться в ожидании встречи. «И пусть он покраснеет, когда я буду проходить мимо стола. Эх, только бы мне не покраснеть», — подумал он с яростью, но с этим он ничего не мог поделать. Лучше остаться на палубе или сидеть в баре, потягивая пиво. И тут он подумал о трапе в коридорчике, о Бобе.

Донья Росита и донья Пепа удобно устроились в первом ряду кресел; к ним подседа сеньора Трехо, краснея от гордости

за свою необычайно одаренную дочь. За ними стали рассаживаться покидавшие столовую пассажиры. Хорхе важно и чинно уселся между матерью и Персио; однако Рауль не спешил найти себе место и, облокотясь о стойку, ожидал, пока все устроится. Кресло доня Гало было установлено на председательском месте, а шофер поспешил пробраться в последние ряды, где уже примостился Медрано, хмуро куря сигарету за сигаретой. Пушок снова спросил о своем папарнике в гимнастических упражнениях и, оставив маску донье Росите, заявил, что пойдет узнать, как он себя чувствует. Надев маску полинезийки, Паула развлекала Лопеса, подражая голосу сеньоры Трехо.

Метрдотель сделал знак официанту, и свет погасили, но тут же зажглись два прожектора, один в глубине бара, другой на полу, вблизи рояля, с трудом втиснутого между стойкой и стеной. Метрдотель торжественно поднял крышку рояля. Раздались жидкие аплодисменты, и доктор Рестелли, усиленно моргая, направился к освещенному месту. Разумеется, не ему следовало бы открывать этот непритязательный импровизированный любительский вечер, ибо оригинальный замысел всецело принадлежал достойному кабальеро и любезному другу дону Гало Порриньо, присутствующему в зале.

— Продолжайте, пожалуйста, продолжайте,— сказал дон Гало, повышая голос, чтобы перекрыть вежливые аплодисменты.— Вы прекрасно понимаете, что я не гожусь на роль церемониймейстера, так что продолжайте на здоровье!

В наступившей за этим поцелуем тишине возвращение Атилио получилось более заметным и шумным, чем он хотел. Опускаясь на стул, вслед за огромной тенью, мелькнувшей по потолку и стене, он тихим голосом сообщил Нелли, что его товарища по выступлению нигде нет. Донья Росита вернула ему маску, настойчиво и сердито призвав соблюдать тишину, но рассерженный Пушок продолжал недовольно сетовать и со скрипом ерзать на стуле. Хотя Рауль и не расслышал слов, он быстро догадался, в чем дело. Подчиняясь давнишней привычке, он посмотрел на Паулу, которая, сняв маску, внимательно изучала зрителей. Когда она взглянула в его сторону, удивленно подняв брови, он ответил ей легким пожатием плеч. Прежде чем надеть маску, Паула улыбнулась и снова принялась болтать с Лопесом; для Рауля эта улыбка была неким пропуском, печатью на документе, выстрелом стартового пистолета. Но даже если бы Паула и не ободрила его взглядом, он все равно ушел бы из бара.

— Как они говорят, боже мой, как говорят,— сказала Паула.— Ямайка Джон, вы в самом деле уверены, что вначале было Слово.

— Я люблю тебя,— сказал Ямайка Джон вместо ответа.— Как чудесно, что я тебя люблю и что говорю тебе это здесь, когда нас никто не слышит, когда мы в масках и я пират, а ты полинезийка.

— Ладно, пускай я буду полинезийка,— сказала Паула, смотря на свою маску и снова надевая ее,— а вот ты похож не то на Рокамболя, не то на депутата от Сан-Хуана, и это совсем тебе не идет. Уж лучше бы ты выбрал маску, как у Пресутти, а еще лучше не надевай никакой и продолжай оставаться Ямайкой Джоном.

Доктор Рестелли между тем расхваливал выдающиеся музыкальные способности сеньориты Трехо, которая собиралась усладить слух присутствующих исполнением пьес Клементи и Черни, двух знаменитых композиторов. Лопес посмотрел на Паулу, та прикусила губу. «Знаменитые композиторы,— подумала она.— Многообещающее начало». Она видела, как вышел Рауль, и Лопес тоже это видел и посмотрел на нее полусмущенно, полувопросительно, но она сделала вид, что не заметила его взгляда. «Удачи тебе, Раулито,— подумала она.— Дай бог, чтобы тебе расквасили нос, Раулито. А я до конца жизни останусь Лавалье, это уж в крови, и в душе я никогда не прощу ему, что он мой лучший друг. Безупречный друг сеньориты Лавалье. Именно безупречный. И вот он идет, дрожа пробирается по пустому коридору, еще один из легиона дрожащих в предвкушении наслаждений и уже заранее потерпевших фиаско... Нет, я никогда не прощу ему этого, и он это знает, и в тот день, когда он встретит того, кто последует за ним (но он не встретит, Паулита следит день и ночь, чтобы не встретил, так что пусть даже не старается), бросит меня, и прощай тогда концерты, сэндвичи с паптетом в четыре часа утра, прогулки в Сан-Тельмо и вдоль побережья, прощай, Рауль, прощай, бедняжка Рауль, удачи тебе, пусть хоть на этот раз тебе повезет».

Беба извлекала из рояля нестройные звуки. Лопес вложил в руку Пауле носовой платок. Ему показалось, что она плачет от смеха. Она быстро поднесла платок к глазам и погладила Лопеса по плечу, скорее просто дотронулась, чем погладила. И улыбнулась, не возвращая платка; а когда раздалась аплодисменты, Паула развернула платок и громко высморкалась.

— Ну и свинья,— сказал Лопес.— Я не для этого тебе его давал.

— Неважно,— ответила Паула.— Он такой жесткий, весь нос мне исцарапал.

— Я играю лучше, чем она,— заявил Хорхе.— Пусть Персио подтвердит.

— Я не разбираюсь в музыке,— сказал Персио.— Все, кроме пасодоблей, оставляет меня равнодушным.

— Ну тогда ты, мама, скажи, разве я не лучше играю, чем эта девушка. Да еще всеми пальцами, а у нее половина торчит в воздухе.

Клаудиа вздохнула с облегчением. Провела рукой по лбу Хорхе.

— Ты правда хорошо себя чувствуешь?

— Конечно,— ответил Хорхе, с нетерпением дожидаясь своей очереди выступить.— Персио, смотри, кто там такой выходит!

По знаку дона Гало, любезному, но и повелительному, выплыла Нелли и остановилась между роялем и стеной, в глубине бара. Луч прожектора ударил ей прямо в лицо («Как она волнуется, бедняжка»,— говорила донья Росита так, чтобы все слышали), Нелли заморгала и, подняв руку, заслонила глаза. Метрдотель поспешно бросился к прожектору и отвел его в сторону. Все зааплодировали, чтобы подбодрить артистку.

— Я прочитаю вам «Смех и слезы» Хуана де Диос Песы,— объявила Нелли, вставая в такую позу, словно собиралась приступить в пляс с кастаньетами.— «Смотря на Гаррика, британского актера, народ, рукоплеская, говорил ему...»

— А я тоже знаю этот стих,— сказал Хорхе.— Помнишь, я читал его в кафе в тот вечер? А теперь будет про врача.

— «И жертвы сплина, сухие лорды, среди черной ночи своих терзаний шли, чтоб увидеть царя актеров,— декламировала Нелли,— и сплин смеялся веселым смехом».

— Нелли прирожденная актриса,— доверительно сообщала донья Пепа донье Росите.— С детских лет, поверьте, уже стихами говорила: «Мой ботиночек мне жмет, а чулок тепло дает».

— Ну, мой Атилио не такой,— сказала донья Росита, вздыхая.— Ему только и нравилось, что давить на кухне тараканов да гонять мяч во дворе. Ох и поломал он у меня герани: с мальчишками намаешься, если хочешь, чтоб в доме был порядок.

Облокотясь о стойку, готовые исполнить любое желание зрителей и выступающих, метрдотель и бармен смотрели концерт. Протянув руку к рычажку отопления, бармен перевел его с

цифры 2 на цифру 4. Метрдотель взглянул на него, и оба улыбнулись; они не слишком понимали, о чем декламирует Нелли. Бармен достал две бутылки пива и два стакана. Бесшумно открыл бутылки и наполнил стаканы. Медрано, дремавший в глубине бара, только позавидовал им; пробираться между стульями было слишком трудно. Тут он заметил, что сигарета у него погасла, и осторожно отлепил окурок от губы. Он был доволен, что не сел рядом с Клаудией и мог теперь смотреть на нее из темноты, украдкой. «Какая она красивая», — подумал он. Его охватила какая-то робость, нерешительное желание, как у порога, который почему-то нельзя переступить, желание и робость еще усиливались от невозможности переступить этот порог, и это было прекрасно. «Она никогда не узнает, какое добро мне сделала», — сказал он себе. Полный сомнений, запустив все свои дела, со сломанной расческой, в рубашке без пуговиц, гонимый ветром, который рвал в клочья время, его лицо, самую жизнь, он снова приближался, приближался почти вплотную к этой приоткрытой, но неприступной двери, за которой, возможно, что-то произойдет, что-то родится, что станет его творением и смыслом его существования, но для этого он должен повернуться спиной к тому, что считал когда-то приемлемым и даже необходимым. Впрочем, до этого еще было далеко.

XXXIX

Дойдя до середины коридора, он вдруг заметил, что держит трубку в руке, и снова рассвирепел. Но потом подумал, что, если бы захватил с собой еще и табак, мог бы угостить Боба и доказать ему, что умеет курить. Он сунул трубку в карман и пошел дальше, уверенный, что в этот час в коридоре никого не бывает. Не только в коридоре, но и в центральном переходе и в длинном узком проходе, где фиолетовая лампочка горела тусклей обычного. Вот если бы ему на этот раз повезло и Боб пропустил бы его на корму... Желание отомстить подгоняло его, помогало ему преодолеть страх. «Вы только подумайте, самый молодой из всех оказался самым храбрым; он один смог проникнуть...» Беба, например, и даже бедняга старикан скорчат кислую рожу, как у крысы, сунутой в мочу, когда услышат эти похвалы. Но самое главное, как все это воспримет Рауль. «Как, Рауль, вы не знаете? Да-да, Фелипе осмелился залезть прямо в волчью пасть...» Коридор казался уже, чем в прошлый раз; Фелипе остановился в нескольких шагах от двери, посмотрел

назад. Переборки точно сдвинулись, сдавили его. Отворив дверь справа, он почувствовал облегчение. Свет голых лампочек, свисавших с потолка, ослепил его. В каюте никого не было, здесь по-прежнему царил беспорядок, на полу валялись обрезки кожи, брезента, на верстаке какие-то инструменты. Дверь в глубине сразу бросилась ему в глаза, словно ждала его. Фелипе медленно прикрыл за собой дверь и на цыпочках двинулся дальше. Дойдя до верстака, он замер. «Ну и жарипца у них тут внизу», — подумал он. С шумом работали машины, гул доносился отовсюду, добавляясь к жаре, к ослепительному свету. Фелипе сделал несколько шагов, отделявших его от двери, и осторожно подергал за ручку. Кто-то шел по коридору. Фелипе прижался к стене, чтобы укрыться за дверью, если ее откроют. «Нет, это не шаги», — подумал он тоскливо. Просто шум. И снова, когда открыл дверь и осмотрелся, ему стало легче. Но прежде, как в детективном романе, он вобрал голову в плечи, чтобы избежать удара. Он различил узкий и темный проход; когда глаза привыкли к темноте, Фелипе увидел совсем близко от себя ступени. И только тут он вспомнил слова Боба. Значит... если немедленно вернуться в бар и разыскать Лопеса и Медрано, возможно, им удастся благополучно достичь кормы? А что им грозит? Боб просто хотел поуготать их. Что им может грозить на корме? Тифа он не боялся, ведь он никогда ничем не болел, даже свинкой.

Фелипе спокойно закрыл за собой дверь и пошел дальше. Было трудно дышать в этом спертом воздухе, сильно пахло мазутом и еще чем-то затхлым. Увидев дверь слева, он направился к трапу. И тут перед ним легла четкая тень: он стоял с поднятой над головой рукой, словно защищаясь. Когда Фелипе наконец повернулся, он увидел Боба, который смотрел на него из настезь раскрытой двери. Зеленоватый свет лился из-за его спины.

— Hasdala, парень.

— Привет, — сказал Фелипе, пятясь назад. Он достал из кармана трубку и протянул ее к свету. Он не находил слов, трубка дрожала в его пальцах. — Видите, я вспомнил, что вы... Поболтаем опять, а потом...

— Sa, — сказал Боб. — Входи, парень, входи.

Когда подошла его очередь, Медрано бросил недокуренную сигарету и с сонным видом сел за рояль. Недурно аккомпанируя себе, он исполнил несколько багуал и самб, откровенно подра-

жая манере Атауальпы Юпанки¹. Ему долго аплодировали и упросили спеть еще несколько песен. Сменивший Медрано Персио был встречен с недоверчивой почтительностью, какую обычно вызывают ясновидцы. Представленный доктором Рестелли как исследователь загадок древности, Персио принялся предсказывать всем желающим судьбу по линиям руки; это был обычный в таких случаях набор банальных фраз, но время от времени его слова, понятные лишь заинтересованному лицу, повергали того в трепет. Со скучающим и усталым видом закончил Персио свой сеанс хиромантии и подошел к стойке, чтобы освежиться после прорицаний. Доктор Рестелли приберег самые изысканные выражения, чтобы объявить о выступлении любимца публики Хорхе Левбаума, не по годам развитого, многообещающего юного дарования, для которого нежный возраст не является преградой к успехам. Ребенок, столь славно представляющий аргентинских детей, сейчас поразит присутствующих чтением собственных, единственных в своем роде монологов, первый из которых называется «Рассказ восьминожки».

— Я написал его сам, но Персио мне помог,— честно признался Хорхе, пробираясь к сцене под оглушительные аплодисменты. Он чинно поклонился, подтвердив на миг слова доктора Рестелли.

— Рассказ восьминожки, сочинение Персио и Хорхе Левбаума,— сказал он и вытянул руку, чтобы опереться о рояль. Пушок, прыгнув, как барс, успел подхватить Хорхе, прежде чем он рухнул на пол.

Стакан воды, свежий воздух, советы, три стула, чтобы уложить упавшего в обморок ребенка, пуговицы, которые никак не расстегиваются. Медрано посмотрел на Клаудиу, наклонившуюся над сыном, и отошел к стойке.

— Позвоните немедленно врачу.

Метрдотель старательно смачивал салфетку. Медрано, схватив его за плечо, заставил выпрямиться.

— Я сказал: немедленно.

Метрдотель отдал салфетку бармену и подошел к телефону, висевшему на стене. Набрал номер из двух цифр. Сказал что-то, потом повторил громче. Медрано не сводил с него глаз. Повесив трубку, метрдотель утвердительно кивнул.

— Сейчас он придет, сеньор. Я думаю... может быть, лучше отнести ребенка в постель.

¹ Атауальпа Юпанки — пианистка, композитор, исполнительница песен фольклорного характера.

Медрано спросил себя, откуда ли придет врач, откуда приходил офицер с седыми висками. Возня женщин за спиной выводила его из себя. Он пробрался к Клаудии, которая держала ручонку Хорхе.

— А, кажется, нам уже лучше,— сказал он, опускаясь на колени рядом с Хорхе.

Хорхе улыбнулся ему. Вид у него был смущенный; склонившиеся лица плыли над ним, точно облака. Отчетливо различал он лишь мать и Персио и, возможно, Медрано, который без всяких церемоний поднял его, подхватив под шею и ноги. Дамы расступились. Пушок тоже поспешил на помощь, но Медрано уже уносил Хорхе. Следом шла Клаудия; маска Хорхе висела у нее на руке. Все недоуменно переглядывались. Разумеется, ничего серьезного не случилось, просто обморок от духоты в зале, но у всех отпала охота продолжать вечер.

— Нет, нет, давайте продолжать,— настаивал дон Гало, резко поворачиваясь в своем кресле.— Нечего унывать из-за такого незначительного происшествия.

— Вот увидите, через десять минут у ребенка все пройдет,— говорил доктор Рестелли.— Не следует так остро реагировать на обычный обморок.

— Надо же, надо же,— мрачно сетовал Пушок.— Сначала, как раз, когда надо готовиться к выступлению, куда-то смывается малец, а теперь вот свалился этот карапуз. Не парход, а притон какой-то.

— По крайней мере присядемте и выпьем что-нибудь,— предложил сеньор Трехо.— Нельзя же все время думать о болезнях, особенно когда на борту... Я хочу сказать, не надо поддаваться паническим слухам. У моего сына сегодня тоже болела голова, и вы сами видите, ни моя супруга, ни я не делаем из этого проблемы. Нам же совершенно определенно заявили, что на пароходе приняты все необходимые меры предосторожности.

Тут, подстрекаемая Бебой, сеньора Трехо вдруг заявила, что Фелипе нет в каюте. Пушок хлопнул себя по лбу и сказал, что так он и думал, но куда же мог запропасться этот парень.

— Наверняка где-нибудь на палубе,— сказал сеньор Трехо.— Обычная мальчишеская выходка.

— Какая там выходка,— сказал Пушок.— Неужто вы не понимаете, что у нас все уже было на мази?

Паула вздохнула, украдкой наблюдая за Лопесом, который все больше приходил в ярость.

— Вполне возможно, что дверь в твою каюту будет заперта,— сказал он.

— Не знаю, что мне делать: радоваться или вышибить ее ногами,— ответила Паула.— В конце концов, это и *моя* каюта.

— А если она все же окажется запертой, что ты будешь делать?

— Не знаю,— сказала Паула.— Проведу ночь на палубе. Подумаешь.

— Тогда пойдем со мной,— сказал Лопес.

— Нет, я еще посижу немножко.

— Ну, пожалуйста, пойдем.

— Нет. Вероятней всего, дверь открыта и Рауль дрыхнет без задних ног. Ты не представляешь, как его бесят всякие культурно-массовые и оздоровительные мероприятия.

— Рауль, Рауль,— повторял Лопес.— Да ты прямо умираешь от желания раздеться в двух метрах от него.

— Там больше трех метров, Ямайка Джон.

— Ну пойдем,— сказал Лопес снова, но Паула, посмотрев на него в упор, отказалась; она подумала, что Рауль заслужил, чтобы она прежде узнала, не выпал ли ему счастливый номер. Впрочем, зачем? Это было бы жестоко по отношению к Ямайке Джону и к ней самой, и она меньше всего желала этого, особенно сейчас. Она отказалась, чтобы оплатить нигде не записанный, неопределенный и тяжкий долг, словно совершила уступку, в надежде, что ей удастся вернуться назад, к тому времени, когда она не была этой женщиной, которая ответила сейчас отказом, полная желания и нежности. Она отказалась не только ради Рауля, но и ради Ямайки Джона, чтобы в один прекрасный день принести ему не только разочарование. Она подумала, что, быть может, именно ее глупые поступки помогут скорее открыть двери, которые не распахнулись бы даже перед самым злым и изощренным умом. Но как нарочно, ей снова надо было попросить у него носовой платок, и, конечно, он не даст, разозленный ее отказом, а потом отправится спать один, накурившись до одури.

— Хорошо, что я тебя узнал. Чуть было не проломил тебе башку. Теперь вспомнил, я предупреждал тебя.

Фелипе смущенно ерзал на скамейке, куда только что опустился.

— Я же говорю, что пришел вас навестить. Вас не было в той каюте, я увидел открытую дверь, ну и хотел узнать...

— Тут нет ничего плохого, парень. Here's to you.

— Prosit,— ответил Фелипе, залпом выпивая ром, как настоящий мужчина.— У вас приличная каюта. А я думал, что матросы спят все вместе.

— Иногда приходит Орф, когда ему надоедят два китайца из его каюты. А знаешь, у тебя неплохой табак. Чуток слабоват, конечно, но лучше, чем та пакость, которую ты курил в прошлый раз. Давай набьем еще по трубочке, как ты?

— Давайте,— сказал Фелипе без особого желания. Он оглядел каюту: на грязных стенах висели прикрепленные булавками фотографии мужчин и женщин, календарь с тремя птичками, несущими в клюве золоченую нить; на полу, в углу, валялись два матраца, один поверх другого, там же стоял столик, на пожках которого застыли подтеки краски, казавшиеся совсем свежими. В раскрытом настежь шкафу висели на гвозде часы, старые тельняшки, короткий бич, фиолетовая подушечка для иголок, стояли бутылки, пустые и полные, грязные стаканы. Фелипе нетвердой рукой снова набил трубку, ром был чертовски крепкий, а Боб налил ему еще целый стакан. Он старался не смотреть на руки Боба, напоминавшие мохнатых пауков, но наколотая на предплечье голубая змея ему нравилась. Фелипе спросил Боба, больно ли делать татуировку. Нет, совсем не больно, только нужно запастись терпением. Еще много значит, на каком месте она делается. Он знал одного бременского матроса, у которого хватило духу сделать себе татуировку на... Фелипе слушал, пораженный, спрашивая себя, имеется ли в каюте вентиляция, потому что дым становился все гуще, а запах рома все сильнее, и он уже видел Боба словно сквозь пелену. Боб, ласково глядя на него, объяснял, что лучшим способом татуировки считается японский. Женскую фигуру на правом плече наколот ему Киро, один его дружок, который, помимо всего прочего, еще и поторговывал опиумом. Медленно, почти изящно стянул он с себя тельняшку и показал Фелипе женщину на правом плече, две стрелы и гитару, орла, расправившего огромные крылья почти во всю ширину его могучей груди. Чтобы наколоть этого орла, ему пришлось крепко напиться, кое-где кожа на груди очень нежная и здорово болела от уколов иглой. А у Фелипе чувствительная кожа? Да, конечно, наверное как у всех людей. Нет, не как у всех, это зависит от расы и от профессии. В самом деле, отличный английский табачок, так что можно покуривать и попивать дальше. Неважно, что ему не очень-то хочется, так всегда бывает во время выпивки, надо только чуток пересилить себя, и снова появится желание. А ром приятный, белый, вкусный и душистый. Еще один стаканчик, и он покажет альбом с фотографиями... У них, как правило, фотографирует Орф, но и у него тоже немало карточек, которые ему дарили женщины в портовых городах; женщины вооб-

ще любят дарить свои фотографии, некоторые даже довольно-таки... Но сперва они выпьют за дружбу. Са. Отличный, очень вкусный, ароматный ром, он превосходно подходит к английскому табачку. А что жарко, так это ясно, раз они рядом с машинным отделением. Ему тоже надо взять да и снять рубашу, чтобы чувствовать себя удобно, и они будут толковать, как старые друзья. Нет, открывать дверь не стоит, дым все равно не выйдет, а вот если кто-нибудь застучает его в этом уголке... Как хорошо, ничего не делая, болтать и попивать себе ром. И беспокоиться не о чем — еще совсем рано, если только, конечно, его не разыскивает мамаша... Ну-ну, сердиться нечего, это он так, пошутил, он прекрасно знает, что Фелипе делает все, что ему заблагорассудится, так и должно быть. Много дыма? Да, конечно, но, когда куришь отличный табачок, не грех и подышать таким дымом. И еще стаканчик, одно к другому, как говорят, раз все так здорово получается. Ну да, чуток жарковато, недаром же он сказал, что надо скинуть рубашу. Вот так, парень, и не рыпаться. И нечего скакать к двери, так, спокойненько, а то, чего доброго, можно и зашибиться, ведь правда, да еще с такой нежной кожей, ну разве такой умный парнишка не понимает, что лучше не трепыхаться и не вырываться и не бежать к двери, когда так хорошо в каюте, вот здесь, в углу, так мягко, особенно если не вырываться и не увертываться от рук, которые находят пуговицы и бесконечно долго отрывают их одну за другой.

— Ничего опасного, — сказал Медрано. — Ничего опасного, Клаудиа.

Клаудиа кутала Хорхе, которого то знобило, то бросало в жар. Сеньора Трехо вышла из каюты, заверив всех, что такое недомогание у детей не страшно и что завтра же утром Хорхе будет прекрасно себя чувствовать. Едва ответив ей, Клаудиа встряхнула термометр, пока Медрано закрывал иллюминатор и загораживал свет так, чтобы он не мешал больному. В коридоре, не решаясь войти, топтался Персио с расстроенным лицом. Врач пришел через пять минут, и Медрано направился к двери, но Клаудиа удержала его взглядом. У толстого врача был скупаящий, усталый вид. Он кое-как изъяснялся по-французски и, осматривая Хорхе, ни разу не поднял глаз — ни когда просил ложечку, ни когда щупал пульс или сгибал мальчику ноги; все, что положено, он проделал с каким-то отсутствующим выражением. Прикрыв бредившего Хорхе, он спросил у Медрано, не

отец ли он ребенка. Когда Медрано отрицательно покачал головой, врач удивленно посмотрел на Клаудиу, словно увидел ее впервые.

— Eh bien, madame, il faudra attendre ¹,— сказал он, пожмая плечами.— Pour l'instant je ne peux pas me prononcer. C'est bizarre, quand même ²...

— Это тиф? — спросила Клаудиа.

— Mais non, allons, c'est pas du tout ça! ³

— Но на пароходе есть больные тифом, не так ли? — спросил Медрано.— Vous avez eu des cas de typhus chez vous, n'est-ce pas?

— C'est à dire... ⁴ — начал врач. Нет абсолютной уверенности, что это тиф 224, незначительная вспышка, которая не дает повода для опасений. С разрешения сеньоры он удалится и пошлет через метрдотеля лекарства для ребенка. По его мнению, скорее всего, можно предполагать воспаление легких. Если температура поднимется выше тридцати девяти и пяти десятых, следует оповестить метрдотеля, который в свою очередь...

Медрано чувствовал, как его ногти впиваются в ладони рук. Когда врач, еще раз успокоив Клаудиу, вышел, Медрано готов был выскочить следом за ним и поймать его в коридоре, но Клаудиа, казалось, поняв это, удержала его жестом. Взбешенный Медрано нерешительно остановился в дверях.

— Останьтесь, Габриэль, побудьте со мной немного. Пожалуйста.

— Да, конечно,— сказал Медрано смущенно. Он понимал, что сейчас не время устраивать скандал, но ему стоило труда отойти от двери и признать, что он еще раз потерпел поражение, а может, даже снес насмешку. Клаудиа сидела на краю постели Хорхе, который бредил и все порывался скинуть с себя одеяло. В дверь осторожно постучали: метрдотель принес две коробочки и тюбик. У него есть пузырь для льда, доктор велел передать, что при необходимости они могут им воспользоваться. Он еще на час задержится в баре и будет в их полном распоряжении. Он может прислать им с официантом кофе, если они пожелают.

Медрано помог Клаудии дать Хорхе лекарства; мальчик слабо сопротивлялся, не узнавал их. Снова постучали в дверь: это

¹ Ну что ж, мадам, надо будет подождать (*франц.*).

² Пока я не могу сказать ничего определенного, но вообще это странно (*франц.*).

³ Да нет, что вы, какой тиф! (*франц.*)

⁴ Дело в том... (*франц.*).

был Лопес, с озабоченным и печальным видом он справился о состоянии больного. Медрано тихим голосом передал ему разговор с врачом.

— Черт, знай я об этом раньше, я бы поймал его в коридоре,— сказал Лопес.— Я только что из бара и ничего не знал, да вот Пресутти сказал мне, что тут был врач.

— Он еще придет, если понадобится,— сказал Медрано.— И тогда, если вы...

— Конечно,— ответил Лопес.— Предупредите меня, если сможете, я буду бродить поблизости, все равно этой ночью мне не удастся заснуть. Если этот тип предполагает у Хорхе что-то серьезное, нельзя ждать ни минуты.— Он понизил голос, чтобы Клаудиа не слышала.— Я очень сомневаюсь, чтобы этот врач был честнее остальной банды. Они способны загубить ребенка, лишь бы ничего не узнали на берегу. Знаете, че, лучше позвать его примерно через час, даже если он будет не особенно нужен. Мы подождем его в коридоре, и тогда уж никто не оставит нас до самой кормы.

— Согласен, но надо думать и о Хорхе,— сказал Медрано.— Как бы нам не причинить ему вреда. Если наша попытка провалится и врач останется по ту сторону, дело может кончиться плохо.

— Мы потеряли два дня,— сказал Лопес.— Вот плата за излишнюю деликатность и за то, что мы пошли на поводу у старых миротворцев. А вы в самом деле думаете, что у ребенка?..

— Нет, это всего лишь предположение. Мы, дантисты, дорогой мой, ничего не смыслим в тифе. Меня беспокоит, как пройдет кризис, и температура. Может, ничего страшного, слишком много шоколада плюс тепловой удар. А возможно, воспаление легких, об этом как раз говорил корабельный врач. Словом, давайте выкурим по сигарете. И заодно потолкуем с Пресутти и Костой, если они где-то здесь поблизости.

Он подошел к Клаудии и улыбнулся ей. Лопес тоже улыбнулся. Клаудиа поблагодарила взглядом за их дружеское участие.

— Я скоро вернусь,— сказал Медрано.— Прилягте, Клаудиа, постарайтесь немного отдохнуть.

Все было ненужным и бесполезным. Улыбки, хождение на цыпочках, обещание скоро вернуться, уверенность в том, что друзья тут, рядом. Она посмотрела на Хорхе, который стал спокойнее. Каюта вдруг как бы увеличилась, в ней еще пахло

крепким табаком, словно Габриэль не уходил отсюда. Клаудиа, подперев рукой щеку, закрыла глаза: снова, уже не в первый раз, будет она оберегать сон Хорхе. Персио станет бродить поблизости, как таинственный кот, а бесконечная ночь приближаться к рассвету. Пароход, улица Хуана Баутисты Альберди, весь мир; а здесь лежит больной Хорхе, как миллионы других больных Хорхе во всех уголках Земли, но весь мир теперь заключался только в ее больном ребенке. О, если бы с ними был Леон, уверенный и решительный, распознающий болезнь в самом ее зародыше, пресекающий ее немедленно. А у бедняги Габриэля, склонившегося над Хорхе, на лице было написано, что он ничего не понимает; но ее успокаивало сознание того, что Габриэль тут, рядом, курит в коридоре и надеется вместе с нею. Дверь приотворилась. Паула сняла туфли и замерла в ожидании. Клаудиа знаком пригласила ее подойти ближе, но Паула остановилась у кресла.

— Он все равно ничего не слышит,— сказала Клаудиа.— Проходите, садитесь сюда.

— Я сейчас уйду, и так слишком много людей побывало тут. Все так любят вашего малыша.

— У моего малыша тридцать девять.

— Медрано рассказал мне про врача, они там караулят его. Можно мне остаться с вами? Почему вы не приляжете хоть на минутку? Я совсем не хочу спать и, если Хорхе проснется, обещаю тут же разбудить вас.

— Конечно, оставайтесь, но мне тоже совсем не хочется спать. Можем поговорить.

— О необыкновенных делах, которые творятся на пароходе? Могу сообщить вам самые последние новости.

«Сука, проклятая сука,— думала она,— будешь наслаждаться тем, что скажешь, будешь смаковать то, о чем она спросит тебя...» Клаудиа посмотрела на ее руки, и Паула быстро спрятала их; тихонько рассмеялась и снова положила руки на подлокотники кресла. Вот если бы у нее была мать, похожая на Клаудию, но нет, она все равно возненавидела бы ее, как свою. Слишком поздно думать о матери, даже о подруге.

— Расскажите,— попросила Клаудиа.— Время пройдет незаметнее.

— О, ничего серьезного. Семейство Трехо в истерике потому, что у них исчез сын. Они, конечно, стараются не показывать вида, но...

— Его не было в баре, теперь я вспоминаю. Кажется, Пресутти ходил его разыскивать.

— Сначала Пресутти, а потом Рауль.

«Вот сука».

— Ну, его не придется долго разыскивать,— сказала равнодушно Клаудиа.— Мальчикам иногда такое взбредет в голову... Возможно, он решил провести ночь на палубе.

— Возможно,— сказала Паула.— Хорошо, что я не поддаюсь истерике, как они, и могу заметить, что Рауль тоже исчез неизвестно куда.

Клаудиа посмотрела на нее. Паула ждала ее взгляда и встретила его с непроницаемым, бесстрастным лицом. Кто-то ходил взад-вперед по коридору — в тишине раздавались приглушенные линолеумом шаги, которые то приближались, то удалялись. Медрано, Персио или Лопес, а может, Пресутти, искренне огорченный болезнью Хорхе.

Клаудиа опустила глаза, внезапно почувствовав себя усталой. Радость, охватившая ее при виде Паулы, вдруг прошла, сменилась желанием ничего больше не знать, не вникать ни в какие истории, которые ей расскажут, если она задаст вопрос или так промолчит, что все вдруг станет ясно. Паула закрыла глаза и казалась совершенно безразличной, но ее выдавали пальцы, быстро и бесшумно барабанившие по ручкам кресла.

— Только не подумайте, что это ревность,— сказала она как бы про себя.— Мне так их жалко.

— Уходите, Паула.

— О, конечно, сию минуту,— сказала Паула, резко вставая.— Простите. Я пришла совсем с другой целью, хотелось побыть с вами. Пришла из чистого эгоизма, потому что мне хорошо с вами. А взамен...

— А взамен ничего,— сказала Клаудиа.— Мы можем поговорить как-нибудь в другой раз. А сейчас ступайте спать. Не забудьте взять свои туфли.

Паула послушно направилась к двери. Она ни разу не обернулась.

Ему пришла любопытная мысль, что, если человек имеет представление о методе, он будет поступать определенным образом даже тогда, когда ему заранее известно, что он напрасно потеряет время. Конечно, он не найдет Фелипе на палубе, и тем не менее он медленно обошел ее, сначала левый борт, потом правый, останавливаясь под тентом, чтобы глаза привыкли к темноте, обследовал подозрительную пустоту вентиляторов, бухты канатов и кабестаны. Когда, вновь поднявшись, он услышал аплодисменты, доносившиеся из бара, ему вдруг захо-

телось забарабанить кулаками в каюту номер пять. Почти презрительная беззаботность человека, которому некуда торопиться, смешивалась с неясным желанием ускорить и в то же время оттянуть встречу. Он отказывался верить (хотя чувствовал это все сильнее), что отсутствие Фелипе могло означать примирение или начало войны. Он был уверен, что не найдет Фелипе в каюте, но тем не менее дважды постучал туда и даже открыл дверь. Свет горел, в каюте никого не было. Дверь в ванную была открыта настежь. Он быстро вышел, боясь, что отец или сестра придут разыскивать Фелипе и последует самый пошлый скандал, а почему-это-вы-оказались-в-чужой-каюте, и прочие обычные в таких случаях расспросы. И вдруг он почувствовал досаду (где-то в глубине, под маской, пока расстроенный бродил по палубе, оттягивая удар), потому что Фелипе снова посмеялся над ним, отправившись на свой страх и риск обследовать пароход и тем самым защитив свои поруганные права. Никакого отступления, никакой передышки. Война объявлена, а может, это хуже, чем война, — презрение? «На этот раз я побью его, — подумал Рауль. — И пусть все катится к черту, но по крайней мере у него останутся на память синяки». Почти бегом он преодолел расстояние, отделявшее его от центрального трапа, и, перепрыгивая через ступеньки, устремился вниз. И все же какой он еще мальчишка, какой глупый; и кто знает, не последует ли после всех его выходов униженное примирение, возможно с оговорками: да, будем друзьями, но не больше, вы не за того меня приняли... Глупо думать, что все потеряно, в конце концов, Паула права... К ним нельзя подходить с правдой в устах и в руках, перед ними надо влиять, развращать их (но не в общепринятом смысле слова), и, быть может, тогда, в один прекрасный день, еще до окончания путешествия, быть может, тогда... Паула права; он знал это с первой минуты и все же избрал неверную тактику. Как было не воспользоваться роковыми чертами Фелипе — ведь он враг самому себе: скор на уступки, а уверен, что оказывает сопротивление. Он весь желание и вопрос, достаточно слегка соскрести с него домашнее воспитание, пошатнуть веру в лозунги школьной ватаги и в то, будто что-то хорошо, а что-то дурно, отпустить, а потом чутьчку придержать поводья, признать его правоту и снова вселить в него сомнение, привить ему новый взгляд на вещи, более широкий и страстный. Разрушать старое и созидать новое, лепить из этой чудесной пластичной материи, не торопить время, страдать, наслаждаясь надеждой, и в намеченный день, в определенный час собрать урожай.

В каюте никого не было. Рауль нерешительно посмотрел на дверь в глубине. Он не мог осмелиться на такое... Нет, мог. Он толкнул дверь и прошел в коридор. Увидел трап. «Он проник на корму,— подумал Рауль, пораженный.— Проник на корму раньше всех». Сердце его забилося, словно пойманная летучая мышь. Он понюхал воздух, пропахший табаком, и узнал этот запах. Из щелей в двери слева сочился тусклый свет. Он медленно отворил ее, огляделся. Летучая мышь разлетелась на тысячи кусков, разорвалась от взрыва, едва не ослепившего его. В тишине отчетливо раздавался храп Боба. Голубой орел, вытатуированный на груди матроса, с хрипом поднимал и опускал крылья при каждом вздохе хозяина. Волосатая ножища придавливала Фелипе, распластанного в нелепой позе. Воняло рвотой, табаком и потом. Широко открытыми невидящими глазами Фелипе смотрел на Рауля, который застыл на пороге. Боб, храпя все громче и громче, дернулся, словно желая проснуться. Рауль сделал несколько шагов и оперся рукой о стол. Только тогда Фелипе узнал его. Он бессмысленно прикрыл руками живот и попытался высвободиться из-под навалившейся на него ноги, которая медленно сползала, пока Боб, что-то бессвязно бормоча, затрясся, словно в кошмаре, всем своим лоснящимся телом. Присев на краю матраца, Фелипе отыскивал одежду, шаря рукой по полу, забрызганному его рвотой. Рауль обогнул стол и ногой подтолкнул разбросанную одежду. Но тут почувствовал приступ тошноты и отступил в коридор. Прислонясь к переборке, подождал немного. Узкий трап, ведущий на корму, был от него всего в трех метрах, но он не посмотрел в ту сторону. Он ждал. У него не было сил даже плакать.

Рауль пропустил Фелипе мимо себя и пошел следом. Они миновали первую каюту, коридор с фиолетовой лампой. И когда подошли к трапу, Фелипе вдруг схватился за перила, круто повернулся и медленно осел на первую ступеньку.

— Дай мне пройти,— сказал Рауль, застыв на месте.

Фелипе закрыл лицо руками и зарыдал. Он казался совсем маленьким, ребенком, который поранился и не может скрыть это. Рауль взялся за перила и, подтянувшись, перепрыгнул на верхние ступеньки. Он смутно припомнил голубого орла, словно это помогало побороть тошноту, добраться до каюты. Голубой орел — символ. Да, орел — это символ. Он совсем не думал о трапе, ведущем на корму. Голубой орел, да, верно, чистейшая мифология, заключенная в *digest*, достойном веков. Орел и Зевс, ну конечно же, это символ — голубой орел.

И

Еще раз, возможно последний, но кто может утверждать это, здесь все так неясно, Персио предчувствует, что час соединения закрыл справедливый дом, обрядил кукол в справедливые одежды. Прерывисто дыша, один в своей каюте или на мостике, он видит, как перед его блуждающим взором на фоне ночи вырисовываются марионетки, которые поправляют парики, продолжают прерванный вечер. Завершение, достижения: самые мрачные слова каплют, точно капли из его глаз, дрожат на кончиках губ. Он думает: «Хорхе», и огромная зеленая слеза сползает, миллиметр за миллиметром, цепляясь за волосы бороды, и наконец превращается в горькую соль, которую невозможно выплюнуть целую вечность. И ему уже неважно предвидеть то, что свершится на корме, что откроется для другой ночи, для других лиц, как будет взломана задраенная дверь. В миг мимолетного тщеславия он возомнил себя всемогущим, ясновидящим, призванным разгадывать тайны, и его вдруг поразила мрачная уверенность в том, что существует некая центральная точка, из которой каждую диссонирующую частицу можно увидеть, как спицу в колесе...

Огромная гитара странно замолкла в вышине, «Малькольм» качается на резиновом море, под меловым ветром. И поскольку он уже не предвидит ничего насчет кормы и его воля скована учащенным дыханием Хорхе, отчаянием, искаженным лицом его матери, он уступает почти неразличимому настоящему, где всего лишь несколько метров между мостиком и бортом парохода, а дальше море без звезд, и, возможно, именно поэтому Персио утверждает в сознании, что корма — это просто (хотя никто так не считает) его мрачное воображение, его судорожный застывший порыв, его самая неотложная и жалкая задача. Клетки с обезьянами, львы, кружащие по палубе, пампа, брошенная ничком, головокружительный рост кошуэ, все это взрывается и застывает в марионетках, которые уже напялили свои маски и парики, в фигурах танца, которые на любом корабле повторяют линии и окружности человека с гитарой Пикассо (написанного с Аполлинера), но это и поезда, отбывающие и прибывающие на португальские станции, среди бесчисленного множества других, происходящих одновременно событий, среди ужасающей беспредельности одновременностей и совпадений и перекрещиваний и разрывов, и все это, не подчиненное разуму, рушится в космическое небытие, и все это, не подчиненное разуму, называется абсурдом концепций, иллюзией, называется

«из-за деревьев не видеть леса», «каплей в море», женщиной взамен бегства в абсолюте. Но марионетки уже собраны и танцуют перед Персио, разодетые, разукрашенные, некоторые из них чиновники, в прошлом решавшие важные дела, другие носят имена людей, плывущих на пароходе, и Персио входит в их число, совершенно лысый шумер, служитель зиккурата, корректор у Крафта, друг больного ребенка. Как же ему не вспоминать в час, когда все насильственно стремится к разрешению, когда руки уже разыскивают револьвер в ящике, когда кто-то, лежа ничком, плачет в каюте, как же ему не вспомнить,— ему, знающему всех деревянных людей из жалкого рода изначальных марионеток? Танец на палубе очень неуклюжий, словно это танцуют овощи или детали машин; грубо сколоченные из дерева, они скрипят и болтаются при каждом шаге, здесь все из дерева: и лица, и маски, и ноги, и половые органы, и тяжелые сердца, где все, что оседает, свертывается и густеет,— внутренности, которые жадно накапливают густую субстанцию, руки, которые крепко держат другие руки, чтобы помочь тяжелому телу закончить вращение. Сломленный усталостью и отчаянием, пресыщенный ясновидением, которое не принесло ему ничего, кроме еще одного возвращения и еще одного падения, присутствует Персио при этом танце деревянных марионеток, на первом акте американской судьбы. Сейчас их покинут недовольные божества, сейчас псы, посуда и даже мельничные жернова восстанут против тупых, обреченных кукол-големов, упадут на них, чтобы раздробить их на куски, и танец завершится смертью, фигуры оцетинятся зубами, когтями и волосами; под тем же безразличным небом начнут падать замертво потерянные образы, и здесь, в этом настоящем, где возвышается и сам Персио, размышляющий о больном мальчике и о смутном раннем утре, танец продолжит свои стилизованные фигуры, ногти покроются лаком, ноги облачатся в брюки, желудки узнают паштет из гусиной печени и мюскад, надушенные и гибкие тела будут танцевать, сами не ведая, что танцуют деревянный танец, и что все это лишь выжидательный бунт, и что американский мир — это всего лишь ловкий обман; но тайно работают муравьи, броненосцы, климат с сырыми присосками, кондоры с гнилыми кусками мяса, касики, которых народ любит и чтит, женщины, которые ткут всю жизнь в своих хижинах, банковские служащие, футболисты, высокомерные инженеры и поэты, воображающие себя выдающимися и трагичными, печальные писатели, пишущие печальные произведения, и города, запачканные безразличием. Закрыв глаза, в которые корма вонзается, точно шип, Персио

чувствует, как прошлое, бесполезно противоречивое и принаряженное, обнимает настоящее, которое передразнивает его, как обезьяны передразнивают деревянных людей, как их передразнивают люди из плоти и крови. Все, что должно случиться, будет таким же иллюзорным, и освобождение судеб от оков завершится пышным расцветом благоприятных или противоборствующих чувств и одинаково сомнительных поражений и побед. Бездонная двусмысленность, неизлечимая нерешительность в самом центре решений: в некоем маленьком мирке, подобном другим мирам, другим поездкам, другим гитаристам, другим носам и кормам кораблей,— в маленьком мирке, лишенном богов и людей, на рассвете танцуют марионетки. Почему ты плачешь, Персио, почему плачешь? Ведь из такого материала порой зажигается огонь, из такой нищеты рождается песня и, когда марионетки съедят последнюю щепотку своего пепла, возможно, родится человек. Возможно, он уже родился, но ты его не видишь.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

XL

— Пять минут четвертого, — сказал Лопес.

Бармен ушел спать в полночь. Сидя за стойкой, метрдотель время от времени зевал, но оставался верным своему слову. Медрано, у которого во рту было горько от табака и бессонной ночи, поднялся еще раз, чтобы навестить Клаудию.

Сидя в одиночестве в глубине бара, Лопес спрашивал себя, не отправился ли Рауль спать. Неужели он мог дезертировать в такую ночь? Лопес видел его вскоре после того, как Хорхе отнесли в каюту: Рауль курил, прислонясь к переборке в коридоре правого борта, немного бледный, с усталым видом; впрочем, едва пришел врач, он заволновался вместе со всеми и принимал живое участие в разговоре, пока из каюты Клаудии не вышла Паула, и тогда они ушли, обменявшись несколькими фразами. Все эти события беспорядочно мелькали в памяти Лопеса, пока он прихлебывал кофе и коньяк. Рауль, прислонившийся с сигаретой во рту к переборке, Паула, вышедшая из каюты с задумчивым видом (но как отличить выражение на лице Паулы от ее подлинного лица), их странные взгляды, словно они удивились, встретившись снова,— Паула была удивлена, Рауль почти взбешен,— а потом оба зашагали к централь-

ному переходу. Тогда Лопес спустился на палубу и провел там в одиночестве больше часа, он смотрел на капитанский мостик, где опять никого не было, и курил, предаваясь смутному и почти приятному, злобному и унижительному бреду, в котором Паула проносилась мимо него, словно на карусели, и он каждый раз протягивал руку, чтобы ударить ее, и с дрожью опускал руку, желая ее, желая и зная, что этой ночью он не сможет вернуться к себе в каюту, что необходимо бодрствовать, одурманивая себя вином и разговорами, чтобы забыть, что она отказалась пойти с ним и что спит сейчас рядом с Раулем или слушает его рассказ, как он провел вечер, а карусель все кружилась, и совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, проносилась Паула, то обнаженная, то в красной блузке, с каждым поворотом другая, меняющаяся, Паула в бикини или в пижаме, которую он никогда не видел, и опять обнаженная, лежащая ничком, спиной к звездам, Паула, распеваящая *Un jour tu verras*¹, Паула, ласково отказывающая ему, чуть покачивая головой: нет, нет. И тогда Лопес снова вернулся в бар, чтобы пить, и вот уже два часа они бодрствуют вместе с Медрано.

— Еще один коньяк, пожалуйста.

Метрдотель снял с полки бутылку «курвуазье».

— Налейте себе тоже,— сказал Лопес. Метрдотель был очень похож на гаучо и меньше похож на этих глицидов с кормы.— И еще одну рюмку, сейчас придет мой приятель.

Медрано, показавшийся в дверях, отрицательно махнул рукой.

— Надо снова позвать врача,— сказал он.— У мальчика температура почти сорок.

Метрдотель подошел к телефону и набрал номер.

— Все равно выпейте рюмку,— сказал Лопес.— Стало немного прохладно.

— Нет, старик, спасибо.

Метрдотель повернул к ним озабоченное лицо.

— Врач спрашивает, не было ли у него конвульсий и рвоты.

— Нет. Скажите, чтобы он немедленно шел сюда.

Метрдотель сказал что-то в трубку, выслушал ответ и снова что-то сказал. Потом с расстроенным видом повесил трубку.

— Врач не сможет сейчас прийти, только попозже. Говорит, чтобы увеличили дозу лекарства из тюбика и через час снова измерили температуру.

¹ Однажды ты увидишь (франц.).

Медрано бросился к телефону. Он запомнил номер: пятьдесят шесть. И набрал его, пока Лопес, облокотясь о стойку, не сводил глаз с метрдотеля. Потом еще раз набрал номер.

— Весьма сожалею, сеньор, — сказал метрдотель. — Они всегда так, не любят, чтобы им мешали в такой поздний час. Наверное, занято, да?

Медрано и Лопес молча переглянулись. Вместе вышли, и каждый направился к себе в каюту. Заряжая револьвер и набивая карманы патронами, Лопес случайно посмотрел в зеркало и нашел, что выглядит довольно-таки смешно. Все равно лучше, чем думать о сне. На всякий случай надел темную куртку и сунул в карман еще одну пачку сигарет. Медрано поджидал его в коридоре в штормовке, придававшей ему спортивный вид. Рядом с ним стоял сонный, взлохмаченный и удивленно моргающий Атилио Пресутти.

— Я привел нашего друга, чем нас больше, тем больше шансов добраться до радиорубки, — сказал Медрано. — Ступайте разыщите Рауля, и пусть он захватит свой кольт.

— Подумать только, а я оставил ружье дома, — посетовал Пушок. — Знал бы, обязательно прихватил.

— Оставайтесь здесь, подождите остальных, — сказал Медрано. — Я сейчас приду.

Он вошел в каюту Клаудии. Хорхе дышал с трудом, губы у него чуть посинели. Понимая друг друга без слов, они быстро отмерили нужную дозу лекарства и заставили мальчика его проглотить. Хорхе, придя в себя, узнал мать и, обняв ее, заплакал и закашлялся. У него болела грудь, ломило ноги и во рту было горько.

— Это скоро пройдет, львенок, — сказал Медрано, опускаясь на колени и глядя Хорхе, пока тот не отпустил Клаудию и не откинулся навзничь с жалобным стоном.

— Мне больно, че, — сказал он Медрано. — Почему ты не дашь мне чего-нибудь, чтобы у меня все прошло?

— Ты как раз принял такое лекарство, дорогой. Скоро ты заснешь, и тебе приснится восьминожка или кто-нибудь еще, кого ты больше любишь, а часов в девять, когда проснешься и почувствуешь себя гораздо лучше, я приду и расскажу тебе сказку.

Успокоенный, Хорхе закрыл глаза. Только тут Медрано заметил, что крепко сжимает руку Клаудии. Он смотрел на Хорхе, который успокаивался в его присутствии, и продолжал сжимать руку Клаудии. Дыхание Хорхе стало ровней, и Медрано потихоньку поднялся с колен. Подвел Клаудию к двери каюты.

— Мне надо ненадолго уйти. Я скоро вернусь и буду с вами сколько потребуется.

— Оставайтесь, — сказала Клаудиа.

— Не могу. Меня ждет Лопес. Не тревожьтесь, я скоро вернусь.

Клаудиа вздохнула и порывисто приникла к Медрано. Голова ее трогательно опустилась ему на плечо.

— Не делайте глупостей, Габриэль. Не надо делать глупостей.

— Не буду, дорогая, — сказал Медрано тихо. — Обещаю.

Он поцеловал ее, едва дотронувшись губами до волос. Пальцы прочертили какой-то узор на ее мокрой щеке.

— Я скоро вернусь, — повторил он, легонько отстраняя ее. Открыл дверь и вышел. Сначала он не различил ничего, как в тумане, потом увидел Атилио, стоявшего словно на посту. Медрано машинально взглянул на часы. Было двадцать минут четвертого утра, шел третий день путешествия.

За Раулем следовала Паула, закутанная в красный пеньюар. Рауль и Лопес шагали быстро, будто хотели от нее отделаться, но это было не так-то просто.

— Что вы еще затеяли? — спросила она, смотря на Медрано.

— Хотим притащить за ухо врача и послать телеграмму в Буэнос-Айрес, — ответил Медрано раздраженно. — А почему вы не идете спать, Паулита?

— Спать, спать, эти двое твердят мне то же самое. Я не хочу спать, я хочу вам чем-нибудь помочь.

— Побудьте тогда с Клаудией.

Но этого Паула как раз не хотела. Она обернулась к Раулю и пристально посмотрела на него. Лопес отошел в сторону, словно не желая вмешиваться. Хватит с него того, что он прогулялся до их каюты и, постучавшись, услышал, как Рауль крикнул: «Войдите», он застал их за спором, весьма оживленным благодаря сигаретам и вину. Рауль сразу же согласился принять участие в вылазке, но Паула, казалось, рассвирепела, потому что Лопес уводил Рауля, потому что они оставляли ее одну с женщинами и стариками. Паула вызывающе спросила, какую еще новую глупость они затевают, но Лопес в ответ лишь пожал плечами, ожидая, пока Рауль натянет пуловер и сунет в карман пистолет. Рауль проделал все это машинально, словно это был не он, а его отражение в зеркале. Его лицо снова приобрело насмешливое и решительное выражение, какое

бывает у человека, который не задумываясь готов рискнуть в игре, мало для него интересной.

С силой распахнулась дверь одной из кают, и сеньор Трехо возник перед ними в сером плаще, накинутом на плечи, из-под которого нелепо выглядывала синяя пижама.

— Меня разбудил шум голосов, и я подумал, не стало ли мальчику хуже, — сказал сеньор Трехо.

— У него сильный жар, и мы как раз собираемся идти за врачом, — сказал Лопес.

— Идти за врачом? Странно, а разве он сам не может прийти?

— Меня это тоже удивляет, и все же приходится за ним идти.

— Надеюсь, — сказал сеньор Трехо, опуская глаза, — у мальчика не появилось никакого нового симптома, который бы...

— Нет, и тем не менее нельзя терять время. Пойдемте?

— Пошли, — сказал Пушок, на которого отказ врача произвел самое мрачное впечатление.

Сеньор Трехо хотел было еще что-то сказать, но они поспешили дальше. Однако почти тут же отворилась дверь каюты номер девять, и в сопровождении шофера появился дон Гало, укутанный в некое подобие мантии. Сразу оценив обстановку, он предостерегающе поднял руку и посоветовал дорогим друзьям не терять самообладания в столь ранний утренний час. Даже узнав о телефонном разговоре с врачом, он продолжал настаивать на том, что, видимо, его предписания пока вполне достаточны, в противном случае врач сам бы навестил больного, не дожидаясь...

— Мы теряем время, — сказал Медрано. — Пошли.

Он направился к центральному переходу, следом за ним устремился Рауль. За спиной у них раздавался бурный диалог сеньора Трехо и донна Гало.

— Вы собираетесь спуститься через каюту бармена?

— Да, может, на этот раз нам больше повезет.

— Я знаю более короткий и надежный путь, — сказал Рауль. — Помните, Лопес? Мы навестим Орфа и его дружка с татуировкой.

— Конечно, — сказал Лопес. — Это самый короткий путь, хотя не знаю, можно ли там пройти на корму. Все равно, давайте попробуем.

Они уже вошли в центральный переход, когда увидели доктора Рестелли и Лусио, которые спешили к ним из правого коридора, привлеченные громкими голосами. Доктор Рестелли сразу сообразил, в чем дело. Подняв указательный палец, как всегда

в особых обстоятельствах, он остановил их у двери, ведущей в трюм. Сеньор Трехо и дон Гало горячо и решительно поддержали его. Ситуация, безусловно, не из приятных, если, как сказал молодой Пресутти, врач действительно отказался явиться на вызов; и все же лучше, если Медрано, Коста и Лопес поймут, что нельзя подвергать пассажиров осложнениям, каковые, естественно, могут последовать в результате агрессивных действий, которые они нагло намереваются предпринять. И если верить некоторым признакам и в пассажирском отделении, к несчастью, вспыхнул тиф 224, то единственно разумным шагом будет прибегнуть к помощи офицеров (либо через метрдотеля, либо по телефону), чтобы симпатичный больной малыш был немедленно переправлен в изолятор на корме, где уже находятся капитан Смит и другие больные. Однако трудно чего-нибудь достичь посредством угроз, какие, например, раздавались этим утром, и...

— Знаете, доктор, вам лучше помолчать,— сказал Лопес.— Весьма сожалею, но я уже сыт по горло всякими уступками.

— Дорогой мой друг!

— Никакого насилия! — воил дон Гало, поддержанный негодующими возгласами сеньора Трехо. Лусио, бледный как полотно, молча стоял в стороне.

Медрано открыл дверь и начал спускаться. За ним последовали Рауль и Лопес.

— Перестаньте кудахтать, мокрые курицы,— сказал Пушок, посмотрев на группу пацифистов с величайшим презрением. Спустившись на две ступеньки, он захлопнул дверь перед самым их носом.— Ну и шайка, мама миа. Карагуз серьезно болен, а эти червяки все лезут со своим перемирием. Ох и поддал бы я им, ох и поддал.

— Мне кажется, у вас будет такая возможность,— сказал Лопес.— Ладно, Пресутти, здесь надо держать ухо востро. Если увидите где-нибудь гаечный ключ, прихватите с собой, будет место дубинки.

Он заглянул в помещение слева — там было темно и пусто. Прижавшись к стене, они толкнули правую дверь. Лопес узнал Орфа, сидевшего на скамье. Два финна, из тех, что работали на носу, топтались у граммофона, стараясь поставить пластинку; Рауль, вошедший вместе с Лопесом, подумал, что, наверное, это была пластинка Ивора Новелло. Один из финнов удивленно выпрямился и шагнул, разведя руки в стороны, словно ожидал объяснений. Орф, не двигаясь с места, смотрел на них не то пораженный, не то с возмущением.

В напряженной тишине они услышали, как отворилась

дверь в глубине каюты. Лопес подскочил к финну, продолжавшему держать руки так, словно он собирался кого-то обнять, но, заметив глицида, который появился в проеме двери и с недоумением уставился на них, шагнул вперед, делая финну знак посторониться. Финн, отступив в сторону, нанес Лопесу удар в челюсть и в живот. Когда Лопес, словно пустой мешок, повалился на пол, финн ударил его еще раз в лицо. Кольт Рауля блеснул на мгновение раньше револьвера Медрано, но стрелять им не пришлось. Быстро сориентировавшись, Пушок в два прыжка очутился рядом с глицидом, с силой втолкнул его в темное помещение и ударом ноги захлопнул дверь. Орф и оба финна подняли руки, словно собирались повиснуть на потолке.

Пушок наклонился над Лопесом, приподнял ему голову и стал энергично массировать шею. Затем, расстегнув ремень, сделал искусственное дыхание.

— Вот сукин сын, ударил его в самое солнечное сплетение. Ох, разобью тебе всю морду, дерьмо поганое! Вот погоди, встречу наедине, размозжу твою башку, ловкач. Ну и обморок, мама миа!

Медрано наклонился над Лопесом, который уже приходил в себя, и достал у него из кармана пистолет.

— Пока держите, — сказал он Атилио. — Ну как, старина?

Лопес пробурчал в ответ что-то нечленораздельное и искал в кармане платок.

— А этих надо будет увести с собой, — сказал Рауль, сидя на скамье и испытывая сомнительное удовольствие от вида четверых пленников, уставших держать поднятые руки. Когда Лопес встал и Рауль увидел его разбитый нос и окровавленное лицо, он подумал, что Пауле будет над чем похлопотать. «Ведь она так любит корчить из себя сестру милосердия», — весело заключил он.

— Да, дело дрянь, нам никак нельзя оставлять у себя в тылу этих типов, — сказал Медрано. — Как вы считаете, Атилио, не отвести ли их на нос и не запереть ли там в какой-нибудь каюте.

— Предоставьте их мне, — сказал Пушок, поигрывая револьвером. — А ну, бродяги, шагайте. Только помните, первому, кто вздумает дурить, я всажу пулю в башку. А вы меня подождите, не ходите одни.

Медрано с беспокойством посмотрел на Лопеса, который поднялся бледный, едва держась на ногах. И спросил, не хочет ли он пойти с Атилио и немного отдохнуть, но Лопес гневно сверкнул на него глазами.

— Пустяки, — пробормотал он, проводя рукой по губам. — Я остаюсь с вами, че. Я уже пришел в себя. Ох и противно.

Он вдруг побледнел еще сильнее и стал падать на Пушка, который подхватил его. Другого выхода не было. И Медрано решил. Выставив глицида и липидов в коридор, Медрано и Рауль пропустили Пушка, тот почти насильно тащил ругающегося Лопеса, затем они выскочили в коридор. Возможно, возвращаясь, они столкнутся с подкреплением, может даже вооруженным, но другого выхода у них не было.

Появление окровавленного Лопеса в сопровождении офицера и трех матросов с поднятыми руками не особенно воодушевило Лусио и сеньора Трехо, которые остались разговаривать у двери, ведущей вниз. На вопль, вырвавшийся у сеньора Трехо, прибежали доктор Рестелли и Паула, за которыми катил дон Гало, рвавший на себе волосы с усердием, какое Рауль видел только в театре. Все более забавляясь, Рауль велел пленникам стать у стены, а Пушку увести Лопеса в каюту. Медрано только отмахивался от шквала криков, вопросов и предостережений.

— Идите в бар, — приказал Рауль пленникам. Он заставил их выйти в правый коридор, и сам с трудом протиснулся между креслом донна Гало и стеной. Медрано шел сзади, торопя их; и когда дон Гало, потеряв терпение, схватил его за руку и, тряся ее, закричал, что он-ни-за-что-не-позволит... он решил на единственно возможный шаг.

— Всем наверх! — приказал Медрано. — И терпение, даже если это кому-нибудь не по вкусу.

Обрадованный Пушок подхватил кресло донна Гало и устремился с ним вперед, хотя дон Гало хватался за спицы и изо всех сил дергал рукоятку тормоза.

— Оставьте сеньора в покое, — преграждая дорогу, сказал Лусио. — Вы что, с ума все походили?

Пушок выпустил кресло, сгреб Лусио одной рукой и припечатал его к переборке. В другой руке он небрежно держал револьвер.

— Шагай, размазня, — сказал Пушок. — Вот влеплю пару горячих, сразу весь гонор слетит.

Лусио безмолвно открыл и закрыл рот. Доктор Рестелли и сеньор Трехо окаменели, и Пушку стоило немалого труда сдвинуть их с места. Медрано и Рауль поджидали его у трапа в бар.

Поставив всех в ряд у стойки, они заперли на ключ дверь, ведущую в библиотеку, и Рауль оборвал телефонный провод. Бледный, театрально ломая руки, метрдотель отдал ключи без всякого сопротивления. Они бегом бросились по переходу к узкому трапу.

— Остались еще астроном, Фелипе и шофер, — резко оставившаяся, сказал Пушок. — Запрем их тоже?

— Не стоит, — ответил Медрано. — Эти не будут вопить.

Они отворили дверь в матросскую каюту без особой предосторожности. Она была пуста и казалась намного просторней, чем раньше. Медрано посмотрел на дверь в глубине.

— Она ведет в коридор, — сказал Рауль безразличным голосом. — В конце его — трап на корму. Надо быть осторожным у каюты налево.

— Так вы там уже были? — удивился Пушок.

— Да.

— Были и не поднялись на корму?

— Нет, не поднялся, — ответил Рауль.

Пушок с недоверием взглянул на него, но Рауль ему нравился, и он подумал, что, наверное, тот просто устал после всего случившегося. Медрано, не говоря ни слова, погасил свет, и они с опаской отворили дверь, наугад прицеливаясь из револьверов. И почти тут же перед их глазами сверкнули медные поручни трапа.

— Мой беденький, беденький пират, — говорила Паула. — Пойди сюда, мамочка положит тебе ватку в носик.

Повалившись на кровать, Лопес чувствовал, как воздух постепенно наполняет его легкие. Паула, с ужасом взиравшая на револьвер, который Пушок держал в левой руке, с облегчением вздохнула, когда он удалился. Потом, увидев смертельно бледное лицо Лопеса, заставила его лечь как следует. Намочив полотенце, она стала осторожно смывать кровь с его лица. Лопес тихонько ругался, но она продолжала ухаживать за ним, приговаривая:

— А теперьними эту кожанку и ложись поудобней. Тебе надо немного отдохнуть.

— Нет, мне уже хорошо, — возразил Лопес. — Неужели ты думаешь, я оставлю ребят одних, как раз теперь, когда...

Но стоило ему чуть приподняться, и все вдруг снова поплыло у него перед глазами. Паула поддержала его и помогла повернуться на спину. Она достала из шкафа одеяло и хорошенько укутала Лопеса. Пошарив под одеялом, она нащупала шнурки ботинок и развязала их. Лопес смотрел на нее, словно издали, широко открытыми глазами. Нос у него не распух, зато под глазом красовался фиолетовый синяк, на челюсти — огромный кровоподтек.

— Ну и видик у тебя,— сказала Паула, опускаясь на колени, чтобы снять с него ботинки.— Вот теперь ты действительно мой Ямайка Джон, мой почти непобедимый герой.

— Положи мне что-нибудь сюда,— пробормотал Лопес, показывая себе на желудок.— Не могу дышать, ну и ослаб же я, черт подери. Прямо размазня какая-то...

— Но ты все же дал им сдачу,— сказала Паула, разыскивая другое полотенце и открывая край с горячей водой.— У тебя нет спирта? А, кажется, здесь есть пузырек. Расстегни брюки, если можешь... Подожди, я помогу тебе стянуть эту кожанку, она у тебя вся задубела. Можешь немного приподняться? Если нет, повернись, как-нибудь вдвоем стащим.

Лопес позволял ей делать с собой все что угодно, мысли его были с друзьями. Просто не верилось, что из-за какого-то поганого липида он выбывал из игры. Закрыв глаза, он ощутил руки Паулы на своих плечах, она сняла с него кожанку, ослабила ремень на брюках, расстегнула пуговицы рубашки, провела чем-то теплым по коже. Он даже раз или два улыбнулся, когда ее волосы пощекотали ему лицо. И снова она легонько дотронулась до его носа, меняя вату. Невольно Лопес вытянул губы и почувствовал, как к ним прижались губы Паулы: легкий поцелуй сестры милосердия. Он сжал ее в своих объятиях, тяжело дыша, и поцеловал крепко, прикусив ей губу, так что она даже застонала.

— Ах предатель,— сказала Паула, когда наконец высвободилась.— Ах подлец. Вот какой он большой.

— Паула.

— Замолчи. И не смей подлизываться и хныкать из-за того, что тебе дали пару оплеух. Полчаса назад ты был похож на холодильник.

— А ты,— бормотал Лопес, снова стараясь привлечь ее к себе.— А ты, ты вредная. Как ты могла сказать...

— Ты запачкаешь меня кровью,— жестко сказала Паула.— Будь послушным, мой черный корсар. Ты не одет, не раздет, не в постели, не на стуле... А я, знаешь ли, не люблю двусмысленных положений. Ты мой большой или нет? Подожди, я сейчас поменяю тебе компресс на желудке. Могу я посмотреть, не оскорбив своей природной стыдливости? Да, могу. Где у тебя ключ от твоей прелестной каюты?

Она укрыла его до подбородка простыней и снова намочила под крапом полотенце. Лопес, порывшись в карманах брюк, наконец протянул ей ключ. Все перед ним было как в тумане, и тем не менее он различил, что Паула смеется.

— О, если бы ты видел себя, Ямайка Джон... Один глаз совсем заплыл, а другой так на меня смотрит... Ну, это тебя скоро вылечит, подожди...

Она заперла дверь на ключ и подошла к постели, выжимая полотенце. Так, так. Все хорошо. Она осторожно положила в его пазуху вату. Все вокруг было испачкано кровью: подушка, одеяло, белая рубаша, которую он рывками сдергивал с себя. «Да, придется мне постирать», — подумала Паула, смиряясь со своей участью. Но для хорошей сестры милосердия... Она позволила обнять себя, покорно поддаваясь ласкавшим ее рукам; широко открыв глаза, она чувствовала, как ею овладевает прежняя страсть, та самая прежняя страсть, которую воспламеняли и успокаивали прежние губы, как в прежние часы, под покровительством прежних богов, соединяющих ее с прежним прошлым. И это было так прекрасно и так не пужно.

XLI

— Разрешите мне пройти вперед, я хорошо знаю это место.

Пригнувшись и прижавшись к стене, они шли гуськом, пока Рауль не достиг двери в матросскую каюту. «Наверное, до сих пор дрыхнет в блевотине, — подумал он. — Если он там и нападет на нас, пристрелю ли я его? А если пристрелю, то за то, что напал?» Рауль медленно открыл дверь и ощупью отыскал выключатель. Включил свет и тотчас погасил; только он мог понять то злобное облегчение, которое охватило его при виде пустой каюты.

И словно его власть кончалась именно в этом месте, он позволил Медрано первому подняться по трапу. Пригибаясь, почти ползком они карабкались по ступеням, пока не увидели сквозь люк темную палубу. В метре ничего нельзя было различить, темное небо почти сливалось с тенями на корме. Медрано подождал.

— Ничего не видно, че. Надо куда-нибудь забраться и переждать до рассвета, а так нас всех переловят.

— Тут есть дверь, — сказал Пушок. — Ну и темнотища, спаси боже.

Выскользнув из люка, они в два прыжка добрались до двери. Она была заперта; Рауль тронул Медрано за плечо, показывая, что рядом находится другая. Пушок ринулся первым, сильно толкнул ее и присел. Рауль и Медрано замерли в ожи-

даши: дверь медленно и бесшумно открылась. Затаив дыхание, они прислушались. Пахло полированным деревом, как в каютах на носу. Осторожно, шаг за шагом Медрано приблизился к иллюминатору и отдернул занавеску. Зажег спичку и пальцами потушил ее: в помещении было пусто.

Ключ торчал с внутренней стороны. Они заперли дверь и уселись на полу покурить, подождать. До рассвета все равно ничего пельзя было предпринять. Атилио волновался, он все хотел узнать, есть ли у Медрано и Рауля какой-нибудь план действий. Нет, у них не было никакого плана, просто они решили дожидаться рассвета, когда можно будет увидеть корму и как-нибудь добраться до радиорубки.

— Грапдиозпо,— сказал Пушок.

Медрано и Рауль улыбнулись в темноте. Они сидели на полу и молча курили, пока Атилио не задышал ровно и глубоко. Прижавшись плечом к плечу, Медрано и Рауль зажгли по новой сигарете.

— Единственное, что меня беспокоит, это как бы кто-нибудь из глицидов не обнаружил, что мы пленили его коллегу и несколько липидов в придачу.

— Мало вероятно,— возразил Медрано.— Если они не откликались до сих пор на наши настойчивые требования, трудно предположить, что они вдруг изменят своим привычкам. Я больше боюсь за беднягу Лопеса, он способен из чувства долга присоединиться к нам, а ведь он безоружен.

— Да, было бы жаль,— сказал Рауль.— Но я думаю, он не придет.

— А-а.

— Дорогой мой Медрано, ваша скромность восхитительна. Вы тактично произносите «а-а», вместо того чтобы поинтересоваться, чем вызвано мое предположение...

— Вообще-то я представляю себе.

— Возможно,— сказал Рауль.— И все же я предпочел бы, чтобы вы спросили. Вероятно, потому, что сейчас ночь, темно, пахнет ясенем, или потому, что вскоре нам могут проломить череп... Я не слишком сентиментален и не люблю исповедоваться, но мне хотелось бы сказать вам, что для меня это значит.

— Говорите, че. Но только не повышайте голоса.

Рауль помолчал.

— Видимо, как всегда, я ищущу свидетеля. Разумеется, от нерешительности; весьма вероятно, со мной что-нибудь случится. И какой-то человек, гонец, сообщит Пауле. Но все дело в том, что именно он ей сообщит. А вам нравится Паула?

— Да, очень,— ответил Медрано.— Жаль только, что она несчастлива.

— Ну так радуйтесь,— сказал Рауль.— Хотя вам может показаться это странным, но уверяю вас, сейчас Паула счастлива, как никогда в жизни. И именно это мой гонец должен будет возвестить ей, если, конечно, со мной что-нибудь случится, возвестить как мое доброе напутствие. To Althea, going to the wars¹,— добавил он как бы про себя.

Медрано ничего не ответил, и они некоторое время прислушивались к гулу машин и какому-то шлепанью, доносившемуся издалека. Рауль устало вздохнул.

— Я рад, что познакомился с вами,— сказал он.— Однако не думаю, что у нас с вами много общего, если не считать пристрастия к пароходному коньяку. И все же мы оказались здесь вместе, и кто знает почему.

— Я полагаю, из-за Хорхе,— сказал Медрано.

— О, Хорхе... Есть причины и помимо него.

— Верно. Возможно, ради Хорхе здесь только Атилио.

— Right you are².

Протянув руку, Медрано отодвинул занавеску. Небо начало светлеть. Медрано подумал, имеет ли происходящее какой-нибудь смысл для Рауля, и, осторожно погасив об пол сигарету, продолжал задумчиво смотреть на светло-серую полосу в небе. Пора было будить Атилио, готовиться в путь. «Есть еще причины и помимо Хорхе»,— сказал Рауль. Есть, но такие неясные, такие сложные. Разве и для других, как для него, все превратится вдруг в ворох смутных воспоминаний, в бессмысленную беготню по судну? Форма руки Клаудии, ее голос, поиски выхода из создавшегося положения... За иллюминатором понемногу светлело, и ему захотелось устремиться навстречу занимавшемуся дню, но все было еще так ненадежно, так недоговорено. Ему захотелось вернуться к Клаудии, долго смотреть ей в глаза и найти в них ответ. Это он знал, в этом по крайней мере он был уверен— ответ ему даст Клаудиа, хотя сама этого не знает, хотя думает, что тоже обречена задавать вопросы. Так тот, кто отмечен печатью неудачника, однажды может дать другому счастье, повести по верному пути. Но ее не было рядом с ним, и темнота в каюте, и табачный дым лишь усиливали его смятение. Как привести в порядок то, что, по его мнению, было в полном порядке, пока он не сел на па-

¹ Алтее, уходящей на войну (англ.).

² Вы правы (англ.).

роход, как сделать так, чтобы не было искаженного плачем лица Беттины, как достичь центральной точки, откуда каждую диссонирующую частицу можно было бы различить, подобно спице в колесе. Видеть себя идущим вперед и знать, что это имеет определенный смысл; любить и знать, что ее любовь тоже имеет смысл; убежать и знать, что твое бегство не означает еще одного предательства. Он не знал, любит ли он Клаудию, ему лишь хотелось быть рядом с нею и с Хорхе, спасти Хорхе, чтобы Клаудия простила Леона. Да, чтобы Клаудия простила Леона, или перестала его любить, или полюбила бы его еще крепче. Это было нелепо, но это было так: чтобы Клаудия простила Леона прежде, чем простит его, прежде, чем его простит Беттина, прежде, чем он снова сможет приблизиться к Клаудии и к Хорхе, чтобы протянуть им руку помощи и стать счастливым.

Рауль положил ему руку на плечо. Растормошив Атилио, они быстро встали. На палубе раздался шаг. Медрано повернул ключ в замке и приоткрыл дверь. Грузный глицид шел по палубе, держа фуражку в руке. Фуражка болталась в такт его шагам; вдруг она замерла, начала подниматься, поплыла мимо головы и еще куда-то выше.

— Входи давай,— приказал Пушок, которому поручили запереть глицида в каюте.— Ну и толстобрюхий же ты, мама миа. Как труба на пароходе.

Рауль быстро задал несколько вопросов по-английски, и глицид ответил на какой-то смеси английского с испанским. У него дрожали губы, вероятно, ему еще никогда не приходилось ощущать три дула, прижатых к животу. Он тут же сообразил, чего от него хотят, и не сопротивлялся. Ему позволили опустить руки, предварительно обыскав.

— Дело обстоит так,— объяснил Рауль.— Надо идти, куда шел этот тип, подняться по еще одному трапу, и там, совсем рядом, будет радиорубка. В ней всю ночь дежурит радист, но, кажется, у него нет оружия.

— Вы во что-нибудь играете или заключили какое-то пари? — спросил глицид.

— Ты помалкивай, а то пристукну,— пригрозил Пушок, тыча глициду револьвером в ребра.

— Я пойду с ним,— сказал Медрано.— Если идти быстро, нас могут не заметить. А вам лучше остаться здесь. Если услышите выстрелы, поднимайтесь.

— Пойдемте втроем,— сказал Рауль.— С какой стати нам здесь оставаться?

— Потому что вчетвером нас могут сразу заметить. Прикройте меня сзади, в конце концов, не думаю, чтобы эти типы...— Не закончив фразы, он посмотрел на глицида.

— Вы с ума сошли,— сказал глицид.

Огорченный Пушок послушно приоткрыл дверь и удостоверился, что на палубе никого нет. В пепельно-сером свете палуба казалась мокрой. Медрано сунул револьвер в карман брюк, наведя его на ноги глицида. Рауль хотел было что-то сказать, но промолчал. Они вышли и стали подниматься по трапу. Недовольный Атилио смотрел на Рауля, точно послушный пес, и очень его этим растрогал.

— Медрано прав,— сказал Рауль.— Подождем здесь, может, он скоро вернется живой и невредимый.

— Это мне надо было пойти,— сказал Пушок.

— Подождем,— сказал Рауль.— Подождем еще.

Все это словно уже происходило в каком-то дешевом романе. Глицид сидел у передатчика с мокрым от пота лицом и трясуцимся губами. Прислоняясь к косяку двери, Медрано держал в одной руке револьвер, в другой сигарету; спиной к нему, склонившись над аппаратом, двигал рычажки радист. Это был худой веснушчатый парень, который перепугался насмерть и никак не мог успокоиться. «Лишь бы не обманул»,— подумал Медрано. Он надеялся, что примененные им выражения и дуло «смит-и-вессона», которое упиралось в спину радиста, сделают свое дело. Медрано с удовольствием затаился, продолжая внимательно следить за радистом, хотя мысли его были далеко и грозный вид он сохранял лишь для перепуганного глицида. В левый иллюминатор начинал просачиваться дневной свет, от которого меркло скудное освещение радиорубки. Вдали послышался свисток, разговор на непонятном языке. Заработал передатчик, и раздался прерываемый икотой голос радиста. Медрано вспомнил трап, по которому они взбежали наверх — он с револьвером, нацеленным на толстые ляжки глицида,— внезапно открывшуюся перед ними пустую корму, вход в радиорубку, радиста с книгой, в страхе подскочившего на месте. Да, верно, теперь он видел это воочию, корма была пуста. Пепельно-серый горизонт, свинцовые волны, крутой изгиб борта — все это промелькнуло в одну секунду. Радист наладил связь с Буэнос-Айресом. Медрано слышал каждое слово телеграммы. Теперь глицид умолял глазами позволить ему достать из кармана платок, а радист повторял текст телеграммы. Да, корма пуста, это факт, но какое это имеет значение. Слова веснушчатого парня мешались с резким и определенным, почти болезненным

ощущением от внезапной мысли, что корма пуста и это не имеет никакого значения, потому что главное заключалось совсем в другом, в чем-то неопределенном, что еще только зарождалось в неясном предчувствии, которое все сильнее овладевало им. Стоя спиной к двери, он курил, и каждая затяжка словно приносила ему покой и умиротворение, стиравшие следы долгой двухдневной тревоги. То, что он испытывал, нельзя было назвать счастьем, его чувства были за пределом обычного. Как нежная музыка или удовольствие от выкуренной сигареты. А все остальное — но что могло для него значить все остальное теперь, когда он начинал примиряться с самим собой, сознавать, что это остальное уже не властно над старым эгоистическим порядком. «Возможно, счастье существует, но оно совсем другое», — подумал он. Он не знал почему, но то, что он находился здесь и видел перед собой корму (совершенно пустую), придавало ему уверенности, служило своего рода отправным пунктом. Сейчас, когда он был вдали от Клаудии, он чувствовал ее рядом, словно заслужил право быть подле нее. Все предшествующее значило так мало, все, кроме часа, проведенного в темноте, пока он дожидался вместе с Атилио и Раулем, часа подведения итогов, после чего он впервые почему-то обрел спокойствие, заслуженно или незаслуженно, просто примирившись с собой, выбросив за борт, как тряпичную куклу, свое старое «я», приняв истинное лицо Беттины, хотя знал, что у бедняжки Беттины, прозябавшей в Буэнос-Айресе, никогда не будет такого лица, разве только осуществится ее мечта об отдельном номере в отеле или она увидит своего прежнего забытого любовника так же, как он видел ее, как только видят в интимную минуту, не обозначенную ни на одних часах. Таков был итог, и он приносил боль и очищение.

В иллюминаторе мелькнула тень; глицид испуганно таращил глаза, и Медрано нехотя поднял револьвер, все еще надеясь, что игра с огнем не приведет к пожару. Над самым ухом просвистела пуля, Медрано услышал, как завизжал радист, в два прыжка подскочил к нему, оттолкнул его в сторону и, укрывшись за столом, крикнул глициду, чтобы он не двигался с места. Он различил чье-то лицо и блеск никеля в иллюминаторе; выстрелил, стараясь целиться ниже, лицо исчезло, раздались крики и громкие голоса. «Если я останусь здесь, Рауль и Атилио бросятся меня разыскивать, и их пристрелят», — мелькнуло у него в голове. Он поднял глицида с места, уткнув ему в спину дуло, и заставил идти к двери. Навался грудью на аппарат, радист, дрожа всем телом и что-то бормоча, рылся в

нижнем ящике. Медрано громко приказал глициду отворить дверь. «Оказалось, не такая уж она пустая»,— весело подумал он, подталкивая вперед трясущегося толстяка. И хотя у радиста дрожали руки, он с легкостью прицелился в середину спины, выстрелил три раза подряд и тут же, отбросив револьвер, зарыдал, как и подобало сопливому мальчишке.

После первого выстрела Рауль и Пушок выскочили на палубу. Раньше к трапу подбежал Пушок. На последних ступенях он вытянул руку и открыл огонь. Три липида, прижавшись к рубке, поспешно отползли, у одного из них было прострелено ухо. В проеме двери стоял толстый глицид с поднятыми руками и что-то вопил на непонятном языке. Рауль, держа всех на мушке, обезоружил липидов и приказал им встать. Было удивительно, что Пушку так легко удалось их напугать; они даже не пытались оказать сопротивление. Крикнув Раулю, чтобы он держал их у стены, Пушок вбежал в рубку, перепрыгнув через лежавшего ничком Медрано. Радист потянулся было, чтобы подобрать револьвер, но Рауль отшвырнул его ногой и принялся хлестать мальчишку по лицу, повторяя один и тот же вопрос. Услышав наконец утвердительный ответ, он ударил его еще раз, подхватил револьвер и выбежал на палубу. Пушок все понял без слов; наклонившись, он поднял тело Медрано и направился к трапу. Рауль прикрывал его, каждую минуту ожидая выстрела в спину. На нижней палубе они никого не встретили; крики раздавались где-то в другом месте. Они спустились еще по двум трапам и наконец добрались до каюты с морскими картами. Рауль забаррикадировал дверь столом; крики прекратились, вероятно, липиды без подкрепления не осмеливались нападать на них.

Атилио, положив Медрано на кусок брезента, смотрел на Рауля широко открытыми испуганными глазами; Рауль опустился на колени на забрызганный кровью пол. Он сделал все необходимое в подобных случаях, заранее зная, что это бесполезно.

— А может, его все же можно спасти,— говорил потрясенный Атилио.— Бог мой, сколько крови. Надо бы позвать врача.

— Поздно,— пробормотал Рауль, смотря на застывшее лицо Медрано. Он видел три отверстия в спине, одна пуля вышла у самого горла, и из этой раны вытекла почти вся кровь. На губах Медрано выступило немного пены.

— Ладно, поднимай его и неси в каюту. Надо отнести его в каюту.

— Так, значит, он взаправду умер? — сказал Пушок.

— Да, старик, умер. Подожди, я тебе помогу.

— Не надо, он совсем легкий. Кто знает, может, еще оживет, поди, не так все серьезно.

— Пошли,— повторил Рауль.

Теперь Атилио еще осторожней шел по переходу, стараясь не задевать телом переборок. Рауль помог ему подняться по трапу. В левом коридоре было пусто; дверь в каюту Медрано была не заперта. Они уложили тело на постель, и Пушок, тяжело дыша, повалился в кресло. Но вот послышались всхлипывания, и Пушок затрясся от рыданий, закрыв лицо руками, время от времени он доставал платок и сморкался с каким-то хрипом. Рауль смотрел на застывшее лицо Медрано, словно чего-то ожидая, словно заразившись надеждой, уже покинувшей Атилио. Кровотечение прекратилось. Рауль принес из ванной мокрое полотенце и вытер Медрано губы, потом поднял воротник его куртки и прикрыл рану. Он вспомнил, что в таких случаях надо, не теряя времени, скрестить на груди руки, но почему-то вытянул их вдоль тела.

— Сукины дети, сволочи,— сказал Пушок, сморкаясь.— Только подумайте, сеньор. Ну что он им сделал такого, скажите на милость? Ведь мы же только из-за мальчонки пошли, в конце концов, просто хотели послать телеграмму. А теперь...

— Телеграмма уже отправлена, этому-то они по крайней мере не смогут помешать. У тебя, кажется, ключ от бара. Ступай выпусти всех оттуда и сообщи, что случилось. Будь осторожней с этими гадами, я подежурю в коридоре.

Пушок, опустив голову, снова высморкался и вышел. Странно, но он почти не запачкался кровью Медрано. Рауль закурил и сел в изножии кровати. Посмотрел на переборку, разделяющую каюты. Встал и принялся стучать в нее сначала слегка, потом все сильнее и сильнее. Затем опять сел. И вдруг вспомнил, что они проникли на корму, на эту проклятую корму. И что же они там увидели?

«А мне-то не все ли равно»,— подумал он, пожимая плечами. И услышал, как отворилась дверь в каюте Лопеса.

XLII

Как и следовало ожидать, Пушок столкнулся с дамами в коридоре правого борта; все они были крайне возбуждены. В течение получаса они пытались сделать все возможное, чтобы открыть дверь бара и выпустить на свободу громогласных пленников, которые неустанно колотили кулаками и ногами по стенам своей темницы. Примостившись на узком трапе, ведущем на

палубу, Фелипе и шофер дона Гало безучастно наблюдали за происходящим.

При виде Атилио растрепанные донья Пепа и донья Росита бросились к нему, но он, не говоря ни слова, отстранил их и прошел мимо. Сеньора Трехо, воплощение оскорбленной добродетели, скрестив на груди руки, воздвиглась перед ним и пронзила его взором, каким до сих пор удостаивала только своего мужа.

— Чудовища! Убийцы! Что вы наделали, бунтовщики проклятые! Бросьте этот револьвер, я вам говорю!

— А ну, дайте пройти, донья,— сказал Пушок.— Самп вопите, что надо их выпустить, а не даете проходу. Так что ж мне делать, скажите на милость?

Освободившись от судорожных объятий матери, Нелли бросилась к Пушку.

— Тебя убьют! Тебя убьют! Зачем вы это сделали? Сейчас придут офицеры и всех нас схватят!

— Не говори белиберду,— сказал Пушок.— Все это ерунда, знала бы ты, что случилось... Лучше не буду говорить.

— У тебя кровь на рубашке! — завопила Нелли.— Мама! Мама!

— Дашь ты мне наконец пройти,— сказал Пушок.— Это кровь сеньора Лопеса от того раза, когда его побили. Да не верещи ты так.

Он отстранил ее свободной рукой и поднялся по узкому трапу. Внизу сеньоры завизжали сильнее, увидев, что он поднял револьвер, прежде чем сунуть ключ в замочную скважину. Но вдруг все затихло, и дверь распахнулась настежь.

— Тихонечко,— сказал Пушок.— Ты, че, выходи первым и смотри не шебуршись, а то всажу тебе свинца в черепок.

Глицид ошалело взглянул на Пушка и, быстро спустившись по трапу, направился к задренной двери, но всеобщее внимание тут же привлекли показавшиеся в дверях бара сеньор Трехо, доктор Рестелли и дон Гало, которых встретили криками, плачем и причитаниями. Последним вышел Лусио, вызывающе глядя на Атилио.

— Ты не очень-то рыпайся,— сказал ему Атилио.— Сейчас мне некогда с тобой толковать, а потом, если хочешь, отложу пушку и набью тебе морду, хорошенько набью.

— Уж ты набейшь,— сказал Лусио, спускаясь по трапу.

Нора смотрела на них, не произнося ни слова. Лусио схватил ее за руку и насильно уволок в каюту.

Пушок, окинув взглядом бар, где за стойкой неподвижно стоял метрдотель, опустил револьвер в карман брюк.

— Да помолчите вы, — сказал он, останавливаясь на верхней ступеньке. — Разве не знаете, что ребенок болен, как же у него не будет подниматься температура.

— Чудовище! — крикнула сеньора Трехо, удалявшаяся в сопровождении своего супруга и Фелипе. — Я это так не оставлю! В тюрьму, на цепь и в наручники! Как отъявленных преступников! Похитители, бандиты!

— Атилио! Атилио! — стонала Нелли, ломая руки. — Что там случилось? Почему ты запер этих сеньоров?

Пушок открыл было рот, чтобы брякнуть первое, что пришло ему в голову, разумеется грубость. Но промолчал, крепко прижав дуло револьвера к полу. Он стоял на второй ступеньке и, возможно, поэтому вдруг почувствовал себя недосыгаемым для этих выкриков, вопросов, гневных упреков и проклятий. «Пойду лучше посмотрю, как там малыш, — подумал он. — Надо же сказать его матери, что мы все же отбили телеграмму».

Он прошел мимо женщин, теснившихся с протянутыми к нему руками и отверстыми ртами — издали можно было подумать, что они поздравляют его с одержанной победой.

Персио заснул, прикорнув на кровати Клаудии. На рассвете она укрыла ему ноги одеялом, окинув благодарным взглядом его тщедушную фигурку, его новую, но уже мятую и запачканную одежду. Потом подошла к постели Хорхе и прислушалась к его дыханию. Приняв в третий раз лекарство, Хорхе крепко заснул. Потрогав ему лоб, Клаудиа немного успокоилась. Она вдруг почувствовала себя такой усталой, будто не спала несколько ночей подряд, и все же не хотела лечь рядом с сыном, она знала, что скоро кто-нибудь придет с известием или с рассказом о все тех же событиях, о запутанных лабиринтах, где уже сорок восемь часов бродили ее друзья, сами толком не зная почему.

Приоткрылась дверь, и показалось лицо Лопеса, все в синяках. Клаудиа не удивилась, что он не постучал, она даже не обратила внимания на громкие голоса и крики женщин в коридоре. Она поманила его рукой, приглашая войти.

— Хорхе стало лучше, он спал почти два часа подряд. Но что с вами?..

— О, пустяки, — сказал Лопес, ощупывая челюсть. — Больно немного, когда разговариваешь, поэтому я буду немногословен. Я очень рад, что Хорхе лучше. Нашим друзьям наконец удалось послать телеграмму в Буэнос-Айрес.

— Какая нелепость, — сказала Клаудиа.

— Да, теперь это выглядит нелепо.

Клаудиа опустила голову.

— Словом, дело сделано,— сказал Лопес.— Хуже всего то, что пришлось стрелять, типы с кормы их не пропускали. Даже не верится, мы почти не знаем друг друга, двухдневная дружба, если можно пазвать это дружбой, и тем не менее...

— Что-то случилось с Габриэлем?

Вопрос прозвучал, скорее, как утверждение, и Лопес лишь молча посмотрел на нее. Клаудиа поднялась с открытым ртом. Подурневшая, почти смешная. Она сделала неверный шаг вперед, и ей пришлось схватиться за спинку кресла.

— Его отнесли в каюту,— сказал Лопес.— Давайте я побуду с Хорхе.

Рауль, дожидавшийся в коридоре, впустил Клаудиу и закрыл дверь. Револьвер в кармане начинал мешать ему; глупо было думать, что глициды предпримут ответные шаги. Так или иначе, на этом все должно кончиться, не на войне же они в конце концов. Ему хотелось пойти в правый коридор, туда, откуда доносились выкрики дона Гало и тирады доктора Рестелли, прерываемые воплями дам. «Бедняги,— подумал Рауль,— мы им испортили все путешествие...» Увидев Атилио, который робко заглянул в каюту Клаудии, Рауль последовал за ним. Во рту, как на рассвете, появился неприятный привкус. «Действительно ли то была пластинка Ивора Новелло?» — подумал он, отгоняя от себя образ Паулы, который вновь начал его преследовать. Смирившись, он прикрыл глаза и увидел ее такой, какой она пришла в каюту Медрано вслед за Лопесом: в пеньюаре, с красиво распущенными волосами,— такой, какой он привык любоваться по утрам.

— Наконец-то, наконец,— сказал Рауль.

Отворив дверь, он вошел. Атилио и Лопес тихо разговаривали, Персио дышал с каким-то присвистом, что очень вязалось со всем его обликом. Приложив палец к губам, к Раулю подошел Атилио.

— Малышу стало лучше,— пробормотал он.— Мать говорит, что у него нет жара. Отлично спал всю ночь.

— Чудесно,— сказал Лопес.

— А теперь я пойду к себе, немного потолкую с невестой и старухами,— сказал Пушок.— Ох и всполошились они, мама миа. И охота им кровь себе портить.

Рауль посмотрел вслед Пушку и сел рядом с Лопесом, который предложил ему сигарету. Не стовариваясь, они отодвинули кресла подальше от постели Хорхе и некоторое время кури-

ли молча. Рауль догадался, что Лопес благодарен ему за то, что он пришел и дает возможность выяснить отношения.

— Итак, — сказал Лопес отрывисто. — Во-первых, я считаю себя виновным в случившемся. Я знаю, что это глупо, такое могло случиться с любим, и все же я поступил плохо, оставив вас, когда вы... — У него пресекся голос, сделав над собой усилие, он проглотил слюну. — И во-вторых, я переспал с Паулой, — сказал он наконец, смотря на Рауля, вертевшего в пальцах сигарету.

— Первое — пустяки, — сказал Рауль. — Вы были не в состоянии продолжать вылазку, тем более что она не предвещала никакой опасности. Что касается второго, то Паула, вероятно, сказала вам, что вы не обязаны давать мне никаких объяснений.

— Объяснений, конечно, — сказал Лопес смущенно. — И все же...

— Так или иначе, благодарю вас. С вашей стороны это очень мило.

— Мама, — позвал Хорхе. — Мама, ты где?

Персио встрепнулся и подскочил к постели Хорхе. Рауль и Лопес, не двигаясь, ожидали.

— Персио, — сказал Хорхе, приподнимаясь. — Знаешь, какой я видел сон? Что на планете шел снег. Правда, Персио, такой снег, такие хлопья, как... ну прямо как...

— Ты чувствуешь себя лучше? — спросил Персио, смотря на него и словно боясь приблизиться и разрушить это колдовство.

— Мне совсем хорошо, — сказал Хорхе. — Я хочу есть, че, пойдй скажи маме, чтобы принесла мне кофе с молоком. Кто это там? А, как дела? А почему вы здесь?

— Просто так, — сказал Лопес. — Пришли проведать тебя.

— А что у тебя с носом, че? Ты упал?

— Нет, — ответил Лопес, поднимаясь. — Просто я очень сильно сморкнулся. Со мной часто так бывает. Всего хорошего, я еще приду проведать тебя.

Рауль вышел следом. Пора было спрятать куда-нибудь револьвер, который все сильнее оттягивал ему карман, и все же сначала он решил заглянуть на носовую палубу, уже залитую солнцем. Здесь никого не было, Рауль сел на ступеньку трапа и, прищурившись, окинул взглядом море и небо. От бессонной ночи, сигарет и выпитого виски, от сверкающего моря и ветра в лицо у него заболели глаза. Подождав, пока глаза привыкнут к свету, он подумал, что пора уже вернуться к действительности, если это будет возвращением к действительности.

«Никаких анализов, дорогой,— приказал он себе.— Ванну, хорошую ванну в каюте, которая теперь будет только твоей, пока длится путешествие, и бог знает, сколько оно продлится, если я, конечно, не ошибаюсь». И лучше бы он не ошибался, иначе Медрано напрасно отдал свою жизнь. Ему теперь все равно: продолжится путешествие или закончится еще какой-нибудь историей; слишком сильно был обложен язык, чтобы сделать правильный вывод. Вот когда он проснется после того, как примет ванну, выпьет полный стакан виски и проспит целый день, тогда он сможет что-то принять, а что-то отвергнуть. А теперь ему все безразлично: и рвота на полу, и выздоровление Хорхе, и даже три отверстия в штормовке. Он походил на игрока в покер, который нерешительно держит в руках всю колоду, но, когда он решится, если вообще решится, он выложит один за другим джокера, туза, даму и короля.. Он глубоко вздохнул; море было какое-то сказочно синее, такой цвет он видел во сне, когда летал на странных прозрачных машинах. Он закрыл лицо руками и спросил себя, а жив ли он. Вероятно, все же жив, потому что заметил, как смолкли машины «Малькольма».

Прежде чем выйти, Паула и Лопес задержали занавески на иллюминаторе, и каюта погрузилась в желтоватый полумрак, который словно стер всякое выражение на лице Медрано. Оцепеневшая у изножия кровати с протянутой к двери рукой, словно она все еще закрывала ее, Клаудиа смотрела на Габриэля. В коридоре слышались приглушенные голоса и шаги, но ничто, казалось, не могло нарушить безмолвную тишину, в которую вступила Клаудиа, прорезать этот ватный воздух в каюте, окутавший тело, распростертое на постели, в беспорядке разбросанные вещи, полотенца, кинутые в угол.

Она медленно приблизилась, села в кресло, подвинутое Раулем, и посмотрела Медрано в лицо. Она могла бы без особых усилий говорить, отвечать на любые вопросы: горло у ней не сдавило и не было слез, чтобы оплакивать Габриэля. Внутри ее тоже все было ватное, густое и холодное, как в маленьком мире аквариума или стеклянного шара. Да, это так: только что убили Габриэля. Он лежал перед ней мертвый, этот незнакомый ей мужчина, с которым она всего несколько раз беседовала за это короткое морское путешествие. Между ними не было ни близости, ни отчужденности, нечего было взвешивать и подсчитывать; смерть пришла на эту неуклюжую сцену пре-

жде, чем жизнь, нарушив всю игру, лишив ее и того смысла, какой она могла бы иметь в эти часы в открытом море. Этот человек провел часть ночи у постели больного Хорхе, но что-то повернулось, чуть изменилась обстановка (каюты так похожи одна на другую, у постановщика не было возможности переменить декорацию), и вот уже Клаудиа сидит у постели мертвого Габриэля. Всю долгую ночь ее разум и здравый смысл никак не могли совладать со страхом за жизнь Хорхе, и, когда смерть начинала казаться ей неизбежной, единственное, что хоть немного успокаивало ее, была мысль о Габриэле, который находился где-то рядом, то ли в баре за чашкой кофе, то ли дежурил в коридоре или разыскивал спрятавшегося на корме врача. И снова что-то поворачивается, и Хорхе опять живой, такой, как всегда, словно ничего не случилось, а была лишь обычная детская болезнь, мрачные мысли глухой ночью и усталость; словно ничего не случилось, словно Габриэль, утомившись после бессонной ночи, прилег отдохнуть, а потом опять придет к ней и будет играть с Хорхе.

Она видела воротник штормовки, прикрывавший его горло; потом начала различать темные пятна на материи, кровь, запекшуюся в уголках рта. Это он сделал ради Хорхе, значит, ради нее; он умер ради нее и ради Хорхе, ради нее была эта кровь и эта куртка, воротник которой кто-то поднял и расправил, и эти руки, вытянутые по швам, эти ноги, укрытые походным одеялом, эти всклокоченные волосы, этот слегка задранный подбородок и запрокинутый лоб, словно ушедший в низкую подушку. Она не могла оплакивать его, нельзя же оплакивать того, кого едва знаешь — симпатичного, вежливого и, возможно, чуточку влюбленного в нее мужчину, вероятно достаточно храброго, чтобы не стерпеть унижений этого путешествия, но кем он был для нее? Всего несколько часов приятной беседы, духовная близость, точнее, лишь возможность близости, сильная и ласковая рука в ее руке, поцелуй в лобик Хорхе, взаимное доверие, чашка горячего кофе. Жизнь действует слишком медленно и скрытно, чтобы обнаружить сразу всю свою глубину; должно было многое произойти или не произойти вовсе, как это и случилось, они должны были сблизиться постепенно, с разлуками и отступлениями, размолвками и примирениями, пока не преодолели бы все, что их разъединяло, и не стали бы друг другу необходимы. Смотря на него с легким упреком и досадой, она подумала, что он нуждался в ней и что это было предательством и трусостью уйти вот так, отказавшись от встречи с нею. Склонившись над ним без страха и

жалости, она укоряла его, отказывала ему в праве умереть прежде, чем он остался жить в ней, начал жить в ней по-настоящему. Он оставил по себе лишь приятное воспоминание, подобное воспоминанию о летнем отпуске, отеле, неясные черты да память о нескольких минутах, когда готов был сказать правду, оставил имя женщины, принадлежавшей ему, фразы, которые любил повторять, рассказ о детских годах, ощущение от сильной и крепкой руки, привычку сдержанно улыбаться и ни о чем не расспрашивать. Он ушел, словно чего-то испугался, избрав самое немислимое бегство — в мертвую неподвижность и лицемерное молчание. Он отказался ждать ее, добиваться ее, преодолеть час за часом время, которое оставалось до встречи. Зачем теперь целовать этот холодный лоб, причешивать дрожащими пальцами эти слипшиеся, спутанные волосы, зачем что-то теплое струится из ее глаз на это лицо, отрешенное навеки и более далекое, чем любой образ прошлого. Она никогда не сможет простить ему и всякий раз, вспоминая о нем, станет упрекать его в том, что он лишил ее возможности по-новому ощущать время, само течение которого и жизнь в самой сердцевине жизни возродили бы ее, освободили, сожгли, потребовали бы от нее то, чего никогда не требовало ее прежнее существование. В висках словно глухо вращались шестерни, и она чувствовала, что время без него будет длиться так же бесконечно, как раньше, как время без Леона, как время на улице Хуана Баутисты Альберди, когда на свет появился Хорхе, служивший ей лишь предлогом, материнским обманом, алиби, которое оправдывало ее инертность, чтение легких романов, радио по вечерам, ночные походы в кино, бесконечные разговоры по телефону, февральские поездки в Мирамар. Всему этому можно было бы положить конец, если бы он не лежал здесь, как явное доказательство того, что она ограблена и покинута, если бы он не позволил как дурак убить себя, чтобы не жить в ней и не оживить ее своей жизнью.

Ни он, ни она так никогда и не узнают, кто из них больше нуждался в другом (так цифры никогда не знают, какое они составляют число), из их двойной неуверенности выросла бы сила, способная преобразить все, наполнить их жизнь морем, дорогами, невероятными приключениями, сладостным, как мед, отдыхом, глупостями и неудачами, пока не наступил бы конец, более достойный и не такой жалкий. Он покинул ее, прежде чем обрел, и это было несравненно отвратительнее, чем его разрывы с прежними любовницами. Что стоили жалобы Беттины в сравнении с ее жалобой, какой упрек сорвался бы с ее

губ перед лицом ни с чем не соразмерной утраты, нисколько не зависящий от ее воли и поступков. Его убили как собаку, распорядились его жизнью, не дав ему даже возможности принять или отринуть эту смерть. И то, что он не был в этом повинен и лежит сейчас перед ней, мертвый, неподвижный, и было его самой непростительной виной. Чужой, во власти посторонней воли, нелепая мишень, в которую любой мог прицелиться; его предательство подобно аду, вечно сущее отсутствие, пустота, заполняющая ее сердце и разум, бездонная пропасть, куда она будет падать, отягченная грузом своей жизни.

Да, теперь она могла плакать, но не по нем. Она будет оплакивать его бесполезную жертву, его безмятежную, слепую доброту, которая привела его к гибели, будет оплакивать то, что он собирался сделать и, возможно, сделал для спасения Хорхе, но за этими слезами, когда они, как всякие слезы, иссякнут, она снова увидит отрицание, бегство, образ друга, которого она знала два дня и который не смог остаться в ее памяти на всю жизнь. «Прости, что я говорю тебе это, — подумала она в отчаянии, — но ты уже становился мне близким, и, когда ты подходил к моей двери, я узнавала твои шаги. Теперь мой черед убежать, терять то малое, что осталось у меня от твоего лица, твоего голоса, твоего доверия. Ты предал меня раз и навсегда; о горе мне — я буду предавать тебя изощренней, изо дня в день, утрачивая тебя постепенно, с каждым разом все больше и больше, пока от тебя не останется в моей памяти и бледного отпечатка, пока Хорхе не перестанет называть твое имя, пока Леон не ворвется снова мне в душу, подобно вихрю сухих листьев, и я не закружусь в танце с его призраком, безразличная ко всему».

XLIII

В половине восьмого часть пассажиров отозвалась на призыв гонга и поднялась в бар. Остановка «Малькольма» не слишком их удивляла; само собой разумелось, что после безрассудных ночных выходов следовало ждать расплаты. Доп Гало возвестил об этом своим скрипучим голосом и принялся яростно намазывать гренки, а присутствующие дамы поддержали его, вздыхая с пророческим и неодобрительным видом. К столику, за которым сидели проклятые бунтовщики, время от времени летел намек или устремлялся осуждающий взгляд, который останавливался на покрытом синяками лице Лопеса, на растрепанных волосах Паулы или на сонно улыбающемся

Рауле. При известии о смерти Медрано донья Пепа упала в обморок, а сеньора Трехо истерически разрыдалась; теперь они старались прийти в себя, налегая на кофе с молоком. Дрожь от злости при мысли, что ему пришлось провести несколько часов запертым в баре, Лусио поджал губы и упорно молчал, Нора угодливо поддерживала партию миротворцев, тихо поддакивая донье Росите и Нелли, и при этом бросала взгляды на Лопеса и Рауля, словно происшедшее было для нее еще далеко не ясно. Метрдотель с видом оскорбленного достоинства ходил от столика к столику, молча кланялся и, время от времени поглядывая на оборванные телефонные провода, тяжело вздыхал.

Почти никто не интересовался здоровьем Хорхе — жестокость пересилила человеколюбие. Возглавляемые сеньорой Трехо, донья Пепа, Нелли и донья Росита попытались рано утром проникнуть в каюту, где лежал убитый, чтобы совершить прощальные обряды, которыми так славится женская некрофилия. Пушок, только что выдержавший шумную перепалку со своими родичами, угадал их намерение и как чербер встал у дверей в каюту. На решительное требование сеньоры Трехо пропустить их и дать им исполнить свой христианский долг он не терпящим возражений тоном заявил: «Идите-ка лучше умойтесь!» А когда сеньора Трехо подняла руку, словно собираясь дать ему пощечину, Пушок сделал столь выразительный жест, что досточтимая сеньора, раненная в самое сердце, отступила, побагровев, и истошным голосом стала призывать на помощь своего супруга. Однако сеньор Трехо как сквозь землю провалился, и дамам пришлось ретироваться; Нелли ушла вся в слезах, донья Пепа и донья Росита — потрясенные поведением сына и будущего зятя, а сеньора Трехо на грани нервного припадка. Завтрак был своего рода напряженным перемирием — все исподлобья переглядывались, с досадой сознавая, что если «Малькольм» стал посреди океана, значит, путешествие прерывается, и, что теперь случится, никто не знал.

К столику бунтовщиков подошел Пушок, которого подозревал Рауль, как только тот показался в дверях бара. И когда Пушок со счастливой улыбкой, озарившей все его лицо, уселся среди новых друзей, Нелли так низко опустила голову, что чуть не коснулась лицом гренок, а ее мать еще пуще покраснела. Повернувшись к ним спиной, Пушок расположился между Паулой и Раулем, которых все это страшно забавляло. Лопес, с трудом жевавший кусочек бисквита, подмигнул ему незаплывшим глазом.

— По-моему, вашим родным не очень нравится, что вы сели за столик прокаженных, — сказала Паула.

— Я пью молоко там, где хочу,— ответил Атилио.— Пошли они подальше, надоели.

— Понятно,— сказала Паула, протягивая ему хлеб и масло.— А теперь мы присутствуем при торжественном прибытии сеньора Трехо и доктора Рестелли.

Трескучий голос дона Гало разорвал тишину, словно пробка, вылетевшая из бутылки шампанского. Он радовался при виде друзей, которым удалось хоть немного вздремнуть после этой ужасной ночи, проведенной в плену. Что касается его самого, то он так и не сомкнул глаз, несмотря на двойную дозу снотворного. Но у него еще будет время отоспаться после того, как установят виновных и примерно накажут зачинщиков этой безрассудной и дикой выходки.

— Ну, сейчас начнется,— пробормотала Паула.— Карлос и ты, Рауль, сидите спокойно.

— Мама миа, мама миа,— бормотал Пушок, прихлебывая кофе с молоком.— И зачем такой шум из-за пустяков.

Лопес с любопытством смотрел на доктора Рестелли, который избегал его взгляда. За столиком, где сидели дамы, послышался повелительный возглас: «Освальдо!» — и сеньор Трехо, направлявшийся к свободному месту, словно вспомнив о своих обязанностях, изменил курс, приблизился к столику бунтовщиков и остановился против Атилио, который с трудом прожевал огромный кусок хлеба с мармеладом.

— Позвольте узнать, юноша, по какому праву вы пытаетесь воспрепятствовать моей супруге пройти... ну, скажем, к одру смерти?

Атилио с трудом проглотил кусок, так что у него чуть не выскочило адамово яблоко.

— Мама миа, да им только хотелось поиграть на нервах,— сказал он.

— Что вы сказали? Повторите!

И хотя Рауль делал ему знаки оставаться на месте, Пушок отодвинул стул и встал.

— Натe, выкусите,— сказал он, складывая кукиш и поднося его к носу сеньора Трехо.— Или вы хотите, чтобы я разозлился всерьез? Мало вас наказали? Не подействовало ни на вас, ни на этих пачкунов?

— Атилио! — с наигранным возмущением воскликнула Паула, а Рауль надрывался от смеха.

— Мама миа, сами пристали, так пускай слушают! — гаркнул Пушок так, что зазвенели тарелки.— Шайка бездельников,

только и умеют, что чесать языком, тыр-пыр, а малец покамест пускай помирает, да он и помирал в самом деле! А вы что сделали, скажите на милость? Двинулись с места? Пошли за доктором? Мы пошли, чтоб вы знали! Мы, вот этот сеньор и сеньор, которому разбили лицо! И еще один сеньор... да, еще один... а потом вы хотите, чтобы я пропускал всяких в каюту...

Он загнулся и от сильного волнения не мог продолжать. Взяв Пушка за руку, Лопес тщетно пытался его усадить. Потом, тоже поднявшись, выразительно посмотрел в глаза сеньору Трехо.

— *Vox populi, vox Dei*¹,— сказал он.— Ступайте завтракать, сеньор. А что касается вас, сеньор Порриньо, оставьте при себе свои замечания. И вы тоже, сеньоры и сеньориты.

— Неслыханно!— заверещал доп Гало, поддержанный стенами и воплями женщин.— Они злоупотребляют своей силой!

— Надо было бы их всех убить!— выкрикнула сеньора Трехо, откидываясь на спинку стула.

Столь простодушно высказанное желание заставило пацифистов прикусить язык, все поняли, что зашли слишком далеко. Завтрак продолжался, хотя не утихало глухое бормотание и гневно поблескивали глаза. Персио, явившийся позже всех, точно оборотень, проскользнул между столиками и поставил стул рядом с Лопесом.

— Сплошной парадокс,— сказал он, наливая себе кофе.— Овцы превратились в волков, а партия миротворцев стала яркой сторонницей войны.

— Немного поздновато,— сказал Лопес.— Лучше бы они оставались в своих каютах и ждали... сам не знаю чего.

— Это не годится,— сказал Рауль, зевая.— Я пытался уснуть, но безрезультатно. На солнышке, наверно, будет лучше. Пойдемте?

— Пойдем,— поддержала Паула и замерла, поднимаясь со стула.— *Tiens*, смотрите, кто пришел.

Худой и настороженный глицид с седым ежиком волос смотрел на них с порога. Чайные ложечки со звоном опустились на блюдца, стулья повернулись к двери.

— Добрый день, дамы, добрый день, господа.

В ответ послышалось робкое «добрый день, сеньор». Это сказала Нелли.

Глицид провел рукой по волосам.

¹ Глас народа, глас божий (лат.).

— Во-первых, я хочу сообщить вам, что врач только что посетил больного малыша и нашел, что его состояние намного лучше.

— Потрясающе,— сказал Пушок.

— От имени капитана сообщаю, что известные вам меры предосторожности после полудня будут отменены.

Никто не произнес ни слова, однако жест Рауля был слишком красноречив, чтобы глицид его не заметил.

— Капитан сожалеет о том, что недоразумение послужило причиной прискорбного случая, но, как вы должны понять, «Маджента стар» снимает с себя всякую ответственность за это, поскольку всем было известно, что речь идет о крайне разном заболевании.

— Убийцы! — отчетливо произнес Лопес.— Да, именно то, что вы слышали: убийцы.

Глицид провел рукой по волосам.

— Данные обстоятельства, излишние эмоции и перевозность могут объяснить эти абсурдные обвинения,— сказал он, пожимая плечами, словно считал вопрос исчерпанным.— Но прежде чем уйти, я хочу предупредить вас, что вам, вероятно, стоит уложить чемоданы.

Среди поднявшегося крика и визгливых вопросов дам глицид казался еще более постаревшим и усталым. Он сказал несколько слов метрдотелю и вышел, нервно проведя по волосам рукой.

Паула посмотрела на Рауля, который сосредоточенно раскуривал трубку.

— Какая глупость, че,— сказала она.— А я сдала квартиру на два месяца.

— Может, тебе удастся спать квартиру Медрано,— сказал Рауль,— если, конечно, ты опередишь Лусию и Нору, которые, по-видимому, жаждут обзавестись собственным гнездышком.

— Ты совсем не уважаешь смерть.

— Она тоже не станет меня уважать.

— Пошли,— резко сказал Лопес Пауле.— Пойдем загорать, я чертовски устал от всего этого.

— Пойдем, Ямайка Джон,— сказала Паула, поглядывая на него украдкой. Ей нравилось, когда он сердился. «Нет дорогой, не одержать тебе верха,— подумала она.— Вот увидишь, гордый самец, как непокорны мои губы. Лучше попытайся понять меня, а не подчинить...» И прежде всего понять, что старая связь не порвана, что Рауль навсегда останется для нее Раулем. Никому

не дано купить ее свободу, никому не дано подчинить ее, пока она сама того не пожелает.

Персио пил вторую чашку кофе и думал о возвращении домой. Улицы Чакариты встали у него перед глазами. Надо бы спросить у Клаудии, стоит ли являться на службу по приезде в Буэнос-Айрес. «Юридические тонкости,— думал Персио.— А что, если заведующий увидит меня на улице, ведь я сказал ему, что отправляюсь в морское путешествие...»

I

Если заведующий увидит его на улице, хотя он сказал, что отправился в морское путешествие? Ну и черт с ним! Черт с ним! Так повторяет Персио, разглядывая кофейную гущу в своей чашке, отрешенный и отсутствующий, покачиваясь, точно маленькая пробка, втиснутая в другую огромную пробку, воткнутую в пустынные просторы южных морей. Всю ночь ему не удавалось бодрствовать, его сбивали с толку запах пороха, безотня, напрасное гадание на ладонях, посыпанных тальком, рули автомобилей и ручки чемоданов. Он видел, что смерть передумала, не дойдя нескольких шагов до постели Хорхе, но знал, что это всего лишь метафора. Он знал, что друзья мужчины разорвали кольцо осады и проникли на корму, но не нашли там отверстия, через которое можно было снова начать диалог с ночью, присоединиться к призрачному открытию этих людей. Единственный, кто хоть что-то узнал про корму, никогда больше не заговорит. Поднялся ли он по лестнице посвящения? Увидел ли клетки с дикими зверями, обезьян, свисающих с канатов, услышал ли голоса предков, нашел ли причину и удовлетворение? О ужас прародителей, о ночь расы, бездонный клокочущий колодец, какое мрачное сокровище оберегали нордические драконы, какая изнанка поджидала его, чтобы показать мертвецу свое подлинное лицо? Все остальное ложь, и те, кто вернулся, и те, кто вовсе не ходил, одинаково знают это, одни — потому что не видели или не хотели видеть, другие по наивности или из-за приятной подлости времени и привычек. Лжива правда первооткрывателей, лжива ложь трусливых и благоразумных, лживы всякие объяснения, лживы опровержения. Правдива и бесполезна лишь яростная слава Атилио, ангела с грубыми веснушчатymi руками, который не понимает, что случилось, но который восстает, отмеченный навеки, ясный в свой великий час, и он будет таким, пока неизбежный заговор на Исла Масьяль не вернет его к самодовольному невежеству. И все же там находились

Матери, чтобы как-то назвать их, чтобы поверить в их пустое воображение, они возвышаются посреди пампы, над землей, которая искажает лица живущих на ней людей, осанку их спин и их шеи, цвет их глаз, голос, жадно требующий жаркого из мяса и модного танго, там находились и предки, скрытые ноги истории, которая, обезумев, бежит по общепринятым версиям, по «двадцать-пятого-мая-было-холодное-дождливое-утро», по Линье¹, таинственным образом превратившемуся из героя на странице тридцатой в предателя на странице тридцать четвертой, глубоко уходящие ноги истории, ожидающей прихода первого аргентинца, жаждущей отдачи, метаморфозы, извлечения на свет. Но еще Персио знает, что грязный ритуал исполнен, что злое предки встали между Матерями и их далекими детьми и что их ужас уничтожил образ бога-творца и заменил его бойкой торговлей призраками, грозной блокадой города, ненасытным требованием подношений и умиротворений. Клетки с обезьянами, дикими зверями, глицид в форме, патриотические празднества или просто вымытая палуба и серый рассвет — годится все, чтобы скрыть то, чего с дрожью ожидали от стоящих по другую сторону. Мертвые или живые, с мутными глазами, возвратились они снизу, и снова Персио видит, как вырисовывается образ гитариста на картине, который был написан с Аполлинера, снова, еще раз, видит, что у музыканта нет лица, что вместо него лишь пустой черный прямоугольник, музыка без хозяина, слепой беспричинный случай, корабль, плывущий по течению, роман, который заканчивается.

ЭПИЛОГ

XLIV

В половине двенадцатого стало слишком жарко, и Лу-сио, которому надоело загорать и втолковывать Норе то, что она никак не хотела уразуметь, решил подняться к себе в каюту и принять душ. Ему осточертело говорить, лежа под палящим солнцем, проклинать тех, кто испортил путешествие, и спрашивать себя, а что теперь будет и почему велели укладывать чемоданы. Ответ на эти вопросы настиг его, когда он поднимался по трапу правого борта: едва различимое жужжание и пятныш-

¹ Линье, Сантьяго Антонио (1756—1810) — вице-губернатор провинций Ла-Платы, отражавший нападение англичан.

ко на ясном небе, потом второе. Два гидросамолета типа «каталины» сделали над «Малькольмом» круг и опустились на воду в каких-нибудь ста метрах от него. Лежа в одиночестве на носовой палубе, Фелипе безучастно смотрел на них, погруженный в дремоту, которую зловредная Беба объясняла употреблением алкоголя.

Трижды прозвучала сирена «Малькольма», и с борта одного из самолетов засверкали сигналы гелиографа. Развалясь в пезлонгах, Лопес и Паула смотрели, как от парохода отвалила шлюпка, в которой сидел толстый глицид. Время тянулось нестерпимо долго, пока шлюпка наконец добралась до одного из самолетов и они увидели, как глицид, поднявшись по крылу, исчез внутри.

— Помогите мне уложиться, — попросила Паула, — у меня все вещи разбросаны по полу.

— Хорошо, только жаль уходить отсюда.

— Тогда побудем еще, — сказала Паула, закрывая глаза.

Вернувшись снова к действительности, они увидели, что шлюпка отошла от самолета, и теперь в ней сидело уже несколько человек. Лопес, потягиваясь, встал, полагая, что наступило время укладывать вещи, но, прежде чем уйти, они еще немного постояли у борта, недалеко от Фелипе; оживленно беседуя с толстым глицидом, к ним приближался человек в темно-синем костюме. Это был инспектор Организационного ведомства.

Полчаса спустя метрдотель и официант обошли все каюты и палубы, приглашая пассажиров в бар, где их ожидали инспектор и седой глицид. Первым, натянуто улыбаясь и источая наигранный оптимизм, явился доктор Рестелли. Он только что совещался с сеньором Трехо, Лусио и доном Гало по поводу того, как лучше осветить события (в случае если будет начато дознание или поступит предложение прекратить круиз, на который все, за исключением бунтовщиков, имели полное право). Подошли дамы, сверкая самыми любезными улыбками и восклицая: «Как! Вы здесь? Какая неожиданность!» — на что инспектор отвечал, слегка растягивая губы и поднимая правую руку.

— Все собрались? — спросил он, глядя на метрдотеля, проверявшего списки. В воцарившейся напряженной тишине звук спички, которой Рауль чиркнул о коробок, показался оглушительным.

— Добрый день, дамы и господа, — сказал инспектор. — Излишне напоминать вам о том, как сожалеет Ведомство о проис-

шедших недоразумениях. Телеграмма, посланная капитаном «Малькольма», была столь настоятельной, что, как вы видите, Ведомство сочло необходимым немедленно принять самые эффективные меры.

— Телеграмму послали мы,— сказал Рауль.— А если быть совсем точным, так ее послал человек, которого убили вот эти.

Инспектор смотрел на кончик пальца Рауля, показывавшего на глицида. Глицид провел рукой по волосам. Достав свисток, инспектор свистнул в него два раза. Вошли три молодца в мундирах столичной полиции, неизвестно откуда взявшиеся на этой широте и в этом баре.

— Я буду весьма признателен, если вы позволите мне закончить мое сообщение,— сказал инспектор, пока полицейские вставали за спинами пассажиров.— Весьма прискорбно, что эпидемия вспыхнула уже после того, как пароход покинул рейд Буэнос-Айреса. Нам известно, что командование «Малькольма» приняло все необходимые меры и, заботясь о вашем здоровье, ввело несколько строгие, но крайне необходимые ограничения.

— Совершенно точно,— сказал дон Гало.— Все превосходно. Я говорил это с самого начала. А теперь разрешите мне, уважаемый сеньор...

— Нет, это вы разрешите мне,— перебил его инспектор.— Несмотря на принятые меры, произошли два случая, внушающих тревогу, последний из них вынудил капитана телеграфировать в Буэнос-Айрес. Первый, к счастью, кончился благополучно, корабельный врач уже разрешил больному мальчику вставать с постели; что же касается второго случая, спровоцированного безрассудным поведением самой жертвы, которая самовольно нарушила санитарный кордон и проникла в зараженную зону, то он завершился роковым образом. Сеньор...— под растущий гул голосов он заглянул в записную книжку.— Сеньор Медрано, именно так. Весьма прискорбно, разумеется. Позвольте мне, сеньоры. Типе! Позвольте. В подобных обстоятельствах и после совещания с капитаном и врачом мы пришли к заключению, что дальнейшее пребывание на борту «Малькольма» представляет опасность для вашего здоровья. Несмотря на то что эпидемия идет на убыль, она может вспыхнуть в этой части парохода, тем более что больной оказался в одной из кают на носу. Итак, принимая все это во внимание, я попрошу вас приготовиться к посадке на самолеты через четверть часа. Благодарю вас.

— А почему это мы должны садиться на самолеты? — крик-

нул дон Гало, подъезжая на своем кресле к инспектору.— Значит, эпидемия действительно была?!

— Ах, мой дорогой дон Гало, конечно, была,— сказал доктор Рестелли, живо выходя вперед.— Вы меня просто удивляете, дорогой друг. Никто ни на мгновение не сомневался, что администрация вела борьбу против вспышки тифа 224, вы сами это прекрасно знаете. Сеньор инспектор, в настоящее время речь идет не об этом, ибо все мы согласны с вами; мы имеем в виду целесообразность мер, несколько, я бы сказал, крутых, которые вы предполагаете принять. Я далек от мысли воспользоваться правом, предоставленным мне счастливым выигрышем, и все же настоятельно призываю вас подумать, прежде чем предпринять какое-либо опрометчивое действие, которое...

— Слушайте, Рестелли, бросьте вашу галиматью,— сказал Лопес, отводя руку Паулы, которая предостерегающе ущипнула его.— Вы и все остальные прекрасно знаете, что Медрано был застрелен кем-то из команды. И какой там, к чертовой бабушке, тиф! Лучше послушайте меня. После всего, что произошло здесь, плевать мне, вернемся мы в Буэнос-Айрес или нет, но я не позволю, чтобы так бессовестно лгали.

— Помолчите, сеньор,— сказал один из полицейских.

— А я не желаю. У меня есть свидетели и доказательства того, о чем я говорю. И я жалею лишь о том, что не был вместе с Медрано и не пристрелил полдюжины этих сукиных сынов. Инспектор поднял руку.

— Итак, сеньоры, мне бы не хотелось быть вынужденным сообщить вам о мерах, которые будут приняты в случае, если кто-нибудь из вас, утратив чувство реальности, движимый дружбой или какими-либо иными мотивами, будет настаивать на искажении фактов. Поверьте, мне было бы весьма прискорбно, если бы пришлось высадить вас в... ну, скажем, в какой-нибудь пустынной зоне и держать там до тех пор, пока не улягутся страсти и можно будет дать объективную информацию.

— Можете меня высаживать, где вам заблагорассудится,— сказал Лопес.— Медрано был убит вот этими. Посмотрите на мое лицо. По-вашему, это тоже тиф?

— Ну, вы сами решите,— сказал инспектор, обращаясь в первую очередь к сеньору Трехо и дону Гало.— Мне не хотелось бы интернировать вас, однако придется, если вы будете настаивать на искажении фактов, проверенных людьми с безупречной репутацией.

— Не говорите глупостей,— сказал Рауль.— Давайте лучше спустимся вниз и вместе взглянем на убитого.

— О, тело уже убрано с парохода, — ответил инспектор. — Как вы понимаете, по соображениям элементарной гигиены. Сеньоры, я советую вам подумать. Мы все можем вернуться в Буэнос-Айрес через четыре часа. А там, после того, как вы подпишете заявление, которое мы составим сообща, вы можете быть уверены, что Ведомство позаботится о соответствующей компенсации, ибо никто не собирается забывать, что это путешествие — ваш выигрыш и тот факт, что оно было прервано, никоим образом не может служить помехой.

— Отличная концовка фразы, — сказала Паула.

Сеньор Трехо откашлялся, посмотрел на свою супругу и решительно начал:

— Я хочу спросить вас, сеньор инспектор... Ввиду того что, как вы сказали, тело снято с парохода и тем самым устранена опасность новой вспышки тифа, нельзя ли подумать о возможности...

— Ну, конечно, — сказал дон Гало. — Почему бы тем, кто согласен... я подчеркиваю — кто согласен... почему бы им не продолжить путешествие?

Все заговорили одновременно, и голоса дам звучали все громче, несмотря на робкие попытки полицейских установить тишину. Рауль отметил, что инспектор удовлетворенно улыбался и делал полицейским знак не вмешиваться. «Разделяй и властвуй, — подумал он, прислоняясь к переборке и куря без всякого удовольствия. — А почему бы и нет? Не все ли равно — остаться или уйти, продолжать путешествие или возвратиться. Бедняга Лопес во что бы то ни стало желает доказать правду. А Медрано был бы доволен, если б мог узнать, какой переполох он устроил...» Он улыбнулся Клаудии, которая отрешенно наблюдала за происходящим, пока доктор Рестелли объяснял, что отдельные прискорбные эксцессы не должны повлиять на заслуженный отдых большинства пассажиров, и поэтому он надеется, что сеньор инспектор... Но сеньор инспектор снова поднял руку, призывая всех к молчанию.

— Я прекрасно понимаю точку зрения этих сеньоров, — сказал он. — Однако капитан и офицеры, имея в виду сложившиеся обстоятельства, вспышку тифа и прочее... Одним словом, господа, мы все возвращаемся в Буэнос-Айрес, или я скрепя сердце буду вынужден приказать интернировать вас до тех пор, пока не рассеется недоразумение. И не забывайте, что угроза эпидемии тифа — достаточный повод для того, чтобы оправдать такую чрезвычайную меру.

— Вот оно! — крикнул дон Гало, в ярости оборачиваясь к Лопесу и Атилио. — Вот вам результат анархии и высокомерия. Я говорил это с той минуты, как сел на пароход. Теперь за нашkodивших будут расплачиваться невинные, так и растак! А эти ваши самолеты хоть надежны?

— Никаких самолетов! — завопила сеньора Трехо, поддержанная в основном женскими голосами. — Почему это мы не можем продолжать путешествие, скажите, пожалуйста?

— Путешествие окончено, сеньора, — сказал инспектор.

— Освальдо, и ты потерпишь это!

— Деточка! — со вздохом ответил сеньор Трехо.

— Согласны, согласны, — сказал дон Гало. — Сядем в самолет, и дело с концом, только перестаньте говорить о всяких интернированиях и прочем вздоре.

— В создавшейся ситуации, — сказал доктор Рестелли, искоса смотря на Лопеса, — хорошо бы достичь единства, к которому нас призывает сеньор инспектор...

Лопесу было и противно, и жалко его. Но он так устал, что жалость пересилила.

— За меня не беспокойтесь, че, — сказал он Рестелли. — Я не имею ничего против возвращения в Буэнос-Айрес, а там мы объяснимся.

— Совершенно верно, — сказал инспектор. — Ведомство должно быть уверено в том, что никто из вас не использует свое возвращение для распространения слухов.

— Разумеется, — сказал Лопес. — Ведомство неплохо приду-мало.

— Ваше упорство, уважаемый сеньор... — начал инспектор. — Поверьте, если у меня заранее не будет уверенности в том, что вы не станете искажать, да-да, именно искажать факты, я буду вынужден прибегнуть к тому, о чем предупреждал.

— Только этого еще недостает! — крикнул дон Гало. — Сперва три дня сидели как на иголках, а теперь еще засунут в какую-нибудь вонючую дыру. Нет, нет и пет! В Буэнос-Айрес! В Буэнос-Айрес!

— Ну, разумеется, — сказал сеньор Трехо. — Это недопустимо.

— Давайте спокойно проанализируем ситуацию, — предложил доктор Рестелли.

— Ситуация совершенно ясна, — ответил сеньор Трехо. — Раз сеньор инспектор считает, что продолжать путешествие невозможно... — он взглянул на супругу, позеленевшую от злости, и безнадежно махнул рукой, — мы понимаем, что самым логич-

ным и естественным будет немедленно возвратиться в Буэнос-Айрес и вновь приступить...

— Приступить,— поправил Рауль.— К делам приступают.

— У меня против этого нет возражений,— сказал инспектор,— только предварительно вам придется подписать составленное нами заявление.

— Мое заявление я напишу сам от первого до последнего слова,— сказал Лопес.

— И не ты один,— сказала Паула, немного смущаясь своего благородства.

— Конечно,— подтвердил Рауль.— По крайней мере нас пятеро. А это больше четверти пассажиров, с чем демократия не может не считаться.

— Не впутывайте, пожалуйста, сюда политику,— сказал инспектор.

Глицид провел рукой по волосам и что-то тихо стал говорить инспектору, который внимательно его слушал.

Рауль обернулся к Пауле.

— Телепатия, дорогая. Он говорит, что «Маджента стар» не пойдет на частичное интернирование, ибо тогда разразится еще больший скандал. Нас не повезут даже в Урсуайю, вот увидишь. Я очень этому рад, потому что не захватил с собой зимнего платья. Запомни и увидишь, что я был прав.

Он действительно оказался прав: инспектор снова поднял руку характерным жестом, делающим его похожим на пингвина, и решительно заявил, что в случае, если не будет достигнуто единство, ему придется интернировать всех пассажиров без исключения. Самолеты, мол, могут лететь только вместе и прочее, и прочее, и еще целый ряд убедительных технических доводов. Затем он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут его слова и древний девиз, о котором недавно вспомнил Рауль; ждать ему пришлось недолго. Доктор Рестелли посмотрел на дону Гало, который посмотрел на сеньору Трехо, а та посмотрела на своего супруга. Настоящий перекрестный огонь, молниеносный рикошет взглядов. Оратор дон Гало Порриньо.

— Позвольте заметить, уважаемый сеньор,— сказал дон Гало, приводя в движение свое кресло-каталку.— Нельзя допустить, чтобы из-за упрямства и неподатливости этих заносчивых молодчиков нас, уравновешенных и рассудительных людей, упрятали черт знает куда и вдобавок потом облили грязью и оклеветали, уж я-то знаю наш мир. И если вы заявляете, что эта... этот случай был следствием проклятой эпидемии, то я лично считаю, что нет никаких оснований не доверять вашему офи-

циальному заявлению. Меня несколько не удивит, если скажут, что в этой ночной схватке было, как говорится, много шума из ничего. И, по правде говоря, никто из нас, — он особенно подчеркнул последнее слово, — не мог видеть... этого... этого несчастного сеньора, который, между прочим, пользовался всеобщей симпатией, несмотря на свои несуразные поступки в последние часы. — Он сделал полукруг на своем кресле и победоносно посмотрел на Лопеса и Рауля. — Я повторяю: никто не видел его, потому что вот эти сеньоры с помощью наглеца, который осмелился запереть нас на ночь в баре — обратите внимание на эту неслыханную дерзость в свете того, о чем мы говорим, — вот эти сеньоры, повторяю, хотя они и не достойны такого уважительного звания, преградили путь к одру мертвеца вот этим дамам, движимым чувством христианского милосердия, которое я уважаю, хотя и не разделяю его. Какие, по вашему, сеньор инспектор, можно сделать из этого выводы?

Рауль вцепился в руку Пушка, который побагровел, как обожженный кирпич, но не сумел помешать ему выкрикнуть:

— Какие там выводы, каракатица? Да я принес его обратно, принес вместе вот с этим сеньором! Из него еще хлестала кровь.

— Какой-то пьяный бред, — пробормотал сеньор Трехо.

— А моя пуля, которая царапнула того сукина сына?! У него с уха капала кровь, как с освежеванного поросенка. Боже правый, и почему я не всадил ему заряд в брюхо, неужто и тогда все свалили бы на тиф?!

— Не кипятись, Атилио, — сказал Рауль. — История уже написана.

— Какая, к дьяволу, еще история, — сказал Пушок.

Рауль пожал плечами.

Инспектор молчал, зная, что найдутся ораторы красноречивее его. Первым взял слово доктор Рестелли, воплощение сдержанности и благоразумия; за ним выступил сеньор Трехо, яростный защитник справедливости и порядка; дон Гало лишь поддерживал выступающих остроумными и уместными замечаниями. На первых порах Лопес, подстрекаемый гневными возгласами Атилио, а также меткими и колкими репликами Рауля, пытался возражать, обвиняя ораторов в трусости. Но потом ему вдруг стало противно, и, потеряв всякое желание говорить, он повернулся ко всем спиной и отошел в дальний угол. За бунтовщиками, стоявшими молчаливой группой, сдержанно наблюдали полицейские. Партия миротворцев закончила выступления при одобрительной поддержке дам и меланхолично улыбавшегося инспектора.

С высоты «Малькольм» походил на спичку, плавающую в большом тазу. Поспешив занять место у окошка, Фелипе равнодушно посмотрел на него. Океан, уже не такой огромный и вздыбленный, напоминал тусклую ровную пластину. Фелипе закурил и огляделся вокруг; спинки кресел были удивительно низкими. Другой самолет слева от них, казалось, не летел, а парил на месте. Там находился багаж пассажиров и, возможно... Поднимаясь на самолет, Фелипе смотрел во все глаза, стараясь увидеть тюк, завернутый в простыню или в брезент, скорее всего, в брезент. Так ничего и не увидев, он предположил, что тюк, наверное, погрузили в другой самолет.

— В общем,— сказала Беба, усаживаясь между матерью и Фелипе,— можно было себе представить, что все именно так и кончится. Мне это не нравилось с самого начала.

— Все могло бы кончиться прекрасно,— сказала сеньора Трехо,— если бы не этот тиф и... если бы не тиф.

— Так или иначе, а вышло надувательство,— сказала Беба.— Теперь придется объяснять всем подружкам, представляешь.

— Ну что же, доченька, и объяснишь. Ты прекрасно знаешь, что надо говорить.

— Напрасно ты думаешь, что Мария-Луиса и Мече поверят в такую басню...

Сеньора Трехо секунду смотрела на дочь, потом перевела взгляд на супруга, пристроившегося в другом конце самолета, где было только два сиденья. Сеньор Трехо, который все слышал, жестом успокоил ее. В Буэнос-Айресе они уговорят детей не болтать лишнего, возможно, пошлют их на месяц в Кордову, в имение тетушки Флориты. Дети быстро все забывают, к тому же они еще несовершеннолетние и их слова не могут иметь юридических последствий. Не стоит раньше времени беспокоиться.

Фелипе продолжал смотреть на «Малькольм», пока он не исчез из виду где-то внизу; осталась лишь беспредельная, наводящая скуку водная гладь, над которой они будут лететь четыре часа, пока не доберутся до Буэнос-Айреса. Вообще-то лететь было не так уж плохо, в конце концов, это его первое воздушное путешествие, и у него будет что порассказать ребятам. А какое лицо скорчила мамаша перед взлетом, как старалась скрыть свой страх Беба... Женщины несносны, паникуют по любому поводу. Да, че, что поделаешь, заварилась такая

каша, что в конце концов всех закинули в самолет и отправили домой. Убили там одного и... Но ему, наверное, не повезло; Ордоньес, как всегда, посмотрит на него пренебрежительно: «Об этом давно уже было бы известно, малец! На что, потвоему, газеты?» Да, об убийстве лучше не распространяться. Но Ордоньес, а может, и сам Альфиери спросят, как прошло путешествие. Ну, про это уже легче: бассейн, одна рыжуха в бикини, прихватил под водой, малютка все жалась, а вдруг узнают, я, мол, стесняюсь; да что ты, детка, никто ничего не узнает, давай приходи, немного развлечемся. Сперва не хотела, перепугалась, но сам знаешь, как бывает, как только уложил ее по форме, зажмурила глазки и позволила раздеть себя в постели. Ох и девка, рассказать невозможно...

Он развалился в кресле, прикрыл глаза. Ты только послушай, что было... Целый день, че, и не хотела, чтобы я уходил, пастоящая пивочка, не знал, как и отделаться... Да, рыжая, а там, скорее, русая. Ясное дело, мне тоже было любопытно, ну говорю тебе, скорее, русая.

Отворилась дверь кабины пилота, и высунулся инспектор, довольный и вроде даже помолодевший.

— Превосходная погода, сеньоры. Через три с половиной часа будем в Пуэрто-Нуэво. Ведомство полагает, что после того, как будут выполнены формальности, о которых мы с вами говорили, вы, вероятно, пожелаете как можно скорее отправиться домой. Чтобы не терять зря времени, всем будут предоставлены такси: багаж вы получите, как только приземлимся.

Он сел в первое кресло, рядом с шофером дона Гало, который читал номер «Рохо и Негро». Нора, забившаяся в кресло у окошка, вздохнула.

— Никак не могу убедить себя, — сказала она. — Это выше моих сил. Вчера еще нам было так хорошо, а теперь...

— Кому ты это говоришь, — пробурчал Лусио.

— Странно, ты же сам сначала так интересовался этой кормой... Чем они были так озабочены, объясни мне? Не понимаю, по виду такие добрые сеньоры, такие симпатичные.

— Шайка налетчиков, — сказал Лусио. — Других я не знал, а вот Медрано, клянусь, поразил меня порядком. По тому, как обстоят сейчас дела в Буэнос-Айресе, эта заваруха может навредить нам всем. А если кто донесет начальству, меня могут не повысить, а то еще похуже... Ведь, в конце концов, это была государственная лотерея, но об этом все забыли. Только думали, как бы устроить скандал да покрасоваться.

— Не знаю,— сказала Нора, посмотрев на него и тут же опустив глаза.— Ты, конечно, прав, но когда заболел сын этой сеньоры...

— Ну и что? Вон, гляди, он преспокойно уплетает себе конфеты! Какая же это болезнь, скажи на милость? А эти скандалисты только и искали повода, чтобы заварить кашу и показать себя героями. Думаешь, я не понял это с самого начала и не пытался их остановить? Но они бряцали оружием, выпендривались, корчили из себя... Вот помани мое слово, если только об этом узнают в Буэнос-Айресе...

— Я думаю, никто не узнает,— робко сказала Нора.

— Увидим. К счастью, некоторые думают так же, как я, а нас большинство.

— Придется подписать это заявление.

— Конечно, придется. Инспектор все уладит. Может, я зря волнуюсь, в конце концов, кто поверит их рассказам.

— Да, но сеньор Лопес и Пресутти так рассердились...

— Тут они свою роль сыграют до конца,— сказал Лусио,— но вот увидишь, в Буэнос-Айресе о них никто и не услышит. Что ты на меня так смотришь?

— Я?

— Да, ты.

— Что ты, Лусио, я просто так на тебя посмотрела.

— Нет, ты смотрела так, будто я соврал или еще что.

— Да нет же, Лусио.

— Но ты как-то странно на меня посмотрела. Неужели ты не понимаешь, что я прав?

— Конечно, понимаю,— ответила Нора, избегая его взгляда. Разумеется, Лусио был прав. Иначе бы он так сильно не рассердился. Ведь Лусио всегда был такой веселый; и она постарается, чтобы он забыл об этих днях и снова стал, как прежде, веселым. Неужели и в Буэнос-Айресе он останется таким же мрачным и решится на что-нибудь, она не знала, на что именно, ну, например, разлюбит ее, бросит, хотя это невысказанно — бросит ее теперь, когда она дала ему самое большое доказательство своей любви, согрешила ради него. Не верилось, что через три часа они окажутся в самом центре города, и сейчас она должна была узнать, что он думает делать дальше; если она вернется домой, сестра все поймет, а вот мама... Она представила, как входит в столовую, как мама смотрит на нее и становится все бледнее и бледнее. «Где ты пропадала три дня? Гуляющая! — крикнет мама.— Это так тебя воспитали монахини? Гуляющая, проститутка, шлюха!» Сестра попытается защитить ее,

но как объяснить матери, где она была эти три дня. Нет, домой возвращаться невозможно, она позвонит сестре, чтобы та встретила ее и Лусио... А если Лусио?.. Ведь он так расвирирел... Если он не захочет жепиться сейчас же, если начнет оттягивать свадьбу и опять закрутит с девицами из своей конторы, особенно с этой Бетти, если снова начнет гулять со своими дружками...

Лусио смотрел на океан поверх Нориного плеча. Он словно ждал, чтобы она заговорила первой. Нора повернулась к нему, поцеловала в щеку, в нос, в губы. Лусио не ответил на ее поцелуи, но она заметила, что он улыбнулся, когда она снова поцеловала его в щеку.

— Красавец мой,— сказала Нора так пещно, как только могла.— Как я тебя люблю. Я так счастлива с тобой, чувствую себя такой уверенной, спокойной под твоей защитой.

Целуя его, она старалась рассмотреть выражение его лица и наконец увидела, что Лусио улыбается. Она собрала все свои силы, чтобы начать разговор о Буэнос-Айресе.

— Нет, нет, довольно конфет. Вчера вечером ты чуть не умер, а теперь хочешь, чтобы у тебя расстроился желудок.

— Да я только две штучки съел,— ответил Хорхе и, сделав обиженное лицо, позволил укутать себя в дорожный плед.— Че, как плавно летит самолет. Персио, как, по-твоему, могли бы мы на нем долететь до нашей планеты?

— Нет,— ответил Персио.— В стратосфере мы превратились бы в пыль.

Закрыв глаза, Клаудиа кладет голову на неудобную спинку кресла. Ее злит то, что она рассердилась на Хорхе. «Вчера вечером ты чуть не умер...» Такое нельзя говорить ребенку, но в глубине души она сознает, что эта фраза относилась не к нему, что она слишком преувеличивает вину Хорхе. Бедняжка, глупо с ее стороны взваливать на него то, о чем он и понятия не имеет. Она снова укутала его, пощупала лоб и стала искать сигареты. В креслах по ту сторону прохода Лопес и Паула, играя, переплетали пальцы, мерялись силой. Прислонившись к окошку, укутанный клубами табачного дыма, дремал Рауль. Образы сновидения уже замелькали перед ним, но вдруг он проснулся и в двадцати сантиметрах от себя увидел затылок доктора Рестелли и мощный загривок сеньора Трехо. Рауль мог бы почти дословно воспроизвести их разговор, хотя шум в самолете не позволял слышать ни единого слова. Они, наверное, обмениваются визитными карточками и договариваются о встрече, чтобы убедиться, что все идет нормально и никто из бунтовщиков

(к счастью, усмиренных инспектором и собственной глупостью) не осмеливается выступить в левой прессе, готовой облить их всех грязью. Судя по возбужденным жестам доктора Рестелли, он, по-видимому, настаивал на том, что слова нарушителей порядка ничем не подтвердились. «Во всяком случае, хороший адвокат доказал бы это полностью,— подумал Рауль, посмеиваясь.— Кто признает, кто поверит, что на таком судне у команды было огнестрельное оружие и что липиды не прикончили нас, едва мы открыли по ним стрельбу на корме. Где доказательства наших слов? Медрано, конечно. Но нам подсунут ловко сфабрикованный пекролог в три строчки».

— Че Карлос...

— Минуточку,— ответил Лопес.— Смотри, как она выворачивает мне руку.

— Ущипни ее, это самое лучшее средство, сразу отпустит. Знаешь, я тут думал, а может, старички и правы. У тебя с собой револьвер?

— Нет, должно быть, он у Атилио,— ответил Лопес удивленно.

— Сомпеваюсь. Когда я укладывал чемоданы, кольт со всеми патронами куда-то исчез. Так как он был чужой, я не особенно встревожился. Давай спросим у Атилио, но я уверен, что у него тоже свистнули пушку. Да, вот что еще мне пришло в голову: ты с Медрано ходил в парикмахерскую. Верно?

— В парикмахерскую? погоди, да ведь это было вчера. Неужели это действительно было вчера? У меня ощущение, будто это было так давно. Да, конечно, мы ходили вместе.

— Я все ломаю себе голову,— сказал Рауль,— почему вы не расспросили парикмахера насчет кормы? Уверен, что вы даже не подумали это сделать.

— А ведь верно,— сказал Лопес, обескураженный.— Мы так мило болтали. Медрано был такой остроумный, такой... И представь себе, эти подлые циники утверждают, будто все случилось иначе...

— Но вернется к нашему парикмахеру,— сказал Рауль.— Тебя не удивляет, что пока мы искали проход на корму...

Почти их не слушая, Паула смотрела то на одного, то на другого и с удивлением спрашивала себя, как долго они будут обсуждать эту тему. Мужчины любят совершать открытия в прошлом; а ее интересует будущее, если вообще что-то интересует. Каким будет Ямайка Джон в Буэнос-Айресе? Не таким, конечно, как на пароходе, и не таким, как сейчас; в городе все они переменяется, к ним вернется то, что они оставили вместе

с галстуком или записной книжкой, когда садились на пароход. В конце концов, Лопес всего-навсего преподаватель, простой учитель, который обязан вставать в половине восьмого, чтобы в девять сорок пять или в одиннадцать пятнадцать объяснять причастия и глаголы. «Какой кошмар! — подумала она. — Но еще хуже будет, когда он увидит в городе меня: хуже не придумаешь». Ну и что? Сейчас им так хорошо сидеть, сплетя руки, глупо смотреть в глаза друг другу, показывать друг другу язык или спрашивать у Рауля, не кажется ли ему, что они идеальная пара.

Атилио первым увидел трубы, башни, небоскребы и, сияя радостью, обежал весь самолет. На протяжении всего полета он страшно скучал, сидя между Нелли и доньей Роситой, к тому же пришлось ухаживать за Неллиной матерью, на которую качка действовала страшным образом: она горько плакала и предавалась сбивчивым семейным воспоминаниям.

— Гляди, гляди! Мы уже над рекой, вон там Авельянедский мост! Надо же, подумать только: чтобы уехать, потратили три дня, а возвратились в два счета!

— Вот они достижения техники, — сказала донья Росита, посматривавшая на своего сына со страхом и недоверием. — Как прилетим, надо будет позвонить отцу, пускай приезжает за нами на своем грузовичке.

— Да что вы, сеньора, ведь инспектор сказал, что всем предоставят такси, — возразила Нелли. — Ради бога, Атилио, сядь, не мельтеши у меня перед глазами. Ой, кажется, самолет сейчас на бок повалится, правда, правда!

— Как в той картине, где все погибли, — сказала донья Росита.

Пушок презрительно хмыкнул, но все же уселся в свое кресло. Ему было очень трудно усидеть на месте, тем более что его так и подмывало что-то совершить. Он сам не знал, что именно, но энергия бурлила в нем, и он лишь ждал сигнала Лопеса и Рауля. Но Лопес и Рауль молча курили, и Атилио почувствовал себя разочарованным. Выходит, старичье и фараоны возьмут верх, это же стыд и позор; конечно, будь жив Медрано, такого бы никогда не случилось.

— Ну что ты никак не успокоишься, — сказала донья Росита. — Можно подумать, тебе мало вчерашних зверств. Посмотри на Нелли. Ты бы должен провалиться сквозь землю при виде, как она страдает, бедняжка. Я никогда не видала, чтобы она столько плакала. Ах, донья Пепа, дети — это тяжкий крест, уж

поверьте. И как нам хорошо было в нашей каюте, вся из полированного дерева, и какой забавный этот сеньор Порриньо; надо же было этим бешеным ввязываться в такое дело.

— Помолчите, мама,— попросил Пушок, откусывая заусенец.

— Твоя мама права,— робко заметила Нелли.— Неужто ты не видишь, как они тебя обманули, эти твои друзья; прав был инспектор. Наговорили тебе всякого вздора, а ты, конечно...

Пушок подскочил, словно в него воткнули булавку.

— Ты взаправду хочешь, чтобы я повел тебя к алтарю или нет? — завопил он.— Сколько раз я должен объяснять тебе, что там произошло, размазня ты этакая!

Нелли расплакалась, но никто не обратил на нее внимания: рокотали моторы, все пассажиры слишком устали. Расстроенный и мучимый раскаянием, Пушок пристально рассматривал Буэнос-Айрес. Он был уже близко, самолет заходил на посадку; виднелись трубы электрической компании, порт; все мелькало и проносилось мимо, качаясь в туманном дыму и мареве полуденного зноя. «Ох, и пиццу закажем мы с Умберто и Русито,— подумал он.— Вот чего действительно не было на пароходе, это уж точно».

— Пожалуйста, сеньора,— сказал безупречно вежливый полицейский офицер.

Сеньора Трехо с любезной улыбкой взяла ручку и подписалась на листе, где уже стояло десять-одиннадцать подписей.

— Вы, сеньор,— сказал офицер.

— Я это не подпишу,— ответил Лопес.

— Я тоже,— сказал Рауль.

— Очень хорошо, сеньоры. А вы, сеньора?

— Нет, я не подпишу,— сказала Клаудиа.

— Я тоже,— сказала Паула, посылая офицеру одну из самых своих очаровательных улыбок.

Офицер обернулся к инспектору и что-то сказал. Инспектор показал ему список, в котором значились имя, профессия и адрес каждого пассажира. Офицер достал красный карандаш и подчеркнул несколько фамилий.

— Сеньоры, вы можете покинуть порт, как только пожелаете,— сказал он, щелкнув каблуками.— Такси и багаж дождутся вас во дворе.

Клаудиа и Персио вышли, ведя за руки Хорхе. Влажная густая жара, поднимавшаяся с реки, и запахи порта ударили Клаудии в лицо, и она невольно подняла руку. Да, улица Хуана

Баутисты Альберди, к семисотым померам. Стоя у такси, она попрощалась с Паулой и Лопесом, махнула рукой Раулю. Да, телефон есть в справочнике: на Левбаума.

Лопес обещал Хорхе обязательно навестить его и подарить калейдоскоп, о котором Хорхе мечтал. Такси уехало, увозя с собой и Персио, словно погруженного в сон.

— Ну, вот видите, нас отпустили,— сказал Рауль.— Последят за нами некоторое время, а потом... Они прекрасно знают, что делают. Разумеется, рассчитывают на нас. Я, например, первый спрошу себя, что я должен делать и когда. И столько раз буду задавать себе этот вопрос, что в конце концов... Ну как, поедем в одном такси, несравненная парочка?

— Конечно,— сказала Паула.— Вели положить сюда твой багаж.

Подбежал Атилио с мокрым от пота лицом. До боли, с силой стиснул руку Паулы, звонко хлопнул по плечу Лопеса, сжал пятерню Рауля. Кирпичного цвета пиджак снова возвращал его к тому, что его ожидало.

— Нам надо будет встретиться,— сказал Пушок восторженно.— Дайте мне карандашик, я черкну вам свой адрес. Придете как-нибудь в воскресенье, угощу вас таким жарким! Старик будет безумно рад с вами познакомиться.

— Ну, разумеется,— сказал Рауль, уверенный, что они никогда больше не увидятся.

Пушок смотрел на него, сияющий и взволнованный. Он снова хлопнул Лопеса по плечу и записал все телефоны и адреса. Нелли громко позвала его, и он ушел, печальный, быть может поняв или почувствовав то, чего до сих пор не понимал.

Из такси они видели, как разъезжалась партия миротворцев, как шофер посадил дону Гало в большую синюю машину. Несколько зевак наблюдали эту сцену, но больше было полицейских, чем прохожих.

Стиснутая с двух сторон Лопесом и Раулем, Паула спросила, куда они поедут. Лопес выжидательно промолчал, Рауль тоже не торопился отвечать, с веселой насмешкой глядя на них.

— Для начала мы могли бы пропустить по рюмочке,— сказал наконец Лопес.

— Отличная идея,— поддержала Паула, которую мучила жажда.

Шофер, молодой, улыбчивый парень, обернулся, ожидая распоряжений.

— Ну что ж,— сказал Лопес.— Поехали в «Лондон», угол Перу и Авениды.

ОТ АВТОРА

Этот роман был начат в надежде воздвигнуть своего рода ширму, которая отделила бы меня от чрезмерной любезности пассажиров третьего класса на «Клоде Бернаре» (туда) и «Конт Гранд» (обратно). Вполне возможно, что читатель возьмет его в руки с тем же намерением: ведь книга по-прежнему остается единственным убежищем в нашем доме, где мы можем чувствовать себя спокойно, и мне представляется вполне уместным подчеркнуть столь родственную близость в искусстве уединиться.

Мне также хотелось бы сказать читателю, возможно, в свое оправдание, что, создавая роман, я не руководствовался аллегорическими ни тем более этическими мотивами. И если к концу романа какой-нибудь персонаж начинает смутно различать самого себя, а другой подозревать, что прочно установленный порядок принуждает его к существованию, то это всего лишь игра житейской диалектики, которую каждый может наблюдать вокруг себя или в зеркале ванной, отнюдь не придавая ей трансцендентного значения.

Монологи Персио смутили некоторых моих друзей, привыкших к незамысловатым развлечениям. На их недоумение я могу лишь ответить, что монологи эти были мне навязаны на протяжении всего романа, и именно в том порядке, в котором они появляются, как некое предвидение того, что замыслилось или должно было случиться на борту «Малькольма». Язык Персио наводит на мысль о ином измерении или, выражаясь менее скорманно, поражает иные цели. Игрок в «жабу» иногда после четырех удачных попаданий битой дает промах, но это не причина для того, чтобы... Вот именно, не причина. И возможно, как раз поэтому пятая бита завершает партию в какой-то другой, неведомой игре, и Персио вправе пробормотать стихи некоего испанского анонима: «Никто битой не попал. Только я один попал».

И наконец, я подозреваю, что эта книга вызовет недовольство тех читателей, которые привыкли поддерживать своих любимых романистов, понимая под поддержкой желание и едва ли не приказ, чтобы романисты эти следовали давно проторенной дорогой и не смели ступить ни шагу в сторону. Первым таким недовольным оказался я сам, потому что начал писать, отталкиваясь от основного действия, которое диктовало мне совсем иное; затем, к моему великому удивлению и радости, все вдруг сменилось и мне пришлось следовать за повествованием, став первым свидетелем событий, которые совершенно неожиданно для меня произошли на борту парохода компании «Маджента стар». Кто мог бы, например, сказать, что Пушок, вначале не слишком меня привлекавший, так возвысится к концу романа? Уже не говоря о том, что произошло с Лусио, ведь сначала я хотел, чтобы Лусио... Ах, оставим их всех в покое, подобное уже случилось с Сервантесом и продолжает случаться со всеми, кто пишет без определенного плана, оставляя двери раскрытыми настежь для свежего воздуха и даже для чистого света космических пространств, как не преминул бы заметить доктор Рестелли.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МЕНАДЫ

Где-то раздобыв программу, напечатанную на кремовой бумаге, дон Перес проводил меня до моего места. Девятый ряд, чуть вправо, ну что же, прекрасное акустическое равновесие! Я, слава богу, знаю театр Корона — капризов у него больше, чем у истеричной женщины. Сколько раз я предупреждал друзей: не берите билеты в тринадцатый ряд, там что-то вроде воздушного колодца, и туда не попадает музыка. А если сесть с левой стороны в бельэтаже, то будет точь-в-точь как во флорентийском «Театро коммунале»: некоторые инструменты как бы отдалятся от оркестра и поплывут в воздухе; вот флейта, к примеру, может зазвучать в трех метрах от вас, а весь оркестр, как ему и положено, останется на сцене. Это забавно, но приятного мало.

Я заглянул в программу — чем нас сегодня угощают? «Сон в летнюю ночь», «Дон-Жуан», «Море» и Пятая симфония. Ну как тут не улыбнуться? Ах, Маэстро, старая лиса, опять в вашей концертной программе беззастенчивый эстетический произвол, но... он прикрывает отличное психологическое чутье, которым, как правило, столь щедро наделены режиссеры мюзикхоллов, концертные знаменитости и устроители вольной борьбы. Только со скуки можно притащиться на концерт, где после Штрауса дают Дебюсси и тут же, следом,— Бетховена, что уж

не лезет ни в какие ворота. Но Маэстро знал свою публику. Репертуар был рассчитан на завсегдатаев театра Корона, а они люди без вывертов и предпочитают плохое хорошему, лишь бы это было привычно и знакомо. Ничего неудобоваримого и нарушающего их спокойствие. С Мендельсоном им будет легко и просто, потом «Дон-Жуан», такой щедрый, округлый, все мелодии — в памяти, можно напеть любую. Дебюсси — другое дело, с Дебюсси они почувствуют себя людьми искусства: не каждому дано понимать его музыку. А потом главное блюдо — Бетховен, внушительный звуковой массаж, так судьба стучится в дверь, ах, этот глухой гений, победа и ее символ — буква V. А дальше — дальше бегом домой, завтра на работе дел невпроворот.

В сущности, я питал самые нежные чувства к Маэстро за то, что он принес хорошую музыку в наш незнакомый с искусством город, где каких-нибудь десять лет назад не шли дальше «Травиаты» и увертюры к «Гуарани»¹. Маэстро попал к нам по контракту, заключенному с одним бойким импресарио, и вот создал оркестр, который по праву может считаться первоклассным. Потихоньку в его репертуаре появились Брамс, Малер, импрессионисты, за ними и Штраус и Мусоргский... На первых порах владельцы лож недовольно ворчали, и Маэстро подобрал паруса, разбавив концертные программы отрывками из опер. Со временем даже Бетховен, которого он поначалу преподносил осмотрительно, стал награждаться долгими и упорными аплодисментами, ну а кончилось тем, что Маэстро рукоплескали за все подряд, а то и просто за выход на сцену, вот как сейчас, когда его появление вызвало невиданный взрыв восторга. Вообще-то в начале концертного сезона слушатели щедрь на аплодисменты и ладоней не жалеют, хлопают с особым вкусом, но что ни говори — все до единого обожали Маэстро, который, как всегда, без особой старательности, даже суховато поклонился публике, быстро отвернулся к оркестрантам и сразу стал чем-то похож на главаря пиратов. Слева от меня сидела сеньора Джонатан, я с ней едва был знаком, но слышал, что она меломанка. Зардевшись, сеньора простонала:

— Вот! Вот человек, который достиг того, о чем другие могут лишь мечтать! Он создал не только оркестр, но и нас, публику! Разве это не восхитительно?

— Да, — согласился я, будучи покладистым по натуре.

¹ «Гуарани» — опера-балет бразильского композитора Карлоса Антонио Гомеса (1836—1896).

— Порой мне кажется, что он должен дирижировать лицом к публике, ведь мы в известном смысле тоже его музыканты.

— Меня, пожалуйста, увольте! — сказал я. — Как это ни печально, но в моей голове весьма смутные представления о музыке. Эта программа, например, мне кажется просто ужасной. Впрочем, я наверняка заблуждаюсь...

Сеньора Джонатан глянула на меня осуждающе и тут же отвернулась, но ее природная любезность взяла верх, и мне пришлось выслушать пространные объяснения.

— В эту программу включены настоящие шедевры, и она, между прочим, составлена по письмам его почитателей. Разве вы не знаете, что сегодня у Маэстро серебряная годовщина его свадьбы с музыкой. А то, что оркестру исполняется пять лет? Взгляните в программу, там на обороте очень тонкая статья профессора Паласина.

Я прочитал статью профессора Паласина в антракте, после Мендельсона и Штрауса, вызвавших бурные овации в честь Маэстро. Прогуливаясь по фойе, я несколько раз задался вопросом: заслуживает ли исполнение обеих вещей такого прилива восторженных чувств и почему сегодня так неистовствует публика, которая вообще, по моим наблюдениям, не отличается особым великодушием? Но каждый юбилей — это ворота, распахнутые для человеческой глупости, и сегодня приверженцы Маэстро совсем потеряли над собой власть. В баре я столкнулся с доктором Эпифания и его семейством — пришлось убить на них несколько минут. Дочери Эпифания — раскрасневшиеся, возбужденные — окружили меня и наперебой закудахтали (они вообще походили на пернатых разной породы). Мендельсон был просто божественный, не музыка, а бархат, тончайший шелк, и в каждой ноте — неземной романтизм. Ноктюрн? Ноктюри можно слушать до конца жизни, а скерцо — оно сыграно руками феи. Бебе больше понравился Штраус — в нем настоящая сила, это истинно немецкий Дон-Жуан, а от тромбонов и валторн у нее бегали мурашки по телу — я почему-то воспринял эти слова в их буквальном смысле. Доктор, снисходительно улыбаясь, смотрел на дочерей.

— Ах, молодежь, молодежь! Сразу видно, что вы не слышали Рислера¹ и не знаете, как дирижировал фон Бюлов²... То было время!

¹ Рислер, Эдуард (1873—1929) — французский пианист.

² Фон Бюлов, Ганс (1830—1894) — немецкий пианист, дирижер и композитор.

Девушки рассердились. Росарио сказала, что нынешние оркестры куда лучше, чем пятьдесят лет тому назад, а Беба решительно пресекла попытку отца усомниться в исключительных качествах Маэстро.

— Разумеется, разумеется,— согласился доктор Эпифания.— Я и сам считаю, что сегодня он гениален. Сколько огня, какой подъем! Мне давно не случалось так хлопотать... Вот полюбуйтеся!

Доктор Эпифания с гордостью протянул мне ладони, глядя на которые подумаешь, что он давил свеклу. Странно, но у меня сложилось иное впечатление — мне даже казалось, что Маэстро не в ударе, что у него, должно быть, побаливала печень, что он, как говорят, не выкладывается, а сдержан и скучноват. Наверно, я был единственным в театре Корона, кто так думал, потому что Кайо Родригес, нагнав меня, чуть не сбил меня с ног.

— «Дон-Жуан» — блеск! А Маэстро — потрясающий дирижер! — заорал он.— Ты помнишь то место в Скерцо Мендельсона, ну, прямо настоящий шепоток гномов, а не оркестр!

— Знаешь,— сказал я,— услышать бы сначала этот шепоток гномов!

— Не валяй дурака,— огрызнулся Кайо, и я видел, что он искренне возмущен.— Неужели ты не в состоянии уловить такое! Наш Маэстро — гений, и сегодня он превзошел самого себя, ясно? По-моему, ты зря притворяешься глухим.

В эту минуту нас настигла Гильгермина Фонтан, которая слово в слово повторила то, что плели дочери Эпифания, а потом они с Кайо проникновенно смотрели друг на друга со слезами на глазах, растроганные созвучностью своих восторгов, стихийным братством, от которого добреют, правда ненадолго, человеческие души. Я глядел на них, ничего не понимая, силясь осмыслить причины этого восхищения. Ну, допустим, я не каждый вечер хожу на концерты и не в пример им порой могу спутать Брамса с Брукнером или наоборот, что в их кругу расценивать как непростительное невежество. И все же эти воспаленные лица, эти потные заливки, готовность ашлюдировать где угодно, в фойе или посреди улицы,— все это наводило меня на мысль об атмосферных влияниях, о влажности воздуха, о солнечных пятнах, словом, о тех вещах, что сказываются, несомненно, на поведении человека. Помнится, я даже подумал, нет ли в зале какого-нибудь остряка, который решил повторить знаменитый опыт доктора Окса, чтобы распалить всю эту публику. Гильгермина прервала мои раздумья, дернув меня за руку (мы были едва знакомы).

— А сейчас — Дебюсси! — прошептала она в сильнейшем возбуждении. — Кружевная игра воды, «La mer»¹.

— Счастлив буду это услышать, — сказал я.

— Представляете себе, как прозвучит «Море» у нашего Маэстро!

— Безупречно, — обронил я, глядя на нее в упор, чтобы проследить, как она отнесется к моему замечанию.

Обманувшись во мне, Гильермина тут же повернулась к Кайо, который глотал содовую, словно одуревший от жажды верблюд, и оба молитвенно погрузились в предварительные расчеты того, что даст вторая часть «Моря» и какой неслыханной силы достигнет Маэстро в третьей части. Я решил прогуляться по коридорам, а потом вышел в фойе. Меня трогал и вместе с тем раздражал этот исступленный восторг всей публики после первого отделения. Громкое жужжанье разворошенного улья било по моим нервам — я сам вдруг разволновался и даже удвоил свою обычную порцию содовой воды. В известной мере мне было досадно, что я не участвую в этом действе, а, скорее, на манер ученого-энтомолога наблюдаю за всем со стороны. Но что поделаешь! Такое происходит со мной везде и всюду и, если уж на то пошло, даже помогает не связываться всерьез ни с чем в жизни.

Когда я вернулся в партер, все уже сидели на своих местах, и мне пришлось поднять весь ряд, чтобы добраться до моего кресла. Что-то было смешное в том, что нетерпеливая публика расселась по своим местам, не дожидаясь оркестрантов, которые озабоченно, словно нехотя, выходили на сцену. Я взглянул на галерку и на балконы — сплошная черная масса, будто мухи в банке из-под сладкого. В партере то тут, то там вспыхивали и гасли огоньки — это меломаны, что принесли с собой партитуры, проверяли свои фонарики. Когда огромная центральная люстра стала медленно тускнеть, в наступающую темноту, навстречу вышедшему на сцену Маэстро покатались аплодисменты. Я подумал, что эти нарастающие звуки как бы теснили свет и заставили вступить в строй одно из моих пяти чувств, в то время как другое получило возможность передохнуть. Слева от меня яростно била в ладони сеньора Джонатан, и не одна она — весь ряд целиком. Но впереди, наискосок, я заметил человека, который сидел совсем неподвижно, едва склонив голову. Слепой? Конечно, слепой, я даже мысленно увидел блики на его

¹ «Море» (франц.).

белой полированной трости и еще эти бесполезные очки. Лишь мы вдвоем во всем зале не аплодировали, и, разумеется, у меня возник острый интерес к слепому человеку. Мне неудержимо захотелось подсесть к нему, заговорить, завязать разговор. Ведь как-никак это единственный человек, дерзнувший не аплодировать Маэстро. Впереди иступленно отбивали свои ладоши дочери Эпифания, да и он сам не отставал от них. Маэстро небрежно кивнул публике, поднял глаза кверху, откуда, как на огромных роликах, скатывался грохот, врезаюсь в аплодисменты партера и лож. Мне показалось, что у Маэстро не то испытующее, не то озабоченное выражение лица,— его опытный слух, должно быть, уловил, что сегодня на его юбилейном концерте публика ведет себя как-то совсем по-другому. «Море» тоже вызвало овацию, и не менее восторженную, чем Рихард Штраус, что вполне понятно. Я и сам не устоял перед звуковыми раскатами и всплесками финала и хлопал до боли в ладонях. Сеньора Джонатан плакала.

— Непостижимо! — прошептала она, повернув ко мне совершенно мокрое лицо, словно в крупных каплях дождя.— Ну просто непостижимо!

Маэстро то исчезал, то появлялся, как всегда, был элегантен и взлетел на дирижерскую подставку с легкостью, напоминающей распорядителей аукционов. Он поднял своих музыкантов, и в ответ с удвоенной силой грянули новые аплодисменты и новые «браво!». Слепой, что сидел справа от меня, тоже аплодировал, но очень скупо, щадя ладони,— мне доставляло истинное удовольствие наблюдать, с какой сдержанностью он, весь подобранный, даже отсутствующий (голова опущена вниз), поддерживает этот взрыв энтузиазма. Бесконечные «браво!» — обычно они звучат обособленно, выражая чье-то личное мнение,— неслись отовсюду. Поначалу аплодисменты не были такими бурными, как в первом отделении концерта, но теперь музыка как бы отошла в сторону, теперь рукоплескали не «Дон-Жуану» и не «Морю», а самому Маэстро и еще, пожалуй, той солидарности чувств, которая объединила всех ценителей музыки. И овация, черпавшая силы сама в себе, нарастала и минутами делалась мучительно невыносимой. Я с раздражением смотрел по сторонам и вдруг слева от себя заметил женщину в красном — она побежала по проходу и остановилась возле сцены у самых ног Маэстро. Когда Маэстро снова склонился перед публикой, он отпрянул, увидев прямо перед собой сеньору в красном, и тут же выпрямился. Но сверху, с галерки, несся такой угрожающий гул, что ему пришлось снова кланяться и

приветствовать публику — он это делал очень редко — вскинутой вверх рукой, что незамедлительно вызвало новый взрыв восторга, и к неистовым аплодисментам присоединился топот ног в ложах и бельэтаже. Ну, это уж слишком.

Хотя и не было перерыва, Маэстро удалился на несколько минут, и я даже привстал с кресла, чтобы получше разглядеть зал. Влажная, вязкая духота и возбуждение превратили большинство людей в какое-то подобие жалких, мокрых креветок. Сотни смятых платочков колыхались, словно волны нового моря, возникшего как бы в насмешку вслед за только что смолкшим «La mer». Многие чуть ли не опрометью бросились в фойе, чтобы наспех осушить стакан лимонада или пива, и, боясь упустить что-либо важное, значительное, бегом летели в зал, натываясь на встречных. У главного входа в партер образовалась беспорядочная толча. Но не было и намека на какое-либо недовольство, люди исполнились бесконечной добротой друг к другу, вернее, настало какое-то всеобщее умиление, в котором они друг друга понимали и чувствовали. Сеньора Джонатан, с трудом уместившаяся в узком кресле, подняла на меня глаза — я все еще стоял, — и лицо ее до удивления напоминало спелую репу. «Непостижимо! — простонала она. — Просто непостижимо!»

Я почти возликовал, увидев выходящего на сцену Маэстро; эта толпа, к которой я — увы! — принадлежал, внушала мне жалость и отвращение. Из всех в зале, пожалуй, один Маэстро и его музыканты сохраняли человеческое достоинство. Да еще этот слепой, там справа, что не аплодировал, а сидел прямой как струна — сама сдержанность, само внимание.

— Пятая! — влажно выдохнула мне в ухо сеньора Джонатан. — Экстаз трагедии!

Я сразу подумал, что это неплохо для названия фильма, и прикрыл глаза. Наверно, мне хотелось уподобиться слепому, единственному человеческому существу среди этого студенистого месива, в котором я так безнадежно увяз. И когда я увидел маленькие зеленые огоньки, скользнувшие передо мной, словно ласточки, первая фраза бетховенской симфонии обрушилась на меня ковшом землечерпалки и заставила смотреть на сцену. Маэстро был почти прекрасен — тонкое, пронизательное лицо и руки, к ним прикован оркестр, гудевший всеми своими моторами в великой тишине, которая мгновенно затошила грохот безудержных аплодисментов. Но, честно говоря, мне показалось, что Маэстро пустил в ход свою машину чуть раньше, чем настала эта тишина. Первая тема прошла где-то над нашими головами, и с ней ее символы, огни воспоминаний, ее при-

вычное, совсем простое: та-та-та-та. Вторая, очерченная дирижерской палочкой, разлилась по залу, и мне почудилось, что воздух занялся пламенем. Но пламя это было холодным, невидимым, оно жгло изнутри. Наверно, никто, кроме меня, не обратил внимания на первый крик, слишком короткий, придушенный. Я слышал его в аккорде деревянных и медных духовых, потому что девушка, забившаяся в судорогах, сидела прямо передо мной. Крик был сухой, недолгий, словно в истерическом припадке или любовном экстазе. Девушка запрокинула голову, касаясь затылком резного единорога, которым увенчаны кресла в партере, и с такой силой колотила ногами по полу, что ее едва удерживали сидевшие рядом. Сверху, с первого яруса, донесся еще один крик и более яростный топот ног. Едва закончилась вторая часть, как Маэстро сразу, без паузы, перешел к третьей. Меня вдруг взяло любопытство, может ли дирижер слышать эти крики или он целиком в плену звуковой стихии оркестра. А девушка из переднего ряда клонилась все ниже и ниже, и какая-то женщина (скорее всего — мать) обнимала ее за плечи. Я хотел было помочь им, но попробуй сделать что-нибудь во время концерта, если они сидят в другом ряду и кругом незнакомые люди. У меня даже мелькнула мысль призвать в помощники сеньору Джонатан, ведь женщины более находчивы и знают, что нужно делать в подобных случаях. Но сеньора Джонатан не отрывала глаз от спины Маэстро — она вся ушла в музыку. Мне показалось, что у нее на подбородке, прямо под нижней губой, что-то блестит. Внезапно впереди нас встал во весь рост какой-то сеньор в смокинге, и его могучая спина целиком заслонила Маэстро. Так странно, что кто-то встал посреди концерта. Но разве не странно, что публика вообще не замечает этих криков, не видит, что у девушки настоящий истерический припадок? Мои глаза неожиданно выхватили расплывчатое красное пятно в центре партера. Ну конечно, это та самая женщина, что в антракте бежала к сцене! Она медленно шла к сцене, и, хоть держалась совсем прямо, я бы сказал — не шла, а подкрадывалась, ее выдавала походка: шаги медленные, как у замороженного человека, — вот-вот изготовится и прыгнет. Она неотрывно смотрела на Маэстро, мне даже почудился шалый блеск ее глаз. Какой-то мужчина, выбравшись из своего ряда, устремился вслед за ней — вот они уже где-то в пятом ряду или ближе, а возле них еще трое. Сейчас будет финал, и по велению Маэстро уже врывались в зал его первые мощные и широкие аккорды, великолепно четкие, совершенные скульптурные фор-

мы, высокие колонны, белые и зеленые, Карнак¹ звуков, по нефу которого осторожно продвигались женщина в красном и ее провожатые.

Между двумя взрывами оркестра я снова услышал крик, вернее, вопль из ложи справа. И вместе с ним прямо в музыку сорвались аплодисменты, не сумевшие удержаться еще какую-то малость, как будто в пекле страсти весь зал, эта огромная задыхающаяся самка не дождалась мужского ликованья оркестра и с иступленными криками, не владея собой, отдалась своему наслаждению. Неудобное кресло мешало мне обернуться назад, где — я это чувствовал — что-то нарастало, надвигалось, вторя женщине в красном и ее спутникам, которые подбегали к сцене как раз в ту минуту, когда Маэстро, точь-в-точь как матадор, ловко всаживающий шпагу в загривок быка, вонзил дирижерскую палочку в последнюю стену звука и подался вперед, поникший, словно его ударило тугой волной воздуха. Когда Маэстро выпрямился, весь зал стоял, и я, разумеется, тоже, а пространство стало стеклом, в которое целым лесом острых копий вонзались аплодисменты и крики, превращая его в невыносимо грубую, взбухшую и исполненную тем не менее особым величием массу, которая была сродни чему-то похожему на стадо бегущих буйволов. Отовсюду в партер набивались люди, и меня даже не очень удивили двое мужчин, что спрыгнули в проход прямо из ложи. Взвизгнув, точно придавленная крыса, сеньора Джонатан вырвала наконец свои телеса из кресла и, протянув руки к сцене, уже не кричала, а вопила от восторга. Все это время Маэстро стоял спиной к публике, словно выражая к ней презрение, и, должно быть, одобрительно смотрел на музыкантов. Но вот он неторопливо обернулся, впервые удостоив публику легким наклоном головы. Лицо его было совершенно белое, будто его доконала усталость, и я даже успел подумать (в путанице ощущений, обрывков мыслей, мгновенных вспышках всего того, что окружало меня в этом аду восторга), что он вот-вот потеряет сознание. Маэстро поклонился во второй раз и, посмотрев вправо, увидел, как на сцену карабкается тот самый сеньор, белобрыйый, в смокинге, а за ним еще двое. Мне показалось, что Маэстро сделал какое-то неопределенное движение, словно надумал сойти с помоста, и тут я заметил, что движение это — судорожное, что он хочет освободиться и не может. Ну, так и есть: женщина в красном вцепилась в его ногу. Она вся тянулась к Маэстро и при этом кричала, я по крайней мере ви-

¹ Карнак — *здесь*: крупнейший в Древнем Египте храмовый ансамбль.

дел ее широко открытый рот. Думаю, что она кричала, как все и, не исключено, как я сам. Маэстро уронил палочку и отчаянно дернулся в сторону. Он явно что-то говорил, но что — разобрать было немыслимо. Один из спутников женщины обхватил руками другую ногу Маэстро, и тот повернулся к музыкантам, словно взывая к ним о помощи. Музыканты, повскакавшие с мест, натыкались под слепящим светом софитов на брошенные инструменты. На сцену, теснясь у лестниц, лезли и лезли новые люди; их набралось столько, что в толчее нельзя было различить оркестрантов. Пюпитры полегли на пол, как смятые колосья. Бледный Маэстро, пытаясь высвободить ногу, ухватился за какого-то человека, который вскочил прямо на подставку, но, увидев, что этот человек вовсе не музыкант, он резко отпрянул назад. В этот миг еще одни руки обвилились вокруг его талии. Потом я увидел, как женщина в красном, словно в мольбе, раскрыла ему объятия, и неожиданно Маэстро исчез — толпа обезумевших почитателей унесла его со сцены и потащила куда-то в глубь партера. До сих пор я следил за общим иступлением с каким-то восторгом и ужасом ясповидца. Все мне открывалось с особой высотой, а может, напротив — откуда-то снизу. И вот внезапно раздался этот пронзительный, режущий крик. Кричал слепой — он поднялся во весь рост и, размахивая руками, точно мельничными крыльями, что-то выпрашивал, вымаливал, молил. Это было сверх всякой меры — я уже не мог просто присутствовать в зале, я почувствовал себя полным участником этого буйства восторгов и, сорвавшись с места, понесся к сцене. Одним прыжком я очутился на сцене, где обезумевшие мужчины и женщины с воем вырывали у скрипачей инструменты (скрипки хрустели и лопались, точно огромные рыжие тараканы), потом стали кидать в зал всех музыкантов подряд, и там наваливались на них другие безумцы. Любопытно, что я не испытывал ни малейшего желания хоть как-то способствовать этому разгулу страстей. Мне лишь хотелось быть рядом со всеми, видеть собственными глазами все, что происходит и произойдет на этом невероятном юбилее. У меня еще остались какие-то проблески разума, чтобы подумать, отчего это музыканты не пытаются удрать за кулисы. Но я тут же сообразил, что это невозможно, — слушатели буквально забили оба крыла сцены, образовав кордон, который выплескивался вперед, подминая под себя инструменты, подбрасывая вверх пюпитры, аплодируя, надрывая глотки истошным криком. В зале стоял такой чудовищный грохот, что он уже воспринимался как тишина. Прямо на меня с кларнетом в руках бежал какой-то толстяк, и я чуть

было не схватил его, чуть было не подставил ему ножку, чтобы и он достался разъяренной публике. Но разумеется, я смалодушничал, и желтолицая сеньора с глубоким декольте на груди, по которой прыгали жемчужные россыпи огромного ожерелья, подарила мне взгляд, исполненный ненависти и вызова. Она поволокла визжащего кларнетиста, который прикрывал свой кларнет, к каким-то мужчинам, а те потащили его — уже притихшего — к ломам, где общее возбуждение достигло высшего предела.

Аплодисменты едва пробивались сквозь крики, да и кто мог аплодировать, если все как одержимые ловили музыкантов, чтобы схватить их в свои объятия. Зал ревел все пронзительнее и острее, то тут, то там нарастающий рев вспарывали жуткие вопли, среди которых — как мне казалось — были совсем особые, вызванные физической болью, что, в общем-то, неудивительно — в таком столпотворении, в такой сумятице и беготне можно было переломать руки и ноги. Но я все же смело ринулся в партер с опустевшей сцены, туда, к музыкантам, которых растаскивали в разные стороны — кого к ломам, где шла какая-то неясная возня, кого к узким боковым проходам, которые вели в фойе. Из лож бенуара — вот, оказывается, откуда неслось отчаянное завывание. Должно быть, это музыканты, задыхаясь от нескончаемых объятий, умоляли отпустить их. Те, кто сидел в партере, толпились теперь у входов в ложи, куда устремился и я, продираясь сквозь лес резных кресел. Волнение в зале заметно усилилось, свет начал быстро слабеть, в красноватом накале лампочек лица были едва видны, и фигуры людей напоминали какие-то содрогающиеся бесплотные тени, нагромождение бесформенных объемов, которые то сближались, то отдалялись друг от друга. Мне показалось, что я различил серебряную голову Маэстро во второй ложе, совсем рядом со мной. Но Маэстро сразу исчез, куда-то провалился, словно его заставили стать на колени. Возле меня раздался резкий, короткий крик, и я увидел бегущую сеньору Джонатан, а чуть позади — младшую из дочерей Эпифания. Обе полезли в толпу возле второй ложи. Теперь-то я уже не сомневался, что именно в этой ложе очутились и Маэстро, и женщина в красном со своими спутниками. Докторская дочь подставила сеньоре Джонатан сплетенные пальцы рук, и та, словно лихая наездница, уперлась в них ногой, как в стремя, а потом нырнула в ложу. Узнав меня, дочь Эпифания что-то крикнула, наверно просила помочь и ей, но я отвел глаза в сторону и остановился, не желая оспаривать права этих совсем обезумевших от восхищения людей, готовых

передрались друг с другом. Я видел, как расквасили нос тромбонистом Кайо Родригесу, — вот кто отличился, когда в партер со сцены сбрасывали оркестрантов! Окровавленное лицо Кайо не вызвало моего сочувствия, мне даже не было жаль слепого, который ползал на четвереньках и натыкался на кресла, заблудившись в этом симметричном лесу, лишенном примет. Меня уже ничто не волновало. Разве что хотелось знать, смолкнут ли когда-нибудь эти крики в ложах бельэтажа, которые подхватывались в партере, откуда по-прежнему лезли к ложам обезумевшие люди, отталкивая в стороны всех и вся. Самые отчаянные, видя, что им не пробиться в ложи сквозь толпу, теснящуюся у дверей, прыгали туда так, как это сделала сеньора Джонатан. Я все это видел, я отдавал себе во всем отчет, и у меня все так же не было ни малейшего желания участвовать в этом общем безумии. Пожалуй, собственное равнодушие пробуждало во мне странное чувство вины, будто мое поведение было чем-то самым постыдным, непростительно скандальным в этом всеобщем безобразии. Я уже несколько минут сидел один в пустом ряду партера и где-то за пределами моего безучастия уловил начало спада в по-прежнему безудержном и отчаянном реве толпы. Крики действительно стали стихать, быстро сошли на нет, и все заполнилось неясными шорохами отступления. Когда, как мне показалось, можно было идти, я быстро направился к боковому проходу и беспрепятственно попал в фойе. Одинокие фигуры двигались, словно пьяные. Кто-то вытирал рот платком, кто-то одергивал пиджак или поправлял воротничок. В фойе я заметил женщин, которые рылись в своих сумочках в поисках зеркала. Одна из женщин комкала в руке окровавленный платок — должно быть, поранилась. Потом я увидел обеих дочерей доктора Эпифания. Они бежали хмурые, разозлились, наверное, оттого, что не сумели попасть в ложу. Каждая из них подарила мне такой взгляд, словно я был во всем виноват. Я подождал, пока они, по моим расчетам, оказались на улице, и направился к главной лестнице, которая вела к выходу. И вот тут-то в фойе появилась женщина в красном со своими неизменными спутниками. Мужчины следовали за пей, сбившись в кучку, будто стыдились помятых и изодранных костюмов. А женщина в красном двигалась мне навстречу, гордо смотря вперед. Я увидел, как она раз-другой провела языком по губам. Медленно, словно облизываясь, провела языком по губам, которые растягивались в улыбке.

ЖИЗНЬ ХРОНОПОВ И ФАМОВ

I. ПЕРВОЕ, ПОКА ЕЩЕ НЕ ВЫЯСНЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ХРОНОПОВ, ФАМОВ И НАДЕЕК

(Часть мифологическая)

Нравы фамов

Однажды фам плясал как стояк, так и коровяк напротив магазина, набитого хронопами и надейками. Не в пример хронопам надейки тут же вышли из себя, ибо неусыпно следят за тем, чтобы фамы не плясали стояк и тем более коровяк, а плясали бы надею, известную и надейкам и хронопам.

Фамы нарочно располагаются перед магазинами, вот и на этот раз фам плясал как стояк, так и коровяк, чтобы досадить надейкам. Одна из надеек спустила на пол свою рыбу-флейту (надейки, подобно Морскому Царю, никогда не расстаются с рыбами-флейтами) и выбежала отчитать фаму, выкрикивая на ходу:

— Фам, давай не пляши стояк и тем более коровяк перед этим магазином.

Фам же продолжал плясать и еще стал смеяться.

Надейка кликнула подруг, а хронопы расположились вокруг — поглядеть, что будет.

— Фам, — сказали надейки, — давай не пляши стояк и тем более коровяк перед этим магазином.

Но фам продолжал плясать и смеяться, чтобы побольше насолить надейкам.

Тогда надейки на фаму набросились и его попортили.

Они оставили его на мостовой возле фонарного столба, и фам стонал, весь в крови и печали.

Через некоторое время хронопы, эти зеленые и влажные фитюльки, тайком приблизились к нему. Они обступили фаму и стали его жалеть, хрумкая:

— Хроноп-хроноп-хроноп...

И фам их понимал, и его одиночество было не таким горьким.

Танец фамов

Фамы поют повсюду,
фамы поют и колышутся:
КОРОВЯК, СТОЯК, НАДЕЯ, СТОЯК.

Фамы пляшут в гостиной
при фонариках и занавесках,
пляшут и распевают:
КОРОВЯК, НАДЕЯ, СТОЯК, СТОЯК.

Стражники с площади! Как это вы позволяете фамам свободно разгуливать, петь и плясать,— этим фамам, распевающим коровяк, стояк, пляшущим стояк, надею, стояк,—

да как они смеют!

Если бы, скажем, хронопы (эти зеленые, влажные и щетинистые фитюльки) бродили по улицам, этих бы можно было спроводить приветствием: «Здрасте-мордасти, хронопы, хронопы!»

Но фамы!

Радость хронопа

Встреча хронопа и фамы на распродаже в магазине «Ла Мондиале».

- Здрасте-мордасти, хроноп, хроноп!
- Здравствуйте, фам! Стояк, коровяк, надея.
- Хроноп, хроноп?
- Хроноп, хроноп.
- Нитку?
- Две. Одну синюю.

Фам уважает хронопа. И поэтому никогда не заговорит, если можно обойтись без слов, так как боится за хронопа: чего доброго, бдительные надейки, эти поблескивающие микробы, которые вечно кружат в воздухе, проникнут в доброе сердце хронопа из-за того, что тот лишний раз раскроет рот.

— На улице дождь,— говорит хроноп.— Обложной.

— Не бойтесь,— отвечает фам.— Мы поедем в моем автомобиле. Чтобы не замочить нитки.

И сверлит глазами воздух, но не видит ни одной надейки и делает облегченный вдох. Ему правится наблюдать за волнующей радостью хронопа, как он прижимает к груди обе нитки (одна синяя), с нетерпением ожидая, когда фам пригласит его в свой автомобиль.

Печаль хронопа

На выходе из Луна-парка хроноп замечает, что его часы отстают, что часы отстают, что часы!.. Хроноп огорчен, он смотрит на толпу фамов, текущую вверх по Корьентес в 11.20, а для него, зеленой и влажной фитюльки,—
еще только 11.15.

Хроноп размышляет: «Поздно. Правда, для фамов еще позже, чем для меня,— для фамов на пять минут позже, и домой они возвратятся позже, и в постель лягут позже.

Но в моих часах меньше жизни, меньше дома,
меньше постели,
я несчастный и влажный хроноп!»

И, сидя за чашечкой кофе в «Ричмонде», он кропит сухой хлебец своей натуральной слезой.

II. ЖИЗНЬ ХРОНОВ И ФАМОВ

Путешествия

Во время путешествий, когда фамам приходится започевать в чужом городе, они поступают следующим образом. Один из фамов отправляется в гостиницу, где с превеликой осторожностью наводит справки о ценах, качестве простынь и цвете ковров. Другой спешит в комиссариат полиции и составляет акт о движимом и недвижимом имуществе всех троих, а также опись содержимого чемоданов. Третий фам отправляется напрямик в местную больницу, где заносит в блокнот расписание дежурства врачей разных специальностей.

Покончив с хлопотами, путешественники собираются на главной площади города, обмениваются наблюдениями и заходят в кафе выпить по аперитиву. Но сначала они берутся за

руки и водят хоровод. Этот танец известен под названием «Фамская радость».

Когда путешествовать отправляются хронопы, все отели переполнены, поезда уже ушли, дождь как из ведра, а таксисты сперва не берутся везти, а после заламывают безбожную цену. Но хронопы не унывают, так как твердо убеждены, что подобное происходит со всеми, и, когда наступает пора спать, говорят друг дружке: «Дивный город, ах, что за город!» Всю ночь им снится, будто в городе большой праздник и будто они приглашены. Наутро они просыпаются в прекрасном настроении, и вот таким манером хронопы и путешествуют.

Оседлые надейки довольствуются тем, что позволяют путешествовать по себе вещам и людям, напоминая статуи, на которые во что бы то ни стало надо пойти поглядеть, потому что сами-то они не придут!

Хранение воспоминаний

Чтобы сохранить свои воспоминания, фамы обычно бальзамируют их: уложив воспоминанию волосы и характерные признаки, они пеленают его с ног до головы в черное покрывало и прислоняют к стене в гостиной с этикеткой, на которой значится: «Прогулка в Кильмес» или «Фрэнк Синатра».

У хронопов не так: эти рассеянные мягкие существа позволяют воспоминаниям носиться с веселыми криками по всему дому, и те бегают между ними, а когда одно из них запутается в ногах, его нежно гладят, приговаривая: «Смотри не ушибись» или «Осторожней на лестнице». Поэтому в доме у фамов порядок и тишина, в то время как у хронопов все вверх дном и постоянно хлопают двери. Соседи вечно жалуются на хронопов, а фамы, сочувственно кивая, спешат домой, чтобы посмотреть, все ли этикетки на месте.

Часы

У одного фамы были настенные часы, которые он каждую неделю заводил с ПРЕВЕЛИКОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Проходивший мимо хроноп, увидев это, рассмеялся, отправился домой и соорудил себе часы из артишока, или по-латыни «супага scolymus», как еще можно и должно его называть.

Часы-артишок этого хронопа являются весьма своеобразным артишоком, черенок которого воткнут в отверстие в стене. Бесчисленные лепестки капустообразного цветка отмечают, ко-

торый теперь час, а также и все другие часы, так что хронопу стоит оторвать один лепесток, и он уже знает, который час. Так как он отрывает их слева направо, каждый лепесток показывает точное время, а на следующий день хроноп начинает отрывать лепестки по новому кругу. У самой сердцевины время уже не может измеряться, но хроноп получает громадное удовольствие от фиолетового цветочного зародыша: приправив его маслом, уксусом и солью, он съедает его и вставляет в отверстие новые часы.

Обед

Не без труда один из хронопов изобрел жизнемер. Нечто среднее между термометром и монометром, картотекой и curriculum vitae.

К примеру, хроноп принимает дома фам, надейку и языковеда. Используя свое изобретение, он определяет, что фам является инфразжизнью, надейка — паразжизнью, а языковед — интержизнью. Что касается самого хронопа, то он может быть отнесен к слабому проявлению супержизни, но, скорее, в смысле поэтическом.

Во время обеда хроноп с наслаждением слушает сотрапезников, беседующих, по их мнению, на одну тему, а на самом деле кто в лес, кто по дрова. Интержизнь пользуется такими отвлеченными понятиями, как дух и сознание, что для паразжизни равносильно звуку дождя, слушать который тоже дело тонкое. Разумеется, инфразжизнь то и дело просит передать ей тертый сыр, а супержизнь разделяет цыпленка со скоростью сорок два оборота, по методу Стенли Фитцсиммонса. Покончив со сладким, все прощаются и отправляются по своим делам, а на столе после жизней остаются лишь разрозненные кусочки смерти.

Носовые платки

Фам богат, и у него есть служанка. Этот фам, используя один раз носовой платок, тут же швыряет его в корзину для бумаг. Достает еще один платок — и туда же. В корзину он отправляет все использованные платки.

А кончатся эти — покупает новую коробку.

Служанка платки не выбрасывает, а сохраняет для себя. Но так как поведение фамы ее корбит, в один прекрасный

день, не вытерпев, она спрашивает: для того ли платки, чтобы их выбрасывать?!

— Дура набитая! — говорит фам. — Зачем спросила! Теперь будешь платки стирать, и мои деньги будут целее.

Предпринимательство

Фамы построили завод по производству пожарной кишки и наняли уйму хронопов для ее скатывания и складирования. Как только хронопы очутились на месте описываемых событий, их обаяла радость. Кишка выпускалась красная, синяя, желтая и фиолетовая. Она была прозрачная, так что можно было видеть, как внутри течет вода, разные пузыри, а иногда и какое-нибудь ополоумевшее насекомое. Хронопы испустили восторженный крик и начали плясать стояк и коровяк, вместо того чтобы работать. Фамы рассердились и тут же применили пункты 21, 22 и 23 внутреннего распорядка с целью предотвратить в будущем подобные акты.

Так как фамы весьма рассеяны, хронопы не преминули воспользоваться первым же благоприятным случаем и, навалив целую гору кишки на грузовик, отправились в город. Встречая по дороге девочек, они отрезали по доброму куску синей кишки и тут же его дарили, чтобы девочка могла в ней скакать. Вскоре на каждом углу можно было любоваться на расчудесные прозрачно-синие шары: в каждом было по девочке, которая вертелась в нем как белка в колесе. Родители пытались кишку отнять и приспособить ее для поливки сада, но хитрюги хронопы заблаговременно кишку прокололи, так что вода вытекала струйками и кишка для поливки не годилась. В результате родители только устали, и каждая девочка смогла вернуться на свой угол и там прыгать сколько душе угодно.

Желтой кишкой хронопы украсили разные монументы, а зеленую пустили на ловушки, по африканскому образцу растянув ее в розариумах, чтобы любоваться, как из надеек получается куча мала. Вокруг упавших надеек хронопы плясали как стояк, так и коровяк, а надейки старались их усосветить, приговаривая:

— Хронические хрычи хронопы! Хряки!

Хронопы, вовсе не желавшие зла надейкам, помогли им подняться и каждой дарили по куску красной кишки. И надейки спешили домой, чтобы поскорее осуществить самую розовую свою мечту: поливать сады зеленые из красной кишки.

Фамы завод прикрыли. Они устроили банкет со множеством

надгробных речей и официантов, обносивших всех рыбой в обстановке горестных вздохов. Фамы не пригласили ни одного хронопа, а только надеек, и то лишь тех, которые не попали в ловушку, так как уловленные надейки не могли нарадоваться на свою кишку, и фамы на них разобиделись.

Благотворительность

Фамы способны на поступки, свидетельствующие об их крайнем добросердечии: так, например, стоит фаму встретить несчастную надейку, которая только что грохнулась с кокосовой пальмы, как он грузит ее в автомобиль и везет к себе домой, где начштает ее кормить и всячески развлекать, пока надейка не поправится и не решится еще раз вскарабкаться на кокосовую пальму. После такого поступка фам чувствует себя очень хорошо, он и в самом деле очень хороший, только ему не приходит в голову, что через несколько дней надейка снова свалится с пальмы. И в то время как надейка вторично свалилась, фам в своем клубе в прекрасном расположении духа думает о своем участливом отношении к несчастной надейке, когда он нашел ее под пальмой.

Хронопы, в общем-то, не добросердечны. Они спокойно проходят мимо самых душераздирающих сцен, например мимо бедной надейки, которая не может зашпуровать туфлю и стопет, сидя на краю тротуара. Хронопы и не посмотрят в ее сторону, с интересом провожая взглядом какую-нибудь пушинку. С подобными субъектами невозможно осуществлять благотворительные мероприятия, именно поэтому руководство благотворительных обществ — сплошь фамы, а библиотекаршей там работает надейка. Со своих постов фамы ощутимо помогают хронопам, которым на это наплевать.

Пение хронопов

Когда хронопы поют свои любимые песни, они приходят в такое возбуждение, что частенько попадают под грузовики и велосипеды, вываливаются из окна и теряют не только то, что у них в карманах, но и счет дням.

Когда хроноп поет, надейки и фамы сбегаются послушать, хотя и не понимают, что здесь особенного, и даже несколько задеты. Окруженный толпой, хроноп воздевает ручки, словно поддерживает солнце, словно небо — блюдо, а солнце — голова Крестителя, так что песня хронопа как бы обнаженная Саломея, танцующая для фамов и надеек, которые застыли с рас-

крытыми ртами, спрашивая друг у друга — доколе?! Но так как в глубине души они славные (фамы просто хорошие, а надейки — безобидные дурочки), то в конце концов они хронопу аплодируют, а тот, придя в себя, удивленно озирается по сторонам и тоже начинает аплодировать, бедняжка.

Случай

Маленький хроноп искал ключ от двери на тумбочке, тумбочку — в спальне, спальню — в доме, дом — на улице. Тут-то хроноп и зашел в тупик: какая улица, если нет ключа от двери на улицу!

Малая доза

Один фам сделал открытие, что добродетель — круглый микроб, к тому же с бесчисленными ножками. Тут же он дал большую ложку добродетели своей теще. Результат превзошел все ожидания: сеньора прекратила делать язвительные замечания, основала клуб защиты заблудших альпинистов и по прошествии каких-нибудь двух месяцев повела себя столь образцово, что недостатки ее дочери, до этого незаметные, выплыли наружу, произведя на фаму ошеломляющее действие, и ему не оставалось ничего другого, как дать ложку добродетели жене, которая покинула его в ту же ночь, найдя мужа слишком мелким и фамоватым, то есть совершенно непохожим на моральные образцы, проплывавшие во всем блеске в ее воображении.

Фам долго пребывал в меланхолии и в конце концов осушил целый пузырек добродетели. Но продолжает чувствовать себя столь же одиноко и печально. Когда он сталкивается на улице с тещей или женой, они издали вежливо здороваются, но не решаются даже заговорить друг с другом — настолько велико их совершенство и страх заразиться.

Фото вышло нечетким

Хроноп решает открыть входную дверь и, сунув руку в карман, вместо ключа извлекает коробок спичек. Хроноп крайне обеспокоен: если вместо ключа он находит спички, то не произошло ли самое ужасное — не стало ли в мире все шиворот-навыворот, и кто знает: если спички находятся там, где ключ, может случиться, что его кошелек набит спичками, а са-

харница — деньгами, а пианино — сахаром, а телефонная книга — потоми, а платяной шкаф — абонентами, а кровать — костюмами, а вазоны — простынями, а трамваи — розами, а поля — трамваями! И вот в страшной растерянности хроноп спешит поглядеть на себя в зеркало, но так как зеркало чуть сдвинуто, то увидел он подставку для зонтов, что подтверждает самые худшие его предположения, и он раздражается рыданиями, падает на колени и складывает ручки, не зная, что делать. Соседские фамы прибежали его утешить, а за ними и надейки, но проходит много часов, прежде чем хроноп успокаивается и соглашается выпить чашку чаю, которую долго оглядывает и изучает, перед тем как отпить глоток: чего доброго, чашка чая окажется муравейником или книгой Сэмуэля Смайла!..

Евгеника

Надо отметить, что хронопы уклоняются от деторождения, ибо первое, что делает, появившись на свет, поворожденный хронопчик, он грязно оскорбляет отца, подсознательно видя в нем средоточие всех несчастий, которые однажды станут и его несчастьями.

Именно поэтому хронопы приглашают к своим женам фамов, которые завсегда готовы, будучи существами крайне похотливыми. Помимо всего прочего, фамы полагают, что таким манером они сведут на нет моральное превосходство хронопов, но глубоко ошибаются, так как хронопы воспитывают детей на свой лад и в течение каких-нибудь двух-трех недель лишают их всякого фамоподобия.

Их вера в науки

Одна надейка верила в существование физиономических групп, то есть людей плосконосых, рыбомордых, толстощечих, унылоглазых, бровастолицых, научновзглядых, парикмахероидных и т. д. Решив окончательно их классифицировать, она начала с того, что завела большие списки своих знакомых и разделила их на вышеуказанные группы. Сперва она занялась первой группой, состоявшей из восьми плосконосых, и с удивлением обнаружила, что на самом деле эти парни подразделяются на три подгруппы, а именно: на усато-плосконосых, на боксеро-плосконосых и на министерско-курьеро-плосконосых — соответственно 3, 3 и 2 плосконосых. Не успела она выделить подгруппы (а делала она это в ресторане «Паулиста-де-Сан-Мартин»,

где собрала всех с большим трудом и с не меньшим количеством охлажденного кофе с ромом), как убедилась, что первая подгруппа тоже неоднородна: двое усато-плосконосых принадлежали к типу тапиров, в то время как последнего со всей определенностью можно было отнести к плосконосому японского типа. Отведя его в сторону с помощью доброго бутерброда с анчоусами и рублеными яйцами, она занялась двумя тапиро-усато-плосконосыми и уже начала было вписывать этот вид в свою научную тетрадь, как неожиданно один из тапиро- посмотрел несколько вбок, а второй тапиро- несколько в другой бок, вследствие чего надейка и все присутствующие с удивлением обнаружили: в то время как первый тапиро-, безусловно, являлся брахицефало-плосконосым, второй плосконосый обладал черепом, куда более приспособленным для того, чтобы вешать на него шляпу, нежели оную нахлобучивать. В результате распался и этот вид, а об остальных и говорить нечего, так как остальные перешли от охлажденного кофе с ромом к высокоградусной тростниковой водке, и если в чем-то и походили друг на друга на этом уровне, так это в твердой решимости продолжать пить на счет надейки.

Издержки общественных служб

Судите сами, что получается, когда полагаешься на хронопов. Не успели одного из них назначить Генеральным Директором Радиовещания, как этот хроноп созвал переводчиков с улицы Сан-Мартин и велел им перевести все тексты, объявления и песни на румынский язык, не столь уж и популярный в аргентинских кругах.

В восемь утра фамы начали включать свои приемники, горя желанием послушать последние известия, а также рекламу «Гениоля» и «Масла для жарки, которое самой высшей марки».

И стали все это слушать, но на румынском языке, так что поняли только марку продукта. Крайне удивленные, фамы начали трясти свои приемники, но передачи продолжали идти на румынском, даже танго «Этой ночью я напьюсь», а телефон Генеральной Дирекции Радиовещания обслуживала сеньорита, которая на гневные жалобы отвечала по-румынски, что еще больше усилило неописуемый переполох.

Как только Наиверховное Правительство узнало об этом, оно приказало расстрелять хронопа, который так бессовестно надругался над родными традициями. К несчастью, взвод был сформирован из хронопов-новобранцев: вместо того чтобы стрелять по Генеральному экс-Директору, они пальнули по толпе, собрав-

шейся на Площади Мая, да так прицельно, что сразили шестерых морских офицеров и одного фармацевта. Привели взвод фамов: хроноп был надлежащим образом расстрелян, а на его место назначили известного автора фольклорных песен и очерка о сером веществе. Этот фам вернул родной язык радиотелефонии, но вышло так, что фамы успели потерять к этому делу всякое доверие и почти не включали своих радиоприемников. Многие фамы, по природе своей пессимисты, накупили словарей и пособий по изучению румынского языка, а также жизнеописания короля Кароля и госпожи Лупеску. Румынский язык вопреки бешенству Наиверховного Правительства вошел в моду, и к могиле хронопа тайно стекались делегации, окроплявшие ее слезами и визитными карточками, на которых упоминались известнейшие фамилии Бухареста, города филателистов и покушений.

Будьте как дома

Надейка построила себе дом и повесила у входа доску, на которой значилось:

КТО БЫ НИ ВОШЕЛ В ЭТОТ ДОМ — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Фам построил дом и вызывающе не повесил никаких досок.

Хроноп построил дом и, как водится у хронопов, повесил у портика разные доски, купленные готовыми или специально заказанные. Доски были прилажены так, что читались по порядку. Первая гласила:

КТО БЫ НИ ВОШЕЛ В ЭТОТ ДОМ — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Вторая гласила:

ДОМ-ТО МАЛЕНЬКИЙ, ЗАТО СЕРДЦЕ БОЛЬШОЕ.

Третья гласила:

НЕПРОШЕНАЯ ПЕРСОНА — ПРИЯТНЕЕ ГАЗОНА!

Четвертая гласила:

ХОТЬ В КАРМАНЕ НИ ГРОША, НО ЗАТО ПОЕТ ДУША!

Пятая гласила:

ЭТА ДОСКА АННУЛИРУЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ. ПШЕЛ ВОН, СОБАКА!

Врачебная практика

Один из практикующих хронопов открывает врачебную консультацию на улице Сантьяго-дель-Эстеро. Тут же является больной и начинает жаловаться, сколько у него болячек, как он не может спать ночью и кушать днем.

— Купите большой букет роз, — советует хроноп.

Пациент смотрит на него, как на сумасшедшего, убегает, но, поразмыслив, букет покупает и тут же вылечивается. Он мчится к хронопу и сверх платы за рецепт дарит ему от нежных чувств красивый букет роз. Не успел он уйти, как хроноп падает на пол, у него болит и там, и здесь, он не может спать ночью и кушать днем.

Частное и общественное

Однажды хроноп чистил на балконе зубы. Охваченный неописуемым восторгом при виде восходящего солнца и прекрасных, легко скользящих по небу облаков, он с сатанинской силой сжал тюбик, отчего зубная паста начала выдавливаться длинной розовой лентой. Уложив на щетку чуть ли не целую гору, хроноп, заметив, что в тюбике остается еще какое-то количество пасты, начал его трясти, так что розовые хлопья полетели с балкона на улицу, где группа фамов как раз собралась потолковать о местных новостях. Розовая паста шлепалась на шляпы фамов, в то время как наверху счастливый хроноп, напевая, радостно драил зубы. Фамы возмутились невиданным небрежением хроноба и решили направить делегацию, которая бы незамедлительно вынесла ему порицание. Делегация, составленная из трех фамов, тут же поднялась к хронопу и сделала ему следующее внушение:

— Хроноп, ты испортил наши шляпы, так что готовь деньги.

И вслед за этим, еще многозначительнее:

— Хроноп, не следовало бы так расточать зубную пасту!!!

Изыскания

Три хроноба и фам объединились в спелеологическом смысле с целью обнаружения подземных ключей одного из источников. Добравшись до провала, ведущего в подземелье, хроноп, поддерживаемый коллегами, начинает спуск; на спине у него большой пакет, в котором находятся его излюбленные бутерброды (с сыром). Два хроноба-кабестана постепенно его спускают, а фам заносит в большую тетрадь все экспедиционные подробности. Вскоре от хроноба приходит первая весть, она ужасна — в результате ошибки ему положили бутерброды с ветчиной! Хроноп дергает за веревку и настаивает на подъеме. Хронобы-кабестаны в замешательстве советуются, а фам поднимается во весь свой ужасный рост и говорит «НЕТ!» с такой

яростью, что хронопы, выпустив из рук веревку, спешат его успокоить. Что и делают, когда приходит новое сообщение, связанное с тем, что хроноп плюхнулся в один из ключей, откуда информирует, что дело дрянь: прерывая сообщение руганью и слезами, он кричит, что все бутерброды оказались с ветчиной и, сколько он их ни изучает, среди бутербродов с ветчиной нет ни одного с сыром.

Воспитание принца

У хронопов почти никогда не бывает детей, но, если такое случается, отцы теряют голову и происходят вещи из ряда вон выходящие. К примеру, у хронопа рождается сын — сейчас же на родителя психодит благодать, он убежден, что сын его — громоотвод всего прекрасного и в жилах его течет чуть ли не полный курс химии, то тут, то там перемежаемый островками изящных искусств, поэзии и градостроительства. Естественно, хроноп не может смотреть на свое чадо иначе, как низко склонившись перед ним и произнося слова, исполненные почтительного уважения.

Сын же, как водится, старательно его ненавидит. Когда он достигает школьного возраста, отец записывает его в первый класс, и ребенок рад-радехонек среди себе подобных маленьких хронопов, фамов и надеек. Но по мере того как время близится к полудню, он начинает хныкать, так как знает, что у входа его наверняка ждет отец: завидя свое чадо, он всплеснет руками и начнет нести всякое-разное, вроде того:

— Здрасте-мордасти, хроноп, хроноп, самый лучший, самый росленький, самый румяный, самый дотошный, самый почтительный, самый прилежный из детей!

Вследствие чего стоящие у ограды фамы-юниоры и надейки-юниорки станут прыскать в кулак, а маленький хроноп тяжело возненавидит папашу и непременно между первым причастием и военной службой сотворит ему какую-нибудь пакость. Но хронопы не очень-то сокрушаются, потому что сами ненавидели своих отцов и даже склонны полагать, что ненависть эта — другое имя свободы или бесконечного мира.

Наклеивайте марку в правом верхнем углу

Фам и хроноп — большие друзья. Однажды они вместе пришли на почту, чтобы отправить письма женам, которые стараниями «Кука и сына» путешествуют по Норвегии. Фам на-

клеивает свои марки тщательно, легко постукивая по ним, чтобы они лучше приклеились; хроноп же, испустив ужасающий вопль и переполошив почтовых служащих, с безграничным гневом объявляет, что марки выполнены в отвратительно дурном вкусе и что его никогда не заставят надругаться над супружеской любовью столь жалким способом. Фам смущен, так как свои марки он уже приклеил, но, будучи близким другом хронопа, он берет его сторону и отваживается заявить, что да — вид на марке в 20 септаво довольно-таки вульгарен и затаскан, а на марке в один песо напоминает по цвету осадок со дна винной бочки. Но и это не успокаивает хронопа, он продолжает размахивать письмом и клеймить позором почтовых служащих, оторопело смотрящих на него. Выходит управляющий, и через каких-нибудь двадцать секунд хроноп оказывается на улице с письмом в руке и превеликой задумчивостью во взоре. Фам, успевший потихоньку сунуть свое письмо в почтовый ящик, успокаивает его:

— По счастью, наши жены путешествуют вместе, и я в своем письме написал, что у тебя все в порядке, так что твоя жена все узнает от моей.

Телеграммы

Надейки, живущие одна в Рамос-Мехиа, а другая в Виедеме, обменялись следующими телеграммами:

ЗАБЫЛА ТЫ КАНАРЕЕЧНУЮ СЕПИЮ. ДУРА. ИНЕС.
САМА ДУРА. У МЕНЯ ЗАПАСНАЯ. ЭММА.

Три телеграммы хронопов:

НЕОЖИДАННО ОШИБИВШИСЬ ПОЕЗДОМ ВМЕСТО 7.12
ВЫЕХАЛ 8.24 НАХОЖУСЬ СТРАННОМ МЕСТЕ. ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ ПОЧТОВЫЕ
МАРКИ. МЕСТО КРАЙНЕ МРАЧНОЕ. НЕ ДУМАЮ ЧТО
ПРИМУТ ТЕЛЕГРАММУ. ВОЗМОЖНО ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ГОВОРИЛ НАДО БЫЛО ЗАХВАТИТЬ ГРЕЛКУ. ЧУВСТВУЮ
УПАДОК СИЛ. ЖДИ ОБРАТНЫМ ПОЕЗДОМ. АРТУРО.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ЧЕТЫРЕ ПЕСО ШЕСТЬДЕСЯТ
ИЛИ НИЧЕГО. ЕСЛИ СКОСТЯТ БЕРИ ДВЕ ПАРЫ ОДНУ
ГЛАДКУЮ ДРУГУЮ В ПОЛОСКУ.

НАШЕЛ ТЕТЮ ЭСТЕР СЛЕЗАХ. ЧЕРЕПАХА БОЛЬНА.
ВОЗМОЖНО ЯДОВИТЫЙ КОРЕНЬ ИЛИ ПРОТУХШИЙ
СЫР. ЧЕРЕПАХИ НЕЖНЫЕ. ГЛУПЫЕ НЕМНОГО. НЕ МО-
ГУТ РАЗЛИЧАТЬ. ЖАЛЬ.

Их флора и фауна

Лев и хроноп

Хроноп, бредущий в пустыне, сталкивается нос к носу со львом. Имеет место следующая беседа.

Лев: Я тебя съем.

Хроноп (в большом унынии, но с достоинством): Ну что ж...

Лев: Дудки! Хватит разыгрывать из себя жертву! Со мной это не пройдет. Давай плачь или дерись, одно из двух! На нытиков у меня нет аппетита, пошевеливайся, я жду! Онемел, что ли?!

Хроноп онемел, а лев в затруднении. Внезапно его осеняет.

Лев: Вот что, у меня в левой лапе заноза — очень больно! Вытащи занозу, и я тебя прощу.

Хроноп занозу вытаскивает, и лев удаляется, недовольно ворча:

— Спасибо, Андрокл...

Орел и хроноп

Орел, как молния с неба, падает на хронопа, гуляющего по главной улице Тиногасты, припирает его к гранитной стене и надменно говорит.

Орел: Только скажи, что я не красивый!

Хроноп: Вы самое красивое пернатое, я таких и не видел никогда.

Орел: Валяй еще что-нибудь.

Хроноп: Вы красивее, чем райская птица.

Орел: А попробуй сказать, что я не летаю высоко.

Хроноп: Вы летаете на головокружительной высоте, к тому же вы целиком сверхзвуковой и космический.

Орел: А попробуй скажи, что я плохо пахну.

Хроноп: Вы пахнете лучше, чем целый литр одеколona «Жан-Мари Фарина».

Орел: Вот мерзость! Места не найдешь, куда долбануть!

Цветок и хроноп

Посреди луга хроноп видит одинокий цветок. Сперва он хочет его сорвать, но решает, что это неуместная жестокость, опускается на колени и весело играет с цветком: гладит лепе-

стки, дует на него, так что тот пляшет, потом жужжит, как пчела, нюхает его, а под конец ложится под цветком и засыпает, окруженный безмятежным покоем.

Цветок в замешательстве: «Да он настоящий цветок!..»

Фам и эвкалипт

Фам идет по лесу и, хотя не испытывает нужды в дровах, жадно поглядывает на деревья. Деревья в ужасе, потому что знают привычки фамов и рассчитывают на худшее. Среди них высится красавец эвкалипт. Фам, увидев его, испускает радостный крик, а также пляшет вокруг озадаченного эвкалипта как стояк, так и коровяк, приговаривая:

— Антисептические листья, здоровье зимой, очень гигиенично.

Он достает топор и ничтоже сумняшеся вонзает его эвкалипту в живот. Смертельно раненный эвкалипт стонет, и деревья слышат, как он говорит, перемежая слова вздохами:

— Подумать только, этот безумец мог обойтись таблетками Вальда!

Черепахи и хронопы

Черепахи — большие поклонницы скорости, так оно всегда и бывает.

Надейки знают об этом, но не обращают внимания.

Фамы знают и насмеваются.

Хронопы знают и каждый раз, встречая черепаху, достают коробочку с цветными мелками и рисуют на черепаховом панцире ласточку.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ

In memoriam Ch. P.¹

«Будь верен до смерти»
Апокалипсис. 2, 10
O, make me a mask²

Dylan Thomas

Дэдэ позвонила мне днем по телефону и сказала, что Джонни чувствует себя прескверно; я тотчас отправился в отель.

Джонни и Дэдэ недавно поселились в отеле на улице Лангранж в номере на четвертом этаже. Достаточно взглянуть на дверь комнатухи, чтобы понять: дела Джонни опять из рук вон плохи. Окошко выходит в темный каменный колодец, и средь бела дня тут не обойтись без лампы, если вздумается почитать газету или разглядеть лицо собеседника.

На улице не холодно, но Джонни, закутанный в плед, ежится в глубоком драном кресле, из которого отовсюду торчат лохмы рыжеватой пакли. Дэдэ постарела, и красное платье ей все не к лицу. Такие платья годятся для ее работы, для огней рампы. В этой гостиничной комнатухе оно напоминает большой отвратительный сгусток крови.

— Друг Бруно мне верен, как горечь во рту, — сказал Джонни вместо приветствия, поднял колени и уткнулся в них подбородком. Дэдэ придвинула стул, и я вынул пачку сигарет «Голуаз».

У меня была припасена и фляжка рома в кармане, но я не хотел показывать ее — прежде следовало узнать, что происходит. А этому, кажется, больше всего мешала лампочка — яркий глаз, висевший на нити, засиженной мухами. Взглянув вверх раз-другой и приставив ладонь козырьком ко лбу, я спросил Дэдэ, не лучше ли погасить лампочку и обойтись оконным светом. Джонни слушал, устремив на меня пристальный и в то же время отсутствующий взгляд, как кот, который не мигая смотрит в одну точку, но, кажется, видит иное, что-то совсем-совсем иное. Дэдэ наконец встала и погасила свет. Теперь, в этой черносерой мути, нам легче узнать друг друга. Джонни вытащил свою длинную худую руку из-под пледа, и я ощутил ее едва улови-

¹ Памяти Ч. П. (*лат.*). Имеется в виду американский саксофонист Чарли Паркер.

² «Слепи мою маску» (*англ.*) — строка из стихотворения английского поэта Дилана Томаса (1914—1953).

мое тепло. Дэдэ сказала, что пойдет согреть кофе. Я обрадовался, что у них по крайней мере есть банка растворимого кофе. Если у человека есть банка растворимого кофе, значит, он еще не совсем погиб, еще протянет немного.

— Давненько не виделись,— сказал я Джонни.— Месяц, не меньше.

— Тебе бы только время считать,— проворчал он в ответ,— один, второй, третий, двадцать первый. На все цепляешь номера. И она не лучше. Знаешь, почему она злая? Потому что я потерял саксофон. В общем-то она права.

— Как же тебя угораздило? — спросил я, прекрасно сознавая, что именно об этом-то и не следует спрашивать Джонни.

— В метро,— сказал Джонни.— Для большей верности я его под сиденье положил. Так приятно было ехать и знать, что он у тебя под ногами и никуда не денется.

— Он опомнился уже тут, в отеле, на лестнице,— сказала Дэдэ немного хриплым голосом.— И я полетела как сумасшедшая в метро, в полицию.

По наступившему молчанию я понял, что ее старания не увенчались успехом. Однако Джонни вдруг стал смеяться — своим особым смехом, kloкочущим где-то за зубами, за языком.

— Какой-нибудь бедняга вот будет тужиться, звук выжимать,— забормотал он.— А сакс паршивый был, самый дрянной из всех моих; ведь Док Родригес играл на нем — весь звук сорвал, все нутро ему покорежил. Сам-то инструмент ничего, но Родригес может и Страдивариуса искалечить, одной только настройкой.

— А другого достать нельзя?

— Вот пытаемся,— говорит Дэдэ.— Кажется, у Рори Фрэнда есть. Самое плохое, что контракт Джонни...

— Контракт, контракт,— передразнивает Джонни.— Подумаешь, контракт. Надо играть, а игре конец — ни сакса нет, ни денег на покупку, и ребята не богаче меня.

С ребятами-то дело обстоит не так, и мы трое это знаем. Просто никто уже не отваживается давать Джонни инструмент, потому что он либо теряет его, либо тут же расправляется с ним без стеснения. Он забыл саксофон Луи Родлинга в Бордо, разнес на куски и растоптал ногами саксофон, который купила Дэдэ, когда был заключен контракт на гастроли по Англии. Не сосчитать, сколько инструментов он потерял, заложил или разбил вдребезги. И на всех играл, я думаю, так, как один только бог может играть на альт-саксофоне, если предположить, что на небе лиры и флейты уже не в ходу.

- Когда надо начинать, Джонни?
- Не знаю. Может, сегодня. А, Дэ?
- Нет, послезавтра.

— Все знают и дни и часы, все, кроме меня, — бурчит Джонни, закутываясь в плед по самые уши. — Головой бы поклялся, что играть мне сегодня вечером и скоро идти на репетицию.

— О чем толковать, — говорит Дэдэ. — Все равно у тебя нет саксофона.

— Как о чем толковать? Есть о чем. Послезавтра — это после завтра, а завтра — это после сегодня. И даже «сегодня» еще не скоро кончится, после «сейчас», когда я вот болтаю с моим другом Бруно и думаю: эх, забыть бы о времени да выпить чего-нибудь горяченького.

— Вода уже закипает, подожди немного.

— Я не про кипяток, — говорит Джонни. Тут-то я и вытаскиваю бутылку рома, и в комнате будто вспыхивает свет, потому что Джонни в изумлении разинул рот, и его зубы белой молнией сверкнули в полутьме; даже Дэдэ невольно улыбнулась, заметив его удивление и восторг. Во всяком случае, кофе с ромом — вещь хорошая, и мы почувствовали себя гораздо лучше после второго глотка и выкуренной сигареты. Я уже давно подметил, что Джонни — не вдруг, а постепенно — уходит иногда в себя и произносит странные слова о времени. Сколько я его знаю, он вечно терзается этой проблемой. Я мало видел людей, так мучающихся вопросом, что такое время. У него же это просто мания, причем самая страшная среди множества его дурных маний. Но он так преподносит свою идею, излагает ее так занятно, что немногие способны с ним спорить. Я вспомнил о репетиции перед грамзаписью еще там, в Цинциннати, задолго до переезда в Париж, году в сорок девятом или пятидесятом. В те дни Джонни был в великолепной форме, и я пошел на репетицию специально, чтобы послушать его и заодно Майлза Дэвиса. Всем хотелось играть, все было в настроении, хорошо одеты (об этом я, возможно, вспоминаю по контрасту, видя, каким грязным и обшарпанным ходит теперь Джонни), все играли с наслаждением, без всяких срывов и спешки, и звукооператор за стеклом махал руками от удовольствия, как ликующий бабуин. И в тот самый момент, когда Джонни был словно одержим неистовой радостью, он вдруг перестал играть и, со злостью ткнув кулаком в воздух, сказал: «Это я уже играю завтра», и ребятам пришлось оборвать музыку на полужае, только двое или трое продолжали тихо побрякивать, как поезд, который вот-вот остановится, а Джонни бил себя кулаком по лбу и повторял: «Ведь это я уже

сыграл завтра, Майлз, жутко, Майлз, но это я сыграл уже завтра». И никто не мог разубедить его, и с этой минуты все испортилось: Джонни играл вяло, желая поскорей уйти (чтобы еще больше накуриться дряни, сказал звукооператор, вне себя от ярости), и когда я увидел, как он уходит, пошатываясь, с пепельно-серым лицом, я спросил себя, сколько это еще может продлиться.

— Думаю, надо позвать доктора Бернара, — говорит Дэдэ, искоса поглядывая на Джонни, пьющего маленькими глотками ром. — Тебя знобит, и ты ничего не ешь.

— Доктор Бернар — зануда и болван, — говорит Джонни, облизывая стакан. — Он пропишет мне аспирин, а потом скажет, что ему очень нравится джаз, например Рэй Нобле. Знаешь, Бруно, будь у меня сакс, я встретил бы его такой музыкой, что он мигом слетел бы с четвертого этажа, отщелкав задницей ступеньки.

— Во всяком случае, тебе не помешал бы аспирин, — заметил я, покосившись на Дэдэ. — Если хочешь, я позвоню Бернару по дороге, и Дэдэ не придется спускаться к автомату. Да, но контракт... Если ты начинаешь послезавтра, я думаю, что-нибудь можно еще сделать. Я попробую выпросить саксофон у Рори Фрэнда. На худой конец... Видишь ли, ты должен вести себя разумнее, Джонни.

— Сегодня — нет, — говорит Джонни, глядя на бутылку рома. — Завтра. Когда у меня будет сакс. Поэтому сейчас ни к чему болтать об этом. Бруно, я все больше понимаю, что время... Мне кажется, именно музыка помогает немного разобраться в этом фокусе. Нет, тут не разберешься — честно говоря, я еще ничего не понимаю. Только чувствую — творится что-то странное. Как во сне — знаешь? — когда кажется, что летишь в тартарары, и сердце уже замирает от страха, хотя, в общем-то, боязни настоящей нет, и вдруг опять все переворачивается, как блин на сковородке, и ты уже лежишь рядом с симпатичной девочкой, и все удивительно хорошо.

Дэдэ моет чашки и стаканы в углу комнаты. Я вижу, что у них в каморке нет даже водопровода; смотрю на таз с розовыми цветами и кувшин, напоминающий мумию какой-то птицы. А Джонни продолжает говорить, прикрыв рот пледом, и он тоже похож на мумию: колени под самым подбородком, лицо черное, гладкое, влажное от рома и жара.

— Я о таком кое-что читал, Бруно. Диковинная штука, в общем-то, трудно разобраться... Но все-таки музыка помогает, знаешь? Нет, не понять помогает — честно говоря, я ничего не

понимаю.— Он стучит по голове костлявым кулаком. Звук гулко отдается, как в пустом кокосовом орехе.— Ничего тут нет внутри, Бруно, ровным счетом ничего. Она не думает и не смыслит ничего. Да это мне и не надо, сказать тебе по правде. Я начинаю что-то понимать, когда все уплывает назад, и чем дальше уплывает, тем понятнее становится. Но это еще не значит понимать как надо, ясное дело.

— У тебя повышается температура,— ворчит Дэдэ из гостиной комнаты.

— Да замолчи ты. Верно, верно, Бруно. Я никогда ни о чем не задумываюсь, и вдруг меня осеняет, что я «думал», но ведь это как прошлогодний снег, а? Какого черта вспоминать о прошлогоднем снеге, о том, что кто-то о чем-то «думал»? Какая теперь важность — сам я «думал» или кто другой. Да, не я, не я, да. Я просто выполняю то, что приходит на ум, но всегда потом, позже — вот это меня и мучит. Ох, чертовщина, ох, тяжело. Нет ли там еще глоточка?

Я выжал в стакан последние капли рома — как раз в ту минуту, когда Дэдэ снова зажгла свет; в комнате уже почти ничего не видно. Джонни обливается потом, но продолжает кутаться в плед и иногда вздрагивает так, что потрескивает кресло.

— Я кое в чем разобрался еще мальчишкой, сразу, как научился играть на саксе. Дома у меня всегда творилось черт знает что, только и говорили о долгах да ипотеках. Ты не знаешь, что такое ипотека? Наверно, страшная штука — моя старуха рвала на себе волосы, как только старик заговаривал про ипотеку, и дело кончалось дракой. Было мне лет тринадцать... да ты уже слышал не раз.

Еще бы: и слышать слышал и постарался описать подробно и правдиво в своей книге о Джонни.

— Поэтому дома время текло и текло, понимаешь? Одна ссора за другой, даже пожрать некогда. А потом — одни молитвы. Эх, да тебе и не представить всего. Когда учитель раздобыл мне сакс — ты бы увидел эту штуку, со смеху помер,— мне показалось, что я сразу понял. Музыка вырвала меня из времени... нет, не так говорю. Если хочешь знать, я почувствовал, что музыка, да, музыка, окунула меня в поток времени. Но только надо понять, что это время ничего общего не имеет... ну, с нами, скажем так.

С тех самых пор, как я познакомился с галлюцинациями Джонни и всех, кто вел такую жизнь, как он, я слушаю терпеливо, но не слишком вникаю в его рассуждения. Меня больше интересует, например, у кого он достает наркотики в Париже.

Надо будет порасспросить Дэдэ и, видимо, пресечь ее потворство Джонни. Иначе он долго не продержится. Наркотики и нищета не попутчики. Жаль, что вот так теряется музыка, десятки грампластинок, где Джонни мог бы ее запечатлеть — свой удивительный дар, которым не обладает никто из других джазистов. «Это я играю уже завтра» вдруг раскрыло мне свой глубочайший смысл, потому что Джонни всегда играет «завтра», а все сыгранное им тотчас остается позади, в этом самом «сегодня», из которого он легко вырывается с первыми же звуками своей музыки.

Как музыкальный критик, я достаточно разбираюсь в джазе, чтобы определить границы собственных возможностей, и отдаю себе отчет в том, что мне недоступны те высокие материи, которые пытается постичь бедняга Джонни, извергая невнятные слова, стоны, рыдания, вопли ярости. Он плюет на то, что я считаю его гением, и не думает кичиться тем, что его игра намного превосходит игру его товарищей. Факт прискорбный, но надо признать, что он у начала своего сакса, а мой незавидный удел — быть его концом. Он — это рот, а я — ухо, чтобы не сказать, что он — рот, а я... Всякая критика, увы, это скучный финал того, что начиналось как ликование, как неумное желание кусать и скрежетать зубами от наслаждения. И рот снова раскрывается, большой язык Джонни со смаком облизывает мокрые губы. Руки рисуют в воздухе замысловатую фигуру.

— Бруно, если бы ты смог когда-нибудь про это написать... Не для меня — понимаешь? — мне-то наплевать. Но это было бы прекрасно, я чувствую, что это было бы прекрасно. Я говорил тебе, что, когда еще мальчишкой начал играть, я понял, что время не всегда течет одинаково. Я как-то сказал об этом Джиму, а он мне ответил, что все люди чувствуют то же самое и если кто уходит в себя... Он так и сказал — если кто уходит в себя. Нет, я не уйду в себя, когда играю. Я только перемещаюсь. Вот как в лифте, ты разговариваешь в лифте с людьми и ничего особенного не замечаешь, а из-под ног уходит первый этаж, десятый, двадцать первый, и весь город остается где-то внизу, и ты кончаешь фразу, которую начал при входе, а между первым словом и последним — пятьдесят два этажа. Я почувствовал, когда научился играть, что вхожу в лифт, но только, так сказать, в лифт времени. Не думай, что я забывал об ипотеках или о молитвах. Только в такие минуты ипотеки и молитвы все равно как одежда, которую скинул; я знаю, одежда-то в шкафу, но в эту минуту — говори, не говори — она для меня не существует. Одежда существует, когда я ее надеваю; ипотеки и молитвы на-

чинали существовать, когда я кончал играть и входила старуха, вся взлохмаченная, и скулила, — у нее, мол, голова трещит от этой «черт-ее-дери-музыки».

Дэдэ приносит еще чашечку кофе, но Джонни грустно глядит в свой пустой стакан.

— Время — сложная штука, оно меня всегда сбивает с толку. Все-таки до меня постепенно доходит, что время — это не мешок, который чем попало набивается. Точней сказать, дело не в начинке, дело в количестве, только в количестве, да. Вон видишь мой чемодан, Бруно? В нем два костюма и две пары ботинок. Теперь представь, что ты все это вытряхиваешь, а потом хочешь снова туда засунуть оба костюма и две пары ботинок и вдруг видишь, что помещается всего один костюм и одна пара ботинок. Нет, лучше не так. Лучше, когда чувствуешь, что можешь втиснуть в чемодан целый магазин, сотни, тысячи костюмов, как я втискиваю музыку в то маленькое время, когда играю иной раз. Музыку и все, о чем думаю, когда еду в метро.

— Когда едешь в метро?

— Да-да, вот именно, — говорит, хитро улыбаясь, Джонни. — Метро — великое изобретение, Бруно. Когда едешь в метро, хорошо знаешь, чем можно набить чемодан. Нет, я не мог потерять сакс в метро, н-е-ет...

Он давится смехом, кашляет, и Дэдэ с беспокойством поднимает на него глаза. Но он отмахивается, хохочет, захлебываясь кашлем и дергаясь под пледом, как шимпанзе. У него текут слезы, он слизывает их с губ и смеется, смеется.

— Ладно, речь не о том, — говорит он, немного успокоившись. — Потерял, и конец. А вот метро сослужило мне службу, я раскусил фокус с чемоданом. Видишь ли, это странно, очень, но все вокруг — резиновое, я чувствую, я не могу отделаться от этого чувства. Все вокруг резина, малыш. Вроде бы твердое, а смотришь — резиновое. — Он задумывается, собираясь с мыслями. — Только растягивается не сразу, — добавляет он неожиданно.

Я удивленно и одобрительно киваю. Браво, Джонни. А еще говорит, что не может думать. Вот так Джонни. Теперь я действительно заинтересовался тем, что последует дальше, но он, угадав мое любопытство, смотрит на меня и плутовски посмеивается:

— Значит, думаешь, я смогу достать сакс и играть послезавтра, Бруно?

— Да, но надо вести себя разумнее.

— Ясное дело, разумнее.

— Контракт на целый месяц,— поясняет бедняжка Дэдэ.— Две недели в ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Мы могли бы здорово поправить дела.

— Контракт на целый месяц,— передразнивает Джонни, торжественно воздевая руки.— В ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Бе-бата-боп-боп-боп-дррр... А мне хочется пить, только пить, пить, пить. И охота курить, курить и курить. Больше всего охота курить.

Я протягиваю ему пачку «Голуаз», хотя прекрасно знаю, что он имеет в виду марихуану. Наступил вечер, в переулке снуют прохожие, слышится арабская речь, пение. Дэдэ ушла, наверно, что-нибудь купить на ужин. Я чувствую руку Джонни на своем колене.

— Она хорошая девчонка, веришь? Но с меня хватит. Я ее больше не люблю, просто терпеть не могу. Она меня еще волнует иногда, она умеет любить у-ух как...— Он сложил пальцы щепоточкой, по-итальянски.— Но мне надо отделаться от нее, вернуться в Нью-Йорк. Мне обязательно надо вернуться в Нью-Йорк, Бруно.

— А зачем? Там тебе было куда хуже, чем здесь. Я говорю не о работе, а вообще о твоей жизни. Здесь, мне кажется, у тебя больше друзей.

— Да, ты, и маркиза, и ребята из клуба... Ты никогда не пробовал любить маркизу, Бруно?

— Нет.

— О, это, знаешь... Но я ведь рассказывал тебе о метро, а мы почему-то заговорили о другом. Метро — великое изобретение, Бруно. Однажды я почувствовал себя как-то странно в метро, потом все забылось... Но дня через два или три снова повторилось. И наконец я понял. Это легко объяснить, знаешь, легко потому, что в действительности это не настоящее объяснение. Настоящего объяснения попросту не найти. Надо ехать в метро и ждать, пока случится, хотя мне кажется, что такое случается только со мной. Да, вроде бы так. Значит, ты правда никогда не пробовал любить маркизу? Тебе надо попросить ее встать на золоченый табурет в углу спальни, рядом с очень красивой лампой, и тогда... Ба, эта уже вернулась.

Дэдэ входит со свертком и смотрит на Джонни.

— У тебя повысилась температура. Я звонила доктору, он придет в десять. Говорит, чтобы ты лежал спокойно.

— Ладно, согласен, но сперва я расскажу Бруно о метро... И вот однажды мне стало ясно, что происходит. Я думал о своей старухе, потом о Лэн, о ребятах, и, конечно, тут же мне предста-

вилось, будто я очутился в своем квартале и вижу лица ребят, какими они тогда были. Нет, не то чтобы я думал; ведь я сто раз тебе говорил, что никогда не думаю. Будто просто стою на углу и вижу, как мимо движется то, о чем я вроде бы думаю, но я вовсе не думаю о том, что вижу. Понимаешь? Джим говорит, что все-то мы на один лад, и вообще (так он говорит) мысли нам не подчиняются. Ладно, пусть так, сейчас речь не о том. Я сел в метро на станции «Сен-Мишель» и тут же стал вспоминать о Лэн, ребятах и увидел свой квартал. Как сел, так сразу стал вспоминать о них. Но в то же время понимал, что я в метро и что почти через минуту оказался на станции Одеон, замечал, как люди входят и выходят. И я снова стал вспоминать о Лэн и увидел свою старуху — вот она идет за покупками, — а потом увидел их всех вместе, был с ними — просто чудеса, я давным-давно такого не испытывал. От воспоминаний меня всегда тошнит, но в тот раз мне приятно было вспоминать о ребятах, видеть их. Если я стану рассказывать тебе обо всем, что видел, ты не поверишь — прошла-то, наверно, всего минута, а ведь все до мелочей представилось. Вот тебе только для примера. Видел я Лэн в зеленом платье, которое она надевала, когда шла в Клуб-33, где я играл вместе с Хэмпом. Я видел ее платье, с лентами, с бантом, с какой-то красивой штучкой на боку, и воротник... Не сразу все, а словно я ходил вокруг платья Лэн и не торопясь оглядывал. Потом смотрел в лицо Лэн и на ребят, потом вспомнил о Майке, который жил рядом в комнате, — как Майк мне рассказывал истории о диких конях Колорадо: сам он работал на ранчо и выпендривался, как все ковбои...

— Джонни, — одергивает его Дэдэ откуда-то из угла.

— Нет, ты представь, ведь я рассказал тебе только самую малость того, о чем думал и что видел. Сколько времени я болтал?

— Не знаю, вероятно, минуты две.

— Вероятно, минуты две, — задумчиво повторяет Джонни. — За две минуты успел рассказать тебе самую малость. А если бы я рассказал тебе все, что творили перед моими глазами ребята, и как Хэмп играл «Берегись, дорогая мама», и я слышал каждую ноту, понимаешь, каждую ноту, а Хэмп не из тех, кто скоро сдает, и если бы я тебе рассказал, что слышал тоже, как моя старуха читала длинную молитву, в которой почему-то поминала кочаны капусты и, кажется, просила сжалиться над моим стариком и надо мною и все поминала какие-то кочаны... Так вот, если бы я подробно обо всем этом рассказал, прошло бы куда больше двух минут, а, Бруно?

— Если ты действительно слышал и видел их всех, должно было пройти не менее четверти часа, — говорю я смеясь.

— Не менее четверти часа, а, Бруно. Тогда ты мне объясни, как могло быть, что вагон метро вдруг остановился и я оторвался от своей старухи, от Лэн и всего прочего и увидел, что мы уже на Сен-Жермен-де-Прэ, до которой от Одеона точно полторы минуты езды.

Я никогда не придаю особого значения болтовне Джонни, но тут под его пристальным взором у меня по спине пробежал холодок.

— Только полторы минуты твоего времени или вон ее времени, — укоризненно говорит Джонни. — Или времени метро и моих часов, будь они прокляты. Тогда как же может быть, что я думал четверть часа, а прошло всего полторы минуты? Клянись тебе, в тот день я не выкурил ни крохи, ни листочка, — добавляет он тоном оправдывающегося ребенка. — Потом со мной еще раз такое приключилось, а теперь везде и всюду бывает. Но, — повторяет он упрямо, — только в метро я могу это осознать. Потому что ехать в метро — все равно как сидеть в самих часах. Станция — это минуты, понимаешь, это ваше время, обыкновенное время. Но я знаю, что есть и другое время, и я стараюсь понять, понять...

Он закрывает лицо руками, его трясет. Я бы с удовольствием ушел, но не знаю, как лучше распрощаться, чтобы Джонни не обиделся, потому что он страшно чувствителен к словам и поступкам друзей. Если его перебить, ему станет совсем плохо — ведь с Дэдэ он не будет говорить об этих вещах.

— Бруно, если бы я только мог жить, как в эти моменты или как в музыке, когда время тоже идет по-другому... Ты понимаешь, сколько всего могло бы произойти за полторы минуты... Тогда люди, не только я, а и ты, и она, и все парни, могли бы жить сотни лет, если бы мы нашли это «другое» время; мы могли бы прожить в тысячу раз дольше, чем живем, глядя на эти чертовы часы, идиотски считая минуты и завтрашние дни...

Я изображаю на лице улыбку, чувствуя, что он в чем-то прав, но что все его догадки и мое понимание того, о чем он догадался, улетучатся без следа, едва я окажусь на улице и окунусь в свое повседневное житье-бытье. В данный момент, однако, я уверен, что слова Джонни рождены не только его полубредовым состоянием, не только тем, что реальность ускользает от него, обращаясь какой-то пародией, которую он принимает за надежду. Все, о чем Джонни говорит мне в такие минуты (а он уже лет пять говорит мне и другим подобные вещи), можно слушать,

лишь зная, что вскоре выкинешь все это из головы. Но едва оказываешься на улице и твоя память, а не голос Джонни воспроизводит эти слова, как они сливаются в бубнеж наркомана, в приевшиеся рассуждения (ибо и другие говорят нечто похожее, то и дело пускаются в подобные мудрствования), и откровение представляется ересью. По крайней мере мне кажется, будто Джонни вдоволь поиздевался надо мной. Но такое обычно происходит позже, не тогда, когда Джонни разглагольствует: в тот момент я улавливаю какой-то новый смысл, который имеет право на существование, вижу искру, готовую вспыхнуть пламенем, или, лучше сказать, чувствую, что нужно что-то разбить вдребезги, расколоть в щепы, как полено, в которое вгоняют клин, обрушивая на него кувалду. Однако у Джонни уже нет сил что-нибудь разбить, а я даже не знаю, какая нужна кувалда, чтобы вогнать клин, о котором тоже не имею ни малейшего представления.

Поэтому я наконец встаю и направляюсь к двери, но тут происходит то, что не может не произойти — не одно, так другое: прощаясь с Дэдэ, я поворачиваюсь спиной к Джонни и вдруг чувствую — случилось неладное: я вижу это по глазам Дэдэ, быстро оборачиваюсь (так как, наверно, немного побаиваюсь Джонни, этого ангела божьего, который мне что брат, этого брата, который для меня что ангел-хранитель) и вижу Джонни, рывком скинувшего с себя плед, вижу его совершенно голого. Он сидит, упершись ногами в сиденье и уткнув в колени подбородок, трясется всем телом и хохочет, абсолютно голый, в ободранном кресле.

— Становится жарковато, — фыркает Джонни. — Бруно, гляди, какой у меня шрам под ребром, красота.

— Прикройся, — говорит Дэдэ, растерявшись, не зная, что сказать. Мы знакомы друг с другом давно, и нагой мужчина не более чем нагой мужчина, но все-таки Дэдэ смущена, и я тоже не знаю, как скрыть, что поведение Джонни меня шокирует. А он это видит и смеется во всю свою огромную пасть, не меняя непристойной позы, словно выставляя напоказ атрибуты мужской наготы, точь-в-точь обезьяна в зоопарке. Кожа у него на бедрах в каких-то странных пятнах, и мне становится совсем тошно. Дэдэ хватается за плед и поспешно кутает в него Джонни, а он смеется и кажется очень довольным. Я неопределенно киваю, обещая вскоре зайти, и Дэдэ выводит меня на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь, чтобы Джонни не слышал ее слов.

— Да, он все время такой после нашего возвращения из турне по Бельгии. Он так хорошо играл везде, и я была так счастлива.

— Интересно, откуда он мог достать наркотик,— говорю я, глядя ей в глаза.

— Не знаю. Вино и коньяк все время пьет. Но и курит тоже, хотя меньше, чем там...

Там — это Балтимора и Нью-Йорк, а затем три месяца в психиатрической лечебнице Бельвю и долгое пребывание в Камарильо.

— Джонни действительно хорошо играл в Бельгии, Дэдэ?

— Да, Бруно, мне кажется, как никогда. Публика редела от восторга, ребята из оркестра мне сами говорили. Иногда вдруг находило на него, как это бывает с Джонни, но, к счастью, не на эстраде. Я уже думала... но, сами видите, как сейчас. Хуже быть не может.

— В Нью-Йорке было хуже. Вы не знали его в те годы.

Дэдэ не глупа, но ни одной женщине не нравится, если с ней говорят о той поре жизни мужчины, когда он еще не принадлежал ей, хотя теперь и приходится терпеть его выходки, а прошлое не более чем слова. Не знаю, как сказать ей, к тому же у меня нет к ней особого доверия, но наконец решаюсь:

— Вы, наверно, сейчас совсем без денег?

— Есть этот вот контракт, начнем послезавтра,— говорит Дэдэ.

— Вы думаете, он сможет записываться и выступать перед публикой?

— О, конечно,— говорит Дэдэ немного удивленно.— Джонни будет играть бесподобно, если доктор Бернар собьет ему температуру. Все дело в саксофоне.

— Я постараюсь помочь. А это вам, Дэдэ. Только... Лучше, чтобы Джонни не знал...

— Бруно...

Я махнул рукой и зашагал вниз по лестнице, чтобы избежать ненужных слов и благодарственных излияний Дэдэ. Спустившись на четыре-пять ступенек, гораздо легче было сказать:

— Ни под каким видом нельзя ему курить перед первым концертом. Дайте ему немного выпить, но не давайте денег на другое.

Дэдэ ничего не ответила, но я видел, как ее руки комкали, комкали десятифранковые бумажки, наконец совсем исчезнувшие в кулаке. По крайней мере я теперь уверен, что сама Дэдэ не курит. Она может быть только соучастницей — из страха или

любви. Если Джонни грохнется на колени, как тогда при мне в Чикаго, и будет ее молить, рыдая... Ну, что делать, риск, конечно, есть, как всегда с Джонни, но все-таки они теперь имеют деньги на еду и лекарства.

На улице я поднял воротник — стал накрапывать дождь — и так глубоко вдохнул свежий воздух, что кольнуло под ребрами; мне показалось, что Париж пахнет чистотой и свежееиспеченным хлебом. Только тогда до меня дошло, как пахнет каморка Джонни, тело Джонни, вспотевшее под пледом. Я зашел в кафе сполоснуть коньяком рот, а заодно и голову, где вертелись, вертелись слова Джонни, его рассказы, его видения, которых я не вижу и, признаться, не хочу видеть. Заставил себя думать о послезавтрашнем дне, и пришло успокоение, словно прочный мостик перекинулся от винной стойки к будущему.

Если в чем-нибудь сомневаешься, внуши себе, что ты должен действовать, — как рычаг, который при нажатии непременно подаст сигнал тревоги. Двумя или тремя днями позже я подумал, что надо действовать, точнее, узнать, не маркиза ли достает марихуану Джонни Картеру. И отправился в студию на Монпарнас. Маркиза в самом деле настоящая маркиза, и у нее куча денег, которые отваливает ей маркиз, хотя они давно разошлись из-за ее пристрастия к марихуане. Дружба маркизы с Джонни началась еще в Нью-Йорке, возможно в том самом году, когда Джонни одним прекрасным утром проснулся знаменитостью, и всего лишь потому, что кто-то дал ему возможность объединить четверых или пятерых ребят, влюбленных в его манеру игры, и Джонни впервые смог развернуться во всю силу и потряс публику. Я не собираюсь сейчас заниматься анализом джазовой музыки; кто ею интересуется, может прочитать мою книгу о Джонни и новом послевоенном стиле, однако с уверенностью могу сказать, что в сорок восьмом году — в общем, до пятидесятого — произошел словно музыкальный взрыв, но взрыв холодный, тихий, взрыв, при котором все осталось на своих местах и не было ни криков, ни осколков, однако заскорузлость привычки разбилась на тысячи кусков, и даже поборники старого (среди музыкантов и публики) лишь из самолюбия защищали свои прежние пристрастия. Потому что после пассажей Джонни на альт-саксофоне уже невозможно было слушать других джазистов и верить в их совершенство: оставалось только с лицемерным смирением, которое называют «чувством времени», признать, что кое-кто из этих музыкантов был великолепен

и останется таковым для своей эпохи. Джонни перевернул джаз, как рука переворачивает страницу, — и ничего не поделаешь.

Маркиза, у которой чутье на настоящую музыку, как у борзой на дичь, всегда восхищалась Джонни и его товарищами по ансамблю. Представляю, сколько долларов она им подкинула в дни существования Клуба-33, когда большинство критиков протестовали против грамзаписи Джонни и использовали для оценки его джаза давно прогнившие критерии. Возможно, именно в ту пору маркиза стала иногда проводить ночи с Джонни и покуривать с ним. Часто видел я их вместе перед сеансами записи или в антрактах концертов, и Джонни выглядел безмерно счастливым рядом с маркизой, хотя в партере или дома его ждали Лэн и ребята. Но Джонни просто не понимал, зачем ждать попусту, и вообще не представлял себе, что кто-то может его ждать. Выбранный им способ отделаться от Лэн достаточно характерен. Я видел открытку, которую он послал ей из Рима после четырех месяцев отсутствия (он удрал самолетом с двумя другими музыкантами, не сказав Лэн ни слова). На открытке изображены Ромул и Рэм, которые всегда очень забавляли Джонни (одна из его пластинок так и называется), и написано: «Брожу один во множестве любви» — строка из поэмы Дилана Томаса, которым Джонни зачитывался. Поверенные Джонни в США устроили так, чтобы часть его доходов переводилась Лэн, которая сама скоро поняла, что сделала неплохое дело, развязавшись с Джонни. Кто-то мне сказал, что маркиза тоже пересылала деньги Лэн, и не подозревавшей, откуда они. Это меня не удивляет, потому что маркиза добра до безрассудства и относится к жизни почти как к омлету, который готовит в своей студии, когда у нее собираются толпы друзей, или, точнее, как к своего рода вечному омлету, к которому она добавляет всякую всячину и от которого отрезает кусочки, наделяя ими страждущих...

Я застал у маркизы Марселя Гавоти и Арта Букайя; они как раз говорили о записях, которые сделал Джонни накануне вечером. Все бросаются ко мне, словно сам архангел явился пред ними; маркиза чмокает меня до изнеможения, а парни жмут мне руку так, как это могут делать только контрабасист и баритонист. Я нахожу убежище за креслом, с трудом вырвавшись из их объятий, — оказывается, они узнали, что я достал великолепный саксофон, и Джонни смог вчера записать три или четыре свои лучшие композиции. Маркиза тут же заявляет, что Джонни — мерзкий тип, а так как он нахамил ей (о причине она умолчала), этот мерзкий тип прекрасно знает, что, только попро-

сив у нее, у маркизы, прощение в надлежащей форме, он мог бы получить чек на покупку саксофона. Понятно, Джонни не пожелал просить прощения после своего приезда в Париж — ссора, кажется, произошла в Лондоне месяца два назад, — и потому никто не знал, что он потерял свой проклятый сакс в метро, и т. д. и т. п. Когда маркиза раздражается речью, невольно думаешь, не выделяет ли она языком штуки в стиле Дицци, ибо импровизации следуют одна за другой в самых неожиданных регистрах. Наконец в качестве финального аккорда маркиза хлопает себя по ляжкам и заливается таким истерическим смехом, словно кто-то вознамерился зашекетать ее до смерти. Арт Букайя пользуется моментом и подробно рассказывает мне о вчерашнем сеансе грамзаписи, который я пропустил по вине жены, схватившей воспаление легких.

— Тика вон подтвердит, — говорит Арт, кивая на маркизу, которая продолжает корчиться от смеха. — Бруно, ты представить себе не можешь, что было, пока не прослушаешь пластинку. Если сам бог бродил вчера по грешной земле, то не иначе он забрел в эту проклятую студию, где мы, кстати сказать, просто подыхали от дьявольской жары. Ты помнишь «Плакучую иву», Марсель?

— Еще бы не помнить, — говорит Марсель. — Дурацкий вопрос, помню ли я. С головы до пят исхлестала меня эта «Ива».

Тика подала нам «highballs»¹, и мы приготовились приятно поболтать. В общем-то, мы мало говорили о вчерашней грамзаписи, потому что любому музыканту известно, как трудно говорить о таких вещах, но немного услышанное мной вернуло мне некоторую надежду, и я подумал, что, может быть, мой саксофон принесет удачу Джонни. Однако я наслушался и таких любопытных историй, которые способны немного пошатнуть эту надежду, — Джонни, например, в перерыве снял оба ботинка и разгуливал босиком по студии. Но зато он помирился с маркизой и обещал зайти к ней в студию опрокинуть стопку перед своим сегодняшним вечерним выступлением.

— Ты знаешь девчонку, которая сейчас у Джонни? — интересуется Тика. Я описываю Дэдэ весьма кратко, но Марсель добавляет — на французский манер — всякого рода двусмысленные подробности, которые несказанно веселят маркизу. О наркотике никто не заикается, но я так насторожен, что, кажется, улавливаю его запах в самом воздухе студии Тики, а еще у Тики

¹ Виски со льдом (англ.).

та же манера смеяться, какую я нередко замечал у Джонни и у Арта, — та, что выдает наркоманов. Я спрашиваю себя, как мог Джонни добывать марихуану, если был в ссоре с маркизой; мое доверие к Дэдэ снова лопается как мыльный пузырь, если я вообще питал к ней доверие. В конце концов, все они друг друга стоят.

Я, правда, немного завидую единению, которое их роднит, с такой легкостью превращает в сообщников. С моей пуританской точки зрения (которая вовсе не секрет; каждому, кто меня знает, известно мое отвращение к нравственной распущенности), они представляются мне большими ангелами, раздражающими своей беспечностью, но платящими за заботу о себе такими вещами, как грампластинки Джонни или великодушная щедрость маркизы. Я помалкиваю об этом, но мне хотелось бы заставить себя сказать вслух: да, я вам завидую, завидую Джонни, тому потустороннему Джонни, без которого никто не узнал бы, что такое та, другая сторона. Я завидую всему, кроме его терзаний, которых все равно никто никогда не поймет, но даже среди терзаний у него бывают озарения, которых мне не дано. Я завидую Джонни, и в то же время меня разбирает зло, что он губит себя, нерасчетливо расходует свой талант, глупо впитывает в себя грязь, неизбежно окружающую его. Я думаю, правда, что, если бы Джонни сам мог управлять своей жизнью, не жертвуя ради нее ничем, даже наркотиками, и если бы он лучше управлял этим самолетом, который уже лет пять несетя влегу, он, возможно, кончил бы совсем плохо, полнейшим сумасшествием, смертью, но зато излил бы в музыку все, что пытается изобразить в своих нудных монологах после игры, в своих рассказах о потрясающих переживаниях, которые однако, обрываются на полдороге. И движимый страхом, я, по сути, сторонник именно такого исхода, и, может быть, честно говоря, мне бы даже хотелось, чтобы Джонни взорвался разом, как яркая звезда, которая вдруг рассыпается на тысячи осколков и оставляет астрономов на целую неделю в дураках. Зато потом можно идти спокойно спать, а назавтра — новый день, иные заботы...

Джонни, словно догадавшись, о чем я раздумывал до его прихода, хитро мне подмигивает и усаживается со мной рядом, успев на ходу поцеловать и крутнуть в воздухе маркизу и обменяться с нею и Артом дикими приветственными руладами, приведшими их всех в восторг.

— Бруно, — говорит Джонни, растянувшись на самой шикарной софе, — эта дудка просто чудо. Пусть они тебе скажут, что я из нее вчера выжал. У Тики слезы катились — с грушу

каждая, и, уж наверно, не потому, что надо платить модистке, а, Тика?

Мне захотелось побольше узнать о репетиции, но Джонни удовлетворился этим всплеском самодовольства и тут же заговорил с Марселем о программе предстоящего вечера и о том, как им обоим идут новехонькие серые костюмы, в которых они появятся на эстраде. Джонни в самом деле хорошо выглядит, и заметно, что в последнее время он курит не слишком много; видимо, как раз столько, сколько ему нужно, чтобы играть с подъемом. Едва я успеваю об этом подумать, Джонни кладет мне руку на плечо и, пригнувшись, говорит:

— Дэдэ мне сказала, что я тогда, вечером, по-хамски вел себя.

— Брось вспоминать.

— Нет, не брошу. А хочешь знать — я вел себя распрекрасно. Тебе надо гордиться, что я с тобой не стесняюсь, я ни с кем так не делаю, веришь?.. Это показывает, как я тебя ценю. Нам бы закатиться куда-нибудь вместе да поговорить о всякой всячине. Здесь-то... — Он презрительно выпячивает нижнюю губу, заливаясь смехом и подергивает плечами, будто пританцовывая на софе. — Бруно, старик, а Дэдэ говорит, что я по-хамски вел себя, ей-богу...

— У тебя был грипп. Сейчас лучше?

— Никакой не грипп. Пришел врач и стал трепаться, что обожает джаз и что как-нибудь вечером я должен зайти к нему послушать пластинки. Дэдэ мне сказала, что ты дал ей денег.

— Пока обернетесь, а получишь — отдашь. Ты как сегодня вечером? В настроении?

— Да, играть охота, сейчас бы заиграл, если бы сакс был здесь, но Дэдэ уперлась: «Сама принесу в театр». Классный сакс. Вчера мне казалось, я изнемогаю от любви, когда играл... Видал бы ты лицо Тики. Иль ты ревновала, Тика?

И они снова визгливо хохотнули, а Джонни счел самым подходящим схватить Арта и запрыгать в упоении по студии, высоко вскидывая ноги в танце без музыки, — только брови у него и у Арта дергались, отмечая ритм. Невозможно сердиться на Джонни или на Арта, это все равно, что злиться на ветер, который треплет вам волосы. Полушепотом Тика, Марсель и я стали обсуждать сегодняшнее вечернее выступление Джонни. Марсель был уверен, что Джонни повторит свой потрясающий успех 1951 года, когда он впервые приехал в Париж. После вчерашней репетиции, по его мнению, все сойдет отличным образом. Хотелось бы и мне в это верить... Во всяком случае, мне не остается

ничего иного, как только усесться в первом ряду и слушать концерт. По крайней мере я знал, что Джонни не накурился марихуаны, как в Балтиморе. Когда я сказал об этом Тике, она схватила меня за руку, словно боясь свалиться в воду. Арт и Джонни подходят к пианино, и Арт показывает Джонни новую тему, тот покачивает в такт головой и подпевает. Оба невероятно элегантны в своих серых костюмах, хотя Джонни портит жирок, который он нагулял за последнее время.

Мы с Тикой пускаемся в воспоминания о вечере в Балтиморе, когда Джонни перенес первый жестокий кризис. Во время разговора я смотрел Тике прямо в глаза, чтобы убедиться, что она меня понимает и не испортит дела на сей раз. Если Джонни выпьет слишком много коньяка или сделает хоть одну затяжку марихуаной, концерт провалится — и все полетит к черту. Париж не провинциальное казино, здесь на Джонни смотрит весь мир. Думая об этом, я не мог избавиться от противного привкуса во рту, от злости — не на Джонни, не на его злоключения, а, скорее, на себя самого и на людей, окружающих его, маркизу и Марселя, например. По существу, все мы банда эгоистов. Под предлогом заботы о Джонни мы оберегаем лишь свое собственное представление о нем, предвкушаем удовольствие, которое всякий раз доставляет нам Джонни, хотим придать блеск статуе, воздвигнутой нами, и беречь ее, чего бы это ни стоило. Провал Джонни свел бы на нет успех моей книги о нем (вот-вот должны выйти английский и итальянский переводы), и, возможно, волнения такого рода составляют часть моих забот о Джонни. Арту и Марселю он нужен, чтобы зарабатывать на хлеб, а маркизе... ей лучше знать, маркизе, что она находит в нем, кроме таланта. Все это заслоняет другого Джонни, и мне вдруг приходит в голову, что, может быть, Джонни именно об этом хотел сказать мне, когда сорвал с себя плед и предстал голым, как червь. Джонни без саксофона, Джонни без денег и одежды. Джонни, одержимый чем-то, чего никогда не одолеет его скудный интеллект, но что медленно вливается в его музыку, заставляет трепетать его тело, готовит его к какому-то броску, для нас непостижимому.

И когда приходят вот такие мысли, поневоле начинаешь ощущать гадкий привкус во рту и вся честность мира не в состоянии окупить внезапного открытия, что ты просто жалкий подлец рядом с таким вот Джонни Картером, пьющим свой коньяк на софе и лукаво на тебя поглядывающим. Пора было идти в зал Плейель. Пусть музыка спасет хотя бы остаток вечера и выполнит, в общем-то, одну из своих худших миссий:

поставит добротные ширмы перед зеркалом, сотрет нас на пару часов с лица земли.

Завтра, как обычно, я напишу для журнала «Jazze-hot»¹ рецензию на этот вечерний концерт. Но во время концерта, хотя в кратких перерывах я и царапаю стенографические каракули на колене, у меня нет ни малейшего желания выступить в роли критика, то есть делать сопоставительные оценки. Я прекрасно знаю, что для меня Джонни давно уже не только джазист; его музыкальный гений — это нечто вроде великолепного фасада, нечто такое, что в конце концов может пронять и привести в восторг всех людей, но за фасадом скрывается другое, и это другое — единственное, что должно интересовать меня хотя бы потому, что только оно по-настоящему интересует Джонни.

Легко говорить так, пока я весь в музыке Джонни. Когда же приходишь в себя... Почему я не могу поступать, как он, почему никогда не смогу биться головой об стену? Я обдуманнейшим образом подгоняю к действительности слова, которые претендуют на ее отражение; я ограждаю себя размышлениями и догадками, которые суть не более чем несурзная диалектика. Но кажется, я наконец понимаю, почему колокольный звон заставляет инстинктивно падать на колени. Изменение позы символизирует иное ощущение звука, того, что он воспроизводит; саму сущность воспроизводимого. Едва меня осеняет мысль о сути таких изменений, как явления, которые секунду назад мне казались нелепыми, наполняются глубоким смыслом, удивительно упрощаются и в то же время усложняются. Ни Марселю, ни Арту и в голову не пришло, что Джонни отнюдь не рехнулся, когда скинул ботинки в зале звукозаписи. Джонни нужно было в тот момент чувствовать реальную почву под ногами, соединиться с землей, ибо его музыка — утверждение всего земного, а не бегство от него. И это тоже я чувствую в Джонни — он ни от чего не бежит, он курит марихуану не для забвения, как другие пропащие люди; он играет на саксофоне не для того, чтобы прятаться за оградой звуков; он проводит недели в психиатрических клиниках не для того, чтобы спастись там от давлений, которым не в силах противостоять. Даже его музыкальный стиль — его подлинное «я», — стиль, заслуживающий самых абсурдных определений, но не нуждающийся ни в одном из них, подтверждает, что искусство Джонни не замена и не до-

¹ «Горячий джаз» (англ.) — одно из направлений джазовой музыки.

полнение чего-либо. Джонни бросил язык «хот», в общем пользующийся популярностью уже лет десять, ибо джазовый язык, до предела эротический, кажется ему слишком вялым. В музыке Джонни желание всегда заслоняет наслаждение и отбрасывает его, потому что желание заставляет идти вперед, искать, заранее отмечая «легкие победы» традиционного джаза. Поэтому, думаю, Джонни не любит популярнейшие блюзы с их мазохизмом и постальгией... Впрочем, обо всем этом я уже написал в своей книге, объясняя, как отказ от быстрого удовлетворения побудил Джонни создать музыкальный язык, который он и другие музыканты пытаются довести сейчас до наивысшего совершенства. Такой джаз разбивает вдребезги банальный эротизм и так называемое вагнерианство, чтобы освоить безграничные просторы, где музыка обретает полную свободу, подобно тому как живопись, освобожденная от образов, становится живописью, и только живописью. Итак, властитель музыки, которая не облегчает ни оргазма, ни ностальгии и которую мне хотелось бы назвать метафизической, Джонни будто хочет найти в ней себя, вцепиться зубами в действительность, которая все время от него ускользает. В этом я вижу высокий парадокс его стиля, его будоражащее воздействие. Никогда не удовлетворяясь достигнутым, музыка становится непрерывно возбуждающим средством, не имеющей конца композицией — и прелесть ее не в завершении, а в творческом искании, в проявлении душевных сил, которые затмевают слабые человеческие эмоции, но не теряют подлинной человечности. И если Джонни, как сегодняшним вечером, забывается в своих нескончаемых импровизациях, я очень хорошо знаю, что он не бежит от жизни. Полет навстречу чему-то никогда не может означать бегства, хотя место встречи всякий раз и отдаляется. А то, что остается позади, Джонни игнорирует или гордо презирает. Маркиза, например, думает, что Джонни боится бедности. Она не понимает, что Джонни может испугаться лишь того, что не сможет всадить вилку в бифштекс, когда ему захочется есть, или рядом не окажется кровати, когда его будет клонить ко сну, или в бумажнике не найдется ста долларов, когда ему вздумается истратить эти сто долларов. Джонни не живет в мире абстракций, как мы. Поэтому его музыка, удивительная музыка, которую я услышал этим вечером, никоим образом не абстрактна. Однако только один Джонни может отдать себе отчет в том, чего он достиг своей музыкой, но он уже увлечен другой темой, теряясь в новых предположениях или новых догадках. Его завоевания как сновидения, он забывает о них, очнувшись от грохота аплодисмен-

тов, возвращающих его назад издалека, оттуда, куда он уносится, переживая свои четверть часа за какие-то полторы минуты.

Наивно полагать, что останешься невредим, если ухватишься за громоствод во время грозы. Дней пять спустя я столкнулся с Артом Букайя у «Дюпона» в Латинском квартале, и он тут же, закатив глаза, сообщил мне прескверную новость. В первый момент я почувствовал нечто вроде удовлетворения, которое, каюсь, граничило со злорадством, ибо я прекрасно знал: спокойная жизнь будет недолгой. Но потом пришли мысли о последствиях — я же люблю Джонни, — и стало не по себе. Поэтому я выпил двойную коньяка, пока Арт подробно рассказывал мне о случившемся. В общем, оказалось, что накануне днем Делоне все подготовил для записи нового квинтета в составе Джонни — ведущий саксофон, — Арта, Марселя Гавоти и двух отличных ребят из Парижа — фортепьяно и ударные инструменты. Запись должна была начаться в три пополудни, рассчитывали играть весь день и захватить часть вечера, чтобы выложиться до конца и записать побольше вещей. А случилось иначе. Прежде всего Джонни явился в пять, когда Делоне уже зубами скрежетал от нетерпения. Растянувшись в кресле, Джонни заявил, что чувствует себя неважно и пришел только затем, чтобы не испортить ребятам день, но играть не желает.

— Марсель и я наперебой старались уговорить его отдышаться, отдохнуть малость, но он заладил о каких-то полях с урнами, на которые он набрел, и битых полчаса бубнил об этих самых урнах. А под конец стал пригоршнями вытаскивать из карманов и сыпать на пол листья, которые набрал где-то в парке. Не студия — какой-то сад ботанический. Операторы мечутся из угла в угол, злющие как собаки, а записи — никакой. Представь себе, главный звукооператор три часа курил в своей кабине, а в Париже это немало для главного звукооператора.

Все же Марсель уговорил Джонни попробовать — может, получится. Они стали играть, а мы тихонько им подыгрывали, — продолжает Арт, — чтобы хоть не сдохнуть от скуки. Но скоро я приметил, что у Джонни сводит правую руку, и, когда он заиграл, честно тебе скажу, тяжело было смотреть на него. Лицо, знаешь, серое, а самого трясет, как в лихорадке. Я даже не заметил, когда он оказался на полу. Потом вскрикнул, медленно обвел взглядом нас всех, одного за другим, и спрашивает, чего, мол, мы ждем, почему не начинаем «Amour's». Знаешь эту тему Аламо? Ну ладно, Делоне дал знак оператору, мы вступили, как сумели, а Джонни поднялся, расставил ноги, закачался, как в

лодке, и такое стал вытворять, что, клянусь тебе, в жизни ничего подобного не слыхивал. Минуты три так играл, а потом как рванет жутким визгом... Ну, думаю, сейчас вся твердь небесная на куски разлетится — и пошел себе в угол, бросив нас на полном ходу. Пришлось закруглиться кое-как. А дальше еще хуже. Когда мы кончили, Джонни сразу огорошил нас: все чертовски плохо вышло и запись никуда. Понятно, ни Делоне, ни мы не обратили на его слова внимания, потому что, несмотря на срыв, одно соло Джонни стоит в тысячу раз больше всего, что мы каждый день слушаем. Удивительное дело, трудно тебе объяснить... Когда услышишь, сам поймешь, почему ни Делоне, ни операторы и не подумали стереть запись. Но Джонни просто осатанел, грозил вышибить стекла в кабине, если ему не скажут, что пластинки не будет. Наконец оператор показал ему какую-то штуковину и успокоил его, и тогда Джонни предложил, чтобы мы записали «Стрептомицин», который получил-ся и намного лучше, и намного хуже. Понимаешь, эта пластинка гладенькая, не придерешься, но нет в ней того невероятного чуда, какое Джонни в «Amour's» сотворил.

Вздохнув, Арт допил свое пиво и скорбно уставился на меня. Я спросил, что было с Джонни потом. Арт сказал, что после того, как Джонни прожужжал им все уши своими историями о листьях и полях, покрытых урнами, он отказался дальше играть и, шатаясь, ушел из студии. Марсель отобрал у него саксофон, чтобы он его опять не потерял или не разбил, и вместе с одним из ребят-французов отвел в отель.

Что мне остается делать? Надо тут же идти навещать его. Но все-таки я откладываю это на завтра. А завтра встречаю имя Джонни в полицейской хронике «Фигаро», потому что ночью Джонни якобы поджег номер и бегал нагишом по коридорам отеля. Ни он, ни Дэдэ не пострадали, но Джонни находится в клинике под врачебным надзором. Я показываю газетное сообщение своей выздоравливающей жене, чтобы успокоить ее, и немедленно отправляюсь в клинику, где мое журналистское удостоверение не производит ни малейшего впечатления. Мне удается лишь узнать, что Джонни галлюцинирует и совершенно отравлен марихуаной, — такой лошадиной дозы хватило бы, чтобы свести с ума десять человек. Бедняга Дэдэ не смогла устоять, убедить его бросить наркотики; все женщины Джонни в конце концов превращаются в его сообщниц, и я дал бы руку на отсечение, что марихуану ему раздобыла маркиза.

В конечном итоге я решил тотчас пойти к Делоне и попросить его дать мне как можно скорее послушать «Amour's». Кто

знает, может быть, «Amour's» — это завещание бедного Джонни. А в таком случае моим профессиональным долгом было бы...

Однако нет. Пока еще нет. Через пять дней мне позвонила Дэдэ и сказала, что Джонни чувствует себя намного лучше и хочет видеть меня. Я не стал упрекать ее: во-первых, потому, что это, на мой взгляд, пустая трата времени, и, во-вторых, потому, что голос бедняжки Дэдэ, казалось, выдавливался из расплющенного чайника. Я обещаю сейчас же прийти и говорю ей, что, когда Джонни совсем поправится, надо бы устроить ему турне по городам внутренних провинций. Дэдэ начала всхлипывать, и я повесил трубку.

Джонни сидит в кровати. Двое других больных, к счастью, спят. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он схватил мою голову своими ручищами и стал чмокать меня в лоб и в щеки. Он страшно худой, хотя сказал мне, что кормят хорошо и аппетит нормальный. Больше всего его волнует, не ругают ли его ребята, не навредил ли кому его кризис, и т. д. и т. п. Отвечать ему, в общем, незачем, потому что он прекрасно знает, что концерты отменены и это сильно ударило по Арту, Марселю и остальным. Но он спрашивает меня, словно надеясь услышать что-то хорошее, ободряющее. И все же ему меня не обмануть: где-то глубоко за этой тревогой кроется великое безразличие ко всему на свете. Ни струнка не дрогнула бы в душе Джонни, если бы все полетело к чертовой матери, — я знаю его слишком хорошо, чтобы ошибиться.

— О чем теперь толковать, Джонни. Все могло бы сойти лучше, но у тебя талант губить всякое дело.

— Да, спорить не стану, — устало говорит Джонни. — Но все-таки виноваты урны.

Мне вспоминаются слова Арта, и я не отрываясь гляжу на него.

— Поля, покрытые урнами, Бруно. Сплошь одни невидимые урны, зарытые на огромном поле. Я там шел и все время обо что-то спотыкался. Ты скажешь, мне приснилось, конечно. А было так, слушай: я все спотыкался об урны и наконец понял, что поле сплошь забито урнами, которых там сотни, тысячи, и в каждой пепел умершего. Тогда, помню, я нагнулся и стал отгребать землю ногтями, пока одна урна не показалась из земли. Да, хорошо помню, я помню, мне подумалось: «Эта наверняка пустая, потому что она для меня». Глядишь — нет, полным-полна серого пепла, такого, какой, я уверен, был и в

других, хотя я их не открывал. Тогда... тогда, мне кажется, мы и начали записывать «Amour's».

Украдкой гляжу на табличку с кривой температуры. Вполне нормальная, не придерешься. Молодой врач просунул голову в дверь, приветственно кивнул мне и ободряюще салютовал Джонни, почти по-спортивному. Хороший малый. Но Джонни ему не ответил, и, когда врач скрылся за дверью, я заметил, как Джонни сжал кулаки.

— Этого им никогда не понять, — сказал он мне. — Они все равно как обезьяны, которым дали метлы в лапы, или как девочки из консерватории Канзас-Сити, которые думают, что играют Шопена, ей-богу, Бруно. В Камарильо меня положили в палату с тремя другими, а утром является практикант, такой чистенький, розовенький — загляденье. Ни дать ни взять сын Клинекса и Темпекса, честное слово. И этот ублюдок садится рядом и принимается утешать меня, когда я только и желал, что помереть, и уже не думал ни о Лэн, ни о ком. А этот тип еще обиделся, когда я от него отмахнулся. Он, видать, ждал, что я встану, замороженный его белым личиком, прилизанными волосенками и полированными ноготками, и исцелюсь, как эти хромоногие, которые приползают в Лурд, швыряют костыли и начинают скакать козами...

Бруно, этот тип и те другие типы из Камарильо какие-то убежденные. Спросишь в чем? Сам не знаю, клянусь, но в чем-то очень убежденные. Наверно, в том, что они очень правильные, что они ох как много стоят со своими дипломами. Нет, нет. Некоторые из них скромники и не считают себя непогрешимыми. Но даже самый скромный чувствует себя уверенно. Вот это и бесит меня, Бруно, что *они чувствуют себя уверенно*. В чем их уверенность, скажи мне, пожалуйста, когда даже у меня, подонка с тысячей болячек, хватает ума, чтобы разглядеть, что все кругом на соплях, на фу-фу держится. Надо только оглядеться немного, почувствовать немного, помолчать немного — и везде увидишь дыры. В двери, в кровати — дыры. Руки, газеты, время, воздух — все сплошь в пробоинах; все как губка, как решето, само себя дырявящее... Но они — это американская наука собственной персоной, понимаешь, Бруно? Своими халатами они защищаются от дыр. Ничего не видят, верят тому, что скажут другие, а воображают, что видели сами. И конечно, они не могут видеть вокруг себя дыры и очень уверены в себе, абсолютно убеждены в необходимости своих рецептов, своих клизм, своего проклятого психоанализа, своих «не пей», «не кури»... Ох, дождался бы дня, когда я смогу сорвать-

ся с места, сесть в поезд, смотреть в окошко и видеть, как все остается позади, разбивается на куски... Не знаю, заметил ли ты, как бьется на куски все, что мелькает мимо...

Закуриваем «Голуаз». Джонни разрешили немного коньяка и не более восьми-десяти сигарет в день. Но видно, что курит, если можно так сказать, его телесная оболочка, что сам он вовсе не здесь, — будто не желает вылезать из глубокого колодца. Я спрашиваю себя, что он увидел, перечувствовал за последние дни. Мне не хочется волновать его, но если бы вдруг ему самому вздумалось рассказать... Мы курим, молчим, иногда Джонни протягивает руку и водит пальцами по моему лицу, словно убеждаясь, что это я. Потом постукивает по своим наручным часам, глядит на них с нежностью.

— Дело в том, что они считают себя мудрецами, — говорит он вдруг. — Они считают себя мудрецами, потому что замусолили кучу книг и проглотили их. Меня просто смех разбирает: ведь, в общем, они неплохие ребята, а уверены в том, что все, чему они учатся и что делают, очень трудно и очень умно. В цирке тоже так, Бруно, и среди нас тоже. Люди думают, что некоторые вещи сделать трудно, и потому аплодируют циркачам или мне. Я не знаю, что им при этом кажется. Что человек на части разрывается, когда хорошо играет? Или что акробат руки-ноги ломает, когда прыгает? В жизни настоящие трудности совсем иные, они вокруг нас — это все то, что людям представляется самым простым да обычным. Смотреть и видеть, например, или понимать собаку или кошку. Все это трудно, чертовски трудно. Вчера вечером я почему-то стал глядеть на себя в зеркало, и, поверь, это было страшно трудно, я чуть не скатился с кровати. Представь себе, что ты со стороны увидел себя, — одного этого хватит, чтоб остолбенеть на полчаса. Ведь в действительности этот тип в зеркале не я; мне сразу стало ясно — не я. Еще раз глянул, еще, так и сяк — нет, не я. Душой почувствовал, а уж если почувствуешь... Но получается, как в Палм-Бич, где на одну волну накатывает другая, за ней еще... Только успеешь что-то почувствовать, уже накатывает другое, приходят слова... Нет, не слова, а то, что в словах, какая-то липкая ерунда, тягучие слюни. И слюни душат тебя, текут, и тут начинаешь верить, что тот, в зеркале, — ты. Ясное дело, как не понять. Как не признать себя — мой волосы, мой шрам. Но люди-то не понимают, что узнают себя только по слюням. Поэтому им так легко глядеться в зеркало. Или резать хлеб ножом. Ты режешь хлеб ножом?

— Случается, — говорю я шутливо.

— И тебе хоть бы что. А я не могу. Один раз за ужином как швырну все к черту — чуть глаз не вышиб ножом японцу за соседним столиком. Было это в Лос-Анджелесе, скандал получился жуткий... Я им объяснял, но они меня схватили. А мне казалось, понять так просто. В тот раз я познакомился с доктором Кристи. Хороший парень, а что я про врачей...

Он машет рукой, рассекая воздух с разных сторон, и словно остаются там невидимые взрезы. Улыбается. Мне же чудится, что он один, совершенно один. Я просто пустое место рядом с ним. Если бы Джонни случилось ткнуть меня рукой, она прошла бы сквозь меня, как сквозь дым. Потому-то, наверно, он так осторожно гладит пальцами мое лицо.

— Вот хлеб на скатерти, — говорит Джонни, глядя куда-то вдаль. — Вещь хорошая, ничего не скажешь. Цвет чудесный, аромат. В общем, я — одно, а это — совсем другое, ко мне никак не относится. Но если я к нему прикасаюсь, протягиваю руку и беру его, тогда ведь что-то меняется... Тебе не кажется? Хлеб не часть меня, но вот я беру его в руку, ощущаю и чувствую, что он тоже существует в мире. Если же я могу взять и почувствовать его, тогда, значит, и вправду нельзя сказать, что эта вещь сама по себе, а я сам по себе? Или, ты думаешь, можно?

— Дорогой мой, тысячелетиями великое множество длиннобородых умников ломали себе головы, решая эту проблему.

— В хлебе своя суть, — бормочет Джонни, закрывая лицо руками. — А я осмеливаюсь брать его, резать, совать себе в рот. И ничего не происходит, я вижу. Вот это-то самое страшное. Ты понимаешь, как это страшно, что ничего не происходит? Режешь хлеб, вонзаешь в него нож, а вокруг все по-старому. Нет, это немыслимо, Бруно.

Меня стало беспокоить выражение лица Джонни, его возбуждение. Все труднее и труднее было возвращать его к разговору о джазе, о его прошлом, о его планах, возвращать к действительности. (К действительности. Я написал это слово, и самому стало мутно. Джонни прав, это не может быть действительностью. Если действительно, что ты — джазовый критик, значит, действительно и то, что существует некто, могущий оставить тебя в дураках. Но с другой стороны, нельзя плыть по течению за Джонни — так все мы в конце концов сойдем с ума.)

Затем он заснул или по крайней мере притворился спящим, сомкнув веки. И уже в который раз приходит на ум, как трудно определить, что он делает в данный момент и что есть Джонни.

Спит ли, прикидывается спящим, полагает ли, что спит. Неизмеримо труднее уловить сущность Джонни, чем любого другого моего приятеля. И при этом он самый что ни на есть вульгарный, самый обыкновенный, привыкший к перипетиям самой жалкой жизни человек, которого можно подбить на все, — так кажется. Отнюдь не оригинальная личность — так кажется. Всякий может легко уподобиться Джонни, если согласится стать таким бедолагой, больным, порочным, безвольным, — всякий, если только имеешь поэтический дар и талант. Так кажется. Я, привыкший в своей жизни восхищаться всевозможными гениями — Эйнштейнами, Пикассо, всеми этими именами из святцев, которые каждый может составить для себя в одну минуту (Ганди, Чаплин, Стравинский и т. п.), готов, как и любой другой человек, допустить, что подобные уникамы ходят по небу, как по земле, и не удивлюсь ничему, что бы они ни делали. Они во всем отличны от нас, и говорить тут не о чем. Но отличие Джонни загадочно и раздражает своей необъяснимостью, потому что это отличие в самом деле трудно объяснить. Джонни не гений, он ничего не открыл, играет в джазе, как тысячи других негров и белых, и, хотя играет лучше их всех, надо признать, что слава в какой-то степени зависит от вкусов публики, от моды, от эпохи, в конце концов. Панасье, например, находит, что Джонни просто никуда не годится, хотя мы полагаем, что никуда не годится сам Панасье, во всяком случае, об этом можно спорить. И все это доказывает, что в Джонни вовсе нет ничего сверхъестественного, но стоит мне так подумать, как я тут же снова срашпваю себя, а точно ли в Джонни нет ничего сверхъестественного? (О чем сам он, конечно, и не догадывается.) Он, наверно, хохотал бы до упаду, если ему об этом сказать. В общем-то, я хорошо знаю, о чем он думает, чем живет. Я говорю «чем живет», потому что Джонни... Впрочем, не буду в это вдаваться, мне только хотелось уяснить для себя самого, что расстояние, отделяющее Джонни от нас, не имеет объяснений, оно создается необъяснимыми различиями. И мне кажется, он первый страдает от последствий этого и мучается так же, как и мы. Тут как бы напрашивается определение, что Джонни — это ангел среди людей, но элементарная честность заставляет прикусить язык, добросовестно перефразировать эти слова и признать, что, может быть, именно Джонни — человек среди ангелов, реальность среди ирреальностей, то есть среди всех нас. Иначе зачем Джонни трогает мое лицо пальцами и заставляет меня чувствовать себя таким несчастным, таким призрачным, таким ничтожным со всем моим прекрасным здоровьем, моим

домом, моей женой, моим престижем? Да, моим престижем — вот что самое главное. Самое главное — моим престижем в обществе.

Но, как всегда, едва я выхожу из больницы и окунаюсь в шум улицы, в водоворот времени, во все свои хлопоты, блин, плавно перевернувшись в воздухе, шлепается на сковородку другой стороной. Бедный Джонни, как далек он от реальности. (Да-да, именно так. Мне гораздо легче так думать теперь, в кафе, спустя два часа после посещения больницы, думать, что все сказанное мною выше — это словно вынужденное признание человека, приговоренного хотя бы иногда быть честным с самим собой.)

К счастью, дело с пожаром уладилось, ибо, как я и предполагал заранее, маркиза постаралась, чтобы дело с пожаром уладилось. Дэдэ и Арт Букайя зашли за мной в редакцию газеты, и мы втроем пошли в «Викс» послушать уже прославленную — хотя еще и не размноженную — запись «Amour's». В такси Дэдэ без особого энтузиазма рассказала мне, как маркиза вызволила Джонни, хотя, в общем-то, был только прожжен матрац да страшно перепуганы алжирцы, жившие в гостинице на улице Лагранж. Штраф (уже уплаченный), другой отель (уже найденный Тикой) — и выздоравливающий Джонни лежит в огромной роскошной кровати, пьет молоко ведрами и читает «Пари-матч» и «Нью-Йоркер», заглядывая в свой знаменитый (весьма потрепанный) томик поэм Дилана Томаса, весь испещренный карандашными пометками.

После этих новостей и коньяка в кафе на углу мы располагаемся в зале для прослушивания и ждем, когда пустят «Amour's» и «Стрептомицин». Арт просит погасить свет и растягивается на полу — так удобнее слушать. И вот врывается Джонни и швыряет нам свою музыку в лицо, — врывается, хотя и лежит в это время в отеле на кровати, и четверть часа крушит нас своей музыкой. Я понимаю, почему он яростно противится выпуску «Amour's», — можно уловить фальшивые ноты, дыхание, особенно слышное при концовке некоторых фраз, и, конечно же, дикий обрыв в финале, острый короткий скрежет: мне почудилось, что разорвалось сердце, что нож вонзился в хлеб (он ведь говорил недавно о хлебе). Но Джонни как раз и не ухватывает того, что нам кажется ужасающе прекрасным, — страстное томление, ищущее выхода в этой импровизации, где звуки мечутся, вопрошают, отчаянно стучатся в закрытую

дверь. Джонни вовек не понять (ибо то, что он считает своим поражением, для нас — откровение или по крайней мере проблеск нового), что его «Amour's» — одно из величайших джазовых творений. Художник, живущий в нем, всегда задыхался бы от ярости, слыша эту пародию на желанное самовыражение, на все то, что ему хотелось сказать, когда он боролся, раскачиваясь, как безумный, исходя слюной и музыкой, наедине, совсем наедине с тем, что он преследует, что ускользает от него, и тем быстрее, чем настойчивее он преследует. Да, интересно, это надо было услышать, ибо «Amour's» — это синтез его творчества, и я наконец понял, что Джонни не жертва, не преследуемый, как все думают, как я сам изобразил его в своей книге о нем (кстати сказать, недавно появилось английское издание, идущее нарасхват, как кока-кола), понял, что Джонни — сам преследователь, а не преследуемый, что все его срывы — это неудачи охотника, а не броски затравленного зверя. Никому не дано знать, за чем гонится Джонни, но преследование безудержно, оно во всем: в «Amour's», в дыму марихуаны, в его загадочных речах о всякой всячине, в болезненных срывах, в книжке Дилана Томаса; оно целиком захватило беднягу, который зовется Джонни, и возвеличивает его и делает живым воплощением абсурда, охотником без рук и ног, зайцем, стремглав летящим вслед за дремлющим тигром. И если говорить откровенно, при звуках «Amour's» у меня к горлу подкатывает тошнота, будто она помогает мне освободиться от Джонни, от всего того, что в нем бушует против меня и других, от этой черной бесформенной лавины, этого безумного шимпанзе, который водит своими пальцами по моему лицу и умиленно мне улыбается.

Арт и Дэдэ не увидели (я думаю, не хотели видеть) ничего, кроме формальной красоты «Amour's». Дэдэ даже больше понравился «Стрептомицин», где Джонни импровизирует со своей обычной легкостью, которую публика считает верхом исполнительского искусства, а я воспринимаю, скорее, как его презрение к форме, желание дать волю музыке, унести в неизведанное...

Позже, на улице, я спрашиваю Дэдэ, каковы планы Джонни. Она мне говорит, что, как только он выйдет из отеля (полиция его пока задерживала), будет выпущена новая серия пластинок с записью вещей по его выбору, и это даст большие деньги. Арт подтверждает, что у Джонни тьма великолепных идей и что, пригласив Марселя Гавоти, они «изобразят» что-нибудь новенькое вместе с Джонни. Однако последние недели показали, что сам Арт не очень-то верит в это, я знаю о его переговорах с од-

ним антрепренером насчет возвращения в Нью-Йорк. И прекрасно понимаю бедного парня.

— Тика просто прелесть,— с горечью говорит Дэдэ.— Конечно, для нее это легче легкого. Явиться под занавес, раскрыть кошелечек — и все улажено. А вот мне...

Мы с Артом переглянулись. Что можно ей ответить? Женщины всю свою жизнь крутятся вокруг Джонни и вокруг таких, как Джонни. И это не удивительно, и вовсе не обязательно быть женщиной, чтобы чувствовать обаяние Джонни. Самое трудное — вращаться вокруг него, не сбиваясь с определенной орбиты, как хороший спутник, как хороший критик. Арт не был тогда в Балтиморе, но я помню времена, когда познакомился с Джонни,— он жил с Лэн и детьми. На Лэн жалко было смотреть. Впрочем, когда поближе узнаешь Джонни, послушаешь его бред наяву, его рассказы о том, чего никогда и не случилось, испытаешь его внезапные приливы нежности, тогда нетрудно понять, почему у Лэн было такое лицо и почему у нее не могло быть другого выражения лица, когда она жила с Джонни. Тика — иное дело; ее спасает круговорот новых впечатлений, светская жизнь, а кроме того, ей удалось «ухватить доллар за хвост, а это поважнее, чем иметь в руках пулемет», — по крайней мере так говорит Арт Букайя, когда злится на Тику или страдает от головной боли.

— Приходите почаще,— просит меня Дэдэ.— Ему нравится болтать с вами.

Я с удовольствием отчитал бы ее за пожар (причина которого, безусловно, и на ее совести), но знаю — это пустой номер, все равно что уговаривать самого Джонни превратиться в нормального, полезного человека. Пока все налажилось. Любопытно, как только у Джонни дела налаживаются, я испытываю огромное удовлетворение (но и тревогу тоже). Я не так наивен, чтобы относить это лишь за счет дружеских чувств. Скорее, это для меня отсрочка, своего рода передышка. Но к чему искать объяснения, если я ощущаю это так же естественно, как, скажем, ощущаю нос на собственной физиономии. Меня бесит, что я один чувствую это и страдаю от этого. Меня бесит, что Арту Букайя, Тике и Дэдэ в голову не приходит одна простая мысль: когда Джонни мучается, сидит в тюрьмах, пытается покончить с собой, поджигает матрацы или бегаёт нагишом по коридорам отеля, он ведь как-то расплачивается и за них, гибнет за них, причем не зная об этом,— не в пример тем, кто произносит громкие слова на эшафоте или пишет книги, обличая людские пороки, или играет на фортепьяно с таким пафосом, будто очи-

щает мир от всех грехов. Да, не зная об этом, будучи всего-на-всего беднягой саксофонистом — хотя такое определение и может показаться смешным, — одним из множества бедняг саксофонистов.

Все правильно, но, если я буду продолжать в том же духе, я расскажу, пожалуй, больше о себе, чем о Джонни. Я начинаю казаться себе евангелистом, а это не доставляет мне никакого удовольствия. По пути домой я подумал, с цинизмом, необходимым для обретения веры, что правильно сделал, упомянув в книге о Джонни лишь походя, весьма осторожно о его патологических странностях. Абсолютно незачем сообщать публике, что Джонни верит в свои блуждания по полям с закрытыми урнами или что картины оживают, когда он на них смотрит, — словом, о его наркотических галлюцинациях, исчезающих, когда он выздоравливает. Но я не могу отделаться от чувства, что Джонни дает мне на хранение свои призрачные образы, рассовывая их по моим карманам, как носовые платки, чтобы востребовать в нужное время. И мне думается, я единственный, кто их хранит, копит и боится; и никто этого не знает, даже сам Джонни. В этом невозможно признаться Джонни, как вы признались бы действительно великому человеку, перед которым мы унижаемся, в надежде получить мудрый совет. И зачем только жизнь взвалила на меня такую ношу? Какой я, к черту, евангелист? В Джонни нет ни грама величия, я раскусил его с первого дня, как только начал восхищаться им. Сейчас меня уже не удивляет это отсутствие величия, хотя вначале и сбивало с толку, вероятно, потому, что с такой меркой можно подходить далеко не ко всякому человеку, тем более к джазисту. Не знаю почему (*не знаю почему*), но одно время я верил, что в Джонни есть величие, которое он день за днем разоблачает (или мы сами разоблачаем, а это не одно и то же, потому что — будем честны с собой — в Джонни словно таится призрак другого Джонни, каким он мог бы быть, и тот, другой Джонни велик; к нему как к призраку вроде бы неприменимы такие мерки, как величие, но тем не менее оно в нем странным образом чувствуется и проявляется).

Хочу добавить, что попытки, которые предпринимал Джонни, чтобы вырваться из тисков жизни — от неудачного покушения на самоубийство до курения марихуаны, — именно таковы, каких и следовало бы ожидать от человека, лишенного величия. Но мне кажется, поэтому я восхищаюсь им еще больше — ведь, по сути дела, он просто шимпанзе, который желает научиться

читать; бедняга, который бьется головой об стену, ничего не достигает и все равно продолжает биться.

Да, но, если однажды шимпанзе научится читать, это будет катастрофа, всемирный потоп и — спасайся, кто может, — я первый. Страшно, когда человек, отнюдь не великий, с таким упорством долбит лбом стену. Он обвиняет нас хрустом своих костей, повергает в прах своей музыкой. (Святые мученики или герои — ладно, от них знаешь, чего ждать. Но Джонни!)

Наваждение. Не знаю, как лучше выразиться, но иногда на человека накатывает какое-то жуткое или дурацкое наваждение, подвластное непостижимому закону, который распоряжается, чтобы после внезапного телефонного звонка, например, как снег на голову на вас свалилась сестра из далекой Оверни, или вдруг сбежало молоко, которое вы поставили на плиту, или, выйдя на балкон, вы увидели мальчишку под колесами автомобиля. И кажется, судьба, как в футбольных командах или правительственных органах, сама находит заместителя, если выбывает основная фигура. Так и этим утром, когда я еще наслаждался сознанием того, что Джонни Картер поправляется и утихомиривается, мне вдруг звонят в редакцию. Срочный звонок от Тики, а новость такова: в Чикаго только что умерла Би, младшая дочь Лэн и Джонни, и он, конечно, сходит с ума, и было бы хорошо, если бы я протянул друзьям руку помощи.

Я снова поднимаюсь по лестнице отеля — сколько лестниц я излезал за время своей дружбы с Джонни! — и вижу Тику, пьющую чай; Дэдэ, окунающую полотенце в таз; Арта, Делоне и Пепе Рамиреса, шепотом обменивающихся свежими впечатлениями о Лестере Янге, и Джонни, тихо лежащего в постели, мокрое полотенце на лбу и абсолютно спокойное, даже чуть презрительное выражение лица. Я тут же подальше прячу сочувственную мину, крепко жму руку Джонни, зажигаю сигарету и жду.

— Бруно, у меня вот здесь болит, — произносит через некоторое время Джонни, дотронувшись до того места на груди, где полагается быть сердцу. — Бруно, она белым камешком лежала у меня на руке. А я всего только бедная черная кляча, и никому, никому не осушить моих слез.

Он говорит торжественно, почти речитативом, Тика глядит на Арта, и оба понимающе кивают друг другу, благо на глазах Джонни мокрое полотенце и он не может их видеть. Мне всегда претит дешевое красноречие, но слова Джонни, если не гово-

рять о том, что подобное я где-то уже читал, кажутся мне мажской, которой он прикрывается,— так напыщенно и банально они звучат. Подходит Дэдэ с другим мокрым полотенцем и меняет ему компресс. На какой-то миг я вижу лицо Джонни — пепельно-серого цвета, с искаженным ртом и плотно, до морщин, сомкнутыми веками. И как всегда бывает с Джонни, случилось то, чего никто не ожидал, — Пепе Рамирес, который его очень мало знал, до сих пор не может опомниться от неожиданности или, я бы сказал, от скандальности происшедшего: Джонни вдруг садится в кровати и начинает браниться, медленно, смакуя каждое слово и влепяя его, как пощечину; он ругает тех, кто посмел записать на пластинку «Amour's», он ни на кого не глядит, но пригвозждает нас, как жуков к картону, отборными ругательствами. Так поносит он минуты две всех причастных к записи «Amour's», начиная с Арта и Делоне, потом меня (хотя я...) и кончая Дэдэ, поминает и всемогущего господа бога и... мать, которая, оказывается, родила всех без исключения.

А в сущности, эта тирада и та, про белый камешек, не более как зауспокойная молитва по его Би, умершей в Чикаго от воспаления легких.

Прошли две безалаберные недели: масса работы, газетные статьи, беготня — в общем, все то, без чего немислима жизнь критика, человека, который может жить только тем, что перепадет: новостями и чужими делами.

Беседуя об этом, сидим мы тихо-мирно как-то вечером — Тика, Малышка Леннокс и я — в кафе «Флор», напеваем «Далеко, далеко, не здесь» и обсуждаем соло на фортепьяно Билли Тейлора, который всем нам троим нравится, особенно Малышке Леннокс, которая, кроме всего прочего, одета по моде Сен-Жермен-де-Прэ и выглядит очаровательно. Малышка с понятным восхищением — ей ведь всего двадцать лет — взглянет затем на входящего Джонни, а Джонни будет смотреть на нее, не видя, и побредет дальше, вдребезги пьяный или словно во сне, пока не сядет за соседний пустой столик. Рука Тики ложится мне на колено.

— Смотри, опять накурился вчера вечером. Или сегодня днем. Эта женщина...

Я без особой охоты отвечаю, что Дэдэ не более виновата, чем любая другая, начиная с нее, с Тики, которая десятки раз курила вместе с Джонни и готова закурить снова хоть завтра,

будь на то ее святая воля. Мне нестерпимо захотелось уйти и остаться одному, как всегда, когда нельзя подступиться к Джонни, побыть с ним, около него. Я вижу, как он рисует что-то пальцем на столе, потом долго глядит на официанта, спрашивающего, что он будет пить. Наконец Джонни изображает в воздухе нечто вроде стрелы и как бы с трудом поддерживает ее обеими руками, будто она весит черт знает сколько. Люди за другими столиками начинают похихикивать, не скупясь на остроты, как это принято в кафе «Флор». Тогда Тика говорит: «Подонок», идет к столику Джонни и, отослав официанта шепчет что-то на ухо Джонни. Понятно, Малышка тут же выкладывает мне свои самые сокровенные мечты, но я деликатно даю ей понять, что сегодня вечером Джонни надо оставить в покое и что хорошие девочки должны рано идти бай-бай, желательно в сопровождении джазового критика. Малышка мило смеется, ее рука нежно гладит мои волосы, и мы спокойно разглядываем идущую мимо девицу, у которой лицо покрыто плотным слоем белил, а глаза и даже рот густо накрашены зеленым. Малышка говорит, что это, в общем, неплохо смотрится, а я прошу ее тихонько напеть мне один из блюзов, которые принесли ей славу в Лондоне и Стокгольме. Потом мы снова возвращаемся к мелодии «Далеко, далеко, не здесь», которая этим вечером привязалась к нам, как собака с мордой в белилах и с зелеными кругами около глаз.

Входят двое парней из нового квинтета Джонни, и я пользуюсь случаем, чтобы спросить их, как прошло вечернее выступление. И узнаю, что Джонни едва мог играть, но то, что он сыграл, стоило всех импровизаций некоего Джона Льюиса, если предположить, что он вообще способен импровизировать, ибо, как поясняет один из ребят, «у него всегда под рукой ноты, чтобы заполнить пустоту», а это уже не импровизация. Я меж тем спрашиваю себя, до каких пор продержится Джонни и, главное, публика, верящая в Джонни. Ребята от пива отказываются, мы с Малышкой остаемся одни, и мне не удается увильнуть от ее расспросов, и приходится втолковывать Малышке, которая действительно заслуживает свое прозвище, что Джонни больной и конченный человек, что парни из квинтета скоро по горло будут сыты такой жизнью, что все со дня на день может лопнуть, как это уже не раз бывало в Сан-Франциско, в Балтиморе и в Нью-Йорке.

Входят другие музыканты, играющие в этом квартале. Некоторые направляются к столику Джонни и здороваются с ним, но он глядит на них словно откуда-то издалека, с совершенно

идиотским выражением — глаза влажные, жалкие, по отвисшей губе текут слюни. Забавно в это время наблюдать за поведением Тики и Малышки: Тика, пользуясь своим влиянием на мужчин, с улыбкой и без лишних слов заставляет их отойти от Джонни; Малышка, выдыхая мне в ухо слова восхищения Джонни, шепчет, как хорошо было бы отвезти его в санаторий и вылечить, — и, в общем, только потому, что она ревнует и хочет сегодня же переспать с Джонни, но на сей раз это, судя по всему, невозможно, к моей немалой радости. Как нередко бывает во время наших встреч, я начинаю думать о том, что, наверно, очень приятно гладить бедра Малышки, и едва удерживаюсь, чтобы не предложить ей пойти вдвоем выпить глоточек в более укромном месте (она не захочет, и, по правде говоря, я тоже, потому что мысли об этом соседнем столике отравили бы все удовольствие). И вдруг, когда никто не подозревал, что такое может случиться, мы видим, как Джонни медленно встает, смотрит на нас, узнает и направляется прямо к нам, точнее, ко мне, так как Малышка в счет не идет. Подойдя к столику, он слегка, без всякой рисовки, наклоняется, словно желая взять жареную картофелину с тарелки, и начинает опускаться передо мною на колени. И вот он уже, без всякой рисовки, стоит на коленях и смотрит мне в глаза, и я вижу, что он плачет, и без слов понимаю, что Джонни плачет по маленькой Би.

Естественно, мое первое побуждение — поднять Джонни, не дать ему сделаться посмешищем, но в конечном итоге посмешищем становлюсь я, потому что никто не выглядит более жалким, чем тот, кто безуспешно старается сдвинуть с места другого человека, которому совсем неплохо на этом месте и который прекрасно чувствует себя в положении, занятом им по собственной воле.

Таким образом, завсегдатаи «Флор», обычно не тревожащиеся по пустякам, стали поглядывать на меня не слишком благожелательно. Большинство не знало, что этот коленопреклоненный негр — Джонни Картер, но все глядели на меня, как глядели бы на нечестивца, который, вскарабкавшись на алтарь, тербит Иисуса, пытаясь сдернуть его с креста. Первым пристыдил меня сам Джонни — молча обливаясь слезами, он поднял глаза и уставился на меня. Его взгляд и явное неодобрение публики вынудили меня снова сесть перед Джонни, хотя чувствовал я себя в тысячу раз хуже, чем он, и желал бы оказаться скорее у черта на рогах, нежели в кресле перед коленопреклоненным Джонни.

Финал оказался не таким уж страшным, хотя я не знаю, сколько прошло веков, пока все сидели в оцепенении, пока слезы катились по лицу Джонни, пока его глаза не отрывались от моих, а я в это время тщетно предлагал ему сигарету, потом закурил сам и ободряюще кивнул Малышке, которая, мне кажется, готова была провалиться сквозь землю или реветь вместе с ним. Как всегда, именно Тика спасла положение: со своим обычным спокойствием она вернулась за наш столик, придвинула к Джонни стул и положила ему руку на плечо, ни к чему, однако, не пригуждая. И вот Джонни встал и покончил наконец со всем этим кошмаром, приняв нормальную позу подсевшего к столу приятеля, для чего ему пришлось всего лишь распрямить колени, оторвать свой зад от пола (едва не сказал — креста, который, собственно, и мерещился всем) и опуститься на спасительно удобное сиденье стула. Публике надоело смотреть на Джонни, ему надоело плакать, а нам — отвратительно чувствовать себя. Мне вдруг открылась тайна пристрастия иных художников к изображению стульев; каждый стул в зале «Флор» неожиданно показался мне чудесным предметом, ароматным цветком, совершенным орудием порядка и олицетворением пристойности горожан...

Джонни вытаскивает платок, просит как ни в чем не бывало прощения, а Тика заказывает ему двойной кофе и поит его. Малышка тоже оказалась на высоте: коль скоро дело коснулось Джонни, она в мгновение ока распростилась со своей непроходимой глупостью и замурыкала «Мэмиз-блюз» с самым естественным видом. Джонни глядит на нее, и улыбка раздвигает его губы. Мне кажется, что Тика и я одновременно подумали о том, что образ Би постепенно тает в глубине глаз Джонни и он снова на какое-то время возвращается к нам, чтобы побыть с нами до своего следующего исчезновения. Как всегда, едва проходит момент, когда я чувствую себя побитым псом, превосходство над Джоппи делает меня снисходительным, я завязываю легкий разговор о том о сем, не вторгаясь в сугубо личные сферы (не дай бог Джонни опять сползет со стула и опять...). Тика и Малышка, к счастью, тоже вели себя как ангелы, а публика «Флор» обновляется каждый час, и новые посетители, сидевшие в кафе после полуночи, даже не подозревали о том, что тут было, хотя ничего особого и не было, если поразмыслить спокойно. Малышка уходит первой (она трудолюбивая девочка, эта Малышка, в девять утра ей надо репетировать с Фрэдом Каллендером для дневной записи); Тика, выпив третью рюмку коньяка, предлагает развезти нас по домам. Но Джонни говорит

«нет», он желает еще поболтать со мной. Тика относится к этому вполне благожелательно и удаляется, не преминув, однако, заплатить за всех, как и полагается маркизе. А мы с Джонни, выпив еще по рюмочке шартреза в знак того, что между друзьями все позволительно, отправляемся пешком по Сен-Жерменде-Прэ, так как Джонни заявляет, что ему надо подышать воздухом, а я не из тех, кто бросает друзей в подобных обстоятельствах.

По улице Л'Аббэ мы спускаемся к площади Фюрстенберг, вызвавшей у Джонни опасное воспоминание о кукольном театре, будто бы подаренном ему крестным, когда Джонни исполнилось восемь лет. Я спешу повернуть его к улице Жакоб, боясь, что он снова вспомнит о Би, но нет, кажется, Джонни на остаток сегодняшней ночи закрыл эту главу. Он шагает спокойно, не качаясь (иной раз я видел, как его швыряло на улице из стороны в сторону, и вовсе не из-за лишней рюмки: что-то не ладилось в мыслях), и нам обоим хорошо в теплоте ночи, в тишине улиц. Мы курим «Голуаз», ноги сами ведут к Сене, а на Кэ-де-Конти рядом с одним из жестианных ящиков букинистов случайное воспоминание или свист студента навевают нам обоим одну тему Вивальди, и мы напеваем ее с большим чувством и настроением, а Джонни говорит потом, что, если бы у него с собой был сакс, он всю ночь напролет играл бы Вивальди, в чем я тут же позволяю себе усомниться.

— Ну, поиграл бы еще немного Баха и Чарлза Айвса,— уступает Джонни.— Не понимаю, почему французов не интересует Чарлз Айвс? Знаешь его песни? Ту, о леопарде... Тебе надо знать песню о леопарде. Леопард...

И своим глуховатым тенором он начинает петь о леопарде— конечно, многие фразы ничего общего не имеют с Айвсом, но Джонни это вовсе не тревожит, и он уверен, что поет действительно хорошую вещь.

Наконец мы садимся на парапет, спиной к улице Жи-ле-Кёр, свесив ноги над рекой, и выкуриваем еще по сигарете, потому что ночь действительно великолепна. А потом, после сигарет, нас тянет выпить пива в кафе, и одна эта мысль доставляет удовольствие и Джонни и мне. Когда он впервые упоминает о моей книге, я почти не обращаю на его слова внимания, потому что он тотчас снова начинает болтать о Чарлзе Айвсе и о том, как его забавляет варьировать на разные лады темы Айвса в своих импровизациях для записи, о чем никто и не подозревает (ни сам Айвс, полагаю), но через какое-то время я мысленно возвращаюсь к его реплике о книге и пытаюсь направить разговор на интересующий меня вопрос.

— Да, я прочитал несколько страниц, — говорит Джонни. — У Тики много спорили о твоей книге, но я ничего не понял, даже названия. Вчера Арт принес мне английское издание, и тогда я кое-что посмотрел. Хорошая книжка, интересная.

Лицо мое принимает подобающее в таких случаях выражение: сама скромность, но не без достоинства, приправленная дозой любопытства, словно его мнение может открыть мне (мне, автору!) истинную суть моего произведения.

— Все равно как в зеркало смотришь, — говорит Джонни. — Сначала я думал, что, когда читаешь про кого-нибудь, это все равно как смотришь на него самого, а не в зеркало. Великие люди писатели, удивительные вещи творят. Вот, например, вся эта часть о происхождении «bebop»¹.

— Ничего особенного, я только в точности записал твой рассказ о Балтиморе, — говорю я, неизвестно почему оправдываясь.

— Ладно, пусть так, но только это все равно как в зеркало смотришь, — стоит на своем Джонни.

— Чего же тебе еще? Зеркало не искажает.

— Кое-чего не хватает, Бруно, — говорит Джонни. — Ты в этом больше разбираешься, ясное дело. Но мне думается, кое-чего не хватает.

— Только того, чего ты сам не досказал, — отвечаю я, немало уязвленный. Этот дикарь, эта обезьяна еще смеет... (Сразу захотелось поговорить с Делоне: одно такое безответственное заявление может свести на нет честный труд критика, который... — *Например, красное платье Лэн*, — говорит Джонни. Вот такие детали не мешает брать на заметку, чтобы включить в последующие издания. Это не повредит. — *Будто псиной пахнет*, — говорит Джонни. — *Только запах чего-то и стоит в этой пластинке*. Да, надо внимательно слушать и быстро действовать: если подобные, даже мелкие поправки станут широко известны, неприятностей не избежать. — *А урна посредине, самая большая, полная голубоватой пыли*, — говорит Джонни, — *так похожа на пудреницу моей сестры*. Пока все тот же бред; хуже, если он возьмется опровергать мои основные идеи, мою эстетическую систему, которую так восторженно... — *И кроме того, про jazz cool*² ты совсем не то написал, — говорит Джонни. Ого, настаораживаюсь я. Внимание!)

¹ «Бибоп», или «боп» (англ.), — стиль игры, характерный для «джаз хот».

² «Холодный джаз» (англ.) — одно из течений в джазовой музыке.

— Как это — не то написал? Конечно, Джонни, все меняется, но еще шесть месяцев назад ты...

— Шесть месяцев назад, — говорит Джонни, слезает с парашюта, ставит на него локти и устало подпирает голову руками. — «Six months ago»¹. Эх, Бруно, как бы я сыграл сейчас, если бы ребята были со мной... Кстати, здорово ты это написал: сакс, секс. Очень ловко играешь словами. Six months ago: six, sax, sex. Ей-богу, красиво вышло, Бруно, черт тебя дери, Бруно.

Незачем объяснять ему, что его умственное развитие не позволяет понять смысла этой невинной игры слов, передающих целую систему довольно оригинальных идей (Леонард Физер полностью поддержал меня, когда в Нью-Йорке я поделился с ним своими выводами), и что параэротизм джаза эволюционирует со времен «washboard»² и т. д. и т. п. Как всегда, меня опять развеселила мысль о том, что критики гораздо более необходимы обществу, чем я сам склонен признавать (в частных беседах и в своих статьях), потому что созидатели — от настоящего композитора до Джонни, — обреченные на муки творчества, постулировать основы и непреходящую ценность своего произведения или импровизации. Надо напоминать себе об этом в тяжелые минуты, когда терзаешься мыслью, что ты всего-навсего критик.

— Звезда называется «Полынь», — говорит Джонни, и теперь я слышу другой его голос, голос, когда он... Как бы это выразиться, как описать Джонни, когда он около вас, но его уже нет, он уже далеко? В беспокойстве слезаю с парашюта, вглядываюсь в него. Звезда называется «Полынь», ничего не поделаешь.

— Звезда называется «Полынь», — говорит Джонни в ладони своих рук. — И куски ее разлетятся по площадям большого города. Шесть месяцев назад.

Хотя никто меня не видит, хотя никто об этом не узнает, я с досадой пожимаю плечами для одних только звезд. (Звезда называется «Полынь»!) Мы возвращаемся к прежнему: «Это я играю уже завтра». Звезда называется «Полынь», и куски ее разлетятся шесть месяцев назад. По площадям большого города. Он ушел, далеко. А я зол, как сто чертей, всего лишь потому, что он не пожелал ничего сказать мне о книге, и, в общем, я

¹ Шесть месяцев назад (англ.).

² Стиральная доска (англ.), применялась в качестве джазового инструмента.

так ничего и не узнал, что он думает о моей книге, которую тысячи любителей джаза читают на двух языках (скоро будут и на трех — поговаривают об издании на испанском: в Буэнос-Айресе, видно, не только танго играют).

— Платье было потрясающее — говорит Джонни. — Не поверишь, как оно шло Лэн, но только лучше я расскажу тебе об этом за стаканом виски, если у тебя есть деньги. Дэдэ оставила мне какие-то несчастные триста франков.

Он саркастически смеется, глядя на Сену. Будто ему и без денег не достать спиртного и марихуаны. Он начинает толковать мне, что Дэдэ очень хорошая (а о книге — ничего!) и заботится о его же благе, но, к счастью, на свете существует добрый приятель Бруно (который написал книгу, но о ней — ничего!), и как хорошо было бы посидеть с ним в кафе в арабском квартале, где никогда никого не беспокоят, особенно если видят, что ты хоть каким-то боком относишься к звезде под названием «Польнь» (это уже подумал я, и мы вошли в кафе со стороны Сен-Северэна, когда пробило два часа ночи, в такое время жена моя обычно просыпается и вслух репетирует все, что выложит мне за утренним кофе).

Итак, мы сидим с Джонни, пьем отвратительный дешевый коньяк, заказываем еще и остаемся очень довольны. Но о книжке — ни слова, только пудреница в форме лебедя, звезда, осколки предметов попеременно с осколками фраз, с осколками взглядов, с осколками улыбок, брызгами слюны на столе и на стакане (стакане Джонни). Да, бывали моменты, когда мне хотелось бы, чтобы он уже перешел в мир иной. Думаю, в моем положении многие пожелали бы того же. Но можно ли смириться с тем, чтобы Джонни умер, унеся с собой то, что он не захотел сказать мне этой ночью, чтобы и после смерти он продолжал преследовать и убегать (я уже и не знаю, как выразиться), можно ли допустить такое, даже если бы мне пришлось поступиться карьерой ученого, авторитетом, уже обеспеченным неопровержимыми тезисами, и пышными похоронами...

Время от времени Джонни прерывает монотонное постукивание пальцами по столу, глядит на меня, корчит непонятные гримасы и снова принимается барабанить. Хозяин кафе знает нас еще с тех пор, когда мы приходили сюда с одним арабом-гитаристом. Бен-Айфа явно хочет спать — мы сидим совсем одни в грязном кабачке, пропахшем перцем и жареными на сале пирожками. Меня тоже клонит ко сну, но ярость отгоняет сон, глухая ярость, и даже не против Джонни, а против чего-то необъяснимого, — так бывает, когда весь вечер занимаешься лю-

бовью и чувствуешь: пора принять душ, стало тошно, совсем не то, что было вначале... А Джонни все отбивает пальцами по столу осточертевший ритм, иногда напевая и почти не обращая на меня внимания.

Похоже было, что он словом больше не обмолвится о книге. Нелепая жизнь кидает его из стороны в сторону: сегодня — женщина, завтра — новый скандал или поездка. Самым разумным было бы стащить у него английское издание, а для этого следует поговорить с Дэдэ и попросить ее оказать эту любезность — услуга за услугу. А впрочем, напрасная тревога, пустые волнения. Нечего было и ждать какого-либо интереса к моей книге со стороны Джонни; по правде говоря, мне и в голову никогда не приходило, что он может ее прочитать. Я прекрасно знаю, что в книге нет правды о Джонни (но и лжи тоже нет), в ней только говорится о музыке Джонни. Благоразумие и доброе к нему отношение не позволили мне показать читателям его неизлечимую пизофрению, мерзкий антимир наркомании, раздвоенность его жалкого существования. Я задался целью выделить основное, заострить внимание на том, что действительно ценно, — на неподражаемом искусстве Джонни. Стоило ли еще о чем-то говорить? Но может быть, именно здесь-то, думалось, он и подкарауливает меня, как всегда выжидая чего-то в засаде, притаившись, чтобы сделать затем свой дикий прыжок, который мог сшибить всех нас с ног. Да, наверно, здесь он и хочет поймать меня, чтобы потрясти весь эстетический фундамент, который я воздвиг для объяснения высшего смысла его музыки, для создания стройной теории современного джаза, принесшей мне славу и всеобщее признание. Честно говоря, какое мне дело до его внутренней жизни? Меня лишь одно тревожило — что он будет продолжать валять дурака, а я не могу (скажем, не желаю) описывать его сумасбродства, и что в конце концов он опровергнет мои основные выводы, заявит, что мои утверждения ложны и его музыка выражает совсем другое.

— Послушай, ты недавно сказал, что в моей книге кое-чего не хватает.

(Теперь — внимание.)

— Кое-чего не хватает, Бруно? Ах, да, я тебе сказал — кое-чего не хватает. Видишь ли, в ней нет не только красного платья Лэн. В ней нет... Может, в ней не хватает урна, Бруно? Вчера я их опять видел, целое поле, но они не были зарыты, и на некоторых надписи и рисунки, на рисунках здоровые парни в касках, с огромными палками в руках, совсем как в кино. Страшно идти между урнами и знать, что я один иду среди них

и чего-то ищю. Не горюй, Бруно, не так уж важно, что ты забыл написать про все это. Но, Бруно,— и он поднял вверх дрогнувший палец,— ты забыл написать про главное, про меня.

— Ну, брось, Джонни.

— Про меня, Бруно, про меня. И ты не виноват, что не смог написать о том, чего я и сам не могу сыграть. Когда ты там говоришь, что моя настоящая биография в моих пластинках, я знаю, ты всей душой в это веришь, и, кроме того, очень красиво сказано, но это не так. Ну ничего, если я сам не сумел сыграть как надо, сыграть себя, настоящего, то нельзя же требовать от тебя чудес, Бруно... Душно здесь, пойдем на воздух.

Я тащусь за ним на улицу, мы бредем куда глаза глядят. В каком-то переулке за нами увязывается белый кот, Джонни долго гладит его. Ну, думаю, хватит. На площади Сен-Мишель возьму такси, отвезу его в отель и отправлюсь домой. Во всяком случае, ничего страшного не случилось; был момент, когда я испугался, что Джонни выработал своего рода антитезу моей теории и испробует ее на мне, прежде чем поднять трезвон. Бедняга Джонни, ласкающий белого кота. В сущности, он только и сказал разумного, что никто ни о ком ничего не знает, а это далеко не новость. Любое жизнеописание подтверждает это, и так будет и впредь, черт побери! Пора домой, домой, Джонни, уже поздно.

— Не думай, что дело только в этом,— вдруг говорит Джонни, выпрямляясь, словно читая мои мысли.— Есть еще бог, дорогой мой. Вот тут ты и наплел ерунды.

— Пора домой, домой пора, Джонни, уже поздно.

— Есть еще то, что и ты и такие, как мой приятель Бруно, называют богом. Тюбик с зубной пастой — для них бог. Свалка барахла — для них бог. Жуткий страх — это тоже их бог. И у тебя еще хватило совести смешать меня со всем этим дерьмом. Наплел чего-то про мое детство, про мою семью, про какую-то древнюю наследственность... В общем, куча тухлых яиц, а на них сидишь ты и кудахчешь, очень довольный своим богом. Не хочу я твоего бога, никогда он не был моим.

— Но я только сказал, что негритянская музыка...

— Не хочу я твоего бога,— повторяет Джонни.— Зачем ты заставляешь меня молиться ему в твоей книжке? Я не знаю, есть ли этот бог, я играю свою музыку, я делаю своего бога, мне не надо твоих выдумок, оставь их для Махалии Джэксон и папы Римского, и ты сию же минуту уберешь эту ерунду из своей книжки.

— Ладно, если ты настаиваешь, — говорю я, чтобы что-нибудь сказать. — Во втором издании.

— Я так же одинок, как этот кот, только еще больше, потому что я это знаю, а он нет. Проклятый, оцарапал мне руку. Бруно, джаз не только музыка, я не только Джонни Картер.

— Именно так у меня и сказано и написано, что ты иногда играешь, словно...

— Словно мне в зад иглу воткнули, — говорит Джонни, и впервые за ночь я вижу, как он свирепеет. — Слова сказать нельзя — сразу ты переводишь на свой паскудный язык. Если я играю, а тебе чудятся ангелы, я тут ни при чем. Если другие разевают рты и орут, что я достиг вершины, я тут ни при чем. И хуже всего — это ты совсем упустил в своей книжке, Бруно, — что я ни черта не стою, вся моя игра и все хлопки публики ни черта не стоят, действительно ни черта не стоят!

Поистине редкостный прилив скромности, да еще в такой поздний час. Ох, этот Джонни...

— Ну как тебе объяснить? — кричит Джонни, схватив меня за плечи и сильно тряхнув раза три («La raix!»¹), — завизжали из какого-то окна. — Дело не в том, музыкально это или нет, здесь другое... Есть же разница между мертвой Би и живой Би. То, что я играю, — это мертвая Би, понимаешь? А я хочу, я хочу... И потому я иногда бью свой сакс вдребезги, а публика думает — я в белой горячке. Ну, правда, я всегда под мухой, когда так делаю; сакс-то, конечно, бешеных денег стоит.

— Идем, идем. Я возьму такси и отвезу тебя в отель.

— Ты — сама доброта, Бруно, — усмехается Джонни. — Мой дружок Бруно пишет в своей книжке все, что ему болтают, кроме самого главного. Я никогда не думал, что ты можешь так погибать, пока Арт не достал мне книгу. Сначала мне показалось, ты говоришь о ком-то другом: о Ронни или о Марселе, а потом — Джонни тут, Джонни там, значит, говорится обо мне, и я спросил себя: разве это я? Там и про меня в Балтиморе, и про Бэрдлэнд, и про мою манеру игры, и все такое... Послушай, — добавляет он почти холодно, — я не дурак и понимаю, что ты написал книгу для публики. Ну и хорошо, и все, что ты говоришь о моем стиле и моем чувстве джаза, на сто процентов о'кей. Чего ж нам еще спорить об этой книге? Мусор в Сене, вот, соломинка, плывущая мимо, — твоя книга. А я — вон та, другая соломинка, а ты — вот эта бутылка... плывет себе, кача-

¹ Теше (франц.).

ется туда-сюда... Бруно, я, наверно, так и умру, но никогда не найду... не...

Я поддерживаю его под руки и прислоняю к парапету. Он опять погружается в свои галлюцинации, шепчет обрывки слов, отплеивается.

— Не найду. — И повторяет: — Не найду...

— Что тебе хочется найти, братец? — говорю я. — Не надо желать невозможного. То, что ты нашел, хватило бы...

— Ну да, для тебя, — говорит Джонни с упрёком. — Для Арта, для Дэдэ, для Лэн... Ты знаешь, как это... Да, иногда дверь начинала открываться... Гляди-ка, соломинки поравнялись, заплясали рядом, закружились... Красиво, а?.. Начинала открываться, да... Время... Я говорил тебе, мне кажется, что эта штука время... Бруно, всю жизнь в своей музыке я хотел наконец приоткрыть эту дверь. Хоть немного, хоть щелку... Мне помнится, в Нью-Йорке, как-то ночью... Красное платье. Да, красное, ишло ей удивительно. Так вот, как-то ночью я, Майлз и Холл... Целый час, думаю, мы играли только для самих себя и были дьявольски счастливы... Майлз играл что-то поразительно прекрасное — я чуть со стула не свалился, а потом сам заиграл, закрыл глаза и полетел. Бруно, клянусь, я летел... И слышал, будто где-то далеко-далеко, но в то же время внутри меня или рядом со мной кто-то растёт... Нет, не кто-то, не так... Гляди-ка, бутылка заметалась, как чумовая... Нет, не кто-то, мне очень трудно это описать... Пришла какая-то уверенность, ясность, как бывает иногда во сне — понимаешь? — когда все хорошо и просто. Лэн и дочка ждут тебя с индейкой на столе, машина не наезжает на красный свет, и все катится гладко, как бильярдный шар. А я был словно рядом с собой, и для меня не существовало ни Нью-Йорка, ни, главное, времени... не существовало никакого «потом»... На какой-то миг было только «всегда». И невдомек мне было, что все это ложь, что так случилось из-за музыки, она меня унесла, закружила... И только кончил играть — ведь когда-нибудь надо было кончить, бедняга Холл уже доходил за роялем, — в этот самый миг я опять упал в самого себя...

Он всхлипывает, утирает глаза своими грязными руками.

Я же просто не знаю, что делать, уже поздно, с реки тянет сыростью, так легко простудиться.

— Мне кажется, я хотел летать без воздуха, — опять заборотал Джонни. — Кажется, я хотел видеть красное платье Лэн, но без Лэн. А Би умерла, Бруно. Должно быть, ты прав: твоя книжка, наверно, очень хорошая.

— Пойдем, Джонни, я не обижусь, если она тебе не по вкусу.

— Нет, я не про то. Твоя книжка хорошая, потому что... потому что ты не видишь урн, Бруно. Она все равно как игра Сачмо — чистенькая, аккуратная. Тебе не кажется, что игра Сачмо похожа на дешь ангела или на какое-то благодеение? А мы... Я сказал тебе, что мне хотелось летать без воздуха. Мне казалось... надо же быть таким идиотом... казалось, придет дешь — и я найду что-то совсем иное. Я никак не мог успокоиться, думал, что все хорошее вокруг — красное платье Лэн и даже сама Би — это словно ловушки для крыс, не знаю, как сказать по-другому... Крысоловки, чтобы никто никуда не рвался, чтобы, понимаешь, говорили — все на земле прекрасно. Бруно, я думаю, что Лэн и джаз, да, даже джаз, — это как рекламные картинки в журналах, чтобы я забавлялся красивыми штучками и был доволен, как доволен ты своим Парижем, своей женой, своей работой... У меня же — мой сакс... и мой секс, как говорится в твоей книжке. Броде бы все, что мне нужно. Ловушки, друг... должно же быть что-то другое; не может быть, чтобы мы стояли так близко, почти открыли дверь...

— Одно я тебе скажу — падо давать что можешь, — говорю я, чувствуя себя абсолютным дураком.

— И пока можно, заграбастывать премии «Даун бит», — кивает Джонни. — Да, конечно, да-да, конечно.

Потихоньку я подталкиваю его к площади. К счастью, на углу стоит такси.

— Все равно не хочу я твоего бога, — бормочет Джонни. — И не приставай ко мне с ним, не разрешаю. А если он взаправду стоит по ту сторону двери, печего туда соваться, будь он проклят. Невелика заслуга попасть на ту сторону, раз он может тебе открыть дверь. Вышибить ее ногами — это да. Разбить кулаками вдребезги, облить ее, мочиться на нее день и ночь. Тогда, в Нью-Йорке, я было поверил, что открыл дверь своей музыкой, но, когда кончил играть, этот проклятый захлопнул ее перед самым моим носом — и все потому, что я никогда ему не молился и в жизни не буду молиться, потому что знать не желаю этого продажного лакея, отворяющего двери за чаевые, этого...

Бедняга Джонни, он еще жалуется, что такие вещи не попадают в книги. А было уже три часа ночи, мать божья!

Тика вернулась в Нью-Йорк, Джонни вернулся в Нью-Йорк (без Дэдэ, которая прекрасно устроилась у Луи Перрона, многообещающего тромбониста). Малышка Леннокс вернулась в Нью-Йорк. Сезон в Париже выдался неинтересным, и я скучал по своим друзьям. Моя книга о Джонни имела успех, и, понятно, Сэмми Претцал заговорил о возможности ее экранизации в Голливуде — такая перспектива особенно приятна, если учесть высокий курс доллара по отношению к франку. Жена моя еще долго злилась из-за моего флирта с Малышкой Леннокс, хотя, в общем, ничего серьезного и не было: в конце концов, поведение Малышки более чем двусмысленно, и любая умная женщина должна понимать, что подобные знакомства не нарушают супружеской гармонии, уже не говоря о том, что Малышка уехала в Нью-Йорк с Джонни и даже, во исполнение своей давнишней мечты, на одном с ним пароходе. Наверно, уже курит марихуану с Джонни, бедная девочка, пропащее, как и он, существо. А грампластинка «Amour's» только что появилась в Париже, как раз в то время, когда уже совсем было готово второе издание моей книги и шел разговор о ее переводе на немецкий. Я много думал о возможных изменениях. Будучи честным, насколько позволяет моя профессия, — я спрашивал себя, стоит ли по-прежнему освещать личность моего героя. Мы долго обсуждали этот вопрос с Делоне и Одейром, но они, откровенно говоря, ничего нового не могли мне посоветовать, ибо считали, что книга моя превосходная и нравится публике. Мне казалось, оба они побаивались литературщины, эпизодов почти или совсем не имеющих отношения к музыке Джонни, по крайней мере к той, которую мы все понимаем. Мне казалось, что мнение авторитетных специалистов (и мое собственное решение, с которым глупо было бы не считаться в данной ситуации) позволяло оставить в неприкосновенности второе издание. Внимательный просмотр музыкальных журналов США (четыре репортажа о Джонни, сообщения о новой попытке самоубийства — на сей раз настоящей йода, — о промывании желудка и трех неделях в больнице, и затем выгуплении в Балтиморе как ни в чем не бывало) меня вполне успокоил, если не говорить об огорчении, причиненном этими досадными срывами. Джонни не сказал ни одного плохого слова о книге. Например (в «Стомпинг эраунд», музыкальном журнале Чикаго, в интервью, взятом Тедди Роджерсом у Джонни): «Ты читал, что написал о тебе в Париже Бруно В.?» — «Да. Очень хорошо написал». — «Что можешь сказать об этой книге?» — «Ничего. Написано очень хорошо. Бруно — великий человек». Оставалось выяс-

нить, что мог сболтнуть Джонни спяну или накурившись наркотиков, но, так или иначе, слухов о его выпадах против меня в Париж не дошло. И я решил оставить в неприкосновенности второе издание. Джонни изображен таким, каким он, по сути дела, и был: жалким бродягой с посредственным интеллектом, одаренным музыкантом — в ряду других талантливых музыкантов, шахматистов, поэтов, способных создавать шедевры, но не сознающих (вроде боксера, гордого собственной силой) грандиозности своего творчества. Очень многие обстоятельства побуждали меня сохранить именно такой портрет Джонни; незачем было идти против вкусов публики, которая обожает джаз, но отвергает музыкальный или психологический анализ. Публика требует полного и быстрого удовлетворения, а это значит пальцы, которые сами собой отбивают ритм; лица, которые блаженно расплываются; музыка, которая щекочет тело, зажигает кровь и учащает дыхание, — и баста, никаких мудрствований.

Сначала пришли две телеграммы (Делоне и мне, а вечером уже появились в газетах с глупейшими комментариями). Три недели спустя я получил письмо от Малышки Леннокс, не забывавшей меня: «В Бельвю его принимали чудесно, и я с трудом пробивалась к нему, когда он выходил. Жили мы в квартире Майка Руссо, который уехал на гастроли в Норвегию. Джонни чувствовал себя прекрасно и, хотя не желал выступать публично, согласился на грамзапись с ребятами из Клуба-28. Тебе могу сказать, что на самом деле он был очень слаб (после нашего парижского флирта я прекрасно понимаю, на что тут намекала Малышка) и по ночам пугал меня своими вздохами и стонами. Единственное мое утешение, — мило присовокупила Малышка, — что умер он спокойно, даже сам не заметил как. Смотрел телевизор и вдруг упал на пол. Мне сказали, что все произошло в один момент». Из этого можно заключить, что Малышки не было с ним рядом, — так и оказалось. Позже мы узнали, что Джонни жил у Тики, провел с ней дней пять, был в озабоченном и подавленном настроении, говорил о своем намерении бросить джаз, переехать в Мексику, быть ближе к земле (всех их тянет к земле в определенный период жизни — просто надоело!) и что Тика оберегала его и делала все возможное, чтобы успокоить и заставить подумать о будущем (так потом говорила Тика, будто она или Джонни хоть на секунду могли задуматься о будущем). На середине телепередачи, которая очень понравилась Джонни, он вдруг закашлялся, резко согнулся,

и т. д. и т. п. Я не уверен, что смерть была моментальной, как сообщила Тика полиции (стремясь выйти из весьма сложного положения, в каком она оказалась из-за смерти Джонни в ее квартире, из-за найденной у нее марихуаны, из-за прежних неприятностей, которых было немало у бедной Тики, а также не вполне благоприятных результатов вскрытия. Можно себе представить, что обнаружил врач в печени и в легких Джонни).

«Меня ужасно расстроила его смерть, хотя я могла бы тебе кое-что порассказать,— игриво продолжала эта прелестная Малышка,— но расскажу или напишу в другой раз, когда будет настроение (кажется, Роджерс хочет заключить со мною контракт на гастроли в Париже и Берлине), и ты узнаешь все, что должен знать лучший друг Джонни». Затем шла целая страница, посвященная Тике: маркиза была изрядно полита грязью. Если верить бедной Малышке, Тика была повинна не только в смерти Джонни, но и в нападении японцев на Пирл-Харбор, и в эпидемии черной оспы. Письмо заканчивалось следующим образом: «Чтобы не забыть, хочу сообщить тебе, что однажды в Бельвию он долго расспрашивал про тебя, мысли у него путались, и он думал, что ты тоже в Нью-Йорке, но не хочешь видеть его, все время болтал о каких-то полях, полных чего-то, а потом звал тебя и даже бранил, несчастный. Ты ведь знаешь, как он бредит в горячке. Тика сказала Бобу Карею, что последние слова Джонни были как будто бы: «О, слепи мою маску», но ты понимаешь, в такие минуты..» Еще бы мне не понимать. «Он очень обрюзг,— заканчивала Малышка свое письмо,— и при ходьбе сопел». Подробности в духе такой деликатной особы, как Малышка Леннокс.

Последние события совпали со вторым изданием моей книги, но, к счастью, я успел вставить в верстку нечто вроде некролога, сочиненного на ходу, а также фотографии похорон, где запечатлены многие известные джазисты. Таким образом, биография, можно сказать, приобрела законченный вид. Вероятно, мне не пристало так говорить, но я имею в виду, разумеется, только эстетическую сторону. Уже ходят слухи о новом переводе моей книги, кажется на шведский или норвежский. Моя жена в восторге от этой новости.

ДРУГОЕ НЕБО

Ces yeux ne t'appartiennent pas...
où les as tu pris? ¹

. IV, 5

1

Иногда я думал, что все скользит, превращается, тает, переходит само собой из одного в другое. Я говорю «думал», но, как ни глупо, надеюсь, что это еще случится со мной. И вот, хотя стыдно бродить по городу, когда у тебя семья и служба, я порой повторяю про себя, что, пожалуй, уже пора вернуться в свой квартал и забыть о бирже, где я служу, и, если немного повезет, встретить Жозиану и остаться у нее на всю ночь.

Бог знает, давно ли я это повторяю, и мне нелегко, ведь было время, когда все шло само собой, и, только задень плечом невидимый угол, попадешь неожиданно в тот мир. Пойдешь пройтись, как ходят горожане, у которых есть излюбленные улицы, и оказываешься чуть не всякий раз в царстве крытых галерей — не потому ли, что галереи и проулки были мне всегда тайной родиной? Например, галерея Гуэмес, место двойное, где столько лет назад я сбросил с плеч детство, словно старый плащ. Году в двадцать восьмом она была зачарованной пещерой, где неясные проблески порока светили мне сквозь запах мятных леденцов, и вечерние газеты вопили об убийствах, и горели огни у входа в подвал, в котором шли бесконечные ленты реалистов. Жозианы тех лет смотрели на меня насмешливо и по-матерински, а я, с двумя грошами в кармане, ходил, как взрослый, заломив шляпу, заложив руки в карманы, и курил, потому что отчим предрек мне умереть от сигарет. Лучше всего

¹ Эти глаза не твои... где ты их взял? (франц.)

я помню запахи, и звуки, и ожиданье, и жажду, и киоск, где продавали журналы с голыми женщинами и адресами мнимых маникюрш. Я уже тогда питал склонность к гипсовому небу галерей, к грязным окошкам, к искусственной ночи, не ведающей, что рядом — день и глупо светит солнце. С притворной небрежностью я заглядывал в двери, за которыми скрывались тайны тайн и лифт возносил людей к венерологам или выше, в самый рай, к женщинам, которых газеты зовут порочными. Там ликеры, лучше бы — зеленые, в маленьких рюмках, и льняные кимоно, и пахнет там, как пахнет из лавочек (на мой взгляд очень шикарных), сверкающих во мгле галерей непрерывным рядом витрин, где есть и хрустальные флаконы, и розовые лебеди, и темная пудра, и щетки с прозрачными ручками.

Мне и теперь нелегко войти в галерею Гуэмес и не растрогаться чуть насмешливо, вспомнив юные годы, когда я едва не погиб. Прелесть былого не тускнеет, и я любил бродить без цели, зная, что вот-вот войду в мир крытых галереек, где пыльная аптека влекла меня больше, чем витрины широких наглых улиц. Войду в Галери Вивьен или в Пассаж-де-Панорама, где столько тупичков и проулков, ведущих к лавке букиниста или к бюро путешествий, не продавшему ни билета; в маленький мир, выбравший ближнее небо, где стекла грязны, а гипсовые статуи протягивают вам гирлянду; в Галери Вивьен, за два шага от будней улицы Реомюра или биржи (я на бирже служу). Войду в мой мир — я и не знал, а он был моим, когда на углу Гуэмес я считал студенческие гроши и прикидывал, пойти мне в бар-автомат или купить книжку или леденцов в прозрачном фунтике, и курил, моргая от дыма, и трогал в глубине кармана пакетик с невинной этикеткой, приобретенный в аптеке, куда заходят одни мужчины, хотя и надеяться не мог пустить его в дело, слишком я был беден и слишком по-детски выглядел.

Моя невеста Ирма никак не поймет, почему я брожу в темноте по центру и по южным кварталам, а если б она знала, что особенно я люблю Гуэмес, она бы ужасно удивилась. Для нее, как и для матери, нет лучшего места, чем диван в гостиной, и лучшего занятия, чем кофе, ликер и то, что зовется беседой. Ирма — кротчайшая из женщин, я никогда не говорил ей о том, чем живу, и потому, наверное, стану хорошим мужем и хорошим отцом, чьи дети, кстати, скрасят старость моей матери. Наверное, так и узнал я Жозиану — нет, не только из-за этого, мы ведь могли встретиться и на бульваре Пуассоньер или на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар, а на самом деле мы впервые взглянули друг на друга в самых недрах Галери Вивьен, под сенью

гипсовых статуй, дрожащих в газовом свете (венки трепетали в пыльных пальцах муз), и я сразу узнал, что тут ее место и нетрудно ее встретить, если ты бываешь в кафе и знаком с кучерами. Может быть, это случайно, но мы встретились с ней, когда в мире высокого неба, в мире без гирлянд, шел дождь, и я счел это знаком и не подумал, что просто столкнулся со здешней девкой. Потом я узнал, что в те дни она не отходила от галереи, потому что снова пошли слухи о зверствах Лорана и ей было страшно. Страх придавал ей особую прелесть, она держалась почти робко, но не скрывала, что я ей очень нравлюсь. Помню, она глядела на меня и недоверчиво и пылко и распрямивала поравнодушней, а я не верил себе и радовался, что она живет тут же, наверху, и просил ее пойти к ней, а не в отель на улице Сантье, хотя там она многих знала и ей было бы спокойней. Потом она поверила, и мы смеялись ночью, что я мог оказаться Лораном. Мансарда была точь-в-точь как в дешевой книжке, а Жозиана так прелестна, и так боялась убийцы, пулавшего Париж, и прижималась ко мне, когда мы говорили о его злодействах.

Мать знает всегда, если я не спал дома, и, хотя ничего не скажет (это было бы глупо), дня два смотрит на меня то ли робко, то ли оскорбленно. Я понимаю прекрасно, что Ирме она не проговорится, но все ж надоело — материнский присмотр уже ни к чему, а еще досадней, что в конце концов я-то и явлюсь с цветком или с коробкой конфет, и само собой станет ясно, что ссора кончена и сын-холостяк снова живет, как люди. Жозиана радовалась, когда я описывал ей эти сцены, и там, в нашем царстве галереек, они стали своими так же просто, как их герой. Она, Жозиана, очень чтит семейные связи, и свойство, и родство; я не люблю говорить о своем, но о чем-то говорить надо, а все, о чем поведала она, было уже переговорено, вот мы и возвращались почти неизбежно к моим холостяцким затруднениям.

И это мне было тоже на руку, Жозиана любила галерейки — потому ли, что там жила, или потому, что там было тепло и сухо (мы познакомились в начале зимы, шел ранний снег, а в галереях у нас было весело и его не замечали). Мы ходили вдвоем, когда оставалось время, то есть когда один человек (она не хотела называть его) был улажен и отпускал ее поразвлекаться. Мы мало говорили о нем — я спрашивал, конечно, а она, конечно, лгала о деловых отношениях, и само собой подразумевалось, что он — хозяин, достаточно тактичный, чтобы не лезть на глаза. Потом я решил, что он рад, когда я хожу с Жозианой, потому что в те дни все особенно боялись: убийца снова

натворил дел на Рю д'Абукир, и она, бедняжка, не посмела бы уйти в темноте от Галери Вивьен. В сущности, мне полагалось благодарить и Лорана и хозяина, из-за этих страхов я бродил с Жозианой по переходам, заглядывал в кафе и все больше понимал, что становлюсь другом девушке, с которой, казалось бы, ничем и не связан. Мы говорили глупости, молчали и понемногу, постепенно убеждались в нашей нежной дружбе. Я привыкал к чистой маленькой каморке, так вписавшейся в галереи. Вначале я поднимался ненадолго, у меня не хватало денег на ночь, да и ее ждал другой, побогаче, и я ничего не успевал разглядеть, а позже дома, где единственной роскошью были журналы и серебряный чайник, вспоминал, и ничего не помнил, кроме самой Жозианы, и засыпал, словно она еще была в моих объятиях. Но с дружбой пришли и права; а может, Жозиана уговорила хозяина, и он разрешил ей оставлять меня на ночь, и комната стала заполнять перерывы наших не всегда легких бесед. Все куклы, все картинки, все безделушки поселились в моей памяти и помогали лгать, когда я возвращался домой и говорил с матерью или с Ирмой о политике и о болезнях.

Потом пришло и другое, например смутный абрис того, кого она звала американцем, но сперва всем владел страх перед тем, кто, если верить газетам, звался Лораном-душителем. Если я решаюсь вспомнить Жозиану, я вижу, как мы входим в кафе на Рю-де-Женер, садимся на малиновый плюш, здороваемся с друзьями, и сразу всплывает Лоран, все только о нем и говорят, а я утомился за день от работы и от того, что на бирже, в перерывах, коллеги и клиенты тоже говорили о его последнем злодействе, и я думал теперь, кончится ли этот тяжкий сон, будет ли снова так, как, по моим представлениям, было здесь прежде (хотя тогда я тут не был), или жутким забавам нет конца. А хуже всего — говорю я Жозиане, спросив грогу, который так нужен в снег, — хуже всего, что мы его не знаем и зовем Лораном, потому что одна ясновидящая узрела в своем стеклянном шаре, как убийца писал кровавыми пальцами собственное имя, а газеты не хотят перечить тому, во что верит народ. Жозиана не глупа, но никто не убедит ее, что злодея зовут иначе, и нечего спорить с ней, когда, испуганно мигая синими глазами, она смотрит как бы невзначай на молодого человека, высокого и сутулого, который вошел в кафе и, не здороваясь ни с кем, прислонился к стойке.

— Может быть... — прерывает она мое наспех придуманное утешение, — а подниматься мне одной. Если ветер задует свечу, когда я буду на лестнице... Темно, я одна...

— Ты редко идешь одна,— смеюсь я.

— Вот тебе смешно, а бывает, особенно в снег или в дождь, идешь под утро...

Она расписывает, как он притаился на площадке или, не дай господь, в комнате (дверь он открыл всесильной отмычкой). За соседним столом вздрагивает Кики, и ее нарочитый крик отдается в зеркалах. Нас, мужчин, очень веселит этот кокетливый страх, и мы снисходительно и важно охраняем подружек. Хорошо курить трубку в кафе, когда дневная усталость растворяется в вине и в дыму, а женщины хвастают шляпками, боа и смеются пустякам; хорошо целовать Жюзиану, хотя она задумчиво глядит на пришельца, почти мальчика, который стоит спиной к нам и мелкими глотками пьет абсент, опираясь на стойку. А все же удивительное дело: подумаешь о Жюзиане (я всегда вспоминаю ее в кафе, снежным вечером, за разговором об убийце), и тут же в памяти явится тот, кого она звала американцем, и стоит спиной к ней, и пьет абсент. Я тоже зову его американцем или аргентинцем, она убедила меня, что он откуда, ей говорила Рыжая, та с ним спала еще до того, как они с Жюзианой поругались, кому на каком углу стоять или когда стоять, и зря, они ведь очень дружат. Так вот, Рыжая сказала, что он ей сам признался, иначе и не угадаешь: у него совсем нет акцента. Сказал он, когда раздевался,— кажется, снимал ботинки,— надо же, в конце концов, о чем-то говорить.

— Вот, он какой, совсем мальчишка. Правда, как из школы, только высокий? А ты бы послушал Рыжую!..— Жюзиана всегда сплетала пальцы, когда рассказывала страшное, и расплетала, и сплетала снова. Она поведала мне о его требованиях (не особенно, впрочем, странных), об отказе Рыжей и о том, как угрюмо он ушел. Я спросил, приглашал ли он ее. Нет, как можно, ведь все знают, что они с Рыжей — подруги. Он сам тут живет, про всех слышал, и, пока она говорила, я посмотрел на него снова и увидел, как он платит за абсент, бросает монетку на свиное блюдо, а нас (будто мы исчезли на бесконечный миг) окидывает пристальным пустым взглядом, словно застрял в сновиденьях и не хочет проснуться. Он был молод и хорош, но от такого взгляда волей-неволей вспоминались жуткие слухи об убийствах. Я тут же сказал об этом ей.

— Кто, он? Ты спятил! Да ведь Лоран...

К несчастью, никто ничего не знал, хотя и Кики и Альбер помогали нам для потехи обсуждать разные версии. Подозрение наше рухнуло, когда хозяин, слышавший все разговоры, вспомнил, что кое-что о Лоране известно: он может задружить одной

рукой. А этот сопляк... куда ему! Да и вообще поздно, пора идти, мне хотя бы, потому что Жозиану ждет в мансарде тот, другой, по праву владеющий ключом, и я провожу ее один пролет, чтобы не боялась, если погаснет свеча, и я вдруг устал, и смотрел, как она идет, и думал, что она, наверное, рада, а мне сказала неправду, и потом я вышел на скользкий тротуар, под снег, и пошел куда глаза глядят, и вышел вдруг на дорогу, и сел в трамвай, где люди читали вечерние газеты или глядели в окошко, словно хоть что-то увидишь в такой тьме, в этих кварталах.

Не всегда удавалось мне дойти до галереек или застать Жозиану свободной. Иногда я просто бродил по проулкам, разочарованно слонялся, убеждаясь понемногу, что и ночь — моя возлюбленная. В час, когда загорались газовые рожки, наше царство оживало, кафе обращалось в биржу досуга и радости, и люди жадно пили хмельную смесь заката, газет, политики, прусаков, бегов и страшного Лорана. Я любил выпивать понемногу то там, то сям, спокойно поджидая, когда на углу галерейки или у витрины встанет знакомый силуэт. Если она была не одна, она давала мне понять (у нас был знак), когда освободится; иногда же только улыбалась, и я уходил бродить по галереям. В такие часы я исследовал и узнал самые дальние углы Галери Сент-Фуа, к примеру, и недра Пассажа-дю-Каир, но, хотя они нравились мне больше, чем людные улицы (а были и такие — Пассаж-де-Прэнс, Пассаж-Верде), хотя они нравились мне больше, я, сам не знаю, как, любым путем приходил к Галери Вивьен не только ради Жозианы, но и ради надежных решеток, обветшалых фигур и темных закоулков галереи Пассажа-де-Пти-Пэр, ради всего этого мира, где не надо думать об Ирме и распределять время и можно плыть по воле случая и судьбы. Мне не за что зацепиться памятью, и я не скажу, когда же именно мы снова заговорили об американце. Как-то я увидел его на углу Рю-Сен-Мар. Он был в черном плаще, модном лет за пять до того (тогда их носили с высокой широкополой шляпой), и мне захотелось спросить его, откуда он родом. Однако я представил себе, как холодно и злобно принял бы такой вопрос я сам, и не подошел. Жозиана сказала, что зря, — наверное, он был ей интересен, она обижалась за своих и вообще страдала любопытством. Она вспомнила, что ночи две назад вроде бы видела его у Галери Вивьен, хотя он там бывал нечасто.

— Не нравится мне, как он смотрит, — говорила она. — Раньше я и внимания не обращала, но когда ты сказал про Лорана...

— Да я шутил! Мы сидели с Кики и Альбером, а он ведь

шпик, сама знаешь. Он бы непременно сообщил. За голову Лорана хорошо заплатят.

— Глаза нехорошие, — твердила она. — Смотрит в сторону, а все как есть видит. Подойдет ко мне — убегу, истинный крест.

— Мальчишки испугались! А может, по-твоему, мы, аргентинцы, вроде обезьян?

Все знают, чем кончаются такие беседы. Мы пили грог на Рю-де-Женер и, пройдясь по галереям, заглянув в театры на бульваре, поднимались к ней, а там смеялись до упаду. Были недели (нелегко мерить время, если счастлив), когда мы смеялись постоянно, даже глупость Бадэнге¹ и угроза войны смешала нас. Просто глупо, что такая гадость, как Лоран, мог унять наше веселье, — но так было. Он убил еще одну женщину на Рю-Борегар, совсем рядом, — и мы в кафе приуныли, и Марта, прибежавшая, чтоб крикнуть нам новость, зашла в истерику, и мы кое-как проглотили душивший нас ком. В тот вечер полиция прочесала квартал, все кафе, все отели, Жозиана пошла за хозяином, и я отпустил ее, потому что тут была нужна высочайшая помощь. На самом же деле все это сильно меня огорчало — галерейки не для того, совсем не для того, — и я пил с Кики, а потом с Рыжей, которая хотела помириться через меня с Жозианой. У нас пили много, и в жарком облаке, в винном чаду, в гуле голосов мне почудилось, что ровно в полночь американец сел в угол и заказал абсент — как всегда, изящно, рассеянно и странно. Я пресек откровенности Рыжей и сказал, что сам все знаю, вкус у него неплохой, ругать не за что; она замахнулась в шутку, и мы еще смеялись, когда Кики снизошла и сообщила, что бывала у него. Пока Рыжая еще не впиалась в нее поготками вопроса, я спросил, как же он живет, какая у него комната. «Большое дело — комната!» — бросила Рыжая, но Кики снова нырнула в мансарду на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар и, словно плохой фокусник, извлекала из памяти серую кошку, груды исписанной бумаги, большой рояль, и опять бумаги, и снова кошку, которая, должно быть, осталась лучшим воспоминанием.

Я не мешал ей, и глядел в тот угол, и думал, что, в сущности, очень просто подойти и сказать что-нибудь по-испански. Потом я чуть не встал (и до сих пор, как многие, не знаю, почему я не решился), но остался с девицами, и закурил новую трубку, и спросил еще вина. Не помню, что я чувствовал, когда поборол свое желание, — тут был какой-то запрет, мне казалось, что я вступаю в опасную зону. И все же я так жалею, что не

¹ Бадэнге — прозвище Наполеона III.

пошел, словно это могло меня спасти. От чего спасти, в сущности? От этого: тогда б я не думал теперь все время, без перерыва, почему же я не встал, и знал бы другой ответ, кроме беспрерывного куренья, дыма и ненужной смутной надежды, которая идет со мной по улицам, как шелудивый пес.

2

Où sont-ils passés, les becs de gaz?
Que sont-elles devenues, les vendeuses
d'amour? ¹

. VI, 1

Понемногу я убедился, что времена пошли плохие и, пока Лоран и пруссаки так сильно нас тревожат, в галереях уже не будет, как было. Мать, наверное, поняла, что я сдал, и посоветовала принимать таблетки, а Ирмины родители (у них был домик на острове) пригласили меня отдохнуть и пожить здоровой жизнью. Я отпросился на полмесяца и неохотно поехал к ним, заранее злясь на солнце и москитов. В первую же субботу под каким-то предлогом я вырвался в город и пошел, как по волнам, по размякшему асфальту. От этой глупой прогулки осталось все же хотя бы одно хорошее воспоминание: когда я вошел в галерею Гуэмес, меня окутал запах кофе, крепкого, почти забытого, — в галереях пили слабый, подогретый. Я обрадовался и выпил две чашки без сахара, смакуя, обжигаясь и нюхая. Потом, до вечера, все пахло иначе: во влажном воздухе, словно вода в колодцах, стояли запахи (я шел домой — обещал матери поужинать с ней вместе), и с каждым колодцем запах был резче, злее, пахло мылом, табаком, кофе, типографией, мате, пахло зверски, и солнце с небом тоже становились все злей и суше. Не без досады я забыл о галереях на несколько часов, а когда возвращался через Гуэмес (неужели это было в те полмесяца? Наверное, я спутал две поездки, а в сущности, это неважно), тщетно ждал, что мне в лицо ударит радостный аромат кофе. Запах стал обычным, сменился сладковатой вонью опилок и несвежего пива, сочащейся из здешних баров, — быть может, потому что я снова хотел встретить Жюзиану и даже надеялся, что страх и снегопады наконец кончились. Кажется, в те дни я понял хоть немного, что все пошло иначе, однако желания тут мало, и прежний ритм не вынесет меня к Галери Вивьен, а может, я просто вернулся на остров, чтобы не расстроить Ирму, — зачем ей знать, что единственный мой отдых

¹ Куда они девались, газовые рожки? Что стало с ними, торговавшими любовью? (*франц.*)

совсем не с ней? Потом опять не выдержал, уехал в город, ходил до изнеможенья, рубашка прилипла к телу, я пил пиво и все чего-то ждал. Выходя из последнего бара, я увидел, что, завернув за угол, попаду туда, к себе, и обрадовался, и устал, и смутно почувствовал, что дело плохо, потому что страх тут по-прежнему царил, судя по лицам, по голосу Жозианы, стоявшей на своем углу, когда она жалобно хвасталась, что сам хозяин обещал защищать ее. Помню, между двумя поцелуями я мельком увидел его в глубине галереи, в длинном плаще, зацципавшем от мокрого снега.

Жозиана была не из тех, кто укоряет, что ты долго не был, и я задумывался порой, замечает ли она время. Мы вернулись под руку к Галери Вивьен и поднялись наверх, но позже поняли, что нам не так хорошо, как раньше, и решили, должно быть, что это из-за здешних тревог: война была неизбежна, мужчины шли в армию (она говорила об этом важно, казенными словами, с почтеньем и восторгом невежды), люди боялись, злились, а полиция никак не могла поймать Лорана. Чтоб утешиться, казнили других, например отравителя, о котором болтали в кафе на Рю-де-Женер, когда еще не кончился суд; но страх рыскал по галереям, ничего не изменилось с нашей встречи, даже снег шел, как тогда.

Чтоб развлечься, мы пошли погулять, холода мы не боялись, ей надо было показать новое пальто на всех углах, где ее подруги ждали клиентов, дую на пальцы и грея руки в муфтах. Мы не часто ходили вот так по бульварам, и я подумал, что среди витрин все же как-то спокойней. Когда мы ныряли в переулок (ведь надо показать пальто и Франсине и Лили), становилось страшней, но наконец обновку все посмотрели, и я предложил пойти в кафе, и мы побежали по Рю-де-Круассан, и свернули обратно, и спрятались в тепле, среди друзей. К счастью, о войне в этот час подзабыли, никто не пел грязноватых куплетов о пруссаках, было так хорошо сидеть с полным бокалом, недалеко от печки, и случайные гости ушли, остались только мы, свои хозяину, здешние, и Рыжая просила у Жозианы прощенья, и они целовались, и плакали, и даже дарили что-то друг другу. Мы были как бы сплетены в гирлянду (позже я понял, что гирлянды бывают и траурные), за окном шел снег, бродил Лоран, мы сидели в кафе допоздна, а в полночь узнали, что хозяин ровно пятьдесят лет простоял за стойкой. Это надо было отпраздновать; цветок сплетался с цветком, бутылки множились, их ставил хозяин, мы почитали его дружбу и усердие, и к трем часам пьяная Кики пела опереточные арии, а Жозиана

и Рыжая, обнявшись, рыдали от счастья и абсента, и, не обращая на них внимания, Альбер вплетал новый цветок, предложив отправиться в Рокет¹, где ровно в шесть казнили отравителя, и хозяин растрогался, что полвека беспорочной службы увенчиваются столь знаменательно, и обнимался с нами, и рассказывал о том, что жена его умерла в Лангедоке, и обещал нанять фиакры.

Потом пили еще, вспоминали матерей и детство, ели луковый суп, сваренный на славу Рыжей и Жозианой, пока Альбер и я обнимались с хозяином, клялись в вечной дружбе и грозили пруссакам. Наверное, суп и сыр охладили нас — мы как-то притихли, и нам было не по себе, когда запирали кафе, гремя железом, и холод всей земли поджидал нас у фиакров. Нам бы лучше поехать вшестером, мы б согрелись, но хозяин жалел лошадей и посадил в первый фиакр, с собой вместе, Рыжую и Альбера, а меня поручил Кики и Жозиане, которые, как он сказал, были ему вроде дочек. Мы посмеялись над этим с кучерами и отошли немного, пока фиакр пробирался к Попэнкуру и кучер усердно делал вид, что гонит вскачь, понукает коней и даже стегает их кнутом. Из каких-то неясных соображений хозяин настоял, чтобы мы остановились поодаль, и, держась за руки, чтоб не поскользнуться, мы поднялись пешком по Рю-дела-Рокет, слабо освещенной редкими рожками, среди теней, которые в полоске света оборачивались цилиндрами, или фиакром, или людьми в плащах и сливались в глубине улицы с большой и черной тенью тюрьмы. Скрытый, ночной мир толкался, делился вином, смеялся, взвизгивал, шутил, и наступало молчанье, или вспыхивал трут, вырывая лица из мрака, а мы пробирались, стараясь держаться вместе, словно знали, что только так мы искупим свой приход. Гильотина стояла на пяти каменных опорах, и слуги правосудия неподвижно ждали меж нею и каре солдат, державших ружья с примкнутым штыком. Жозиана впиалась мне ногтями в руку и так тряслась, что я хотел повести ее в кафе, но их тут не было, а она ни за что не соглашалась уйти. Держа под руку меня и Альбера, она подпрыгивала, чтоб рассмотреть машину, и снова впиалась мне в рукав и наконец, схватив меня за шею, пригнула мою голову и поцеловала меня, укусила в истерике, бормоча то, что я редко от нее слышал, и я на миг возгордился, словно получил над ней власть. Истым ценителем был один Альбер; он курил сигару и, чтоб убить время, наблюдал за церемонией, прикидывая, что будет делать преступник в последний момент и что происходит в тюрьме (он откуда-то это знал). Сперва я жадно слу-

¹ Парижская тюрьма.

шал, узнавал все детали ритуала, но постепенно, медленно, от-туда, где нет ни его, ни Жозианы, ни праздника, что-то надвигалось на меня, и я все больше чувствовал, что я один, что все не так, что под угрозой мой мир галереек, нет, хуже — все мое здешнее счастье только обман, пролог к чему-то, ловушка среди цветов, словно гипсовая статуя дала мне мертвую гирлянду (я еще вечером думал, что все сплетается), дала венок, и я понемногу скольжу из невинного опьянения галереи и мансарды в ужас, в снег, в угрозу войны, туда, где хозяин справляет юбилей и зябнут на заре фиакры и Жозиана, вся сжавшись, прячет лицо у меня на груди, чтоб не видеть казни. Мне показалось (решетки дрогнули, и офицер дал команду), что это, по сути, конец, сам не знаю чего, ведь жить я буду, и ходить на биржу, и видеться с Жозианой, Альбером и Кики. Тут Кики стала колотить меня по плечу, повернувшись к приоткрывшимся решеткам, и мне пришлось взглянуть туда, куда глядела она и удивленно и насмешливо, и я увидел чуть не рядом с хозяином сутуловатую фигуру в плаще, и узнал американца, и подумал, что и это вплетается в венок, словно кто-то спешит доплести его до зари. А больше я не думал — Жозиана со стоном прижалась ко мне, и там, в большой тени, которую никак не могли разогнать две полоски света, падавшие от газовых рожков, забелела рубашка между двумя черными силуэтами. Белое пятно поплыло, исчезло, возникло, а над ним то и дело склонялся еще один силуэт и обнимал его, или бранил, или тихо говорил с ним, или давал что-то поцеловать, а потом отошел, и пятно чуть приблизилось к нам в рамке черных цилиндров, и вдруг что-то стали делать ловко, словно в цирке, и, отделившись от машины, его схватили какие-то двое, и дернули, будто сорвали с плеч ненужное пальто, и толкнули вперед, и кто-то глухо крикнул — то ли Жозиана у моей груди, то ли само пятно, скользившее вниз в черной машине, где что-то двигалось и грело. Я подумал, что Жозиане дурно, она скользила вдоль меня, словно еще одно тело падало в небытие, и я поддерживал ее, а ком голосов рассыпался последними аккордами мессы, грянул в небо орган (заржала лошадь, почуяв запах крови), и толпа понесла нас вперед под крики и команды. Жозиана плакала от жалости, а я видел поверх ее шляпы растроганного хозяина, гордого Альбера и профиль американца, тщетно пытавшегося разглядеть машину, — спины солдат и усердных чиновников закрывали ее, видны были только пятна, блики, полоски, тени в мельканье плащей и рук, все спешили, все хотели выпить, согреться, выпастся, и мы хотели того же, когда ехали в тесном фиакре к себе в

квартал и говорили, кто что видел, и успели между Рю-де-ла-Рокет и биржей все сопоставить, и поспорить, и удивиться, почему у всех по-разному, и похвастаться, что ты и видел, и держался лучше, и восхищался последней минутой, не то что наши робкие подражки.

Не удивительно, что мать сокрушалась о моем здоровье и сетовала откровенно на мое безразличие к бедной Ирме, которое, на ее взгляд, могло поссорить меня с влиятельными друзьями покойного отца. На это я молчал, а через день-другой приносил цветок или уцененную корзиночку для шерсти. Ирма была помягче — должно быть, она верила, что после брака я снова буду жить, как люди; и сам я был педальек от этих мыслей, хоть и не мог расстаться с надеждой на то, что там, в царстве галереек, страх схлынет и я не буду искать защиты дома и понимать, что защиты нет, как только мама печально вздохнет, а Ирма протянет мне кофе, улыбаясь хитрой улыбкой невесты. В те дни у нас царила одна из бесчисленных военных диктатур, но всех волновала больше угроза мировой войны, и всякий день в центре собирались толпы, чтоб отметить продвижение союзников и освобождение европейских столиц. Полиция стреляла в студентов и женщин, торговцы опускали железные шторы, а я, застрявши в толпе у газетных стендов, думал, когда же меня доконает многозначительная улыбка Ирмы и биржевая жара, от которой мокнет рубаха. Я чувствовал теперь, что мирок галереек не цель и не венец желаний. Раньше я выходил, и вдруг на любом углу все могло закружиться почти незаметно, и я попадал без усилий на Плас-де-Виктуар, откуда так приятно нырнуть в переулок, к пыльным лавочкам, а если повезет — оказывался в Галери Вивьен и шел к Жозиане, хотя, чтоб себя помучить, любил пройтись для начала по Пассаж-де-Панорама и Пассаж-де-Прэнс и, обогнув биржу, прийти кружным путем. А теперь в галерее Гуэмес даже не пахло кофе мне в утешенье (несло опилками и щепоком), и я чувствовал смутно, что мир галереек не пристань, и все же верил еще, что смогу освободиться от Ирмы и от службы и найти без труда угол, где стоит Жозиана. Я всегда хотел вернуться — и перед газетными витринами, и среди приятелей, и дома, в садике, а больше всего вечером, когда там загорались на улице газовые рожки. Но что держало меня около матери и Ирмы — быть может, я знал, что в галерейках меня уже не ждут, страх победил. Словно автомат, входил я в банки и в конторы, терпеливо покупал акции и продавал и слушал, как цокают копыта и полицейские стре-

ляют в толпу, славящую союзников, и так мало верил в освобождение, что, очутившись в мире галереек, даже испугался. Раньше я не чувствовал себя таким чужим; чтобы оттянуть время, я нырнул в грязный подъезд и, глядя на прохожих, впервые привыкал заново к тому, что казалось мне прежде моим: к улицам, фиакрам, перчаткам, платьям, снегу во двориках и гомону в лавках. Наконец стало снова светло, и я нашел Жозиану в Галери Кольбер, и она целовала меня, и прыгала, и сказала, что Лорана уже нет, и в квартале всякий вечер это празднуют, и все спрашивают, куда я пропал, как же не слышал, и снова прыгала, и целовала. Никогда я не желал ее так сильно, и никогда нам не было лучше под крышей, до которой я мог дотянуться из постели. Мы шутили, целовались, радостно болтали, а в мансарде становилось все темнее. Лоран? Такой курчавый, из Марселя, он трус, он заперся на чердаке, где убил еще одну женщину, и жалобно просил пощады, пока полицейские взламывали дверь. Его звали Поль, мерзавца, нет, ты подумай — еще и трус, убил девятую женщину, а когда его тащили в тюремную карету, вся здешняя полиция стояла (правда, без особой охоты), а то б его убила толпа. Жозиана уже привыкла, погребла его в памяти, не сохранившей деталей, но мне и того хватало, я просто не верил, и только ее радость убедила меня наконец, что Лорана нет и мы сможем ходить по переулкам, не опасаясь подъездов. Это надо было отметить, и, раз еще и снега не было, Жозиана повела меня на танцы к Пале-Рояль, где мы не бывали при Лоране. Когда, распевая песни, мы шли по Рю-де-Пти-Шан, я обещал ей повести ее попозже на бульвары, в кабаре, а потом — в наше кафе, где за бокалом вина я искуплю свое отсутствие.

Несколько недолгих часов я пил из полной чаши здешнего, счастливого времени, убеждаясь, что страх ушел и я вернулся под мое небо, к гирляндам и статуям. Танцуя в круглом зале у Пале-Рояль, я сбросил с плеч последнюю тяжесть межвременья и вернулся в лучшую жизнь, где нет ни Ирминой гостиницы, ни садика, ни жалких утешений Гуэмес. И позже, болтая с Кики, Жозианой и хозяином и слушая о том, как умер аргентинец, и позже я не знал, что это отсрочка, последняя милость. Они говорили о нем насмешливо и небрежно, словно это здешний курьез, проходная тема, и о смерти его в отеле упомянули мимоходом, и Кики затрещала о будущих балах, и я не сразу мог расспросить ее подробней, сам не пойму зачем. Все ж кое-что я узнал, например его имя, самое французское, которое я тут же забыл; узнал, как он свалился на одной из улиц Мон-

мартра, где у Кики жил друг; узнал, что он был один, и что горела свеча среди книг и бумаг, и друг его забрал kota, а хозяин отеля сердился, потому что ждал тестя и тещу, и лежит он в общей могиле, и никто о нем не помнит, и скоро будут балы на Монмартре, и еще — взяли Поля-марсельца, и пруссаки совсем зарвались, пора их проучить. Я отрывался, как цветок от гирлянды, от двух смертей, таких симметричных на мой взгляд, — смерти американца и смерти Лорана, — один умер в отеле, другой растворился в марсельце, и смерти сливались в одну и стирались навсегда из памяти здешнего неба. И ночью я думал еще, что все пойдет как раньше, до страха, и обладал Жозианой в маленькой мансарде, и мы обещали друг другу гулять вместе летом и ходить в кафе. Но там, внизу, было холодно, и угроза войны гнала на биржу, на службу к девяти утра. Я переломил себя (я думал тогда, что это нужно), и перестал думать о вновь обретенном небе, и, проработав весь день до тошноты, поужинал с матерью, и рад был, что она довольна моим состоянием. Всю неделю я бился на бирже, забегал домой сменить рубашку и снова промокал насквозь. На Хиросиму упала бомба, клиенты совсем взбесились, я бился, как лев, чтоб спасти обесцененные акции и найти хоть один верный курс в мире, где каждый день приближал конец войны, а у нас еще пытались поправить непоправимое. Когда война кончилась и в Буэнос-Айресе хлынули на улицу толпы, я подумал, не взять ли мне отпуск, но все вставали новые проблемы, и я как раз тогда обвенчался с Ирмой (у матери был припадок, и семья, не совсем напрасно, винила в том меня). Я снова и снова думал, почему же, если там, в галереях, страха больше нет, нам с Жозианой все не приходит время встретиться снова и побродить под нашим гипсовым небом. Наверное, мне мешали и семья и служба, и я только иногда ходил для утешенья в галерею Гуэмес, и смотрел вверх, и пил кофе, и все неуверенней думал о вечерах, когда я сразу, не глядя, попадал в мой мир и находил Жозиану в сумерках, на углу. Я все не хотел признать, что венок сплетён и я не встречу ее ни в проулках, ни на бульварах. Несколькими днями я думаю про американца и, нехотя о нем вспоминая, утешаюсь немного, словно он убил и нас с Лораном, когда умер сам. Я разумно возражаю сам себе — все не так, я спутал, я еще вернусь в галерею, и Жозиана удивится, что я долго не был. А пока я пью мате, слушаю Ирму (ей в декабре рожать) и думаю довольно вяло, голосовать мне за Перона или за Тамборини, или бросить пустой бюллетень, или остаться дома пить мате и смотреть на Ирму или на цветы в садике.

ВОССОЕДИНЕНИЕ

Я вспомнил старый рассказ Джека Лондона, в котором герой, прислонившись к дереву, готовится достойно встретить смерть.

Эрнесто Че Гевара, «Горы и равнина», Гавана, 1961

Все было хуже некуда, но по крайней мере мы избавились от проклятой яхты, от блевотины, качки и раскропившихся волглых галет, от пулеметов, молчавших в присутствии наших до омерзения заросших щетиною лиц, когда утеху мы черпали лишь в крохах чудом неподмокшего табака — Луису (чьё настоящее имя вовсе не Луис, но мы дали клятву забыть, как нас зовут, пока не наступит решающий день), так вот, Луису пришла в голову блестящая мысль хранить табак в жестянке из-под консервов; мы открывали ее так осторожно, будто она кишела скорпионами. Но какой там к лешему табак или даже глоток рома в чертовой посудине, что моталась пять дней, словно пьяная черепаха, остервенело сопротивляясь трепавшему ее норду, туда-сюда по волнам. Мы до мяса ободрали себе руки ведрами, вычерпывая воду, меня дожимала астма — дьявол бы ее подрал, — и половина из нас корчилась от приступов рвоты, словно их резали пополам. У Луиса во вторую ночь даже пошла какая-то зеленая желчь, а он себе знай смеется, и тут еще из-за норда мы потеряли из виду маяк на Кабо Крус — беда, какой никто не предвидел. Называть это «операцией по высадке» было все равно, что еще и еще извергать желчь, только от злости. Зато какое же счастье покинуть шаткую палубу, что бы ни ждало нас на суше — мы знали, что нас ждет, а потому не слишком волновались, — и как на грех, в самую неподходящую минуту над головой жужжит самолет-разведчик — что ему сделаешь? Топашь себе по трясине или что там под ногами, увязнув

по грудь, обходя илистые выпасы и мангровые заросли, а я-то как последний идиот тащу пульверизатор с адреналином, чтобы астма не мешала идти вперед; Роберто нес мой «спрингфилд», стараясь облегчить мне путь по топи (если только это была топь — многим приходило в голову, что мы сбились с пути и вместо твердой земли припвартовались к какой-нибудь отмели миль в двадцати от нашего острова...), и вот так, на душе паршиво, только паршивыми словами и ругаться; все смешалось, и мы испытывали и неизъяснимую радость, и бешенство из-за передряги, которую устраивали нам самолеты; и что еще ждет нас на шоссе, если мы когда-нибудь туда дойдем, если мы действительно на прибрежной трясине, а не кружим как ошалелые по глинистому бугру, потерпев полное поражение — к ехидному злорадству Павиана в гаванском дворце.

Никто уже не помнит, сколько все это продолжалось, мы измеряли время прогалинами в зарослях высокой травы, участками, где нас могли расстрелять с бреющего полета; отдаленный вопль слева от меня испустил, должно быть, Роке (его я могу назвать подлинным именем — жалкий скелет среди лиан и жаб), но дело было в том, что от всех наших планов осталась лишь конечная цель — добраться до гор и воссоединиться с Луисом, если и ему удастся прибыть туда; остальное распалось в прах от норда, высадки наудачу, болот. Но будем справедливы, хоть одно получилось по плану — атаки вражеской авиации. Их предусмотрели и вызвали, и они не заставили себя ждать. И хотя мое лицо еще морщилось от боли из-за выкрика Роке, привычка относиться ко всему с иронией помогала мне смеяться (астма душила меня еще пуще, и Роберто нес мой «спрингфилд», чтобы я мог носом вдыхать адреналин, носом — почти у края жижи, заглатывая больше тины, нежели лекарства); ведь если самолеты атакуют нас здесь, значит, мы не перепутали место высадки, в наихудшем случае мы отклонились на несколько миль, но за выпасами обязательно откроется шоссе, а за ним — равнина во всю ширь и первая гряда холмов на севере. Была известная пикантность в том, что неприятель с воздуха подтверждал правильный ход нашей операции.

Прошло бог весть сколько времени, стемнело, и мы вшестером очутились под худосочными деревьями, впервые почти на сухой почве, жуя чуть влажный табак и раскисшие галеты. Ни-

каких вестей о Луисе, Пабло, Лукасе; тоже где-то бредут, быть может, уже мертвы, во всяком случае — такие же неприкаянные и вымокшие до нитки, как мы. Но меня согревало особое чувство оттого, что с концом этого по-лягушачьи прожитого дня мысли вставали в строй, а стало быть, смерть, более близкая, чем когда-либо, не будет уже шальной пулей на болоте, но разыгранной по всем правилам и в совершенстве оркестрованной партией. Неприятель, должно быть, держал под контролем шоссе, оцепив трясину, ожидая, что мы появимся по двое или по трое, измотанные голодом среди топи и населяющих ее тварей. Теперь все было видно как на ладони, и четыре стороны света будто лежали у меня в кармане; смех разбирал чувствовать себя таким живым и бодрым в преддверии эпилога. Я с особым удовольствием бесил Роберто, декламируя ему на ухо стихи старикана Панчо, а ему они казались очень плохими. «Хоть бы глину с себя счистить», — жаловался Лейтенант. «Или всласть покурить» (кто-то слева, не знаю кто, его растворила в себе заря). Организовали агонию: выставили часовых, спали по очереди, жевали табак, сосали разбухшие, как губка, галеты. Никто не заговаривал о Луисе — страх, что его убили, был хуже любого врага, ибо смерть Луиса сразила бы нас сильнее всякого преследования, нехватки оружия или ран на ногах. Я немного поспал, пока Роберто стоял на часах, но перед сном я подумал, что все наши действия в эти дни были слишком безумными, чтобы теперь вдруг допустить возможность убийства Луиса. Каким-то образом безумие должно продолжаться, дойти до конца — конец этот, может быть, окажется победой, и в нашей абсурдной игре, где даже оповещали врага о высадке, не было места для утраты Луиса. Я, кажется, подумал также, что, если мы победим, если нам удастся соединиться с Луисом, тогда лишь начнется игра всерьез — искупление необузданного и опасного, но необходимого романтизма. Перед тем как я погрузился в сон, мне привиделся Луис — возле дерева, а мы все стояли вокруг; Луис медленно поднес руку к лицу, а потом снял свое лицо словно маску. С лицом в руке он подошел к своему брату Пабло, ко мне, к Лейтенанту, к Роке — протягивая его нам, прося надеть. Но все по очереди отказывались, и я тоже отказался, улыбаясь сквозь слезы, и тогда Луис снова приладил лицо на место, и я увидел на этом лице бесконечную усталость, а он пожал плечами и достал из кармана гуаяберы¹ сигару. С медицинской точки зрения все ясней ясного — галлюцинация

¹ Гуаябера — одежда кубинских крестьян, род короткой куртки.

на грани яви и сна, спровоцированная лихорадкой. Но если Луиса и впрямь убили во время высадки, то кто поднимется в горы с его лицом? Мы все попытаемся подняться туда, но никто — с лицом Луиса, никто, кто смог бы или захотел принять облик Луиса. «Диадохи¹, — подумал я в полусне. — Но с диадохами все полетело в тартарары, это известно».

Хотя то, о чем я рассказываю, случилось уже довольно давно, некоторые подробности так врезались мне в память и так живо стоят перед глазами, что говорить о них можно лишь в настоящем времени — будто все еще лежишь навзничь на пастбище, под деревом, защищающим тебя от открытого неба. Это третья ночь, но на рассвете сегодняшнего дня мы пересекли шоссе, невзирая на картечь и джипы. Теперь надо снова ждать рассвета, потому что нашего проводника убили и мы заблудились; надо найти крестьянина, который привел бы нас туда, где можно купить немного еды — при слове «купить» я едва удерживаюсь от смеха, и астма снова меня душит, но и здесь, как и во всем другом, никому не придет в голову оказать неповиновение Луису — за еду надо платить, но сначала объяснить местным жителям, кто мы и зачем сюда нагрянули. Вы бы видели лицо Роберто — в заброшенной хижине на горном хребте, — как он сунул пять песо под тарелку в обмен на жалкую пищу, которая нам досталась и была вкусней манны небесной, вкусней обеда в отеле «Ритц», если только там взаправду вкусно кормят. Меня так лихорадит, что приступ астмы проходит — нет худа без добра, — но я снова думаю о выражении лица Роберто, когда он оставлял пять песо в пустой хижине, и хохочу так, что снова задыхаюсь и проклиная себя. Надо бы поспать, Тинти заступает на караул, ребята отдыхают, сбившись в кучу, я отошел подальше — мне сдается, что я беспокою их кашлем и хрипами в груди, а кроме того, я преступаю запрет: два-три раза за ночь мастерю из листьев экран, прикрываю им лицо и закурываю сигару, чтобы хоть чуточку скрасить свою жизнь.

По сути, хорошим в этот день было лишь одно — неведение насчет Луиса; в остальном — дело дрянное: из восьмидесяти человек нас полегло по крайней мере пятьдесят или шестьдесят; Хавиер был убит одним из первых, Перуанцу вырвало глаз, и несчастный три часа боролся со смертью, а я ничем не мог по-

¹ Диадохи — военачальники и преемники Александра Македонского, разделившие между собой его империю в эллинистический период.

мочь — даже прикончить его, когда отвернутся остальные. Весь день мы дрожали от страха, как бы какой-нибудь связной (к нам прокрались трое, под самым носом у неприятеля) не принес нам известие о смерти Луиса. В конце-то концов лучше ничего не знать, думать, что Луис жив, сохранять надежду. Я хладнокровно взвесил все возможности и сделал вывод, что его убили; мы все его знаем, знаем, как этот сорвиголова способен, не хорясь, выйти навстречу врагу с пистолетом в руке, а уж те, кто отстал, пусть поторопятся! Нет, ведь Лопес о нем позаботится, он как никто другой умеет уговорить Луиса, обмануть почти как ребенка, убедить, что надо подавить неразумный порыв и выполнять свой долг. Да, но если и Лопес... Ни к чему так взвинчивать себя, нет никаких оснований для подобных предположений, и к тому же — какой подарок судьбы этот покой, это блаженство лежать, запрокинув лицо к небу, словно все идет как по маслу, как задумано (я, дурак, чуть не подумал: «Завершилось»), в точности по планам. Это все от лихорадки или от усталости, или же нас всех раздавят, как жаб, еще до восхода солнца. Но теперь надо пользоваться этой неправдоподобной передышкой, наслаждаться созерцанием рисунка, который вычерчивают ветви дерева на бледном небе с пригоршней звезд, поворачивать глаза вслед за прихотливым узором ветвей и листьев, следить за ритмом их встреч, соприкосновения и расставаний — а иной раз они мягко меняют положение, когда порывы бурного ветра с болота колышут кроны. Я думаю о моем сынишке, но он далеко, за тысячи километров, в стране, где он сейчас еще спит в постели, и образ его кажется мне нереальным, он тает и теряется в листьях дерева, а взамен я с глубоким счастьем вспоминаю моцартовскую тему, которая всегда звучала у меня в душе: первая часть «Охотничьего» квартета, переход улюлюканья загонщиков в нежные голоса скрипок, транспонировка дикого занятия в чистое духовное наслаждение. Я думаю о музыке, повторяю ее, мурлычу про себя и в то же время чувствую, как мелодия и узор древесной купы на небе сближаются, тянутся друг к другу, пока узор внезапно не становится зримой мелодией, ритмом, источаемым нижней веткой, почти над самой моей головой; а потом — кружево взмывает кверху и распускается, словно веер из живых побегов; а партия второй скрипки — это вон та хрупкая веточка, что накладывается на соседнюю, чтобы слить свою листву с какой-то точкой справа, у конца музыкальной фразы, и дать ей завершиться — пусть глаз скользнет вниз по стволу и можно будет, если хочешь, повторить мелодию. Но вся эта музыка в

то же время наше восстание, то, что мы совершаем, хоть здесь вроде бы ни при чем ни Моцарт, ни природа; мы тоже на свой лад хотим транспонировать безобразную войну в такой порядок вещей, который придаст ей смысл и оправданье, приведет в конечном счете к победе, и победа эта будет как бы торжеством мелодии — после стольких лет надсадно хриплого охотничьего рога; победа будет тем аллегро в финале, каким словно вспышкой света сменяется адажио. Ох, и веселился бы Луис, знай он, что я сейчас сравниваю его с музыкой Моцарта, вижу, как он мало-помалу упорядочивает эту нелепицу, возводит ее к первопричине, которая своей очевидностью сводит на нет все преходящие благоразумные рассуждения. Но какое же горькое, какое отчаянное дело дирижировать людьми поверх грязи и картечи, какая неблагоприятная задача прясть нить такой песни — ведь мы ее считали неосуществимой. Песни, которая завяжет дружбу с кроной деревьев, с землей, возвращенной ее сынам. Да, это лихорадка. И как бы хохотал Луис, хоть и он любил Моцарта, это мне известно...

В конце концов я усну, но прежде доберусь до вопроса, сумеем ли мы в один прекрасный день перейти от музыкального отрывка, где все еще звучит улюлюканье охотников, к обретенной широте и полноте адажио, а потом — к ликующему аллегро финала, которое я напеваю под сурдинку. Окажемся ли мы в состоянии достичь примирения с уцелевшими враждебными силами? Надо нам быть, как Луис, не подражать ему, но быть, как он, безоглядно отринуть ненависть и месть, смотреть на врага, как смотрит Луис — с непреклонным великодушием, приводившим мне столько раз на память (но разве такое кому-нибудь скажешь?) образ Вседержителя, судьи, который сначала ставит себя на место обвиняемого и свидетеля и, строго говоря, не судит, но просто отделяет твердь от хляби, дабы в конце концов, когда-нибудь, родилась человеческая родина — в трепетном рассвете, на краю более чистого времени.

Но какое уж тут адажио, если с первыми проблесками зари на нас ринутся со всех сторон и надо будет отказаться от продвижения на северо-восток и пробираться по плохо разведанному району, тратя последние боеприпасы, пока Лейтенант — еще с одним товарищем — не зацепится за гребень горы и оттуда не укоротит им малость лапы и даст нам с Роберто время перенести раненного в бедро Тинти и поискать другую, более защищенную высоту, где можно продержаться до ночи. Они ни-

когда не шли в атаку ночью, хотя у них были сигнальные ракеты и прожекторы; их словно охватывал страх, что превосходство в оружии, которого они не берегли и не считали, теперь им не поможет, но до ночи еще был целый длинный день, и нас оставалось всего пятеро против этих храбрецов, травивших нас, чтобы ублажить Павиана, а тут еще самолеты то и дело пикировали на лесные прогалины, безжалостно уродуя пулеметными очередями рощи пальм.

Через полчаса Лейтенант прекратил огонь и присоединился к нам — мы едва волочили ноги. Никто и думать не мог бросить Тинти — нам слишком хорошо была известна участь пленных, мы думали, что здесь, на этом склоне, в этих зарослях колючего кустарника, мы расстреляем последние патроны. Любопытно было обнаружить, что регулярные войска, сбитые с толку промахом авиации, штурмовали высоту довольно далеко на восток от нас; и тогда мы, недолго думая, взобрались на гору по адски крутой тропе и через два часа вышли на почти голую вершину, где зоркий глаз одного нашего товарища высмотрел пещеру, спрятанную в высокой траве, и мы, отдуваясь, остановились, подумав о возможности вынужденного отступления прямо на север, со скалы на скалу — опасный путь, но зато на север, к Сьерра-Маэстре, куда, возможно, уже прибыл Луис.

Пока я оказывал помощь потерявшему сознание Тинти, Лейтенант мне сказал, что на рассвете, незадолго до атаки регулярных войск, он слышал пальбу из автоматов и пистолетов на запад от нас. Это мог быть Пабло со своими парнями, а пожалуй, что и сам Луис. Мы достоверно знали, что уцелевшие при высадке разделены на три группы и, возможно, группа Пабло не так уж далеко от нас. Лейтенант спросил, не стоит ли нам с наступлением темноты предпринять попытку пробиться к Пабло.

— Чего спрашиваешь, если сам уже решил лезть под пули? — ответил я. Мы осторожно уложили Тинти на подстилку из сухой травы, в самой прохладной части пещеры, и курили отдыхая. Двое других товарищей стояли на часах у входа.

— Уж ты придумаешь, — сказал Лейтенант, весело поглядывая на меня. — Для меня такие прогулочки одно удовольствие, дружиче.

Так мы посидели немного, подбадривая шутками Тинти — у бедняги начался бред, — и, когда Лейтенант уже собирался уходить, явился Роберто с каким-то горцем и четвертью туши жареного козленка. Мы глазам своим не верили и ели этого коз-

ленка так, будто он был бесплотным призраком; даже Тинти пожевал кусочек — через два часа он отдал его обратно вместе с жизнью. Горец принес весть о смерти Луиса; мы от этого не прервали завтрак, но, видит бог, соли было слишком много для такой малости мяса... Сам крестьянин не видел, как убили Луиса, но старший сын его — также примкнувший к нам и вооруженный старым охотничьим ружьем — входил в отряд, который помогал Луису и еще пяти товарищам под шквалом картечи перейти вброд реку; парень утверждал, что Луиса ранило, когда он почти добрался до берега — добраться до ближайших кустов он не успел. Крестьяне вскарабкались в горы — которые знали как свои пять пальцев, — и с ними двое из отряда Луиса, они придут ночью, с оружием убитых и боеприпасами.

Лейтенант закурил еще сигару и вышел распорядиться насчет бивака, а также ближе познакомиться с новичками; я был около Тинти — он медленно отходил, почти без мук. Итак, Луиса нет в живых, козленок — пальчики оближешь, этой ночью нас станет девять или десять, и боеприпасов хватит, чтобы продолжать борьбу. Эдакие вот новости. То было своего рода хладнокровное безумие, которое, с одной стороны, пахидило подкрепление, однако лишь для того, чтобы одним махом стереть всякое будущее, стереть разумное основание этого безрассудства, завершившегося вестью о смерти Луиса и привкусом жареного козленка во рту. Во мраке пещеры, медленно покуривая сигару, я ощутил, что не могу сию минуту позволить себе роскошь принять как должное смерть Луиса; я мог только оперировать этой вестью как фактом, неотъемлемым от плана боевых операций, ибо если и Пабло убит, то волей Луиса командующим стану я, и это было известно и Лейтенанту и всем товарищам, так что мне ничего не останется, как принять командование и привести отряд в горы и продолжать драться, как будто ничего не случилось. Я закрыл глаза, и мое давешнее видение повторилось — на миг мне померещилось, будто Луис расстался со своим лицом и протягивает его мне, а я обеими руками отталкиваю его, защищая свое, и говорю: «Нет, Луис, пожалуйста, не надо», а когда я открыл глаза, Лейтенант уже вернулся и смотрел на тяжело дышавшего Тинти, и я услышал от Лейтенанта, что к нам только что примкнули два парня из леса — одна хорошая новость за другой, и жареные бататы, походная аптечка (а регулярные-то на восточных отрогах себе блуждают!), и в пятидесяти метрах от нас — изумительный гор-

ный источник. Но Лейтенант мне в глаза не глядел, угрюмо жевал сигару и, кажется, ждал, чтобы сказал что-нибудь я, чтобы я первый завел разговор о Луисе.

Потом — словно черный провал в памяти; кровь ушла из Тинти, а Тинти ушел от нас, горцы предложили его похоронить, а я остался в пещере, отдыхая, хотя тут нестерпимо воляно блевотиной и холодным потом; и забавно — я стал неотвязно думать о моем лучшем друге в те давние времена, еще до цезуры в моей жизни, которая оторвала меня от родины и швырнула за тысячу километров к Луису, к этой высадке на острове, к этой пещере. Приняв во внимание разницу во времени, я представил себе, как в эту минуту, в среду, мой друг входит в свой врачебный кабинет, вешает шляпу на вешалку, бегло просматривает почту. Это не была галлюцинация — я просто вспоминал те годы, что мы прожили так близко друг от друга, разделяя вкусы в политике, женщинах и книгах, ежедневно встречаясь в больнице; каждый его жест, каждую гримасу я знал наизусть, и это были не только его жесты, его гримасы — они заключали в себе весь мой тогдашний мир: меня самого, мою жену, моего отца, пламенные передовицы моей газеты, мой полуденный кофе с дежурными коллегами и мое чтение, мои фильмы и мои идеалы. Я спросил себя, что обо всем этом подумал бы мой друг — о Луисе или обо мне, и на лице его как будто проступил ответ (да, но вот это уже лихорадка, надо принять хинин), на сытом, самодовольном лице, именно таком, какое приличествует опытному хирургу, уверенно держащему в руке скальпель, на лице, загрюнтованном — как холст — отличной жизнью и превосходными книжными изданиями. Даже рот не надо открывать, чтобы сказать мне: «Я думаю, что твоя революция — просто...» В этом не было абсолютно никакой необходимости, так и следует, эти люди не могли принять перемену, которая обнаруживала подлинную цену их дешевого милосердия в часы больничного приема, их регламентированной филантропии в складчину, их добродушия среди своих, их показного антирасизма в салонах, пока кто-нибудь не соберется замуж за мулату... их католицизма при ежегодных солидных дивидендах и пышных праздниках на украшенных флагами площадях, их «розовой» литературы, их любви к фольклору в дорогих пронумерованных изданиях и к мате из серебряной виролы¹, их собра-

¹ Вирола — металлический сосуд с трубкой для питья мате.

ний коленопреклоненных чинуш, их идиотского и неизбежного загнивания (хинину бы, хинину, и опять эта астма!). Бедный друг, мне так было его жаль — как остолоп защищает ложные ценности, которым придет конец на его веку или, в лучшем случае, на веку его детей: защищает феодальное право собственности и неограниченного богатства, когда у самого лишь врачебный кабинет да добротный обставленный дом; защищает церковь, когда буржуазный католицизм его жены вынуждает его искать утешения в объятиях любовниц; защищает мнимую свободу личности, когда полиция оцепляет университеты, цензура душист печать,— и защищает все это из страха, из ужаса перед переменой, из скептицизма и недоверия — единственных живых божеств в его несчастной пропащей стране! Вот о чем я думал, когда вбежал Лейтенант и крикнул, что Луис жив — жив, черт бы его подрал,— что только что с ним установлена связь: он пришел в высокогорный район с пятьюдесятью гуахино, они в низине захватили у попавшего в окружение батальона прорву оружия, и мы обнимались как ошалелые и говорили слова, за которые потом бывает стыдно до бешенства, но ведь и это, и жареный козленок, и продвижение вперед было единственным, что имело смысл и значение и становилось все важнее, пока мы, не смея глядеть в глаза друг другу, прикуривали сигары от одной головешки, уставившись в нее и утирая слезы, которые — в соответствии с общеизвестными его слезоточивыми свойствами — выжимал из нас дым.

Осталось рассказать немного — на рассвете один из наших горцев отвел Лейтенанта и Роберто туда, где был Пабло еще с тремя товарищами, и Лейтенант вскарабкался к Пабло, упираясь оземь ладонями — ноги у него были изранены на болоте. Нас стало уже двенадцать, я вспоминаю, как Пабло обнял меня — поспешно и стремительно, как он всегда это делал, и сказал, не вынимая сигареты из рта: «Если Луис жив, мы еще можем победить», а я на совесть забинтовал ему ноги — парни потешались над ним,— дескать, он надел новехонькие белые туфли, ох и задаст ему брат головомойку за эту роскошь не ко времени! «Пусть себе ругается,— отпучивался Пабло, яростно куря,— чтобы бранить, надо жить, товарищ, а ты ведь слышал, он жив-живехонек, мы как раз к нему лезем, и ты на славу забинтовал мне ноги...» Но радость была недолгой — как только взошло солнце, на нас и сверху и снизу обрушился град свинца, пуля отхватила мне пол-уха, а попади она на два сантиметра

ближе, ты, сынок, если только читаешь это, так бы и не узнал, в какой переделке побывал твой старик... С кровью, болью и ужасом мир предстал передо мной, как в стереоскопе: каждый предмет и каждый образ — четко и выпукло, в цвете, который обозначал мою жажду жизни, а так все было нипочем — потуже завязать платок и лезть себе дальше в гору; но позади меня полегли два горца и ординарец Пабло — с лицом, развороченным осколком снаряда. В такие минуты случаются комические вещи, которые запоминаешь на всю жизнь: один толстяк — тоже из группы Пабло, кажется, — в разгар сражения хотел спрятаться за тростинкой, да-да, встал боком и опустил на колени; а в особенности памятен мне тот трус, что завопил: «Надо сдаваться!», и голос, крикнувший меж двух очередей из «томпсона», голос Лейтенанта — бычий рев, перекрывший пальбу: «Здесь никто не сдается, так тебя и так!», пока самый младший из горцев, до сих пор такой молчаливый и застенчивый, не сообщил мне, что в ста метрах от нас, чуть левей и чуть повыше, есть тропа, и я крикнул это Лейтенанту, и стал целиться вместе с горцами, а они шли следом и стреляли, как дьяволы, принимая огневое крещение и так наслаждаясь им, что любо-дорого было глядеть, и наконец мы собрались у подножия сейбы¹, откуда брала начало тропинка, и мальчик горец стал карабкаться вверх, а мы за ним, астма не давала мне идти, и на шее крови было больше, чем из зарезанного поросенка, но зато была уверенность, что и в этот день мы уйдем от пули, и не знаю почему, но ясно было как аксиома, что в эту самую ночь мы воссоединимся с Луисом.

Поди пойми, как оставляешь в дураках преследователей — мало-помалу огонь редет, слышны привычные ругательства и — «трусы, только бахвалятся, а в бой не идут», и вдруг — тишина, деревья снова живые и дружелюбные, неровности почвы, раненые, которых надо выхаживать, фляжка воды с чуточкой рома переходит из уст в уста, вздохи, иногда стон, и отдых, и сигара, идти вперед, карабкаться и карабкаться, хотя бы ключья моих легких полезли вон из ушей, а Пабло мне говорит, слушай, ты ведь мне сделал сорок второй номер обуви, а я ношу сорок третий, старина, и смех, и вершина хребта, маленькое ранчо, где у крестьянина было немного юкки и мохо², и свежайшая вода, и Роберто, упрямый и добросовестный, совал крестьянину какие-то песо, чтобы заплатить за угощение, а вся наша братия,

¹ Сейба — тропическое дерево с развесистой кроной.

² Мохо — напиток из тростниковой водки, сахара, лимона и воды.

начиная с хозяина ранчо, животы понадрывала от смеха, и полдень, и сиеста, от которой приходилось отказаться, — словно мы отпускали от себя прелестную девушку и глядели на ее ноги, пока она не скроется из виду...

Когда стемнело, тропинка стала круче и карабкаться было просто невозможно, но наше самолюбие утешалось тем, что Луис выбрал такое место для встречи — туда и лань не взбралась бы. «Как в церкви будем, — говорил рядом со мной Пабло, — у нас даже орган есть», и весело поглядывал на меня, а я, задыхаясь, напевал нечто вроде пассакалии, которая правилась только ему одному. Я смутно вспоминаю эти часы; стемнело, когда мы добрались до последнего часового и промаршировали, один за другим, называя пароль за себя и за горцев, и наконец вышли на поляну среди деревьев, где Луис стоял, прислонившись к дереву — разумеется, в своей фуражке с немисливо длинным козырьком и с сигарой во рту. Один бог знает, чего мне стоило остаться позади, пропустить Пабло, чтобы он помчался обнять брата, а потом я выждал, чтобы и Лейтенант и остальные тоже стиснули его в объятиях, а после опустил на землю аптечку и «спрингфилд», и засунул руки в карманы, и впился в него взглядом, зная, что он сейчас повторит свою обычную шутку:

— Как дела, гаучо¹, — сказал Луис.

— Идут, барбудо² — парировал я, и мы зашлись от хохота, и он прижался челюстью к моему лицу, от чего рана невыносимо заныла, но эту боль я счастлив был бы терпеть до конца своих дней.

— Так ты все-таки пришел, че.

Разумеется, «че» он произносил не так, как надо.

— А ты думал? — ответил я, подражая его косноязычию. И мы снова схватились за животы, как последние дураки, а все другие хохотали невесть отчего. К нам прибыли новости и вода, мы окружили Луиса и только тогда заметили, как он похудел и как лихорадочно блестят у него глаза за этими дерьмовыми стеклами.

Ниже нас по склопу снова завязался бой, но мы в данный момент были вне досягаемости. Можно было заняться ранеными, искупаться в источнике, спать — прежде всего спать, даже Пабло завалился, он, который так хотел поговорить со своим братом. Но так как астма — моя любовница — научила меня

¹ Гаучо — пастух, крестьянин, скотовод в Аргентине.

² Барбудо — бородатый (*исп.*), прозвище кубинских революционеров.

славно проводить ночки, я остался близ Луиса, все так же стоявшего, опершись на ствол дерева; мы курили и любовались узором листьев на бледном небе и не торопясь рассказывали друг другу все, что случилось с нами после высадки, но главное — мы говорили о будущем, которое начнется в тот день, когда можно будет перейти от винтовки в кабинет с телефоном на столе, из гор — в город, и я вспомнил об охотничьем роге и чуть не сказал Луису, что я думал в ту ночь — только чтобы посмешить его. Но, подумав, я ничего ему не рассказал, а лишь чувствовал, что мы входим в адажио квартета, в непрочную полноту немногих часов, в непрочную, но вместе с тем дарующую уверенность — незабываемый знак. Сколько охотничьих рогов еще наготове, сколько из нас еще сложат свои бранные останки, как Роке, как Тинти, как Перуанец. Но достаточно было взглянуть на крону дерева, чтобы ощутить, что воля снова упорядочивает хаос, навязывает ему краски адажио, которое когда-нибудь перейдет в финальное аллегро, уступит место действительности, достойной этого имени... И пока Луис вводил меня в курс международных событий, сообщал, что происходит в столице и в провинциях, я видел, как листья и ветки мало-помалу сгибаются, уступая моему желанию, становятся моей мелодией, мелодией Луиса, а он продолжал говорить, не подозревая о том, что происходит в моем воображении, а потом в центр рисунка вписалась звезда — маленькая, но такая голубая-голубая, и, хотя в астрономии я профан и не смог бы сказать точно, звезда это или планета, я был уверен, что это не Марс и не Меркурий — она так ослепительно блестела в центре адажио, в центре слов Луиса, что никто не мог бы спутать ее с Марсом или Меркурием.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Осоват. Поиски и открытия Хулио Кортасара . . .</i>	5
<i>Выигрыши. Перевод Р. Позлебкина</i>	25
<i>* Менады. Перевод Э. Брагинской</i>	359
<i>Жизнь хронопов и фамов. Перевод П. Грушко . .</i>	371
<i>* Преследователь. Перевод М. Былинкиной . . .</i>	387
<i>* Другое небо. Перевод Н. Трауберг</i>	435
<i>Воссоединение. Перевод М. Абезгауз</i>	449

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Редакция художественной литературы

СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ»

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

- К. Х. СЕЛЫ** (*Испания*)
- Ф. МОРИАКА** (*Франция*)
- Я. КАВАБАТЫ** (*Япония*)
- С. ДЫГАТА** (*Польша*)
- В. КЕППЕНА** (*ФРГ*)
- М. ЛАУРИ** (*Канада*)
- В. ЭЛСХОТА** (*Бельгия*)
- К. ЧАНДАРА** (*Индия*)
- С. ВЕСТДЕЙКА** (*Голландия*)
- У. ФОЛКНЕРА** (*США*)
- Ч. ПАВЕЗЕ** (*Италия*)
- Э. КОША** (*Югославия*)
- И. ВО** (*Англия*)
- В. ХАЙНЕСЕНА** (*Дания*)
- К. ФУЭНТЕСА** (*Мексика*)
- А. ЗЕГЕРС** (*ГДР*)
- Р. К. НАРАЙАНА** (*Индия*)
- М. ДЕЛИБЕСА** (*Испания*)
- О. КЕМАЛЯ** (*Турция*)
- М. ФРИША** (*Швейцария*)

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ избранные произведения:

- ТО ХОАЯ** (*ДРВ*)
- П. УАЙТА** (*Австралия*)
- Т. УАЙЛДЕРА** (*США*)

ХУЛИО КОРТАСАР
ВЫИГРЫШИ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Художник *В. Алексеев*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технические редакторы *Н. Смирнова, Т. Юрова*
Корректор *Н. Мороз*

Сдано в производство 28/V 1975 г.
Подписано к печати 26/XI 1975 г.
Бумага 60×84¹/₁₆ тип. № 2. Бум. л. 14¹/₂
Печ. л. 26,97. Уч.-изд. л. 28,46. Изд. № 17204.
Цена 1 р. 62 к. Заказ № 2919

Издательство «Прогресс» Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28